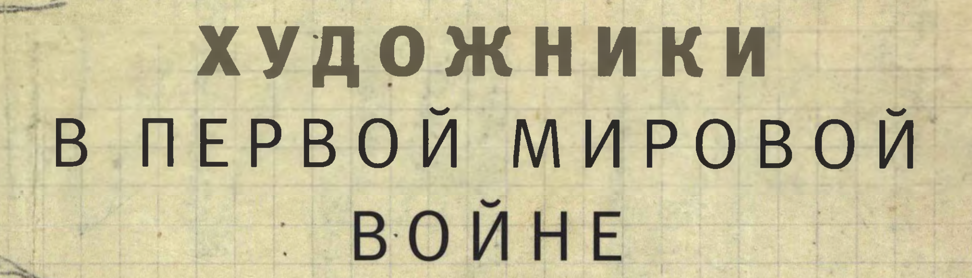


ХУДОЖНИКИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В.А. ФАВОРСКИЙ –
М.В. ФАВОРСКАЯ
И.С. ЕФИМОВ –
Н.Я. СИМОНОВИЧ-ЕФИМОВА

ПИСЬМА


ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Въ Дѣйствующую Армію
(съ отвѣтомъ).
Цѣна ОДНА копѣйка.
Наименованіе части или учрежденія, въ которомъ адресатъ
(Чинъ адресата)
(Имя)
(Отчество)
(Фамилія)
Изданіе Московскаго Мѣстнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго
Посылается безъ марки

Дѣйствующая армія
40-ой мортирный артиллерійскій дивизіонъ
батарея
Прапорщику Владиміру Андреевичу

Дѣйствующая армія
Полевая почта № 49
40-ой мортирный артиллерійскій дивизіонъ
3-я батарея

ПРАВЛЕНІЕ
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ
П. и А. ЗАВЬЯЛОВЫХЪ,
МОСКВА, Никольская ул., Третьяковскій проѣздъ.

Кому Адріану Ефимову
Куда Чупріяновка Аллюръ
№ Николаевско уѣз.
ПОЛУЧЕНО:
Домоткановъ
г.
Подпись
Конвертъ возвращается подате...

Дѣйствующая Армія.
Полевая почта № 49.
40 Мортирный артиллерійскій Дивизіонъ
3 Батарея.

Владиміру Фаворскому.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

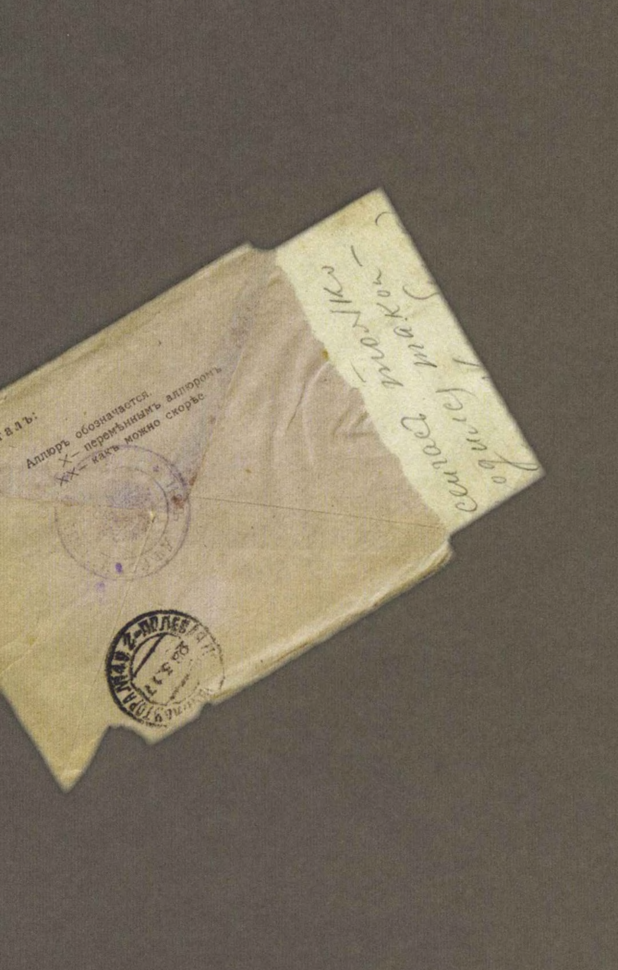
Москва
Кузнецкая
д. № 83 л. № 38
Фаворской

На этой сторонѣ пишется только адресъ.

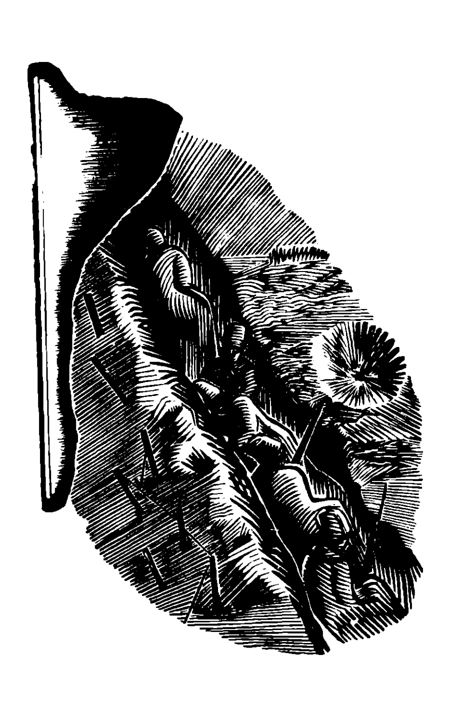
Дѣйствующая армія
Полевая почта № 49
мортирный артиллерійскій дивизіонъ
3-я батарея
2-ой взводъ
Фейерверкеру Владиміру Андреевичу Фаворскому

...арточка.
ДЛЯ АДРЕСА.

Николаевской у.
Домоткановъ


Аллюръ обозначается.
X— перемѣннымъ аллюромъ
XX— какъ можно скорѣе

Издание
подготовлено
к 100-летней годовщине
начала
Первой мировой войны



ХУДОЖНИКИ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В.А. ФАВОРСКИЙ –
М.В. ФАВОРСКАЯ
И.С. ЕФИМОВ –
Н.Я. СИМОНОВИЧ-ЕФИМОВА

ПИСЬМА

МОСКВА 2013

УДК [94<1914/1918>+73/76](044.2)
ББК 63.3(0)53+85.1
Х 98

Реализовано на грант
Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов
общенационального значения
в области культуры
и искусства

Куратор проекта – И.Д. Шаховской

Составители – Е.А. Ефимова, И.И. Голицын, И.Д. Шаховской
Оформление и макет – Л.М. Ордынская, И.Д. Шаховской

На переплете использован панорамный чертеж (для корректировки боевых действий мортирной батареи), сделанный И.С. Ефимовым на румынском фронте в конце 1916 г.
На форзаце – конверты писем Фаворских и Ефимовых 1915 – 1917 г.
На с. 2 – фрагмент гравюры В.А. Фаворского 1928 года «Октябрь 1917»

Х 98 **Художники** в первой мировой войне. В.А. Фаворский – М.В. Фаворская. И.С. Ефимов – Н.Я. Симонович-Ефимова. Письма/ сост. Е. А. Ефимова, И. И. Голицын, И. Д. Шаховской. — М., 2013. — 464 с.: ил., 64 с. вкл.

ISBN 978-5-905999-12-3

Основа книги – письма между фронтом и тылом двух супружеских пар художников, значимых для русского искусства: В.А. Фаворского – М.В. Фаворской (Дервиз) и И.С. Ефимова – Н.Я. Симонович-Ефимовой. Часть этих писем отдельно публиковалась. Ценность данного издания – в его полноте и соединении в одно целое двух семейных архивов, связанных родством жен и фронтовой дружбой мужей.

Иллюстрации непосредственно отвечают тексту либо представляют избранные работы художников. Книга интересна ценителям искусства и всем читателям, стремящимся узнать об истории и культуре нашей страны из живого отражения судьбоносного для России времени – начала XX века.

УДК [94<1914/1918>+73/76](044.2)
ББК 63.3(0)53+85.1

ISBN 978-5-905999-12-3

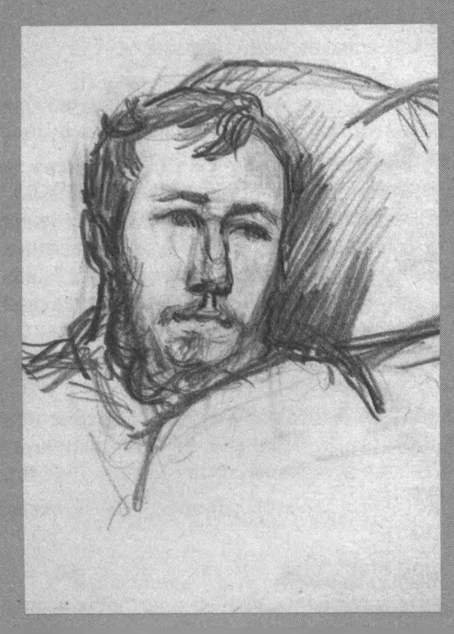
СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

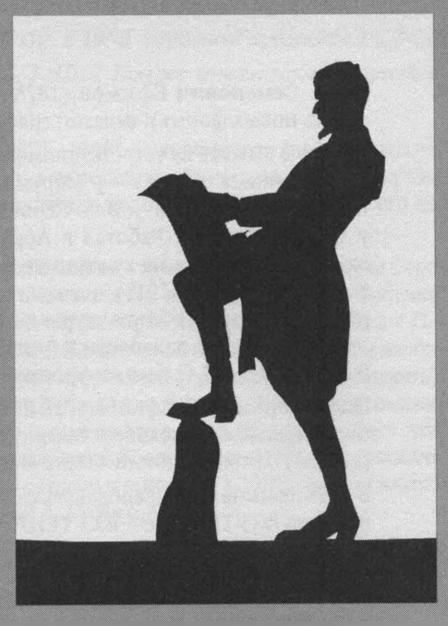
АХ СССР	– Академия художеств СССР
ВХУТЕМАС	– Высшие художественно-технические мастерские
ВХУТЕИН	– Высший художественно-технический институт
ГАЦТК	– Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова
ГМИИ	– Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
ГРМ	– Государственный Русский музей
ГСХМ	– Государственные Свободные художественные мастерские
ГТГ	– Государственная Третьяковская галерея
Дрезден	– Дрезденская картинная галерея
Калуга	– Калужский областной художественный музей
Кусково	– Государственный музей керамики «Кусково»
Липецк	– Художественный музей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера
МТХ	– Объединение «Московское товарищество художников»
МУЖВЗ	– Московское училище живописи ваяния и зодчества
МИИИ	– Московский институт изобразительных искусств
МИПИДИ	– Московский институт прикладного и декоративного искусства
МОСХ	– Московская организация Союза художников
МПИ	– Московский полиграфический институт
МССХ	– Московский Союз советских художников
МСХ	– Московский Союз художников
МХПУ	– Московское художественно-промышленное училище
Музей Голубкиной	– Мемориальный музей-мастерская скульптора А.С. Голубкиной
Нукус	– Каракалпакский государственный музей им. И.В. Савицкого (г. Нукус)
Обнинск	– Музей истории г. Обнинска
Омск	– Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
РККА	– Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Саратов	– Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева
Тимирязевский зал	– Выставочный зал Тимирязевского р-на г. Москвы (ныне галерея «Ковчег»)

ЦИТИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

В.Ф. 1991.	– В.А. Фаворский. Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы выступлений. М.: Книга, 1991.
В.Ф. Лит.	– В.А. Фаворский. Литературное наследие. М.: Советский художник, 1988.
WF 1967	– Книга о Владимире Фаворском. М.: Прогресс, 1967.
«Записки»	– Неопубликованная рукопись М.В. Фаворской (Дервиз)(1948–1958)
И.Е. 1977	– Иван Ефимов. Об искусстве и художниках. М.: Советский художник, 1977.
Н.С. 1947.	– Н. Симонович-Ефимова. Начало советского театра кукол и театра силуэтов. Неопубликованная рукопись (1947).
Н.С. 1980	– Н. Симонович-Ефимова. Записки Петрушечника. Л.: Искусство, 1980.
Н.С. 1982	– Н.Я. Симонович-Ефимова. Записки художника. М.: Советский художник, 1982.
Графика	– *Коровай И.* Мария Владимировна Фаворская // Советская графика 10: альманах. М.: Советский художник, 1986. С. 141–161.



М.В. Фаворская. **П-т Владимира Фаворского.** 1913



Н.Я. Симонович-Ефимова. **П-т Ивана Ефимова.** 1922



В.А. Фаворский. **П-т Марии Фаворской.** 1927



В.А. Серов. **П-т Нины Симонович.** 1894

ХУДОЖНИКИ — АВТОРЫ ПИСЕМ

Иван Семенович Ефимов (1878–1959) – выдающийся русский скульптор («изобретатель новых форм»); педагог; график; театральный художник и деятель Театра кукол.

Учился в Москве на естественном отделении университета (1898–1900), занимаясь в художественных студиях – у Мартынова и у Званцевой (1896–1901). Затем в МУЖВЗ – по классу живописи у В.А. Серова и К.А. Коровина, и на скульптурном отделении у С.М. Волнухина. Работал в Абрамцевской гончарной мастерской Саввы Мамонтова. В 1906 женился на художнице Нине Симонович. С 1907 года состоял в МТХ. Живя во Франции (1908–1911), посещал мастерскую скульптора Бурделя. Экспонировал свои рисунки, офорты и скульптуры на парижских выставках. Вместе с женой помогал Серову в работе над занавесом к балету «Шахеразада» (для «Русских сезонов» Дягилева). В 1916–1917 – И.С. был на фронте.

После войны И.С. Ефимов и Н.Я. Симонович-Ефимова создали первый в стране профессиональный кукольный театр с литературным репертуаром (т.е. не традиционно народный). Их знаменитый «Театр Петрушек и Теней» функционировал с 1918 по 1944 год.

В 1918 Ефимов стал преподавать скульптуру в ГСХМ, а затем был профессором по скульптуре во ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе (1920–1930).

Писал статьи по теории скульптуры, о народном творчестве, заметки об искусстве.

Как скульптор, виртуозно использовал разные материалы, свойства которых всегда у Ефимова изначально слиты с пластическим воплощением образа. Более всего известны его изображения животных: «Зверь», «Медведица», «Вепрь» – дерево; «Ягненок», «Кошка на шаре», «Зебра» – фарфор, фаянс; «Утро (Петух)», «Жирафа», «Страус» – кованая медь; «Баран» – проволока; «Береговица» – стекло. Энергичная поза и жест характерны для его решений человеческих образов: «Вода (Купальщица)» и «Гимнастка» – фаянс; «Зоя Космодемьянская» – бронза.

Автор памятника И.Д. Пастухову в Ижевске (1932) и проектов памятников, в числе которых: А.Н. Островскому – 1923, Чапаеву – 1938, Крылову, Маяковскому – 1940. Парки и здания многих городов страны украшались ефимовскими декоративными сквозными рельефами (его изобретение – «скульптурная графика»), фонтанами и другими уникальными произведениями архитектурной пластики.

Иллюстрировал детские книги («Волк и журавль», «Мена», «Булька» и др.).

1940 – участие в оформлении оперы Вагнера «Валькирия» (постановка Эйзенштейна).

Автор блистательных графических композиций с людьми и животными – по материалам этнографических экспедиций (1930–1932) в Башкирию и Удмуртию (Эрзянский эпос); а также – по впечатлениям своих исследований греческой вазописи, египетских изображений, островных культур (Меланезии и др.), турецкого народного театра Карагез; и – просто рожденных артистическим азартом виртуоза-рисовальщика.

Медали выставок: серебряная – Министерства финансов России в 1909 (за художественную игрушку); золотая – Всемирной выставки в Париже в 1937 (за скульптуры «Рыбак с рыбой» и «Бык»); серебряная – Международной выставки в Брюсселе в 1958 (за скульптуру «Лань с детенышем»).

Персональные выставки: Москва – 1946 (Дом архитектора); 1970 (Дом художника) – совместно с Петром Митуричем; 1959 (МОСХ – Кузнецкий мост, 20) и 1989 (Тимирязев-

ский зал) – с Н.Я. Симонович-Ефимовой; 1960 – Ленинград (ГРМ); 1975 – Обнинск, Калуга и 1994 – Липецк (Дом Мастера) – все совместно с Н.Я. Симонович-Ефимовой.

С 1955 заслуженный деятель искусств РСФСР, с 1958 народный художник РСФСР.

Произведения И.С. Ефимова есть в ГТГ, ГРМ, ГМИИ, Галерее современного искусства в Триесте (Италия) и в других музеях.

Нина Яковлевна Симонович-Ефимова (1877–1948) – живописец, график; литератор; педагог. Совместно с мужем – режиссер, художник-изобретатель и автор кукол, кукловод и создатель репертуара собственного кукольного театра. Кроме того – его летописец, теоретик и пропагандист.

С детства рисовала, направляемая своим старшим кузеном – художником Валентином Серовым. По окончании гимназии в Петербурге учительствовала в начальной школе в Тифлисе (1896–1898), занимаясь рисунком у О.И. Шмерлинга. На заработанные деньги уехала в Париж (1899–1900), где посещала студии Делеклюза и Коларосси. В 1901 занималась живописью в московской студии Званцевой у Серова (который ради нее и пошел туда преподавать). В 1901–1902 снова во Франции, посещала студию Э. Каррьера. В 1902–1904 вела рисование в гимназии в Твери. В 1904 поступила в МУЖВЗ (заканчивала в 1912). Во время забастовки училища (1905–1907) работала в столовой и в лазарете для бастующих. С 1906 участвовала в выставках МТХ. В 1909–1911 жила за границей с мужем и сыном (р. в 1907), снимая жилье-мастерскую в Париже. В 1909 занималась в студии А. Матисса.

1912–1916 (до ухода И.С. на фронт) – особенно интенсивный для Н.Я. период работы в живописи – в эти годы она создает яркую серию живописных картин и рисунков, посвященных тамбовским крестьянкам и Тамбовской земле.

В 1915 работала воспитательницей детей солдат – в детском приюте в Москве.

1916 – начало серьезного увлечения Н.Я. кукольными и теневыми постановками, приведшего к созданию «Театра Ефимовых», за свою славную историю сыгравшего более 1500 спектаклей.

В 1924–1927 рецензент иллюстраций детских книг (в Институте детского чтения).

В 1938–1942 преподавала методику кукольного и теневого театра на различных курсах.

На протяжении 20–40-х гг. продолжает работу в своей «главной» профессиональной области – пишет и рисует пейзажи Москвы, Липецка, Тамбова; в поездках по России – на Урал, в Крым, в Новгород. Портреты – о. Павла Флоренского, С.Г. Писахова, В.Е. Ардова, И.Г. Фрих-Хара, Николая Клюева, М.Е. Ямщиковой (Ал. Алтаев), М.В. Юдиной, И.С. Ефимова. Композиции, разработки силуэта – серия станковых листов (совместно с И.С. Ефимовым) на темы произведений А.С. Пушкина (1934–1936).

В 1942-м, рисуя в московском госпитале раненых воинов, создала большой цикл их натурных изображений – непарадную галерею портретов защитников Отечества.

Обладая незаурядным писательским даром, Нина Яковлевна оставила значительное литературное наследие, в том числе книги «Записки Петрушечника» и «Воспоминания о В.А. Серове», статьи, очерки, рецензии и многое другое. До конца жизни продолжались все линии ее творчества: живопись и графика, – театр силуэта и театр кукол, – слово.

Персональные выставки: Москва – 1945 (МССХ – Ермолаевский пер., 17), 1968 (МОСХ – ул. Вавилова, 65) и 1993 (МСХ – Кузнецкий мост, 20); 1959 (МОСХ – Кузнецкий мост, 20) и 1989 (Тимирязевский зал) – с И.С. Ефимовым. 1975 – Обнинск, Калуга и 1994 – Липецк (Дом Мастера) – все совместно с И.С.Е.; 1977 – музей В.А. Серова в Домотканове.

Произведения Н.Я. Симонович-Ефимовой есть в ГТГ, ГРМ, ГМИИ и в других музеях.

Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) – выдающийся мастер гравюры, художник книги и иллюстратор; график, живописец-монументалист, художник театра; педагог и теоретик искусства.

Первые уроки рисования брал у своей матери, художницы О. В. Фаворской (Шервуд). В 1898–1905, учась в гимназии, занимался рисунком и живописью в студии Юона у И. О. Дудина; одновременно посещал вечерние скульптурные классы Строгановского училища. В 1906–1907 учился в Мюнхене в частной художественной академии Шимона Холлоши; в 1907–1913 в Московском университете на искусствоведческом отделении (был одним из инициаторов открытия этого отделения). Путешествия летом по Италии, Австрии и Швейцарии и работа со студией Холлоши на пленэре в Венгрии (Закарпатье). 1908–1910 – первые опыты в гравюре, а 1911–1912 – в стенописи. С 1910 экспонировал работы на выставках МТХ. 1912 – женитьба на М. В. Дервиз. 1915–1918 – он в армии, с 1916 – на Румынском фронте.

Летом 1919 мобилизован в РККА и по февраль 1920 – на Царицынском фронте.

1920–1930 – профессор по деревянной гравюре во ВХУТЕМАСе (с 1927-го переименованного во ВХУТЕИН). С 1923 избран ректором (по 1926). Создал беспрецедентную «Теорию композиции» – стройную философскую систему познания пластических законов мирового искусства. При ведущей роли Фаворского разработаны новаторские метод преподавания и учебная программа института.

С начала 1920-х и до середины 1930-х – самый насыщенный период работы Фаворского в книге. Гете, Мериме, Пушкин, Гоголь, Диккенс, Лев Толстой, Пришвин, Пильняк. «Vita Nova» Данте и повесть С. Спасского «Новогодняя ночь» (о Гражданской войне). Гравированные обложки журналов, экслибрисы, издательские марки. И знаменитые портреты «Ф. М. Достоевский» и «Пушкин-лицеист»; листы «Октябрь 1917» и «1919–1920–1921»...

Первый из оформленных им спектаклей – «Двенадцатая ночь» Шекспира (МХАТ-2; 1933). Тогда же созданы фрески и сграффито в Музее охраны материнства и младенчества. Эта и большинство последующих его работ в архитектуре позже уничтожены. После расформирования ВХУТЕИНа преподавал в МПИ (с 1934-го – МИИИ). В 1938 уволен как «идеолог и глава формализма в графике».

В 1941–1943 был с семьей в эвакуации в Самарканде, где получил работу «профессора по рисунку» на кафедре керамики эвакуированного из Москвы МХПУ (по возвращении, с 1944-го – МИПИДИ). Создание самаркандской серии рисунков и цикла линогравюр. В 1948 уволен из института (в ходе кампании по борьбе с «космополитизмом»). Фаворский продолжал работать в театре, архитектуре, книге, хотя из работ 1940 – 1950-х многое не удавалось осуществить. Самое известное из числа изданного – сборники сонетов Шекспира (1948) и стихов Р. Бернса (1950); «Слово о полку Игореве» (1952); пушкинские «Борис Годунов» (1956) и – последняя книга – «Маленькие трагедии» (1961).

На протяжении всей жизни В. А. Фаворский писал (последние три года диктовал) статьи об искусстве – о плоскости и пространстве; о «содержании формы»; о композиции и времени; о стиле и мировоззрении.

Grand Prix выставок: Международной выставки декоративных искусств в Париже (1925) за гравюры (к «Книге Руфь» и др.); Всемирной выставки в Париже (1937) за скульптурные рельефы (туф с росписью альфреско) портала советского павильона. Золотые медали выставок: Всемирной – в Брюсселе (1958) за мозаику «1905 год»; Международной книжной – в Лейпциге (1959); Международной художественной – в Сан-Паулу (Бразилия, 1961).

Основные персональные выставки: 1926 – Казань; Москва – 1933 (Клуб им. Авиахима); 1944 (Дом архитектора) – совместно с Львом Бруни; 1956 (Дом художника) – «Выставка 4-х» (к 70-летию В. Ф., но с участием приглашенных им своих друзей, которым «такую выставку сделать нескоро предложат»). 1960 – Дрезден; 1962–1964 – Ленинград, Таллин, Львов, Киев, Лондон, Берлин; конец 1964 – Москва (ГМИИ). 1986–1987 – к 100-летию со дня рождения – Москва и Ленинград (АХ СССР), Саратов. 1997 – Москва (ГТГ).

1956 – заслуженный деятель искусств РСФСР; 1959 – народный художник РСФСР; 1962 – Ленинская премия «за иллюстрации к классическим произведениям русской литературы»; 1962 – действительный член АХ СССР; 1963 – народный художник СССР.

Произведения В. А. Ф. есть в ГТГ, ГРМ, ГМИИ, Дрезденской галерее и в других музеях.

Мария Владимировна Фаворская (Дервиз) (1887–1959) – художник; живописец, график; педагог; автор воспоминаний и рассказов о своей семье.

Маруся Дервиз родилась в усадьбе Домотканово Тверской губернии; обучалась сначала дома, потом в гимназии в Твери (где тогда вела рисунок Нина Симонович, ее тетя) и в последних классах – в Петербурге. С детства рисовала, поощряемая другом отца и кузеном матери – В. А. Серовым. В 1907–1908 жила во Франции у своей тети Марии Львовой (Симонович) и занималась живописью в парижской мастерской Умбэра и Мартэна, а также слушала лекции в Ecole des Beaux Arts. В 1909 посещала студию Юона, а в 1910–1913 училась в МУЖВЗ. В 1912 вышла замуж за В. А. Фаворского. 1915 – рождение сына Никиты и мобилизация В. А. в армию.

В 1916–1918, до экспроприации имения, жила с сыном в Домотканове. В 1919-м из голодной Москвы перебралась в Сергиево. Вела изокружок в Клубе подростков (1919–1922), преподавала в школе (1920–1921) и в Педтехникуме (рисование, лепка и ручной труд). В. А. получил от ВХУТЕМАСа комнату в Москве и приезжал в семью только на выходные. В 1924 родился сын Иван; в 1928 – дочь Мария. Все эти годы М. В. не оставляла творчества – в 1920–1930-е рисовала и писала родные ей «портреты деревьев», детей, Лавру, светоносные сергиевские пейзажи. Иллюстрировала книжки: «Для малышей» Л. Толстого (Детиздат, 1934), стихи А. Барто, В. Мирович. На выставках – с 1930 года.

Выполнила несколько живописных панно для Загорского музея игрушки и Московского литературного музея. В 1940 принимала участие в работе В. А. для Дома пионеров в Калинине (Твери), спроектированного Иваном Леонидовым, – ею написан один из сюжетов пояса стенных панно («Дети в лесу»).

За год до войны семья переехала в Москву. В 1941 старший сын ушел добровольцем на фронт и пропал без вести. Фаворские эвакуируются в Самарканд, откуда в 1942, с 1-го курса МХПУ, ушел в армию второй сын и, пройдя войну лейтенантом артиллерии, погиб в 1945 под Кенигсбергом.

После войны Мария Владимировна много болела, но пока были силы, рисовала, писала темперой и акварелью движущиеся массы облаков, сень цветущих кустов... Принимала участие в работах В. А. – ею сделана часть рисунков в трех книгах Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» (1947, 1950, 1953); по эскизу М. В. выполнена одна из мозаик «Времена года» («Зима») в интерьере Советского посольства в Варшаве (1955). До последних лет она продолжала писать книгу воспоминаний – бережно, оригинально и точно выстроенную – о своей семье и погибших сыновьях (но и о времени, и о России).

В настоящее время «Записки» М.В. Фаворской (Дервиз) вместе с альбомом ее работ готовятся к изданию.

МИР И ВОЙНА В ПИСЬМАХ ХУДОЖНИКОВ, ИЛИ ПАРНЫЕ АВТОПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ

Основу настоящего издания составляют письма, датированные годами Первой мировой войны, – два блока личной переписки, между фронтом и тылом, двух художнических супружеских пар. Это Владимир Андреевич Фаворский – Мария Владимировна Фаворская (Дервиз) и Иван Семенович Ефимов – Нина Яковлевна Симонович-Ефимова. Имена эти значимы для отечественного искусства и культуры, и уже поэтому полная публикация данного материала из семейных архивов Фаворских и Ефимовых представляет большой интерес. Свод этих писем – цельный исторический документ той эпохи – живое свидетельство времени.

Не нужно искать здесь развернутых описаний военных операций или героических эпизодов. Письма писали частные люди: с войны – мобилизованный в армию и ставший артиллерийским разведчиком (фейерверкер, затем прапорщик) Фаворский и необученный вольноопределяющийся (канонир) Ефимов, служившие вместе в мортирном дивизионе на Румынском фронте; на войну – их жены, матери их сыновей. Все они объединены родственной связью, но прежде всего все четверо – художники.

Удивительно, насколько фронтовая картина, предстающая в письмах, не совпадает с привычным образом Первой мировой – с ее грязью, слякотью, прозябанием в окопах, сырыми шинелями, удушающими газами и бессмысленным, бесславным умиранием. Конечно, оба воина, оберегая спокойствие близких и сообразуясь с требованиями военной цензуры, обходили подробности боевых действий и описания страшных реалий войны. Пожалуй, у Фаворского, подспудно, просматривается и эта сторона, но в его мужественных письмах она заслонена незыблемой позицией рыцаря, мироощущением христианина и эпическим восприятием происходящего. Письма же Ефимова так наполнены яркой фактурой бытия и восхищением природой и в целом так жизнеутверждающи, что порой забываешь, что написано все это с фронта. Вспомнив же, осознаешь, что в этом противопоставлении Жизни войне заключена такая же отвага художника-воина.

В ответных письмах женщин, из тыла, отражаются все изменения в российском жизненном укладе и социальные потрясения тех лет, но тоже совершенно по-разному. И обе они тоже ведут собственную битву – каждая свою.

Перед нами непредвзятый животрепещущий рассказ, т. е. четыре взаимосвязанных рассказа о войне и о мире (в толстовском понимании) на том переломном этапе истории. То, что это не дневник (монолог) и не безответные послания в одну сторону, а непрерываемые диалоги, дает читающему удивительное ощущение реального присутствия – эффект машины времени.

Это одновременно и хронологический событийный срез, и ряд ярких наблюдений, и развивающийся психологический портрет участников переписки, и еще некая неуловимая субстанция.

В.А. Фаворский в своем зрелом творчестве нашел для себя и вел на протяжении многих лет отдельную глубокую тему – карандашные «Двойные портреты». О непосредственном рисовании с натуры людей, объединенных любовью, родством или дружбой, он писал: «Два человека в портрете – это не один плюс второй, а что-то совсем новое, что не принадлежит ни тому, ни другому человеку. Вероятно, это пространство, которое возникает между ними, со всем своим эмоциональным содержанием» (WF 1967, с. 50).

По аналогии можно сказать, что представленные почтовые диалоги – суть парные автопортреты, которые выражают пространство, возникающее между пишущими – почти осязаемое единство любви, непроизвольно «рисуемое» обоими.

Блок писем Ефимовых составляют только послания Ивана Семеновича (**И.С.**) и Нины Яковлевны (**Н.Я.**) друг другу. Они и полнее сохранились, и интенсивнее писались, и потому их осталось больше, хотя Ефимов пробыл на фронте вдвое меньший срок, чем Фаворский. Учитывая возможности восприятия читателем информационной нагруженности ефимовских писем, небольшой долей их пришлось пожертвовать.

Диалог же между Владимиром Андреевичем (**В.А.**) и Марией Владимировной (**М.В.**) Фаворскими имеет утраты каких-то временных отрезков. Поэтому в блок Фаворских включены также письма из их переписки с родителями В.А., в основном его из армии. Таким образом, в число авторов-участников вводятся, как бы вторым планом – Ольга Владимировна (**О.В.**) и Андрей Евграфович (**А.Е.**) Фаворские. Но это не противоречит заявленной теме и структуре публикации, а лишь высвечивает еще какие-то грани личности главных героев, расширяя представление об их ближайшей среде, и позволяет восстановить ход событий в блоке Фаворских параллельно письмам Ефимовых.

Совмещение, даже переплетение в издании переписки двух разных семей, дает всему материалу дополнительную многомерность. И совмещение это здесь – не стилевой прием, а обоснованное решение составителей. Казалось бы, это сугубо личная, внутрисемейная область, но сами письма не замыкаются рамками «жанра» и датами их написания. Опираясь на прошлые события и знаки общей истории, они представляются частью непрерывного течения времени, где даже бытовые мелочи приобретают черты эпоса, а с другой стороны – выявляют единые направления насущных, «громокипящих» общественных и творческих векторов и очерчивают значимый круг общения. Необходимые сопутствующие комментарии ко всем линиям естественным образом прорастают как в прошлую, так и в последующую, Новую историю, связывая ткань времени с нашим настоящим. Поэтому, предваряя сами письма, наряду с вышеприведенными биографиями четырех художников, мы приводим и краткие сведения о наиболее близких из упоминаемых ими людей – и как «список действующих лиц», и как красноречивый обратный исторический отсчет: от нас – к тем годам. Поэтому же, формально заканчивая эпистолярную часть датой заключения мира, мы затрагиваем в Приложении I ближайшие после

войны и революции события в жизни и творчестве авторов писем. Завершает этот раздел текст Фаворского, написанный летом 1941 года – взгляд русского художника на прошлую Первую и на идущую Вторую войну. Приложение II составлено из прямых высказываний (разных годов) всех четверых друг о друге.

Фигура В.А. Фаворского – знаменитого художника и теоретика, чье имя отождествляется с целой школой в русском искусстве, – кажется, не нуждается в развернутом представлении здесь, в предисловии.

Стоит сказать лишь об одном. Всенародное признание пришло к Фаворскому в самом конце жизни, в период «оттепели», а все государственные регалии были срочно выданы мастеру в последние три года, когда он лежал и руки его перестали работать. Сам же он никогда не делал шагов для приобретения наград и званий и относился к этому измерению «статуса» равнодушно. Не потому, что был лишен честолюбия – высокой оценкой своих работ, премиями выставок мог гордиться. Но всегда проецировал это на Искусство, которому служит, а не на свою персону.

Дореволюционный период жизни Фаворского освещен не так уж подробно. Его неспешно и упорно накапливаемое мастерство вышло на яркий свет уже после Гражданской войны. А в 1915 году он – серьезный молодой художник, авторитетный в ограниченном кругу сверстников, углубленно занимающийся поиском пластической формы в живописи и сущностных законов искусства.

Имя М.В. Фаворской (Дервиз) достаточно известно, но ее творчество находится в тени произведений мужа. Более всего прославлен сам ее образ, неоднократно запечатленный Фаворским, начиная с таких знаменитых его гравюрных циклов, как «Книга Руфь» и пушкинский «Домик в Коломне».

Сама М.В. пишет, что ранние ее вещи погибли в бурные революционные годы, а с рождением детей она «почти не занималась искусством», отдавая им все свое время. При этом работ осталось много. По большей части это пейзажи, а также портреты близких (главным образом детей), композиции, книжные иллюстрации... Вещи, казалось бы, непритязательные, иногда неоконченные, сделанные меж бытовых забот, жизненных ударов, болезней. Но всегда высоко профессиональные и драгоценные своим непредвзято индивидуальным живописным чувством, с полной самоотдачей в достижении цельности формы и точности пространственных отношений. И безусловно, верны слова одного из учеников В.А., сказанные на посмертном просмотре ее работ: «Работы Марии Владимировны удивляют ее стремлением к Истине. Это говорит о мужестве. Очень трогательно соединение мужества с женственностью» (Графика, с. 144).

Владимир Фаворский женился на Марии Дервиз в 1912 году. Многолюдная свадьба проходила в ее родной усадьбе Домотканово. На свадьбе были и супруги Ефимовы – не как приезжие гости, а как исконные «домоткановцы» – Нина Симонович, тетя невесты, в отрочестве и в юности жила здесь, в семье своей старшей сестры. Шесть лет назад здесь же праздновалась ее свадьба со скульптором Иваном Ефимовым и, так же как теперь Фаворские, они венчались тогда в ближней церкви деревни Синцово. С этого времени великолепный,

творчески неуемный и искрометный Иван Семенович стал своим в усадьбе и, конечно, настоящим кумиром для трех барышень-сестер – Маруси и Лели Дервиз и их кузины Наташи Симонович.

Для изначального понимания семейных связей и реалий среды стоит коснуться самого Домотканова – отсюда отправлена в армию основная часть писем М.В. и едва ли не половина – Н.Я. Соответственно сюда же адресовано и большинство писем В.А. и И.С. – из армии.

Имение, со старым простым двухэтажным усадебным домом, запущенным парком с липовой и еловой аллеями и цепью заросших прудов, расположенное в шестнадцати верстах от Твери в просторном пейзаже с мягкими очертаниями низких холмов, окаймленных лесами далекого горизонта, было куплено Владимиром фон Дервизом после его женитьбы на Надежде Симонович в 1886 году. Молодая хозяйка хотела жить на земле, а хозяин стремился к активной работе в земстве. С той поры здесь жила и мать хозяйки, рано овдовевшая Аделаида Семеновна Симонович, вместе с младшими своими детьми (последняя из которых, тогда девятилетняя, – Нина). Часто и подолгу гостил и работал в Домотканове племянник А.С. и друг хозяина по учебе в Академии художеств – Валентин Серов. Усадьба на долгие годы стала заметным центром земской деятельности и одним из культурных оазисов Тверской губернии.

Творчество Н.Я. Симонович-Ефимовой сроднено с Домоткановом. Там ею написаны многие из ранних работ: пейзажи и интерьеры усадьбы, портреты (в том числе замечательный портрет матери). Там же начинал делать свои первые фаянсы, обжигая их в недалеком Кузнецове (Конакове), И.С. Ефимов.

Здесь сложился своеобразный характер Марии Дервиз. С рождения росшая в усадьбе, она впитала и идейную среду разнообразного родительского окружения, и отцовскую любовь к музыке, и деревенский помещичий уклад, и бескорыстие нараспашку открытого дома. Но более всего восприняла от матери проникновение в душу окружающей природы: понимание деревьев, трав, облаков, снегов – как одухотворенных и индивидуальных созданий; понимание, которое станет ее главным внутренним даром художника.

Ранняя кончина матери (в 1908) явилась для нее, а еще более для ее отца, да и для всего домоткановского мироустройства, – потерей невосполнимой.

Не до конца еще повзрослевшая, порывистая (то восторженная, то «погибающая»), глубоко чувствующая и обладающая взыскательной честностью и серьезностью в отношении к окружающему миру и к себе, к долгу и к творчеству – Маруся Дервиз всей своей сутью приняла супружество с Владимиром Фаворским. Он стал для нее центром всего и навсегда – в жизни и в искусстве. Сам же В.А. пишет ей, уже с фронта: «...ты фундамент моей жизни и за тебя душа моя держится...» Год мобилизации его в армию – это лишь третий год их союза.

Неразделимы искусство и взаимная страстная любовь в двуединстве Ефимовых. Н.Я. старше своей племянницы всего на девять лет, но еще до начала войны и она, и ее муж – сложившиеся художники с широким диапазоном

интересов, признанные художественным сообществом и активно работающие в разных областях, уже тогда придумывая и делая некоторые работы вместе (литографированные листы для вырезаний – слияние графики, игры и скульптуры). Впоследствии их творческое единомыслие позволило им соединить две яркие индивидуальности в феномене своего удивительного кукольного театра.

Нина Яковлевна, по ее же словам, была «яростно влюблена в Ефимова». И так же не по-женски целеустремленна она в искусстве. При всем природном таланте и бесподобном мужском артистизме Ивана Семеновича ведущим в их тандеме («поводырем») была, несомненно, она. И. С. с юности был подвержен контрастным перепадам: периоды фонтанирующего воодушевления внезапно сменялись состоянием полного угнетения духа, из которого умела вывести его жена. Она же подвела его к решению отправиться в действующую армию вместо положенной ему (как единственному сыну в семье) службы в тыловых частях – и пребывание на фронте на долгие годы излечило его от этих мучительных провалов.

В титульных кратких биографиях Н. Я. и И. С. и в Приложениях обозначены основные этапы их профессионального пути. Поэтому нет смысла подробнее освещать здесь многогранность творческих проявлений Ефимовых, непосредственный рассказ о них – в самой их переписке (которая и сама по себе чрезвычайно талантлива).

Хотя и Ефимовы и Фаворские в своих произведениях очень русские художники, и при том, что все они учились и в Европе и в России, Ефимовы, по своей жизненной позиции, человеческому самоощущению, – более «европейцы», чем Фаворские. Но это нисколько не мешало их тесному родственному, дружескому и профессиональному общению на протяжении всей жизни. Они с огромным интересом и уважением относились к работам друг друга, их принципиальные взгляды на пластические законы искусства близки. Нередко они работали рядом – в Детском Кукольном театре в 1918; в экспериментальной группе на Конаковском фаянсовом заводе в 1934; десять лет и В. А. и И. С. преподавали во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. Существенным и для Фаворских и для Ефимовых было знакомство и близкое общение с о. Павлом Флоренским.

К концу 30-х годов обе семьи (вместе с родственной четой молодых скульпторов – Кардашовых) выстроили на паях отдельный кирпичный дом с жильем и мастерскими на окраине Москвы. В «Красном доме» в Новогиреево, – в чем-то напоминающем домоткановский, – все они работали бок о бок до конца своих дней.

Первым из нового дома ушел – на Вторую войну и в Вечность – сын Фаворских, Никита, рождение которого знаменует начало этой книги.

Сейчас здесь продолжают жить потомки основателей дома, большинство из которых тоже художники.

Мастерская Ефимовых, со скульптурами И. С., полотнами Н. Я. и остальным их многообразным творческим наследием, сохраняется как мемориальная.

Для сбережения этих произведений многое сделал их сын, Адриан Ефимов – также один из героев писем и последний из домоткановцев, и вторая супруга Ивана Семеновича – Александра Николаевна Ветрогонская (1904–1974), с которой он познакомился через несколько лет после кончины Н. Я.

В рабочей мастерской Фаворских хранятся гравюрные доски В. А. и живопись М. В., а также папки с рисунками, гравюрами, эскизами. Часть их – наследие Никиты Фаворского.

Здесь же, в доме, лежат и семейные архивы, в том числе серые почтовые конверты и листки писем вековой давности, с Первой мировой войны...

...Из строк писем перед нами возникает тогдашний образ каждого из авторов. В то время для М. В. главное – ее материнство (хотя она и жена, и художник!); а для В. А. – преодоление необходимого испытания, исполнение долга солдата. «Мне кажется, что я с солдатчиной, а ты с Никиткой немного подрастем еще, будем храбрей и, когда пройдет это время, заживем правильно и деловито, будем работать и отметать все, что может мешать работе», – пишет он Марии Владимировне, отправляясь в армию. Владимир Андреевич всю жизнь был очень миролюбивым человеком, но в своей вере и на своем главном поприще – в искусстве – неуступчивым и бесстрашным. Когда, уже в старости, его спросили: «Как же Вы воевали?», имея в виду его доброту и активное неприятие войны, Фаворский, даже с некоторым задором, ответил словами Пушкина: «...Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...»

И стихи эти с полным правом могут быть отнесены и к Ефимову – при всем его жизнелюбии и «солнечной» сущности. Впрочем, тоже родственной Пушкину.

В одном из писем (18.11.1916) И. С. говорит: «Для батарейного праздника я взял на себя красоту». Читая его послания, понимаешь, как повезло в ратных буднях войны его однополчанам – он сам являл собой постоянный Праздник, дарящий им Красоту Жизни.

Ефимовы и во время войны, как и всегда, – прежде всего художники.

Но показательно, как Нина Яковлевна понимала ответственность этого призвания. Несмотря на то что день и ночь она мечтала о возвращении Ивана Семеновича домой, на собрании МТХ, где обсуждался указ об освобождении художников от воинской повинности, она выступает – против. Ее тезис: « Художник, больше чем кто другой, зависит от своего народа и от своей природы. Все впечатления его связаны со своей страной. Неужели теперь, когда надо поддержать Россию, – художники перекладывают на чужие плечи помощь? Именно я исхожу из того, что мы художники, и русские художники» (Н. Я. к И. С. 22.08.1917).

Именно так относились к этому и остальные герои нашей книги: и И. С. и В. А. отказались от привилегии, предоставленной членам Московского товарищества художников, и остались на фронте; и М. В. была (страдая) согласна с решением мужа.

Эта глубокая соединенность со своей страной и своим народом определяет и всю их дальнейшую жизнь.

И.Ш.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Два блока писем – Фаворских (с пометкой **Ф.**) и Ефимовых (с пометкой **Е.**) – снабжены нумерацией, каждый блок – своей.

Часть писем не датирована, почта же доходила до адресатов с разной периодичностью, и дата отсылки иногда отстоит от даты получения на месяц и более, а за это время могло быть отправлено с обеих сторон по многу посланий. Поэтому, насколько это возможно, письма выстроены по хронологии – но с учетом логики самого «почтового диалога».

Многие письма утеряли свои конверты, и в отдельных случаях трудно определить точный объем и состав послания (особенно у Ефимова – он часто писал «продолжающиеся письма», на отдельных листках, без обращений и прощаний). Их последовательность и соединение вычитаны из сопоставления самих текстов, а потому иногда условны.

Там, где датировка приблизительна и (или) не подтверждена авторской пометкой или штампом конверта, а установлена составителями, – она набрана *курсивом.*

Даты даны по старому стилю.

Имена и обиходные слова часто сокращены. Там, где это необходимо, вставлены редакционные расшифровки сокращений, ограниченные знаком «слэш» /косая линейка/.

Так же выделены введенные нами /пропущенные/ слова.

Инициалы и имена людей, которые не удалось идентифицировать, набраны *курсивом.*

Удалены специфические архаизмы правописания, в ряде случаев внесены или изъяты некоторые знаки препинания и т. п.

В.А. писал почти без знаков препинания, и потому его текст ритмически очень характерно построен. Исходя из этого, в его письмах добавлена пунктуация, но лишь самая необходимая для понимания смысла.

В остальном авторские тексты не изменены, за исключением небольших редакционных купюр, которые отмечены знаком [...]

Редакционные пояснительные вставки в тексте также выделены квадратными скобками.

Вынужденные купюры (утраченные части писем) отмечены знаком /.../

Во многих оригиналах писем Фаворских, как В.А., так и своих, Марией Владимировной были впоследствии тщательно вымараны или оторваны строки, не предназначенные для других, – эти купюры также отмечены в тексте знаком /.../, иногда с указанием количества отсутствующих рукописных строк.

Ремарки, относящиеся к форме, сохранности, графическому составу оригиналов писем, даны *курсивом*.

Необходимые разъяснения и дополнительные сведения помещены в комментариях при каждом письме.
Приведенные в комментариях отрывки авторских текстов, письма других лиц или другим лицам (и т. п.) набраны *курсивом*.

Иллюстративный ряд издания составляют материалы, непосредственно связанные с перепиской, – рисунки из самих писем, фотоснимки, обсуждаемые скульптуры и картины и пр., а также классические работы (разных годов) всех четырех художников.

Репродуцируемые произведения, местонахождение которых не оговорено, находятся в собраниях наследников художников.

Большинство из писем В.А., приведенных здесь, опубликовано ранее (В.Ф. 1991), правда со значительными купюрами.

Некоторые письма из блока Фаворских были частично использованы М.В. в ее «Записках». В том числе те, оригиналы которых позже утрачены.

Небольшая часть переписки Ефимовых 1916–1917 гг. была опубликована их сыном, Адрианом Ивановичем (И.Е. 1977, Н.С. 1982), и позже их внучкой, Еленой Адриановной, в различных изданиях.

Часть из опубликованных здесь писем, – как Ефимовых, так и Фаворских (в составе избранного корпуса их эпистолярных наследий), – была в свое время предварительно разобрана и распечатана (на ундервуде) Еленой Владимировной Дервиз.

Составители благодарят за помощь в подготовке настоящего издания Вячеслава Евдокимовича Волкова, Ирину Георгиевну Коровай, Ирину Владимировну Голицыну, а также правнука В.А. и М.В. Фаворских – Николая Шаховского и праправнучек И.С. и Н.Я. Ефимовых – Анну, Эльзу и Наталию Голицыных, Елену и Марию Пузыревых.

СОКРАЩЕНИЯ ИМЕН И КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
ЛЮДЕЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОМИНАЕМЫХ В ПИСЬМАХ

И. С.; Ив.Сем. – **Иван Семенович Ефимов**

Н.Я.; Ниночка – **Нина Яковлевна Симонович-Ефимова**

В.А.; Володя – **Владимир Андреевич Фаворский**

М.В.; Маруся – **Мария Владимировна Фаворская (урожд. Дервиз)**

А.Е. – **Андрей Евграфович Фаворский** (1845–1924) – отец В.А.

Присяжный поверенный, член Московской судебной палаты; уроженец Павлова на Оке, старший сын в многодетной (5 братьев и 2 сестры) и рано осиротевшей семье священника; земский и общественный деятель; член I Государственной Думы от Нижегородской губернии. После революции с 1920 года жил в Сергиеве и работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (созданной в 1918 году по концепции и под руководством о. Павла Флоренского).

О.В. – **Ольга Владимировна Фаворская** (1855–1939) – мать В.А.

Художница; старшая дочь в большой семье (5 братьев и 5 сестер) московского архитектора, скульптора и живописца В.О. Шервуда; училась у своего отца; помогала ему в работе над проектом Исторического музея; впоследствии посвятила свою жизнь мужу, семье и помощи многочисленным родичам и близким, но продолжала работать и как художник: главная ее тема – цветы.

А.С.; бабушка – **Аделаида Семеновна Симонович** (1844–1933) – мать Н.Я. и бабушка М.В.

Педагог; основоположница (совместно с Я.М. Симоновичем, 1840–1883) теории и практики русской дошкольной педагогики; оба – «шестидесятники», последователи Герцена, который и «благословил» их на реальную бескорыстную деятельность в России. А.С. и ее муж (врач и педагог) организовали в Петербурге первый русский детский сад (1866); издавали журнал «Детский сад», где печатали свои и переводные статьи. А.С. вела «элементарную школу» – несколько лет в Тифлисе, затем снова в Петербурге; воспитала плеяду последователей. В трудовой семье Симоновичей, где было 6 своих детей, воспитывались Валентин Серов (племянник А.С.) и сирота Ольга Трубникова (ставшая впоследствии его женой; и она, и все сестры Симонович служили Серову моделями – «Девушка, освещенная солнцем» [ГТГ] и «П-т М.Я. Львовой» [Орсэ, Париж], «Н.Я. Дервиз с ребенком» [ГТГ] и др.). После замужества дочери Нади и приобретения ее мужем Вл. фон Дервизом имения Домотканова (1886) А.С. жила там с младшими детьми; долгие годы возглавляла построенную Вл.Дм. школу, где учила крестьянских детей (многие из них стали сельскими учителями). После Гражданской, совсем слепая, жила в Сергиеве (Загорске) в семье внучки – М.В. Фаворской и помогала воспитывать правнуков.

Вл. Дм. – **Владимир Дмитриевич** (фон) **Дервиз** (1859–1937) – отец М.В.

Художник, акварелист; учился в Академии художеств вместе (и в дальнейшем был дружен) с В.А. Серовым и М.А. Врубелем; окончил также Училище правоведения. В 1885, женившись на двоюродной сестре Серова – Надежде Симонович (1866–1908) и получив от отца (петербургского сенатора) свою долю капитала, купил в Тверской губ. имение

Домотканово и до кончины жены энергично занимался устройством и модернизацией хозяйства – и своего и крестьянского (душою усадьбы и для домашних и для крестьян была Надежда Яковлевна). Много лет Вл. Дм. активно работал в земстве, решая вопросы образования, «народного здравия» и пр.; избирался председателем Тверской уездной и губернской земских управ. После революции, изгнанный из имения, в голодной Москве 1919–1920 годов зарабатывал починкой обуви. С 1920 по 1928 жил и работал в Сергиеве – сначала в Комиссии по охране памятников Лавры; в 1922 при изъятии властями «церковных ценностей» он вместе с Ю. А. Олсуфьевым в тяжелейших бытовых условиях сумел сохранить для Истории и Культуры бесценные сокровища монастыря (сдав наименее значимые, но богатые драгкамнями и массивные золотые и серебряные вещи). Затем, до усиления репрессий, был первым заведующим музея Лавры.

Леля – **Елена Владимировна Дервиз** (1889–1975) – сестра М. В. и племянница Н. Я.

Пианистка. Вся ее жизнь прошла под знаком самоотверженного исполнения долга. В 1917, окончив консерваторию, пошла медсестрой в полевой госпиталь; во время Гражданской (опять работая в госпитале, в Сызрани) повредила руку и впоследствии уже не могла концертировать; была аккомпаниатором на музыкальных курсах; также зарабатывала машинописью; безоговорочно жертвовала всем для помощи в творчестве и в быту – Фаворским, Ефимовым, другим – и родным и друзьям. Что касается личной жизни: ее избранник, Михаил Тимофеевич Маркелов (1899–1937) – ученый-этнограф Московского музея народоведения (по происхождению мордвин; ездил в экспедиции вместе с Ефимовым и боготворил его) – был арестован в 1933 как «националист» и сослан в Забайкалье (работал на мерзлотной станции в Сковородине и близко общался там с другом Ефимовых и Фаворского – П. А. Флоренским); в 1934 переведен в Томск (поднадзорным) – для преподавания в местном университете; туда к нему уезжала и Е. В. Дервиз. В 1937 его повторно «судили»: 10 лет без права переписки. Тогда не знали, что это был – расстрел.

Митя – **Дмитрий Владимирович Дервиз** (1893–1919) – брат М. В. и племянник Н. Я.

Археолог. В последний год Первой мировой войны пошел добровольцем на фронт, не окончив университета (служил метеорологом); в декабре 1919 простудился, добывая топливо (доски заборов) на улицах вымерзающей Москвы для своей семьи (двухлетний сын и новорожденная дочь), и скоропостижно скончался от воспаления легких.

Аня – **Анна Николаевна Чехова** (1896–1985) – невеста, потом жена Д. В. (Мити) Дервиза.

Кандидат медицинских наук, психолог; в 1950–1960-е гг. была главным детским врачом-психиатром города Москвы. Последовательница теософского учения, автор дневников, изданных в 1995 году под названием «Беседы друга».

Адриан – **Адриан Иванович Ефимов** (1907–2000) – сын Н. Я. и И. С.

Известный ученый, геолог, один из первых исследователей гидрогеологических условий и вечной мерзлоты Якутии. Во время Великой Отечественной войны (с 1941 по 1943) был командирован в расположение Забайкальского фронта для выбора и инженерно-геологического обследования площадок под строительство военных аэродромов и крупных технических объектов. Биограф, а также хранитель творческого – художественного и литературного – наследия своих родителей. Много сделал в его изучении, систематизации и подготовке различных изданий и публикаций. Ему же во многом принадлежит заслуга организации музея В. А. Серова в Домотканове и исследования исторических и культурологических связей всех домотканковцев.

Коля; Ник. Я. – **Николай Яковлевич Симонович** (1869–1937/?) – брат Н. Я. и дядя М. В.

Бактериолог, врач; толстовец. С молодости потерял слух, но это не мешало ему в жизни и в работе. Выстроил недалеко от Домотканова по своему оригинальному проекту бревенчатый усадебный дом – «Заовражье»; содержал собственную бактериологическую лабораторию при тверской губернской земской больнице; в 1919 сумел вывезти вагон с оборудованием и развернуть лабораторию в Липецке при городском Минздравотделе и с этого времени работал и жил там вместе с женой и дочерью. (С ними же отправились в Липецк и пробыли там до 1921 года Адриан Ефимов с бабушкой А. С.) В 1936 Ник. Я. был арестован и затем отправлен в Сибирь. Как, где и когда он погиб – неизвестно.

Наташа – **Наталья Николаевна Симонович** (1890–1942) – дочь Ник. Я.

Математик, педагог. Любимая племянница Н. Я., любимая с детства кузина М. В. Преподавала в Твери, после Гражданской – в школах Липецка, с начала 1930-х – на курсах для рабочих и инженеров строящегося металлургического комбината. Личная жизнь Н. Н. трагична: ее поздняя и единственная любовь – молодой блестящий инженер Александр Борисович Сехон (ок. 1900–1937/?) был арестован («за слова») в 1935-м. Н. Н. поехала за ним, нашла его на стройках Норильлага, зарегистрировала брак и получила право 2 недели прожить с ним внутри зоны. Узнав об обвинении отца, вернулась в Липецк; затем, в 1937 – снова на Енисей, но ее уже не пустили в Норильск, и она жила в Дудинке, только переписываясь с мужем; потом и письма прекратились. В 1940-м, похоронив мать, неизлечимо больная диабетом, с клеймом «жены врага народа», приехала в Москву к Ефимовым и Фаворским; в 1941 не стала эвакуироваться из города и умерла в больнице, в самый тяжелый год войны, и зарыта в общей могиле. *(Н. Я. Симонович-Ефимова в конце своей жизни написала о ней пронзительно исповедальный рассказ – «История одной девушки». Не опубликован.)*

Вал. Дм. – **Валериан Дмитриевич** (фон) **Дервиз** (1869–1917) – брат Вл. Дм., дядя М. В.

Математик. После женитьбы построил в Домотканове, рядом со старым усадебным домом брата, свой дом (как раз в нем размещена теперь экспозиция музея В. А. Серова). В последний день московского октябрьского восстания 1917 года (2 ноября по ст. ст.) Вал. Дм. был убит на улице шальной пулей.

Ляля – **Аделаида Яковлевна Дервиз** (урожд. Симонович; 1872–1945) – сестра Н. Я., тетя М. В.

Модель известной картины В. А. Серова «П-т А. Я. Симонович» [ГТГ]. С юности помогала матери – в школе, сестре Наде – в ведении домоткановского усадебного хозяйства. С 18 лет потеряла слух. Жена Вал. Дм. Дервиза и мать Юры и Гриши.

Юра и Гриша – племянники Н. Я. и «дважды» двоюродные братья М. В.

Георгий Валерианович Дервиз (1897–1980)

Тогда – студент медицинского факультета Московского университета; в 1919 работал в передвижном госпитале (вместе с матерью и двоюродной сестрой Лелей); впоследствии – профессор биохимии, гематолог.

Григорий Валерианович Дервиз (1899–1918)

Студент математического отделения Московского университета. После гибели отца в 1917, захвата родного дома Революционным комитетом, экспроприации (в числе всего остального) домашней научной лаборатории и библиотеки, в отчаянии от бессмысленности и дикости происходящего, покончил с собой в декабре 1918 в Домотканове.

Варя – **Варвара Яковлевна Бяшкова** (урожд. Симонович; 1868–1922) – сестра Н. Я., тетя М. В.

Рано выйдя замуж, жила с 4 детьми в Домотканове и в соседнем селе Бурашеве, где располагался больничный городок лечебницы для душевнобольных, в которой многие годы работал ее муж – Владимир Михайлович Бяшков (1854–1921), врач-психиатр; к началу войны, в связи с заменой руководства больницы и сложностями в отношениях персонала, он был вынужден уехать на Дальний Восток, на КВЖД. Вскоре туда уехала и В. Я. с младшими детьми.

Максим – **Максим Андреевич Фаворский** (1887–1948) – брат В. А.

Ветеринарный врач; учился в Варшаве в 1911–1914, но не окончил ветеринарного ф-та из-за начала войны; на фронте – в кавалерии, был ранен; в 1919–1924 работал в транспортном отделе Моссовета: пошел ломовиком – стал заведующим парком ломовых лошадей; в 1924–1926 закончил образование; работал в Киргизии; с 1932 – в Монголии, в 1933–1936 осуществлял сложнейший перегон скота в Якутию (начальник экспедиции); в конце 30-х в Мурманске – гужевой транспот на Кольском; в 1938 арестован, сидел под следствием в Крестах, через год оправдан; с 1940 старший ветврач в Наро-Фоминске; в 1943 уволен по состоянию здоровья.

Никитка – **Никита Владимирович Фаворский** (1915 –1941) – сын М. В. и В. А.

Художник, феноменально одаренный с детства, – рисовальщик, скульптор, гравер, живописец; с младенчества учился у своих родителей; среди других его учителей – П. Я. Павлинов, К. Н. Истомин; в 1938 закончил графический ф-т МИИИ, его диплом – гравюры к «Капитанской дочке» Пушкина – И. Э. Грабарь назвал «явлением в искусстве»; самостоятельными вещами участвовал рядом с отцом в монументально-живописных и книжных работах, создал яркие циклы гравюр к сказкам Б. Шергина, к армянскому эпосу, росписи санатория в Кисловодске. В 1941, имея «белый билет» (больное сердце), ушел добровольцем в ополчение и пропал без вести при обороне Москвы.

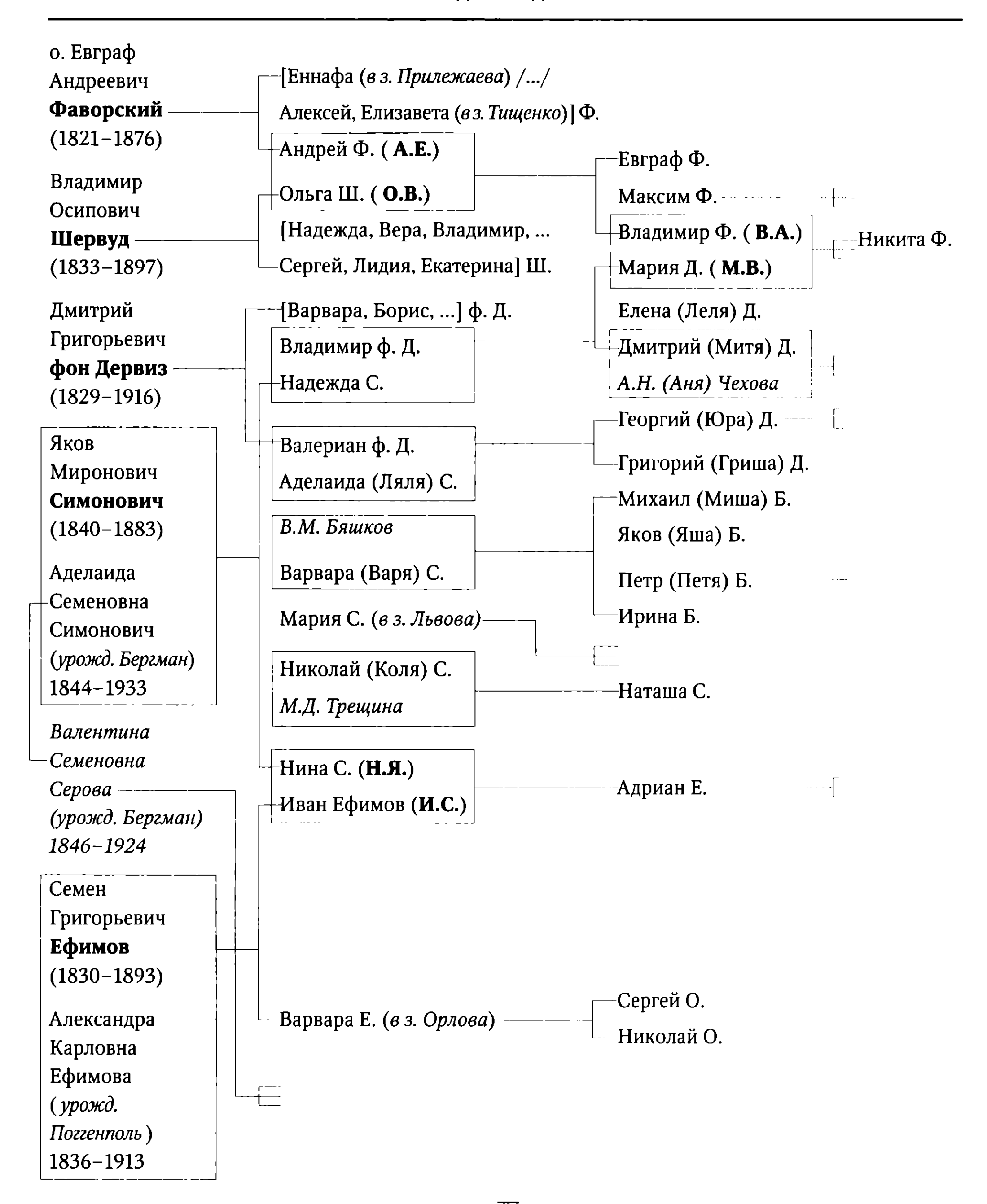
П. Я. – **Павел Яковлевич Павлинов** (1881–1966) – художник, друг В. А. и Ефимовых.

Гравер, педагог. Потомственный моряк (отец его – вице-адмирал, инспектор Морского кадетского корпуса в Петербурге). Одновременно с морской службой П. Я. стал заниматься искусством, был вольнослушателем Академии художеств; в 1911 вышел в отставку в звании капитана второго ранга и переехал в Москву; в дальнейшем – член МТХ; после революций – сподвижник В. А., преподавал вместе с ним во ВХУТЕМАСе, ВХУТЕИНе, Полиграфическом институте и МИИИ.

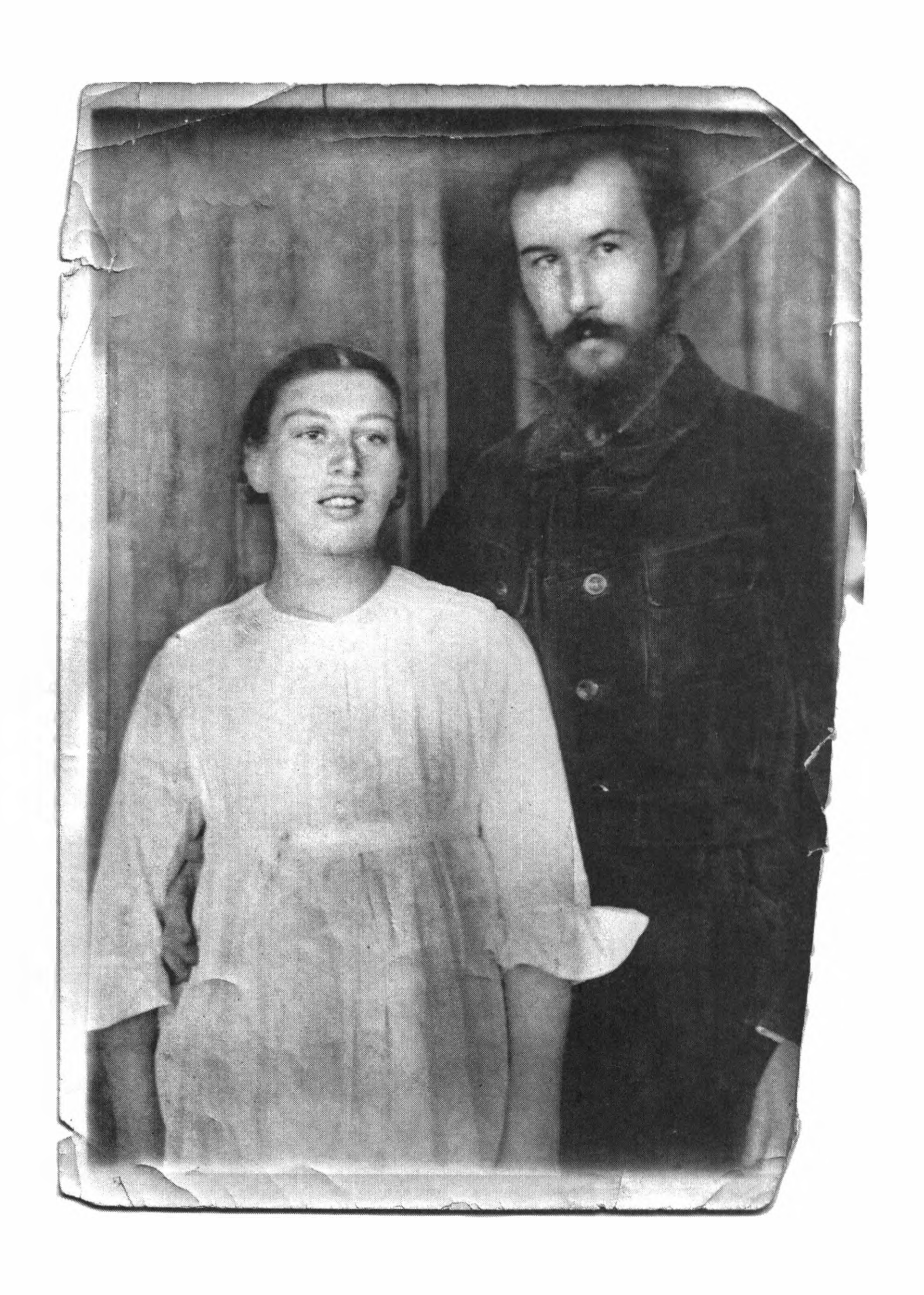
Н. Б. – **Николай Борисович Розенфельд** (1886–1936/?) – художник, друг В. А.

Иллюстратор; учился вместе с В. А. в Мюнхене, переводил вместе с ним в 1910-х гг. книги по искусству (А. Гильдебрандта и К. Фолля); работал в 1912–1913 годах с Фаворским и Истоминым над росписями в доме В. С. Шервуда. После революции Н. Б., до того живший с семьей очень бедно, принял помощь своего брата – Л. Б. Каменева, одного из большевистских вождей (и помог В. А., когда тот погибал от тифа в 1920). Оформлял книги издательства «Academia». Был арестован в 1935 (вслед за братом, который затем, после знаменитого «процесса 36-го года», – расстрелян). Н. Б. взят по т. н. «кремлевскому делу» вместе с женой и сыном (расстреляны в 1937-м). Сам Н. Б. сгинул в застенках НКВД; никаких свидетельств о нем и документов после 35-го, а также следов его работ до сих пор обнаружить не удалось.

СХЕМА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СЕМЕЙ ФАВОРСКИХ, ШЕРВУД, ФОН ДЕРВИЗ, СИМОНОВИЧ И ЕФИМОВЫХ



ПИСЬМА



М.В. и В.А. Фаворские. Фотография. 1913

ПИСЬМА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА И МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ **ФАВОРСКИХ** (А ТАКЖЕ ИЗ ИХ ПЕРЕПИСКИ С РОДИТЕЛЯМИ В. А. – АНДРЕЕМ ЕВГРАФОВИЧЕМ И ОЛЬГОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ)

Ф. *№ 1*

В. А. к родителям. *Москва – Епифановка*[1]
12 апреля 1915

Милые папа и мама я не держу экзаменов. Председатель наотрез отказался допустить меня экзаменоваться по моей специальности[2], несмотря на все мои доводы и просьбы. [...] Сессия очень странная, студенты все отлынивают держать экзамен из-за воинской повинности. Держащих мало и с ними мало церемонятся тем более что министерство торопит с экзаменами.

Был в воинском присутствии, сказали что идти мне 15 июня, что я могу высказывать желание куда я хочу поступить, но удовлетворят ли неизвестно, это зависит от вакансий. Маруся хотела ехать в Епифановку, но я сказал чтоб она спросила Лиз/авету/ Исаак/овну/[3]. Та не позволила и Маруся все думает где бы под Москвой поселиться[4], будем искать. Всего вам хорошего. [...]

Володя

[1] *Епифановка* – хутор Фаворских на Оке, около большого промыслового села Павлова (городок потомственных кустарей-ремесленников, изготовлявших ножи, замки и т. п.), где были священниками несколько поколений рода Епифановых – Фаворских (фамилия, полученная дедом В. А. в семинарии). Отец В. А., Андрей Евграфович Фаворский, построил дом и основал молочную ферму и пасеку на своей родине, на пустоши, которую купил в 1890-х годах как имущественный ценз, необходимый, чтобы стать земским гласным. Хутор он назвал в память о первоначальной родовой фамилии.

[2] *...экзаменоваться по моей специальности...* – В. А. Фаворский закончил искусствоведческое отделение (первая экспериментальная группа) историко-филологического факультета Московского университета в 1913 г. (дипломная работа «Джотто и его предшественники»), но не сдавал тогда государственный экзамен; упустил возможность сдать его и в следующем, 1914 г.

[3] *Елизавета Исааковна* – женский врач; М. В. в это время – на последнем месяце беременности. В 1913 г. первые роды были неудачными, с опасными последствиями для роженицы.

[4] *...под Москвой поселиться...* – на даче.

10 мая Мария Владимировна благополучно родила сына Никиту. Дата мобилизации В. А. немного отложена, и он ждет назначения вольноопределяющимся в учебную артиллерийскую команду. 19 июня М. В. с младенцем и с Ольгой Владимировной, матерью В. А., отправляется в Епифановку.

---------------------------------- ***Ф.** № 2* ----------------------------------

В. А. к М. В. *Москва – Епифановка*
21 июня 1915

Милая моя девочка как вы доехали, вчера приехал Митя[1] и говорит что кажется благополучно, что дождя не было. Как мальчишка Никитка, наверно много времени проводит в саду и там спит, должно быть ему очень приятно спать наруже. А ты как себя чувствуешь, отдыхается ли, и как нянька. Я конечно много об тебе думаю о твоей красоте хочется всем рассказывать, но я удерживаюсь, один раз /.../. Но ты помни меня но не скучай обо мне, а возись с мальчишкой и рисуй пожалуйста.
Мне кажется что я с солдатчиной, а ты с Никиткой немного подрастем еще, будем храбрей и когда пройдет это время заживем правильно и деловито, будем работать и отметать все что может мешать работе. Я тут сейчас вожусь с теми же делами, на днях пойду на осмотр[2]. Вчера был у Эдинга[3], он какой-то тоскливый, вчера же уехал в Ростов, тащил меня но я конечно отказался – если бы было время, лучше приехал бы к вам. Кроме Эдинга почти никого не видал, Москва с отъездом вашим совсем вымерла, поэтому иногда скучно и я читаю тогда «Идиота» Достоевского и получаю большое удовольствие. [...]
К Максиму пойду[4] сегодня, а вчера была Маша[5] и Митя [Тищенко] у него, а раньше еще Даша[6]; он поживает не плохо, но скучает. Милая женушка как-нибудь ты снимись и пришли мне, и один раз снимись пожалуйста в новом пальто и в новой твоей шапочке. Целую тебя крепко крепко [...], мальчишечке от меня поклон, напиши мне про него, что он еще не улыбался как следует? Ну всего хорошего кланяюсь всем маму крепко целую

твой муж

Володька

[1] *...приехал Митя...* – Дмитрий Вячеславович Тищенко – двоюродный брат В. А., приехал из Епифановки.

[2] *Осмотр* – очевидно, военно-медицинская комиссия.

[3] *Эдинг* (фон) Борис Николаевич (1889–1919) – искусствовед; уроженец Ростова Великого, учился на историко-филологическом факультете Московского университета (чуть раньше Фаворского), остался при кафедре искусствоведения и вскоре получил степень профессора; специалист по древнерусскому искусству; внештатный сотрудник Румянцевского музея; друг В. А.

[4] *Максим* – младший брат В. А.; *пойду* – на квартиру, а м. б., в больницу: *...Максим Андреевич [...] с самого начала войны хотел идти добровольцем, но его не брали из-за того, что у него около сердца сидела пуля [в юности стрелялся] и вызывала постоянные плевриты...* (из «Записок» М. В.).

[5] *Маша* – Мария Александровна Сутырина (урожд. Прилежаева; 1869–1917), двоюродная сестра В. А.

[6] *Даша* – Дарья Пучкова; с давних лет кухарка в семье Фаворских.

Ф. № 3

В. А. к М. В. *Москва – Епифановка*
28 июня 1915
Начало письма утрачено.

/.../ все из рук валится и я набрасываюсь на книги и читаю их запоем так что голова делается тяжелой и ничего не соображаешь, только когда тебе пишу мне делается ясна моя жизнь; ну ничего это пройдет. Я ужасно рад что ты чувствуешь самое важное, хорошее на буграх[1], это самое верное в жизни – я хоть сейчас этого и не чувствую но помню про это и знаю. И вот мне тоже хочется молиться чтоб Бога чувствовать, я тоже не умею но мне кажется что только начать и тогда поймешь как нужно это делать.

28 июня

(Тут приехал папа и вышел перерыв довольно длинный; сейчас он ушел к Максиму, а я сел тебе писать. Папа сегодня поедет и отвезет тебе письмо.) Сегодня воскресенье и мне захотелось пойти в церковь, позвал папу, он очень обрадовался, но как всегда так долго копался что мы пришли к самому концу. Я все больше убеждаюсь, что в церкви молитва должна быть особая, про себя нельзя молиться а нужно со всеми. А вообще насчет молитвы мне кажется, что тут дело главным образом в энергии. Может взять тебе на бугры твой маленький образок или даже крестик и где-нибудь в тихом месте и помолиться. Пусть молитва состоит в том хотя бы, чтоб твое чувство «что все-таки хорошо» углубить и выяснить себе. Или можешь помолиться обо мне, чтоб я был сильнее духом и чтобы мне уяснить себе жизнь более чем до сих пор. Во всяком случае молитва даст такие моменты когда туман мелочей рассеется, а такие моменты

очень нужны. Мне тоже очень хочется молиться, да я все не решаюсь. Ты мне напиши обо всем этом, может быть когда мы опять будем вместе, будем вместе молиться рядышком. Кажется мне что может быть нужны слова чужие, хотя бы для начала и я искал и вот мне кажется хорошая молитва духу святому, ты ее должно быть знаешь но я все-таки ее тебе напишу: Царю Небесный, утешителю душе истинный, иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, прииде и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси блаже души наша.
Девочка моя я пишу тебе может быть и зря, но с самой самой большой любовью к тебе. Может быть когда на молитве у тебя будут какие-нибудь слова так ты мне напиши их.
Насчет всего житейского еще вот что: купил тебе красок и семян но если еще понадобятся какие краски напиши мне – я пришлю тебе тогда с тетей Лидой[2]. Вчера являюсь в Крутицы[3] с запиской на которой написано что явившись я делаюсь солдатом, но меня отпустили еще до вторника и тогда уж я получу назначение в часть, попаду на Ходынку и буду видеться с Мишкой Шиком[4]. Сейчас, кроме того, заходил *Виктор Алексеевич*, он тоже поступил в солдаты – в Александровское училище, будет тоже на Ходынке. Все кругом становятся солдатами. Насчет денег я беспокоился – решил что с киоском[5] ничего не сделаешь, хотел брать у Сахарова заработанные[6] да скоро не получишь, но теперь папашка дал взаймы 50 рублей и я за лето во всяком случае обойдусь с ними. Я все еще не остригся, все никак не решусь но как остригусь то обязательно пришлю тебе фотографии. А ты тоже обязательно снимись несколько раз как хочешь, но одну карточку вот так: небольшую фигуру и всю целиком знаешь как в старину снимались и в самом твоем лучшем платье и может быть в шапочке новой.
Девочка извини меня что я тебе редко пишу, обязательно буду писать чаще. Ты не удивляйся что я про мальчишку мало пишу, я все время его помню, между прочим четверг прошел и вы наверное его вешали, сколько он прибавился напиши мне пожалуйста. [...]
Так милушканка моя Синькамарушка Мерихинахина[7] девочка ненаглядная царевна-королевна, я как вспомню о твоих плечах /.../ о спинке /.../ о круглых ножках, о всем [...] так прямо с ума схожу.
Ну всего тебе хорошего целую тебя. Целую мамашку, ты читай ей места которые не стыдно, всем другим тоже кланяюсь. Пришли мне какой-нибудь рисуночек твой пожалуйста

твой муж и обожающий тебя рыцарь

Владикан

[1] *На буграх.* – Хутор Епифановка построен А.Е. Фаворским на песчаной боровой гриве над поймой Оки. Часть соснового бора здесь когда-то была сведена, и образовались *большие оголенные пространства сероватых бугров, где трава даже весной не вся зеленая [...]; растет мелко изрезанная гвоздика, вроде дрёмы; перекати-поле, богородицына травка, больше же всего – вереска. Воздух тут сухой, пахнет размякшей на солнце смолой...* (из рассказа В.А. о Епифановке, записанного М.В. и приведенного в ее «Записках»). Это особенно любимое ими из тамошних мест.

[2] *Тетя Лида* – Лидия Владимировна Ганешина (урожд. Шервуд), сестра О.В.

[3] *Крутицы* – Крутицкие казармы, названные по соседнему монастырскому подворью, часть зданий которого в 1798 году была передана городскому гарнизону. С начала Первой мировой войны здесь находилась 6-я московская школа прапорщиков.

[4] *Мишка Шик* – Михаил Владимирович Шик (1887–1937), философ, впоследствии священник; близкий друг В.А. еще с гимназии; в это время также был мобилизован в армию.

[5] В архиве В.А. (на обороте пробного оттиска одной из его гравюр этого времени) намечен черновик текста для объявления: *Художник /пишет* – зачеркнуто/ *декорации и проэкты постановок. Предлагает г. г. артистам исполнять плакаты режет клише программ, обложек, объявлений, портретов на линолеуме Проэктирование костюмов (?) Справки в кассе.* Возможно, что фраза о «киоске» (очевидно, билетном) связана именно с этой попыткой заработка.

[6] *Сахаров* Сергей Иванович (1885–1956) – издатель (дядя ученого и правозащитника А.Д. Сахарова); *заработанные* – вероятно, гонорар за выполненный (совместно с Н.Б. Розенфельдом) перевод с немецкого книги К. Фолля «Опыты сравнительного изучения картин». Книга вышла в 1916 году.

[7] Эта форма обращения (в разных вариациях) неоднократно возникает в переписке В.А. и М.В. – либо она взята из народной поэтики, либо произведена ими по примеру оной, но из каких-то сугубо личных именований.

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 4* ----------------------------------

Из ответного письма[1] В.А. к М.В.
Начало июля

Маруся, как тебе не стыдно – я был ужасно возмущен твоим письмом, но стараюсь отнестись как можно хладнокровнее. [...] По-моему несомненно мальчишке лучше в Епифановке чем в Домотканове, уж просто потому что там мама которая тебе помогает всячески, да кроме того еще вопрос, успокоишься ли ты у себя или нет. Ведь несомненно это у тебя каприз, а если в Домотканове явится другой какой-нибудь, то кто будет ухаживать за тобой и за мальчишкой. [...] Ведь я связан по рукам и по ногам, помочь тебе лично ничем не смогу. [...] Если же ты мне закатишь подобное письмо из Домотканова, так мне останется только стреляться, просто я прошу у тебя пощады. Правда может быть я никогда на войну не попаду, но даже то учение которое мне предстоит, по-

требует от меня всех физических и даже нравственных сил и мне нужно хоть немножко бодрости, а ты всю ее у меня отнимаешь. [...]

[1] Приведено в «Записках» М. В. Сами письма (оба) утрачены. Пояснение М. В. к этому отрывку:

Ольга Владимировна самоотверженно помогала мне с ребенком и всячески обо мне заботилась. [...] Никите взяли няню. Я могла бы жить не тужить. Но несмотря ни на что я затосковала и решила ехать в Домотканово, которое гораздо ближе к Москве, чем Епифановка. И я надеялась, что Владимир Андреевич сможет туда приезжать по воскресеньям. В молодости что заберешь себе в голову, то и делаешь, не слушая разумных доводов [...]

М. В. с Никитой вернулась в Москву и 7 июля отправилась к «себе», в имение. В. А. определен в казармы на Ходынке (1-я запасная артиллерийская бригада команды вольноопределяющихся).

Ф. *№ 5*

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
(*1-е письмо*)
11 июля 1915

Милая моя Маруська пишу тебе письмо а что писать не знаю – потому ли что много, потому ли что сумбурно. Главное мне хочется узнать об тебе как ты там с Никиткой поживаешь. Очень хочется мне надеяться что все у тебя благополучно и ты набралась бодрости и не унываешь. Если ты напишешь мне печальное письмо то мне будет очень неприятно. Я почувствую очень сильно что я не свободен. Напиши пожалуйста мне об себе. А обо мне на первый раз я напишу кратко. В казармы я попал сейчас же как ты уехала, на другой день в среду[1] вечером. Большой сарай, нары, человек сорок вольноопределяющихся, народ очень различный и есть очевидно очень славные а есть и плоховатые но очень плохих нет – просто глупые. Некоторые уж друг с другом ссорятся, переругиваются, но это с обоюдного согласия и к тому кто не хочет этого, не пристают. Меня особенно гарантирует от этого моя борода, она всем внушает уважение. Есть у нас и ближайшее начальство и надо сказать, в общем хорошее: во-первых взводный, хохол геркулесовского сложения и очень добродушный – Минько. Потом подпрапорщик – этот безразличный. Затем прапорщик Грюнберг – этот правда нервный че-

ловек, но хороший. Вот все люди которые могут доставлять мне неприятность или не доставлять ее.

Когда начались занятия я таки побаивался что мне будет плохо но теперь вижу что все это не так трудно. Пока нога не болит[2] я тут и прыгаю и бегаю как давно не бегал. А в верховой езде у меня оказались несомненные таланты. Вот и вся жизнь и все бы не плохо если бы не блохи – их из-за песчаной почвы ужасно много и они не дают спать, но усталость помогает. К тебе я весьма вероятно /.../

конец письма утрачен.

[1] *В среду* – 8 июля.

[2] *...нога не болит...* – Речь идет о ревматических болях, беспокоивших В. А. всю жизнь; в 1913 году он прошел курс грязевого лечения под Одессой.

--- ***Ф.*** *№ 6* ---

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
(*2-е письмо*)
19 июля 1915

Милая моя женушка жду с нетерпением от тебя письма. Была у меня Даша и принесла от тебя открытку, но этого мне конечно мало. Насчет того чтобы с тобой увидаться пока ничего не ясно, покажет будущее. Как поживает Никитка, я больше и больше его люблю, он был-то восхитителен а теперь наверное прямо прелесть что такое. Я верю что у тебя все хорошо, скучаю по тебе ужасно; тут много товарищей надевают шашки, шпоры и удирают ухаживать за девицами, я это не осуждаю но конечно не могу им следовать. Сижу и вспоминаю о тебе, у меня уже есть дама и шашку и шпоры я могу надеть только для нее. Но живем мы здесь в такой холостой обстановке в бараке что представить себе что ты можешь находиться здесь, невероятно. Поэтому нужно терпеть.

Начальство хорошее но как я тебе уж писал сбивается немного, то видит в нас солдат – то интеллигентных людей, то мальчиков – то взрослых. Поэтому быть наказанным очень легко а наказания тут такие: без отпуска, не в очередь дневалить и стоять под ранцем[1]. Так что ты не удивляйся если напишу тебе что стоял под ранцем, хотя борода моя меня выручает, уважение мне за нее большое. Но попасть под ранец можно просто за то что упадешь с лошади или не так прыгнешь на гимнастике. Занятия наши состоят в следующем: гимнастика без аппаратов[2] – это конечно легко, затем гимнастика на аппаратах – это довольно трудно

но думаю что в скором времени справлюсь. Затем езда на лошади без стремян, это тоже трудно, особенно когда лошадь бежит не ровно а бросается и беспокоится, но я еще ни разу не летал; при этом за луку нельзя хвататься, а если схватишься то наказывают ранцем. Все это ужасно чудно но я не думаю чтоб это было обидно.

Затем мы занимаемся устройством пушки и нас учат как стрелять. Пробудем мы здесь по крайней мере 8 месяцев и тогда только нас произведут в прапорщики. А зимой кажется можно будет жить дома и это будет для меня большое счастье. Вот какова моя жизнь.

Хочется мне ее усладить еще рисованием и думаньем об искусстве, но это трудновато так как все время с народом и почти никогда один. Напиши мне поскорее и пиши мне почаще даже если я буду не так часто писать, потому что мне мало времени и я здорово устаю спервоначалу, а письмо от тебя для меня большая радость. И напиши о Никитке, он наверно улыбается уж как следует и наверно восхитителен, поцелуй его от меня куда только можно. Любит ли его крестная мамаша[3], наверное любит, кланяйся ей низко и поцелуй от меня. Поклон Вл. Дм.[4] и Дм. Вл.[5] Что слыхать об Ефимовых. Ну всего хорошего любимая моя целую тебя крепко и всегда помню об тебе помни и ты меня жду твоего письма на днях. Если случилась какая-нибудь чепуха с Никиткой, то не кисни, важно относиться бодро и спокойно

твой муж
и рыцарь Владикан

[1] *Стоять под ранцем* – принятое тогда в армейском ученье наказание – стоять по стойке «смирно» назначенное время (2 и более часов), с ранцем, наполненным песком.

[2] *Аппараты* – гимнастические снаряды.

[3] *Крестная* мать Никиты – Елена Владимировна (Леля) Дервиз, сестра М. В.

[4] *Владимир Дмитриевич* (фон) Дервиз – отец М. В.

[5] *Дмитрий Владимирович* Дервиз – брат М. В.

Ф. *№ 7*

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
Около 20 июля 1915

Милый Володя, милый мой муж и рыцарь. Ты представь себе, какая игра природы! 4 дня тому назад у меня явилось столько, столько молока, что и до сих пор все много и много! Прямо, знаешь, мне тяжело и даже больно бывает, огромные груди стали – тебе бы пожалуй

не понравилось. Никита все время объедается, стал сразу прямо толстяк; вчера приехала бабушка, она сегодня спала с Никитой, и я наконец выспалась!!

Настя[1] очень хорошо справляется с Никитой и если она согласится, я ее оставлю на зиму. А зиму решила жить так: если ты будешь жить дома, я буду тоже конечно в Москве; если же ты будешь в казармах, я приеду повидаться (и Никиту возьму), а буду жить в Домотканове.

Вчера все жители Щербинина, Чеховы[2] и еще две барышни, Митя, Юра и Гриша пошли на Старковское озеро. Одна девица упала в озеро, с головой ушла в воду; ее вытащили; они все пришли к нам, а Леля была в городе, папа провожал Марию Алекс/андровну/[3] в Щербинино; а мы с бабушкой сидели при потухающей лампе и все эти гости пришли, целая толпа; мы были рады, когда все они пошли к Ляле[4] есть и пить.

Зачем я пишу тебе все эти мелочи? Просто тороплюсь и пишу без разбора; прости, что пишу плохие письма.

Тороплюсь, потому что Никита сейчас проснется, и есть ему пора, я все жду не дождусь, молока слишком много, тяжело.

Никита срыгивает и объедается, беднюк.

Бабушке нравится мальчик.

С бабушкой я видно не буду уставать, хотя ей трудно его держать, тяжел, 12 ½![5]

Если бы ты приехал?

Что же ты долго не пишешь? правда 2 письма я здесь твои получила.

Приписка другой рукой:
Дорогой Владимир Андреевич, Никитушка прелестен – спокойный, прекрасный младенец, я скорблю о том, что вы его не видите. Маруся также достойна похвалы.

Прабабушка[6].

[1] *Настя* – няня, очевидно из знакомых, взятая к Никите.

[2] *Чеховы* – невеста Мити Дервиза – Анна Николаевна Чехова, вероятно, ее брат Шура и кто-то из ее сестер. Чеховы жили на даче в Щербинине – деревне близ Домотканова.

[3] *Мария Александровна* Чехова (1866–1937) – мать А. Н. Чеховой, педагог, общественный деятель. Один из лидеров движения за равноправие женщин.

[4] *...пошли к Ляле...* – т. е. в дом А. Я. и Вал. Дм. Дервизов.

[5] *12 ½* фунтов.

[6] *Прабабушка* Никиты, бабушка М. В. – Аделаида Семеновна Симонович.

М. В. к В.А *Домотканово – Москва (казармы)*
Конец (24?) июля 1915

Милый Володя, сейчас много гостей здесь в зале, папа поет, я в уголке в темноте пишу тебе, потому что хочу быть с тобой сейчас.

/.../

«Иль со щитом иль на щите!»

Это ты рыцарь Владикан.

Мой самый любимый, возлюбленный, красавец, муж мой и повелитель, папа поет, и я хочу к тебе так сильно, что пение мне доставляет и наслаждение и мучение, потому что тебя нет. /.../

Дальше отрезана часть листа.

На обороте:

/.../ вот ушли они вниз чай пить. /*цифры, карандашом*/ а это Леля рассчитывала вес Никитки; как видишь – 13 ф.

Все ушли вниз, а я сижу со свечкой в спальне; Никита похрапывает. Он сегодня весь день плохо спал и все сердится: я испугалась что у меня столько молока; перестала есть и очень уставала в огороде – все полола. Молоко опять пропало, совсем мало; Никита сердится. Нет, Володичка я кажется не буду спать; /.../ когда же наконец мы увидимся, мой единственный, любимый, драгоценный и самый, лучший?

Папа говорил об тебе, я подробно спрашивала и представляю себе сарай, нары и тебя, сильного и красивого в военной форме. Ты пиши мне обо всем: об твоих товарищах, об твоем учении, об том, куда вы ходите гулять? (папа сказал – ты гулял, когда он пришел) и как ты спишь, как ешь, что говоришь с товарищами, /.../

Остальное отрезано.

Обрывок, вероятно, из отрезанной части того же письма:

24-го июля 1915 (*помечено рукой М. В.*)

/.../ Возлюбленный мой! Я представляю тебя в военной форме, со шпорами? Всего тебя представляю, всю твою стройную фигуру /.../

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
27 июля 1915

Милый мой муж Володя, Никитка хороший мальчик, мы с Лялей ужасно жалеем, что ты его не видишь. Когда же наконец ты сможешь приехать? И смогут ли тебя вообще отпустить куда-либо?

Я бы хотела описывать тебе каждый день. Вчера на меня рассердилась Ляля, ужасно ругала: оказывается, папа подозревает, что Ляля оказывает на меня нехорошее действие, т. е., как побываю у Ляли, будто бы я плачу. Это неверно, но приходилось верно так случайно, да и вообще я плачу оч/ень/ мало, вот третьего дня из-за его насморка чуть-чуть поплакала, а папа Лялю ругал, а она меня: я, говорит, «уж лучше до Никиты и не дотронусь, хотя я с удовольствием с ним бываю, нет уж лучше я не буду тебе помогать, справляйся как хочешь одна». /.../ Мне стало так обидно, я пошла в Грыскино[1] и пробовала молиться; перед Богом я не чувствую себя виноватой, мне обидно, главное, когда говоришь, и не понимают. Пошла собирать ягоды с Лелей, смородину; там Шура собирает тоже; он, этот Шура Чехов (ты его знаешь), обстриг волосы и стал гораздо лучше; его родители и сестры в Щербинине на даче, а он почти живет у нас и, я в этом уверена, любит Лелю; он постоянно с ней, собирает ягоды, убирает сено, косит, гуляет. Мы с Лелей привыкли к нему и разговариваем при нем почти как без него. Он чуткий и умный, так говорит Леля (я его не знаю), но Леля его конечно не любит, или если любит, то совсем не как он ее; это все мои наблюдения, а мы с ней не говорили об этом.

Ах, Володя, Никита сейчас заснул, и плохо дышит, беднюк, во сне стонет, у него опять совсем заложен нос. Вчерашнюю ночь я все слушала, как он дышит, и боялась ужасно, а когда начинала кормить, он страшно давился. И сейчас трудно дышит. Жаль мне его. И не буду видно и эту ночь спать. А сегодня была Наташина мама[2] здесь; любовалась на Никиту, он был веселый и хороший днем /.../

Ну, папа едет на Чуприяновку[3]
до свид/ания/
мой милый.
Сегодня Никита лучше.
От О. В.[4] получила хорошее письмо
твоя жена
я оч/ень/ тебя люблю

[1] *Грыскино* – лес рядом с домоткановской усадьбой.

[2] Мария Дмитриевна Симонович (урожд. Трещина; 1860–1939) – мать Наташи С.

[3] *Чуприяновка* – ближайший железнодорожный полустанок в 6 верстах от Домотканова.

[4] *О. В.* – Ольга Владимировна Фаворская – мать В. А.

------------------------------ **Ф.** *№ 10* ------------------------------

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
(*3-е письмо*)
Конец июля 1915

Милая моя любимая хорошая женушка получил я уж пятое твое письмо а тебе пишу только третье, совестно мне, но я думаю что налажусь и буду писать тебе как можно чаще. Очень мне хочется видеть тебя и Никитушку, но и когда это можно будет, и в какой форме, я еще не знаю. Отпуски[1] в Москву дают очень просто но из Москвы возможно что совсем не дают, а зайцем я пока погожу. Очень я скучаю об тебе и думаю много об моей красавице и серьезно прошу тебя: снимись пожалуйста только одна и в самой красивой одежде и всю фигурку твою чтобы можно было видеть. Снимись пожалуйста и пришли мне в письме, наверное кто-нибудь может снять тебя. А я сам как только смогу снимусь и пришлю тебе.

Письма твои для меня доставляют ужасное наслаждение, прямо праздники и письма твои такие хорошие. Насчет няни я знаю только что Даше нельзя, так как не может оставить квартиру[2]. [...] А кого тебе предлагает Даша я не знаю. Но ты молодец удивительный. Каждый вечер я молюсь об тебе и об себе, конечно все очень плохо и спешно, особенно тут при людях, но можно это когда ляжешь и накроешься одеялом, или когда все поют Отче наш. Писать лекции[3] или рисовать я еще не наладил, но все-таки надеюсь.

За немногими исключениями всю работу я делаю с удовольствием. Всю физическую работу (может это и чудно) я делаю всегда с мыслью что буду сильнее и красивее телом для тебя, и действительно может быть и буду немного сильнее. Сегодня например меня раньше срока посадили ездить без стремян, с ранее пришедшими, и ездили почти час – устал я очень но удовольствие большое; но всегда тут должна быть мысль что тебя могут за какую-нибудь неисправность поставить под ранец, пока со мной этого не случилось, но это до того чудно что думаю что приму как приключение или как ту же гимнастику. Кое-кто из товарищей оказались очень симпатичными, и с ними собираюсь заниматься теорией артиллерии, которая очень интересна. Да вообще я кажется поставил

себя здесь не плохо, меня немного стесняются. Подробнее не знаю стоит ли тебе писать. Может в другом письме напишу. Ты может быть спросишь что тебя заинтересует в моем житье бытье.
Об Никитке мне пиши пожалуйста; на Лелю по-моему не стоит сердиться, я не знаю правда ли это, но мне кажется у ней маленький перелом, она как-то больше веселится и толкается с людьми и думает об своей красоте (конечно в хорошем смысле), а ведь это, особенно для нее, очень хорошо. Затем ведь для Никитки стараться обязаны мы с тобой, а я к сожалению не могу. Но кроме того ведь они все-таки тебе помогают наверное много.
Да об Никитушке пиши мне, и знаешь, я раньше всегда вызывал его образ, как он лежал нагишом когда доктор его раздел, а теперь этот образ отложил, потому что мне кажется что Никитка сильно наверное изменился. Знаешь что, может быть ты сделаешь маленький рисуночек карандашом и пришлешь мне. Я вдвойне тебе буду благодарен и как за рисунок, так и за изображение Никитки – очень бы мне хотелось видеть его. Между прочим я ведь остригся довольно коротко и затылок у меня совсем такой как у Никитки.
Я уже два раза ходил в отпуск, в первый раз в Москву, видел кое-кого, но там с непривычки тяжело – все козырять нужно, так что на улице ни о чем другом и не думаешь, а во второй праздник я не мог идти надолго и отправился на несколько часов и так как думал об Никитке и об тебе, да и не хотелось идти в город, вспомнил что недалеко, всего 4 версты от Ходынки в Серебряном бору живут Павлиновы[4] и пошел туда чтоб посмотреть их мальчика. Пришел туда, искал искал и не нашел, да оказалось кроме того что есть другой Серебряный бор. Так что я не нашел их но зато ходил по лесу и был один. Вот девочка Марусечка все мои события, они очень не сложны.
Хочется мне тебя утешать и видеть и чувствовать ужасно, я обо всем думаю через тебя, ты прямо ужасно красива и я горжусь и радуюсь что я твой муж – это самое важное в моей жизни.
Ну прощай всего тебе хорошего любимая, целую тебя крепко, поцелуй от меня Лялю, Лелю и папу, я сейчас лягу спать, все почти уж полегли, начало двенадцатого, а вставать в половине седьмого, прощай милая Маруська

твой любящий
тебя муж Володька

[1] *Отпуски* – увольнения, обычно по субботам и воскресеньям.

[2] *...не может оставить квартиру...* – Даша, кухарка Фаворских (которая всегда жила

при хозяевах), когда летом все уезжали в Епифановку, оставалась в квартире на Кузнецкой улице. Она ревниво относилась к М. В. и осуждала ее решение жить в Домотканове, а не «у барыни».

[3] *Лекции* – свои соображения об искусстве.

[4] *Павлиновы* – семья художника П. Я. Павлинова (*см. с. 23*).

---------------------------- ***Ф.*** *№ 11* ----------------------------

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
29 июля 1915

Милая моя Мария Владимировна, ужасно я по тебе соскучился и дальше без тебя мне будет трудновато, хочу я тебя увидеть и думаю устроить это 15 августа, но не знаю еще выйдет ли это или нет. Конечно ты моя дама и самая чудная и прекрасная на всем свете, но рыцарь-то твой иногда чувствует себя не по-рыцарски, а просто скучает. Ты просишь обо всех мелочах тебе писать, а мелочи-то тут и составляют эту скуку и конечно есть что-то, что может сделать все это глубже, но не всегда владеешь такой духовной энергией. Ты спрашиваешь куда мы ходили гулять когда приходил Влад/имир/ Дмитриевич – не в очень интересное место – рядом с Ходынкой идут пыльные картофельные поля, вот туда мы и ходили так что приятного мало, вместо жаворонков летают аэропланы и это целый день и привносит какой-то железный характер всему пейзажу. И прогулка была очень небольшая, но тем не менее произошло событие, которое всех нас взволновало. Нас шло четверо: я; потом Бабинский, поляк очень славный (женатый кажется), – химик, владелец завода фарфорового, немного чопорный но славный; затем Сладков – тоже химик, уже специалист научно работающий, самый настоящий российский парень и умный к тому же (холостой); затем инженер еще, недалекий (женатый) но не плохой. Мы шли по шоссе и болтали. Вдруг едет извозчик и сидит в пролетке молодой человек, вроде Королькова[1], и барышня, кажется красивая довольно. Она как увидала нас, вдруг ужасно нежно обняла своего спутника и поцеловала у нас на глазах и так проехала, а затем высунулась и замахала нам рукой издали. Мы все очень удивились и я и теперь не понимаю что это было, но как будто что-то не плохое и все мы замолчали и задумались, а некоторые может быть и погрустили. Я конечно думал о тебе, а другие думали наверное о своем.

Вот какие у нас события. Да девочка моя милая все-таки бывают трудные моменты. О войне, о России мы говорим мало, когда еще был не солдатом тогда можно было сделаться им и в этом было уж какое-то

дело, а теперь когда уж солдат то можно только делать что нужно и делать это хорошо, а в сущности это так просто – что касается головы, а что касается тела то только время может этому помочь, /потому/ что применить еще энергию некуда и поэтому довольно часто чувствуешь себя совсем не рыцарем. И я должно быть чудак большой или это происходит от того что я женат и женат на такой чудесной женщине, но наверно у меня другая психология чем у многих здесь – они юноши и им война сама по себе интересна, а я и в войне воодушевляюсь Богом и тобой, чтоб быть достойным Бога и тебя, и как это сделать я еще тоже плохо знаю. Твои письма для меня величайшая радость, и тогда когда ты маленькая мать я радуюсь, и тогда когда ты моя чудная дама. Вот ведь это тоже странно – дама моя мне жена и у ней есть Никитка, так ведь не бывало, а в то же время это делает мое рыцарство еще святее и настоящее.
Да девочка пришли ты мне свою фотографию и рисунок с Никитой. Я очень хочу и то и другое. Ты так чудесно молишься, пиши мне об этом и если можно подробнее, а мне трудно молиться здесь и при людях.
Ну пока прощай, я тебя ужасно люблю и ужасно чувствую разлуку, мне /.../ И я ужасно горд особенно здесь, где мальчишки бегают за девчонками, что мне нужна только ты и больше никто, только /.../ Прощай, целую тебя в загривок, погладь его за меня. Поцелуй Бабушку, спокойной ночи, нужно мне спать

любящий тебя больше всех на свете
твой Володька

[1] *Корольков* Михаил Васильевич (1887 – после 1935) – поэт, литератор; друг В. А. с молодых лет; репрессирован в 1935 году по т. н. «кремлевскому делу».

---------------------------- ***Ф.*** *№ 12* ----------------------------

О. В. к В. А. *Епифановка – Москва (казармы)*
2 августа 1915

Володька, милый человек, как живешь, поживаешь, что поделываешь? Одно время я и за тебя начала тревожиться, но папа успокаивает, говорит, что начинаешь привыкать к солдатской жизни.

Удается ли тебе делать наброски? Видаешься ли с Шиком[1] и с Сахаровым? Меня уж начинает тянуть в Москву, тем бо-

лее что и погода у нас чисто осенняя. Папа привез письмо от Маруси, в котором она пишет что у нее очень много молока и боится как бы Никитка не был очень толст. Нянькой она кажется тоже довольна, да еще и бабушка приехала, так что и за Маруську с Никиткой беспокоиться не буду. Только иногда очень хочется повидать их. Вот за Максимку сердце болит, что такое неопределенное в нем чувствуется, к чему человек стремится, о чем мечтает – не разберешь – и помочь трудно, т. к. только деньги и нужны ему, – и жаль его, и себе какую глупую и невеселую и бессодержательную жизнь он устраивает[2]. Это я пишу только тебе.

Я начинаю писать масл/яными/ крас/ками/ Лиду[3], она с удовольствием позирует, а еще пейзажем хочу заняться. Но вот дождь и дождь. [...]

Что Ник/олай/ Борисов/ич/[4]? Истомин[5] будто тоже скоро пойдет в дейст/вующую/ ар/мию/.

В общем живется ничего себе. Ходим с тетей Лидой за грибами, даже в дождь. Вечерами они все у нас собираются, и все ребята по-своему интересны и с ними весело. [...]

Пиши, когда можешь. О Марусе я мало знаю. Кажется она спокойна.

Целую тебя крепко. Все тебе кланяются.

О. Фаворс/кая/

[1] *Шик* Михаил Владимирович (*см. Ф. № 3*).

[2] Из «Записок М. В.»: *Максим Андреевич, мужественный, властный, – был юношей больших дерзаний и возможностей. Но какой-то нравственный надлом делал его неуравновешенным и мешал ему преуспевать в жизни (я говорю об его молодых годах). «Непутёвый» – сказали бы деревенские. Физически крепкий, как литóй, он был не похож на интеллигента, выросшего в городе: скорее деревенский парень, со светло-серыми глазами и капризно выпяченной нижней губой прямоугольником, когда бывал недоволен.*
Блестяще способный – не кончил среднего образования [...] одно время был в Англии на ферме простым рабочим, чтобы на деле изучить образцовое хозяйство; [...]; во время Революции /в 1918/ был актёром в театре и приводил в восторг зрителей своей игрой [...]

[3] *Лида* – сестра О. В. (Л. В. Ганешина), жила в Епифановке этим летом со своей семьей – 8 человек детей от 6 до 20 лет.

[4] *Николай Борисович* Розенфельд (*см. с. 23*).

[5] *Истомин* Константин Николаевич (1886–1942) – художник и педагог; друг и сподвижник В. А. Фаворского, учился вместе с ним в Мюнхене у Ш. Холлоши и в Московском университете; так же как В. А., воевал на румынском фронте; так же преподавал во ВХУТЕМАСе, ВХУТЕИНе, МПИ и МИИИ; жил в соседней с ним комнате на Мясницкой улице.

Ф. № 13

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
Первые числа августа 1915
Начало утрачено

/.../ Сегодня приехала Оля Хортик[1]; она любит Домотканово; детство свое провела здесь. Теперь мы с ней как будто ближе стали – все трое помятые жизнью и взрослые; она спрашивает меня, как я себя чувствовала, когда должен был родиться Никита; рассказывала про семью своего мужа: отец прис/яжный/ поверенный и тоже хочет, чтобы сыновья были юристами, а они хотят быть художниками, а ее муж – музыкантом. Он будет осенью держать экзамены государственные.

Володичка, милый, вчера у нас была чопорная дама соседка; с /ее/ дочерьми дружны Юра и Гриша. За ужином не хватило еды, оч/ень/ было много народа. Я хожу за грибами, за белыми, и все думаю об тебе, моем милом, и пою песню про тебя: восхваляю тебя (никто не слышит – я одна) и /.../ тебе счастья на земле, потому что на небе ты будешь в раю. /.../

Ах, я так тебя люблю! Вся душа моя с тобой. Маруся.

[1] *Оля Хортик* – Ольга Валентиновна Хортик (урожд. Серова; 1890–1946) – дочь В. А. Серова.

Ф. № 14

От М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
5 августа 1915

Милый мой муж, любимый Володик, пробовала нарисовать Никиточку, но лучше Митя снимет[1], а то выходит просто ребенок, а не «Киток» (я его так называю иногда). Но больше всего люблю название «Никиток»; когда мы были у Троицы[2], я ходила по лесу и ты знаешь, в глубине души представляла себе один раз именно такого мальчика и называла его «Никиток». Я ходила одна по лесу, было холодно, и вдруг пошел снег, помнишь? а я думала об Никиточке и это было вроде откровения, я тогда молилась. А как ты думаешь, ведь это ничего, если я обращаюсь к Богу, не стоя на коленях, а просто так? Но ведь когда одна, я страшно сосредотачиваюсь; правда то чудо о котором я говорила тебе – то счастье души и тишина – то было когда я молилась на буграх, стоя на коленях и зажав лицо в руках; моя душа

чувствовала всех любимых людей, как живых, так и умерших. И я потом подумала, что это счастье души – высшее счастие, а счастие тела, когда мы с тобой близко, и это не плохо; то, что моей душе было так хорошо, это меня как-то укрепило в том, что и счастье тела – вовсе не грех, а наоборот очень хорошее, Богом сотворенное и одобренное. Может быть это я глупости думаю, что нельзя сравнивать того и этого. Ах Володичка, я может быть такая глупая и самонадеянная, но я почему-то уверена что Бог иногда меня слышит, очень-очень редко, потому что я редко могу как следует молиться и сосредотачиваться. Поругай меня Володя, если я говорю глупости, как может Бог слушать такую грешную душу как моя? Такую эгоистку и мелочную? Сегодня, гуляя с Олей, я заговорила с ней об религии, может быть оттого и пишу тебе так.

Молока у меня мало, Никита кричит, скоро будем его прикармливать. Пупок у него опять хуже; желудок страшно крепкий; увы!

Когда Оля говорит о своем муже – я всегда немножко жалею ее – да и всех женщин, потому что знаю, что лучше моего мужа, рыцаря Владикана, нет ни одного мужчины, никогда не было и не будет. Не сердись мой красавец – я тебя слишком люблю, и душу и тело твое.

Ах, вот дело почти забыла написать: мы с Лелей написали Эдингу письмо, но адреса не знали и написали «Ростов. Эдингу». Наверное не дошло; ты наверное знаешь его адрес? Напиши ему, чтобы он приезжал к нам в Домотканово и сообщи ему наш адрес и твой адрес.

Я мечтаю о тебе. В календарь не смотрю, чтобы напрасно не ждать.

Сегодня мы трое попали под дождь очень сильный, пришли все мокрые.

Вчера гуляли с Олей, мы трое, и обо всем говорили.

Сейчас Леля играет на рояли; в зале сидят все и слушают. У нас сегодня ночует агрономка. Папа и Митя в Щербинине.

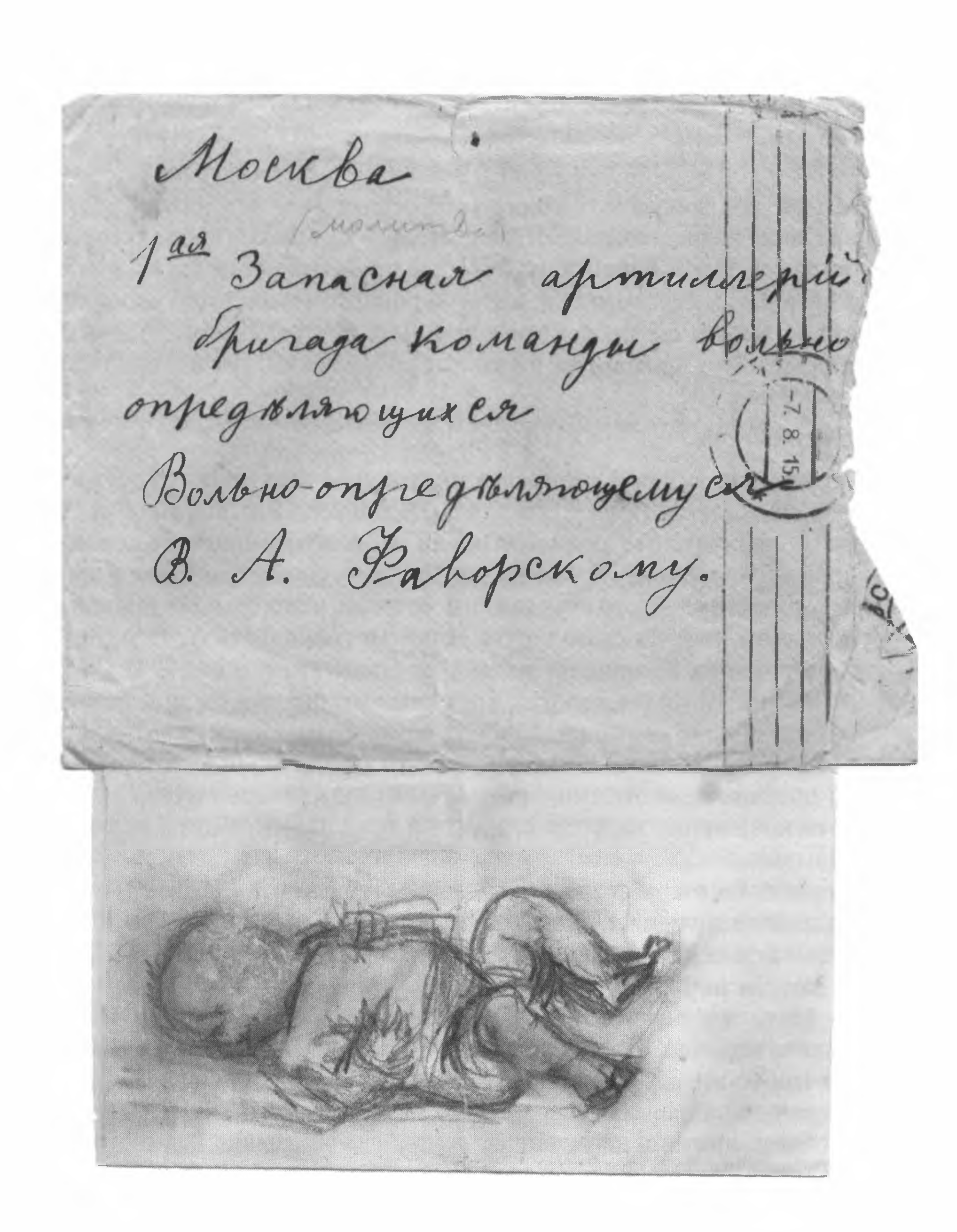
Давно нет писем от тебя. Жаль, что ты не попал к Павлиновым. Оля сказала мне средство от экземы /.../ твоя жена

Маруся.

/Рисунок/

[1] *Митя снимет* – т.е. сфотографирует.

[2] *...у Троицы...* – Великим постом, перед рождением Никиты, В.А. и М.В. дней десять провели в монастыре Черниговской Божией Матери, близ Троице-Сергиевой лавры.


Москва

1ая Запасная артиллерій

бригада команды вольно

опредѣляющихся

Вольно-опредѣляющемуся

В. А. Фаворскому.

-7. 8. 15

Никита. Рисунок М.В. Фаворской из письма (Ф. № 14)

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
9 августа 1915

Милая моя женушка, сегодня воскресенье /но/ так как я прошлый праздник ходил в отпуск то сегодня сижу в казармах и кроме того дневалю за товарища, Бабинского, который прошлый раз не ходил, я за него наружным дневальным т. е. слежу за порядком и чистотой около сарая, это во всяком случае приятнее чем быть внутренним дневальным которому часто приходится ругаться с товарищами, тут наруже гораздо спокойнее.

/Рисунок/

Сидел, почитывал и собирался писать тебе письмо, как вдруг из-за угла появляется Иван С/еменович/[1], Пав/ел/ Як/овлевич/[2] и Наташа[3] – расчудесные люди. Посидели побеседовали об тебе вспоминали, я спрашивал /П. Я./ об их мальчишке[4], с молоком у них такая же история как у тебя, то очень много, то очень мало, но мальчишкой они довольны, когда я сказал что в Никитке тринадцать фунтов, то П. Я. сказал что их мальчишке далеко до Никитки. Все они – И. С., П. Я. и Наташа выглядят хорошо, хотя немного они все были сдержанны и серьезны так как пришли видеть воина сражающегося за отечество, пока правда только с блохами. Так что у меня были визитеры, а вчера получил твое письмо с рисуночками, и мне было очень приятно, хотя конечно по ним как следует не представить Китка, как ты его называешь.
Пишешь ты о молитвах твоих, я в этом тебя судить совсем не могу, ты гораздо выше меня, но конечно нужно относиться к себе строго, но ты ведь так и относишься и потом тоже очень верно что иногда молишься Богу, а иногда просто беседуешь с душой отсутствующего человека. Но в то же время только когда вспомнишь о Боге, тогда-то именно и чувствуешь что со всеми кого любишь соединен душой, так что тут как-то все одно с другим смешано. Но, я конечно не знаю как это сделать, но хорошо бы в молитве узнавать законы Бога и ведь это наверное возможно, да может ты и узнаешь их только как-нибудь бессознательно.
Девочка моя милая я сижу это воскресенье и думаю о будущем когда я придеру к тебе, увижу тебя, Никитушку-мальчишку – глупый он все-таки, про отца наверное ничего не знает, ну это я так смеюсь. Хвастаешься ты все своим мужем, а в нем разве плохого мало, а хорошего

тоже не больно много. Ну пока я кончу, наруже становится уж темно, темно писать, постараюсь написать тебе завтра или послезавтра. Насчет Эдинга вот что – ваше письмо он получил и кроме того я ему передавал твою просьбу но он все отговаривался настроением, уж не знаю приедет или нет.

Целую тебя милую мою Сенькамарушку крепко крепко
твой муж
Володька

[1] *Иван Семенович* Ефимов.

[2] *Павел Яковлевич* Павлинов (*см. с. 23*).

[3] Наталья Николаевна Симонович *(см. с. 22)*.

[4] Митя – сын П. Я. Павлинова, родившийся несколькими днями позже Никиты.

---

15 августа В. А. приезжал в увольнение в Домотканово к М. В. и Никите.

Ф. *№ 16*

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
17 августа 1915

Милый Володя, как только ты уехал, Никита стал розовый, хорошенький и веселый. Как жаль, что у меня болела голова и я была кислая! А может быть, это все и было от того, что я тебя слишком ждала, волновалась, 2 ночи не спала перед твоим приездом, а от этого и Никита был не хороший. Ну, все-таки ты его видел, и тебе он понравился, это главное. И я тебя видела, и ты мне страшно понравился; ты так и стоишь у меня перед глазами, стройный, высокий, с тонкой талией и широкой грудью, сильный, настоящий солдат, а глаза твои добрые смотрят совсем не по-солдатски. Мне оч/ень/ жаль что я была кислая, какая-то потерянная. /.../

Вчера я повесила Никите помпон совсем низко, чтобы он мог достать руками; а сама отошла в сторонку; Никитка стал махать руками, поддавать помпон и ужасно был удивлен и обрадован, что помпон качается. Но мне кажется что он его случайно толкал. А сегодня затащил-таки этот помпон себе в рот! Нет Володичка, мне теперь Никита оч/ень/ нравится; не хочу хвастаться, но он хороший мальчишка. У Лели начался насморк, жар – инфлюэнца от Наташи перешла.

Сегодня и бабушка хворает, голос потеряла и не дотрагивается до Никиты – но я думаю, что это такая заразная штука, что завтра и у нас с Ник/итой/ будет то же.

Я весь день сегодня была с Никитой; а к вечеру мы с Лелей пошли в Игнатово за прачкой; по дороге раздумались и видим, что скоро придется нам уезжать из Домотк/анова/ пожалуй в Нижний Новгород. Дедушка[1] уезжает из Петер/бурга/ в Нижний.

Остальная часть письма утрачена.

[1] *Дедушка* – Дмитрий Григорьевич фон Дервиз – действительный тайный советник, сенатор – член Государственного совета.

----------------------------- ***Ф.*** *№ 17* -----------------------------

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
22–23 августа 1915

Девочка моя милая извини что долго не писал. Посещение Домотканова было настолько большим происшествием, что я всю неделю переживал его, и неделя прошла очень быстро. Ты может быть и недовольна мной, я был какой-то сонный и вялый, это всегда случается со мной когда я так сразу нагряну к тебе, жалко что мы мало с тобой побеседовали, жалко что мы не помолились вместе, может быть это и не вышло бы так сразу, я когда вдруг сразу тебя вижу – глупею и наслаждаюсь уж одним твоим лицезрением, а ты девочка моя киснешь немножко и у тебя является желание покапризничать. И конечно всего что мечтал сделать в конце концов не успеваешь. Но я всю неделю переживал свидание с тобой – ты такой неизъяснимой красоты такой /.../ прямо божественное наслаждение, а как ты должна гордиться твоим сыном, ведь материал твой, а он тоже удивительно хорош – такой складный, крепкий, стройный, я никогда не ожидал что у меня может быть такой мальчишка, и ужасно любопытно какой он будет дальше. Пока я его не видал мне очень хотелось его видеть, а когда я увидел его то еще больше хочется время от времени наблюдать за ним. А какая восхитительная бабушка – я к ней тоже отнесся как-то сонно, а в сущности должен был ей в ноги поклониться, пожалуйста пиши мне об ней и об Никитке, кой что из его жизни и порисуй его еще разок пожалуйста.
Да кроме того я был смущен также моей одеждой. Все это путешествие было для меня очень поучительно. Выехал я с мыслью о том что я рыцарь, что в солдатской одежде я красив и что еду к своей возлюблен-

ной, а всю дорогу на меня обращали внимание как на солдата но совершенно с другой стороны и последнее было это когда старуха заплакала при виде меня, затем и в Домотканове все обращали внимание на мою внешность.

Тут уж в казармах я привык к своему виду, и в городе можно чувствовать себя рыцарем, а когда на тебя плачут то это трудно хотя я знаю конечно что это внешность, а по-внутреннему в каком виде бы я ни был я всегда чувствую себя твоим рыцарем. Ох девочка моя, какое богатство что ты у меня есть, ведь все можно наработать или сделать, а хотя бы кусочек такой драгоценности как ты иметь – ведь это чудо. Конечно уж не говорю об твоей душе, уж тут совершенные чудеса, я думаю что и ты по отношению ко мне это чувствуешь но ты ведь красавица а я нет. /И/ то я думаю, мысль что тебе принадлежит живое тело ведь удивительная мысль, а о душе уж и говорить нечего.

Прости мне девушка мои глупые рассуждения, а главное я жду от тебя письма, очень мне хочется послушать тебя. Нигде я еще не был, сегодня суббота и меня не отпустили потому что я ходил в отпуск в прошлый праздник, может быть завтра в воскресенье меня пустят в кратковременную отлучку и я надеюсь попасть к Павлиновым и увидать Иван Семеновича. Был у меня здесь Борис Николаевич /Эдинг/ он в эти дни держит экзамен в школу живописи[1], говорит что написал тебе и Леле и что собирается приехать в Домотканово в конце августа.

Сейчас воскресенье, получил от тебя письмо, спасибо тебе, и мне кажется ты напрасно так беспокоишься о переезде – так далеко немцы не придут, тут у нас везут все орудия и снаряды. Орудия есть и старые, но и много новых, и из нашей бригады будут формировать несколько бригад, орудия очень разнообразные и очень интересно смотреть на них.

Вчера получил письмо от мамки, пишет что беспокоится об тебе и Никитке так как ничего об вас не знает, напиши ей и пошли ей фотографию, пускай она порадуется его виду. Ну всего тебе хорошего, весьма возможно что сегодня отпустят.

Целую чудесную жену свою крепко, кланяюсь бабушке, Леле и другим

твой

Волод/ька/

[1] *Школа живописи* - МУЖВЗ, где училась М.В., а раньше И.С. Ефимов и Н.Я. Симонович. Вероятно, намерение Эдинга получить второе, художественное образование во многом связано с его знакомством в это время с художницей-авангардисткой Любовью Поповой, ставшей позже (в 1918) его женой. В 1919 году Б.Н. Эдинг умер от тифа в родном Ростове, куда они уехали с грудным сыном из голодной Москвы.

Ф. № 18

В. А. к родителям. *Москва (казармы) – Епифановка*
Конец августа 1915

Милые мамка и папка, живу я по-прежнему, т. е. довольно хорошо. Все чаще пускают в отпуск, и так как народ съезжается в Москву, то все больше хочется идти в отпуск. Некоторых гимнастических фокусов я еще не преодолеваю, но верховая езда идет у меня довольно порядочно. К солдатской пище я привык и по-видимому здоровею. Прошлое воскресенье воспользовался двумя праздниками и съездил к Маруське, конечно было приятно увидать их, но я совсем не ожидал встретить их в таком виде. Маруся выглядит ничего, хотя худенькая, а мальчишка Никитка такой солидный каких я видел только на картинах, всюду как будто ниточками перетянут и весу в нем около 15 фунтов, так что держать его становится чувствительно. Нрава он очень спокойного и положительного. Бабушка несет над ним ближайшее наблюдение и очень им довольна, а тетя Ляля тоже часто приходит к нему и уверяет что такого ребенка еще не было на свете, словом его уж начинают захваливать. Он так же как и прежде спит ночью солидными периодами, при мне спал 6 часов, проснулся и потом опять завалился на 6 часов. У Маруси избыток молока так что всего он отсосать не может и приходится откачивать машинкой. Он ест приблизительно через три с половиной часа, затем лежит вверх брюхом и улыбается и болтает ногами. Затем начинает проситься на руки и требует чтоб его поставили в отвесное положение, вертит головой во все стороны и рад всему что ему попадается на глаза, затем он заваливается спать до следующего кормления. Волосенки у него выпадают и из-под них лезет белый подшерсток. Вот вам самое важное что могу вам сообщить, очень бы хотел вас видеть, надеюсь что это скоро будет. Маруся стала во всяком случае самостоятельнее, хотя бабушка ей сильно помогает.
Ну всего вам хорошего

ваш сын Володя

Очевидно, здесь (ок. 20 –23 авг.) должно быть (утраченное) письмо от М. В. к В. А.

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
27–28 августа 1915

Милая глупая Маруська, получил от тебя второе письмо[1] и было хотел встревожиться, но бросил – ведь наверное ты начала опять есть и молока у тебя стало опять много и ты уж от изобилия страдаешь, но пожалуйста будь умницей и не делай таких опытов, это вредно и тебе и Никитке. Я прямо не понимаю как ты так легкомысленно поступаешь, или это я тебе привез глупость с собой. Затем ведь сама же согласна что для Никитки стоит немного и пострадать, ведь верно? Как грудь заболит ты и чувствуй что это для Никитки, ведь каким большим и даст Бог хорошим должен он быть, а если средства для этого вырабатываются с некоторой физической болью, то это ничего, цель-то ведь стоит этого. Словом я думаю что у тебя уже все благополучно. Я всюду где мог показывал фотографии Никитки и они производили фурор. Между прочим в воскресенье я успел забежать к Павлиновым поглядел их мальца, мне он понравился, но совсем другой чем наш, я его по памяти нарисовал, но конечно не точно. Мальчишка по-моему похож больше на Кс/ению/ Вас/ильевну/[2], но и на Пав/ла/ Як/овлевича/ тоже: все у него большое – и нос и глаза и рот, и поэтому лицо индивидуальнее Никитки. Но физически он менее развитой чем Никитка и даже улыбка понятна скорее потому что знаешь что это улыбка, а в сущности заразительности в ней нет. Ксения Васильевна говорила мне что я смотрю на Митю а сам думаю что мой-то лучше. Я искренно сказал что нет, потому что когда видишь живое существо то его индивидуальность не дает сравнивать ни с кем, а просто мне мальчишка положительно понравился, но он просто немного отстал от Никиты: голову держит совсем плохо, кричит как-то не полным голосом, не такой толстый – словом моложе. Не понравилось мне только что они уж очень его тискают и заставляют проделывать разные штуки, беспокоятся о том как он поведет себя в присутствии гостя – это нехорошо, мне кажется (?) мы с тобой этим не грешны. Когда видишь такого малыша, то он может отвечать за себя сам – все что он ни сделает будет и характерно и интересно. Кс. Вас. выглядит очень хорошо, здоровый такой цвет лица, пополнела, но зато молока не хватает и мальчишка худ, весит 12 ф/унтов/, но длинней по-моему чем Никитка и видно без сомнения что будет рослым. Вот тебе беспристрастный рапорт об Мите.
Но нравиться мне могут многие а люблю я конечно Никитку и, Маруська, ведь это благодать что он такой спокойный и дай Бог чтоб таким остался, а это уж твое дело, ты во всяком случае пока одна из нас

его воспитываешь, так ты уж учись этому делу заранее, ведь кормление тоже есть своего рода воспитание и должно проходить тоже спокойно и особенно когда к этому есть несомненная возможность. Слышишь Марусенька женушка моя, будь спокойнее и тогда я не представляю себе воспитательницы лучшей для нашего сына, с твоей величайшей правдивостью и серьезностью ты и мальчишку сделаешь чудесным, тем более что это все уже в нем заложено...

Сейчас я пишу на улице и стало уж темно, допишу должно быть завтра, пока целую тебя.

Здравствуй девочка, вчера не было времени писать, отпустили после занятий в отпуск, сбегал к Корольковым, видел там Колю Роз/енфельда/ и Вольфа[3]. Ник/олая/ Борисовича школа[4] окончилась и его перевели в другую школу на такое же положение, причем эта школа помещается на Смоленском рынке, что конечно хорошо, так что на свое положение он пожаловаться не может. Кроме того у меня еще раз был Борис Ник./Эдинг/, посидел у меня и принес мне как настоящему солдату белого хлеба и медный образок Георгия[5], удивительно хороший. Все медные которые я до сих пор видал, нельзя сравнивать с ним – удивительно хорош. Эдинг говорит что он близок к Византии. Я повесил его над своим местом на нарах. В общем живу я по-старому, по-видимому все здоровею, езжу верхом и недавно мне попалась серая кобылка очень умная и ни капельки не трясла, ездить было удивительно приятно. Я на такой лошади еще ни разу не ездил, но после нее попалась довольно трясучая лошадь и я опять почувствовал себя плохим ездоком. Милая моя девочка, завтра 29го у нас занятия в полной мере так что я к тебе не попаду, что очень жалко, ну да и так наверно скоро увидимся, тут по крайней мере становится холодновато, в сарае правда тепло от народа, а на улице, особенно вечером, приходится надевать шинель. Как-то ночью я дневалил перед сараем, встречал зарю, все думал об тебе, пробовал сочинять стихи и молиться – ни то ни другое как-то не вышло не знаю почему.

Я жду от тебя письма но сейчас только догадался что ты думаешь что я приеду в субботу и потому не пишешь, так что письма от тебя нужно ждать только в понедельник или во вторник. Это очень жаль девочка моя, ну буду ждать и думать что у тебя все благополучно девочка моя милая люблю я тебя сильно и красоту твою ценю очень высоко и хочу быть для тебя и лучше и красивее. Прощай, целую тебя крепко и целую бабушку, Лелю, Влад. Дмитр. и Митю, всего хорошего

твой глупый муж

Володька



Митя Павлинов. Рисунок В.А.Фаворского (Ф. № 19)

[1] *Второе письмо* – второе после поездки В. А. в Домотканово.

[2] *Ксения Васильевна* Павлинова (1883–1916) – жена П. Я. Павлинова.

[3] *Вольф* Вильгельм Юльевич (1886–1938) – юрист, друг В. А. по гимназии; был женат на двоюродной племяннице В. А. – Ольге Сутыриной. В 1937 году арестован по обвинению в шпионаже и расстрелян на полигоне НКВД «Коммунарка» под Москвой. (Жена так же была репрессирована как «член семьи врага народа».)

[4] *Николай Борисович* – Розенфельд; *школа* – вероятно, военная учебная часть.

[5] *...медный образок Георгия...* – В воспоминаниях зятя Флоренского, С.З. Трубачева, упомянуто, что на похоронах Фаворского в сложенных руках его была иконка Георгия Победоносца. Очень вероятно, что это именно тот образок, и, очевидно, он был погребен с ним.

---------------------------------- **Ф.** *№ 20* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
26 августа 1915
Оригинал письма не сохранился[1].

Милый Володя, твое письмо меня сразу привело к более хорошему взгляду на мою судьбу: я еще раз вижу, что ты меня любишь крепко и не прогонишь.

А Ольге Владимировне я уже 2 письма написала, так что ей нет повода беспокоиться.

Пишу карандашом, потому что пишу, когда гуляю с Никитой. Иду и пишу. Ничего ведь? А дома очень много всякого дела: убирать комод, шить Никите платье, чинить белье и т. д., а главное возиться с Никитой. Он вчера вечером очень кричал, бедный, от голода ли или от живота, а потом заснул и 10 часов не ел!

А сегодня 26-го (среду) у Никиты тоже инфлюэнца: хрипло плачет, ночью сопит, нос заложен.

Ляля уехала вчера в Москву с мальчиками. Мы тебя ждем в будущую субботу.

Ты пишешь, что смущаешься костюмом? А мы с Лелей решили, что если костюм очень идет, то, наоборот, он придает смелости и воодушевления.

Что ты был сонный? Правда ты много спал и был не очень веселый и живой; но разве ты не знаешь, что бодрствуешь ты или спишь – ты для меня одинаково мил. Когда ты спал, я смотрела на твой бритый, круглый затылочек, на твое загорелое мужественное лицо, и я не знаю что готова была сделать от удовольствия смотреть на тебя. Недавно я вспомнила слова Николая Борисовича, когда мы хотели жениться: «ну на 3 года хватит». А ведь скоро 3 года, в нояб-

ре, как мы женаты. И знаешь, по правде я чувствую, что любовь моя утроилась к тебе за эти три года. Ты рыцарь, и ничего тебе не должно казаться; пусть тебя жалеют: это не мешает тебе быть рыцарем. И в этом жалении есть доля сознания, что ты рыцарь.

Целую тебя

твоя глупая жена

[1] Переписано Марией Владимировной во время работы над составлением «Записок»; сверху пометка: *так как письмо карандашом почти совсем стерлось, переписываю его тушью теперь, когда мне 70 лет.* Но, по-видимому, текст ею сокращен (см. ниже ответ В. А. от 3 сентября).

---------------------------- ***Ф.*** *№ 21* ----------------------------

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
3 сентября 1915

Милая моя Марусенька, глупая ты девочка, получил от тебя письмо и рад был одной части, а другую не признаю и не обращаю на нее внимание. Осуждать себя так грешно не только перед собой но и перед Богом, это вроде непризнания в себе души, кроме того ведь я же верю в тебя и ты должна отсюда хоть немного черпать веры. Зачем говорить о том как мы с тобой умрем – этого никак не угадаешь, может быть так, а может быть эдак. Так что помнить о смерти нужно но решать когда и в какой форме совершенно лишнее и мелочное занятие. /.../ Вот ответ моей глупой девочке. А другая часть была действительно от моей жены и дамы к мужу и рыцарю и доставила мне большое удовольствие. Девочка я всюду ношу с собой твою карточку и любуюсь. Я правда утомляюсь /.../ но так как я становлюсь все сильнее и достойнее тебя телом, то видеть свою даму /.../ В воскресенье ходил домой, по дороге постригся, дома вымылся и мне показалось что я немного красив и так жалко было что тебя нет. Тут есть художник из Харькова в команде, он все сидел в сарае и никуда не ходил, в воскресенье я взял его с собой к нам, показал ему свои и некоторые твои работы – твои ему очень понравились. Кроме того я показал ему твою фотографию и буквально он был /в/ восторге, видишь, какая ты восхитительная женщина, а то что ты похудела это совсем не так страшно – кончишь кормить и сейчас же поправишься, разве лучше если мальчишка будет худой, а ты толстая. Сейчас я правда не чувствую себя красавцем так как у меня флюс да кроме того я два дня подряд ездил на довольно трясучих лошадях и зад и ноги все в синяках, так что рыцарь твой не очень важный но это пройдет, плохого тут конечно

нет. Очень любопытно узнавать постепенно лошадей. Сегодня у меня был маленький конек довольно безобидный, но все сгибал шею колесом и бил копытом землю так что выходило очень важно должно быть в этом роде /*Рисунок*/
суди сама похож ли на рыцаря, а вчера был громадный спокойный рыжий конь очень послушный и добросовестный, но и тряс также добросовестно, редко, но как следует. Конечно выглядел я на нем совершенно иначе – видишь какое разнообразие, но это несомненно интересно. Ты написала маме между прочим что меня могут послать в октябре – это не так, раньше января едва ли, и тогда тоже в какую-нибудь новую часть, так что не сразу на позицию, словом понюхать пороху придется едва ли раньше весны.
В воскресенье я видел папу, он рассказывал что Вл. Дм. довольно долго жил в Епифановке и писал там – все это ужасно приятно и мама наверное была очень довольна. Девочка, вот что: мне нужно будет покупать шашку, а денег сейчас нет, в Епифановке есть одна, но она нужна Максиму. Митя говорил мне что в Домотканове есть Вл/адимира/ Дм/итриевича/, спроси его, только как следует осторожно, можно ли мне взять ее на время и если можно, переправить в Москву если кто-нибудь поедет, но сделай это только в том случае если Вл. Дм. это не неприятно и если шашка не очень коротка, примерить можно на Мите: расстояние конца ножен от полу – не больше полутора пядей. Вот моя неделикатная просьба.
Уже темно кончаю письмо целую мою собственную любящую меня жену (мысленно) кланяюсь и целую Бабушку и других.
Никитку целую в самый пупок.

Твой муж Володька

Вложен набросок В. А. (Митя Павлинов) с пометкой: Маруся я позабыл в прошлом письме вложить рисунок. Посылаю сей/час/

---------------------------- ***Ф.*** *№ 22* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
1 сентября 1915

Милый Володя, письмо твое доставило мне большое удовольствие, как и всегда твои письма; я перечитываю всегда последнее письмо твое, ложась спать, несколько вечеров.

У нас продолжается трудное время: бабушка вот уже 3 недели все кашляет, то лежит в постели, то встает, кашель все такой же; наконец

очень любопытно узнавать
постепенно лошадей
сегодня у меня были
маленькие конечно до-
вольно безобидные но
все сидели лево конь[illegible]
и были подтянуты
ремнями так что всего
одного очень важно долж-
но быть в
этом роде.

суди сама похожи
ли на рыцаря а верх
были громадные

сегодня приедет докторша, и я уверена, уложит бабушку в кровать и велит делать компрессы; бабушка все-таки очень неосторожная. У Никиты насморк прошел; молоко у меня держится в среднем количестве; а вот несчастие случилось с матерью Мани, нашей прислуги, у нее воспаление брюшины и она едва ли выживет; лежит в Твери в больнице, Маня при ней, и мы значит опять с Лелей работаем целыми днями, и с Никитой, и с бабушкой и с едой трудно, и в комнатах грязь.

Мне бы очень хотелось приехать в Москву вместе с Лелей (она едет в следующий понед. 7го сент.), но если бабушка будет лежать, я останусь. Еще хотелось бы ехать скорее, потому что будет ведь все холоднее и труднее довезти Никиту. А главное, что ты, очевидно, больше не сможешь приехать сюда; ах как мы все ждали тебя и Эдинга; набрали букетов, поставили на лестнице; Ефимовы решили, что лучше уедут раньше, чтобы, когда ты будешь – не было бы толчеи... И вообще ждали; хотя сердце мне говорило, что нечего надеяться. Ну, как только будет возможно, приеду. Боюсь что это будет долго.

Я тебя люблю до бесконечности.

Что же ты не прислал твой рисунок Мити?

Я как прочла твое письмо, вижу что тот ребенок интересный, а наш совсем простой; ну ничего. И еще мне жаль, что Никитка не обещает быть большим[1]. Но характер его я не могу не хвалить: теперь так некогда, что приходится оставлять его иной раз целый час одного; играет себе. Простой он человек, без всяких затей, может б. и не интересный.

Продолжение письма утрачено.

[1] *...не обещает быть большим...* – М. В. ошиблась – Никита вырос высоким и крепким, правда, в отрочестве у него обнаружился порок сердца.

---------------------------- **Ф.** *№ 23* ----------------------------

М. В. к В.А *Домотканово – Москва (казармы)*
3 сентября 1915

Милый мой родной Володя, трудное для меня время, хотя конечно как подумаешь обо всем, так свое кажется пустяками. Бабушка лучше, но она сидит дома и все ворчит на меня; меня наконец это раздосадовало; кухарки у нас нет, я весь день работаю, устаю, а ночью мысли об том, что надо ехать на восток, как Никита перенесет это

и многое что ему придется переносить; время такое, на все надо быть готовой; я конечно и боюсь за Никиту. Ночи плохо сплю, не могу заснуть, а там уже Ник/ита/ проснется в час ночи, к нему встанешь, покормишь, укачиваешь его; пою ему «спи, мой ангел, почивай...», «ночью в колыбель младенца...», а потом для своего ободрения и думая о тебе пою «солдатушки, бравые ребята...». Темно за окнами, деревья шумят, совы кричат; я качаю Никиту и думаю о тебе. Ужасно мне хочется к тебе; прямо не дождусь папу; а без денег я же не могу поехать. И Леле в Москву надо, и она папу ждет. Я ужасно устаю и не успеваю делать то что надо, даже относительно мальчишки: редко купаю, часто оставляю одного и т. д. Вот и сейчас бабушка на меня рассердилась: теперь сырой вечер, темно, луна красная после жаркого дня; я разleглась на верхнем балконе, зажгла свечу и пишу тебе. Ну, бабушка меня и выбранила, что лежу на сырых досках, а я так замучилась за день (еще гости из Бурашева были), что бросилась на пол и радовалась, что лежу. Очень трудно без кухарки. Если бы папа был тут – сразу бы уехала в Москву.

Без тебя жизнь мне не мила. Так прямо жажда у меня тебя видеть. А как подумаю про ноябрь – в плохое время мы живем. Пока погода стоит, надо бы в Москву переехать, а то с Ник/итой/ в дождь плохо. Бабушка советует остаться тут, из-за того что в Москве нет дров и нет провизии, но я, право, кажется не могу без тебя. Вот как Никита перенесет город и городское молоко, я не знаю; и когда О. В. приедет в Москву, верно поздно, в октябре, а без нее тоже уж не знаю как. Вообще много сомнений у меня, много страхов. Скорее бы папа ехал; у меня какая-то тягость на душе ото всего. Мне очень трудно жить, уж не знаю почему; да и всем сейчас трудно. Обо всем, обо всем думается, особенно ночью. Как бесконечно жаль мне, что не ты мой помощник с Никитой: с тобой мы вполне были бы согласны, а больше ни с кем. О. В. кутала Никиту, бабушка слишком много держит на руках и слишком не бережется ветра и холода... Сегодня голова болит, шумит в висках. Еще я плохо сплю из-за блох. /.../

Много проходит каких-то ненужных суетных дней; и ты знаешь, пока была надежда, что ты приедешь, мне все казалось иным, и бодрость была, а теперь как-то бесцельно тут сидеть, когда ты далеко. /.../ Слава Богу, Никита здоров. Хотя после моих бессониц, вероятно, начинает вечером страшно кричать, неизвестно почему.

Люблю я тебя и хочу с тобой быть.

Ф. № 24

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
5 сентября 1915

Милый мой муж; папа приехал, кое-что рассказал об тебе, но мало. Почему ты не писал, что у тебя был флюс? Очень беспокоюсь, что тебе будет холодно в сарае и ты простудишься. Ужасно хочу к тебе, но едва ли мне удастся скоро в Москву; с большим огорчением это говорю; здесь трудно, весь день моя голова засорена всякими хозяйственными мелочами, заботами, кухарка придет только через 2 недели. Главное же, я хочу к тебе; но вот какие препятствия: денег прислала мне О. В. 25 р., а еще папа дал бы, дело не в этом, а в том что в Москве нет дров, т. е. нет перевозчиков дров, и поэтому напр/имер/ у Муравьевых[1] готовят на керосинке, а Ефимовы жгут подрамки...

/.../ Папа предлагает послать в Москву Григория[2] с телегой и навозить нам дров; это хорошо, но ведь надо кому-нибудь купить дрова, и вообще похлопотать об этом, /.../ Папа говорит – попросить Ив/ана/ С/еменовича/ это сделать. Уж не знаю. Вот дрова – это одно. А второе это что Никита меня высасывает и сам прибывает мало, последний раз прибыл всего $^1/_8$ ф. Мы хотим его прикармливать; молока в Москве сейчас очень трудно доставать, и если достанешь то плохое; вот это вторая причина. Но несмотря на это душа моя рвется к тебе. Бабушка говорит что можно будет поехать тогда, когда приедет О. В. Пожалуй правда тогда будет легче /.../ Уж не знаю.

А пока буду сидеть тут. Все-таки с Никитой нельзя рисковать.

Буду ждать тебя через неделю в следующую субботу, ведь воскресенье и понед/ельник/ праздник...[3] Если бы ты приехал, мы бы лучше решили с тобой...

Митя едет в Москву, хотя уже 10 часов вечера. Из-за воинской повинности, прочел что-то в газетах. Ну, отправлю с ним письмо, скорее дойдет.

Милый мой, когда Никита плохо спит ночью, я все встаю, не сплю и думаю об тебе. И всегда об тебе думаю, хотя днем бывает очень плохо из-за всяких мелочей хозяйственных.

Ну пиши мне, а то я очень очень по тебе скучаю.

Маруся

[1] *Муравьевы* – семья друга Вл. Дм. Дервиза по Училищу правоведения.

[2] *Григорий Никонов* – старший работник в Домотканове.

[3] *Праздник* – на понедельник приходился праздник Воздвижения Креста – 14 сентября.

М. В. к В. А. *Домотканово – Москва (казармы)*
7 сентября, понедельник, 1915

Володя, милый мой муж, очевидно, нам с Никитой совершенно нельзя ехать в Москву: по слухам, там всеобщая забастовка! И надежда жить в Москве эту зиму у меня совсем исчезла. А сюда ты приезжать не можешь! В плохое время мы живем; ночью все такие беспокойные думы одолевают, я все думаю об тебе, главное, люблю я тебя и боюсь, что долго придется быть с тобой в разлуке. Сегодня снилось мне, что ты в Домотканове, но скоро поедешь в Москву /…/ у себя и наедине – я проснулась и очень хотелось, чтобы сон был правдой. Что-то будет? Как перенесет Никита все превратности времени? Бедный деток, в какое время родился!

Митя привез мне твое письмо, я читаю его у себя в комнате, уже вечер; папа поет колыбельную песню, а Киток спит. Кухарки все еще нет, и я все на кухне, и понемногу кое-чему научаюсь готовить; но очень скучно думать обо всем этом, у меня голова прямо засорена этими мелкими хлопотами; но зато, если нам придется когда-нибудь жить без кухарки, я смогу что-нибудь сготовить… Хотя, Володя, разве сейчас можно думать о будущем?

Разбудила Никиту, он потянулся и стал сосать. Покормила его и опять уложила. Заснул. А вот по ночам он стал очень долго не засыпать, часа по два его качаешь, поешь ему… Сегодня ночью пела, сама придумывала… мальчик Никитка, длинная спинка, короткие ножки; а папаша его в Москве солдат… что-то в таком роде, длинно длинно… и глазки и ручки с красивыми пальчиками как у папаши, про все ему пела, а он глупыш ничего не понимает. В 5 часов утра Никита просыпается, и я зову Настю, а вчера Настя была в городе, и я позвала Лелю; она все утро с ним была. Она называет его «пушистка», так как он ведь весь пушистый.

Все время идет дождь; но бабушка заставляет Ник/иту/ гулять хоть немного, конечно не в дождь; но в холод.

Ах как подумаю что так просто можно бы с тобой видеться в Москве! Но ведь напиши сам, разве это возможно? Это делается все невозможнее. Если уж надо будет ехать, то поедем в Епифановку (она достаточно восточна), а уж в Москве, видно, не будем в этом году жить… Да, конечно там видно будет; а сейчас так бы к тебе и полетела. Но скажи сам, ведь нельзя? Без дров, без еды, без отопления, без извозчиков, без молока для Никиты – сейчас нельзя нам с Никитой так жить.

Ну, целую тебя, возлюбленный, мой единственный, любимый.

8 сентября

Сейчас ездили с Лелей по ужасной дороге в Маслово к Авдотье Ермолаевне за маслом. И вдруг она нам говорит: мужики из одной дальней деревни говорят разные вещи про папу (я тебе расскажу когда увижу тебя), что летом ездили катались и веселились и т. д. и Митя еще фотографией занимался! Много она насказала: «Надо вам остерегаться с такой фамилией[1]. Собираются подстеречь и убить» –/.../ Глупо это все со стороны мужиков /.../ все равно, конечно /.../ помещикам сейчас очень плохо; Никитка наш мальчишка, болит у меня сердце за него. Когда-то нам придется с тобой увидеться /.../

Ехали мы из Маслова, дорога ужасная, грязь невылазная, снег пошел, мы с Лелей вдвоем ездили. И думы такие печальные да тревожные. Каждый вечер мне хочется молиться, за Россию, за воинов, наших защитников, за тебя мой возлюбленный, за твое здоровье и твою душу праведную и за мою душу неправедную, и за нашего маленького Никиту, пушисточку, и за папу – но все как-то не молюсь; ляжешь, мысли одолевают, а молиться не могу. Какая-то лень душевная, уж не знаю. А ведь чтобы привыкнуть – надо бы каждый день молиться?

Шашку тебе привезем при первой возможности, при первом случае, папа дает ее охотно. Неужели ты из-за денег не приедешь? Возьми хоть у Королькова.

Далее карандашом:

Митя едет на Чупр/ияновку/. Спешу. У нас с прислугой все хуже: и рабочая кухарка[2] уходит. Шашку при первой возможности пришлю.

1 *...с такой фамилией* – т. е. с немецкой: «фон Дервиз»; *фотографией занимался* – значит «шпион».

2 *Рабочая кухарка* – т. е. стряпающая для работников.

---------- ***Ф.** № 26* ----------

В. А. к М. В. *Москва (казармы) – Домотканово*
17 сентября 1915

Милая моя ненаглядная женушка на коленях прошу у тебя прощения что так долго не писал – во-первых тут были перемены и я ждал когда все выяснится, во-вторых надеялся приехать, но не удалось, не отпустили на два праздника. Видишь какие тут дела: бригада наша не может и не хочет нас больше воспитывать, а посылает нас в училища, /а/ так

как в Москве нет артиллерийского училища, то придется ехать в Питер (конечно если туда примут) приблизительно к первому ноябрю, если же не примут, то в какую-нибудь часть по моему выбору, но очевидно не в Москву а в какой-нибудь другой город. Но во всяком случае приблизительно до конца ноября я буду в Москве, а после этого едва ли. Вот видишь – это влияет особенно на то, что мне хочется чтобы ты приехала. Дров тут достать можно, припасов тоже, молока тоже, но одно – хозяева не хотят топить до 1 октября. В этом случае может помогать керосинка. Словом мне кажется что тебе можно приехать – мне бы это доставило несказанную радость.

Затем я еще не сказал главного: мамашка приехала, правда она очень усталая. Она привезла Максима, у него опять плеврит (он в больнице), правда для жизни опасности нет, но мама боится последствий, ну нужно надеяться на лучшее. Видишь девочка какие дела. Мне кажется ты можешь приехать /и/ мы с тобой повидаемся уж тогда как следует. Я спрашивал маму, она говорит, что тебе и Никитке не будет плохо, а Ляля тоже говорит что тебе можно приехать. Приехать к тебе и привезти тебя я к сожалению не смогу – не отпустят. Тревоги твои насчет забастовок напрасны – тут правда есть разнообразные волнения но город такой большой что все это проходит незаметно. Видел я Лелю и получил шашку. Она очень старинного образца, и теперь таких не носят, но мне она очень нравится и я ее буду носить с удовольствием как рыцарский меч врученный тобой. У ней вид гораздо солидней чем у теперешних[1].

Ну вот Марусек мой милый ненаглядный, живу я по-прежнему, из событий выдающихся интересны вот какие. Во-первых я еще раз был у Павлиновых [...]

Все! твоего! мальчишку расхваливают. Да по-видимому он милый человечек и жить нам с ним будет радостно, тебе напрасно приснилось что он дурачок-простачок, он наверное будет умный и оригинальный <u>внутренней</u> оригинальностью – наверное это так будет, как-нибудь по-своему конечно, но и наша там закваска и закваска не плохая, т.е. из обоих нас хорошее возьмет он и будет очень оригинальное соединение ты и я. Ведь мы с тобой встретились и соединились – ведь это хорошо вышло, так и в мальчуке это будет продолжаться. Ну я что-то запутался, только хотел я сказать очень хорошее, а главное то что Митя ничуть не оригинальнее, просто формы у него крупные как у Пав/ла/ Я/ковлевича/ и Кс/ении/ Вас/ильевны/ и только. А у нашего твои деликатные формочки.

Словом я люблю тебя прямо до безумия и думаю все о твоем теле и о твоей душе и люблю и удивляюсь тому и другому, ценю все это как

редкостные драгоценности и мальчишку люблю, предполагая его душу и чувствую к нему через тебя телесную любовь, люблю его теплоту, всего его потому что он сделан из тебя целиком.

Из моей жизни интересно еще то что мы ходили на учебную стрельбу боевыми снарядами, мы правда не стреляли но (тут был тоже перерыв. Я дневалил, не успел дописать письмо и на день его еще задержал) были все время на наблюдательном пункте и видели результаты стрельбы – все это очень интересно. Выстрелы вблизи очень сильны, так что если рот зажмешь, то надавливает на челюсти и на череп. Интересно и когда летит снаряд и поразительно что летит он довольно медленно так что очень легко услышав выстрел навести на точку разрыва бинокль. А шипит он совсем вроде ракеты, хорошо тоже когда врежется в землю и подымает столбы земли. Вообще очень интересно – мы слышим команду и следим за изменением в бинокли, стараемся угадать результат /и/ слушаем критику старших командиров.

Стрельба эта происходит за Воробьевыми горами почти сейчас же за рощей и стреляем по направлению от Москвы туда в поля, приблизительно на 4 версты самое большее, но разрывы и цели видны. Ходим мы на Воробьевку пешком в строю и когда идем по Москве то поем песни разные но одна из них пожалуй более интересная, хочешь напишу тебе. Нет не стоит, очень много места займет, когда приедешь скажу тебе ее. Ну пока всего тебе хорошего тоскую по тебе тоскую по Никитке, по-моему /вам/ можно приехать. Да, а путешествие на восток ты, пока во всяком случае, отложи и не думай об этом. Бабушку я целую крепко крепко. А с тобой не знаю что делать если бы ты была здесь /.../ милушканка/.../целую тебя

твой

муж Волдикан

[1] Шашку эту носил Вл. Дм. Дервиз в Училище правоведения; это была принадлежность их студенческой формы.

Очевидно, к октябрю 1915 М. В. с Никитой перебралась в Москву.
В конце февраля 1916 В. А. отправляется на фронт[1].

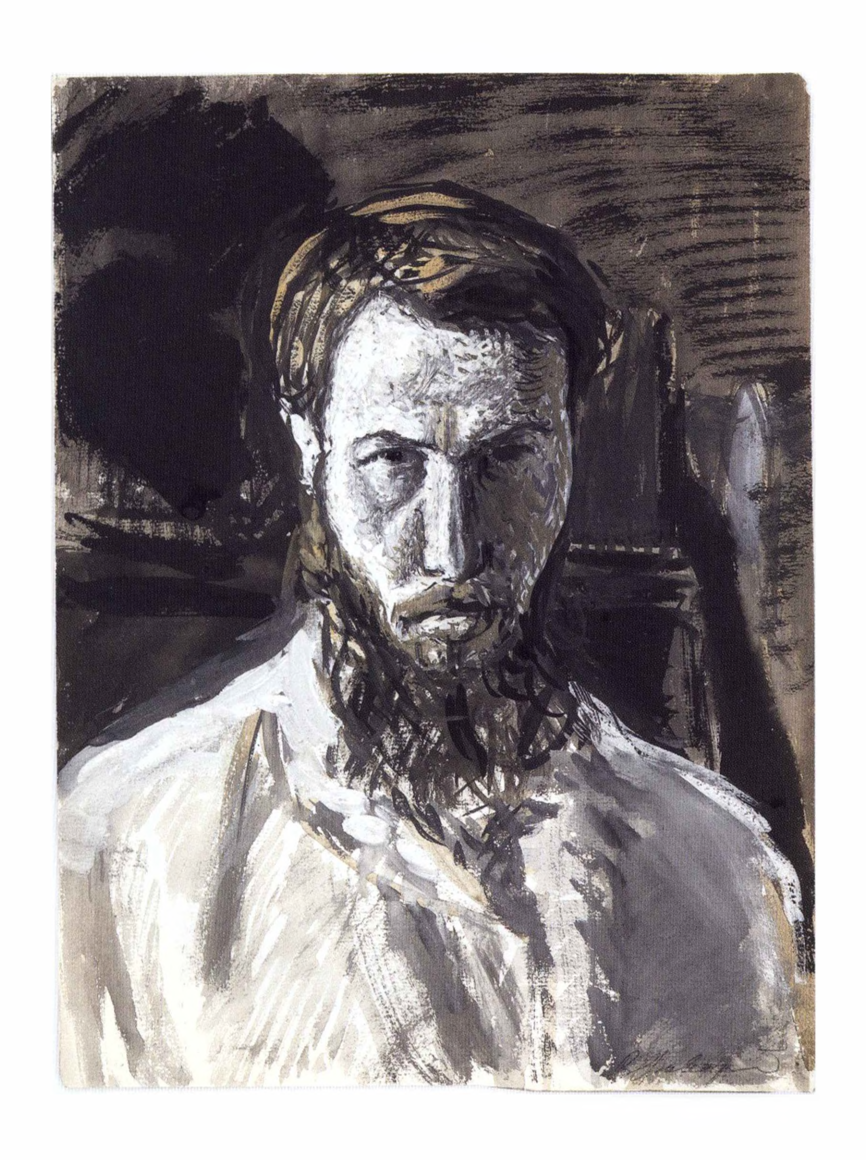
[1] Писем с сентября и до отъезда В. А. не писалось, т. к. он виделся с семьей, по крайней мере, каждые выходные.



В увольнении с семьей.
Владимир Андреевич, Мария Владимировна, Ольга Владимировна и няня (Настя?) с Никитой.
(Квартира Фаворских в Москве на Кузнецкой ул., конец 1915 г.)



М.В. Фаворская (Дервиз). Автопортрет.
Картон, гуашь. Ок. 1910



В.А. Фаворский. Автопортрет.
Бум., тушь, белила. 1912 (ГМИИ)



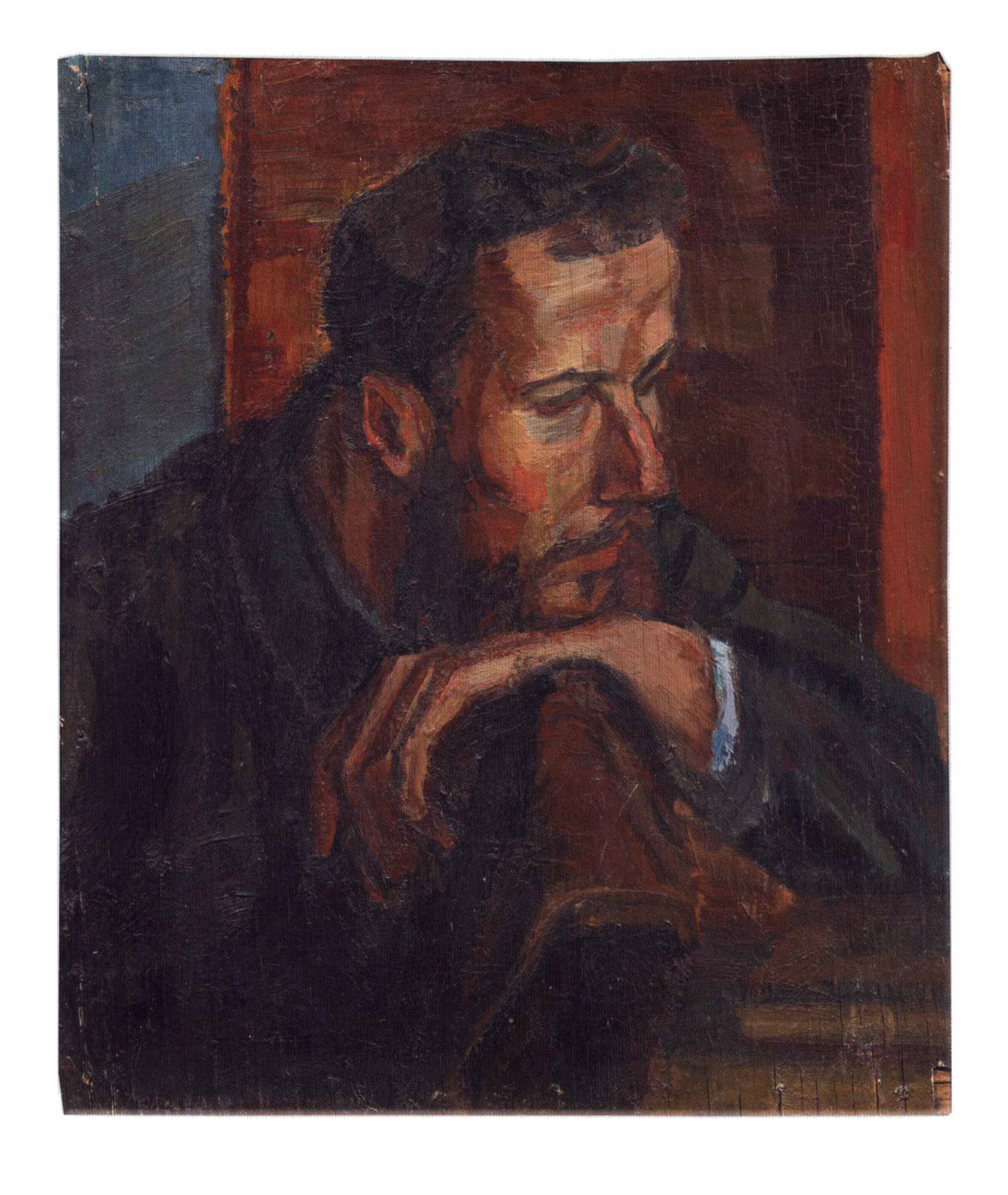
Свадьба Владимира и Марии Фаворских. Домотканово, 4 ноября (по ст. стиля) 1912 г.

Левая часть снимка, слева направо:

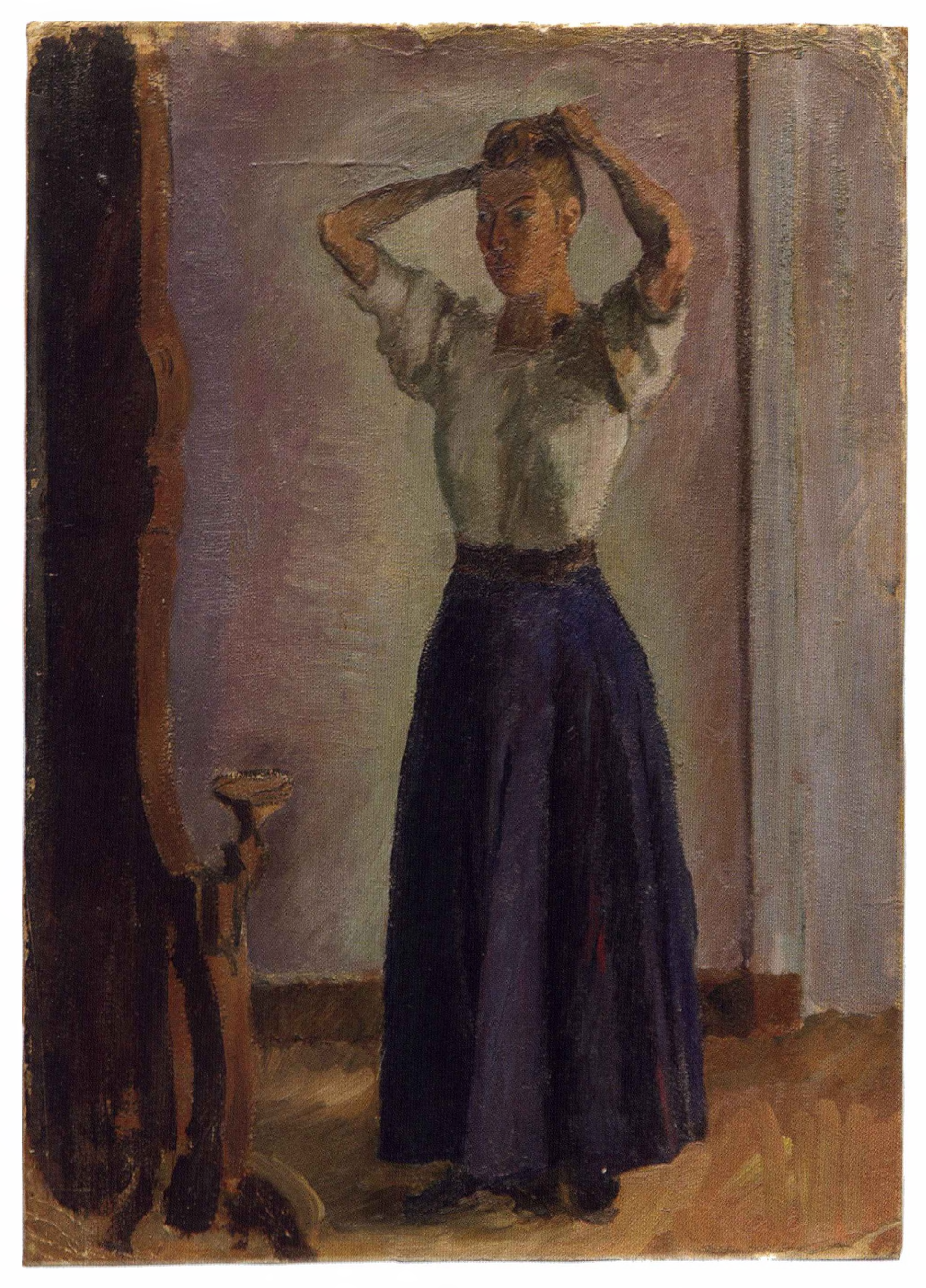
1 ряд – Леля Дервиз, А.С. Симонович, Наташа Симонович (*на полу*), В.А. Фаворский, М.В. Фаворская (Дервиз).
2 ряд – Нат. Н. Бромлей, О.В. Фаворская, Н.Я. Симонович-Ефимова, Н.А. Розенфельд, Вера Вл. и А.Н. Бромлей.
Сзади – В.В. Тищенко, М.В. Корольков, Карой Киш, М.В. Шик, И.С. Ефимов, К.Н. Истомин, Г.В. Вернадский, В. Кудрявцев, М.Д. Шеламова



Правая часть снимка, слева направо:
1 ряд – Н. Кудрявцева, Н.В. Вернадская, Вл.Дм. Дервиз, Ал.Е. и Андр.Е. Фаворские.
2 ряд – Над.Н. Бромлей, Н.Б. Розенфельд, А.В. Тищенко, Б.Н. Шнитников, Т.Ал. Фаворская, К.П. Фальк.
Сзади – Викентий Адольф, Митя Дервиз



М.В. Фаворская (Дервиз). Портрет В.А. Фаворского.
Фанера, масло. 1913



В.А. Фаворский. М.В. Фаворская перед зеркалом.
Картон, масло. 1912, Домотканово



В.А. Фаворский. Святой Георгий. Гравюра (1-й вариант). 1910

В.А. с Б.Н. Эдингом перед отправлением на фронт (квартира Фаворских на Кузнецкой ул., 1916)

Из «Записок» М. В.:

В. А. уже 8 месяцев как отбывает воинскую повинность и живет в казармах; воскресенья же проводит дома. На днях их дивизион должен двинуться в поход.

Накануне отъезда Владимира Андреевича на фронт у нас собрались его двоюродные сестры и друзья, как прежде на «воскресеньях». Комнаты наполнились молодежью. В столовой Ольга Владимировна разливала чай, угощала вареньем и вела веселую беседу, отгоняя мысли о завтрашней разлуке. [...]

В тот вечер было на душе тепло от такого внимания друзей к Владимиру Андреевичу: вот пришли повидаться, узнали, что он уезжает; на войну ведь отправляется...

Я не смотрю ни на кого, но сижу тут же в гостиной и вышиваю темно-красным шелком по черному бархату на двух жестких полосочках перекрещенные пушки – артиллерийские погоны. Как и Ольга Владимировна, я отгоняю мысли о завтрашнем. [...]

Если бы этот вечер никогда не кончался!

Но поздно. Друзья и родные расцеловались с Володей и ушли. Борис Николаевич [Эдинг] остался. Володе надо было быть у себя в казармах, чтобы утром отправляться всем дивизионом на вокзал. Была совсем ночь, когда Володя попрощался с Ольгой Владимировной и со мной и ушел вместе с Эдингом. Как только они вышли, я потушила электричество в гостиной и прильнула к окну; хотела еще раз увидать «его», когда он пойдет по двору. Но было так темно, что их совсем не было видно, и только два огонька двигались туда и сюда мимо колонн нашего портика; это они ходили и курили. И было грустно и уютно, пока они ходили. Мне хотелось сбежать по лестнице к ним и еще побыть с Володей... Но что же бередить его и мое сердце? Завтра я увижу его на вокзале, а там уж ночь без огонька.

---------------------------- ***Ф.** № 27* ----------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
Конец марта 1916
Сверху пометка М. В.: № 11

Милый Володя, вот месяц, как ты уехал и у меня с тех пор не было ни одного светлого дня, хорошо что ты жив и здоров и письма твои получаем. Конечно главное – ты жив и здоров пока, за это спасибо и слава Богу.

А тут у нас сплошь болезни, и мне больно получать твои письма, где говорится что «наш веселый мальчик...», что у него теперь нового и как он развивается и т. п. Он очень бледный и больной.

Когда мы провожали тебя на вокзале, я очень простудила почки и после не береглась; и душою очень, очень измучилась от горя разлуки с тобой и беспокойства об тебе. Начался жар. Оказалось воспаление почечных лоханок. (Это лучше чем воспаление самой почки.) И вот я все лежала, теперь начала вставать. В то же время как мне было очень скверно, и у Никиты начался лающий кашель. Я целую ночь дрогла над ним и босиком, раздетая, бегала к О. В.

Ну и на другой день у Никиты открылся глубокий бронхит, почти воспаление легких; а у меня тоже около 40°. Сейчас же – доктор ко мне, докторша к Никите. Меня обвернули в компресс на весь бок. Никиту мучили горчичниками. О. В. на меня рассердилась за то, что я все-таки хочу продолжать кормить грудью – «надо же думать о других, не только о себе...»[1] Измучилась я и телом и душою, я тебе сказать не могу как. Ник/иту/ заставляли дышать паром (машинка – знаешь). Жар был 40° один день. Потом стал понемногу спадать.

А я лежу у О. В. в комнате и ровно ничего для Никиты не могу сделать. Была одна ночь, когда вызвали Лелю, от жару шли круги в глазах, а если откроешь глаза, все было в тумане. Я тогда лежала, и все в голове возникали стихи про тебя. Но наутро стихи я забыла и только содержание их написала тебе в одном письме.

Я написала тебе 10 писем – но ты видно ничего не получил. Два первых письма были написаны в Конотоп «до востребования», одно из них было хорошее, сейчас после твоего отъезда. Я пишу там, как я тебя люблю. А потом, все письма почти, грустные и не жаль если пропадут.

[1] Примечание М. В. из «Записок»: *т. е. что мое молоко может быть ему вредно, раз я больна.*

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 28* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
9 марта 1916
Сверху пометка М. В.: <u>№ 4</u> сентиментальное

Милый Володя, муж мой, Никита был болен ларингитом, страшный лающий кашель был. Теперь еще не совсем поправился. Я больна воспалением почечных лоханок. Эти дни было очень скверно; жар доходил до 39,2; боль сверху живота, страшная головная боль; сегодня лучше, жару нет. Доктор велел очень долго лежать, не делать резких движений, питаться почти одним молоком, бросить кормить Никиту, принимать разные лекарства, а главное очень долго лежать. Я лежу у О. В. в комнате. О. В. возится с Никитой и спит с ним. Ту ночь, когда мне было особенно плохо, – у меня спала Леля; она замечательный человек. Ей совсем почти и спать не пришлось, все приходилось то одно, то другое для меня делать.

Так хотелось, чтоб ты был тут; я конечно решила, что умру без тебя, и плакала из-за этого. Ив. С. говорил, что во время жара он сочинял великолепные стихи. И ты знаешь – вдруг я стала говорить

про тебя стихи, конечно не вслух /а про себя. Они сами складывались в стихи – *зачеркнуто*/. Сейчас я не могу их написать стихами, но смысл такой:

Я люблю тебя, как маленькая, серенькая жаворониха любит жаворонка; рано весной притаилась она где-нибудь на фоне прошлогодней травы и смотрит, а жаворонок взлетает все выше и поет. Другие птицы с наслаждением его слушают, и солнце и все наслаждается этим замечательным вестником весны и счастья. А он вдруг прямо падает в траву к серенькой птице.

Я люблю тебя, как любит одинокая березка позднею осенью широкошумную ель. /*...зачеркнуто 3 строки...*/ береза без листьев, холодная, слезы дождя на каждой ее поникшей веточке. Ветер пронизывает ее насквозь. И вдруг она слышит, что шумит поблизости ель. Ель стоит густая, как летом, все такая же спокойная, осенний ветер, и дождь, и морозы – все это ей не повредит. Прислушивается береза к гудению ее широких тяжелых ветвей, и ей делается вдруг тепло и радостно, она чувствует, что около нее есть существо, которое устоит против всяких невзгод и верует в хорошее.

Я люблю тебя, как маленький хрупкий кораблик любит океан. Океан огромный и вширь и вглубь. Кораблик не знает и не узнает всего, что таится на дне его; а там /лежат несметные красоты, – *зачеркнуто*/ жемчуг и чудные цветы. Кораблик маленький и земной, он не в силах постичь всей красоты океана, но он счастлив, что живет в океане и чувствует его великую силу. Счастливы берега, куда приходят волны; доверчиво и серьезно скажут свое свободное слово и уйдут, а песок, и камни, и люди вдруг прозревают, и им хочется без конца слушать океан.

Я люблю тебя, как маленькая, едва заметная звездочка любит чудно блестящий Сириус. Он украшение всего неба, когда в темную зимнюю ночь /*... зачеркнуто 3 строки...*/ сияет голубым, зеленым, красным.

Но я сейчас не вспомню, что еще придумывалось во время жара.

------------------------------ ***Ф. № 29*** ------------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
12 марта 1916
(Фрагмент, приведен по рукописи «Записок» М. В.)

/.../ У Никиты все-таки воспаление легких. Ах Володя, как я мучаюсь, что не так его держала всю зиму! Я виновата, что он такой,

и О. В. виновата: мы его нежили, кутали, всего боялись. И потом я сделала неосторожность: был холодный день, а я вывела его гулять, и он долго спал в колясочке во дворе. Наверное, в тот раз и простудился /.../

---------------------------- ***Ф.*** *№ 30* ----------------------------

О. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
4 апреля 1916

Володя милый, пишу из лечебницы, куда приехала вчера. Сегодня ожидаю операции[1]. Когда уезжала из дому, Маруся чувствовала себя недурно. Собираемся, перед ее отъездом, выяснить все ее болести и устроить так, чтобы она не кисла больше. Никитка совсем молодцом. Вытираем его водицей, каждый день гуляет, и стал живой, веселый и значительно розовей. Очень настойчив в своих требованиях, иногда капризничает, и тогда дедушка [А. Е.] говорит, что он характером весь в него.

Я сделала 12 снимков с него, но солнечное пятно было таким ограниченным, так были резки свет и тень, что почти ничего не вышло – Маруся пошлет тебе лучшие снимки. Не знаю скоро ли мне удастся получить свободу – тогда конечно сейчас же уеду в Епифановку – там работы всякой много. Тетя Лида будет жить с нами.

Максим, передавал мне *В...*, чувствует себя недурно, работает успешно и будет выпущен в октябре. Был опять болен плевритом. Написал бы ты ему два слова «Елисаветград, Кавалер/ийское/ училище, юнкеру Ф.»[2]. Королькова забирают, отсрочка оказалась неправильной. Кажется, он поступает в училище – пехотное.

Все это время никого не видала, было много дела с Никиткой и Марусей. Теперь вместо меня приедет бабушка и Елена Владимировна. От Алтухова[3] слышали, что тебя интересует твоя работа и ты оказываешься полезен делу. Я этому очень рада. Тогда не так тяжело.

Папа все возится с хозяйством и, несмотря на то что много неприятного, не унывает, как всегда бодр и весел. Рисовать и писать это время конечно не удавалось ни мне, ни Марусе. Это впереди. Нас часто посещает тетя Ляля, очень мила и остроумна. Был у нас и Валерьян Дмитрие-

вич. Хороша бабушка – бодрая, веселая, всегда возбуждает какие-нибудь принципиальные вопросы и очень серьезно обсуждает с Марусей. По утрам папа читает ей газеты и оба бывают довольны друг другом.

Маруся в общем выглядит недурно, но болезнь у нее такая, что приходится вылеживаться. Она что-то чертит, много читает.

Собираются они ехать в Домотканово в первый день праздника[4]. Кажется на этот раз устроились так, что она не будет очень уставать.

Эдинг опять едет в Петроград. Собирался побывать у нас но /*неразб.*/. Ник/олай/ Бор/исович/ ждет Нину[5] в Москву. [...]

Вот и все – писать больше нечего. Целую тебя крепко. Будь осторожен. Боюсь что посылка мало интересна. Часы и компас посланы. Сало и копчен/ое/ мясо не разрешают посылать. Если от вас кто бывает в К/иеве/ то лучше там покупать.

Что твои ноги?

Будь здоров. Твоя мать.

приписано: Деньги 50 р. посланы тебе в половине марта.

1 *...ожидаю операции* – плановая операция; по какому поводу – неизвестно.

2 Максим, которого не брали в армию из-за поврежденных легких (см. прим. Ф. № 2), все-таки добился своего. Из «Записок»: *Он поехал в провинциальный городок, где знакомый воинский начальник зачислил его на военную службу. Максим Андреевич пошел в кавалерию.*

3 *Алтухов* Александр Иванович (Сашка) – однополчанин В. А., вольноопределяющийся.

4 Пасха в 1916 году была 10 апреля.

5 *Нина* Александровна Розенфельд (урожд. Есаева; 1886–1937) – художница; училась в Мюнхене (1906–1908) вместе с В. А. и Н. Б. Розенфельдом, за которого тогда же вышла замуж; впоследствии, в 20–30-х гг., работала в правительственной библиотеке Кремля. Арестована и осуждена в 1935 (вместе с мужем и сыном) по т. н. «кремлевскому делу»; в 1937 повторно судима и расстреляна в Донском монастыре (там же через несколько дней расстрелян и их сын Борис).

***Ф.** № 31*

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
9 апреля 1916

Володя, Никита очень серьезно болен: у него острый катар желудка и кишок. Доктор (Веревкин) все-таки думает, что он сможет

выздороветь. Я то надеюсь, то не надеюсь. Во всяком случае, если тебе дадут отпуск, приезжай скорее. Посылаю тебе 25 р. на дорогу.

Никита болен уже неделю, первые два дня было не так плохо, мы не остереглись, дали молока, вот (да еще молоко было плохое).

А от груди его я отняла уже 3 недели тому назад.

Маруся

На отдельном листке другой рукой:

Да, бедный мальчик очень ослабел, как не ослабеть без пищи.
Но я имею надежду, что поправится. Доктор сказал про него, что крепкий мальчик и что перенесет голодовку.
Будем надеяться.

Леля.

---------------------------------- ***Ф.** № 32* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
На почтовой склейке
20 апреля 1916

Милый Володя, муж мой.

Благодари Бога – мальчик наш начал поправляться. Он теперь уже имеет вид живого человека, капризничает, даже немного играет; а то лежал как пласт, бледный, безучастный. Рвота прекратилась, понос уменьшается. Есть ему даем по капелькам и оч/ень/ мало: воду с белком, муку «мелинс-фуд» и чуть-чуть сливок с водой.

Теперь я вижу, и сам доктор видно не надеялся на выздоровление. Нам оч. много возни и мы совсем сбились с ног, оч. устаем: бабушка, О. В. и я. О. В. вернулась из лечебницы, операции прошли вполне благополучно. Если тебе трудно получить отпуск – не приезжай. И вообще, мож. б. тебе сейчас не надо ехать.

---------------------------------- ***Ф.** № 33* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
22 апреля 1916

Милый Володя,

Никитке сегодня опять похуже [...] Ужасно с ним надо быть осторожной; мы даже не знаем, почему ухудшение.

Я часто говорю с доктором по телефону; сегодня только первый день как он не приезжал. Никиту понемногу стали поднимать на руки,

(а то как только его чуть-чуть шевелили – начиналась отчаянная рвота; мы боялись даже шевельнуть колясочку), а теперь сидит на руках (уж сидит! а лежал как пласт, не мог поднять головы), стал даже улыбаться, правда редко. Играет в игрушки, хотя мало, и все ему оч. быстро надоедает. На животе у него лежит все время большой компресс (а живот у него совсем втянулся, стал совсем ямой), бедный животик, доктор его каждый день выстукивает, выслушивает и качает головой: «сильно расстроил себе живот, очень сильно, и какой противный процесс », – а я слушаю, и сердце у меня падает. Но, в общем, доктор считает, что гораздо лучше. Ведь мы даем ему уже смесь сливок, молока и воды (а то давали только одну воду с размешанным в ней белком, и то рвало); теперь же переносит 6 чайных ложечек смеси сливочной, зараз 6 ложечек. А то давали мы ему пить по капелькам, только губы смачивали; он же открывал рот во всю ширину и ловил эти капли; у него была страшная жажда и сильный жар (39°); теперь же температура нормальная.

[...] Ну, посмотрим, что будет дальше.

А я все-таки в глубине души жду тебя. Доктор сказал, что нам можно будет уехать из Москвы не раньше, чем Никита сможет все есть, т. е. недели через 2, не раньше.

Но ведь едва ли тебя отпустят, судя по газетам, у вас /опять – *зачеркнуто*/ бои были. Жив ли еще ты милушканец мой?

Целую тебя крепко и люблю.

Твоя Маруся.

Молись.

---------------------------- ***Ф.** № 34* ----------------------------

А. Е. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
25 апреля 1916

Москва

Милый Володя. Сейчас прочитал твою открытку от 20 числа. Тебе я написал письмо с Алтуховым, но после, дома положил его в посылку, и потому оно не пришло к празднику, такая досада. Пасху и Фомину[1] я просидел на хуторе. Сам выставил пчел – возился с ними целую неделю. Палых больше 20-ти[2] от небрежности бывшего пчеловода. Придется тщательней за ними смотреть. Работы на хуторе идут – получил еще тройку пленных[3]. Приходится с ними ладить – и даже некоторым образом удается. Коровы доятся хорошо, сена достало до выгона. Начали пахать и сеять.

На прошлой неделе приехал сюда. Мама вышла из лечебницы, теперь отдыхает от операции. Никита быстро поправляется, о чем тебе послали третье-

го дня телеграмму. О нем не беспокойся – за ним такой уход что лучше и быть не может. Мамка и бабушка Аделаида Семеновна глаз с него не спускают. Мария Владимировна тож. Доктор бывает через день и дело идет на поправку. Завтра еду на хутор, пробуду там до конца весенних работ т. е. до конца Мая. Пиши мне туда, хоть и кратко, но непременно. Мама не соберется раньше половины Мая. Мы там будем одни, скучновато – ничего не поделаешь. Представь себе, Корольков отделался от воинской повинности – близорукостью, вот нахальство. Тебе все кланяются и мечтают всласть целовать.

Поклон от меня Алтухову.

Мария Владимировна пришла прибавить, что Никитка лучше, начал смеяться и играть с бабушкой. Теперь все страхи прошли. В Домотканово еще не поедут. Вероятно, можно будет говорить о поездке недели через две – вероятно, туда на время поедет и мамашка, а потом уж в Епифановку.

На хуторе собираюсь вырабатывать торф и пилить дрова, иначе мне не покрыть моих расходов по хутору.

Будь здоров и благополучен.

Твой любящий батя

Андрей Фаворский.

Пожалуйста, пиши мне на хутор.

[1] *Фомина* неделя – следующая за пасхальной, от Фомина воскресенья (уверение св. апостола Фомы).

[2] *20-ти* – ульев; всего их на епифановской пчельне бывало до 300.

[3] *Пленные* распределялись военным министерством; в Епифановке работали пленные австрийцы.

Ф. *№ 35*

О. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
28 апреля 1916

Володька, милый человек, как, я думаю, ты испугался за Никитку. Когда мне по телефону передали в лечебницу, что дело так плохо, я хотела бежать оттуда домой, но меня не отпустили, и тогда я надумала позвонить к Веревкину[1], прося его ехать спасать мальчонку.

Теперь, слава Богу, он поправляется, сидит в коляске, играет со своими игрушками, шалит и улыбается. Улыбка несколько иная – сверкают 8 белых зубов – разной величины.

Веревкин очень осторожно прибавляет ему пищу – теперь по 9 ч/айных/ ложек через 1¼ ч. Конечно он немного

худ, но при обильном питании он быстро восстановит силы. Маруся целый день на ногах, кипятит то сливки, то «мелинсфуд»; моет чашки и плошки – мало доверяет нам, бабушкам, и все мечтала о «настоящем человеке» как помощнике. Адел/аида/ Семеновна обижалась. Она необыкновенно трогательно бегает, хлопочет, записывает, поет Никите песни.

Мне приходится после операции полеживать. Ночь теперь я с ним сплю, и Маруся и Ад. С. немного отдохнули.

Одно время здесь было так тепло, что Никиту выносили на балкон. Подул ветер, и Никитка сложил губы и подул. Любит петь, что-то мурчит. Теперь с каждым днем силы прибывают, и заметно полнеет.

Папа уехал на хутор, а мне придется туда ехать только после 15 го мая. Дела мои недурны – понемногу поправляюсь.

У Коли родилась дочь – Елена Николаевна 12 ф. и совершенно благополучно, хотя доктора пугали Анюту[2], что придется-де щипцы, а сердце-де расширено...

Когда будешь писать благодари Ад/елаиду/ С/еменовну/. Прямо подвижница и всегда весела и жаждет поговорить об общест/венных/, литер/атурных/ и научн/ых/ делах.

Прошел слух что Киш[3] умер от холеры. По моей просьбе Наташа наводила справки и узнала, что *Лариса Н.* только что послала ему денег и о его смерти она ничего не слышала. Слух этот распространяет его /бывшая/ жена. Нехорошо, что ты ему не писал и ничего не посылал.

У нас никто не бывает – встаем с Никитой в 6, – ложимся в 9 ч. Королькова освободили совсем по близорукости.

Чего бы тебе прислать. Возможно, что Маруся через неделю, 7 го – 8 го поедет в Домотканово.

Целую тебя. Будь здоров и спокоен.

Твоя мать.

[1] *Веревкин* Сергей Иванович – старый детский доктор.

[2] *Коля* – Николай Александрович Прилежаев, племянник А. Е.; *Анюта* – его жена.

[3] *Киш* Карой Эмерихович (1883–1953) – венгерский художник; учился вместе с В. А. в Мюнхене у Холлоши; в 1909 г. основал в Москве свою художественную студию, в которой работали В. А. и другие «холлошинцы»; летом он живал на хуторе Епифановка; во время войны, как подданный вражеской страны, был выслан в восточные губернии; в 1918 г. некоторое время прожил в Москве у Фаворских, затем уехал в Венгрию.

Ф. № 36

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
Конец апреля 1916

Милушканец мой Володичка
читаем в газетах и думаем, что у вас теперь настоящие бои; потому я беспокоюсь за тебя, а сюда уж совсем не жду. Береги себя и пиши мне не скрывая – если простудился или ранен.

Никиточке вернулась его прежняя веселость; когда я с ним играю, он смеется и протягивает мне свои ноги-палочки (худущие), чтобы я их кусала. Он любит, чтобы ему прикусили каждый пальчик по очереди (как ты, помнишь, раньше кусал /пальцы/ руки). У него 8 зубов. Доктор сказал, что намечается еще пара коренных. Это плохо, что так быстро идут зубы. (А я еду на трамвае, ездила к *М. А.* лечить зубы, Настя тоже ездит к *М. А.* лечить зубы.)

Ефимовы уехали в Отрадное[1], на днях и Павлиновы уедут туда же. Они хотят жить в Отрадном все лето.

[...] Максим был на Пасху в Москве /.../

Продолжение письма утрачено.

[1] *Отрадное* – родовое имение Ефимовых в Лебедянском уезде Тамбовской губернии, куда И. С. и Н. Я. приезжали жить и работать в летние месяцы, начиная с 1912 по 1916 г. Монументальная красота людей и природы этих мест дала Ефимовым одну из наиболее ярких тем их творчества. «*Рисунки и живопись, сделанные в это время – составляют центр моей художественной деятельности всей жизни*», – писала Н. Я. (Н.С. 1982). Друзья и родные Ефимовых подолгу гостили в обширном доме Отрадненской усадьбы.

Ф. № 37

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая улица – Армия*
3 мая 1916

/.../ милушканный мой канок[1], красавец мой Володичка, смелый рыцарь Владикан, по газетам выходит, что у вас все бои и что вы работаете храбро. Ждем от тебя письма с большим нетерпением.

Все думаю об тебе, и утром вставая, и днем среди хлопот и беготни, и вечером ложась спать. Вечером особенно сильно думаю и знаю, что и ты обо мне думаешь; хотя тебе может быть и думать-то некогда. Набегают невольно мысли беспокойные, боишься случайностей, гранат, осколков, а больше всего газов – ах, какие страшные кошмары иногда мне снятся: облако удушливых черных газов приближается к Москве,

и мы все готовы задохнуться, бежим, прячемся и т.д. Ну, я стараюсь отогнать эти мысли и надеяться, что с тобой Бог и наша любовь, любовь О.В., А.Е., моя и Никиткина, и еще многих твоих друзей.

Да, А.Е. сейчас в Епиф/ановке/. Ему очень хочется, чтобы ты написал ему отдельно, прямо ему. Он тобою видно гордится.

С Максимом он немного примирился (послал ему шпоры).

Максим все в школе[2].

5 мая

Доктор сказал, что если погода исправится, будет очень тепло, тогда [...] мы можем ехать в Домотк/аново/, но пока холодно, ехать нельзя. Ты пиши мне в Москву – до тех пор пока не получишь письма из Домотк/анова/.

Никита далеко еще не дошел до настоящего питания и худ ужасно, но все-таки чувствует себя не плохо. Бабушка соскучилась и уехала в Тверь. О.В. доктор отпустил на 6 месяцев. Она скоро поедет в Епифановку.

Леля перешла на 8й курс [консерватории].

Митя – ну, да ты про Митю можешь сам догадаться; он хочет переехать на другую квартиру, с Лелей конечно; ищет квартиру в 4 комнаты; он ничего никому пока не говорил[3].

Уж очень он что-то молод, чтобы стать главой семьи. /.../

По тебе я очень соскучилась и люблю тебя до бесконечности.

Целую крепко тебя, моего ненаглядного, целую твои алыя губы, будь здоров и силен

твоя Маруся

[1] *Милушканный мой канок* – *см. Ф. № 3.*

[2] *В школе* – в кавалерийском училище.

[3] Речь идет о планируемом браке Мити и Ани Чеховой; *хочет переехать* – из 3-комнатной квартиры Дервизов у Красных ворот.

Ф. *№ 38*

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
10 мая 1916

Милый Володя, сегодня Никите год. Поздравляю тебя.

Мы наконец выбрались из Москвы, и вот 2 дня как в Домотк/анове/. Я ужасно беспокоюсь за тебя – нет от тебя писем. Ты пиши сюда, непременно /.../. Думаю об тебе, трудно мне без тебя жи-

вется, я оч/ень/ слабая и бессильная, так надо бы мне твою помощь. Не знаю еще, как Никита будет переносить здешнее молоко, тут очень жирное молоко. Никиту взяли гулять сегодня, он с ума сходит от коров, собак и особенно лошадей.

В столбик поперек листа:

5, 7, 9 без 5, 10½, 12¼, 2, 3¾, 5½, 7¼, 9

(а это записи, когда он ест, он ест 11 раз в сутки, потому что очень помалу, по 14 чайн/ых/ лож.) /.../

/.../ собираться было трудно, мы ужасно сомневались, ехать ли: ужасный холод, а доктор сказал, что при таком истощении Никиту нельзя простужать. С другой стороны, Павлиновы уехали, продали корову, от которой Никита пил молоко, и вот мы уж решили ехать, чтобы перевести его сразу на здешнее молоко. А я /.../ только лежать и могу, и вот все-таки поехали. Леля поехала с нами. Доехали не плохо, но на Чуприяновку наш вагон далеко не подошел к платформе, и мы вылезали на рельсы. Вечером это было и холод был совсем осенний, ветер, мы укутали Никиту... Удивительно, но он не простудился. Приехали, а я совсем обессилела, такая головная боль и тошнота, что не могла шевельнуться /вообще в ужасном состоянии – *зачеркнуто*/. А тут все грязное, посуда; и молоко доено в грязи, пахнет навозом... А я ничего ровно не могу. /.../ Ну, Леля, спасибо, пошла сегодня на дойку и принесла чистое, хорошее молоко. Но у Никиты бурчит в животе, я боюсь вчерашнее молоко было не совсем хорошее, и кувшин грязный, и ложки, вообще никакого понятия об чистоте /.../ Бабушка много возится с Никитой. Ах Володя, пробегают у меня тревожные мысли, все об тебе, мой рыцарь.

Никита помял бумагу: схватил, стал читать, засмеялся и скомкал бумагу.

Устала сидеть, попью чаю и спать пойду, Никита уже спит. Както нечего сказать, мы еще тут не устроились, и нам с бабушкой очень трудно.

Главное ты – если бы от тебя была хоть маленькая весточка.

Ну, буду терпеливо ждать и надеяться.

Я люблю тебя, мой рыцарь.

вся твоя М. Ф.

В середине мая В. А. приезжал в Москву по делам своей батареи. Около десяти дней провел в Домотканове.



Усадебный дом в Домотканове. Фотография 1910-х годов

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
31 мая 1916

Милый мой муж, очень мне интересно, как ты доехал; как нашел товарищей. Но я не надеюсь скоро получить от тебя письмо, буду терпеливо ждать; тебе сейчас верно не до писем. Милый мой, люблю я тебя и тяжела мне разлука с тобой. Одного только желаю – жить бы нам вместе.

На другой день, как ты уехал, к нам приехала вся компания Муравьевых, Коля[1] из Твери и еще какой-то господин из Бурашева. Дети играли на дворе, а Никита на них все смотрел. Это в воскресенье, а в понед/ельник/ и во вторник мы с бабушкой все время с Никитой, потому что Настя обещалась придти и не пришла. Я думаю, она скоро и совсем от нас уйдет; а нам без няньки трудно.

Никита ел молочный кисель; вчера и сегодня он по вечерам ужасно возбужденный, валяется по кровати, хохочет [...]

2 июня 1916 г.

Получила вчера хорошее письмо от Максима Андреевича; пишет, что много занятий; видно в хорошем настроении.

Я написала мое признание[2], так как нечего больше писать – пишу тебе его:

1. гл/авная/ черта вашего характера?	–
2. ваше любимое качество?	чуткость
3. любимое свойство мужчины?	мужественность, независимость
4. любимое свойство женщ/ины/?	духовная и телесная красота
5. ваше лучшее качество?	видеть свои недостатки
6. главный недостаток?	злорадство – следствие зависти
7. ваша главная наклонность?	стремиться
8. что вы всего больше ненавидите?	болезни
9. к какой вине относиться снисходительно?	происходящей от молодости лет
10. ваш идеал счастья:	мещанское благополучие (чтобы ничего особенного не случалось)
11. что было бы для вас самым большим несчастьем?	если бы В. А.Ф. меня разлюбил
12. кем бы вы хотели быть?	хорошей женой, матерью и художницей

13. где и когда желали бы жить? в России после войны
14. ваш герой в действительности? рыцарь Владикан
15. ваша героиня в действительности? мама
16. ваш любимый писатель прозаик? Достоевский
17. любимый поэт? Лермонтов
18. герой в литературе?
19. героиня?
20. любимое искусство и его представители?
21. любимая игра? играть с Никитой

[1] *Коля* – Николай Яковлевич Симонович – дядя М. В.

[2] *Признание* – очевидно, распространенная «салонная анкета».

------------------------------- ***Ф.*** *№ 40* -------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
Начало июня 1916

Милый мой, я люблю тебя страстно; эти дни все время хочу с тобой говорить, сама даже не знаю об чем. Беспокойство закралось ко мне, и что бы я ни делала, где-то глубоко оно затаилось и работает все время, даже ночью, когда я сплю. Глупая вещь беспокойство, ни для чего оно. Но это помимо меня.

Это оттого, что я не только разумом, но всем всем существом моим люблю тебя, каждым нервом, каждым местом тела и души. Любовь к тебе захватила меня всю; /страшно так жить – *зачеркнуто*/ если тебя убьют и у меня сразу не останется ни одного живого места – я умру с тобой, потому что вся живу тобой. Это я поняла теперь, вчера.

Проснулась ночью, и беспокойство, не заглушаемое дневными делами, вдруг заговорило так ясно, что мне захотелось велеть запрячь лошадь и ехать на Чупр/ияновку/, сесть на поезд и ехать к тебе, нигде не останавливаясь, прямо к тебе; чтобы отогнать мысли, я стала читать Мопассана и очень увлеклась; но когда стало совсем светло, и в доме началось утреннее движение, и я дочла книгу – там кончается описанием смерти, мне стало еще печальнее, и я проплакала до тех пор, пока пора стало вставать.

Но ты не сердись – это всего один раз, что я поддалась отчаянию; и конечно милый мой если тебе трудно послать письмо, то и не надо – ну если почта далеко и если приходится подвергаться опасности, чтобы добраться до почты, или просто лишняя усталость –

я потерплю и постараюсь не отчаиваться. Ведь теперь и для меня очень важное и ответственное время: девочка или мальчик – это дело решенное. Мне придется ехать в Москву и может быть /.../ – тогда я лягу в больницу /.../

При воспоминании о Черниховском[1] у меня душа переворачивается от злобы. Я не могу простить этому человеку и знаешь я кажется не /...*вычеркнуто 9 строк*/

Никита здоров; дала ему ½ желтка – и он икает второй день. Значит яйца ему давать нельзя.

Но мы с Никитой – это не важно – ты береги себя, будь здоров /.../

Я люблю тебя, люблю, люблю,

вся твоя жена.

Приписано сверху:

Знаешь что странно: ведь вы кажется на отдыхе, а ты не пишешь. И меня мучает – а вдруг ты не добрался до своих!

[1] *Черниховский* – врач, в частной акушерской клинике которого в 1913 году, во время первой беременности, М. В. заразилась «родильной горячкой» и, потеряв ребенка, чудом выжила после операции.

***Ф.** № 41*

В. А. к А. Е. *в Епифановку*
31 мая 1916

Милый папа, я сейчас на пути из Киева и дальше, прожил я в Домотканове тихо и смирно, больше валялся по диванам и кипятил Никитке молоко. Никитка при первой встрече меня не узнал да и я его тоже, похудел мальчишка и вырос, но за мое пребывание он сильно поправился, нагулял себе щеки, стал выглядеть разбойником, все требует чтоб его носили и с увлечением смотрит на коров и лошадей. Влад/имира/ Дмитр/иевича/ я видел тоже, он довольно часто приезжал из Твери и побаловал нас пением. Марусю я нашел в хорошем состоянии хотя конечно ей нужно беречься и полеживать время от времени. Бабушка очень трогательно все возится с Никиткой, Леля тоже помогает, Настя остается но часто бегает к родным, весела как всегда и кажется друг друга с Никиткой очень любят. Проездом в Москву я видел порядочно народу, между прочими Колю Попова[1] который тоже был в отпуске, много интересного он рассказывал. Потом видел Гулю Вернадского[2] [...]. По газетам я все следил за нашим местом, что там

происходит и вдруг наступление[3], мне очень было обидно что я не присутствовал при этом, когда пошли, уже дальше-то это не так интересно а вот прорыв первых линий говорят был великолепен и наша артиллерия принесла громадную пользу. Мы с /*неразб.*/ который едет со мной видели вчера в Киеве нашего командира[4], он на несколько дней здесь (наша батарея на отдыхе). Мы ему очень обрадовались, он нам тоже и говорил что все меня вспоминали, «как батарея начнет стрелять, так и жалко становится что вас нет». Наша батарея гвоздила их окопы всю ночь и полдня и потом когда пехота пошла в атаку то взяла эти линии совсем без выстрелов и без потерь. На нашей батарее никаких потерь нет и никто не ранен и по словам командира она отличилась: разбила три неприятельские батареи и поэтому должно быть получит георгиевские кисти на трубу. От командира мы узнали где мы теперь, наша батарея продвинулась вперед верст на сорок-пятьдесят, так что нам легче теперь найти своих. В Киеве я был у Коли[5], они все здоровы, девица растет, собираются на дачу. Ваню[6] не пришлось увидеть. Как вы теперь живете что поделываете, как твои дела по хозяйству как твое здоровье и здоровье мамы. Кланяюсь вам всем низко, всего хорошего, обо мне не беспокойтесь

ваш сын Володька

[1] *Колю Попова.* – Николай Константинович Попов (1887 – после 1935) – приятель В.А.; приемный сын известного чаеторговца Попова; инженер-химик; впоследствии арестован в 1935 году в связи со взрывом на фабрике им. Красина.

[2] *Гулю Вернадского.* – Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) – друг В.А. по гимназии; сын ученого В.И. Вернадского; историк, культуролог, один из теоретиков евразийства; с 1920 года – в эмиграции.

[3] *...вдруг наступление...* – начало наступательной операции русской армии (21 мая – 9 августа), получившей впоследствии название «Брусиловский прорыв».

[4] *Командир* – 3-й батареи 40-го мортирного дивизиона, в которой служил В.А.,– Давид Михайлович Сааков (1881–?)

[5] *Коля* – Н.А. Прилежаев; химик; двоюродный брат В.А.; *девица* – его новорожденная дочь.

[4] *Ваня* – И.А. Прилежаев; агроном; двоюродный брат В.А.

---------------------------------- ***Ф.** № 42* ----------------------------------

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
5 июня 1916

Милый мой муж, вот вернулись мы из Москвы; Ольга Влад/имировна/ пробыла тут, в Домотк/анове/ два дня, повидала Никиту, по-

бывала у Ляли на десятине, но вообще мы были такие усталые, и я, и она, и Аня[1], после Москвы, и жарко, так что было как-то не весело и мы все какие-то сонные. А еще неприятность: вдруг околели две коровы самые лучшие; конечно думаем сибирская язва; через мух легко заразиться, я боюсь за Никиту; молоко кипячу усердно, говорят этого достаточно, чтобы не заразиться, уж не знаю.

Никита здоров. Но настроение у меня довольно тягостное, я думаю, что тебе там тяжело, и грохот и жара адская, и нервы все время напряжены, и смерть везде вокруг – ну понятно трудно; вот, я верно чувствую, так сказать с тобой вместе, и те дни, когда тебе легче, и мне легче. А были у меня тяжелые дни. Вот поехали мы в Москву. Пошли с Аней к Шемякину[2]; он говорит: «По-моему Вам не надо допускать эту беременность; лучше сделать сейчас же операцию /…/

Часть письма утрачена.

/…Никита/ со мной ни за что не заснет; он ждет от меня еды, хотя он теперь наедается много, и живот стал у него толстый. Руки и ноги слабы; хотя он встает в кроватке, держась за перила, но не всегда это ему удается; а не удается – он откидывается на спину и плачет; это мне не нравится: он бы должен добиваться, а он сразу обижается. Утром, проснувшись, первое его слово «прука», тонким голосом совсем как Дуня[3] зовет: «прука, прука, прука», хочет гулять и к лошадям или коровам. Это слово он понимает, а «мама» нет; говорит «папа», но совершенно не понимает.

Приходила баба с мальчиком; он возраста Никиты, а больше и самостоятельнее: ползает, встает, лезет на лестницу, ест булку, жует.

Но все-таки Никита хороший мальчик.

Папа, Леля, Митя, Аня, Ляля, Юра и Гриша поехали на пароходе в Старицу, и как нарочно, сегодня начался беспросветный, мелкий дождь.

Я наелась луку, пью чай у себя в комнате, лежа в постели. А ты мокнешь и дрогнешь; спокойной ночи, мой родной, будь здоров. Никита целует тебя своими нежнейшими губками. Твоя жена.

6 июня

Володя милый, любовь ты моя, у меня есть подозрение, что у нас будет девчонка, Никитке сестра. Хотя конечно это еще не наверное. /…/

Будь только жив и здоров, это самое самое главное. Твое письмо для А. Е. получила, приписала и послала в Епифановку.

Печальная весть от Ефимовых: у Ксении Васильевны[4] тихое помешательство; у нее было это и раньше. Ее отвезли в санаторию в Москву. Ив/ан/ С/еменович/, который вез ее с Павлом Яковл/еви-

чем/, написал, что она то радуется и говорит хорошие христианские слова, то мучается; раз старалась себя задушить цепочкой от креста. Как это ужасно, я не знаю, сознает ли она, что она не нормальна. Жаль ее очень. Такой она хороший человек. Поправится ли, Ив. С. ничего не пишет об этом. Всегда в доме Павлиновых нам с Лелей казалось какое-то горе, что-то – вот очевидно это всегдашний страх перед этой болезнью. Теперь понятно, почему она так хотела, чтобы мальчик был спокойный, не нервный. Сколько горя, и какое разнообразие горя у людей! Почти, почти у каждого!

Милый мой, какое все-таки счастье, что я получаю твои письма и знаю что с тобой. А вот у нашей горничной Надежды муж на войне и больше года нет от него вестей.

Трудное у вас время и решительное, ради меня и Никиты береги твое здоровье, – хоть не простужайся-то. [...] Да, Настя уходит. Просто по дому все скучает, стала сердитая, плохо работает, ну мы ее не удерживаем. Будем искать няню.

Милый мой, так жажду я видеть тебя все время, не разлучаться с тобой /.../, и подушки-то у тебя нет; вот я лежу на постели сейчас, чай пью; а у тебя и подушки-то нет. Хуже всякого солдата.

Люблю тебя

твоя М. Ф.

[1] *Аня* – А. Н. Чехова.

[2] *Шемякин* Михаил Михайлович – московский врач-акушер, принимавший у М. В. в 1915 году роды (Никиты) и уже тогда категорически запрещавший ей еще рожать.

[3] *Дуня* – кухарка в Домотканове.

[4] *Ксения Васильевна* – Павлинова.

Ф. № 43

М. В. к О. В. *Домотканово – Епифановка*
22 июня 1916

Дорогая Ольга Владимировна, меня очень волнует, что вот три недели как ничего от него нет; может быть, вы получили что-нибудь? Тогда, пожалуйста, пришлите поскорее хоть какую-нибудь весть. Папа говорит, что при таком сильном наступлении, может быть почта там не может правильно работать, поэтому нет писем. Но, конечно можно объяснить и так и эдак, но я ни на минуту, ни днем,

ни ночью не забываю, что на войне все может быть. Я написала *Галине Николаевне, Эмилии Антоновне*[1], Илюшину[2]; может быть они что-нибудь знают. Я все думаю, добрался ли он до своей части? Ведь последние письма его (к Андрею Евг. и ко мне) написаны с дороги. Но вы не очень обращайте внимание на мои слова – вы знаете, какая я беспокойная и всегда предполагаю худшее. Может быть все благополучно. Ах если бы получить хоть два слова от него – какое бы это было счастье! Если я получу – сейчас же пришлю вам.

[...]

Третьего дня была гроза, ударило молнией в избу за версту от нас; загорелась эта изба, моментально сгорела; еле успели вытащить старуху (которая не может ходить от паралича ног); огонь перешел на соседнюю избу, и так дальше; сгорело 4 избы. Люди все спаслись, потому что это было в 4 часа дня. Сразу наехало 5 пожарных машин из соседних деревень и от нас. Митя, Юра, Гриша и наши немцы[3] работали во всю силу, и остановили огонь, а то бы сгорела вся деревня.

[1] Очевидно, родственницы однополчан В. А.

[2] *Илюшин* Петр Васильевич – однополчанин В. А.

[3] *Немцы* – пленные, работавшие в домоткановском хозяйстве.

Ф. № 44

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
23 июня 1916
Сверху приписано: несмотря ни на что я все-таки надеюсь, что ты жив

Милый мой муж, я люблю тебя; я очень беспокоюсь об тебе. Но если уж не пишешь, – значит нет возможности писать. Как только будет возможность – так ведь ты напишешь? Сейчас папа внизу поет, а я ушла к себе, я не могу слушать, когда не уверена, что с тобой. Только пиши все про твое здоровье – ничего не утаивай, если ранен, так и пиши, что ранен – все пиши – ты не можешь себе представить, как тяжела неизвестность. Но конечно, если нет возможности написать ни письмо, ни телеграмму – ну что же делать.

Никитка слава Богу здоров, я чувствую себя ничего, только совсем нет аппетита, ничего не хочется есть, все так невкусно, хочется того чего нет. Ты понимаешь, отчего это?

Недавно был пожар в Захееве, от молнии загорелась одна изба, огонь пошел дальше, сгорело 4 избы. Митя, Юра и Гриша много помо-

гали, работали с машинами. Наехало 5 машин, и затушили. Но глупо писать об таких вещах на войну, там все гораздо важнее,

ну целую тебя крепко

И дальше по кромке вокруг всего листа:

люблю тебя больше жизни, больше света, больше солнца, больше звезд, больше Никиты. твоя М.

23 (24) июня

Ах слава Богу!

Каким великим счастьем наполнили мою душу открытка от тебя и письмо от тебя. А я-то мучилась, и каждый день мучения становились острее, глубже въедались и жгли мое сердце. Я написала Илюшину – ну пусть он меня простит – я, по правде сказать, думала, что ты и до своих-то не доехал. Мне снилось /, что/ ты в плену, – мало ли какая чепуха в голову лезет. Я боялась уходить от других: придешь в свою комнату и такие тяжелые тревоги об тебе сдавливали мою душу, что я даже писать тебе несколько дней не могла. Какое счастье, что ты жив! ах мой милый, я так тебя люблю! Ну может ли быть на свете что-нибудь лучше любви и лучше тебя. Иногда я плакала, зарывшись в одеяло, и горькие то были слезы; но я скоро удерживалась, потому что ты не любишь /этого/, и еще из-за того, что теперь уже нет сомнения насчет беременности.

Вчера папа пел, и мне так грустно стало, при мысли об тебе, что я в глубоком отчаянии пришла к себе в комнату и места себе не находила. Деревья в окне и желтое ночное небо я не могла видеть; я легла и стала читать молитвы: «да будет воля Твоя»; это меня успокоило, и прежняя бодрость вернулась. Ты знаешь, когда нашему Никите было совсем плохо и я совсем отчаявшись села в кресло и в душе ничего кроме отчаяния не осталось – Леля сказала: «Я верю в то, что если очень сильно и деятельно чего-нибудь хочешь – религиозные люди называют это молитвой – то эта сила как-то действует на больного и ему лучше. Так я усиленно хотела, чтобы ты поправилась, когда ты была так больна (у Черниховского). Я в это верю». И ты знаешь, Володик, я тогда встала и прониклась бодростью и на другой день явились у Никиты хорошие признаки, признаки, подающие надежду на выздоровление. Я вспомнила это и подумала: положение серьезное; одно, только одно что я могу для Володи сделать, это деятельно желать ему быть живым и здоровым.

Вчера я заснула со светлыми мыслями (после стольких мучительных вечеров), а сегодня вот вдруг твои 2 письма!

Я уже легла, темно, зажгла лампу, ела миндаль (ты понимаешь) и вдруг Юра стучит в дверь – твои письма!

Перечту их еще, положу под подушку и спать. Ах какое счастье, мой милый! Я их прочла твои письма и глубоко вздохнула, от радости и облегчения.

Завтра напишу О. В.

Ах спасибо тебе, что написал.

Я люблю тебя

вся твоя и телом и душою

Мария Ф.

------------------------------ ***Ф.*** *№ 45* ------------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
16 июня 1916
Почтовая карточка;
штамп – ВСКРЫТО ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ

Милая Марусюха, два дня у нас идет дождик, и враги, и мы мокнем и потому воюем сонно или вернее не воюем, а больше спим и стараемся защититься от дождя. Мы лично защищены – вырыли землянку и там спасаемся. Я жив и здоров и другие тоже. Если ты мне будешь посылать что-либо то пришли мне подштанники, а то у меня всего одна пара, а другая куда-то затерялась. Лучше шелковые, потому что со здешней грязью очень просто развести вшей. Как твои почки и как здоровье Никиты? Кланяюсь всем

целую мою женушку

твой муж Володька

Письмо от В. А. к М. В., упоминаемое ниже, – утрачено.

------------------------------ ***Ф.*** *№ 46* ------------------------------

М. В. к О. В. *Домотканово – Епифановка*
27 июня 1916

Дорогая Ольга Владимировна, вчера получила от Володи открытку и письмо; открытку посылаю вам. Все благополучно, он жив и здоров, хотя и трудно видно приходится: они все время идут, в движении, спят

где попало, все в грязи, Володе даже некогда было 3 недели вымыться. Просит прислать шелковые кальсоны, а то легко развести насекомых. Приходится все время сталкиваться с пехотой, Володя пишет, что есть очень хорошие люди. А не писал так долго оттого, что очень долго ехали, пробирались к своим и ехали по таким неустроенным местам, что негде было опустить письмо; а когда наконец добрались до своих, то все время без отдыха работали; наконец два дня был дождь и тогда он выбрал время написать. От дождя негде укрыться, они вырыли землянку. Боюсь я за его ревматизм и за его экзему; в такой грязи и сырости! Ну слава Богу жив, а я уж почти перестала надеяться; /простите за – *зачеркнуто*/

Едут в город, тороплюсь отправить письмо.

Посылку Володе я до сих пор не послала, все ждала письма; теперь отправляю что он просит.

Никитка целует вас и Андрея Евграфовича.

Всего вам хорошего. Кланяюсь Андрею Евграфовичу и Марии Александровне[1].

Маруся

[1] *Мария Александровна* – М. А. Сутырина (урожд. Прилежаева), племянница А. Е., подолгу жившая в Епифановке (покойный отец ее был священником соседнего села Тумботина).

---------------------------- ***Ф.** № 47* ----------------------------

От В. А. к родителям *в Епифановку*
18 июня

Милые папа и мама я жив и здоров. Мы тут за эти дни немного повоевали и с пользой, вы наверно уж про это читали. Много пленных, много всякой рухляди, ружей, одежи, вина, всяких таких вещей, иной раз думаешь взять что-нибудь на память да не знаешь куда деть. Ружья валяются как простые палки и никто /ими/ пока не интересуется (их потом собирают для войска) у нас, а все ищут маленькие карабины, патронов тоже масса всюду разбросано. Пленные – чудаки, идут радуются, некоторые о чем-то говорят озабоченно но вот очень деловито опережая провожатых идут к нам стараясь выйти из под обстрела, а выйдут тогда уж стараются нести или вести раненых наших, словом быть полезными.
Насчет Маруси тоже надеюсь что все будет хорошо и ей и другим на радость. Кланяюсь всем жителям Епифановки вас обоих крепко целую

ваш Володька

Ф. № 48

В. А. к родителям *в Епифановку*
27 июня 1916

Милые мои родители воюем мы, все у нас пока что есть и если так дело дальше пойдет то немцам с нами не справиться. У нас сейчас несколько дней тихо и все отдыхают. Я жив и здоров и вообще обо мне не беспокойтесь. Папа может быть доволен, командир велел собрать мне все мои бумаги и хотят представлять меня в офицеры, я и не просил, они сами находят меня достойным, там конечно какой будет ответ не знаю но надо думать положительный.

Я конечно боюсь своих новых обязанностей но ведь это и не так скоро и можно будет подготовиться, подчитать что ежели забыл. Живу тут не плохо, немного только грязно и помыться довольно трудно бывает, но в общем не плохо. Товарищи мои поживают хорошо. Бабинский[1] почти наверное уходит на завод.

Насчет общих успехов вы наверное лучше знаете чем я, но вообще на русском фронте хорошо, а вот кабы на французском и итальянском фронте принажали бы, тогда немцам нельзя было бы перекидывать ни орудий ни солдат. Ну а как у вас, как все поживают как имение и вся живность, сады и огороды, рисует ли мама, ждете ли Владимира Дмитриевича? ну почтальон идет всего вам хорошего целую вас крепко

ваш сын
Володя

[1] *Бабинский* – товарищ В. А. еще по учебной бригаде на Ходынке. *См. Ф. № 11.*

Ф. № 49

В. А. к А. Е. *в Епифановку*
Конец июня 1916

Милый папа как ты и мама поживаете, я жив и здоров, вообще опасность для меня очень не большая. Ты конечно знаешь что мы уже далеко против нашего прежнего участка, воюем теперь совсем подругому, все время движение, все время перемены так что иногда устаешь сильно, неделями вымыться некогда и негде, так что бываешь грязный до чрезвычайности. Командир наш все еще болен и у нас на батарее всего два офицера, которым работы очень много и устают, особенно старший офицер[1], очень. Я все время со старшим офицером на наблюдательном пункте и отношения у меня

с ним очень хорошие да и вообще и со всеми другими у меня отношения неплохие.

Приходится сталкиваться с пехотой, расспрашивать их про их жизнь, рассказывают много интересного. Один недавно рассказывал что на разведке он залез в костел и нашел там неприятельских раненых оставленных там, напоил их (хлеба с собой не было), в это время неприятель поджег костел снарядом. Санитары тут же подбирали наших раненых но чужих из горящего костела не хотели тащить но офицер наш заставил и солдат был очень доволен. Приходится видеть много пленных и разговаривать с ними, вообще жалуются что есть им нечего почти, хлеба дают очень мало, мяса почти совсем не дают так что не поймешь чем питаются, наши солдаты едят несравненно лучше. Я чувствую себя неплохо, устаю но не переутомляюсь, погода хорошая и ревматизм и невралгии меня не мучают. Как живете вы, что в Епифановке, все благополучно? Как мама, как Женя[2], Лида и дети. Рисует ли мама и что именно, пусть рисует побольше и за себя и за меня.

Что коровы, пчелы, хлеба, какая у вас погода, как Ока поживает.

Ну кланяюсь всем целую тебя и мамашку крепко пишите мне всего вам хорошего

ваш сын Володя

[1] *Старший офицер* – Иван Иванович.

[2] *Женя* – вероятно, Евгения Кифер – дочь Е. В. Кифер (Кати), младшей сестры О. В.

Ф. № 50

В. А. к родителям
8 июля 1916
Открытка

Милые мои получил от вас обоих письмо, у вас все значит благополучно, здесь тоже, сейчас наступило затишье и поэтому скучновато. Живем мы все время на вольном воздухе и поэтому должно быть, я чувствую себя очень хорошо, и мои боли посещают меня очень редко. Папа может радоваться – меня за боевые отличия представляют на днях к прапорщику, решение правда будет должно быть не раньше месяца. Поздравляю вас с именинником и целую вас всех

ваш сын Володька

Ф. № *51*

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
8 июля 1916

Милушок мой Володик, мы ехали вечером на Чуприяновку, провожали Ольгу Владимировну, навстречу идут Юра и Гр/иша/ – ходили за письмами, и дают нам открытку от тебя, мы с О. В. очень обрадовались и О. В. уехала спокойная. Мы с Лелей сидели с ней на Чупр/ияновке/, ждали поезда, потом она села в вагон и уехала в Москву, а потом в Епифановку. Мы же с Лелей поехали домой, ночь была светлая, лунная, я зябла, завернулась – талию плотно ковром – и развалилась как восточная женщина. Ах милушок, я тебе чепуху пишу.

Леля, за мое отсутствие, стала интересоваться Никиткиными делами, я даже удивляюсь */...зачеркнуто 10 строк/*

Ф. № *52*

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
12 июля 1916

Милый мой друг и муж Володичка, бабушка очень усталая, простудилась немного и лежала сегодня; она я думаю от Никитки устала. Я с ним сегодня спала и удивляюсь, как это бабушка долго выдерживала! Он 6 раз в ночь просыпается, его надо сажать поросюка! Я совсем не спала, утром встала – голова болит, опять легла, прямо трудно с ним спать, а бабушка все лето спала. Ведь я думала гораздо с ним легче. Теперь я не дам бабушке так с ним уставать, будем по очереди.

И обидчивый такой стал поросюкан, сразу в слезы, и ночью кричит, правда, скоро засыпает.

У нас вот 3 дня проливные дожди, совсем точно осень, на бабушку еще и это нагоняет тоску.

Спать надо, а то опять не даст спать Никитка.

Целую тебя, мой любимый.

Спасибо, что стал чаще писать. */... зачеркнуто 10 строк/*

твоя Маруся

13 июля 1916

Милый мой, любимец, у нас все дожди, Никитка скучает, сено мокнет. Сегодня я легла недалеко от няни (да, теперь няня у Никиты,

Катя, девочка, менее культурная, чем Настя, но ничего себе; слишком много болтает и его балует, все забавляет); я будила ее ночью, взяла по Лялиному совету палку, чтобы до нее доставать; но все-таки и я не выспалась и у Кати голова болит.

Очень мне хочется тебя видеть; у вас тоже верно дожди, где-то вы укрываетесь? верно мочит вас; боюсь за твой ревматизм. Напиши достал ли ты все вещи, которые тебе нужны: подушку? сумку для карты? пластинку? ремень? Пиши – я пришлю все что надо. Целую тебя и люблю.

Твоя жена.

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 53* ----------------------------------

О. В. к В. А. *Епифановка – Армия*
15 июля 1916

Володька милый. Сегодня 15 поздравляю тебя с ангелом. Спасибо, что не забываешь и пишешь.

Что делаешь, когда у вас затихают бои? Я за рисованье не принималась, очень много забот по хозяйству. Ну а теперь еще грибы пошли в большом количестве и мы с Машей азартно собираем. Жду от Маруси Никиткины фотографии.

Получил ли ты мое письмо из Москвы по приезде из Домотканова.

Живем недурно, если брать в расчет войну-то...

Папа работает много. Начался сенокос, а дожди каждый день.

Целую тебя крепко.

Твоя мать О. Ф.

Пиши когда можешь!

Приписано рукой А. Е.

Что товарищи?
Илюшин, Алтухов. Бабинский уже вероятно в Киеве?
Очень рад твоим успехам и также тому обстоятельству, что ты здоров и благополучен.

Твой Андрей
Фаворский.

Деньги пошлю из Москвы.



Андрей Евграфович и Ольга Владимировна Фаворские в Епифановке.

Максим Фаворский. 1916 – 1917

Ф. № 54

В. А. к родителям *в Епифановку*
15 июля 1916

Милые мои здравствуйте, я жив и здоров, события идут какие-то головокружительные, но мы все-таки надеемся на хорошее. У нас тут должно было быть наступление и нас поставили к плохой дивизии, и она не пошла в наступление да еще часть ее удрала. Турки и болгары сами полезли, но их артиллерийским и пулеметным огнем отбили довольно решительно так что больше не полезут. Виновных много, но виноваты конечно начальники которые донесли что наступать можно. Артиллеристы ведут себя хорошо и очень хорошее впечатление производят ударные батальоны и главное ведь все больше уже раненые, а вот свежий народ ни к черту. Надо заметить что городовые некоторые не бежали а остались на своем посту, так что не все и из них негодяи. Теперь по-видимому будет тихо, мы будем ждать, а немцы тут слабы для наступления. Замечательно, что наши в плен не сдаются а удирают, раньше было иначе, не удирали а сдавались. Одно во всем этом хорошо, что это все теперь на виду а не скрыто и поэтому может быть можно исправить.

У меня болел опять живот и я недели две повалялся в резерве, лечился, пил молоко и теперь выздоровел окончательно.

Сегодня я именинник и поздравляю вас с этим, а потом маму, ведь недавно она была тоже именинница. Ну так, Марусе я посылаю бумажку в Экон/омическое/ общ/ество/, только ей придется разок съездить в Москву, ну это не так уж трудно, письма от нее все равно бодрей и бодрей.

Всего вам хорошего, целую вас обоих, тете Лиде низкий поклон

ваш сын Володька

Женщину с ребенком[1] кончил, буду делать другое.

[1] *Женщина с ребенком* – скульптурка, которую В. А. резал из местного камня в свободное время; впоследствии куплена с выставки МТХ П. Я. Павлиновым.

Ф. № 55

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
15–16 июля 1916

Милый мой муж, поздравляю Вас с днем Ангела и желаю Вам быть здоровым и невредимым. Целую Вас крепко в день Ваших именин.

Ваш сын Никита Владимирович крепко Вас обнимает, целует и поздравляет с днем Ангела.

Прабабушка Вашего сына Вас крепко целует и поздравляет.

Тесть Ваш и сам именинник желает Вам всего хорошего и скорого успеха рук Ваших.

Свояченица Ваша посылает Вам сердечный привет.

Шурин Ваш (хотя он и в отсутствии находится), посылает Вам свое поздравление.

А еще кланяется и поздравляет Вас знакомая Ваша Анна Николаевна[1].

А еще кланяется и поздравляет Вас моя тетушка и мой дядюшка с их детками.

Уважающая Вас жена и супруга Ваша

Мария Фаворская

Милый Володя, вчера в день твоих именин Никита почему-то все говорил «папа», «папак»; и так нежно говорил «папа», уж не знаю почему, может быть мы ему говорили «папа», – ну и он стал говорить.

Милый мой, письма твои для меня счастие; я их кладу под подушку; и тогда мне кажется /что/ ничего плохого не может случиться.

Устаешь ты, мой милый; ты верно берешь на себя многое что мог бы и не делать; береги свои силы, они даны тебе для живописи. Я знаю, ты расточителен, чем увлечешься, то и делаешь без удержу; а ведь жаль.

А потом, ведь георгиевский крест дают за храбрость; а ты ведь храбрый оказался, так может быть и не стоит отказываться? Хотя мне это совсем все равно, будет у тебя крест или нет[2]. А в прапорщики произведут – так это правда же по заслугам, но я и сама боюсь, что еще тебе будет больше работы. Одно только хорошо: ведь когда произведут, то дадут 10 дней отпуска? Ты приезжай! Вот хочется тебя видеть и целовать!

Вложен кусочек бересты с четверостишием:

Листик тонкий, кора березы,
Лети далеко, на поле битвы.
Неси ему мои ты грезы,
Мою любовь, мои молитвы.

[1] А. Н. Чехова.

[2] Видимо, о представлении к Георгиевскому кресту В. А. писал раньше.

Ф. № 56

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
19 июля 1916

Милый мой муж, милушканный мой канок, ах как я по тебе соскучилась!

И так мне завидно тем, на кого светит свет твоего присутствия, тем, кого греет тепло твоей личности, тем, на кого смотрят твои добрые глубокие глаза. Красавец ты мой ненаглядный, стосковалась по тебе моя душа, и мои глаза изголодались, не видя твоего светлаго образа /.../

Далее лист оборван и обратная сторона – 19 строк – вся вымарана.

/.../

Бабушка опять с ним спит; я спала 4 дня и ужасно устала.

Новая нянька довольно бестолковая, и не всегда говорит правду; и слишком болтлива; Никита ее не любит, мне кажется. Так она все-таки ничего, добрая; не умная и все-таки еще девчонка, ей кажется 17 лет. [...]

Сегодня приехал Сергей Иванович Полнер[1], учитель математики из Петрограда, я тебе говорила про него. Смотрит на нас с Лелей и говорит, что мы стали взрослые.

Я много что-то бегаю днем по хозяйству, готовлю Никитке и как-то устаю; хотя у нас много прислуги и Ольга Тихоновна [экономка].

Целую тебя крепко. Твоя жена Маруся.

[1] *Сергей Иванович Полнер* (1861–1929) – преподаватель математики в Петербурге (в 1900-х гг. – в Тенишевском училище); член Объединенного совета профессоров Петрограда; в 1880-х гг. один из сильнейших шахматистов столицы; в 1922 г. выслан из страны в числе большой группы «активной антисоветской интеллигенции (профессуры)»; в эмиграции жил и похоронен в Париже.

Ф. № 57

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
20 или 21 июля 1916
Начало письма утрачено

/.../ усталая ложишься, что и писать не могу.

Все-таки я почему-то устаю, хотя спит с ним теперь опять бабушка. Утром встаю – так бы и полетела мыслью к моему возлюбленному; но надо готовить Никитке; потом мыть бутылочки; потом

побудешь с Никиткой немного и обедать пора. Сама поешь, покормишь мальчишку; смотришь как его спать укладывает Катя. Я люблю перед сном, когда он уж в одной рубашке – взять его на руки и качать как маленького, он ворчит из-под соски как медвежонок. Пойдешь к Ляле или погребешь сено, там уж кашу варить Никите. Пошьешь что-нибудь – там ужин; купаешь Никиту (2 раза в неделю), уложишь его; сама ляжешь, и опять так хочется к милому писать. Тут я и пишу; но иногда голова болит (довольно часто) и я прямо тушу свечу и только мечтаю об моем ясном соколе, который далеко в поле летает с другими соколами, а он лучше всех; перья на нем все одно к одному, глаза у него зоркие, ни одного врага не пропустят. Ах, распустил бы крылья свои широкие, взмахнул бы крыльями и полетел бы за тридевять земель; прилетел бы к своей царице на окошечко, постучал бы клювом соколиным; царица бы взглянула и вскрикнула от радости; открыла бы окошечко и впустила бы ясного своего сокола – своего возлюбленного мужа.

Ну прости, Володик, я что-то отвлеклась.

Мне снилось, что я изображаю Джульетту, а ты Ромео; и так у нас хорошо выходит, там где об любви идет дело – что Ниночка и Ив/ан/ Сем/енович/, которые слушают исполнение этого произведения, приходят в восторг.

Телеграммы я не получала.

Ты спрашиваешь об Леле? Она играет /на рояле/ не очень много; собирает смородину, ездит в Тверь – платье примерять: ей шьют оч/ень/ красивое платье; собираемся на именины к Имшенецким[1] и к Муравьевым[2]. Папины именины прошли блистательно: все было роскошно, вкусно, красиво, весело. Старая бабушка Имшенецкая, оч/ень/ строгая и чопорная, была оч/ень/ довольна и спросила, кто так хорошо хозяйничает. Леля играет по вечерам иногда поздно. Ходит иногда с Юрой, Гришей, а теперь еще с Сергеем Ив. гулять; немного шьет, купается. Мы с ней оч/ень/ дружны, но как-то давно не разговаривали. А вот знаешь, с Аней мы когда гуляли, то разговаривали; и я когда была в Москве с Аней, и спала с ней (у меня в комнате), – много разговаривала и очень она мне нравится. Но об этом в другом письме. Сейчас Аня в Москве, держит экзамен[3], а Митя в Крыму[4]. Ты об Леле верно пишешь, но ведь это такая случай/ность/

(дальше в другом письме)

Вероятно, часть этого «другого письма»:

/.../

Скучаю я по тебе. Показываю Никите твои карточки, он смотрит; я говорю «папа»; и он говорит «папа» или «папка», очень нежно говорит, вот бы ты слышал. Получил ли Никиткины 3 карточки? Получил ли посылку?

На днях посылаю тебе все самое лучшее, что нашли в Твери: махорки (пахнет плохо), папирос, зажигалку (плохую, лучше не было), спичек, рубашку (хорошую).

[...]

Я так много пишу тебе, мой любимец, что у тебя карманы верно очень топырятся, а у тебя вещей и так много – ты не сердись, но я советую: сожги, или брось, или разорви письма, а то я из-за этого не хочу меньше писать; а все хочу больше писать тебе, мой милый/.../

[1] *Имшенецкие* – соседи-дачники, за несколько верст от Домотканова.

[2] *...к Муравьевым...* – У Муравьевых был дом с усадьбой в селе Щербинине.

[3] *...держит экзамен...* – Очевидно, на медицинском ф-те высших женских курсов.

[4] *В Крыму* – в Баты-лимане (между Балаклавой и Симеизом). Здесь с 1911 года строились дачи кооператива «Баты-лиман», где приобрели участки писатель В.Г. Короленко, ученый В.И. Вернадский, режиссер К.С. Станиславский, художник И.Я. Билибин. Вл.Дм. Дервиз также купил здесь землю, на которой построил небольшой временный домик, и сюда приезжали летом отдыхать. Сам же Вл.Дм. с самого начала строительства взял на себя организацию и присмотр за прокладкой (по горе) общей дороги и потому проводил здесь много времени и весной и осенью. Митя, вероятно, в данный момент находился в Крыму по делам строительства, заменяя отца.

Ф. № 58

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
(без даты) 1916
Обрывок письма

/.../ папа бы им дал сухое с/ено/, а это видно воры и ужасно противное чувство. Так их и оставила. Точно звери или собаки прячутся; гадость. Но конечно /.../

Оборот:

/.../
целую моего милого возлюбленного
Я все представляю себе, какой ты красивый; в коричневой рубахе.

Я все Никите рассказываю, какой у него красавец отец. Он слушает и что-ниб/удь/ да понимает

твоя жена М.

Ф. № 59

В. А. к М. В. *в Домотканово*
22 июля 1916

Милая моя девочка целую тебя крепко получил твое письмо от 12 и 13. Ты думаешь что у нас дожди, сейчас действительно дня два-три похолодало и похоже на осень но дождик перемежается солнцем. У нас пока все спокойно и поэтому скучно, я потихоньку рисую, зарисовываю по памяти лица и случаи но это конечно выходит уж очень схематично и пишу тебе лекции об живописи но и первую не кончил, но писать мне очень приятно. Бумаги мои собрали и послали в штаб так что через месяц или через 1 ½ м. можешь надеяться быть женой прапорщика, что это изменит – я собственно не знаю, только вот деньги буду получать, можно будет не так уж сокращаться в вещах. Между прочим Марусечка нужно будет уж не знаю как, заранЬше приготовиться к зиме – фуфайка, носки, папаха у меня есть, они в Киеве, ну а нужно полушубок и теплые сапоги и варежки, это все немного сложно, полушубок нужно будет взять и немного починить верх, он мне узок в плечах и груди и рукава коротки, кроме того его нужно перекрыть в защитный цвет, для этого не нужно покупать сукна, а какой-нибудь дрянью потоньше, чтобы весу прибавляла как можно меньше (если садится то сперва намочить); насчет сапог прямо не знаю какие сделать, либо валенки, либо из какой-нибудь шкуры мехом внутрь – идеал чтобы было тепло и не промокало но это кажется невозможно, ну словом посоветуйся с кем-нибудь и сделай что-нибудь девочка; насчет варежек нужно меховые, но только не перчатки. Вот какое деловое письмо вышло даже неприятно, да это нечего откладывать, так и совсем забудешь. Жизнь тут идет изо дня в день интересуемся главным образом сведениями об успехах, что делается у других, телеграммами и газетами. Сейчас когда я писал тебе (я сейчас на батарее), пристали, чтоб нарисовал их, Алтухов и один прапорщик, ну нарисовал и конечно похоже и они смеются там, смотрят, но знаешь я должно быть до самой своей смерти буду двойственен в искусстве, мне легко сделать нетвердый, внешне похожий слабый рисунок и когда меня просят то я всегда так рисую, а формы и пространства там нет, а ведь понимаю их до известной степени. Ну все равно. Никитку поросюка поцелуй, что же это он капризничает, я положим тоже в детстве был капризный, да и ты тоже должно быть, но это не значит что это останется. Ну целую милых моих всем кланяюсь

твой муж
Володька

Ф. № 60

М. В. к В.А *Домотканово – Армия*
22 июля 1916

Милый Володя, сегодня мы с Лелей нарядились (Леля надела новое, только что привезенное из Твери, платье), сели в пролетку с Гришей и Серг/еем/ Ив/ановичем/ и под проливным дождем поехали на именины к Имшенецким (знаешь, за Обуховом дачный дом). Играли в разные игры, приехал какой-то генерал с женой и 4 барышнями; сами Имшенецкие были наряжены в пух и прах, в белых туфлях и т. д. Но Леля была и самая красивая и лучше всех одета; а Юра стал оч/ень/ красив и общителен, прямо душа общества (этого общества барышень-подростков).

Пили чай, мне захотелось домой, я попрощалась, а Серг/ей/ Ив/анович/ сказал, что ему поручили привезти Марию Владимировну в целости, и что он должен ехать; так и отговорился, они его отпустили и мы уехали; а Леле бедной пришлось остаться ужинать. Теперь уже десятый час, а их еще нет; Юре и Грише-то весело, а Леле едва ли: там нет ни одного интересного человека.

Мне было неприятно играть и смеяться; я чувствовала такую тоску по тебе; дома делаешь дело для Никиты, стараешься, и будто это все, все и тебя касается, я и оделась-то некрасиво, мне не хочется быть красивой без моего милого, без возлюбленного моего сердца.

/Рисунок – в гостях/

а гораздо приятнее держать на руках мягкого, теплого маленького мальчишку, чем быть в гостях. Это такая роскошь – Никитка.

Милый мой, спасибо тебе за него, ведь это ты его все-таки начал.

Володичка, милый, мне ужасно хочется к тебе, все больше и больше хочется к тебе.

Любимый мой, целую тебя, твои щеки, головку, бороду, носик и губы.

а Никитка у нас рыжеет.

твоя жена Маруся.

Ф. № 61

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
24 июля 1916

Милый мой, хорошо, что ты получил карточки, но Никита на них вышел толще и больше, чем на самом деле, а я правда до-



М.В. Фаворская с Никитой. Лето 1916

вольно худа и устаю; почему-то в Домотканове всегда много беготни, за весь день почти и не присядешь. Хорошо, что есть я теперь кажется могу больше; а то очень тошнило. У нас было глупое приключение: Ляля ждет Вал/ериана/ Дм/итриевича/ из Петрограда. Мы поехали на именины к Имшенецким; Ляля мне сказала, чтобы пока мы будем в гостях – послать кучера на Чупр/ияновку/ за почтой; я же не послала, а поехала через час домой, сказав Леле, чтобы когда лошадь вернется за ней, чтобы она тогда послала на Чупр/ияновку/. Леля, когда увидала, что лошадь вернулась за ней, спросила Гришу, стоит ли посылать на Чупр/ияновку/ (Леля не знала, до чего это важно для Ляли), а Гриша почему-то сомневался; ну и не послали. Ляля сидела до 12 ч. ночи, ждала, и вдруг /узнает, что/ не посылали. Она пришла в ярость. В 5 час/ов/ утра пришлось искать лошадей, чтобы на всякий случай послать за Вал. Дм., Ляля сама топила печку и т. д. И вот она ужасно разгневалась на меня, говорила бабушке, что я эгоистка и т. д., что они столько раз возят нам почту, а мы и один раз не могли.

Я к ней решила не ходить, пока не пройдет гнев. Написала ей извинение, набрали ей кучу грибов, и Леля понесла – «умилостивительная жертва № 1»; кучу гороха, салата – «умилостивительная жертва № 2»; и, наконец, пирог с ягодами – № 3.

Сегодня я пила у них чай, но мне кажется, что Ляля на меня сердится.

Мне это неприятно, тем более что, по-моему, если уж сердиться, то правда же, и на меня, и на Лелю, и на Гришу, на всех одинаково? Правда ведь, Володичка?

А Симоновичи слепы в гневе и фактов не слушают; я бы очень не хотела быть такой несправедливой, по-моему, это нехорошо. Ляля, Варя и Ниночка[1] грешат в этом отношении.

Я тебе подробно написала всю эту чепуху, потому что один день она всех очень разволновала и все (кроме меня и Лели) были какие-то злые.

Милый Володя, ведь ты же меня любишь? Хотя я и эгоистка. Если бы у меня было больше сил – я была бы менее эгоистка и не принимала бы и не просила бы услуг ни от кого (кроме тебя, мой красавец, да и то не знаю), а наоборот, могла бы делать что-ниб/удь/ и для других.

Вчера вечером у нас до 12 ночи засиделся Сергей Иванович, читал Лелино и Гришино признание[2], а потом заговорился об жизни, об счастии. Он говорил: «человек может быть счастлив, если у него есть 4 условия. $1^{\text{ое}}$ и самое важное – здоровье». Гриша говорил, что здоровье, – это единственное, что нужно для счастья.

$2^{\text{ое}}$ – обеспеченность, чтобы была свобода делать что хочется, заниматься любимым делом.

3 ^{е} – какая-нибудь сердечная привязанность.

4 ^{ое} – увлечение делом (каким бы то ни было).

Мы с Лелей возражали, что человек может быть очень счастлив не имея чего-нибудь из этих четырех условий.

А ты-то, я знаю, конечно с ним не согласен. Ты на себе мог бы привести пример: человек не здоровый, и был бы предположим еще нездоровее, но занимался бы любимым делом и был бы счастлив. Мы приводили в пример мучеников, святых; насчет одного условия, насчет привязанности, я почти согласна, что это необходимо для счастья, и то не знаю, для всех ли людей, и потом это такая случайная вещь; /это все равно что – *зачеркнуто, далее ¾ листа оторваны*/

На оставшемся обороте:

Надо одеваться, нельзя же письма с утра начинать писать.
Вчера написала длинное письмо Андрею Евгр. /.../

[1] Аделаида, Варвара и Нина Симоновичи – тетушки М. В., младшие сестры ее матери.

[2] *Признание – см. Ф. № 39.*

--------------------------------- **Ф.** *№ 62* ---------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
28 июля 1916

Милый Володя, ты пишешь, что тебе хочется, чтобы операции не было; так и я решила; и если бы делать операцию, то надо было бы раньше, тогда же, а теперь уж скоро 3 месяца, теперь так и останется, я стараюсь не думать, что будет зимой.

Никитка бывает иногда капризный, но редко, в общем он очень покладистый и смирный; держишь его за руки или за платье и он бежит торопится, и все виснет вперед, Леля гов/орит/ что у него совсем /.../

/Рисунок/

Остальная часть письма утрачена.

--------------------------------- **Ф.** *№ 63* ---------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
10 августа 1916

Милый мой муж, ты пишешь, что получил посылку от О. В.? Но ведь посылку из Москвы посылали мы с папой; неужели ты нашей

посылки не получил. Ну что там было?: 2 кальсон шелковых? 1 рубашка? сушеные фрукты и туфли?

Я думаю, ты именно нашу посылку и получил. Прости, что пишу об неинтересном, но я хочу знать, получил ли ты белье. Иначе я пошлю еще. Нельзя же без белья жить.

Ах, меня заедает стыд: я послала тебе такие плохие стихи! Наброски стихов, но я совсем не способна писать стихи, нечего было и стараться. Мне даже перед тобой вдруг стало сегодня стыдно.

Леля с папой уехали в Крым; сегодня уехал Серг/ей/ Ив/анович/ в Петроград. Мы пили прощальный чай у Ляли в сарайчике, потом гуляли вдоль изгородки по их десятине и бабушка очень радовалась, что сама находила громадные красные мухоморы; рвала их и ей было оч/ень/ приятно, что сама их нашла[1]. Это было оч/ень/ трогательно; хотя бабушка вообще человек не трогательный.

Ах как мне хочется, чтобы ты услыхал, как нежно говорит Никита «папа». [...] Он говорит на кур «тип, тип», а лошадей Катя зовет «пéньки» и Никита тоже. Он оч/ень/ лю́бит, когда я с ним играю, прячусь – он меня ищет, хохочет; он почти один может ходить; его надо чуть-чуть поддерживать.

/.../

[1] *...сама их нашла...* – В эти годы А. С. уже очень плохо видела.

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 64* ----------------------------------

В. А. к родителям *в Епифановку*
Начало августа 1916 (получено 15 августа)

Милые мои я жив и здоров мне конечно тоже очень хочется жить опять вместе со своими и делать свое дело, но это нужно погодить, а пока мы тут воюем но сейчас как раз у нас тихо, погода слава Богу хорошая и природа тут тоже славная – все бугры и дубы. Маруся пишет мне часто и от мамы я недавно получил письмо. Очень хорошо что мама рисует, я сам начинаю в свободное время рисовать, а то в безделье очень скучно, а тут часто бывает полное бездействие, в сущности никто так не бездельничает как военные, и солдаты, и офицеры. Тут уж осень начинается, это чувствуется, хлеба созрели, в районе боевых действий мы их безжалостно топчем, а версты три в тыл их собирают частью крестьяне, частью казна – потому что многие поля засеяли немцы и нам в трубу видно как они у себя соби-

рают этот хлеб. Жаль что мы не дальше чем сейчас и этот хлеб пойдет не нам. За папиных коров я рад и проект его очень интересный. Ну нужно спать – завтра рано вставать надо. Всего вам хорошего целую вас обоих, всем епифановцам кланяюсь

ваш сын Володя

---------------------------------- *Ф. № 65* ----------------------------------

В. А. к родителям *в Епифановку*
Начало августа 1916

Милые мои здравствуйте, я жив и здоров, получил вчера папино письмо и сегодня получил деньги 50 рублей большое спасибо за них, надеюсь что это последние посланные сюда так как думаю что скоро уж мне будут платить жалованье, хотя работа будет все та же. Большого письма сейчас писать некогда, сейчас уж вечер, хочется спать, вставать завтра рано. Сейчас у нас спокойно. Представляю какие чудесные грибы собирает мамашка и сам бы не прочь пособирать. Если не очень трудно то не соорудите ли вы посылку из меду сюда к нам, что-то уж больно все тут об меде размечтались. Целую вас кланяюсь всем

ваш Володька

---------------------------------- *Ф. № 66* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
12 августа 1916

Милый мой муж, встала я весело, выпила молока, вымыла бутылочки, вычесала Никиту и взяла кислое яблоко, хотела с удовольствием съесть. Приходит бабушка: «Зачем ты кожу около балкона бросаешь?» – надо бежать за тарелкой. Подходит, на стуле бобы сушатся: «Бобы плохо нарезаны, надо их во всю длину резать; они у тебя пересохнут»; «Как? совсем мокрый стул! Ну как ты не можешь вокруг себя не набрызгать?» и т. д. и т. д.

Весь вкус яблока пропал, я сказала: «Сейчас, сейчас все будет сделано» – и убежала из дома, взяла тебе писать, у прудов стою, слушаю, как громко и спокойно журчит ручей и ласково греет осеннее солнышко. Ах бабушка, большое большое ей спасибо за помощь с Никитой; мне было бы теперь очень трудно без нее; но зачем нет в ней спокойствия и равнодушия к мелочам; такие скучные мелочи! Я была бы рада, если бы имела возможность об них не думать; они засоряют душу и делают ее

мелочной. Бабушка имеет полную возможность совсем не загромождать свой ум, и вот, все-таки ими сама раздражается и досаждает другим.

Я бы хотела рисовать, но сейчас Ольга Тихоновна уехала в отпуск, и мне очень много приходится возиться с хозяйством.

Бабушка считает себя, несмотря на то что она окружена внуками, считает себя одинокой (когда Серг/ей/ Ив/анович/ ей позавидовал, она сказала, что с виду хорошо, а в существе не так – нельзя судить по виду, что-то в таком роде).

Но скажи, Володя, как же можем мы нарочно приблизиться к бабушке? Разве это возможно? Ну, быть с ней ласковее – вот все, что мы можем; у нее совсем другие интересы, вкусы, привычки и другая душа; а вместе с тем на нас (по крайней мере на мне) лежит тяжелым камнем, точно какой грех, что я далека бабушке и папе. Скажи, могу я что-нибудь сделать? Точно большой грех перед Богом.

Ивана Семеновича могут призвать, неизвестно когда, но могут. Он хочет попытаться в артиллерию. Мы написали Андрею Евграфовичу, с просьбой написать Тищенко[1]. Но что должен делать сам Ив. Сем.? И как называется та часть в Москве, где ты был сначала. Куда ему проситься? Я забыла название. И ведь он должен заранее подать, что он хочет быть вольноопределяющимся?

Забрела в тенистое место около ручьев, в саду, здесь громадная крапива и кустики малины; я сижу на сломанном дереве, забралась повыше. Я в старом белом платье с голубыми цветочками и чувствую себя здесь, бродя по саду и одна – /молодой – *зачеркнуто*/ маленькой, а ты и Никита – это точно в счастливой сказке.

12 августа

Милый мой муж, я брожу по кочеровскому полю, с завистью: к нашей кухарке Дуне пришел муж, на целый месяц, а ты мой милый, когда придешь? Дунин муж 1½ года не был дома, но зато на целый месяц приехал.

А сейчас получила твое письмо, где ты пишешь, что на отпуск приедешь не скоро, когда будут холода, значит в октябре, ноябре? Да и спрашивать нечего – ты и сам ведь не знаешь, когда тебя произведут.

Сейчас купала Никиту; он очень не любит, когда моешь ему голову, я для забавы дала ему мыльницу как лодочку. Ему попало мыло в глаза, и он ужасно заплакал, успокоился, когда вытерла ему глаза

полотенцем. Он любит встать в ванне, смотрится в зеркало (ванна против большого зеркала) и хохочет чего-то; когда я лью воду, он старается поймать струю руками, или подставляет пальцы ног.

/Рисунок/

проснулся и уткнулся в подушку

/Рисунок/

читает

/Рисунок – зачеркнут/

сам держит бутылочку

/Рисунок/

Сейчас читаю «Доктор Паскаль» Золя[2]. Ты кажется не любишь Золя?

[...]

Посылаю тебе фотографию; мы снялись просто так, главное Лелино новое платье, и потом Серг/ей/ Ив/анович/уезжал. По-моему все вышли хорошо; Никитка оч/ень/ вышел смешной и толстый, нахохлился.

Целую крепко моего милого. Душою я могу все-таки с тобой хоть письменно сообщаться.

/.../ твоя жена.

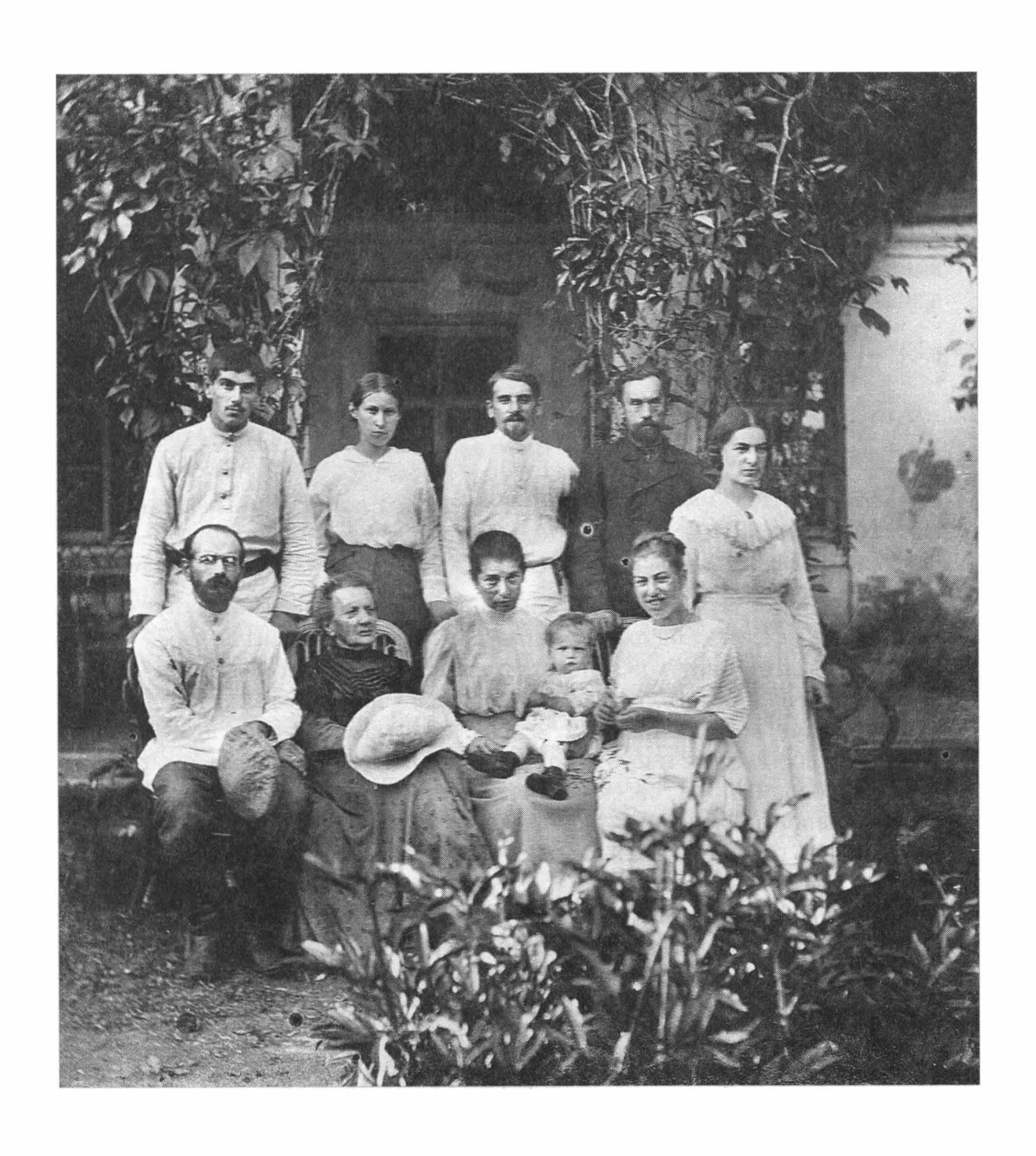
[1] *Тищенко* Вячеслав Евгеньевич (1861–1941) – химик, профессор Петербургской академии (друг и коллега Алексея Евграфовича Фаворского, младшего брата Андр. Е., и муж их младшей сестры); видимо, имел связи в военном (артиллерийском) ведомстве.

[2] *«Доктор Паскаль» Золя* – роман французского писателя Эмиля Золя (1840–1902).

Ф. *№ 67*

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
(*без даты*) 1916
Начало и конец утрачены

/.../ и твоя любовь горит, как солнце поверх всего. Я люблю тебя до последних границ возможного, только через тебя узнала я, что значит жизнь и добро. Ах, зачем у меня такая черная душа, как может она падать в пропасти отчаяния, когда ее греет самое чистое из всех солнц? Ты для меня святой христианин. Ты своею жизнию, и тишиною и простотою своей души умеешь сочетать евангелие с современной жизнью.



Под балконом домоткановского дома. Август 1916.

Слева направо – сидят: Вал. Дм. Дервиз, А.С. Симонович, А.Я. Дервиз (Ляля) с Никитой на коленях, М.В. Фаворская; *стоят*: Юра Дервиз, Аня Чехова, Митя Дервиз, С.И. Полнер, Леля Дервиз

Ты для меня языческий бог /…/ которого я хотела бы украшать цветами и всеми роскошами мира и взять тебя на необитаемый остров, где бы я могла смотреть и упиваться тобою, где бы мы плясали и ловили друг друга и где бы нашей одеждой был ветер /*…вычерк…*/ Нет, сейчас совсем не надо этого думать.

Ты для меня умный и мудрый. Всякие сомнения накипают в моей запутанной душе; я думаю: а что бы сказал Володя. И сразу я знаю правду.

Отчего ты <u>такой</u>? Откуда ты <u>такой</u>?

/…/

------------------------------ ***Ф.*** *№ 68* ------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
14 августа 1916
(день смерти моей мамы)[1]

Милый мой муж, сегодня мы были на кладбище, священник служил панихиду, служит он плохо, суетливый какой-то. Мне жаль, что я не могла взять Никиту: он в это время спал. Вчера вечером мы сделали 2 венка из дубовых листьев; один большой, другой маленький, на Андрюшин[2] крестик. Мне подумалось, когда мама вырезала этот крест, да и вообще, как много она передумала и перечувствовала, и как мало она говорила! она совсем почти не говорила. Может быть с другими – с папой, с Лялей она говорила, а с нами правда и нельзя было должно быть говорить, мы были очень бесчувственны, да и просто молоды! Говори ты Володик со мной больше, об самых важных вещах: ведь мы с Лелей решили, что у мамы было много общего с тобой; душа похожа. Раз как-то, когда Леля у нас ночевала – это было как раз перед тем днем, когда Никита так сильно заболел весной – мы с Лелей почти всю ночь разговаривали, и вот я ей тогда робко сказала, что мне кажется, что ты чем-то похож на маму; она сказала: «Я давно это знала, в этом нельзя сомневаться», и тогда мы говорили об таких людях.

Нет, это было так: мы сперва заговорили /об хороших людях – *зачеркнуто*/ об том, как мы переменились за последние года; отчего? от Володи. И неужели мы остались бы навсегда под влиянием Ив/ана/ С/еменовича/? Если бы не встретили Володю? Как это было бы ужасно.

«Но почему мы, имея так близко в детстве свет, тот же свет, не заметили его?» Леля сразу поняла: «да, да, то же самое»; и вот тут я сказала что между мамой и тобой есть сходство.

Жаль, что тебя сегодня с нами не было. Были Аня, Митя, Ляля, Юра, Гриша и Валерьян Дмитриевич.

Завтра все уезжают, и Митя, и Аня, и бабушка. Я остаюсь одна с Никитой, спать не придется, надо сейчас спать, поздно; целую тебя крепко и очень тебя люблю. Твоя жена.

[1] Надежда Яковлевна Дервиз (урожд. Симонович; 1866–1908) умерла 14 августа по ст. стилю; похоронена на погосте при церкви у деревни Синцово, близ Домотканова.

[2] *Андрюша* – брат М. В., умерший в младенчестве (1902–1904).

---------------------------- ***Ф.*** *№ 69* ----------------------------

В. А. к родителям *в Епифановку*
14 августа 1916

Милые мои, я жив и здоров у нас пока спокойно и дел у меня не особенно много но все-таки есть, так чтоб не скучать. Сегодня получил от мамы письмо, она пишет что долго от меня нет писем, но я стараюсь быть аккуратным, правда первым делом пишу Маруське а потом вам уже, так что иногда уж не успеваю. Деньги которые папа послал я получил недавно, большое за них спасибо, мне это надолго хватит. Маруська пишет мне довольно часто, у них все благополучно, про Никиту очень интересные письма как он разговаривает, как он пытается ходить – ужасно интересно было бы на него поглядеть, меня только беспокоит что бабушка устает с нашим мальчуком. Жалко мне мамашку что ей не приходится рисовать, я тоже очень скучаю по живописи и начал понемногу порисовывать и хоть все это конечно мелочь но очень приятно хоть немного. [...] Тут перемен у нас особенных нет, только приехал командир, но ведь я вам должен был писать об этом, а старший офицер, с которым я все эти бои был вместе, ушел командиром во вторую батарею, его вот мне жалко, вообще лучше пожалуй быть с молодым командиром. Но и этот командир хороший артиллерист и ко всем нам относится очень мило. Кроме того помните я вам писал об двух прапорщиках присланных к нам, один из них у нас более или менее прижился, а один совсем не может привыкнуть, все мечтает об парке[1] или о чем-нибудь подобном и ему повезло – из парка просится к нам тоже прапорщик Васильев и они может быть обменяются местами. Это будет приятно, этот Васильев симпатичный парень и кроме того художник наш московский, из школы живописи. Вообще получается что художники – хорошие артиллеристы, недаром Микеланджело, Леонардо и Челлини были ведь первыми артиллеристами[2]. Может быть

в свободное время мы с ним вместе и порисуем, и посерьезнее чем наброски, вот все наши новости. А насчет теплых вещей у меня дела обстоят так: фуфайки, носки, папаха и т.д. у меня в Киеве у Бабинских и я могу их более ли менее легко достать, а насчет другого я написал Марусе, может быть ты мама ей поможешь советом или делом. Я просил мой синий полушубок в плечах уширить и перекрыть защитным цветом и потом сапоги какие-нибудь теплые, хотя бы меховые, но лучше чтоб не промокали, и меховые варежки, вот и все, правда это немало и потребует много денег да что ж делать. Главное не соображаю я как это все в конце концов ко мне переправить если меня не пустят в отпуск. Ну милые мои всего вам хорошего целую вас крепко

ваш сын

Володя

[1] *Об парке* – парк орудий.

[2] *...были ведь первыми артиллеристами...* – Перечисленные художники Возрождения – Микеланджело Буонарроти (1475–1564), Леонардо да Винчи (1452–1519) и Бенвенуто Челлини (1500–1571) – занимались и разработкой осадных и оборонительных орудий, сооружений и приспособлений, а также отливкой пушек и применением их в реальных боевых действиях.

Ф. № 70

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
17 августа 1916

Милый мой Володик милушок, получила от тебя сразу 2 письма. А твое письмо из Киева получила уже давно. Спасибо, мой милый.

18 августа

Никита рисовал сам; а потом я водила его руку */рисунок/* Он понимает, что вышла лошадь «прука» и кошка, мяучит сам как кошка.

Никита читал твое письмо и говорил разные слова; он много болтает, но запомнить невозможно.

тонким голосом «ЭК»
воркует «кау-кау-кау»
часто говорит «папа»

Нарисованных животных любит почти как живых; и понимает, что нарисовано: про всех верно говорит сам.

Теперь я с ним одна. У меня всю ночь болело горло. А Настя (Катя ушла на праздники[1]) оказалась ночью оч/ень/ глупая, ничего не понимает, сажает его, когда он только что делал, баюкает его

«ш, ш, ш», а он от этого плачет. Он любит, чтобы ему голосом пели, по-настоящему, а не шикали. Теперь пришла Катя, и он перестал плакать. Он отвык от Насти.

19 августа

Дорогой мой милушок, у меня все маленькие неприятности и вообще грустно; хотя я не отчаиваюсь, потому что это все пустяки, а ты здоров. Осталась я одна, даже Ляля в Тверь уехала; вышла утром мыть бутылочки и на свободе стала петь громко, а погода у нас все резкая, холодная; у меня сделалась не то жаба, не то инфлюэнца, не то ларингит; уж оч/ень/ сильная боль в горле; знобит и слабость во всем теле.

Самое плохое то, что приходится спать с Никитой и очень легко ему заразиться; а правда пока мне оч/ень/ приятно, что я болею одна, что тут больше никого нет; ты считаешь так, помнишь ты говорил.

Кроме того, Никита все время обижается, плачет, да еще как плачет – на весь дом. У него опухоль на десне снизу, я надеюсь, что зуб. Хотя иной раз подумаю, а вдруг нарыв? Он все-таки много гадости берет в рот; не уследишь – то палку, то огурец жует, то на яблоке (кислейшем и жестком как камень) вижу следы зубов; то вчера всю коробочку спичек облизал, и изо рта у него пахло серой. Катя после праздников еще более растрепанная чем всегда, не спала ночи, гуляла, а теперь с Никитой мало приходится спать. А погода прямо такая мокрая и холодная! Леля пишет из Крыма: солнце, виноград, море теплое, они купаются, вообще наслаждаются; какая разница с нашим севером. А мы и погреться-то не успели, а уж лету конец, мы все бледные, даже не загорели, все лето почти не было солнца. Ну вот пожаловалась; видишь, в общем все мелочи, а ты главное будь здоров. Боюсь я только расхвораться, уж совсем будет некому с Никитой быть. Ничего у меня не ладится, начала кроить Никите – испортила материю, Надежда[2] не умеет готовить и все у ней не так выходит.

Никита с такой нежностью говорит «папа» и так интересуется этим словом, что мне кажется, он чувствует, что оно обозначает что-то очень хорошее и важное, и он тебя любит[3].

твоя Маруся

[1] *Праздники* – Успение Богородицы.

[2] *Надежда* – горничная.

[3] В «Записках» М. В. добавлен отрывок из другого, видимо несохраненного письма: *Правда, он все картины называет «папа». Так получилось потому, что Никите часто показывали твой портрет (который я написала 3 года тому назад) и говорили при этом «папа». У него все картины стали «папа». Няня несла его мимо стены, на которой висел портрет папы римского Пия IX. Никита говорит «папа». Все расхохотались.*

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 71* ----------------------------------

В. А. к родителям – *в Епифановку*
Конец августа 1916

Милые мои я жив и здоров, пока у нас все спокойно погода хорошая дела немного и мне скучно. Вы все пишете что нет от меня писем, это странно, я пишу вам почти два раза в неделю правда больше открытки, так что я не виноват. Осень тут начинается, погода хорошая но уже ночи прохладные и появляется желтизна в листве, а тут все больше дубы так что будет красиво, хотя когда листва облетит нам будет хуже, будет труднее скрываться от наблюдения противника. Писала мне мама насчет Ивана Семеновича – удивительно, как это он будет служить. Насчет того как ему устроиться знаю только что нужно рекомендацию и тогда примут, потом он может сам попроситься в какую-нибудь часть, вообще мне кажется дело это не безнадежное. Получил я недавно две посылки от Маруськи, так что теперь я богатый, белья у меня совершенно достаточно, большое вам спасибо, и табаку масса и сластей, так что я всех угощаю и важничаю. Алтухов ездил в Москву и видел там Николай Бор., Королькова и Максима, и как будто Максим был в Домотканове, он в отпуске, выглядит хорошо а больше ничего не знаю. Меня очень тронули Корольков, Ник. Бор. и Вольф – прислали мне сыру и шоколаду, спасибо им, да и письма прислали. Мама пишет насчет отпуска, не знаю еще как будет но пока проситься нельзя, едва ли пустят да и если очередь соблюдать то мне нужно подождать, но если паче чаяния пустят то я конечно извещу вас сейчас же. От Маруськи вот уже две почты писем нет т. е. приблизительно неделю, не знаю почему но надеюсь там все хорошо. Об Никитке часто думаю, он ведь уж начинает ходить и говорить, это очень интересно, покапризничивает – но ведь это так и полагается, даже нехорошо если мальчишка не капризничает совсем. От мамы письмо получил на днях, большое ей спасибо, а пока всего хорошего целую всех вас, всем низко кланяюсь

ваш сын Володька

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 72* ----------------------------------

В. А. к родителям – *в Епифановку*
27 августа 1916
Открытка (секретка)

Милые мои прошлую почту послал вам письмо, а сегодня только секретку. Получил 3-го дня от папы письмо, очень рад что в хозяйстве

у него все благополучно. Деньги 50 рублей получил уже давно, кроме того получил посылки от мамы и от Маруси. От Маруси получил также фотографию почти всех домоткановцев и посреди группы Никитка сидит такой нахохлившийся, чудной и пожалуй похож на нашего Граню[1]. Я сам жив и здоров, у нас сейчас спокойно живем в лесу порядочно орехов, грибов совсем мало, конечно увлекаться тут ими не пришлось бы, но я завидую маме и Маше. Целую вас кланяюсь всем

ваш сын Володька

[1] *Граня* – Евграф Фаворский, умерший чутырех с половиной лет первенец Ольги Владимировны, живописный портрет которого, написанный ее отцом, В. О. Шервудом, всегда висел у нее в комнате.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 73* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
2 сентября 1916

Милый мой муж, спасибо, мой рыцарь-солдат за стихи, они хорошие и я так и вижу моего милого. У меня что-то много накипело на душе, что хочется сказать: видя ли бабушкину суетливость, мелочность; Лялину и Вал/ерьяна/ Дм/итриевича/ пристальную озабоченность; страстную погоню за удовольствиями Ефимовых и Серг/ея/ Ивановича (только у Еф/имовых/ удовлетворенную, а у П/олнера/ нет); спутанную, холодную, одинокую жизнь папину, точно он задвинул тяжелой крышкой все самое лучшее и важное и решил касаться только самых поверхностных струн своей души; и Лелин, и мой грубый фанатизм к делу – кажется мне, что не так бы надо жить, т. е. жить так же фактически, но чувствовать иначе, чтобы жизнь освещалась чем-то изнутри, чтобы всегда царило над мелкими заботами и минутными удовольствиями и фанатизмом к какому бы то ни было делу, даже к искусству и к воспитанию ребенка.

Чтобы душа была вся пронизана этим бóльшим, как капля росы пронизана лучами солнца; но главное, когда солнце светит, все капли росы сверкают и радуются; когда у человека все хорошо, ему не трудно славить Бога и смотреть в небо, и быть добрым. А вот когда плохо человеку, и несчастья напали на него – у бабушки слепота, у Ляли глухота, у Серг/ея/ Ив/ановича/ и у папы одиночество, у меня болезнь и вечный страх за твою жизнь (война) – и все-таки хочется, чтобы несмотря ни на что, душа была бы хвалой к Богу, цельная и единая как вздох; чтобы когда все небо серо, и ветер носится по голым осен-

ним полям, и нет ни единого луча солнечного – и тогда бы капля росы сияла, пронизанная внутренним солнцем, которое никогда не заходит.

Ближе к этому живут, мне кажется, довольные и работящие Коля и Наташа[1], храня в душе веселость и веру (во что?)[2]; но правда у них нет горя, а есть известное самодовольство, что конечно противоречит идеалу. Вечно занятые делами для других О. В. и А. Е. тоже по-моему живут хорошо, нет у них тяжести и мрачности душевной, простые у них души и открытые для других. Правда я мало знаю, но думаю что /смиренно и – *зачеркнуто*/ идеально жила – это моя мама, сохранявшая всегда кротость и тишину душевную и какое-то благолепие, и тихо наслаждалась природой и тем, что жизнь ей давала хорошего. А больше давала тяжелого. Я все больше открываю это, но мир в душе всегда был, и уходя с нами куда-ниб/удь/ на проталину, сидя на бревне, она улыбалась и пела какие-ниб/удь/ наши песенки. Но я так мало знаю, я даже не знаю, верила ли она; но жила она именно так.

Ах Володик, Никита кашлянул и все мои хорошие мысли ушли; мы сейчас с ним гуляли, бабушка одела его легко, и я думаю, он простудился. А мысли эти у меня далеки от действительности, некоторых несчастий, я чувствую, что не могу перенести спокойно, чтобы внутренний свет не угас: одиночества я бы не могла перенести, я бы озлобилась /.../

Еще я думаю о христианстве – но это в другой раз, и так уж много я тебе написала и ты знаешь, тобою же внушенных мыслей; конечно тобою.

Всего тебе хорошего

твоя глупая жена.

Правда тело у меня эгоистичное, а душа нет, ты прав. Свое маленькое решение я все-таки за лето исполнила: не помню раза, чтобы я рассердилась, говорила бы сердитым голосом. В душе иной раз сердилась, но сразу сдерживалась. Чего я хвастаюсь; это так мало, что стыдно и говорить. Так мало!

Хотелось бы, чтобы душа все время звучала – хвалою, как псалмы Давида. А ты пишешь – надо жить интенсивнее, как молния; я это не совсем понимаю. По-моему – вот в какую сторону надо жить.

Целую моего милого.

Правда я не имею права говорить, что они живут не так, те, кого я знаю; почем знать – с виду мрачные лица, скучные озабоченные речи, а в душе их может быть светит свет, сокрытый ото всех, и светит несмотря ни на что. Ведь душа человека – это тайна. Я могу сказать, что знаю только свою, твою и Никитину душу; почти знаю Лелину, а больше ничью и в сущности не имею данных, чтобы говорить,

что живут не так. Только свет у них как-то редко пробивается, а ведь свет все-таки уж так не скроешь; у мамы мы его видели и были им согреты, да, да, все наше детство согрето этим светом.

Конечно, и Лялины дети согреты светом материнской любви. Нет, у мамы был еще другой свет. А материнскую любовь я не считаю, ты знаешь, это все равно что любить себя, или мужа; своего ребенка – это эгоистическая любовь.

Не могу остановиться – все пишу и отвлекаюсь.

Люблю тебя больше всего; слишком тебя люблю и боюсь, что ты, именно ты, для меня свет и тобой я живу /и вдохновляюсь – *зачеркнуто*/, а надо, чтобы было что-то еще большее, чем любовь. Ты не думаешь?

[1] *Коля и Наташа* – Ник. Я. Симонович и его дочь.

[2] *...веру (во что?)* – Имеются в виду толстовские идеи, которые пропагандировал Ник. Я.

---------------------------- **Ф.** *№ 74* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
Начало сентября 1916
Начало письма утрачено[1]

/.../ согласиться; ее нет, но в каждом человеке есть чувство справедливости; все знают, что такое справедливость и если делают против нее, их укоряет совесть. А Серг/ей/ Ив/анович:/ «Вот девочка деревенская стоит (в Игнатове) – разве есть справедливость, как она живет и воспитывается, и Никита?» Я гов/орю:/ «Конечно, не справедливо». С. Ив. гов/орит:/ «Но вы разве это чувствуете?» – «Конечно, чувствую, и далеко не всегда я живу и поступаю так, как чувствую, что надо бы, и лучше бы». – «А по-моему, лучше вы бы этого совсем не чувствовали: это лишнее; всякий должен давать своему ребенку максимум того, что может дать». Я говорю: «Это совсем не достоинство давать своему ребенку все; он настолько я, что уже это является эгоизмом». Серг. Ив. гов/орит/: «Это не к тому; а вообще откуда люди взяли, что должна быть справедливость? Ее нет, и не может быть, и лучше если бы совсем люди и не представляли себе, что такое справедливость. Если бы я мог украсть у миллиардера громадную сумму, которая обеспечила бы мне приятную жизнь, и мне бы было обещано, что никаких неприятностей мне от этого не будет: миллиардер ничего не заметит, никто не начнет преследования и т. д., а я бы смог жить тогда как хочу – я бы украл».– «Ну, у миллиардера украли бы, а если бы вам представился случай так же безнаказанно для себя украсть у не очень богатого,

и он бы после этого заболел или умер бы с голоду. Украли ли бы вы тогда?» – «Ну, уж это другое – тут примешивается чувство жалости...»

«А по-моему, важно отношение человека к несправедливостям природы и судьбы, – говорит Леля, – важно относиться к ним спокойно и не возмущаясь». Я говорю: «Несправедливостями людскими, по-моему, лучше если кто возмущается; это показывает, что хороший человек и живой человек; да кроме того – если возмущается, то часто чего-нибудь добивается; и ведь, кажется мне, что стало в этом смысле все-таки лучше, чем было в первобытные времена; хотя не знаю. А конечно справедливости на свете нет».

Серг. Ив. говорил: «Один родится уродом, другой красавцем; один с творческим широким умом, другой глупый; один богатым, другой бедным, один здоровым, другой больным. В природе напр/имер/ одна щука живет себе до 100 лет, наслаждается водой и солнцем, и умирает спокойно собственной смертью; другую поймали на удочку, и мучается она на крючке, ее всячески мучают и наконец убивают. Где же тут справедливость. Нет, лучше думать, что так и должно быть».

А мы говорили: «Но ведь если один родился уродом, у него душа больше и лучше, уже потому, что он урод; красавцы часто избалованы и испорчены. У больного душа может быть лучше, ей дается больше поводов для преодоления, чтобы возвыситься, победить и стать лучше, чем душа здорового. Тут конечно дело в отношении человека к этим несправедливостям».

Ах, милый – мы с Лелей, такие далекие от исполнения этих слов, смеем говорить твои хорошие слова.

А сам Серг. Ив. вероятно чувствует на себе несправедливости судьбы и говорит об несправедливостях с возмущением и ненавистью. Правда, он и нездоровый человек, у него не в порядке легкие; и хромой, и некрасивый; маленький, незаметный, невзрачный; но умный и очень живой человек. Леля много с ним гуляла и разговаривала, и говорит, что он оч/ень/ пессимистичен, и еще что у него есть сентиментальность, и что у него не красивая душа. Он сказал: «мой главный недостаток зависть и трусливость». Говорил бабушке, что завидует ей, что она окружена внуками; бабушка говорит, что он верно жалеет, что не завел семью, а не завел по трусости, боялся потерять свободу; боялся забот, а теперь завидует тем, у кого семья.

Ну вот, милый, я написала тебе длинное и кажется скучное письмо.

Сейчас получила от тебя открытку; спасибо, милый, я очень ждала от тебя вестей, привыкла получать почти каждый день, а тут 4 дня не было.

Целую крепко тебя. Очень я по тебе соскучилась. Все думаю, когда-то сможешь приехать?

вся твоя Маруся.

[1] Приведенный текст письма использован М.В. в «Записках», с обозначением «Спор о справедливости» и указанием, что это разговор на прогулке с Лелей и С.И. Полнером.

---------------------------- *Ф. № 75* ----------------------------

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
6 сентября 1916

Милый мой муж, был у нас А/ндрей/ Е/графович/ Никита сразу к нему пошел, и был оч/ень/ любезен. К сожалению я была одна; бабушка уехала в Тверь; ну, у Ляли были в гостях, поспорили с Валер/ьяном/ Дм/итриевичем/, посмотрели имение. А.Е. упрекал меня и Митю (который только что приехал из Москвы), что мы с таким хорошим имением ничего не делаем и т.д. Я старалась принять А.Е. как следует.

Говорили об твоих вещах. Полушубок твой уже отдали переделывать, но будет готов он через месяц только; а пока О.В. хочет чтобы А.Е. купил тебе кожан/ую/ куртку; не знаю купит ли. Купит варежки кожаные на меху; и Даша пошлет тебе это, и папаху твою пришлет[1], а вот насчет сапог, А.Е. непременно хочет, чтобы сделал сапоги австриец сапожник. Я уговаривала его купить лучше в офиц/ерском/ общ/естве/ сапоги, а под них валенки тонкие, как ты хотел в прошлом году осенью. Уговаривала, уговаривала – ничего не вышло. Австриец будет шить тебе сапоги, а под сапоги сделают тебе самые толстые чулки шерстяные. Я решила так: если тебе сапоги не понравятся – то ты, получив свои деньги, приедешь и купишь то, что тебе хочется. Сапоги же тебе пошлют, как только будут готовы; полушубок тоже; а пока решили послать тебе фланелевые портянки. Не знаю, боюсь, что А.Е. испугается цен теперешних, и ровно ничего тебе не купит. Поехал в Москву с тем чтобы купить, а что уж купит, не знаю. Конечно я бы лучше угодила на твой вкус, но сейчас уехать – я просто все тяну и мне оч/ень/ не хочется уезжать от Никиты. Но конечно рано или поздно придется, но хочется заранее записаться к доктору, и вообще я не собралась еще в Москву.

Я перед тобою отговариваюсь, прости меня, мой милый. Мне страшно уезжать от Ник/иты/, я так рада, что простуда его прошла быстро. У него режутся коренные зубы: уже 4 прорезалось.

Митя уже не скрывает, что собирается скоро (через месяц, полтора) жениться. Говорит о кольцах и т.д. Он переедет жить к Чехо-

вым после свадьбы, а Леля найдет себе жилиц, курсисток. Аня хотела жить непременно с Лелей, но ей так далеко было бы ездить от Красных ворот, что невозможно. /…/

А еще товарищ, который в Москве (не знаю кто) говорил о твоей храбрости. Значит, бывает опасно. Да что ни говори, а война все-таки война и там легко погибнуть. Ну храни тебя Бог.

Целую тебя мой милый, хороший, любимый. Твоя жена.
стихи все твои читаю.

[1] Сохранилась записка М. В. в Москву, к Даше, старинной кухарке Фаворских:
Даша, Андрей Евграфович купит для Володи кожаные варежки, кожаную куртку, может быть сапоги; закажет теплые носки через Марию Александровну /Сутырину?/; купит 1 пару фланелевых портянок у Мюра. Когда папаха будет готова, ты положи все это вместе, сделай посылку и отошли Володе (действующая армия. 40$^{\underline{ой}}$ мортирный, артиллерийский дивизион; 3$^{\underline{я}}$ батарея, 2$^{\underline{ой}}$ взвод. фейерверкеру Влад. Андр. Фаворскому). Если носки будут вязать долго, то их не надо ждать, а отослать посылку как только будет готова папаха. Ты пойди на почту и узнай, как посылают теплые вещи; наверное надо зашить их в плотную тряпку. Когда Андр. Евг. пойдет за покупками, ты дай ему: Володину куртку (для размера) дай ему Володины башмаки (для размера). Полушубок с синим верхом надо отнести портному Павлову, и велеть расширить в плечах и в груди, рукава удлинить, юбку сузить, просто уничтожить сборки в талии; /портной знает как – зачеркнуто/ *и перекрыть весь полушубок в материю (не шерстяную, а бумажную, чтобы было легче) защитного цвета. Полушубок придется отсылать позже, уже во второй посылке.*

------------------------------ ***Ф.*** *№ 76* ------------------------------

М. В. к О. В. *из Домотканова – в Епифановку*
7 сентября 1916

Дорогая Ольга Влад/имировна/ получила открытку от Макс/има/ Андреевича, ответ на мою открытку: «Нахожусь пока в Елисаветграде. Жив и здоров».

От Володи получила два письма; пишет, что у него небольшая лихорадка, 37,7. Он два дня лежит, был у него доктор; прописал хину. Володя пишет, что это пустяк и что он рад полежать один и отдохнуть.

Володя пишет, что пока у них не холодно. Вещи просит чтобы были готовы через месяц; через месяц или два пишет что его может быть отпустят в отпуск. Но по-моему правильнее отослать ему как только будет готово. Ведь неизвестно когда там настанут холода. Володя прислал свою подошву[1]; если сапожник шьет, то может пригодиться. Я говорила А. Е. что по моему мнению, лучше бы купить в офицерском обществе то что носят офицеры: валеные чулки и на них кожаные сапоги. Но если австриец может сделать также

хорошо – можно сшить и дома. Только по-моему надо купить колодку по Володиному башмаку с тупым носком; и делать сапоги гораздо шире в расчете на валеные чулки; где достать валеные чулки из хорошей шерсти – не знаю. Мож. б. бабы могут сделать; нет, вероятно они могут только связать. Володя пишет, что может быть сапоги ему сшить из тюленьей шкуры мехом внутрь. Мне кажется это не практично. Боюсь, что австриец сошьет сапоги страшной тяжести.

У нас был А. Е. Кажется остался доволен Никитой; а нами не доволен: отчего мы не занимаемся таким хорошим имением. Бабушка ужасно жалеет, что не повидалась с А. Е.

Извините меня за беспокойство о полушубке, это уж мы с Дашей оскандалились: не знали, что Володин полушубок и есть синий.

Маруся

На обороте развернутого листа – контур стопы, очерченный химическим карандашом.

8 сент/ября/ 1916

Дорогая Ольга Владимировна, 26^го^ сентября будет в Москве Митина свадьба; он женится на Анне Николаевне Чеховой. Я думаю поехать на свадьбу, хотя уж не знаю, как бабушка справится с Никитой; мож. б. я и не поеду. У нас начались непорядки с прислугой: няня уходит к брату (с войны пришел), кухарка давно ушла к мужу (с войны пришел), у горничной болит нога и она уезжает на перевязки на весь день. Нам с бабушкой теперь трудно. Если все устроится до 26 ^го^, то попаду на свадьбу.

Митя пока тут, на днях уезжает.

Целую вас крепко.

Маруся.

[1] Письмо написано на плотном листе бумаги, который прислал В. А. с абрисом своей ноги (примерно теперешнего 44-го размера).

***Ф.** № 77*

В. А. к родителям
7 сентября 1916

Милые мои, я жив и здоров, у нас иногда идут бои, но большею частью спокойно. От Маруси прошлую почту получил письмо, пишет про Никитку очень любопытные вещи – что он четыре шага сам может пройти, но что если его не удержать то он так бросается что набивает себе шишки.

Зуб у него прорезался еще, и в искусстве он преуспевает, так что Маруська прислала мне даже рисунки – смелые штрихи по бумаге. Очень бы мне хотелось увидать моего мальчишку и может быть это и удастся, когда именно не знаю, но отпуски теперь разрешают. Но приеду я во всяком случае не тогда когда меня произведут а до этого, а то офицеру очень трудно уехать, очень большая очередь. Мама, напиши мне пожалуйста поедешь ли ты и папа в Москву и вообще покинете ли деревню, и когда. Маруську я тоже об этом спрашиваю. Очень рад что вы послали мед и всем об этом уже нахвастал. Между прочим, папа, один из наших офицеров просил меня узнать сколько стоит мед и нельзя ли послать пуд в Смоленск, напишите мне об этом. Ну всего вам хорошего милые мои целую вас обоих и кланяюсь всем ваш сын

Володька

Ф. *№ 78*

М. В. к В. А *Домотканово – Армия*
7–8 сентября 1916

Милый мой, хорошенький, я беспокоюсь об тебе: у тебя лихорадка. Надо беречься; что-то у тебя теперь, лучше ли тебе сейчас, прошел ли жар? Я с нетерпением жду от тебя письма. Так бы и полетела к тебе; ты лежишь на жесткой койке, и под головкой мож. б. ничего нет, в холодной избе, и укрыться нечем. Если будет хуже, милый мой, умоляю тебя – просись в отпуск /.../

8 сент.

Милый мой, очень у нас много дела, а прислуга не годится: у горничной нога болит, кухарка ушла к мужу (с войны пришел), няня уходит к брату, и мы с бабушкой с трудом справляемся. Но все же я пою по утрам, иногда за работой даже (ничего?), а чаще когда иду по лесу – то что на душе в данный день: /... *вычеркнуто 14 строк, приписано*: написала и зачеркнула /уж не знаю, можно ли так петь, мож. б. это не хорошо? Но каждый день у меня разное поется, смотря по обстоятельствам, мож. б. так нельзя; иной раз бабушка сердится, с прислугой плохо, денег нет, бабушка что-ниб/удь/ торопит – считала грязное белье, я записывала, иной раз что-нибудь отказываются делать, грубят и т. д. – и вот убежишь на ½ часика, и из души вырываются эти гимны. Милый мой, а ведь чувствую я себя очень грешной, ты вовсе не думай, что я себя причисляю к хорошим; нет, а мне доставляет наслаждение думать об хороших, думать, что такие есть на свете.

26 сентября будет Митина свадьба; мне оч/ень/ хочется поехать на свадьбу, не знаю удастся ли. После свадьбы хотят приехать в Домотк/аново/, а потом Митя переедет к Чеховым, а Леля будет отдавать 2 комнаты курсисткам.

Целую моего милого любимца. Поправляйся. Твои стихи твержу, когда засыпаю.

твоя Маруся

---------------------------- ***Ф.** № 79* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
11 сентября 1916
Начало письма утрачено

...[Никита] с палкой в руках гоняется за курами, кричит: «тук, тук», готов лезть за ними в крапиву, ему все нипочем. Он совсем не понимает опасности: если его пустить, он подойдет к самым ногам лошадей; кидается с лестницы, совсем глупый. Но он стал понимать очень многое из того, что мы говорим.

[...]

Держит за веревочку игрушечную маленькую лошадку и бегает с ней по всем комнатам, кричит как кучер. Любит собирать всякую гадость, дохлых мух на окнах, выскребает своими изящными пальчиками сор из щелей на полу, особенно любит круглую ямочку от задвижки дверной. На улице собирает кости, обрезки овощей, щепки, устремляется на кучку навоза. Руки у него всегда исцарапаны, и выпачканы.

Ну целую тебя, мой милый, ненаглядный. Я иногда про себя говорю ему в затылочек: «Володичкин мальчик».

твоя жена Мар/уся/

---------------------------- ***Ф.** № 80* ----------------------------

В. А. к родителям *в Епифановку*
11 сентября 1916

Милые мои я жив и здоров чувствую себя не плохо, у нас сейчас спокойно, войны пока нет, тут уж осень начинается, деревья желтеют, ночи холодные, но мы греемся каминами и нам довольно тепло. Дела очень мало сейчас так что весь день проходит в еде, в сиденье у огня, в игре в шахматы так что в общем довольно тоскливо, но это конечно временно.

От Маруси получаю часто письма, все у них благополучно, Никитка наверно стал уж совсем большим человеком – ходит, болтает, очень мне хочется на него взглянуть. Где вы будете жить зимой и где будет жить Маруся, неужели останетесь по деревням – или съедетесь в Москву и когда, к какому сроку – напишите мне пожалуйста, мне это важно знать в том случае если я попаду в отпуск чтоб всех вас захватить, а это может случиться, только не знаю когда, командир сказал что отпустит и мне теперь только ждать когда это будет удобно. Ничего интересного у меня больше нет, никаких событий здесь особенных за это время не происходило. От вас и от Маруси я знаю что призвали или призовут Иван Сем/еныча/, Вас. Вас.[1] и *Година* – куда они попали очень мне интересно, если узнаете то напишите, мне почему за них беспокойно – все-таки им гораздо труднее чем нам, на какие их роли определят. Товарищи мои все живы и здоровы. Илюшин сейчас уехал в отпуск в Москву, производство наше с ним ушло куда-то очень далеко и когда будет ответ неизвестно, нужно должно быть очень долго ждать но это конечно не важно, подождем, это не к спеху. Мамины письма насчет пленных очень интересны, тут видишь их конечно совсем в другом свете и большая разница немцы ли это или славяне – первые и в меньшем количестве и гораздо суровее а последние любезный народ – радуются что вырвались из-под огня, тем более что когда они массой уходят в плен то их свои кроют из орудий. У вас тоже должно быть осень, про папины урожаи я знаю, а вот какие диковинки выросли у мамы на огороде – дыни, арбузы, тыквы, помидоры? Как яблони, принесли ли сколько-нибудь яблок и много ли черной рябины – все это мне очень интересно. Ну целую вас крепко милые мои будьте здоровы кланяюсь всем

ваш сын Володька

[1] *Василий Васильевич* Владимиров (1880–1931) – живописец, гравер, офортист; в 1909–1911 годах секретарь МТХ; знакомый В. А. еще по Мюнхену.

В конце сентября Фаворский был произведен в прапорщики и приезжал в отпуск на побывку.
3 октября уехал на фронт вместе с Иваном Семеновичем Ефимовым (которому удалось, по рекомендации В.А., попасть в ту же батарею).
Мария Владимировна провожала их в Москву на вокзал.

---------------------------------- *Ф. № 81* ----------------------------------

М. В. к В. А. *в поезде Москва – Тверь*
4 октября 1916

Милый Володя, вы вчера хорошо сели, до Киева верно хорошо едете. Я тоже еду и все думаю об тебе, 3-й раз ты уезжаешь. Я уже привыкла, что ты уезжаешь, и даже дома вечером, ложась спать не поплакала, но по-настоящему с каждым разом ведь еще /страшнее – *зачеркнуто*/ и бóльшая /еще опасность – *зачеркнуто*/ вероятность быть раненым или убитым. /*стерлось*/ могут не /*стерлось*/, хотя ты правда /*стерлось*/ был совсем не нервный тут. А снарядился ты кажется хорошо. Непременно позаботься об сапогах, и чтобы сапоги были правда хорошие и большие.

Милушок мой, я постыдилась перекрестить тебя перед всеми, и теперь мучаюсь, что этого не сделала.

Я все-таки очень боюсь, что Ив. С. не сделает усилия, чтобы стать сдержанным, исполнительным и сравнять себя с другими. У него все-таки в глубине будет таиться чувство «мне все позволено, все простится». А ведь с какой стати он так думает; и в военной службе так нельзя. Мне кажется, там каждый должен чувствовать себя маленькой, но необходимой частицей целого полка, роты, я не знаю чего. Ты его не балуй, пускай он лучше живет на свой страх, и свою ответственность; а то ведь за этой личиной самовозвеличивания, у него очень не высокое мнение об себе, я уверена. Хорошо если ему понравится, он будет работать с увлечением, а вот в физическом отношении ведь он избалован, – как-то будет переносить всякие лишения?

Еду в Домотканово и беспокоюсь об Никите, почему так долго жар?

Будь здоров, мой красавец прапорщик. Ты знаешь – ты такой красивый с ног до головы, такой стройный, мужественный, и лицо твое, лицо воина, лицо, в котором и ум, и доброта, и нежность. Я не могу думать об тебе без восхищения. Я уверена, что во всей громадной русской армии нет подобного красавца офицера.

твоя Маруся

---------------------------------- *Ф. № 82* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
6 октября 1916

Милый Володя, Никитка здоров, но очень бледен и под глазами мешки, вид у него плохой; но жара нет, он уже бегает по полу,

но со мной много плачет; я приехала – он уже ложился спать, я к нему не пошла, а утром он меня увидал и не знал, смеяться ему или плакать.

Я все думаю, как-то вы доедете; у нас холод и снег; нападало чуть не по колено, поломало деревья в саду, и метель. Ну ничего, у вас теплые полушубки, а вот ноги? Скорее надо вам устраиваться с сапогами.

Леля сейчас уезжает на санях.

Я очень счастлива, что повидала тебя, но хочется не так видеться, когда знаешь, что ты вот уедешь, и столько дела было у тебя в Москве, и я, по правде сказать, ужасно устала; а хочется жить с тобой спокойно и знать, что до самой смерти, в глубокой старости, будем все вместе.

Я думаю, и ты устал. Но я-то могу отдохнуть, тут так тихо, бело; а ты вот – опять нервы трепать придется.

7 октября

[...] На улице очень хорошо, много снега, тепло; но Никиту нельзя взять на улицу, отчего у него температура? /.../

8 октября

Милый Володя, иду по глубокому мокрому снегу; сильно тает, а очень я рада, что снег и похоже на зиму. Проехать никуда невозможно, только верхом. Вчера Никита немного погулял, сегодня весел, и не такой белый. Очень хорошо лес шумит, по-зимнему. Я думала, что /стала/ равнодушна к природе, а нет – я чувствую такую радость, прямо наслаждение, что зима и что мне не надо уезжать в Москву. Вчера вечером приходил Филипп[1] читать бабушке. Он страшно конфузится, а когда накоптила лампа и летели черные /хлопья/ на книгу, он сидел и читал преспокойно. Потом уж бабушка заметила и говорит: «что же ты ничего не сказал?», а он гов/орит/: «я думал, что это мухи», пришел на кухню весь черный.

/.../ как ты тут спал на диване, и из-под светлого одеяла виднелась твоя черная круглая голова; а я приходила от Никиты и ложилась рядом, ты говорил сонным голосом «Маруська» и опять засыпал, милушканный канок; а я лежала и слушала Никиту и чувствовала твое тепло, ты мой нежный.

Если уж тут невозможно проехать, то у вас что же делается? После твоих рассказов я лучше представляю себе, как вы воюете. Зря не выставляйся, напр/имер/ ты пойдешь показывать Ив. С. опасные места, пойдете в пехотные окопы. Когда понадобится – идите, а из любопытства не ходите.

Целую тебя крепко. Кланяйся Ив. С.

твоя жена

Никитке привезли старую Адрианову шубу – мехом вверх, а Ник/ита/ увидал и гов/орит/ «аука», думает собака. За мое отсутствие стал говорить «Катя», «Кита» – Никита, «Гори» – Григорий; нашел компас, гов/орит/ «тик-так» и прикладывает к уху. Он слишком любит картинки, у него надо взять книги, и давать конечно, но не целый же день смотреть картинки, это с ума сойдешь.

9 октября

Милый Володичка, мне иногда так дико кажется, что я, которая предназначена, чтобы жить с тобой, и ты, который захотел жить со мной на всю жизнь – и вдруг мы с тобой разлучены. Я чувствую, что мы с тобой одно тело и пожалуй одна душа, потому что дополняем друг друга /*рисунок* – причем ты это большой и значительный круг, а я меньший и не – *все зачеркнуто*/. Хотела нарисовать графически взаимоотношение наших душ, но ничего не получилось.

Мы живем тихо, обдумываем все события, и горестные и веселые, которых так много у нас за последнее время. Ждем Ниночку с Адр/ианом/. Ждем от вас писем. Как-то вы доехали?

Стала давать Никите сырое молоко и пока эти три дня результаты хорошие; хотя он ест еще и виноград; все это ему полезно. Он опять бегает в мою комнату, устремляется за шкап, вытаскивает картины и твердит с глубоким чувством «папк». Неужели он уже тебя забыл? Володик милый, ведь мне это как-то горько, что Никита тебя не знает. И на тебя не похож лицом, и никакого влияния от тебя; ведь это выходит мой, совсем мой мальчик. Мне это очень печально.

Надо спать. Бабушка уже ушла спать. Я легла и вот пишу.

Целую тебя,
вся твоя Маруся.

10 окт/ября/

Снег весь растаял, идет дождь, ужасно мокро, опять вместо чистой, роскошной зимы – мокрая, грязная осень.

/…/ Никита в длинной Адриановой шубе, совсем медведь.

Он видит дождь и гов/орит/: «кап, кап, кап»; возится палочкой в луже. От дождя очень темно.

Я шью, и вообще за день устаю порядочно, так что едва ли смогу рисовать; шить все-таки можно лежа.

Как наши рубахи? Удобно ли? Надо обязательно подшить рукава, пусть кто-нибудь подошьет; с нетерпением жду от тебя вестей

твоя Маруся

Никита любитъ смотрѣть
какъ бросаютъ льдинки
на пруду, они разбиваю-
ся, и катятся по всему
пруду. А еще онъ
любитъ когда Катя
беретъ его и имъ
разбиваетъ ледъ на
лужахъ

Страница письма М.В. к В.А. (Ф. № 83)

11 окт/ября/

Сегодня солнышко, все испаряется, течет, снег растаял. У Никиты странно по вечерам поднимается температура – 37, 2. Уж не знаю считать ли это жаром?

Сижу на пне в Ельнике, и у меня какая-то пустая голова, вчера вечером хотела порисовать, но вдруг слышу, Никита кашляет, ну и каким-то образом когда не все благополучно – я не могу рисовать, и даже больше – считаю, что если я буду рисовать, это плохо влияет на Никиту. И вот стараюсь отделаться от этого суеверия, конечно это глупости; так же как у О. В. три свечи. Он кашляет совсем мало.

Целую тебя,

твоя Маруся.

[1] *Филипп* – вероятно, один из учеников земской школы, которую построил в своем имении отец М. В. и где долгие годы учительствовала и которой руководила бабушка Аделаида Семеновна.

---------------------------- *Ф. № 83* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
17 октября 1916
Начало письма утрачено

/.../ еще я его всего люблю, ведь это же роскошь иметь такого хорошенького, мягкого и весь он роскошь, и ручки, и животик, и спинка, и ножки.

Хотя ведь и большой человек тоже роскошь, когда знаешь, что это твой человек. Разве ты у меня не роскошь? Это прямо необыкновенный дар, что вдруг у меня есть такой человек. Это даже трудно себе представить.

Целую крепко тебя.

18 октября

Володя /.../ Варя прислала письмо Мише[1], /а/ Леля нам написала в чем дело: во время отсутствия Вари Шура и Катя[2] оставались одни и решили пожениться; хотя, как пишет Варя, Катя сомневалась все время. Приехала Варя, и тут Катя окончательно отказала Шуре. Шура сейчас же пошел в кабинет, взял В/ладимира/ М/ихайловича/ револьвер и застрелился сразу. Катя вскоре поехала туда, где была учительницей и на одной из станций бросилась под поезд. А за несколько дней до этого Шура говорил Варе: «Я вам не отдам Катю».

19 октября

Милый Володя, сегодня мне стало лучше; /.../. Вчера приехали Ниночка с Адр/ианом/, а сегодня Миша Бяшков. В доме стало шумно, бабушка хлопочет, волнуется. Собираются приехать еще Митя и Аня.

Будет полон дом.

Адриан будет ходить в колачевскую школу[3].

Напиши, что тебе прислать.

Никита любит смотреть, как бросают льдинки на пруду, они разбиваются и катятся по всему пруду. А еще он любит, когда Катя берет его и им разбивает лед на лужах.

/Рисунок/

Адриан привез птичку мягкую из материи, Никите она оч/ень/ нравится, он с самого утра все бегает и кричит «пиу, пиу».

Приписано рукой Н. Я. Симонович-Ефимовой:

Владимир Андреевич, скажите Ив/ану/ Семеновичу, что я в Домотканове, приехала, претерпев все мучения разборки и уборки вещей, раскидала все по всей Москве, ко всем родным и знакомым, а одну вещь пустила просто в трамвае неизвестно куда – забыла большой горшок с маслом, так и уехал. Тут в Домотканове оч/ень/ хорошо, тепло, уютно, чудный хлеб – и все такое знакомое – мы наслаждаемся всем – тихая пристань. Напишите, очень ли сумасшествует Ив. С.? Всего хорошего.

Нина.

1 *Варя прислала письмо Мише...* – В. Я. Бяшкова, с Дальнего Востока, старшему сыну.

2 *Шура* – Александр Николаевич Чехов (брат Ани Чеховой-Дервиз), находившийся под наблюдением Владимира Михайловича Бяшкова (врача-психиатра); *Катя* – воспитанница Варвары Яковлевны.

3 *Колачевская школа* (или калачевская) – название образовалось от просторечного произнесения фамилии (Колычева) бывшей владелицы именьица, купленного Вл. Дм. Дервизом вместе с Домоткановом. Школа была построена рядом с ветхим колычевским усадебным домиком (*см. ком. Ф. № 82*).



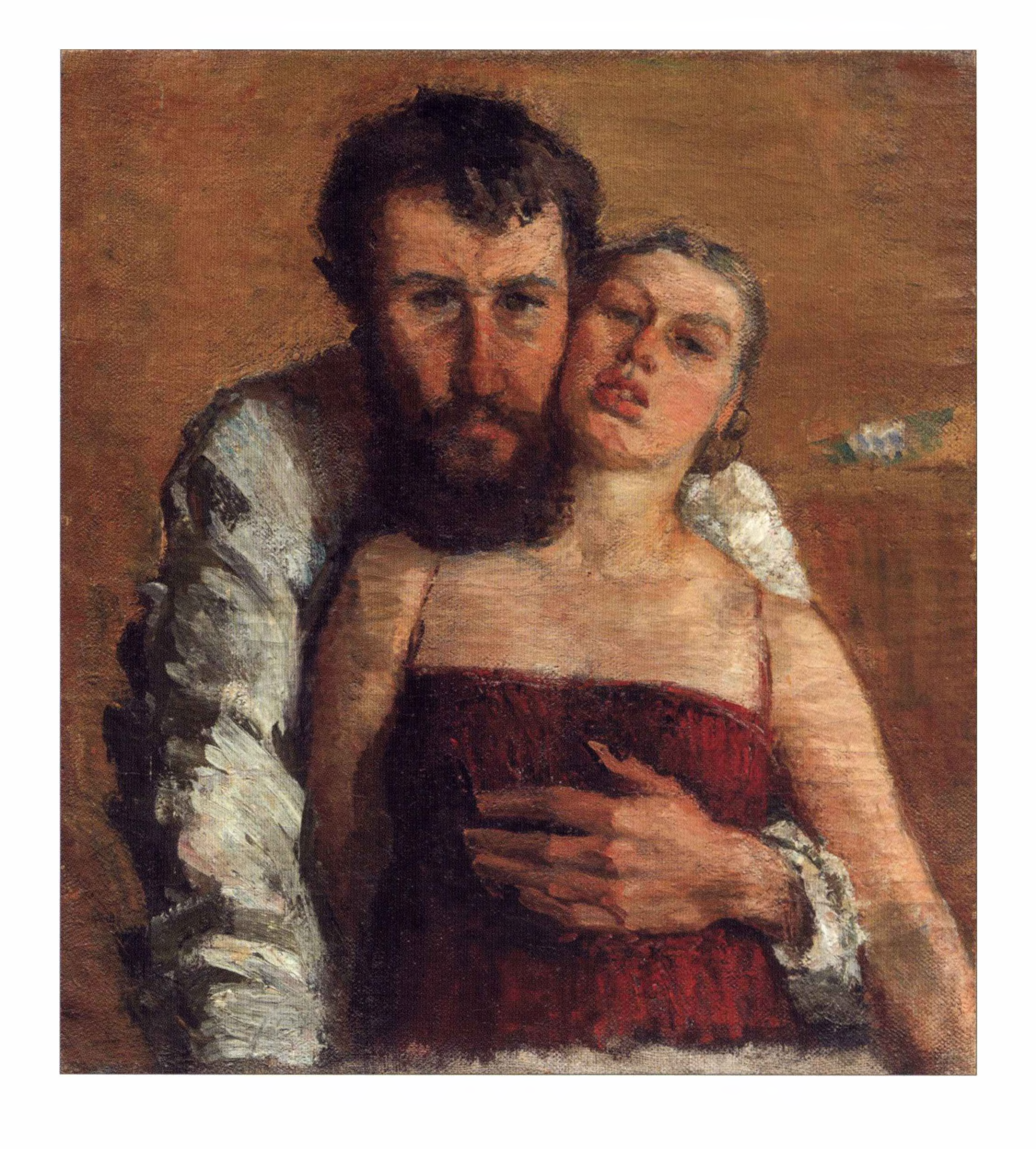
Открытка от В.А. к М.В. с фронта. 16. 06. 1916 (Ф. № 45)
Послание М.В. на бересте. Из письма к В.А. от 16 июля 1916 (Ф. № 55)



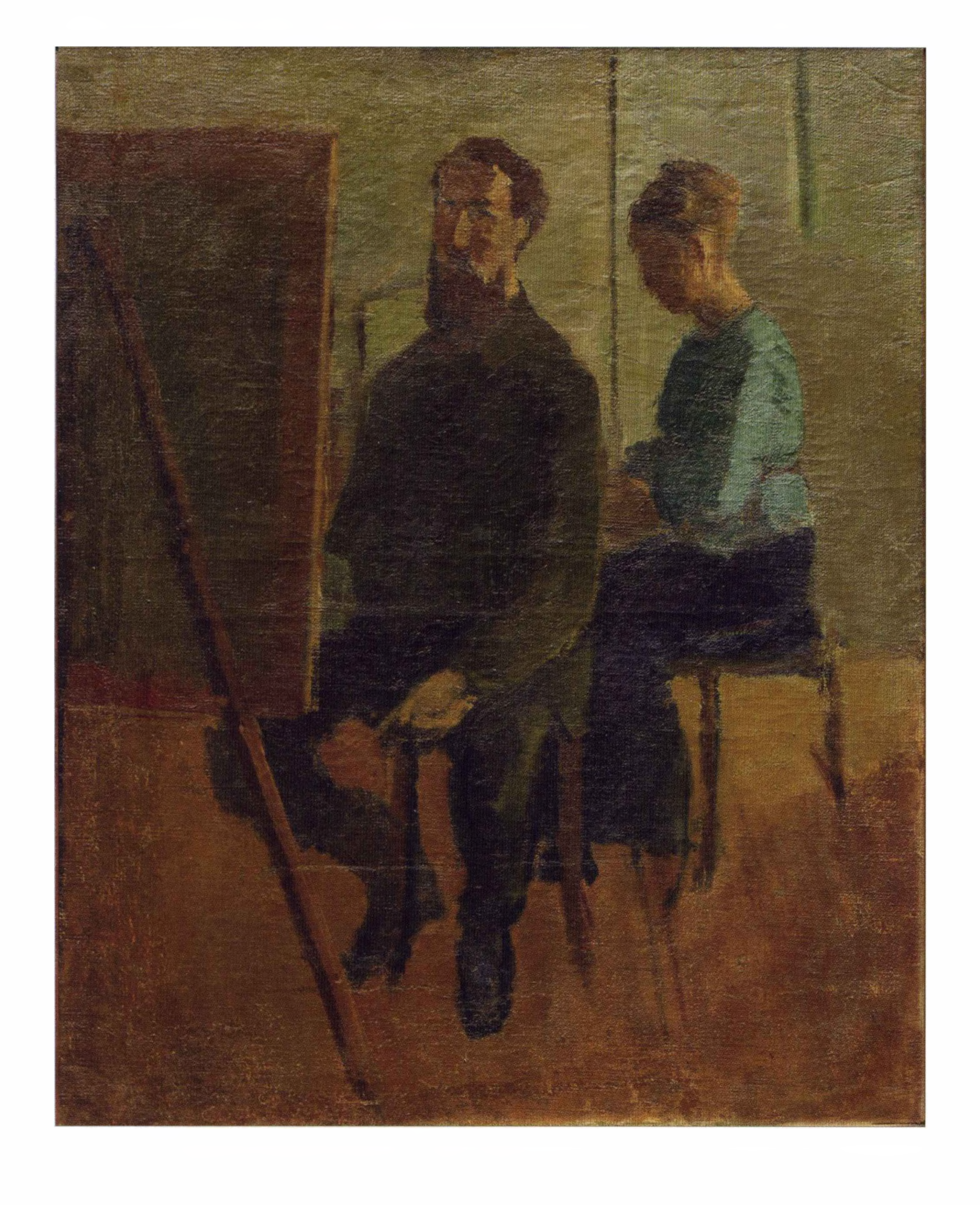
М.В. Фаворская (Дервиз). Портрет Лели.
Холст, масло. 1913, Домотканово



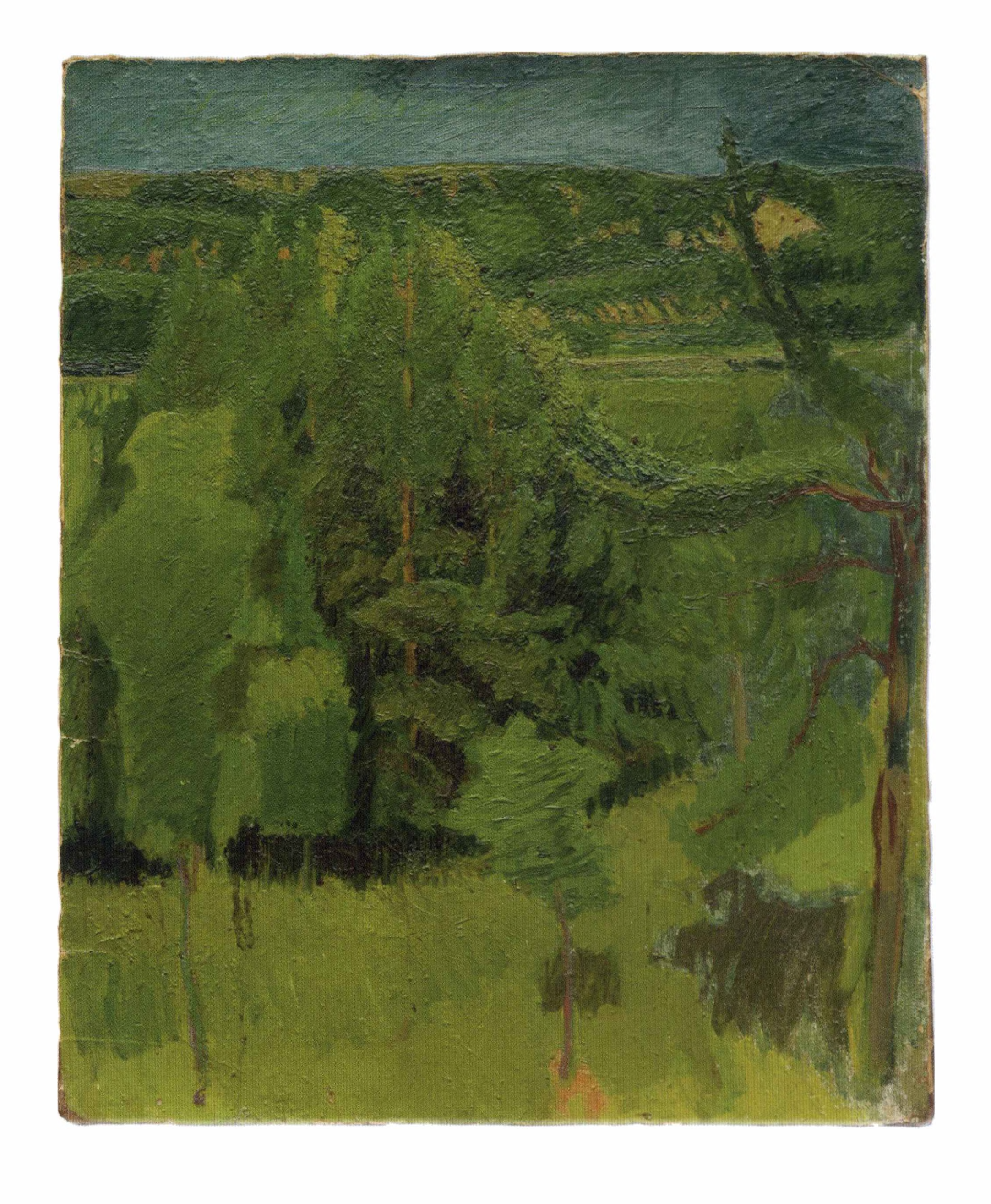
М.В. Фаворская (Дервиз). Иней. Домотканово.
Картон, пастель. 1911 (Тверская областная картинная галерея)



М.В. Фаворская (Дервиз). Автопортрет с мужем.
Холст, масло. 1913



В.А. Фаворский. Автопортрет с женой.
Холст, масло. 1913, Домотканово



В.А. Фаворский. Пейзаж. Ока.
Картон, масло. 1910, Епифановка



В.А. Фаворский. Похищение Европы. Эскиз росписи в доме В.С. Шервуда.
Картон, масло. 1912



Н.Я. Симонович-Ефимова и И.С. Ефимов перед его отправкой на фронт. 1916

ПИСЬМА
ИВАНА СЕМЕНОВИЧА И НИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ
ЕФИМОВЫХ
ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА (3 ОКТЯБРЯ) И.С. НА ФРОНТ В ТУ ЖЕ ТРЕТЬЮ БАТАРЕЮ, КУДА ОН ЗАЧИСЛЕН ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИМСЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ В.А. ФАВОРСКОГО

Е. № 1

Н. Я. к И. С. *Москва – Армия*
5 октября 1916

Как-то ты там, думаю (и надеюсь), что хорошо, насколько может быть хорошо на войне; думаю это потому, что как-то удивительно спокойно на душе, и даже – странно – весело! Хорошо, что не видит меня кормилица[1]. Я и пою, и сплю, и ем. Может быть, это еще пока первое возбуждение, но я вчера зашла к Рербергу[2] и просидела там 5 часов, как 2 минуточки показалось. Я шла мимо них от Павлинова[3], неся корзинку с bijoux[4] – и не могла сесть на трамвай. И вдруг осенило меня зайти к Рербергам. Я показала M-me /Madame/ вещи, от которых она была в искреннем и бешеном восторге. Потом пришел Энгельс[5] (помнишь?), потом... Игн. Игн. Нивинский[6], потом... и еще Павел Давыдович Эттингер[7]!!! Он вскричал – «Кого я вижу! Вот уж именно никак не ожидал!» – Я приблизительно то же самое, и так как у меня нет теперь часов и только брегет, то я и не заметила бы, что первый час; вышли мы трое – Нивинский, Эттингер и я и шли до Почтамта, а там я на трамвае со своей корзинкой. Все эти встречи, вороха сплетен московских, жалобы Рерберга на уроки – все, все – доставило мне огромное наслаждение после Отрадненской «пустыни».
Визит же к Павлинову навел было на меня тоску – он приедет не раньше 13-го.

[...]

Щукин[8] в Москве и принимает; в это воскресенье зайду к Павлиновым за бабами[9] и отнесу. Бисквитных баб Таня[10] не отсылала, я их возьму в Домотканово и оттуда к Кузнецову[11].

Выставка Товарищества будет в феврале[12].

Когда я возвращалась с вокзала, проводив тебя, я на полдороге спохватилась, что, может быть, Адриан был там, а я не видала. С этой мыслью подхожу домой – вижу, везде темно. Значит, ушли и не вернулись. Постучала – никого. Я пошла к Русаковым[13] – там нет, и не были.

Пошла к кругу – нет. Пошла к Зеленкам[14] и другим жильцам – нет. Я опять к кругу, там встречала каждый трамвай – нет, нет, нет. Я плакала, бегала от круга домой часа два! Наконец вижу – в доме занавеска спущена; подумала, что если бы они ушли встречать – не было бы занавески. Постучала в стекло – занавеска зашевелилась и выглянул Адриан! А я уже представила его себе раздавленным на вокзале. Они просто спали и погасили лампу. Да, я хотела тебе сказать – ты не езди часто в Луцк верхом! Ты такой высокий – заметный – мне представляется, что тебе попадут в затылок.

Что-то, что-то, что-то у тебя там???

Ну, до свиданья, будь, будь, будь здоров.

Я сплю на твоей подушке-наволочке, и с меня этого совершенно пока довольно.

В письмо я вкладываю одну пока резиночку для ящичка с красками.

А пошлю в посылке пару или две чудных чулок шерстяных (Маня[15] привезла), хрену (тоже от нее) и блузу постараюсь сшить к тому времени.

До свиданья.

Нина

Набивай в карманы побольше писем, денег и всякой дряни – это вместо панциря. Жаль, что деньги не медные. Может быть, прислать тебе что-нибудь подобное?

5 октября 1916

Как тебе нравится адрес, настоящий солдатский – это Адриан старался – он теперь вместо уроков письма пишет. Твой адрес уже на 3-х конвертах подписал и над каждым потеет непомерно, но и удовольствия ему больше – писать этот адрес. Еще бы, какие слова. И еще – он запомнил теперь семью семь. Каждый раз скажет про себя «полевая почта» – 49...

[1] *Кормилица* Ивана Семеновича – Агафья Яковлевна, ревностно следившая за «благополучием» своего молочного сына и «барина».

[2] *Рерберг* Федор Иванович (1865–1938) – художник, один из основателей и руководителей МТХ; впоследствии директор частной художественной школы в Москве.

[3] У Павлинова был собственный отдельный дом в Ржевском переулке (после революции дом был экспроприирован и отдан под квартиры крупных военных чинов, а затем, вплоть до последнего времени, в нем располагалось посольство Грузии).

[4] *Bijoux* – украшения, драгоценности *(франц.)*. Имеются в виду ценности, возвращенные от Павлиновых.

[5] *Энгельс* Отто (Олег) Васильевич (1880–1937/?) – художник, гравер; член МТХ. Репрессирован в 1937 г.

[6] *Нивинский* Игнатий Игнатьевич (1881–1933) – художник, график; член МТХ.

7 *Эттингер* Павел Давыдович (1866–1948) – историк искусства, художественный критик; коллекционер, библиофил.

8 *Щукин* Сергей Иванович (1854–1936) – коллекционер; фабрикант и коммерсант, в 1894 г. «за полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности» пожалованный званием коммерции советника. Собрал великолепную коллекцию «новой французской живописи», составляющую ныне гордость Эрмитажа и ГМИИ.

9 *Бабы* – скульптуры И.С. Ефимова: Тамбовская баба. 39х38х12; Тамбовская девка. 50х25х20 (Фаянс, подглазурная роспись. 1914. Авторские отливки-повторы: ГРМ, Кусково, Хабаровский художественный музей).

10 *Бисквитных.* – «Бисквит» – здесь: неглазурованный фаянс; имеются в виду нерасписанные отливки тех же скульптур (*баб*); *Таня* – лицо не установленное (домоправительница, родственница?), очевидно, в это время ведшая хозяйство в доме Павлиновых.

11 *К Кузнецову* – т.е. на Кузнецовский фарфоровый завод (ф-ка Товарищества М.С. Кузнецова в с. Кузнецово Корчевского уезда Тверской губ.; позже – Конаково).

12 Имеется в виду XXIII выставка МТХ (2 февраля – 1 марта 1917 г.). *См. Ф. № 131.*

13 *Русаковы* – соседи Ефимовых по дому в Сокольниках; Русаков Иван Васильевич (1877–1921) – деятель российского революционного движения, врач-педиатр, дружил с И.С. В 1917–1918 гг. председатель Сокольнической районной управы и комиссар района.

14 *Зеленки* – соседи Ефимовых по дому в Сокольниках; Зеленко Александр Устинович (1871–1953) – инженер-архитектор, педагог; после 1917 г. организатор музеев, просветитель.

15 *Маня* – крестьянка из Отрадного, помощница Н.Я.

Е. № 2

Н.Я. к И.С. *Москва – Армия*
10 октября 1916

Милый мой, я еще не получила от тебя ни одного письма – точно ветром тебя подхватило и унесло – а куда – не известно.

Вчера я была у Щукина[1], отнесла (баб), он заплатил 200 р., которые у меня в кармане. Пришлось взять две позиции – одну внизу у экономки, которая не хотела пускать с вещами, а другую у Сергея Ивановича. Он поставил их сперва в маленькой комнате, знаешь – вторая проходная с лестницы, где между прочим Matisse'a[2] играют в шашки и ширмы. Но комната скучная какая-то, и бабы там стояли так печально и тускло! Я и говорю – знаете – по-моему, тут не хорошо – у этого столика такие тонкие ножки, что и бабы стали легкие, это им не подходит. Он вдруг оживился и закричал: «Со-со-совершенно с вами согласен! Совершенно верно!» Схватил одну, я другую и понесли в Розовую гостиную!!! Тут поставили сперва на первое между окнами зеркало, где бронзовые черные вазы – недурно; а потом – на камин на-

против, где часы!! Тут они вдруг так засверкали, заулыбались – розовое заиграло – ну, чудо! Только тесно было. Мы раздвинули лампы – две черные, с бронзовым низом, в виде круглого треугольника, который очень красиво их обхватил. Сергей Иванович сказал: «По-по-по-пожалуйста, непременно, очень-очень кланяйтесь от меня Ивану Семеновичу! По-по-поблагодарите его и передайте просьбу заказать еще пару для моих знакомых, которые очень просили, непременно». Это он повторил раз 10, громко и растроганным голосом; и жал 20 раз руку мне. Я распростилась и ушла. Но, дура! – забыла посмотреть издали! Очень уж зачем-то спешила. Только у музея Александра III спохватилась и чуть не вернулась. И еще – дура тоже – надо было взять третью позицию – посоветовать снять часы – из-за них им тесно. Ну, да авось он и сам сделает. Чуть не вернулась – но это было бы уже плохо. (Внизу экономка была сконфужена и интересовалась судьбой вещей.)

С сегодня начну укладываться вплотную. Мне все же жаль разорять наш очаг[3] – когда-то устроимся? Если бы тут не было так холодно – пожалуй, осталась бы.

Павел Яковлевич (я ему писала) просит взять скульптуры – я отвезу к Тольским[4] на чердак, он хороший. Павел Яковлевич просил тебе кланяться. Я ему написала – «Дорогой Павел Яковлевич! и т.д.» Он ответил – «Дорогая Нина Яковлевна...» И это меня с ним примирило и нисколько не сержусь брать вещи. Удивительно, что когда я усиленно злилась на тебя – точно чувствовала, что придется мне за это отвечать. Я была очень против стояния наших вещей у Павлинова – и вот мне отвозить. Сердилась за твои часы – теперь их чинят за 10 р., и готово будет после Рождества... Но теперь мне все это совершенно все равно, мне спокойно и даже весело – одно жаль – скоро уезжать из Москвы не хочется. Но, может быть, еще приеду.

Сегодня получилось от тебя наконец первое письмо[5] – ровно неделя, как ты уехал. Теперь верно будут получаться письма. В газетах все пишут, что бои как раз там, куда вы уехали, и подчас было жутко. Целую крепко. Не сумасшествуй зря. Кланяюсь Владимиру Андреевичу.

Нина

Сейчас получила второе письмо. Вижу, что ты сумасшествуешь. Напрасно. На паровозе ездил зря – только простудился и сломал компас. Ведь у тебя только что была лихорадка и возвращалась. Постараюсь послать хины, ты наверное допрыгаешься до 40.

Я все укладываюсь, но очень медленно подвигаюсь. Картоны и картины связала по кучкам; я все записываю, где что. Но все равно верно все

спутаю или потеряю листки.... Я писала, я возьму скульптуру к Тольским, и картины.

Спешу, до свиданья. Посылку думаю послать из Домотканова, а то блузы нет.

Так смотри, не прибавляй к военному риску еще риску простудиться из-за глупости своей прихоти. Глупо, глупо будет заболеть сразу лихорадкой – и заставлять возиться с собой других.

Ну, до свиданья!

Нина

Судя по твоим письмам, там и правда хорошо.

[1] *У Щукина* – в доме С.И. Щукина, подаренном ему дедом, Иваном Щукиным, в 1886 году (бывший особняк князя Трубецкого в Большом Знаменском переулке).

[2] *Matisse* – Анри Матисс. Семейный портрет. 1911. Гос. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

[3] Квартира, которую Ефимовы снимали в Сокольниках. Теперь Н.Я. уезжала в Домотканово.

[4] *Тольский* Алексей Николаевич (? –1914) – друг И.С.

[5] *Первое письмо* И.С. к Н.Я. не сохранилось. Приводим письмо И.С. к Цетлиным, написанное по пути на фронт. [Михаил Осипович Цетлин (1882–1945) – поэт (псевдоним Амари) и прозаик, член партии эсеров. И.С. участвовал в оформлении сборника его стихов; Мария Самойловна Цетлин (урожд. Тумаркина; 1882 –?) – коллекционер; Н.Я. в Париже посещала ее салон].

Дорогие Михаил Осипович и Мария Самойловна!

Пишу в вагоне, везущем меня на фронт. Пока я еще не военный, только в военное одет. Мне посчастливилось – меня зовет начальник мортирной батареи, оказывается, я нужен ему по моей специальности, только не по скульптуре, а по рисованию: существует дело артиллерийского разведчика – наблюдателя, которое состоит в следующем: с помощью угломерной трубы, условно, схематизируя, срисовывать панораму, которая в связи с картой выясняет расположение противника. Эти наблюдатели изучают поле предстоящего боя и на добытых ими данных строится отчасти бой. Тут может помочь и чисто художественный инстинкт – чувство земли, чтобы угадать, где выгоднее найти место наблюдательного пункта и батареи. Во время боя часто на наблюдательном пункте стоит командир и говорит по телефону батареи цифрами. Наблюдательный пункт – это глаза батареи, вытянутые на щупальцах в сторону от нее, а она, особенно мортирная, ведь не ведает, что творит и не чувствует, как идет бой – это чувствует за нее наблюдательный пункт. Попаду я туда благодаря другу моему, тоже художнику, Фаворскому, который с марта делал это в районе наших первых удачных весенних прорывов, и теперь, когда он ехал в отпуск, командир согласился, что он привезет еще художников и даже 2-х, после меня едет другой.

Шлю обоим Вам мой горячий привет.

Ваш Ив. Ефимов

Почтовая полевая контора № 49, 3-я батарея 40 мортирного артиллерийского дивизиона Ив. Ефимову.

Н. Я. к И. С. *Москва – Армия*
Октябрь 1916

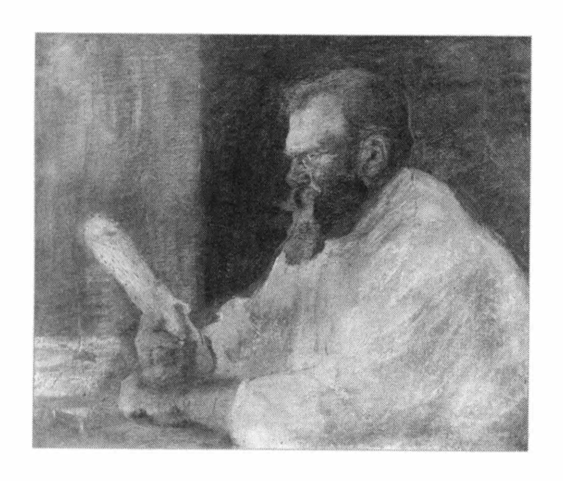
Дорогой мой, я все еще перевожу. Укладывать я кончила, и начались поиски веревок и ломовых. И то, и другое трудно найти, так что два дня ушло на это. Но вечером я добралась до Павлинова для перевозки – там все были в ужасе, что поздно, но я, как сорвавшаяся с цепи, начала снимать картины и таскать скульптуры. Жаль было разрушать – очень хорошо стояли, особенно Бизон[1], я точно его в первый раз увидела – так он и прет. Нагрузили целый воз – и очень красиво при освещении фонарей сверкали на телеге фарфоры: Женщина и Ягненок[2]. Львица[3] тоже была хороша на улице. Мне осталось местечко впереди, я села, свесив ноги вниз, и взяла на колени Купальщицу[4] (которая сломана). Я была в своем шелковом платье, потому что вечером была приглашена к Нивинскому на чай с Шапшалами[5] и Эттингером.

У Тольских велели по черной лестнице, но я отстояла носить по парадной, и это вышло очень хорошо, потому что для них нашлись чудные места на лестнице, которая у них не без торжественности, просторная и чистая. На первой площадке оказалось углубление для дивана с решеткой с двух сторон. Задвинуть туда Львицу (высокую)[6] – эффект получился чудесный: ей там просторно, с каждой стороны еще по четверть аршина – и она на фоне красивой решетки, и даже хорошо освещена. Она в виде черного силуэта с черной решеткой сзади. Свет в пролете, но кое-какие подробности видно, например, глаза, ноги. Бизон и Козел[7] встали на мраморные подоконники. Лежачая Львица на верхней площадке, на полу, без подставки. Все фарфоры у Тольских в квартире.

Но бедные мои картины! Их сослали на чердак, который оказался очень не симпатичным – как в Денежном[8] темный, низкий, ноги вязнут в песке, голова зацепляется за веревки, надо перелезать через перекладины, и все это согнувшись в три погибели. Сложила в углу, в темноте под крышей, так что мамин портрет[9] не дошел до конца, а застрял, в виде стены стоит.

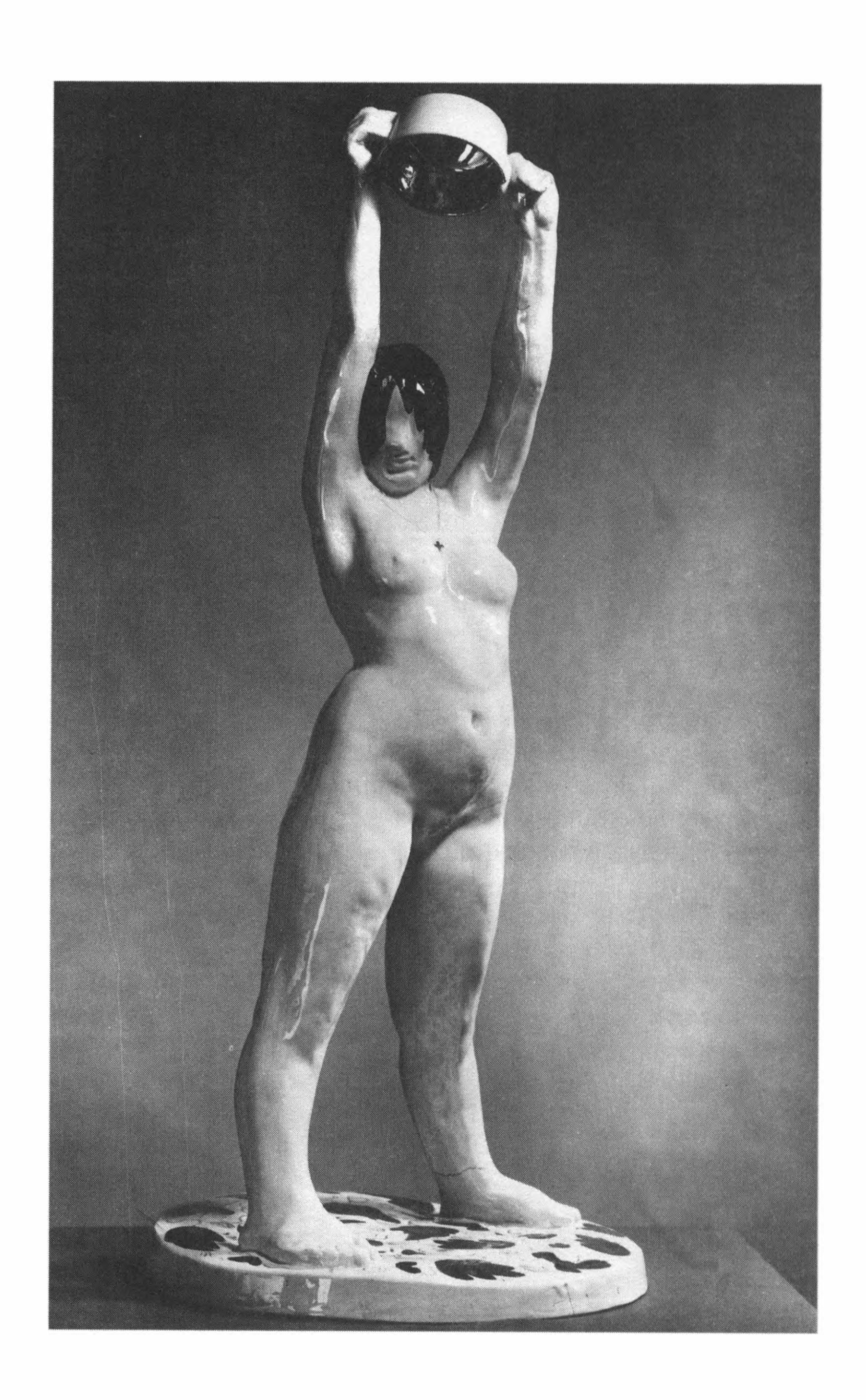
В темноте на корточках в пыли я их поставила на стойку и закрыла плащом. Плохо!

На другой день привезла туда еще два воза разной ерунды – таскали по черной лестнице. Я думаю – не хватит энергии их оттуда забирать. Да все покроется к тому же пылью. Чтобы не перевозить – придется жить у Тольской – ну, это еще не скоро – но сейчас кажется не будет энергии их брать.



И.С. Ефимов на своей персональной выставке в ГСХМ. 1918

И.С. Ефимов. Портрет А.Н. Тольского. 1900-е



И.С. Ефимов. Вода. 1913 (Кусково)

Ломовые взяли туда 36 р. и ворчали, так что еще прибавила 2 р.

Сегодня воскресение, а завтра повезу оставшееся в склад. Как много разной требухи.

Вечером вчера было заседание художественного Товарищества у Рерберга – общее собрание. Я прямо с чердака туда. Там сидел Павел Яковлевич. Мне как-то неприятно было его видеть – все-таки эгоистично он поступил с нашими произведениями. Сухой он человек. Поговорить с ним не удалось – я спешила на трамвай.

Меня выбрали в выставочную комиссию[10], это в конце января. Я ничего против не имею, приеду.

Сейчас заворачивала твои и мои офорты, отнесу Нивинскому, он посылает на выставку в Копенгаген, и меня пригласил с ним послать, я оттуда получила приглашение, не думала собраться послать, а он все устроит. Видишь, как мил. Еще, его жена поедет в Петроград, и он ее нагружает своими картинами для «Мира Искусства», и предложил и мне дать ей что-нибудь мое отвезти. Я сперва ужаснулась, а после согласилась, и сегодня отнесу ей своих Богомольцев[11]. Montmartre[12], кажется, был. Подумала, что твои скульптуры хорошо бы, но уж больно очень трудно. Сейчас говорила по телефону с Павлом Яковлевичем – обещала послать ему деньги, 213 р. Он согласился. Говорил, что Ксении Васильевне[13] плохо, целый месяц не ест, ее искусственно питают. Я спросила его насчет ее опухоли – он говорит, что он совсем забыл о ней, а доктора, кажется, и не знают. Не знаю, может ли это быть.

Я дрожу от холода, совсем окоченела, от того так плохо пишу. Мы уедем послезавтра, а еще много дела.

Тебе все кланяются и просят передать приветы. Я уже и забыла, кто. Больше всех о тебе сокрушается дворник Андрей, печалится, что не поехал с тобой. И его всегда, видимо, подбадривает мысль, что ты так пошел, а то он боялся, что его должны забрать. Кланяется тебе еще *Юлия Львовна*, еще кланяется *Екатерина Андреевна*. Еще Владимиров тебе завидует и мечтает так же устроиться – не возьмете ли вы его к себе? Его скоро призовут.

Захаров[14] распределяет портянки и очень томится этой работой. Энгельс тоже расстраивается. Ты сделал лучше всех.

Не пиши писем на альбомах, их теперь не купишь, а у меня только два. Посылала Маню с посылкой, но альбомы сочли за книги, и не приняли.

Нина

[1] *Бизон* – скульптура И. С., дерево. 1913. ГТГ.

[2] *Ягненок* – скульптура И. С., фаянс. 1912. Кусково, ГТГ, ГРМ.

[3] *Львица* – скульптура И.С., дерево. 1915. ГТГ.

[4] *Купальщица* (выше – *Женщина*) – скульптура И.С. «Вода», фаянс. 1913. Кусково.

[5] *Шапшал* Яков Федорович (1880 –1947) – живописец, член МТХ; с 1920 г. – в эмиграции.

[6] *Львица высокая* – скульптура И.С. Ефимова «Зверь», дерево. 1915. ГТГ.

[7] *Козел* – скульптура И.С. «Коленопреклоненный козел», барельеф, майолика. 1909. ГРМ.

[8] *В Денежном.* – В 1913–1914 годах Ефимовы снимали мастерскую в Денежном переулке на верхнем этаже высокого дома.

[9] *Мамин портрет* – картина Н.Я. «Мама за письменным столом в Домотканове», 1912, х., м. 149x108. Собрание семьи.

[10] *Я держалась Товарищества /МТХ/ крепко, как верная моногамическая жена, и даже с любовью, потому что чувствовала себя там человеком, притом человеком не одиноким. Это было очень культурное общество. В отличие от других российских обществ ничуть не деспотствующее и не характеризующееся «кружковщиной». Оно давало моральную поддержку, не тяготя* (Н.С. 1982. С. 98).

[11] *Своих Богомольцев* – т.е. свою картину «Ожидание молебна» («Богомольцы»). 1916, к., м. 89x68,5. Собрание семьи.

[12] *Montmartre* – картина «Улица Карто» (иначе «Монмартр») – *[...] написанная в тот год, когда мы жили на самой вершине Монмартра в старом доме Генриха IV. Эта картина поступила в Государственный фонд в 1918 году, кажется, и скрывалась в недрах девять лет, чтобы отправиться в 1927 году в Саратовский музей. Тогда же (1910) сделан другой «Монмартр», в котором мне хотелось изобразить белого цвета свет этого «Пупа земли», особенно светлый, какой бывает на подобных старых городищах* (Н.Я. 1982. С. 56). Второй вариант – «На Монмартре». 1910, х., м. 60x66. ГТГ.

[13] *Ксения Васильевна* – Павлинова. *См. Ф. № 42.*

[14] *Захаров* Федор Иванович (1882–1968) – художник, член МТХ, преподавал в ГСХМ; с 1923 года – в США.

Письма № 4, 5, 6, 7, 8
И.С. к Н.Я. *в Домотканово*
Середина октября 1916

Е. № 4

Приписано рукой Н.Я.: приблизительно 12 октября 1916 года

Когда приехал, дома (в избе) были не все офицеры и командира не было; сейчас же меня отлично накормили (повар-солдат из какой-то московской гостиницы), потом пошли на батарею, стоящую от избы в полверсте: стоят в вырытых ямах 4 орудия. Сняли с одного чехлы, стали мне показывать. Показывал один очень приятный офицер (химик)[1] и техник, санитар для орудий, розовый, с молодой курчавой бородкой, в кожаной куртке и штанах. Потом офицер велел

вынести из погреба разные типы снарядов, но я полез туда и там сажал их, тяжеленьких, пуда по полтора, к себе на колени; на этом месте батарея только дня три как стоит, теперь орудия покрыты щитами плетеными, они стали мохнатые, точно драконы. Сейчас сижу в бесстенном сарае на седле и кругом разное военное хозяйство. Ходит мне по ногам лошадь! Кормлю ее хлебом, а за спиной, точно ковры выбивают, щелкают и раскатываются орудия, красивые звуки, хороший для жизни аккомпанемент.

Ну, лучше хронологический рассказ; в первый вечер, когда пришли в сумерках с батареи, приехал из штаба командир, бодрый, крепкий, черный армянин с двумя красивыми выпуклыми шарами глаз со слегка опущенными углами и вот такими дугами бровей, /*рисунок*/ нет не похож, простой, надежный, после короткого приветствия сел читать секретные распоряжения штаба на следующий день. И приятно чувствовать, что ты не чужой, он только мельком сказал, что это не должны знать нижние чины. Когда кончил, стали рассматривать огромный белый мундштук, который офицер, ехавший с нами, возил чинить в Москву к Фаберже, который соединил трещину скверной серебряной змейкой, о ней и был наш первый разговор с ним.

Потом решили пораспить за ужином часть того ящика, что принес офицер, оставив часть к батарейному празднику – Св/ятому/ Мих/аилу/, который скоро будет. Пили за командира, за новых офицеров, Фаворск/ого/ и другого[2]. В разговоре выяснилось, как рад я новой своей жизни, и командир сказал: «Пью за нового нашего – не знаю, как сказать (хотел сказать, должно быть, товарища), и за то, чтобы мы оправдали его надежды». И что-то еще упомянул о моем возрасте. Через некоторое время я выпил за дружную, крепкую семью, в которую мне досталось счастье вступить. Было в этой «страшной мужской» компании[3] непринужденно и легко, как может быть никогда за столом с чужими людьми.

Тут, как в хорошем художественном произведении, постепенно нарастает впечатление: город железнодорожный с кипящей военной жизнью, далекие выстрелы, и не заметишь, как они стали уже близкими. В окопах, когда подвигались ближе вперед, стали виднеться недалекие взрывы. Командир сказал, что здесь переждем. Я спросил его, безопаснее ли стоять, чем идти, он отвечал, нет, только стреляет-то он, как раз по тому участку в передовых окопах, куда мы идем. А как же, говорю, В. В.[4] решить, что вот он перестанет? – «Да ведь не вечно же он будет по одному месту бить – ведь и сами, когда стреляем – психология такая же». Действительно, скоро перестал, пошли.

Сегодня с Влад. Андр. сидели на дубу, на котором устроен наш наблюдательный пункт. Так все крепко устроено – лестница, на дубу площадка с перилами. Нам по телефону сообщали, куда стреляют наши орудия, а мы следили за разрывами. Поручил мне офицер вести журнал военных действий батареи, т. е. писать историю. Вчера вечером интересно говорили с командиром об верховой езде и лошадаях.
Мы живем 7 человек в избе, и не кажется тесным, просто не приходит в голову, что тесно, ну как у Марии Дмитр/иевны/ в Твери[5]. Над койкой командира висит телефон.
Я как-то сказал офицеру о том, чтобы мне выдали револьвер – «Вам не положено!» – «Как же, я разведчик». – «Кто вам сказал, что вы разведчик? – (шутит, это симпатичный офицер-химик). – В разведчики назначают надежных, зарекомендовавших себя. А так, кто в разведчики просится – так назначают в штаб и носи пакеты».

[1] *Офицер-химик* – Василий Захарович Продан.

[2] *Другой* офицер – Петр Васильевич Илюшин.

[3] *...«страшной мужской» компании...* – Сын немолодых родителей, И. С. рос под опекой боящихся за него старушек, без общества сверстников: *...Серая детская жизнь – ну как же: в детстве ходил под вуалем, с синим зонтиком от ветра (самое трудное было направить зонт против ветра, когда ветра совсем не было). Прикосновение к снегу – смертельная опасность. Я не знал ощущения валенка на голой ноге. На салазках никогда не катался. [...] В гимназии тоже держался одиноковато по причине воспитания. Вот почему я так оценил товарищество двухсот людей в батарее...* [И.Е. 1977. С. 68]. Н.Я. замечает: *Семи лет его отдали в военную школу Берталотти, где был чрезвычайно суровый режим, так что семейственное баловство отскочило, а военный режим, как мне кажется, оставил все-таки свой дисциплинирующий, полезный для него свет* [И.Е. 1977. С. 31].

[4] *В. В.* – Ваше Высокоблагородие.

[5] *...у Марии Дмитриевны в Твери...* – в двухкомнатной квартирке над больничной прачечной (М. Д. Симонович работала главной кастеляншей губернской земской больницы), где уютно жила ее семья – она, ее муж Николай Яковлевич и дочь Наташа, и где останавливались многочисленные родственники, приезжая в Тверь.

---------------------------------- ***Е.* № 5**

Сейчас лежим, разговариваем, проснувшись, о трубах наблюдательных. Они, как перископ, высовываются, и по ним стреляют. Тот же офицер на какие-то мои слова говорит – «ишь, как тыл рассуждает». Говорил, кто куда пойдет, а команд/ир/ гов/орит/: «Я никуда не пойду, буду с постели командовать». Ему удобно – над постелью телефон, и не со звонком, а как я хотел сделать – с гудком.

Спать я ушел с нелепым хорошим вольноопр/еделяющимся/ на батарею с солдатами, и с ними же черпал утренний чай из ведра.
Мне говорили, что меня солдаты уже прозвали батарейным дедушкой (а Фаворский тут один с бородой, а может не один, называется папашей). Потом утром стал острой и удобной лопатой подчищать стенку нар в землянке, потому что здешняя глина необыкновенно сладострастно режется; слышу, батарея здоровается с командиром, и тоже вылез из землянки, и с ним, и с офицерами пошел в окопы, где ему надо было говорить с батальонным (пехотным) командиром.
У него, у /нашего/ командира, очень приятный голос и, несмотря на огромную определенность, какая-то милая восточная мягкость.
Я сейчас говорю, что мне офицер поручил писать историю. Ком/андир/ гов/орит/: «Ишь ведь какой В/асилий/ Зах/арович/ – уж он с себя это сдыхал». Он постоянно очень хорошо ругается.
Третьего дня, когда всем составом шли, я обратился к командиру с просьбой: «Ваше высокоблагородие, прикажите мне ездить на Шомполе, я очень езду люблю». – «А, пожалуйста!» – и сейчас же обернулся и распорядился, чтобы лошадь назначили мне. Эту лошадь мне присоветовали как резвую – небольшая рыже-чалая с лысиной и белоногая. Я ее не пробовал. Для того, чтобы подали лошадь, надо крикнуть в телефон: «Передки, подайте лошадь такому-то».
Чемодан ты не посылай, не стоит, а вот сапоги преувеличенного размера, старику беженцу если бы можно было заказать, то хорошо бы, но только это тебе пишет моя предусмотрительность, а пока у меня хорошие, и тепло ноге в твоей синей кофточке. Вот вспоминается мне одна моя предковская лупа, ты, кажется, с ней не была знакома (а может, это было зажигательное стекло), вот с нею бы хорошо карту рассматривать, или еще у *Ник/олая/ Вас/ильевича/* в Тюшевке[1] есть отличная круглая старческая лупа. Ты только не покупай, пожалуйста.
Сейчас думаю поехать верхом в батарею. Меня, говорят, уже прозвали батарейным дедушкой. Поезжай в Петербург.
Еще 2 красных платка пришли и бумаги онуч[2], а компасы сюда Вильборг[3] пришлет. Я пишу Ек/атерине/ Ник/олаевне/[4], мне хотелось бы и ей многое из того, что тебе пишу, написать, но переписывать скушно, так как поедешь в Петербург, дай ей мои письма, а подчеркну, что хочу позаимствовать для Мих/аила/ Ос/иповича/, вернее Марии Самойловны[5], от которой, как мыслящей по-парижски, я давно чувствовал напор, посылающий меня на войну.
Вот еще, пожалуй, пришли волосяные стельки; ты правда заведи аспидную доску и не слишком старайся и раздели эту доску на Москва –

и Отрадное. Трубку и англ/ийский/ табак. Лупу у *Ник. Вас.* Сигары из правой тумбочки письменного стола в голубой /комнате/. Сейчас вернулся, ездили втроем верхом, отличная лошадь, держу изо всех сил обеими руками, и очень резвая, так что обоих моих офицеров мог, кажется, обогнать, только избегал, чтобы не позавидовали. При заходе Солнца масть была очень красивая, рыжечалая, и отливает розовым золотом. Необыкновенно хорошо ехать, местность холмистая, красивая, изредка стоят одинокие груши. Против заходящего Солнца лес наполнен голубым дымом, потому что в нем стоит часть.

[1] *Тюшевка* – деревня в имении Ефимова.

[2] *Бумаги онуч* – портяночной бумаги.

[3] *А. Вильборг* – знакомый коммерсант-издатель.

[4] *Екатерина Николаевна* Винберг (1878–1959) – педагог, подруга Н. Я. с гимназических лет, жившая в Петербурге.

[5] Первое письмо И. С. было-таки переправлено Е. Винберг, а послание к Цетлиным (*см. Е. № 2*), вероятно, содержало и «позаимствованные» куски. Сохранился фрагмент письма И. С. к Тольской (вдове А. Н. Тольского), написанного в эти же дни:

...Хорошо. Плавно. Как телу удобно и покойно в новой оболочке, так и душа удобно уселась и успокоилась совсем, как никогда; дай Бог – навсегда. И как легко шагается в этой форме теперь по русской земле. Ночь. Поезд одиноко в поле. Рассвет; подбородник на фуражке надоумил меня, что счастье – стать в кожаной куртке на самую низкую ступень вагона и мчаться в теплом вихре на войну.

Должно быть, нет другого такого счастливца, который бы прямо из ленивой страшной частной жизни прямо ехал на фронт, минуя все противные тягости военной учебы. Такой легкий переход в лучшую жизнь – знаком по опыту, должно быть, только тем, кто взят молнией из нашей жизни и удивленный просыпается в другой.

Начал я писать Вам еще в вагоне, – теперь продолжаю в землянке во время перерыва между огнем; мы 3-й день ведем подготовку к атаке, которая назначена на сегодня, но, должно быть, из-за дождя и скользкой глины пока еще не предпринята (сейчас у меня письмо к Вам долго лежало в альбомчике – и, к слову сказать, за эти два года я написал Вам толстых письма четыре, только сразу не отправлю, а потом уж кажется оно старым).

Я совсем счастлив, что попал в эту простую, спаянную одной целью среду, и хочется думать, что, наконец, отвяжется от меня дряблый неприспособленный и бездарный двойник мой, в которого я всегда время от времени вырождался. Хорошо то, что попал в эту дружную семью, прямо тогда, когда она занята делом, которое само и меня всосет, и это не омрачается никакими условностями дисциплины. И как вовремя оторван я от своего дела, над которым в последнее время совсем отвык работать. Теперь мне верится, что если буду цел и заражусь этой бодростью войны, то и к тому делу другим вернусь. Вы простите, что выходит как-то, что я великое событие войны примериваю к собственной судьбе, но я как-то не умею иначе смотреть. Еще великая радость мне то, что со мной хороший мой друг, очень глубокий художник, который меня и привез сюда в бой.

Потом с вольноопределяющимся Алтуховым пошли, набились в землянку 3-го орудия. И с солдатами пели «Из-за острова...!» под гармошку. Недавно сидели с Владимиром Андреевичем на макушке высокого дуба на наблюдательном пункте. От выстрелов сыпались листья. Приехал розовый техник [*см. Е. № 4*], пришли обедать в избу. Пока сижу на заборе близко-близко к белой крепкой фыркающей лошади, поджимающей на незнакомого уши, на голове, обмотанной недоуздками и цепями.
Техник рассказывал о хорошем священнике, который перед братской могилой, когда стал служить панихиду, встал, поднял руки к небу и сказал: «Праведники на небесах посторонитесь (или потеснитесь), дайте место этим героям».
Тут такая ладная налаженная жизнь, что кажется, так и надо и так всегда было и будет. Только вот сейчас около чайника, пахнущего дымком, лежит стоптанный ботинок шестилетнего ребенка. На этом голубом дыму рыжие, крепкие, освещенные солнцем дубы; высокие, аршин по 5 католические кресты, поддерживающие телефонную проволоку, которая здесь тянется по всем направлениям как паутина, по комкам черноземной пашни. А подъезжали домой, на зеленом небе стояли, как всегда, яркие ракеты, которым, видно, не хочется отлетать далеко от земли. Лошадь моя, оказывается, раньше /была/ у сельского батьки (Ветлуга Костромской губ.), немножко частая рысь и горяча, так что напрасно себя горячит, но все лошади и собаки, которые со мной имели дело, становились спокойнее, хотя приятно, конечно, что она носит в себе беспокойство.
/.../ Там, где стоит моя лошадь в резерве, в верстах полутора или 2-х (откуда могу вызвать лошадь по телефону) резерв стоит в редком (вырубленном) сосновом лесу Сокольнического масштаба, теперь не приказано рубить, поэтому вчера, когда приехали, смотрю, сидит высоко, черт-те где, солдат и рубит сук, на котором сидит. Кора с деревьев на человеческий рост вся срублена на подтопку. Красиво в сумерках среди редких сосен на фоне светлого неба, стоят рядами лошади, привязанные к натянутой между деревьями цепи. Морда перед мордой стоит наш стригунок воронененький с торбой на лице, а напротив серая лошадь, которая все время теребит его за торбу, стоят красивые рогатые серые украинские волы, которые служат на батарее.
Сегодня Влад. Андр. дежурный на батарее. И я хожу и сижу около орудий, мне их прошу показывать солдат, которые очень ясно объясняют, и вот пишу тебе письмо, а то сидим с Влад. Андр. и Васильевым,

который был с тобой у Юона[1] и держал /экзамены/ и учился в школе [МУЖВЗ], а теперь, недавно, без Владимира Андреевича, перевелся в нашу третью батарею. Он резал на отличном грунте стены /землянки/ женщину, и говорили. Художник. Он рассказывал, как его брат, кавалерист, бежал из австрийского плена через Италию, как его встречали в Англии и одели его в английскую форму, потому что оборвался. Вырыли около избы солдаты малинник и состроили себе землянку.

[1] *Юон* Константин Федорович (1875–1958) – живописец, педагог, много лет руководивший собственной студией в Москве.

------------------------------ ***Е.*** *№ 7*

Седло у меня фейерверкерское с медными пряжками и с таким самым деревянным органом, какой мне Шаховской в прошлом году[1] присоветовал вырезать, «оголовье» уздечки – из возлюбленных моих сыромятных ремней, как бы недоуздок с удилами и медными пряжками, вообще, видно, из хорошего хозяйства.
Шомпол может резво бегать, только часто идет с трех ног, по-мужицки, лишь бы быстро, не обращая внимания на ритм.
Я гов/орил/, что солдаты прозвали меня «батарейный дедушка», и в дороге я часто оказывался ребусом из-за несоответствия морды со званием. Не хуже, как тогда меня спрашивали, не на мыловаренном ли заводе служу. Так и теперь.
Ну, после, я пишу верхом, а еще версты четыре и не увидишь телефонных проводов и придется тогда брести шагом на лошади, хотя я, конечно, и никогда зря не гоняю. До вечера до свидания.
Он /Шомпол/ зря торопится и утомляется, это тот же недостаток, что и у меня, надеюсь, друг друга выездим, а еще у него небольшой недостаток, которого у меня нет – иногда идет с трех ног. Да, насчет того, что не знают, что я за штука – ездил сейчас верхом верст за 5 в местечко, где две интересные дамы, типичные и чуждые. Поперек тротуара стояла моя лошадь – я болтал с евреечкой, идет офицер чернобородый; я четко повернул лошадь и отдал честь. Он прошел несколько шагов, вернулся ко мне: «Вы давно, вольноопределяющийся?» – «Никак нет – несколько дней». – «Вы юрист?» (?!) – «Был и юристом, бросил, теперь скульптор!» Покозыряли и разошлись.
А еще я остановился на том, что Васильеву прислали посылку, а командир пощупал, /и/ своим шуршащим восточным голосом стал просить, чтоб поскорее развернул.

Рассказывает солдат: на Карпатах, когда грязно было, снимешь колесо с повозки, на нем и спишь. Командир батареи раньше командовал сотней в Черкесском полку, так называемой «дикой» дивизии.
Тут и он, и другие большие винопоклонники, сейчас к Васильеву входит один солдат, передать один сверток, другой сверток. Выпишу /вино/ от Винберга[2].
Лошадь моя, на которой сейчас шагом еду, называется «Шомпол», и звук этого слова хорошо рисует его крепкую сбитость, только он устает, тратя силы из-за горячности, как и я, но надеюсь – больше будем ездить и друг друга выездим. Еду по глиняной дороге консистенции такой, как я люблю лепить, которая сплошь ровно исшинена колесами и исколота четкими ударами копыт.

[1] *...Шаховской в прошлом году...* – Вероятно, князь Илья Дмитриевич Шаховской (1887–1916), погибший на фронте.

[2] *Винберг* Владимир Карлович (1836–1922) – швед по происхождению; крупный винодел Крыма, автор книги по виноградарству и виноделию.

---------------------------------- ***Е. № 8***

Как ты всегда верно знаешь, что мне нужно в главном. Ведь не будь тебя, не быть мне ни скульптором, ни теперь на войне[1]. За такие благодеяния не благодарят. Сейчас, пока я стоял на пеньке сосны, чтобы видеть, как носится по полю сорвавшаяся с коновязи лошадь, мне пришла в голову укрепляющая бодрость мысль, что, когда жизнь мне соответствует, я ведь долго крепок и не теряю вертикального напряженного положения – хотя бы в школе [МУЖВЗ] я ведь долго был бодр.
Музыка издали доносится и «ура» учебное. Пойду у Влад. Андр. учиться артиллерии, он сегодня свободен от дежурства.
/.../
Из-за расстояния я теперь не могу так тебя тянуть за душу гулять, но ты послушайся, милая, поезжай поскорей в Петербург.
Теперь во мне дедовская кровь[2] играет и мне кажется, что военный мундир мне необходим, как кожа, в которой я родился; и если так и будет и я с ним не расстанусь – то ведь ты будешь военной дамой и тогда легче легкого будет ездить верхом с офицерами в манеже и на воле. Вот бы хорошо, если бы я для тебя эту радость сам заслужил!
Мне пришло в голову – вот бы ко времени моего отпуска, месяца через три, что ли, – от Винберга /выписать/ портвейну бутылок 20. Нет, сейчас я поговорил с командиром: «нет, по России нельзя от-

править, разве я бы привез, у нас нипочем, а я два раза получал дрек[3] вместо вина». Вчера опять ужинали с тостами и он рассказывал, что когда был в Черкесском полку, то 20 дней не расседлывали лошадей. Но я боюсь, что у тебя получится впечатление, что тут «вечный праздник». Но это потому, что сейчас затихли бои. /.../
Последние известия: сейчас мы вели методическую артиллерийскую подготовку, много стреляли. Телефонист из-под земли передавал команду Влад. Андр., а я передавал старшему офицеру или прямо орудиям: «Четвертое огонь!» и после выстрела – в телефон, что состоялось – «выстрел четвертое». Бодрящее занятие. Ну, надо отослать письмо, а то оно у меня все пухнет.

Целую. А ты-то как? Не мелка тебе там вода?
Ваня

[1] В «Очерках жизни и творчества И. С. Ефимова» Н. Я. пишет:

Когда разразилась война 1914 года, Иван Семенович был в своем мрачном настроении. Его начала томить, кроме того, мысль, что многие из его друзей находятся на фронте, а ему, как «единственному сыну при матери» никогда не отбывавшему воинской повинности, предстояло, когда подойдет его год, служить где-нибудь в обозе или сторожить в тылу военное имущество. Эта скучная перспектива угнетала его настолько, что я стала ему настойчиво советовать поступить добровольцем в действующую армию немедля (Н. С. 1982).

[2] *Дедовская кровь* – имеется в виду К.Ф. Поггенполь (ум. в 1860-х гг.), полковник лейб-гвардии Уланского полка. По женской линии (Поггенполь – Левшины – Хозиковы – Демидовы) И.С. происходил от знаменитого Прокофия Акинфиевича Демидова (1710–1788).

[3] *Дрек* – на идише означает «дерьмо».

_Е._ *№ 9*

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
21 октября 1916

Дорогой мой – не знаю, почему я пишу так редко. От тебя получила 2 письма подряд, а теперь давно нету. Я в Домотканове, добралась с тысячью приключений и теперь наслаждаюсь теплом, едой и покоем. Тут стало очень уютно. Диван в зале действительно величественен, и все вспоминают тебя, как только его увидят... Он покрыт парусиновым чехлом, и подушки (в два ряда на нем) тоже, и он как снежное поле. Я тут уже 2 дня, и начало улегаться волнение, учиненное сутолокой переезда. Очень приятно мне тут теперь. Я бывала здесь при разных настроениях, и виды из окна лип, двора, сада – как-то гибко поддаются настроению и будто ласково принимают в свои объятия. Пруды, сад –

я готова была расцеловать каждое дерево, собачку... Я была в школе – там очень хорошо, мне тоже понравилась самая ветхость обстановки, и обыкновенность немудрящих учительниц. Адриану будет хорошо там; я немного пройду с ним кое-что, и с понедельника он начнет ходить. Сегодня вечером приедет Наташа, три дня праздники.

Маруся не получила ни одного письма от Владимира Андреевича. Пиши лучше на Чуприяновку – там чаще бывают, чем в Бурашеве, и, может быть, письма пропали в Бурашеве?

От Григория Ильича[1] и от землемеров я ничего не получила, хотя написала давно, и дала адрес Бурашева. Из Сокольников нас провожали со страшным, страшным сочувствием, сожалением и печалью. [...]

Перевозка разной требухи стоила 70 р. Шуба твоя оказалась хороша Мите – ему надо было покупать. Я ему свезла, он хотел купить ее, но теперь его, кажется, тоже призовут, так что я попрошу Чеховых продавать ее. Посылку я попросила послать Лелю. Батареи для фонаря купила, и зубочистки. Блузу будем шить тут. В посылке – шоколад, открытки, черный носовой платок, простыня, медный образок из твоей коллекции, и два альбомчика. Может быть, присоединю фонарь. А блузу пошлю после. Завернута посылка в хорошее полотенце.

Я вижу тебя теперь во сне чуть ни каждый день, но все как-то весело.

Пиши, пиши хоть немного, но чаще. Нужен ли компас?

Целую крепко. Нина

Да, портяночную бумагу я нашла, в Офиц/ерском/ Оборуд/овании/, но это мерзость невообразимая, стоит – 2 р. листик!!! Лист надо разрезать на 2 ноги, получить 2 узкие полоски тонкой, мятой, еле живой бумаги! Думаю – на один раз. Лучше я пришлю газет, не знаю, можно ли? Или оберточную, или наконец белую – все не столько. Я не купила.

Сейчас тут Наташа. Расспрашивает все о тебе. Я страшно рада, что я здесь. Вот подыщу подрамник и начну кончать бабу[2]. Напишу в Кузнецово[3], и когда будет санный путь – думаю соберусь. А в Петербург не тянет отсюда. Тут очень хорошо. Жена Нивинского повезла мою Часовню с народом[4]. Не знаю, приняли ли.

Почему нет от тебя писем? Самого-то интересного, а именно – как ты чувствуешь себя в твоей работе – я не знаю. Хоть бы одно письмо было из Бурашева – а то и нет ничего – боюсь потерялись. Надо поехать самим, а то ездил австриец[5], может быть не сумел спросить.

Напиши оттуда Варваре Семеновне[6]. И Тольской тоже не плохо бы кабы написал. Я ей дала адрес, но она не соберется. Целую крепко.

Нина

[1] *Григорий Ильич* – управляющий в Отрадном.

[2] Имеется в виду картина Н. Я. «Крестьянская девушка». 1916, х., м. 115x59.

[3] *В Кузнецово* – т. е. на Кузнецовскую фарфоровую фабрику.

[4] *...повезла мою Часовню с народом* – картину «Ожидание молебна» («Богомольцы»); на выставку в Петербург (*см. ком. к Е. № 3*).

[5] *Австриец* – пленный.

[6] *Варвара Семеновна* Орлова (урожд. Ефимова) – старшая сестра И. С.

Е. № 10

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
26 октября 1916

Милый, милый мой Ваня, как хотела бы я теперь прислониться к тебе и пожаловаться на всякие мелочи, происшедшие со мной. Они все и сидели у меня в голове, приняв вид огромный, но сегодня получились наконец от тебя письма (три сразу), и я увидела, прочтя их, – как у меня тут все мелко и печально – а от твоих писем пахнуло свежим воздухом, как от тебя самого иногда. Ну, расскажу тебе, может быть, и забуду тогда – в конце концов все это очень глупо, а ты так и вовсе рассмеешься, только я-то не увижу. Я когда ехала из Москвы на вокзал, то, несмотря на строгий выбор, оказалась 21 вещь. Восемь отправили на извозчике, а 13 (!) взяли на трамвай. Провожали все дети, Русаков, дворник, так что кутерьма была страшная. Впопыхах слезая с трамвая у вокзала – мы оставили на площадке большущий горшок с топленым маслом, а трамвай тронулся. Мне и Мане показалось, что забыли, я вскочила опять на трамвай, но солдаты, которые стояли на площадке – сказали: «Вы все, все взяли». Трамвай пошел быстро, я испугалась, что не слезу, что Адриан будет плакать, и не удостоверившись – соскочила. Сейчас же заметила, что нет масла – но почему-то не побежала за трамваем. Потом телефонировали на станцию – оно не пришло. Верно, солдаты унесли и продали. И вот теперь я никак не могу забыть этой драгоценности по теперешнему времени. И такой славный горшок, затянутый пузырем и в мешке. На вокзале нас тоже преследовали неудачи – хотя было пусто, но никак нельзя было сдать багажа – почему – не знаю до сих пор, и мы пропустили два поезда, но скоро был еще третий! Я давала рубли направо и налево и совсем потеряла голову. Адриан был зеленый как мертвец. Потом в Домотканове все не было писем – но я не могла отдать себе отчет – отчего меня ест тоска – по маслу, или от того, что не было писем. Теперь пришли письма, и я думаю – я забуду и масло.

Вчера, вместо писем от тебя – пришло письмо, из Армии, но от Лебедева[1]. Спрашивает о гравюре, хочет там заняться. Как это возможно? Он в 57 артиллерийской бригаде, не знаю, где это.

Адриан стал ходить в школу, ему очень нравится, он веселый и готовит уроки весело. Сегодня, когда он пришел в 12 часов обедать, я ему прочла твое письмо, он был очень доволен. У тебя, значит, есть револьвер, если котенок играет с кисточкой? Это у тебя 7-й номер письма – а всех я получила, с открыткой, и с тем, которое переслал Васильев – 5. Может быть, придут позже.

Штаны мы с Марусей уже заказали Арсению, портному в Домотканове, из той теплой материи лесничихи. Куртку поеду завтра заказать, и надеюсь, успею отвезти Васильеву. Обрезки от штанов пошлем на стельки. Куртку лучше сшить теперь из чего-нибудь потеплее и помягче нашей бабьей материи. Она ведь жестче и реже той, что у Фаворских. Я куплю в Твери настоящей.

Хотела бы я знать, что именно ты там делаешь? Да, ты был бы уже призван, был объявлен твой год недавно.

Может быть, ты писал, а я не получила... учишься ли ты стрелять, или только рисуешь? Как успеваешь, спишь днем или ночью?

Мне не хочется сейчас в Петербург – напала какая-то апатия, может быть, когда отдохну ото всего; хотя хорошо бы, может быть, развлечься. Ну, может быть, и соберусь, вот напишу Кате[2], съезжу в Тверь, тогда увижу. Прости за скучные письма – может быть, как и в жизни часто – они нагонят на тебя тоску? Но ты просил ведь писать разные гадости здешние. Я читала вчера Уэльса[3], очень интересно, но Адриану, конечно, трудно, и я читаю одна. Может быть, следующие письма будут веселее – ведь сейчас я еще ни за что не принялась и ничего не наладилось. Целую тебя крепко.

Нина.

[1] *Лебедев* – вероятно, Владимир Васильевич (1891–1967) – живописец, график, иллюстратор детских книг.

[2] *Катя* – Е. Н. Винберг.

[3] *Уэллс* Герберт Джордж (1866–1946) – английский писатель.

---------------------------------- ***Е. № 11*** ----------------------------------

И.С к Н.Я. *в Домотканово*
Октябрь 1916

/.../ Центр сегодняшнего дня у меня ванна. Ну и покупался же я, мы с милым офицером-химиком догадались воспользоваться гостепри-

имством лазарета. Мыл нас прелестный старик хохол, он рассказывал о том, как здесь кругом были отличные леса, об крепости здешних прежних людей, у которых женщины выходили замуж в 25 лет, а мужчины блюли свое девство до 40 лет, до достижения которых ни одна девка не подпустит (это мои слова о моей старости). Этому помогала военная служба. А крепость людей была такова, что его хозяйка родила в повозке и даже не велела остановить лошадей.
Говорил о крепостном праве, как, чтобы сечь беременных баб, их клали пузом на вырытую яму. И рассказал интересную легенду, как паны подписали отмену крепостного права. Государь в Сенате велел им подписать закон об освобождении невольников. Те подписали, думая, что дело идет о разбойниках, но Государь сказал: «Нет, это охотнички, а у меня есть другие невольники». И было уже поздно менять. Дай эту легенду Аделаиде Семеновне[1], ее она порадует.
Сейчас сидим, пьем местное хорошее вино и поем. Вчера с Влад. Андр. и Ник. Борис.[2] просидели вечер с милым, но беспутным упившимся товарищем, которого его товарищи по веселью бросили на произвол судьбы. Владимир Андреевич уверяет, что мы делали общественное дело.
Сегодня у нас дневка, а завтра опять походной колонной верст на 70 по прекрасной волнистой местности среди красивейшей панорамы, именно панорамы, из которой невозможно вырезать куска для написания пейзажа. /.../

[1] *Аделаида Семеновна* Симонович – мать Н. Я.

[2] *Ник. Борис.* – Н. Б. Розенфельд.

---------------------------- ***Е. № 12*** ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
1 ноября 1916

Милый мой, вчера получила твое письмо, но почему-то оно начинается чуть не с полуслова, как будто это не все письмо. Может быть, ты пишешь так, потому что цензура не пропускает? Все-таки много твоих писем пропало. Напиши как-нибудь и Варваре Семеновне, да, я писала, кажется, уже тебе. Я написала Васильеву, чтобы узнать, застану ли я его в Москве, а пока шью тебе теплую прекрасную, красивую-прекрасивую куртку. (Только, может быть, она широка – тогда там ушьете.) К сожалению, ты не пишешь чисел, и я, не зная, сколько времени шло

письмо – не имею понятия, стоит ли мне ехать в Москву. А увидать его хотелось бы. Хорошо, что ты отменяешь сапоги – тут в Москве заказов не берут – а в Твери еще можно, но, конечно, с трудом, и не зная размера, – страшно заказывать за такие цены. Если есть возможность получить там – получи. Или – пришли мерку. Может быть, там может кто-нибудь снять мерку. А я велю сделать шире для чулок шерстяных.

Сегодня я ходила в Захеево[1] искать мальчишку для живописи. Нашла. Пойду завтра начать. Мальчик в голопузых штанах на одной пуговке, как я и хотела. Маруся уже начала третьего дня что-то писать. Адриан ходит в школу хорошо, готовит уроки как раз хорошо, добросовестно, но и не мучаясь и не волнуясь ими. У них закон Божий преподает настоящий батюшка, и Адриан, по-видимому, очень доволен им. Да и тот тоже к Адриану хорошо относится. Тут теперь другой священник, не тот, который нас венчал. Жалкий, но добрый старик.

Я, кажется, переварила отсутствующее масло. Нивинский очень любезный человек, подумай: свез в Петроград мою картину, сам догадался вставить и сам вставил под стекло мою гравюру, и все это висит уже на выставке Мира Искусства – прислал мне каталог, чтобы доставить мне удовольствие видеть напечатанной мою фамилию, и притом довольно длинное письмо, из которого видно, что он добрый малый. Не то, что иные прочие, страдающие молчанием и других этим молчанием вводящие в искушение... В том же каталоге, присланном Нивинским, усмотрела я массу Кругликовских[2] произведений, и между прочим множество силуэтов. Один куплен Румянцевским музеем – у меня что-то перевернулось в глубине меня – и захотелось нестерпимо мчаться к Балиеву[3], показать в Летучей Мыши, пока еще она этого не надумала. Ей везет. Мне, для демонстрации, не хватает на военную тему – дай мне идею – но не что-нибудь, что не пропустила бы военная цензура! Пока до свиданья, я начинаю по тебе соскучиваться, но это, конечно, пустяки. Будь здоров, пиши почаще, я все-таки очень рада бываю сказать, когда кто спросит, где ты – сказать, что ты на фронте.

Нина

[1] *Захеево* – деревня близ Домотканова.

[2] *Кругликова* Елизавета Сергеевна (1865–1941) – художник; Н.Я. занималась офортом в студии Кругликовой в Париже. По просьбе Серова Н.Я. устраивала теневой театрик в их общей (Ефимовых и Серова) съемной мастерской-жилье на бульваре Инвалидов и показывала силуэты гостям. *[...] на одном вечере, в 1909 или в 1910 году, было много русских, французов. Были Валентин Александрович Серов, Константин Дмитриевич Бальмонт. Пришла Елизавета Сергеевна, и силуэты в движении произвели на нее огромное впечатление. Она занялась с этого вечера силуэтом, и в книге ее, иллюстрированной*

силуэтами вперемежку с монотипиями, «Париж накануне войны», отразилось ее увлечение и темами того вечера – запряженные лошади, толпа Парижа, в частности – омнибусы, фигура кюре [...] (Н.С. 1982. С. 232). В статье Н.Я. Симонович «Несколько слов о Елизавете Сергеевне Кругликовой» (Н.С. 1982) очень доброжелательно рассказано о ее наставнице в искусстве офорта. Эта доброжелательность не нарушается совершенно различным пониманием сущности силуэта.

3 *Балиев* Никита Федорович – настоящее имя Мкртич Асвадурович Балян (1876–1936). Актёр, режиссёр, основатель и директор московского театра-кабаре «Летучая мышь».

---------------------------- ***Е. № 13*** ----------------------------

Н.Я. к И.С. *из Домотканова*
1 ноября 1916

Милый мой, вчера получила твое письмо маме – она была ужасно рада, и как раз перед этим она тебе написала в моем письме несколько строчек. Я вижу тебя во сне аккуратно каждый день, как будто ты вернулся, и все разный – то ты бледный-бледный с черными бровями; то красный, с черными волосами и прядью, как у тебя была раньше. Сегодня мне снилось, что мы с тобой в Отрадном, в той комнатке, где был умывальник, но там очень уютно, какая-то пышная белая кровать. Ты сел на стул, и получился твой рисунок, который я называла первым номером. Главное, я совсем не думаю ни о чем таком, так что не знаю, почему мне снится. Потом на столе появился очень красивый солнечный луч, вроде отраженного откуда-то в виде маленького солнца, и выступило Наташино лицо, очень красиво, светлое, с сиянием. Светлые волосы, вроде фрески на стене, и я сказала тебе – «это дагеротип». Мы с Адрианом живем в средней комнате внизу, тут тепло, но, конечно, – скучно-скучно.

Но зато я начала рисовать мальчика[1] в Захееве, и очень подходящий, именно какого я искала. Голое пузо и под ним две штанины до земли. Я поставила в твою позу – ничего? Но выходит у меня как-то этюдно. Впрочем, вчера только начато. Лицо у этого мальчика не такое, как у твоего. Мой щупленький, и, может быть, оттого от него и пахнет позированием, он мог быть и натурщиком, тогда как твой – только деревней.

У нас снегу нет, грязно, тепловато. Поэтому я не собираюсь еще в Кузнецово, лучше по снегу. Я писала землемерам[2] – не ответили, может быть, призваны? Писала Ильичу – тоже, свинья, не ответил. Ты удивился бы, если бы увидел каталог Мира Искусств – там мой адрес поставлен – «Мещанская 50». Это квартира Нивинского. Это оттого, что мои вещи приехали в его ящике. Кто-нибудь мог бы сочинить целую драму по этому поводу. Я жду ответа от Васильева, когда уезжает, потому что не знаю, стоит ли ехать мне в Москву. Куртка твоя шьется.

Если он уехал, то я пошлю почтой. Пошлю также батареи для фонарика и платки. До свиданья, мой милый.

Нина

[1] *...мальчика...* – подготовка к картине «Ванюша». 1917, 81,5х60. Омск.

[2] *Землемерам* Н. Я. писала в связи с хлопотами о продаже леса в Отрадном.

---------------------------------- ***Е. № 14*** ----------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
2 ноября 1916

Милый мой, прости меня, что я пишу тебе такие неинтересные письма. Вчера я получила сразу 5 твоих писем и стало стыдно за свои. Твои письма – правда, и чудные картины, и свежий воздух, и жизнь. А мои – какое-то мышиное царапанье. Я так вижу голубой туман луны, в котором вы шли. У нас тоже были чудесные ночи – в одну мы с Марусей гуляли – она зашла за мной вниз и сказала – Иван Семенович наверное погнал бы нас гулять – мы и пошли. А другой раз я шла в Твери по набережной с Владимиром Дмитриевичем к Наташе – небо было в облаках и свет на всем голубой, без теней. Должно быть, твои письма не терялись, я получила 12 писем (одна открытка). Наверное все. Ты пиши лучше чем номера – числа. Очень жаль, что нет чисел ни на твоих, ни на Владимира Андреевича письмах. Из-за этого я пропустила Васильева, да и вообще письма приходят не подряд, и трудно восстановить последовательность, а иногда это очень существенно. Получила письма о переезде. Я очень рада за тебя. Я долго не могла понять, что Шомпол – твоя лошадь. Я думала, ты пошел читать письмо к пушке, и только вчера получилось письмо, где это объяснилось. Кланяюсь ему и целую в самый нос. Ты пишешь, что он чалый? Наверное большой. Адриан был очень доволен своим письмом, не позволяет брать его конверт и говорит, что он будет «гордиться» этим письмом. Мы сложили, как ты сказал, бумажку, разрезали, и вышла страшная, престрашная могила. Большой крест. А две остальные – или фонари, или украшения, но без них лучше – одни ступени. Адриан ходил показывать Маням[1] и те были очень довольны. Я получила и 3 письма, чтобы переслать. Кате /Винберг/ посылаю, и сама еще приписала. Остальные тоже пошлю, хотя они уже устарели. Напиши, все такой же ли твой адрес.

Завтра я пойду первый раз рисовать с детьми в Калачево. Хочу прямо с натуры, без предварительных линий и квадратов, с которых я всегда начинала. Посмотрю, не лучше ли без них.

Куртку тебе сшили, вышла такая чудная, что мне жаль посылать, боюсь, что потеряется. Лучше, чем от Мерилиза[2]. Она серая, из лучшей диагонали, как у офицеров. Платки красные, целых шесть нашли, но пока сама сморкаюсь в них. Когда ты напишешь, что адрес тот же, тогда пошлю. Ты знаешь песню – «Нигде милого не вижу, ни в деревне, ни в Москве, только вижу я милого в темноте ночи в сладком сне». Только сегодня сон мне изменил, и я тебя не видела. Не знаю отчего. Это очень жалко. Ну, до свиданья. Целую тебя несчетно много раз.

Нина

[1] *Мани* – Маня из Отрадного и Маня – горничная в Домотканове.

[2] *Мерилиз* – Мюр и Мерилиз, знаменитый торговый дом в Москве.

Е. № 15

Н. Я. к И.С. *из Москвы*
Ноябрь 1916

Милый мой, пишу тебе от Рындзюнской[1], я у нее ночевала, я пошла вчера к Голубкиной[2], а по дороге зашла за Рындзюнской. Мы хорошо сидели у Анны Семеновны, выпили три самовара. Она очень велела тебе кланяться и все повторяла, что когда я ей сказала о том, что ты на фронте – точно свежим воздухом пахнуло, и говорит, что это большое счастье, и что «как же плоха, значит, наша жизнь, если война – убийство – счастье». Мы хорошо поговорили. Она все говорила то же, что и мы с тобой говорили или думали, что ты вернешься другим. Она сама не работает что-то, но вид имеет хороший, постарело только у нее лицо еще. Там была Губина[3], которая просила тебе передать, что она тебе завидует. Я получила билет на сегодняшнее открытие Бубнового Валета. Я была несказанно рада, право, как раз хотелось попасть.
Тебе, верно, все это кажется очень мелким и глупым, по сравнению – но что же делать. Я очень довольна пока Москвой, вид людей и улиц освежает меня, и я стряхнула домоткановскую скуку. Сейчас идем с Рындзюнской на открытие.

Я еще хочу в Москве сделать одно капитальное дело – в Летучую Мышь устроиться. Но как? Как? Не знаю, но решила сделать это. Авось увижу на Бубновом Валете... кого... конечно, Эттингера, может быть, он что-нибудь наворожит.

Постараюсь отвезти это письмо Васильеву. Я, кажется, мало купила папирос, еще куплю. А моей набивки верно дрянь.

Не знаю, тот же ли твой адрес – напиши.

Главное – будь, будь жив и здоров.

Сейчас пришла с вернисажа – пишу у Лели на лестнице – никого нет дома и не дозвонюсь. Это был интересный вернисаж – устроила выставку какая-то дама патронесса в пользу детей воинов. Картин масса и все красивые, а посреди залы стол с торжественными пирогами и пирожными, и самовары, рояль, и было концертное отделение. Там была толчея народу, чудно красивые барышни продавали чай – в необычайно светских новых черных платьицах, и животы углом завязаны салфеткой. Видала я всех, всех, всем рассказывала, что ты воюешь. Все соболезновали, но я всем говорила, что ты очень счастлив, и тогда все удивлялись и расцветали. Кланяется тебе Софья Карловна[4] и Владимиру Андреевичу кланяется, и Николаю Борисовичу. Еще кланяется Машков[5], еще кланяется Нивинский и Эмилия Вацлавовна Нивинская – (напиши им привет), еще кланяется – ну, да все, все. Конечно, видела Эттингера. Он просил меня продать какому-то хорошему покупателю[6] мой Montmartr. Я согласилась за 500–400 р. ...лучше ведь, чем валяться на чердаке у Тольской. А ты как думаешь?

С Россцием[7] говорила, с Фальком[8] говорила, с Рождественским[9] говорила – он офицер, давно, и в Добрудже, может быть, увидитесь? Артиллерист.

Ну, одним словом, я совершенно опьянела от людей и картин. Эттингер надоумил меня, как попасть в Летучую Мышь. Надо пойти к Андрееву[10], скульптору. Он там пайщик. Конечно, с Андреевым мне легче говорить, чем с Балиевым, и есть шансы, что я (показав вдохновенное) и пройду...

Выйдя с выставки и думая о тебе, мне таким мелким, жалким показалось все это на выставке, но только по сравнению с тобой, а там все мне было очень интересно. Я хочу еще сейчас поехать на вокзал проводить Васильева, отдам письма, но главное – как-то точно ближе к тебе. Как хочется послать с ним часть себя, но что? Волосы, ногти? Все такие гадости. А так кажется, что-то можно послать от себя. Цветок мог бы дать лепесток, а я что?

На выставке было много военных – все думалось, вот, кабы ты. Кончаловский[11] был. Рождественский очень интересный в своей форме и артиллерийских штанах. А лицо Христа – такое серьезное и ушедшее в себя выражение. А он меня обидел – он давно не видел моих вещей и сказал: «Ах, вам все-таки это нравится?» – современная живопись. Ему-то нравится, он друг Фалька. Неужели у меня такой заскорузлый вид. Нет, это не вид, это мои слова, опять дурацкие слова; не умею я ими управлять.

Я заходила в училище живописи, поглядела у вас на скульптурном отделении через стеклянную дверь, через которую я как-то долго смотрела в прошлом году, как ты лепил голую ту барышню – я тогда так и не вошла, и как-то горько стало на душе – это в прошлом году, а теперь – я как-то надеялась увидеть опять за грязным стеклом тебя, в одной бархатной жилетке, с прядью черных волос на лбу, с папиросой – и возбужденного. Но ничего не увидела, и там все были незнакомые лица. Я зашла тогда к Волнухину[12], он очень ласков был со мной и очень, очень, очень, очень тебя приветствует. Он стал совсем белый и глухой. Сатир[13] твой у него в мастерской.

[1] *Рындзюнская* Марина Давыдовна (1877–1944) – скульптор, училась с И.С. в студии Званцевой.

[2] *Голубкина* Анна Семеновна (1864–1927) – скульптор. Ефимовы высоко ценили дружбу с ней. У И.С. есть запись: *Если бы меня спросили: «Знали ли вы гения», я бы сказал – Голубкину* (И.Е. 1977). Н.Я. написала очерк «Пять мастерских Анны Семеновны Голубкиной» (Н.С. 1982. С. 220–225), рисовала Голубкину; в 1907 году Анна Семеновна вылепила «Портрет художницы Н.Я. Симонович-Ефимовой» (собрание Музея Голубкиной).

[3] *Губина* Любовь Андреевна (1870–1943) – скульптор, друг А.С. Голубкиной, автор воспоминаний о ней.

[4] *Софья Карловна* Каретникова (урожд. Тиль) – художница, троюродная сестра В.А. Фаворского. Занималась в студии Киша. Репрессирована в 1930-х годах.

[5] *Машков* Илья Иванович (1881–1944) – живописец, участник объединения «Бубновый валет».

[6] *...хорошему покупателю...* – Имеются в виду Борис (Бер) Осипович Гавронский (? –1932), известный коллекционер-антиквар, масон, член правления чаеторговой фирмы «В. Высоцкий и К°» (двоюродный брат М.О. Цетлин), и его жена Любовь Сергеевна Гавронская (эмигрировала, погибла от рук нацистов). *См. ниже Е. № 18.*

[7] *Россций* – псевдоним искусствоведа, критика и переводчика Абрама Марковича Эфроса (1888–1954).

[8] *Фальк* Роберт Рафаилович (1886–1958) – художник, участник объединения «Бубновый валет».

[9] *Рождественский* Василий Васильевич (1884–1963) – художник, участник объединения «Бубновый валет».

[10] *Андреев* Николай Андреевич (1873–1932) – скульптор.

[11] *Кончаловский* Петр Петрович (1876–1956) – живописец, участник объединения «Бубновый валет».

[12] *Волнухин* Сергей Михайлович (1859–1921) – скульптор, учитель И.С. в Училище живописи, ваяния и зодчества; автор памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве (1909).

[13] *Сатир* – имеется в виду скульптура И.С., 1915. Собрание семьи.

Е. № 16

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
5 ноября 1916

Милый мой, какое счастье, что тебе там хорошо, т.е. что ты счастлив. Я рада очень и горда даже, что судьба послала нам такое счастье. «Нам» – потому, что – ну, да понятно почему. Ты так пишешь, что, видно, и тебе кажется, что я с тобой. Хотя я не достаточно чувствую себя – у тебя. Я живу в тепле и покое – как же перенестись в вашу жизнь? Я только представляю себе те картины, что ты описываешь, а дальше даже не пытаюсь представлять себе – все как-то отвлеченно для меня. Я сейчас пишу от Лели, приехала повидать Васильева – оказывается, я его еще не прозевала... Леля играет на рояли что-то хорошее, этюды Аренского[1].

Надеюсь, Васильев не откажется объяснить хотя бы приблизительно, где вы. Думаем мы с Марусей – в Румынию вас везут. Но куда именно? Как будто вы через Малороссию едете – ели малороссийские колбасы, мыл в ванне хохол – наверное в Трансильванию. Я думаю, вы поможете здорово в Румынии. У вас рука счастливая.

Посылаю куртку. Может быть велика, и зря расширяется книзу-то, может быть, урежут там. Я боялась обузить. Две пары носков, одни из отрадненской шерсти, беспятые. Пару перчаток, Наташа связала. Две бутылки вина – не знаю, возьмет ли он. Папиросы. Я набила из остатков крымского табаку – одна труха; верно дрянь порядочная вышла. Я куплю здесь в Москве еще табаку и набью в Домотканове, пошлю посылкой.

Ну, еду к Васильеву, что-то он расскажет!

Я еще хочу устроить что-нибудь с Летучей Мышью – конечно, если выйдет – это будет чудо, я не очень рассчитываю. Кланяюсь Владимиру Андреевичу и Николаю Борисовичу. Еще узнаю у Ольги Владимировны – может, она тоже в Москве и пошлет что-нибудь, ну, до свиданья, мой милый – я большая свинья, что рада и горжусь тем, что ты там.

[1] *Аренский* Антон Степанович (1861–1906) – русский композитор, пианист, дирижер; педагог.

Е. № 17

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
8 ноября 1916

Радуйся! Радуйся, милый, я принята в Летучей Мыши. Успех был чудный, я принесла показать, показала на экране и... ну, да что там – они со мной

заговорили как с «персоной». Балиев сделал кое-какие замечания насчет того, что надо с движением, а то для их публики скучно, так сзади подлетел какой-то молодой человек (артист) и с энтузиазмом заговорил со мной о том, как хороши мои вырезания, как он восхищался издали. Демонстрация была на сцене... в 11 утра. У них экран, рефлектор – я совсем (теперь не) потеряла голову от радости. Балиев настолько восхитился, что уцепился за меня и делал 1000 планов, велел приходить по вечерам к ним задаром!!! Хоть каждый день!!! (Господи, зачем это не в прошлом году) и он мне все предоставляет: материалы, техников, темы... Дал стишки (они у меня в кармане), куплеты, – для теней – чудная тема, я за нее и примусь, и буду делать из жести. Он показал, что есть у них – из фанеры – дрянь совершенная. Он сказал: «Я предвижу огромный, бешеный ваш успех; у меня есть чутье, верьте!»...

Я согласилась делать «с движением» – хочу подчиниться его требованиям как режиссера (а то иначе – я могу и дома показывать). Раз я ищу его опытных советов – то и буду принимать – это будет задание, и в этом задании я вольна (он соглашается с моими оговорками) – искать красоты и «золотой середины» моей излюбленной.

Он согласен со мной, что движение может быть минимальное, намек на него, например, топотанье массы ног, – и только!..

Он мне показался чутким, и увидал сам, какая у них дрянь. Одним словом – он уверовал в меня – я в него. Милый! Зачем нет тебя! Там после меня была репетиция моцартовского трио – я прямо превратилась вся в счастье и восторг. Они очень хорошо пропели раз 10 подряд, а я из темноты слушала. Балиев делал им указания. «Вдвоем с тобой, как сча-астлив я...» Оно длинное, и бас там аккомпанирует.

Почему я не пошла в прошлом году? А может быть, решиться можно было только при таких условиях, приехав на два дня в Москву? Я прямо пошла к нему (Балиеву) и мы сразу разговорились очень просто, безо всякого льду с самого начала. Что я наговорила? Я не помню, я была вроде тебя, в твои бурные дни. Я рассказала, как я плакала у них, потому что, говорю, «видела, что рядом со мной такая красивая жизнь, а я не бываю». – «Отчего же вы не бывали?» – Я говорю – «да, знаете, дорого». Он – «Господи! Да я вам дам билет, ходите каждый день даром, рисуйте, я вам скажу кого», позвал кассиршу – «вот, говорит, глядите! Это Нина Яковлевна – пускайте ее даром». Та засмеялась. Какой чудный Балиев?!! Я сегодня пойду, но прежде отправлю телеграмму в Домотканово, что не еду еще! Они-то за мной сегодня пришлют лошадь. А я останусь на 3 дня, сделаю наброски, потом в Домотканово. Сделаю рисунки в натуральную величину и привезу сюда, у «него» сделаю, он дает помещение при театре. Правда? – сказка!!

Господи, хоть бы скорей ты приехал.

Спешу на телеграф. До свиданья, милый, радость моя, твой дух в меня вселился. Это твой успех, не мой, я действую, как ты: я стала на тебя, кажется, похожа, и все встречают меня радостно.

Только не сбеги с войны сюда от радости, чтобы видеть мое счастье. Ты ведь рад? Как хорошо мы заживем, когда ты вернешься. Мизерии конец, правда? Я боялась, что ты вернешься бодрый, а я тут кисну, и я тебя опять угнету. Но теперь нет – теперь я никогда не буду мизерием и не буду висеть на тебе и мешать радоваться, как бывало все же иногда. Почему это случилось именно теперь.

Нина

---------------------------- *Е. № 18* ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
9 ноября 1916

Ты ведь получил письмо, где я рассказываю о принятии меня в Летучую Мышь, о чудном успехе, который я там имела – пишу опять, сидя у Нивинского, которого нет дома, сейчас придет. Я теперь в Москве без дома, и это очень приятно. И везде, куда я приду – точно к себе: везде наши милые вещи. У Лели моя «Девичья» и «Девочка»[1], потом пришла в Сокольники – там у Русаковых первое, что увидала – своего жеребенка (пастель) – потом другую девичью. Пошла вниз, «к нам» – там дивно: чисто, красиво – наши вещи, но выглядит почему-то по-шведски. [...] Потом я поехала к Тольской взять с чердака «коробку Эттингера» – вхожу на лестницу – там твоя Львица. Какая она чудесная! Я гладила её спину, уши! На окнах я долго целовалась с Бизоном. У него за рогами углубление – по форме вроде твоей переносицы. На другом окне погладила повсюду Козла. И чувство такое, что вся Москва –мой дом.

Я взяла сегодня у Тольской еще свой Montmartre, отнесла Эттингеру – (400 р.) – маловато – но хорошо то, что у покупателей музей (небольшой). Там китайские коллекции[2] и прочее, и картина останется в Москве. Ведь хорошо? Лучше, чем на чердаке. И надо отделываться от старого, тогда сделаешь новое. В Домотканово послала телеграмму, что приеду в субботу – хочу так: сегодня вторник, нахожусь вволю уж в Летучую Мышь, порисую, в Москве поделаю наброски,– думаю, до субботы всё сделаю.

Я хочу еще сделать Москву – светлая ночь, хвосты перед булочными. Потом разные Vehicules[3], а хвост всё стоит. Что-нибудь еще

придумаю; а сделаю вдали Красные ворота, они дивно красивы ночью. Я приехала из Домотканова в половине шестого, и площадь была волшебно красива.

Послушай! А вдруг ты затоскуешь от того, что я весела? Т. е. в том смысле, что помнишь, мы замечали, что когда мне весело – ты скучаешь, а когда ты весел – я зла. Но буду надеяться, что это было, а теперь будет всё иначе. Правда?

Как-то я буду сидеть-посиживать одна в Летучей Мыши? И пить там чай? Потеха.

Андрей Евграфович спросил у меня – нет ли у меня твоих писем, я говорю – с собой одно, а все я дала Леле, а та Ляле, а та Мите. Он прочел письмо, что я дала ему, 3 раза вслух, каждый раз с большим проникновением и любовью; (это письмо о ванне в Лазарете и о беременных бабах) и страшно на меня накричал, что «вся Москва читает его письма, а я последний?! Я обижен». Я велела Мите завтра же ему принести. В твоих письмах, по-моему, только одно место было не для чужих глаз – это о мыслях твоих в спальном мешке – я на это место нашила белую бумажку. Остальное всё кажется можно. Да? [...] Уж очень мне жаль тех, кто не читает. Что-то все нет Нивинских. Я хотела у них посидеть до Летучей Мыши, но уже девятый час, скоро идти, а всё нет. И письмо, кажется, кончается. А верно я писала, что Эттингер авось наворожит мне. Так и вышло. Да, я не рассказала тебе, как это все вышло. Я столько раз, идя по улицам Москвы, это тебе уже рассказала, что не знаю, писала ли тебе уже или нет? Ну вот: Эттингер сказал мне на выставке: «пойдите к скульптору Андрееву, он там пайщик». Я пошла, от Голубкиной (у которой просидела несколько больше суток – правда!) – Андреев отворил мне сам, и в костюме дворника: барашковая шапка, пиджак посверх фартука. Хорошо, что я усумнилась, не он ли это, – и поздоровалась. Затем пошло дело складно; я хотя стоя, торопливо, но выпалила пропасть слов, и каких-то таких, что проняло. Да, он сказал, что он давно не пайщик, ушел, – но я не упала духом и «поговорили так вообще» немного, все стоя во входных дверях; у него дверь из мастерской отворяется прямо во двор. Я рассказала, что ты на войне. Он растаял окончательно и воскликнул почему-то: «Да ведь он, в сущности, премилый же человек!» – (про тебя) – «Кланяйтесь ему от меня». Я сказала еще на прощанье: «До свиданья, простите» – и быстро вышла. Да, главное он сказал: «Идите-ка просто к Никите (Балиеву), он теперь в театре, и скажите то, что мне сказали».

В театре[4], войдя, я начала что-то смущенно бормотать какому-то господину, как из-за занавески вышел Балиев, говоря: «Вы госпо-

жа Ефимова?» Я наивно ляпнула: «Почему же вы узнали?» – «В этом доме, – говорит, – всё ведь знают» – лед был сломан и дело пошло на лад. Очевидно, ему сказал по телефону Андреев, что я иду. Какой милый, правда? У меня теперь что-то все милые, как и у тебя, когда тебе хорошо.

Сейчас вот пришел Нивинский, – он тоже очень милый. Но самый милый из милых – это ты, ты, милый мой. До свиданья, подали самовар, чудные конфеты, бисквиты – напьюсь чаю и пойду в Мышь.

Нина

[1] *«Девичья»* – работа Н. Я. 1911, х., м. 83 х97, ГТГ; *«Девочка*, пьющая из бутылки» – работа Н. Я. 1914, х., м. 87х70. Обе работы находились у Лели Дервиз, в квартире на Садовой Спасской.

[2] Имеется в виду известная «восточная коллекция» Б. О. Гавронского (*см. ком. к Е. № 15*). Сохранился мандат П. Д. Эттингера (который осенью 1918 г. состоял сотрудником Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса) *на право вывоза художественной восточной коллекции Б. О. Гавронского, находящейся на Красносельской улице в складах Т/оварищества/ В. Высоцкого и К°, в палате № 7, и перевоза ее в Музей Восточного искусства у Красных вор/от/ в д/ом/ б/ывший/ Гиршмана* (по кн.: *Эттингер П. Д.* Статьи. Из переписки. Воспоминания современников. М.: Советский художник, 1989. С. 162).

[3] *Vehicules* – движущийся транспорт *(франц.)*.

[4] С 1915 г. «Летучая мышь» располагалась в подвале доходного дома № 10 по Большому Гнездниковскому переулку. Дом, построенный архитектором Нирнзее, называли небоскрёбом.

Е. № 19

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
9 ноября 1916

Была вчера в Летучей Мыши вечером, и как-то страшно стало, что я могу сделать хорошего. Но это пустяки, я стряхну с себя слабость. Пойду сегодня в 8 часов туда, поговорить с техником, надеюсь – он меня оплодотворит (употребляю твои выражения, видишь?) и тогда решу наконец капитальный вопрос, в котором вся-то и загвоздка – из чего вырезать. Нивинский советует делать мелкие, и рефлектор увеличит, как синематограф. Не знаю, боюсь – будет очень дрожать и всякие движения будут увеличены. А может быть, это и хорошо, как мы показывали в Левшинском переулке[1], помнишь? На стене на улице, из мастерской. Эх, тебя нет!!

Вчера пришла оттуда в третьем часу ночи к Лёле и ни с того, ни с сего сочинила следующие «стихи»:

В эти дни дороговизны
И ужасной суеты
Я живу, как будто птичка:
Ей отчизна – все кусты.
Близ Сокольников случится
Мне под вечер пролетать,
Там могу я приютиться,
Старое гнездо занять.
На Девичьем поле тоже
Есть гнездо на чердаке.
Или под полом (ну, что же?) (это Летучая Мышь)
Я ночую налегке.
На ступеньках (для подъема)
Возле Львицы и Козла
Чувствую себя как дома
И не помню зла.

[1] *В Левшинском переулке*, где в 1911–1913 гг. А. С. Голубкина уступила часть своей мастерской Ефимову.

---------------------------------- ***Е. № 20*** ----------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
11 ноября 1916

Здравствуй!
Вырезала сегодня утром огромный омнибус, с кучером и curé[1], который у меня теперь сходит с омнибуса взаправду. Вырезала из плохой бумаги и понесла в Мышь, – поглядеть, достаточно ли такой масштаб. Я прохожу прямо за кулисы – там большие комнаты, в одной красят декорации, в другой – станок (!), рубанки, пилы, столярный клей, стамески, стружки, доски и палки. Я прямо сюда – никого нет там, зажигаю себе электричество – разогрела клей на газу (в шелковом платье), нащепала лучины и пристроила каркас, а то иначе не держалось. В отдаленной комнате за фойе, из кабинета Балиева доносились голоса их всех – что-то обсуждали.

Я хотела сперва все сделать, а после их позвать глядеть, но они разошлись. Они не видели, что я прошла. Я пока припрятала свой омнибус в укромном местечке, – пойду завтра с утра и погляжу, и покажу на эстраде!!!!! Кажется – недурно. Сюжет, который он мне дал, требует

массы действующих лиц – и не знаю, как и кто будет держать – попрошу Лелю помогать. Но кроме того, там множество рабочих стремится помогать, услужить – стоит «повести глазом».

А я вчера опять пошла туда вечером – видела ту же программу и она мне еще больше понравилась. Теперь я знаю, что Балиев говорит одни и те же остроты, почти слово в слово. После спектакля, когда расходилась публика, и я ждала в фойе – он спросил: «Вы, может быть, хотите покушать?» Я сидела в буфете и пила кофе с артистами – за кофе взяли всего 15 к. (с сахаром и сливками). Они все там ужинали, а я их наблюдала. Там был и Бе-ес Борисов[2], и много других, которых я еще не знаю. Да ты веришь, что это я, я, я тебе пишу?? Потом я незаметно ушла и пошла к Красным воротам – на улице было чудесно – я всю дорогу пела (не знаю, насколько громко) старинную песенку, что там пели. Нисколько не страшно было. Не знаю, пойти ли мне сегодня? Надо ведь мне приглядеться к публике и артистам, но как-то странно идти третий вечер! Там играют «Шинель» Гоголя, – совсем не плохо, «Табакерки» *Эмалевича* – хорошо (там их 4), первая – прощанье русского казака с француженкой (вроде наших Epinal'евских Jeanne qui rit[3]), 2-ая – Шах персидский – это великолепно! Потом «Вольтер» – это тоже отлично – он там говорит, что попал в Тамбовскую вотчину и лежит перед закуской на столе и слышит незнакомые речи; он весь в белом, на черном фоне. И четвертая – Маркиза De Pompadure – очень плохо, играет какая-то дурища.

Потом у них поют трио (да, я писала), это, оказывается, басом поет Фавн; а тут пастушка и пастух. Потом «Рассыпанный шрифт» – мальчики в типографии перепутали шрифт от Ревизора, Горя от ума и Гамлета и так напечатали, и в Барнауле будто бы поставили, и что получилось. Очень остроумно.

Потом «Маска» Чехова, совсем отлично; и французские песенки – очень плохо.

Я делала там наброски, но думаю, чтобы сделать всех этих лиц (первых спектаклей) – надо рисовать их не так, а то уж очень мимолетно. Не поехать ли к Гагарину[4], Гиршман[5] и пр. и пр. Спрошу у Балиева.

Я сейчас пишу, сидя у Игнатовых[6]. Очень удобно жить так, как птица, без дома. Я страшно счастлива, но я только боюсь, что вдруг тебя тоже потянет сюда теперь? И надоест то, что у тебя; ведь такое это счастье было, что тебе там нравилось! Ну, да, Бог даст, и тут не уйдет. Кончаю, а то я пошла писать вздор.

Целую тебя много...

Нина

[1] *Curé* – кюре, священник (*франц.*).

[2] *Бе-ес Борисов* – Борис Самойлович Борисов (Гурович) (1872–1939) – с 1908 г. актер труппы театра-кабаре «Летучая мышь»; впоследствии заслуженный артист РСФСР.

[3] *....наших Epinal'евских...* – Речь идет об одном из сюжетов (*Jeanne qui rit* – смеющаяся Жанна) вырезаний из бумаги для детей, изданных в 1910 г. Ефимовыми в издательстве Pellerin & C[ie] – Epinal (Франция) под названием Jumeaux decoupage – «Игра для вырезаний» – близнецы (*франц.*) (90 сюжетов, 8 литографированных листов). Способ вырезания симметрично расположенных фигур людей и зверей, образующих игрушки, стоящие без подставок и применения клея, изобретен Ефимовыми.

[4] *Гагарин* Николай Викторович (1873–1925) – князь, художник, коллекционер. Умер в эмиграции.

[5] *Гиршман* Генриетта Леопольдовна (1885–1970) – она и ее муж, финансист Владимир Осипович Гиршман (1867–1936) – известные меценаты, коллекционеры.

[6] *Игнатовы* – Илья Николаевич Игнатов (1858–1921) – критик, публицист, член редакции «Русские ведомости»; его дочь Таня (1892–1972) – сверстница и приятельница М. В. и В. А. (из их круга), бывала в Домотканове.

Е. № 21

И. С. к Н. Я. и Адриану *в Домотканово*
Ноябрь 1916

Адриаша!

Ты маме не говори, а то она будет браниться. Я опять в туманную лунную ночь ездил на Чудище, на паровозе. Я стоял впереди около самого его сердца, и сердце иногда вдруг начинало сильно и часто стучать. Это когда колеса не брали и вращались на месте. Впереди показалось разноцветное созвездие станции, и чудище стало между многими путями выбирать себе путь.

Никогда так весело не ездил на поезде – то с товарищами, то с меринами, едем очень хозяйственно, собираемся сделать где-нибудь на долгой остановке выводку лошадей, т. е. вывести из вагонов всех 200 лошадей своих. Сегодня зарезали корову – с нами идет вагон наших красавцев быков. Пассажирское движение теперь нашими военными поездами очень забито, поэтому начальник эшелона, как офицер – хозяин поезда, иногда позволяет ехать в нашем поезде военным, а иногда и частным. Благодаря моей ночной поездке на паровозе я открыл некоторую ошибку в нашем маршруте – начальник эшелона нашего думал брать фураж (овса) на некоторой станции – оказалось, что через нее мы не поедем. Когда я ему это доложил, он хотел послать другого, но я вызвался пойти, и забавно, по дороге на станцию мне предлагали сено: «Да вы бы взяли», но я отказался, говоря, что

нам нужен овес. На станции у коменданта, благодаря разговорчивому настроению, я узнал все что надо и не надо, но интересно. И прежде всего справился, когда отходит наш эшелон, и узнал, что паровоз подан и уходит через 20 минут, но появилась карта будущих действий, за которой я и просидел 23 минуты, и мой поезд ушел.
Но кончилось все отлично: я сел в следующий за нашим чужой эшелон, сначала в лошадиный вагон, где была матка с жеребенком и серая большая лошадь, освещенная утром, а потом ехал в мягком вагоне с начальником чужим эшелона и доктором, интересно говорившим. А кончилось тем, что догнал, пройдя пешком версты две, свой ушедший вперед поезд, тихо шедший по закруглениям, т.е. правильнее встретил его, идя навстречу через вспаханные поля кукурузы.
Оказывается, солдаты 2-го взвода обо мне скучали и приглашали к себе есть яблоки, которые им удалось раздобыть из разбившегося в пути ящика. Вчера покупали яблоки и устроили игру: отходя все дальше, я бросал яблоки товарищу в окно вагона, и старуха продавщица просила еще купить: «уж очень хорошо смотреть, как Вы бросаете».
Удивительно! Там, где купались в военном госпитале, канцелярист (местный черный житель) сует свой адрес, просит писать и говорит, что ответит сам теплым чувством. Сейчас зашел из театра в кофейню, куда несколько раз заходил. Старая красивая еврейка, прощаясь, с заблестевшими глазами, желала мне счастливо вернуться в семью, и со всеми сидевшими, один горбатый старый, ласково прощались.
Должно быть, на самую нужную пружину война нажимает и ждет только команды «е-е-ездовые – садись».

Успею еще поцеловать вас.

Ваш Иван

E. № *22*

И.С. к Н.Я. *в Домотканово*

Ноябрь 1916

Только уж очень много я пишу. Вчера вернулись с пункта совсем ночью – костры, палатки, а я спал под небом и было даже жарко под полушубком, а помнишь, как мы с полушубком ехали на извозчике? Среди ночи проснулся, смотрю – надо мною поводит ушами чья-то верховая вороная лошадь, приехал чей-то чужой офицер. Потом попили чай, я почистился, зашил штаны, смотрю – прямо к моей постели накатили наши орудия, прямо дулом на постель – надо убирать.

Потом поймали большой из красной бумаги шар от противника. Я думал, не с прокламациями ли, нет, потом прочли – для наблюдения погоды. Я было подумал, хорошо бы тебе, Адриан, его привезти. Ну, до свидания пока, пойду на батарею, хотя очень хорошо с тобой над ручьем и греться на солнышке.
Пошли вчера с Ник. Бор. опять на наблюдательный пункт и я взял с собой твои письма. Сразу не стал их читать, это я выучился у львицы, которая никогда сразу не набрасывается на мясо, а носит его с вожделением минуты три. На склоне горы стал читать и поплакал в двух местах: как ты смотрела в стеклянную дверь в прошлом году. Потом, как это ты только выдумаешь, чтобы мне показалось мелким что-нибудь, что только коснулось тебя.
Сегодня перед тем, как менять позицию, мы разожгли костер, впрочем, тут неугасимые костры и день, и ночь. Я приволок какой-то вывороченный (для землянки) колючий куст и по совету командира посадил его в костер, как он рос, устроили «неопалимую купину». Командир: «Устройте ураганный костер». Знаешь артиллерийский термин – «ураганный огонь». И мигом, тут же у костра выпили твою бутылку коньяку. /…/
Адрес наш тот же конечно, почта наша следует за нами, куда бы то ни было.
С Монмартром, конечно, давай расстанемся, только взамен еще мне роди. К Эттингеру[1] у меня даже начинает шевелиться какое-то незнакомое чувство – признательности, что ли, за то, что ценит по-настоящему тебя.
Вчера поехали на разведку, чтобы выбрать позицию: командир, Влад. Андр., разведчики, и я попросился. Дивизионный командир и милый командир I-ой батареи. Ходили они, соображали, выбрали. Тогда послали телефонистов, чтобы провести провода на наблюдательный пункт и разведчиков. Наш командир говорит: «И Ефимова возьмите». Потом очень внимательно осведомился, не будет ли только мне трудно. И действительно путь трудный. Наблюдательный пункт 6 верст от батареи, из которых версты 3 лезть на высокую гору, местами очень крутую, почти без дороги в крутых местах. Пошли, и дорогой, забавно, телефонист раза два – включит аппарат: «Петька, ты? Скажи там, чтобы масло все не полопали» (разведчикам и телефонистам выдается сливочное масло), затем, только аппарат присоединил, и еще раз, опять о том же. Когда взобрались на вершину, было темно и вершина была островом среди налившегося между горами океана тумана. Очень на море похоже, поверхность вся на одном уровне, и из него

выступали соседние вершины 1229, только не знаю – футы или метры. Говорили, видны оттуда ясно две неприятельские батареи. Теперь туда пошли наши на наблюдательный пункт – командир и Влад. Андр. и другие, и уже красиво раскатываются среди гор наши удары орудий, не знаю только, нашей ли батареи, потому что сижу над ручьем журчащим в ½ версты от батареи. Пожалуй, не наша стреляет, потому что вряд ли они уже дошли и что-нибудь увидели, еще туман. Вчера вечером я думал было там остаться на вершине, но, во-первых, не был одет, недостаточно сыт, да и тесно очень было в чужой пехотной землянке, и еще вернулся Н. Ив. Васильев, которому, может быть, удалось, как у нас говорится, установить связь с тобою: но он еще не приехал, так что сегодня я еще приятно жду, но если и не удалось, все равно буду ждать, Бог даст, от тебя письма, которые запрудило нашим передвижением. Я никак не могу нумеровать, да и все равно – если пропадет – не восстановишь, лучше и не знать, только я уж очень много пишу.

[1] *П. Д. Эттингер* помогал продать картину Н. Я. «Монмартр»; И. С. просит только взамен написать еще подобный сюжет. Павел Давыдович был поклонником таланта Н. Я., начиная еще с ее ученического времени, и не переставал ценить ее работы всю жизнь. Случалось, что И. С. шутя изображал (артистично скрежеща зубами), что ревнует.

---------------------------- *Е. № 23* ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
18 ноября 1916

Постараюсь тебе сейчас наскоро плохонькое письмо написать, а то я тебе пишу длинные, но пока почта не совсем наладилась, мне жалко посылать, чтобы не пропало. Адрес наш, конечно, тот же самый, почта всюду следует за нами. Сижу сейчас на лафете пушки. Кругом красивые горы, скрытые туманом, шумит ручей.
Когда останавливались в местечке, мы ходили с офицером-химиком по ручью. Несколько кустарных примитивных лесопилок, их пускали в ход. Очень хорошая здесь архитектура крестьянских построек – найденная. Высокие крыши, дранью крытые, гребень, хребет самый очень коротенький, а наклонные плоскости красиво разносятся.

/Рисунок/

Дай Бог, чтобы у тебя устроилось с «Летучей мышью», и я надеюсь на это. Только ты подумай, как сделать рамку, папки и вообще все, что освободило бы тени твои чудесные от их внешнего вида мусора – ведь

это нам, мне, дорог и трогателен этот их плохонький внешний вид, а другим надо их показать в параде. А жить ведь ты, значит, можешь у Лёли? Хотел нарисовать – не вышло: на дерево наложена кукурузная солома. Тут отличные белые дубленые кофты у мужчин и у женщин, расшитые иногда мало, только на груди высоко и как-то сбоку цветок, а иногда очень изобильная вышивка. Погода была совсем весенняя.
Прости, голубушка моя, что может быть давно письма не получала. Глупо, что их так долго при себе ношу – надо, как написал, сейчас и отправлять. Ну теперь наладится, Бог даст. Утром сегодня побыл опять совсем близко к тебе, читая опять письма твои.
Пишу в седле, крутая, как на святом колодце, только много больше, гора, укрытая красно-коричневым кустарником, и по нем часто, нет, редко расставлены высокие с голубовато-зелеными стройными стволами буки, что ли, а теперь дуб пошел, а вчера вдруг пришли неожиданно к обрыву, очень похоже, что это берег бывшего моря. Здесь перерыв письма вот почему: я ехал стороной по скользкой глинистой тропке, ее пересекла канава и мы оба кубарем скатились. Прости, но теперь выехал на шоссе и опять пишу. Много бы тебе написал, если бы раньше догадался – иногда целыми днями в седле. Для батарейного праздника я взял на себя «красоту».
А вот песня чудесная, называется «Дойна» и поется, кажется, всегда с вариациями, так что нельзя никогда надеяться услышать второй раз то же самое. Вот приблизительно содержание: зеленый сад, роса, надо обтряхнуть, чтобы могла пройти милая, косы на груди; проклинаю сад, в который вошел молодым, а вышел стариком; вода пусть пропадет, чтобы я перешел реку и увидел своих сестер (родных, я спрашивал), я их не видел и высох...

Si nous pourrons mourir comme cela!
Ca ne serait pas la mort, – mais une union éternelle![1]

Это из поэтессы здешней, которую мне читали в вагоне мои новые чужие товарищи, у нее попадаются франц/узские/ строки, а говорится это по поводу смерти смелых двух, любящих друг друга.
Одному товарищу, оказывается, я должен послать в столицу наших близнецов[2], чтобы их устроить и, может быть, издать, если удастся получить одобрение от Министерства просвещения, что вполне возможно. Греюсь на совсем весеннем солнышке в горной долине. Удивительно, как пока война, слава Богу, повертывается своей красивой стороной, как Луна к Земле – всегда одним боком. Надо бросить Поликратов перстень[3]. Уже бросил, расставшись с тобой.

[1] Если бы мы могли умереть подобным образом! Это была бы не смерть – а вечный союз! (*франц.*)

[2] *Близнецов* – т.е. ефимовских листов вырезаний (*см. ком. к Е. № 20*).

[3] *Поликратов перстень* – перстень, брошенный Поликратом в море, в жертву богам за свое благополучие.

Е. № 24

И.С к Н.Я. *в Домотканово*
19 ноября 1916

Стою над водопадом запруженной для мельницы реки, силою в 20 таких речек, как наша Инюха[1]. И хочется здесь к тебе писать. Все очень довольны, что сюда теперь дошли[2]. Попали.
Еще до места не дошли. (Солнышко, не ты ли? – выглянуло через туман.) Скоро, Бог даст, остановимся, и почта между нами наладится, а то пока 12го ноября я только первые два письма твои получил; так и все мы.
Солнце! Передай Нине мой поцелуй!
Пошел домой, удостоверился, что не скоро выступим, и дорогу короткую узнал; теперь опять спокойно могу быть с тобою, глядя на бурный поток: сердится после запруды, а невдалеке железный мост, по которому мы вчера шли, а сзади далеко по дороге загнулась под прямым углом наша колонна.
Вчера, когда наша сила текла через мост, мне подумалось, что один поток пересекает другой.
Я писал, что у нас был батарейный праздник Архангела Михаила (с огненным мечом).
Офицер-химик ехал в экипаже, командир (ты его знаешь – видела при отъезде) – в двухместном крытом кабриолете, а я верхом перед ним. Полетели, цокая подковами по асфальту через город в садоводство, а там – чудеснейший старик с локонами, как все здесь старики, и мы наломали еловых и вроде туевых ветвей. Приехали в ресторан, и там на черной лестнице на столе я стал делать из цветной бумаги розочки на ветки, хорошим новым способом – покажу, Бог даст, и лилию из оранжевой бумаги. Ко мне присоединились дети (точно у тебя, моя милая, в твоем милом очаге) и барышни наделали гору цветов. И еще нашлась в магазине папиросная бумага 3-цветная, как флаг здешний, и я увешал стены (хотел потом снять их для Адриана). Потом купил тебе и Адриану один такой большой флаг.

Мне хотелось бы извиниться перед цензорами, что так много пишу и даю лишнюю им работу.
Вина тут много (так же как сахару и сливочного масла, простите, едим сколько угодно). После официальных чарочек «Чарочка моя, серебряная...» я сказал то, что на другом листе написано */см. ниже/*, раздались аплодисменты, ура, музыка заиграла, и, что самое дорогое, командир другой батареи, Иван Иванович, с которым Влад. Андр. много сидел на наблюдательном пункте (Ив. Ив. был раньше офицером нашей батареи, а теперь все три батареи сидели вместе), громко сказал: «Спасибо Папаше за Дедушку!»
Сегодня был в церкви. Воскресенье. Церковь православная. Только служба непонятная, а так как без певчих, то и красоты здешней службы нельзя уловить, а одно только непонятное бормотанье. Иконы хорошие, иконостас с итальянской роскошностью, а фрески на стенах очень малярные, но милые, и напоминают византийские мозаики. Одно «Взятие Илии на небо» мне понравилось: среди большого пустого неба едет Илия цугом на весело скачущих лошадях.

/Рисунок/

Я очень жалею, что с приготовлением к празднику я не поспел на молебен, на котором все батареи наши присутствовали. Да, когда обед кончился, я стал бросать вдоль стола серпантин; все очень оживились и, как всегда, серпантин содействовал тому, что люди, им оплетенные, сблизились на то время, пока не порвалась бумага. Некрасивый кончающийся стол вдруг повеселел. Стали шалить, делая себе роскошные аксельбанты.
Сегодня должен к нам вернуться, он недалеко уже, Н. И. Васильев. Авось он тебя видел, и тогда я к тебе приближусь. Солнце заходит за горы. Высоко в чистом небе реет аэроплан. Стучат пулеметы; стало быть вражеские – и орудия вот; звук, знаешь, как будто выколачивают ковры; недалеко от него (аэроплана) в позолотившемся уже небе сверкнет огонек, и облачко малюсенькое, плотное, темное, разрыва шрапнели, и так цепью и стоят, не тают, за ним и перед ним.
Можно тебя попросить: не читай ты, пожалуйста, все это сразу, а разложи на несколько дней, а то я знаю, вместо приятности от слишком длинной рукописи получится утомление; это у меня накопилось за много времени. Только ты-то, милая моя, все, что взбредет в голову, – пиши, как и я буду писать, только постараюсь чаще отправлять, чтобы равномернее они во времени распределялись.

Целую тебя, милая.
Иван

Приписка: Возвращаю Адриану фуфайку. Не нужна: Влад. Андр. дал лишнюю ему, черную.

Отдельный листок

Выпало редкое счастье из нудной и робкой частной жизни попасть прямо в дружную и бодрую военную боевую среду, которая нас приняла, и ярко почувствовал всю разницу между этими двумя жизнями. И теперь мне хочется пожелать тем из нас, которые вернутся к частной жизни, чтобы они, наученные воинским братством, сумели с такой же верой и крепостью духа строить жизнь, с какой теперь они делают войну.
Вот это я сказал на празднике.
Ура! Музыка. Спасибо папаше за дедушку!
Батюшки, я и не оглянулся, сидел писал над водопадом, а за мной гора крутище и бучище, как колонна, подпирающая небесный свод.

[1] *Инюха* – речка в Домотканове.

[2] *...сюда теперь дошли...* – через Молдавию в Румынию.

---------------------------------- ***Е. № 25*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
21 ноября 1916
Почтовая карточка

В нашей компании только один с языком, и мне, и нам очень пригождается мой парижский язык, тем более, что здесь вроде даже официальный язык, только говорят мои собеседники премерзко. Но говорю я с удовольствием.

---------------------------------- ***Е. № 26*** ----------------------------------

И. С. к Адриану *в Домотканово*
21 ноября 1916
Почтовая карточка

Дорогой Адриан, как это ухитрился написать такое длинное слово – вольноопределяющемуся. Револьвер у меня есть, привезу – будем с тобой стрелять, и еще австрийский кинжал. Тут горы, снег, на вершину взойдешь – солнце, внизу туман.

Целую крепко.
Папа Иван

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
22 ноября 1916

Как раз только что в сегодняшнем письме я пожелал тебе, чтобы ты нашла что-нибудь новое и интересное, как я здесь нашел, вот и исполнилось. Нет, не беспокойся, Ниночка! Меня не потянет сейчас потому, что вроде этого я испытывал в прошлом году, а теперь очень счастлив именно, что тебе удалось попасть в этот веселый водоворот, и я совершенно счастлив, живя через тебя.
Конечно, поезжай к Гагарину, Гиршман, Остроухову[1].
Вот как хорошо, что все твои 12 писем я получил сегодня сразу, и первые печальные затмились другими – лучезарными. На печальных я поставил «П» и не буду их перечитывать.
«Как же тебе объясняли: иди, иди, пока не заблудишся? Так?» – это химик спрашивает у проводника, когда мы заблудились в горах. Потом скоро – нет, положим, не очень скоро – выправились и пришли на наблюд. пункт. Иней, туман – ходили вчера туда и обратно часов 8; и скользко, надо будет взять Митины шипы.
Знаешь, вот почему меня очень не потянет, что ведь нельзя же все захватить – был бы там, не был бы здесь. Ведь все равно «Летучая мышь» существовала бы – меня же это не беспокоило, а теперь я только очень счастлив, что ты это получила. Тебе давно надо бы окунуться в веселье и, слава, слава Богу, что теперь далеко позади осталось и почти стерлось то время, когда ты плакала в «Летучей мыши». Да что бы я в «Летучей мыши» делал? Впрочем, конечно, что-нибудь вместе с тобой делал бы.
А вот что, если придется разговаривать с Никитой Федоровичем – показать бы ему, что я в прошлом году ему приготовил. Это был синий альбом с костюмами, и еще отдельные листы какие-то.
Тут так наслаиваются впечатления, что, я чувствую, на старости трудно будет рассказывать о войне внукам. Вот если случай сохранит письма, то по ним можно будет вышивать разные россказни.
Ну, вот, сегодня наконец и делом занялся – как следует изучали орудие. А то раньше только урывками, вопросами, и некогда было – то поход, то бои. Чувствую себя при деле, только когда сижу на наблюдательном пункте, хотя рисовать тоже ни разу нельзя было – часто здесь почти все время туман. Недавно здесь нашлись некоторые книги артиллерийские – можно почитать.
Адриан, привезу тебе, бог даст, австрийскую мечеку – кинжал, только он согнут, скажу, чтобы исправили. Пишу на батарее, вот из телефон-

ного шалаша командуют: «1-е орудие, к бою!», т. е. ему стрелять. Почему, Ниночка, ты думаешь, что мои письма пропадают? /.../

Целую крепко.
Иван

Приписка: «Бабу», какую ты собираешься кончать, тамбовскую девку, приветствую. Очень радуюсь, если у нас появится голопузый мальчик, которого ты давно хотела написать.

[1] *Остроухов* Илья Семенович (1858–1929) – художник, член совета Третьяковской галереи.

E. № 28

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
25 ноября 1916

Лучше всего я опишу тебе наше житье словами моего Дуная; он дал мне отправить открытку, /а я/ преступно прочел: «1916-й год, ноябрь 25-ое. Здравствуй, дорогой братец. В первых строках спешу уведомить, что я, слава Богу, жив и здоров. Мы сейчас находимся в Р/умынии/, но здесь горы больше, нежели Карпаты (хотя, они сами тоже Карпаты, ред.)[1]. Австрийцы начали отступать, наши стрелки занимают ежедневно все новые горы, а пока больше ничего нового нету».
Ты знаешь ведь, что (иней сыплется) у нас чудесный такой мордатый грубо-милый хохол Дунай, который с самой нежной заботливостью печется об самых интимных подробностях своего офицера-химика, он же ходит за Влад. Андр., который не взял отдельно денщика, и за мной; зашивает, штопает.
Теперь мы все три мальчика: Вася, Ваня и Володя, спим рядом на нарах, и сегодня Дунай принес воды – мыть ноги Васе (химику). Я ему говорю: «А когда же будешь Ваню купать?» Дунай: «А вы плакать не будете?»
Он же, очевидно, после войны будет заведовать нашим лесом.
Вот тебе, Адриан, артилл/ерийская/ задача:
Батарея стреляла с 10 часов вечера до 7 часов утра, – 3 минуты – выстрел.
Сколько вся батарея (4 орудия) выпустила снарядов за ночь?
Сейчас вот я жду, пока погрузят снаряды из погреба */неразб./* штук.
На каждый ящик помещается 34 снаряда.
На сколько ящиков можно погрузить все снаряды?
Наш наблюдательный пункт – высота 1229 /метров/
На сколько мы подымемся, когда переберемся на 1503.

При батарее 16 ящиков зарядных.
Сколько всего при батарее зарядов, когда ящики полны?

[1] И. С. вставил свою «редакторскую» ремарку, так как в Румынии горы – Трансильванские Альпы – иначе называются Южными Карпатами.

Е. № 29

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
26 ноября 1916

Милая моя, сейчас стою жду молебна, около нас будет служить пехотная часть, праздник Георгиевских кавалеров. Падает мелкий снежок, покрывший тонкой вуалью землю, замерзшую и звенящую под копытами, как асфальт Avenue de Boulogne[1], а горы, березки на горах в густом инее кипят. Ездил вчера к себе в резерв верст за 6. Хорошо было ехать по звонкой земле через ручьи, вернее, через ручей силой с Инюху, извивающийся между горами, мне надо было зайти в управление дивизии, и там, как гость уже, очень легко и просто поговорил с командиром дивизии. Не с плохим, но сердитым стариком.
Чудный молебен был: стал, конечно, не отдельно, а в ряды: нам велел полковой священник хороший петь, когда пели «Спаси, Господи, люди твоя». Потом пели «Многая лета» всему доблестному российскому воинству, потом Георгиевским кавалерам, командирам, офицерам, стрелкам славного полка!!! Это действительно один из первых полков, заслуживших названия «железной дивизии».
Сначала мне выдали казенные сапоги, вчера солдатские штаны, так что я понемногу снизу превращаюсь в солдата, как Н/иколай/ Б/орисович/ говорит, «с корня». Твою гимнастерку дал немного поправить – наш портной долго умилялся ее качеством и хвалил, как сшита.

В конверт вложена записка для передачи А. С. Голубкиной:

Дорогая Анна Семеновна!
Здесь тем жизнь хороша, что здесь нет маленьких страшных ужасов жизни. И еще тем, что люди здесь объединены одной целью. Если забыть про врагов – то мы-то все, и чужие друг другу в жизни, теперь спаяны точно орденом каким, и нет того ощущения, что путаешься и тычешься беспомощно по жизни одиночкой. А места для житья тут чудесные – горы со всеми красотами инея, восходов и закатов.
Наш наблюдательный пункт на вершине горы, и я вот все никак не могу уйти отсюда вниз, где наше жительство, а сюда приходят толь-

ко на дежурство, но здесь землянка и можно ночевать. Передайте горячий привет мой всем вашим.

Иван Ефимов.

[1] *Авеню де Булонь* – улица в Париже.

---------------------------- ***Е. № 30*** ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
24 ноября 1916

Дорогой мой – где ты? Что ты? Три недели нет писем, и чего только не думается, хотя я стараюсь не углубляться в эти мысли, и когда делаю-таки в Летучей мыши – забываю все мрачное. Однако на голове, где у меня счетчик волнений (появляется один седой волос на правой стороне пробора) – выскочило три седых волоса, которые я и выдернула сейчас же. Не знаю, что они означают – может быть, они и по случаю волнений из-за Летучей мыши или еще – мне ужасно не хотелось уезжать из Домотканова, и я даже плакала по дороге на Чуприяновку, точно когда ехала оттуда в гимназию. Мне казалось, что Балиев теперь меня выгонит за то, что я уезжала. Но этого не случилось, хотя программу ту он отложил, не знаю, надолго ли. Я все же спешу все окончить, и сегодня начну выпиливать из фанеры. (Фанеру они купили тонкую, хорошую.) Посылаю тебе вырезку из газеты о Серове, в пятую годовщину его смерти. Целый лист, и посередине его рисунок из альбома. Статьи: Грабаря, потом Андрея Белого и третья Россция. Надеюсь, дойдет до тебя (в другом конверте).

Милый мой, радость моя – будь только жив, но и не попадись в плен. Я думаю о тебе как о герое и всегда так буду думать, мысли мои о тебе священны, и все твои рисунки и скульптуры зазвучали таким стройным и сильным хором.

До свиданья.

Нина

---------------------------- ***Е. № 31*** ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Ноябрь 1916

На наблюдательный всё приходится лазить на крутые горы. Хорошо выразился командир, придя с наблюдательного пункта, про свою правую ногу: «Точно отвинченная ножка рояля».

Вчера ходили на новый наблюд. пункт. Крутая гора вся завалена поваленными с корнями, спиленными и сбитыми снарядами деревьями, которые все обуглились, так же и тоненькие оставшиеся стоять деревья, и иней; настоящее blanc et noir – уголь и снег. Иней-то особенный, такого никогда не видел: на каждой, каждой веточке наросла с северной стороны ленточка из иголок ледяных шириною в толщину моего большого пальца. И эти ленты вьются чудесно изгибами и изломами, сохраняя везде параллельность своих плоскостей. Одно такое особенно красивое деревце из лент проектировалось на дальней вершине. На наблюд. пунктах тут снег и солнце, а внизу грязь и туман. Теперь, слава Богу, подмерзло, и ходить отлично. Когда вечером приехал с наблюдательного пункта (нас у подножья ждали лошади), оказалось, что с другого, нашей же батареи, наблюдательного пункта много стреляли и способствовали успеху. Взято 80 пленных и малюсенькие штурмовые пушечки немного побольше той, что есть в Домотканове, только, конечно, действие ее другое. А сейчас опять, когда шел сюда, на ручей, тебе писать, – опять несколько пленных и пушечки. Когда были на наблюдательном пункте, тоже смотрим, ведут троих, только что взятых. Сегодня получил приказание ехать встречать нашу 2-ую батарею, и привести ее на место нашей прежней стоянки. Я поехал с вестовым. И хорошо, что мы (или я, кажется) догадались по дороге заехать на это место прежней стоянки, – потому что оказалось, что оно уже занято дальнобойными орудиями. Ошибка оказалась, но хорошо, что так вышло – иначе, если бы я, согласно приказанию, да еще под вечер, привел 2-ую батарею на это место, то там буквально и повернуться было бы негде. Ты представляешь, что такое батарея в колонне походной – ведь это вещь больше полуверсты. Так что потом полковник, командир второй, меня благодарил. Только у меня никак ни душа, ни горло не привыкнет отвечать по уставу: «Рад стараться» или: «Здравия желаю!». Но теперь это, конечно, не имеет значения.
Сашка /Алтухов/ наверное, будет тебе на меня плести, как я, якобы, делаю объясняющие жесты, не вынимая рук из кармана полушубка, когда говорю с нашим дивизионным командиром.
Недавно во время самого боя, т. е. стрельбы орудийной нашей, привезли 2 мешка отличных сапог, и тут же, между стреляющими орудиями, раздавали, и у меня теперь отличные просторные сапоги, а те дотерлись до задника, – можно починить здесь. Я гимнастеркой немножко разочаровался было, потому что ждал из домашнего сукна, но теперь зато совсем по форме.

Сейчас у солдата увидал книгу, которая интересна будет Адриану, да и я с удовольствием ее посмотрел, особенно конец о происхождении письмен. И хотя эту книгу написал Рубакин[1], которого я в жизни терпеть не мог, и это единственный человек, которому я с наслаждением старался говорить неприятности, но ты все-таки книгу достань или купи, пес с ним – Н. Рубакин «Из тьмы времен в светлое будущее», изд. Трауцкой, магазин «Наука», Б. Никитская, 10, т. 2.54.99.

Приписка: В сухой некрасивой траве горит разными огоньками такой чудесный иней, что захотелось помолиться Богу.

[1] *Рубакин* Николай Александрович (1862–1946) – книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель. Создатель библиопсихологии – науки о восприятии текста. С 1907 г. жил в Швейцарии.

---------------------------------- ***Е.*** *№ 32* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Конец ноября 1916

Голубушка ты моя
Когда хочется к тебе приблизиться, я выну твои письма и что-нибудь из них прочту, и становится на душе светло и спокойно, потому что ты есть. Мне и все время хорошо, а так, если просто замутится и хочется опять поймать эту спокойную линию жизни. Вот тогда твои слова (какие-нибудь) и действуют на меня, как ласка на встревожившуюся лошадь.
А Петербург? Сделай непременно, чтобы у тебя было что-нибудь новое и хорошее, такое, как у меня теперь. Что тебя может сейчас задерживать? Адриан с бабушкой. Ну вези же скорее привет Екат/ерине/ Николаевне, и девочкам мой горячий привет. Зачем же я тебе эти пустяки пишу – о том, как водил /батарею?/. Должно быть, для того, чтобы написать что-нибудь военное, потому что военного ничего еще мне не пришлось делать, а только участвую в этой жизни. А живописного здесь столько, что почти не хватает внимания. Например, утром встал до рассвета (при рассвете пишу, над горой не потухшая еще звезда, внизу шумит ручей). Да, например: сарай – шалаш, в нем лошадь серая и хорошая рыжая, силуэтом на просвете стены. А со мной сейчас бегает и царапает меня лапами по полушубку черно-белый щенок.
Ты, Ниночка милая моя, получила уж известие, что поехал в Москву в отпуск Ал/ександр/ Ив/анович/ Алтухов; угол Смоленского рынка и Арбата, дом Патрикеевой, кондитерский магазин?

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
Начало декабря

Милый, милый мой! Получила твои письма от Алтухова. Ты напрасно боишься затруднять цензуру – ни на одном твоем письме не было штемпеля цензора. Верно, они и не читают. Да черт с ней, не все ли равно, если и читают? И ей лучше читать твои письма, а не какие-нибудь иные.

Мы бедного Алтухова всё перебивали – только что Ольга Владимировна спросит о Владимире Андреевиче, а я сейчас же об Иване Семеновиче. Мы сидели четверо – это я пригласила Алтухова к Ольге Владимировне, а я узнала, что он приехал, – от Лели, так как я уже была в Москве по случаю Летучей Мыши. За самоваром сидела Ольга Владимировна, против нее Александр Иванович (Алтухов), Лёля и я тоже vis-à-vis. Он сказал между прочим: «Как же не быть измене в Армии, когда все начальники какие-то фон Дервизы». Мы очень смеялись, и Ольга Владимировна говорит: «Вы потише с фон Дервизами, вот фон Дервиз[1] сидит».

У него славная морда, у Алтухова. Впрочем, если бы он был даже какой-нибудь безносый, мне показался бы славным. Мне все военные теперь кажутся не то что даже «душками», а прямо какими-то художественными произведениями. Я обижаюсь, что они тебя называют «дедушка», хотя это и мило. Ну, мне-то ты не дедушка, потому что я давно сказала, что гожусь тебе в бабушки[2]. Милый мой! Ты в январе вернешься? Господи, какое будет счастье. Я всегда плачу от радости, когда представляю, как ты вернешься. Раз на Неглинной горе мне показалось, что ты едешь на извозчике. Меня так и толкнуло к этим саням, и я тогда почувствовала, что значит, что ты вернешься.

Я сейчас вернулась с выставки гравюр Остроумовой-Лебедевой. Хорошо. Много и здорово. Устроено благородно в зале Румянцевского музея, где картина Иванова[3]. Выходя, встретилась с Романовым[4]. Поговорили о том, что он еще не заплатил мне, а потом он рассказал, что купил силуэт Кругликовой. Тут я выпалила ему все про свои силуэты, и что Кругликову я вдохновила, и про Балиева. Он заинтересовался посмотреть (действительно заинтересовался, не для виду, я ведь видела) и попросил у меня билет (даже 2, для своей жены) в Летучую Мышь. Право, твой дух переселился в меня. Впрочем, это не переселение, ведь Предприимчивость и Удача не покинули и тебя, а это они как-то одной ногой тут, другой там. Да, еще Романов спросил, нет ли у меня силуэтов для Румянцевского музея!!! Самое главное я и забыла. Надо поискать,

подумать или сделать. Впрочем, вместо того, чтобы думать, гораздо проще спросить по телефону Эттингера. Он, должно быть, колдун, правда? «Монмартр», им рекомендованный для... (забыла фамилию, родственники Цетлин), им нравится, только они хотят, чтобы я подписала ее, и тогда только заплатят. А я этого-то и не умею. Но Эттингер велит мне пойти и подписать. Но как? Что писать? Буквы, фамилию, или две фамилии? Я не умею подписываться и никогда не подписываюсь. Я сказала Эттингеру – 400 р., а он им сказал – 500.

Моя старушка в зеленой комнате и акварель висят в самом центре его картинной стены.

Теперь я все думаю, какую декорацию мне изобразить вокруг экрана к моим теням, на который натянется коленкор. Живопись, значит, кругом экрана (рефлектор страшной силы, так что коленкор не хуже кальки будет). Я все, и бежа по улицам, и стоя в трамвае, и в комнатах – закрываю глаза и повторяю: экран для силуэтов – и стараюсь вообразить, что больше всего подходит для этого сюжета. Мелькали передо мной и греческие девушки, обводящие углем тень жениха, и тени деревьев на стене белого дома, и тени колонн с фигурами, прислонившимися с двух сторон, и амуры, держащие экран, и... Не знаю. А надо скорее теперь делать. Я хочу сама написать, а то там его декораторши (строгановки) такую слюну разводят, что не дай-то Бог. Только вот сюжет? Надо, чтобы это вводило зрителей в мир теней. Но не черным писать, а голубым.

У меня действуют около 50 фигур. Я не писала тебе сюжет? Все время забываю, что писала тебе и что нет.

Это куплеты о парижской жизни, с повторяющимся рефреном: «Катясь, не торопясь, вдоль по бульвару». Петь будет сам Балиев. Там едет извозчик, наезжает на поливальщика улицы, полицейский пишет протокол, все движение закупоривается. Накапливаются: баба с молоком (я сделала, конечно, осла и в одноколке баба с зонтиком), потом фургон, потом омнибус, потом пышная карета с парой бритых лошадей и парой цилиндров на козлах, за ними воз, с собачкой на возу, полк солдат с офицером на коне, и разные прохожие, эльзаска с детьми (взяла из твоих), баба с булками и пр. и пр. ...

Все это останавливается, а потом опять трогается, когда полицейский уходит. Еще мальчик с лотком цветов (для красоты) и старуха с корзиной апельсинов, которые светятся в тумане как костер. Я их делаю большими, однако с конца зала не видно носов. Но все же очень красиво.

А у меня в Летучей Мыши завелся один враг, впрочем, он, очевидно, враг всего рода человеческого, и мне говорит одни ужасы. (Всем, не одной мне.) Он механик, я от него завишу вся вполне, и Балиев велел мне у него

советоваться, а ему велел мне помогать, но он наводит на меня хандру. Безвкусие и упрямство прямо у него ослиное. Но я спорю с ним, и он меня ругает. Не знаю, что получится. Надеюсь, что я выцежу от него все нужное. От него все зависят. Вчера я обедала рядом с ним и все старалась задобрить его и так, и этак, а он: «У нас были силуэты чистой работы, крепкие, из дерева; колеса все вертелись, ноги, руки двигались, и то публика скучала. Силуэты ведь это синематограф, и те же темы. Ну, и не интересно. Если еще при этом интересное пение – да нет, и то скучно. И у нас на приготовление дается полминуты. А вы, если будете свои фигуры раскладывать да устраивать – пройдет 7 минут – весь спектакль провалите. (Для того ведь, дурак этакий, я и хочу, чтобы он мне помог устроить.) А если бы ты видел их старые силуэты – это ужас, это ужас, какого свет не производил. И надо же в таком веселом учреждении. Придет он к декораторшам – ругает за декорации: «Разве такие декорации писали раньше? Это что? Это пьяный мужик лаптями наследил». Он из простых, в старом пиджачке, высокий, белокурый, худой, довольно старый. В душе я на него нисколько не сержусь, но боюсь, как бы он не подвел меня. Хотя Балиев меня успокоил тем, что сказал: «Ведь будут репетиции, и я не выпущу же не готовый номер». Так что он обязан мне помочь.

За обедом там весело, но никогда нельзя в их болтовне отличить шутки от правды. Балиев называет меня – «наша дорогая художница».

Там такой дешевый буфет, что стыдно есть. Балиев уплетает за обе щеки и ужасно чавкает. Острит он всегда, и за обедом, и все вообще артисты за едой точно играют, тонко и хорошо, легко и без натяжки – играют веселую компанию. Мне с ними совсем легко почему-то.

Нина

[1] *...фон Дервиз сидит.* – Елена Владимировна (фон) Дервиз (Леля).

[2] *...гожусь тебе в бабушки.* – Н. Я. была на один год старше Ефимова и, когда он предложил ей выйти за него замуж, она ответила именно этой фразой.

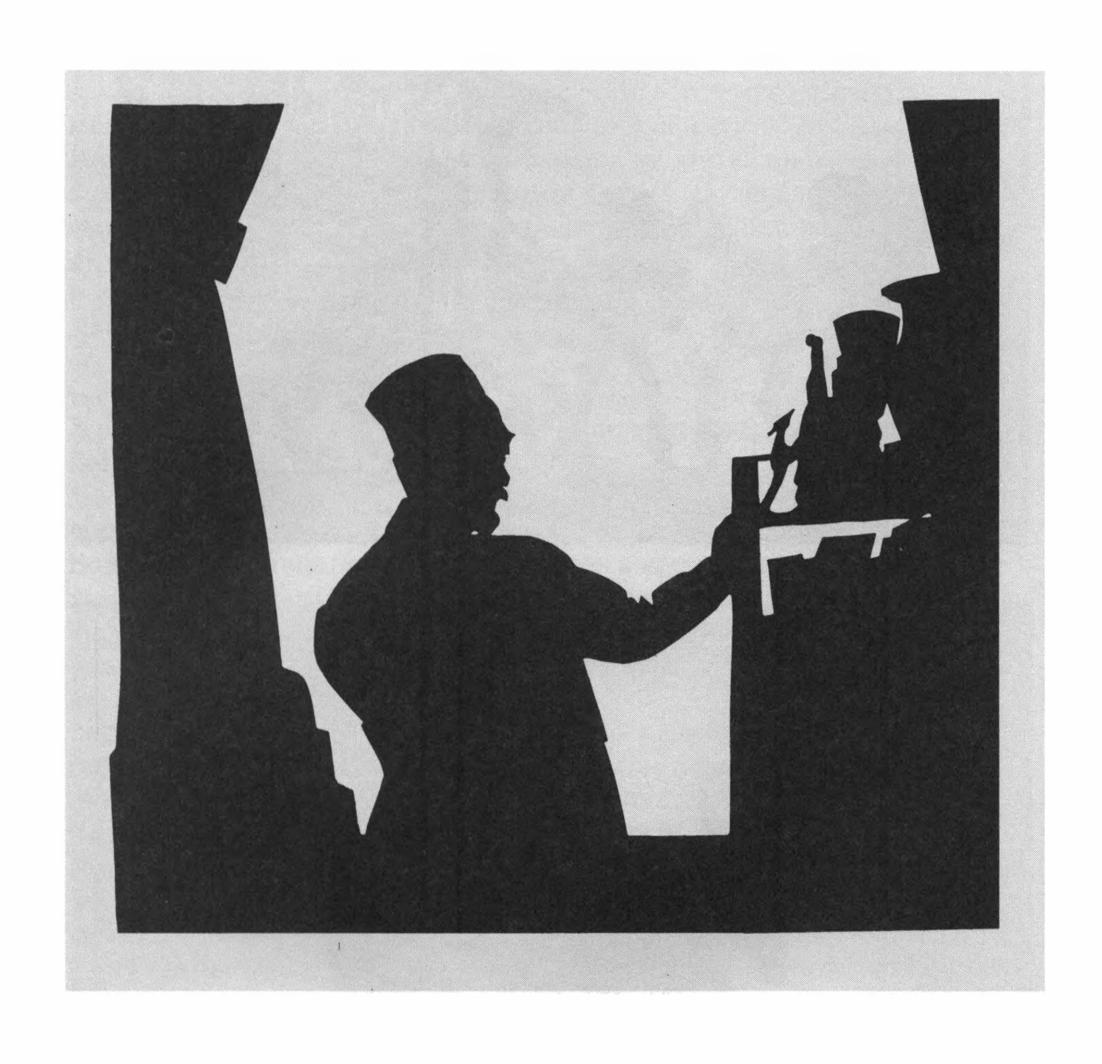
[3] Имеется в виду картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» (ныне в ГТГ).

[4] *Романов* Николай Ильич (1867–1948) – художник и искусствовед, хранитель отдела изящных искусств Румянцевского музея.

Е. № 34

И. С. к Адриану и Н. Я. *в Домотканово*
Декабрь 1916

Вот, Адриан, когда, Бог даст, к Вам приеду на побывку, мы с тобой так постреляем, ты согласишься? Я писал тебе или нет, что сам



Н.Я. Симонович-Ефимова. Портрет П.Д. Эттингера. 1923



Н.Я. Симонович-Ефимова. Силуэты к постановке «Приключение на улице Парижа». 1916

из мортиры стрелял? Ну, ты поменьше ростом, тебе надо из револьвера. Еще стреляли в компании, и еще 2-м выстрелом бутылку раздребезжил. Если к тебе будут приставать с моей воинской повинностью, то скажи, что я на фронте, и дай адрес, чтобы справились в нашей батарее. Здесь изобилие всего того, чего у нас не хватало; валяется проволока толстая отличная, которой связано прессованное сено. Потом смотрю сегодня – денщик чистит ящик от провизии и чуть не выбросил в снег фунта чуть ли не два пиленого грязного сахару; я, конечно, отобрал и отдал Шомполу, жеребёнку, и влад/имир-/ андр/еичевой/ кобыле. Он копал ногой землю и ржал, просил.

После вчерашней хорошей погоды, про которую нельзя было сказать, что это за время года, сегодня просыпаемся – глубоко! Больше четверти снег и на всем рыхлый снег. Бродил, осмотрел старую церковку деревянную с малярной, но милой живописью, головастые святые. Бивуак весь занесен снегом точно в 12-м году.

Мы никто дней 18 не получаем писем, а может, ты какие-нибудь вопросы мне пишешь? А мы, пожалуй, больше недели будем еще идти. Во время днёвки мы поехали версты за три в местечко с милым химиком-офицером Продан. Купили там яблок, два живых карпа. Упрятали все это в кобуры на седле, и приятно было ехать назад (параллельно реке), в ушах свистел встречный ветер, который еще усиливался от быстрого бега крепкой лошадки.

Ветер этот нёс по полю через дорогу два перекати-поля, которые весело катились. Только жалко, мы быстро ехали, и не успел последить за ними взглядом. Должно быть, еще встретимся.

Умывались мы с Н. Б. в роднике, в крутом берегу реки. Сегодня у нас зарезали огромного быка, и я наконец добрался-таки сделать себе хлыст. Препарировал его, повесил его с 2-мя пудами – пока стоянка, может, высохнет.

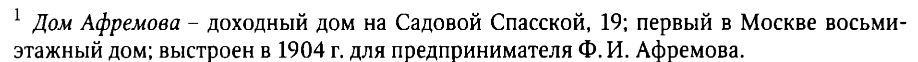
Сижу над берегом и попробую из своего нагана пострелять в бутылку, благо у неё уже бок и без того пробит. Поставил её на перила мостика, и от второго выстрела она превратилась вдребезги. Это ведь довольно хороший длинный казенный револьвер (стёкол на дороге не осталось, не беспокойся, я поставил над канавой).

Что-то мне начинает довольно остро хотеться от Вас письма. Узнать, как Вы там. Да, что же ты в Питер-то не уехала? Поезжай.

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
5 декабря 1916

Милый мой, радость моя, жизнь моя, люблю тебя. Я сейчас прочла твои письма, которые съездили в Домотканово, мне их прислали в Москву. Мне так весело было читать, как ты танцевал, и я так рада, что ты всем нравишься и какие-то дамы у вас бывают. Совершенно искренно говорю тебе и огорчаюсь только, что ты, может быть, мне не веришь? Прямо у меня глаза весело заблестели (я почувствовала) и так смешно стало – когда читала, как ты по-французски с ними любезничаешь. Ведь и мне тут весело (по-своему) и мне было бы тяжело знать, что ты превратился в аскета. Все это я глупо написала, просто я страшно рада за тебя и люблю тебя очень. У тебя так легко, весело и мило написано, а я какие-то точки над «и» поставила.

Недавно ночью я возвращалась от Шапшалов (там были и Нивинские, мы шли по Садовой вместе до Сухаревки, а после я одна), и какой-то господин, которого я обгоняла, интеллигентным и смелым голосом спросил меня: можно вас проводить? Я не отвечала, конечно, и он с таким ожесточением несколько раз подряд повторил: «Да или нет? Скажите же! Нет или да?» Его властный голос напомнил, мне тебя, и я почувствовала, что не так уж невозможно сказать – да, но побежала к своим воротам (конечно!? у самого дома Афремова[1] это было) и благополучно пришла домой. Я некстати это вспомнила – точно это и было мое веселье. Но мне весело было болтать с Алтуховым, весело болтать с Нивинским, в Летучей Мыши с какими-то актерами. А вчера я вдруг неожиданно сочинила сюжет к занавесу. Тени от вереницы веселой компании, будто проходящей тут где-то. Сейчас же помчалась вне себя от веселья к Чеховым, там поставили все вверх дном – очистили большую стену в гостиной – Аня, Митя, Мила[2] позировали для теней (лампу поставили на пол сбоку). Сюжет чудный. Нарисую тебе. И вводит в мир теней. Т. е. должен вводить, а введет ли – не знаю. Завтра мне дадут рабочего, авось в 2 дня прикончу. Плохо, что я соскучилась по Адриаше, а он по мне – надо спешить, спешить – вообще совершенно не знаю, как все я распределю. Надо теперь в Домотканово, побуду с Адрианом; потом хочу на праздник на три дня – в Отрадное; потом, первого января надо показывать в Летучей мыши (или отложить?), и ты приедешь. О приезде лучше телеграфируй в Домотканово прямо.



[1] *Дом Афремова* – доходный дом на Садовой Спасской, 19; первый в Москве восьмиэтажный дом; выстроен в 1904 г. для предпринимателя Ф. И. Афремова.

[2] *Мила* – Людмила Николаевна Чехова, сестра Ани.

---------------------------- *Е. № 36* ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Твери*
10 декабря 1916

Пишу от Наташи, приехала мерить платье. Она говорит, что на Рождество, кажется, не будет поездов на Николаевской ж. д. Прекратится пассажирское движение. Вдруг ты застрянешь в Москве, а я буду в Домотканове. Да, если даже я буду в Москве – то Адриан будет в Домотканове. Не попросить ли тебе у командира какой-нибудь бумаги, чтобы тебя пропустили. Например, командировку в Петроград или Тверь. Куда-нибудь тебя посадят со служащими.

И еще вот что: ведь тебе в форме нельзя будет ходить в театры без разрешения. Попроси у командира разрешение и на театры. А то вдруг тебе нельзя будет в Летучую Мышь. Конечно, можно будет переодеться, но неприятно тебе будет надевать все это старье. Подумай об этом там со своими товарищами.

[...]

В Москве какого-то солдата, знакомого Рерберга, посадили на 30 дней в темный карцер на хлеб и на воду за то, что без разрешения играл в оркестре в театре.

Я в день отъезда из Москвы после Алтухова попала к Нивинскому, а оттуда к 11 вечера на вокзал. У Нивинского было наше уплотнившееся ядро Товарищества – Шапшалы, Нивинские и Эттингер. Он сказал, что дама, купившая картину, не заплатит, пока я не подпишусь. (Смеялся, конечно.)

Сострил насчет румын, что они потому на ночь убегают с фронта, что вот именно они должны ведь с семи часов играть в оркестрах.

Был прелестный ужин из нежнейших сандвичей и чай с кондитерскими конфетами и фисташками.

Нивинский показал мне интересную книгу с силуэтами, и Эттингер переводил нам английский текст. Нивинский называл его «*Papa* Эттингер». Это вроде как в Фамире Кифареде[1] «*papa* Силэн».

Да, Нивинский сделал две отличные картины. Спокойно, прямо классические тела. Веришь, что одной там женщине можно подать руку. Существует сама по себе. Это большая картина. А одна маленькая пре-

лестная: на берегу моря женщина – веет морем и поза чудная. Даже не верится, что можно сделать такие успехи, как сделал Нивинский.

Как противно, если не будет движения по Николаевской ж. д. Тогда как же я попаду из Отрадного? Адриан очень обрадовался моему приезду, меня больше двух недель не было. Он ходит в школу с удовольствием. Не помню, писала ли я тебе, что рисую с калачевскими один раз в неделю. Вчера у нас был урок два часа подряд, они просили. Рисуют с замечательным вдохновением, как могут рисовать одни гении.

Мы [рисуем] прямо с натуры, и я ношу цветные карандаши. Хорошо рисуют. Класс набит битком; я ставлю 3, 4 модели. Рисуют на полу, на табуретках. Адриан рисует по сравнению с некоторыми очень неважно. Слава Богу!

Пора мне на поезд.

До свидания. Надеюсь еще написать через Алтухова.

Целую тебя крепко.

Нина

[1] *Фамира Кифаред* – драма Иннокентия Анненского, поставленная А. Я. Таировым в Камерном театре в 1916 г.

----------------------------- *Е. № 37* -----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
16 декабря 1916

К моему предприятию в Летучей Мыши примешались еще и малолетние преступники[1], в том смысле, что пилят мне из фанеры все мои тени, которые таким образом из бесплотных почти теней делаются солидными, из тройной тонкой фанеры. В Москве этот дьявол механик, которому Балиев велел мне все помогать – делал мне одни препятствия и ворчал на меня и водил за нос, мне наконец надоело, я забрала все и уехала в Домотканово в надежде взять из Захеева какого-нибудь таланта. Но они купили дешево лес и теперь все пилят, как бешеные, и я совсем нос повесила, как вдруг мама посоветовала съездить в Бавыкино. Поехали и нашли там такого чудесного человека, преподавателя, что и на заказ не сочинишь. Я захватила половину всего своего теневого состава, чтобы не испугать, но они выпилили все в 2 дня – прямо миг. Он сочинил чудные шарниры для солдатских ног и рук, увлекся сам, присоветовал какие-то усовершенствования, устроил дивные подставки со щелями для неподвижного пребывания на сцене[2] и просил привезти побольше, сколько угодно. Ну, я вчера и привезла же! Возы,

омнибусы, фургоны, кареты... Но не испугался, и денег брать не хочет, – говорит: «У нас такая однообразная жизнь, что это приятное развлечение» и расспрашивает о тенях, хочет сделать, верно, и сам для детей. Показывал свои с ними работы – очень хорошие, хотя он даже не умеет рисовать, но, видно, страшно любит всё, относящееся к искусству.

Я, конечно, подарила ему 2 тетради вырезанья (солдатики)[3] и обещала показать тени в колонии. Может быть, это Бог вспомнил, что я там учила рисовать?

Сейчас в Домотканове дивно красиво. Свежий, недавно нападавший снег – на деревьях, кустах – масса, масса снегу, какая-то белая колыбель.

Адриан один протаптывает ежедневно свою тропинку в школу, но ее часто заносит.

Мы сейчас вдруг с Лёлей (она приехала уже на праздники) увлеклись Петрушками. Я сочинила в стихах какую-то (кажется, недурную) чепуху, подновили и подклеили Петрушек[4] и собираемся на Рождество представлять в школе, дети просят что-нибудь устроить. Еще хотим вырезать тени, думаем, для торжественности, так как не будет елки[5] – вырезать Рождество Христово! Мысль пришла Лёле, а я буду исполнять. Пещера, ослы, волы, потом идут Мария и Иосиф, потом верблюды, пастух, овцы. И звезда.

Меня соблазняет, конечно, не ездить в Отрадное – но нет – поеду, это страшно полезно. Впрочем, может быть, и бесполезно окажется, в смысле продажи, если никто не приедет покупать, но все же полезно. И успею к 27, я думаю, вернуться, и Новый Год встречу в Домотканове, а третьего опять уеду в Москву, напишу занавес, и восьмого спектакль. Интересно, когда ты приедешь – где я буду? Скорее всего, судьба сведет нас в Москве.

Привози валенки, привози сапоги (и старые, а если есть какие чужие, не годные там – тоже привози – тут и за 70 р. уже не купишь сапог).

Привези Адриану какой-нибудь «сувенир» – он страшно мечтал о револьвере, сабле и т.п., и когда ты написал, что привезешь кинжал, он был ужасно доволен.

Я получила недавно три твоих письма почтой из Румынии, написаны позже отъезда Алтухова, в конце ноября.

Мне привези Шомполовых волос от челки или гривы. Как же он без тебя останется?

Или его тоже будет утешать в его одиночестве какая-нибудь, хотя бы настоящая летучая мышь. Помнишь, летом я нашла хорошенькую, висящую вверх ногами летучую мышку в амбаре? Но та улетела, когда я позвала тебя и Адриана. Как бы и эта не упорхнула в самую интересную минуту.

Я все время чувствую себя, во всех удачах, каким-то безбилетным пассажиром – каждую минуту ожидаю, что вот-вот удача кончится, и меня выведут вон.

Но это, конечно, не важно. До свиданья, милый мой, иду спать. Завтра едут на Чуприяновку, отошлю письмо на имя Алтухова, еще, я думаю, поспеет до его отъезда.

До свиданья. После уже буду писать почтой, может быть, из Отрадного напишу, но короткое, а то уже, может быть, ты не успеешь получить, уже будешь сюда ехать. У меня насморк давно – надеюсь, до твоего приезда пройдет. До свидания. Нина

[1] *Малолетние преступники* – колония для малолетних преступников, располагавшаяся в селе Бавыкине, недалеко от Домотканова.

[2] *Иван Васильевич обладал техническим образованием и был энтузиастом детей. Ему захотелось устроить теневой театр и для своих «преступников», поэтому он принялся за дело с увлечением. Им было сделано несколько проектов станка в чертежах; мы обсуждали их, упрощали, пробовали и в конце концов пришли к хорошим результатам. Станок был нами решен и исполнен воспитанниками* [Н. С. 1980. Глава VI]. В 1935 г. Н. Я. получила в «Бюро новизны» Комитета по изобретательству при Совете Труда и Обороны СССР авторское свидетельство на изобретение № 42453 на «разборный рельсовый станок для теневого театра», в котором дано описание станка и способ работы с ним в театре.

[3] Имеются в виду изданные Ефимовыми комплекты под общим названием «1914 год» из 8 листов для вырезания из бумаги и раскрашивания. Изд. авторов. М., 1914.

[4] *...подклеили Петрушек...* – *...В 1891 году моя самая старшая сестра, Маша, скульптор, купила в Париже, в Bon Marché* [крупный популярный магазин], *комплект [...] из пяти кукол, и прислала их в Россию для забавы племянниц, головки кукол были деревянные, но очень легкие. Размер – 5 сантиметров...* [Н. С. 1947] ... *(Арлекин, Негр, Доктор, Судья и Старуха) Они были банальной работы, банально одетые. Давно, в детстве, приезжая из Петербурга, из гимназии на каникулы домой, в Домотканово, Тверского уезда, приходилось занимать деревенских детей на елке, в сельской школе. [...] Готовилась заранее, учила наизусть, репетировала. Брала в издании Сытина текст какого-нибудь «Русского лубочного Петрушки», которых в то время было несколько в продаже, а потом, по просьбе деревенской публики, еще импровизировала (по-детски) на тему докторов и болезней...* [Н. С. 1980. С. 61]. Этими же куклами Н. Я. действовала на представлении в МТХ, положившем начало серьезному увлечению кукольным театром.

[5] Елка все-таки была, а тени, из-за отъезда Н. Я. в Отрадное, делала М. В. (*см. ниже Ф. № 110–111*).

Е. № 38

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
3–5 декабря 1916

Да, вот еще что, напиши, какое у тебя в Тифлисе знакомство. Командир знает Худадовых[1], доктора Бабаян (ведь это отец)[2], и верно, когда

вы, Бог даст, встретитесь, то много о Тифлисе поговорите. Сижу слушаю музыку войны, раскатывающуюся по горам... Это, как ты можешь верно заметить, фраза не из письма к тебе, а к Павлинову.
На вершину, на которую я взобрался и сижу, взбирается и лесной пожар; это, впрочем, не совсем точное впечатление – просто внизу лес загорелся. А главная прелесть военной жизни – это, верно, та, что она стройна, и чувствуешь себя частью огромной силы, а не тыкаешься беспомощно по жизни в одиночку.
С нами вместе на наблюдательном пункте капитан, командир тяжелой дальнобойной батареи. Рядом там две трубы, и я было на него посердился, когда он занял нашу трубу, в которую я собрался чертить панораму. Но потом оказалось очень интересно стоять рядом с ним и наблюдать за его стрельбой в его трубу; сам он типа Волнухина, очень спокойный, презирает теорию и стреляет по чутью и вдохновению – он азартный игрок и уверяет, что чувствует, как в нем что-то щелкнет – и явится ясность плана и уверенность; очень ему верю, тем более, что сам употребляю это самое слово – щелкнет, когда рождается идея работы.
Отверстие в бумаге, рядом приписано:
Эту дырочку пробила кондукторша на память.
Ну, так вот они заметили, как удивительно много времени надо снаряду, чтобы пройти этот путь верст 10, и слышишь, как он всверливается в густой воздух (как ты говорила об аэроплане), чувствуешь за него, какую работу он совершает, неся свои 2½ пуда. Командир в трубу, когда только еще появлялось кольцо, по положению кольца, пока еще ни звук, ни снаряд еще не пролетел, с прелестным хохлатским своим спокойствием говорил: «Теперь взял левее, на нас». Но риск, положим, был самый маленький, потому что в гребень почти невозможно попасть, и все снаряды летели за нами в пропасть. Вообще, надо помнить, что из всех выпускаемых выстрелов, и немецких, и наших, хорошо, если 2% не пропадают совсем даром.
[...] Да, когда он пристреливался к батарее, я увидел, как поднялись сразу 4 отдельных тугих белых облачка, и уверял его, что это попадание в зарядный ящик, и взорвались снаряды, иначе не могли произойти дымки. Он согласился, в донесении написал: «В 16 часов батарея приведена к молчанию и т. д.».

[1] *Худадовы* – Анна Владимировна Домбровская-Худадова – одна из девушек, помогавших А. С. Симонович в школе, открытой ею в 1870-х годах в Тифлисе, где грузинские, армянские и русские дети воспитывались на новых гуманистических принципах. А. В. (как и другие помощницы) получила в школе хороший педагогический опыт и посвяти-

ла свою жизнь воспитанию детей. В 1896–1898 годах, после окончания гимназии, Н.Я. два года работала как учительница *по всем предметам в младших классах одного пансиона в Тифлисе,* именно потому, что в этом городе были педагоги, продолжающие дело ее родителей и с благодарностью помнящие их. На скопленные *большой работой и суровой жизнью* деньги она поехала тогда учиться в Париж (по Н.С. 1982. С. 32).

[2] *Доктор Бабаян* – вероятно, отец художницы Амо Бабаян, соученицы Н.Я. в художественной студии в Париже в 1899–1900 годах.

Е. № *39*

И.С. к Н.Я. *в Домотканово*
5 декабря 1916

Ниночка моя, не знаю еще когда, но ведь приближается понемногу мой отпуск, так можно мы с тобой об нем поговорим? Может быть, в январе, а может, и позднее, может быть, и раньше. [...] Узнавши, я, уезжая отсюда, телеграфирую на Чуприяновку – «Еду». Но ведь ехать теперь предолго, дней, может, 10, когда в пути выяснится день приезда, тогда я телеграфирую на Лялину квартиру: Остоженка, 1й Ильинский пер., д. Мельницкого и, если придется на Рождество попасть, скажи, что я прошу у Валерьяна Дмитриевича разрешения поселиться нам у них в квартире. [...]
Милая. Так вот из Ильинского переулка пойдем, Бог даст, к Щукину, в Собор, куда заходили перед отъездом, в «Мышь», к тебе. Конечно, и в Домотканове хорошо. Адриан там останется? К нему поедем. Сижу на ручье, иногда он слышнее кажется, чем выстрелы, иногда выстрелы его заглушают. Вчера сильная была стрельба, и ночью толпа пленных. Смотрю, как купаются и ласкают друг друга утки и гуси, и читаю Артилл/ерийские/ книги. Панорамы мои теперь «ничего себе», как ты, милая моя, говоришь, особенно когда скалькировал для дивизиона; а вчера из другой артиллерийской части скопировали, для своего штаба, и потом попросили меня на их кальке нарисовать на горах медведя, лося, кабана, орла и хотели еще зайца, но я сказал, что лучше меньше. А правда, тут, говорят, есть и медведи, и лоси, и кабаны.

Адриану.
Офицеры расфантазировались, и по их просьбе я нарисовал Медведя, который смотрит в нашу артиллерийскую трубу Цейса с двумя рожками, непременно требовали около него телефонный ящик на земле, в лапе трубка телефона, а на другом конце бумаги убегающий, потеряв фуражку, телефонист с катушкой, и соединены они путаницей провода. Все это отправлено было в штаб с объяснительной запиской, что вот, мол, в каких условиях приходится воевать, и пришлите спирту поэтому. Что в тот же черед и было исполнено.

Ниночка моя милая.

Все дни, которые я просидел на высоте, была чудесная погода, а теперь туман. Хотя Бог его знает, может, наверху и теперь солнышко проглядывает. Целую пока издали, но крепко. Не жди или жди, но только настолько, чтобы это тебе давало радость, а не тревогу.

Жди вне времени.

Иван

---------------------------------- *Е. № 40* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Начало декабря 1916

Милая моя. Мне хочется, чтобы эти два слова так же хорошо зазвучали у меня, как когда ты мне их пишешь, и так же насыщены были содержанием. Я твоё это обращение могу не раз перечитывать. И проникаться им. И почему-то не решался подражать тебе, а лучше этих слов не выдумаешь.

Милая моя, поцелуй меня. Здравствуй.

Вчера, когда мы меняли позицию (продвигаясь вперед), ехал я на одном из зарядных ящиков. Это титанический какой-то был способ передвижения, дорога (отсутствующая) через горные каменистые ручьи, канавы, каменные пустыни какие-то (пустыня – преувеличено), то вдруг по бархатному мшистому болотистому лужку, в который глубоко вдавливаются тяжёлые колёса. Ящик состоит из двух ведь отдельных колёсных ящиков, свободно соединённых стрелой, которая иногда, когда задний опрокинется ящик, ломается перекрутившись. Но крепость колёс изумительна и вызывает уважение. Запряжён ящик шестью лошадьми. Передний с дышлом, которое при крутых спусках, кажется, воткнётся в землю. Но всё это необыкновенно устойчиво. Метались эти ящики, как обезумевшие титаны. И начинён этот экипаж 34-мя снарядами, которые все вместе, верно, взорвавшись, способны стереть славную Горку. Вся процессия этих ящиков двигалась в неизвестность в залитых туманом сумерках. Кстати, в том же тоне: денщик стал разжигать в землянке очаг. Командир стал кричать на него, зачем изводит керосин, поливая лучины: «40 раз тебе говорил – пойди на батарею, возьми пороха».

Иногда из заряда вынимают зашитые в мешочке ленты бездымного пороха. Надо будет Адриану привезти. У него, у пороха, такой ха-

рактер, что если он не в неволе, которую не выносит и взрывается, а на воздухе – спокойно, весело и охотно – мирно горит.
Идем по снежной равнине, сверкающей снегом (писал это на ходу, переписал). Кругом горы. Говорили о цыганах, потом о свадебных обычаях. Командир рассказал, что в Албании зрелость девушки испытывают, посадив ее на неседланную лошадь. Вот бы тебя испытать так. Жаль, не знал до свадьбы. Ну, приеду – испытаю, а я, кстати, о тебе (мы шли пешком в этот момент, я никогда не отдаю лошади вестовому, как это принято, она идет всегда за мной в поводу, и командир смеётся: «За что Вы его так любите?» – «За то, что крепкий, В. В.». И когда он (мерин) шутя и охотно взял подо мною канаву, командир: «А правда, он к Вам подходит»).
Командир напоминает мне Серова своим ростом и чёткостью, и тем, что я его люблю.
Да, так я кстати рассказал о тебе, о центре твоей души – лошади – о том, что хотела в цирк от шестидесятнической среды, хотела выйти замуж за содержателя ломовых лошадей.
Прости, но мне хочется, чтобы он тебя представлял себе, да это тут и водится – всяческое сближение; артиллеристы должны быть дружной семьёй. Хорошо было тянуться среди снега и говорить с Вл. Андр. о Холлоши[1], его учителе, а сегодня идти утром в баню по снежку и чувствовать, что здесь понимают французский язык. И отличнейшая баня – шпарилка какая-то, вроде самовара, паровая и сильный дождь.
Вот приеду, Бог даст, будем с тобой, любимая ты моя, каждые три дня в баню ходить.
И знаешь, что мне представляется? Очень может быть, что так как я полезен языком в дороге, то возможно, что удастся поехать со старшим офицером, который поедет на Рождество. Только вот народу будет много.
Ну, да «словчимся», как здесь говорят на батарейном жаргоне. А ты где Рождество будешь, в Домотканове? И тебя тогда уведомить? Да? Только ты не вскипячивай себя. Ведь это не наверно, хотя ведь и Вл. Андр. тоже через 3 месяца[2] был в отпуску.

[1] *Холлоши* Шимон (1857–1918) – венгерский художник, руководитель частной мюнхенской художественной студии («академии»), где в 1906–1908 гг. учились В. А. Фаворский, К. Н. Истомин, Н. Б. Розенфельд. Из воспоминаний В. А. о Холлоши: *Главным моментом, на котором останавливали наше внимание, была цельность. Цельное видение натуры; иногда он отвлекал нас в сторону анализа фигуры, анатомического анализа, но цельность доминировала при этом в рисунке, в наброске, в портрете, а также в живописи, все время обращалось внимание на пространственную выразительность, а в цве-*

те – на простые отношения и на крепость цвета, он часто подносил к твоему этюду свой загорелый кулак [В. Ф. Лит. С. 485].

[2] *Через 3 месяца* – после прибытия на передовую.

---------------------------------- *E. № 41* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. в *Домотканово*
8 декабря 1916

Ниночка, милая ты моя! Командир сказал Влад. Андр., что я поеду в отпуск вместе с ним, с командиром, а он решил ехать 5-го января. Я очень, очень рад ехать вместе с ним, потому что его люблю. Он едет в Москву и говорит, что хорошо, что и я знаю Москву. Я рад, что его увидишь и, может быть, его удастся познакомить с нашими вещами. [...]

Я уверен, что мой дух уже в тебе взыграл, и ты в Москве у Балиева. А помощникам своим давай хорошо на чай – вот и будут охотно помогать. Если у тебя не готово и недостаточно совершенно, скажи Балиеву, чтобы он тебя не торопил. Ведь ты, верно, работаешь без гонорара – старайся за это сохранить свою независимость и береги ее ревниво, а то он мужчина наседательный. А чтобы мой дух в тебе проснулся, – я его знаю, – достаточно раз пойти в «Летучую мышь» или ко всенощной – в Собор. Allons courage! Au travaille![1] и я сейчас пойду наслаждаться уроком умного офицера: вчера он попросился со мной гулять, потому что я один только хожу к ручейку, а все сидят в безвоздушной и почти абсолютно темной землянке при солнце с коптящей лампишкой. Сегодня я им вставлю стекла. Но стекла здесь выдавливаются нашими выстрелами, а я вчера видел в резерве, который стоит в разрушенном заводе по обработке дерева, и я туда часто трушу верхом, – там остались от производства сотни огромных круг-лых стеклянных зеленых, белых и бурых бутылей, которые солдаты догадались вставить целиком вместо окон в землю землянок. Привезу такую верхом.

Вчера много говорили с умным офицером на прогулке, он оказался студентом /Института/ Путей Сообщения и воронежцем и патриотом Воронежской губернии. Я показал ему «Близнецов», тех, которые вернулись из столицы невредимые, но грязные. Ему, конечно, очень понравилось. Если бы ты поехала в Отрадное – сотвори труд, привези хорошо упакованного моего отрицательного мальчика[2], только не спутай формы – голова его, кажется, в нижнем ящике комода, который у двери, кажется в этом, а не под образами. Только мы, уезжая не приказали, кажется, настрого, чтобы не выбросили форму?

Ну, кормилица знает. Ник. Ив. Васильев говорит, что у него есть интелл/игентный/, идеально честный человек для нас, он ему напишет, т. е. я ему уже написал сейчас.

[1] Смелее вперед! За работу! (*франц.*).

[2] *...отрицательного мальчика...* – Имеется в виду состоящая из нескольких частей гипсовая (обратная) форма для отливки скульптуры («Мальчик»).

---------------------------- *Е. № 42* ----------------------------

И. С. к Н. Я. в *Домотканово*
12 декабря 1916

Сейчас, едучи в резерв проехаться, написал тебе, сидя на Шомполе над потоком, шуршащим по камешкам. Потом стал у фонтана поить лошадь и поправить прическу и уронил открытку в воду, потом высушил на ходу, положил опять в фуражку и опять выронил, кажется, в управлении дивизиона, куда ездил к нашему техническому мастеру поговорить об Московском промышленном училище, где он кончил курс. Он хвалит училище – там, начиная с VI класса, два отделения – химическое и механическое (туда входит и строительное), хорошие профессора из технического училища. Можно поступить прямо в VI класс, курс 9 лет. Вот тебе Адриана /куда/ – а то, в Училище зодчества! Что ли, оба вместе давай поступим[1]. [...]
Зашел разговор об отпуске, командир гов/орит/: «Мы праздники здесь проведем, праздник и тут хорошо, елку сделаем, огненный круг, а в кругу вино – ему (мне) будет интересно».
Утро и такая чудесная погода: на горке стоят молодые серые ольхи в бодром утреннем солнце на чистом синем небе, а под горою бежит, тихо журча, светлый ручей по дну, освещенному солнцем. Удивительный тут друг у меня и собеседник – ручей. Никак не могу понять всех наших, и Влад. Андр., к которому чувствую за это даже что-то слегка похожее на вражду – как могут сидеть они в длинной /землянке/, темной до того, что в конце ее без лампы абсолютно темно, в начале два крохотных оконца и кухонная плита. А тут солнце, на котором греешься, и рокот ручья, а некоторые уроды еще сидят у этой плиты и живут игрой в преферанс. Если бы только Аполлон мог рассмотреть их в их щели, он не пожалел бы своих стрел пустить в них. И все это только поганая привычка, что надо быть дома, и не замечают, что там дома и нет.

Я эти два состояния души и тела почти так же резко различаю, как от несчастия счастье.
Поневоле, Бог не виноват в том, что они говорят, что им надоели горы. Еще бы они захлестнули себе сами шею веревкой и стали жаловаться, что им душно. И у них стоят и портятся от бездействия верховые лошади. Ну теперь и ты скажешь наконец тьфу!
И сегодня ездили в резерв, и командир ездил. Назад мы ехали с ним, и он мне рассказывал, какую он прекрасную воспитывал лошадь и потом отправил ее перевести походом, встала гроза, град пошел, и у нее от нервного потрясения, как он говорит, пошла кровь горлом и она пала. (Я думаю, ушибло градом между ушей.)
«Я, говорит, никогда уж больше такой лошади и не заводил; еще бы, араб с шелковистой белой шерстью. Иногда, редко, когда кровь разыграется – проскачу на нем версты три».
А я от тебя редко-предредко письма получаю, Ниночка, уж не пропадают ли.
[...]

[1] И. С. шутит – если он поступит преподавать, а Адриан учиться в МУЖВЗ.

Е. № 43

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
24 декабря 1916

Ниночка моя, я несколько дней тебе не писал (нет, открыточку одну все-таки послал), у меня дня три было, что-то дух поослаб, а теперь, слава Богу, выпрямился. Отчасти от того, что дела нет определенного и я больше хожу по-домоткановски около ручья – и здесь, пожалуй, этот способ жизни и очень пригождается, потому что надо так или иначе провести время, которое все почти не заполнено. Мне и жалко тебя разубеждать, но и не могу, чтобы ты думала, как в одном письме написала, что ты думаешь обо мне как – никак даже не напишешь – как о герое. В моей жизни этого элемента нет и это было бы мне чуждо и тягостно, если бы я пожелал стараться это имя оправдать. Ведь ты же меня и без этого...
Ниночка моя, опять душа выпрямилась, слава Богу, а то дня 3 что-то было упала – может быть, от того, что раздваивает мысль об отпуске. Командир не знает, когда поедет, но я уверен, если попросить – он всегда пустит, а может быть, и сам скоро предложит.
Вот ты-то там как живешь. Почта жаль такая не постоянная. Дела ведь теперь и у всех здесь, а у нас особенно – артиллерия – нет определён-

ного, и я много времени провожу совсем по-домоткановски, в компании чистого воздуха. [...]
Я думаю, Бог даст, в январе увидимся.
Целую тебя, Адриана и всё Домотканово.
Влад. Андр. здоров и весел. Сейчас сидит распевает песенку.

И.

Вечер Сочельника
Справили праздник; стояла маленькая ёлочка, украшенная кусочками ваты и лоскутками слегка цветной бумаги.
Получилось вино виноградное, в количестве, кажется, 200 литров, для всей батареи, и отлично поужинали. Теперь поём. Едет Ник. Борисович. Бог даст, в январе и я поеду.
Сегодня падал тихий снег и хорошо было об тебе думать.
Мы отлично погуляли с Влад. Андр. по снегу, поговорили. В эту же сочельническую ночь.
До свиданья.
Целую.
Милая моя

Е. № 44

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
31 декабря 1916 – 1 января 1917

Ma chère petite et excellente Femme!
Je suis déjà en retard pour venir à la première représentation de ta pièce. Donc je te dis de tous mon cœur flamboyant: Bonne chance! Que Dieu te aide! Je ne viendrai à Moscou qu'à la fin de Janvier (style russe), ou bien le 20 Janvier, à peu prêt. Nous avons faite une belle marche, et nous voilà au repos pour deux trois semaines. Ça sera tout autre chose que de venir à Moscou avec mon capitaine bienaimé.
Et lui, qui dit qu'il veut bien me laisser aller au repos, mais qu'il sera chagriné de mon absence, car les fêtes ne seront pas gaés sans moi. Je suis bien égoïste dit il. La marche était hier ravissante comme une conte dans les pleines, couvertes de neige et du soleil, et j'étais dans ma bonne assiette, j'allais... j'ai oublié comment s'appelle en français cette chose ou on met le pied en allant à cheval, alors en russe стремя, в стремя. Avec mon capitaine je faisais de la blague, je me lavais dans tous les ruisseaux, et son grand moustache bleu-noir était plein de sourire. J'étais plus gai que jamais car à la veille j'ai fait une belle course à cheval, moi avec 4 soldats pour reconnaitre le pays, et quand je suis revenu avec un bon rapport, le capitaine m'a pris pour aller

au magasin – il voulait me faire cadeau d'une belle ceinture mais il ne savait pas ma mesure. Mais hélas les magasins étaient déjà fermés, car il faisait nuit. Il est V heures du matin et moi voici libre – et j'ai inventé faire une mise en scène d'une petite opéra comique.
C'est une chanson russe que je veux arranger un peu grivoisement. C'est bien le Vanka cluchnik… Le choeur c'est toute la batterie, les spectateurs aussi eux-mêmes. Après avoir inventé j'ai réveillé le capitaine et je lui ai fait part. Tout à l'heure je monte à cheval pour aller dans un village bien nommé pour acheter tout pour l'arbre de Noël[1].

[1] Моя дорогая восхитительная Женушка!

Я уже не успеваю приехать на первое представление твоего спектакля. Поэтому говорю тебе от всего моего пламенеющего сердца: Удачи! Помоги тебе Бог! Я приеду в Москву только в конце января (по русскому стилю) или же 20-го января, примерно. Мы сделали великолепный марш-бросок и теперь на отдыхе две-три недели. Это совсем другое, чем ехать в Москву с моим обожаемым командиром. А он хочет меня отправить на отдых, а сам говорит, что будет тосковать по мне, так как праздники без меня не будут веселы. Говорит: «Я все-таки эгоист». А бросок вчерашний был чудный. Как в сказке по покрытым снегом и солнцем равнинам… и я чувствовал себя великолепно и даже хотел… я забыл как эта штука по-русски /*исправлено другим почерком на* «по-французски»/, в которую вставляют ногу, садясь на лошадь. В общем, по-русски – стремя, в стремя. С моим командиром мы шутили и я плескался в каждом ручье, а он улыбался во все свои иссиня-черные усы. Я веселился больше, чем когда-либо, я ведь уже проскакал накануне с 4-мя солдатами по местности, чтобы узнать ее. И когда вернулся с отличным рапортом, командир меня взял в магазин. Он хотел купить мне в подарок красивый ремень, но не знал размера. Но увы, магазины были уже закрыты, была ночь. Сейчас V/пять/ часов утра, и вот я совсем свободен и придумал мизансцену маленькой комической оперы.

Это русская песня, которую я хочу переиначить немножко гривуазно /хулигански/. Ну знаешь, Ванька-ключник… Хор, это вся батарея, зрители они же. Когда придумал, разбудил командира, ему рассказал. А сейчас вот в седло и поеду в ту самую деревню все купить для рождественской елки (*франц.)*.

Е. № 45

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
1 и 2 января 1917

Не спалось сегодня в новогоднюю ночь от счастья: печку растапливал, потом голый вышел на балкон делать гимнастику. Была предрассветная звезда, потом улегся было, но опять вскочил и уехал верхом. Нашел водопад. Потом встречал женщин с восковыми свечами и захотелось к обедне, но церковь, красивая и с красивым прозрачным квадратным крестом, была заперта. Еду назад, встречаю командира и Влад. Андр., которые идут к обедне в другое село.

Я вернулся домой, отдал лошадь, переоделся в новую шинель и догнал их на какой-то солдатской повозке. Шли туда и обратно по три версты и отлично поговорили.
А в церкви хороший иконостас, в бедненькой, но красивой церковке. Мужики в топорщащихся домотканых кафтанах, с лицами римлян. Когда священник вынес чашу, к нему бросилась, как отара овец, группа молодых парней, по-своему одетых, и они склонились перед чашей, а он, славный, коснулся некоторых голов чашей. Это все, по-видимому, призываемые. Висела лампадка, которую поддерживали три пропиленных из меди четырехногих петуха. И вверху сидел петух.
А дьячок похож на немазаное, скрипучее колесо. И временами чудилось, что у него под полой сидит обезьянка.
Притолоки в алтаре странно сделаны, как бы перспективно, после объясню, а пока нарисую.

/Рисунок/

Солнышко весеннее, сижу на балконе, вижу освещенных этим солнцем лошадей и читаю присланную тобой газету с интересным Андреем Белым[1].
А сегодня (т.е. завтра) 2.I.1917 сижу в теплых лучах все того же солнца. Ехал на почту, но отбился от компании, чтобы отбиться и чтобы посидеть над водопадом и почитать еще и еще раз твои письма. Командир поехал в Управление дивизиона и, может быть, Бог даст, и его отпустят, тогда вместе поедем; это было бы совсем другое дело – трудный, трудный все же, может быть, путь превратится в удовольствие и как-то сближаются люди в пути. Положим, мы уже хорошо с ним сблизились /.../

[1] *Андрей Белый* (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – писатель, поэт, критик; соученик И.С. по Поливановской гимназии. В 1907 г. И.С. вылепил его барельефный портрет (Андрей Белый. Фарфор. 26х30. ГРМ); тогда же Н.Я. его рисовала (Андрей Белый. Б. кар. 25,5х22).

***Е.** № 46*

И.С. к Н.Я. *в Домотканово*
2 января 1917
Почтовая карточка

Поздравляю милое Домотканово и желаю ему, сердцу нашей Родины, хорошего Нового Года.

Ив. Еф.

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
4 января 1917

Еду вчера сняться и еще было казенное поручение – взять в интендантстве талоны к ассигновкам (ты, небось, не понимаешь мужского языка?), вижу, в версте от дороги дымит пожар; я натурально туда подъехал – стоят, выстроившись по-военному в шеренгу человек, 50 землянок-печей, все с одинаковыми широкими железными трубами вроде пароходных вентиляторов и дымят что есть силы – корпусная хлебопекарня; спросил, сколько выпекают – 2500 пудов.

/Рисунок/

Когда садился дома на лошадь, его великолепный густой чалый хвост был исключительно хорошо размыт и пушист, а приехали мы с ним сниматься черти-чертями, я-то еще ничего, догадался шинель подвернуть, а у него чулок его белых и белых задних копыт не видать вовсе. Я ему ноги вымыл и себе обросшие грязью сапоги обскреб. Дорога здесь – сплошная жидкая грязь. Красиво, когда отражает вечернее небо. Много раз приходится переезжать реку, и тогда при выходе из воды у него чудесные ноги. Спасибо, как это ты догадалась послать ему поцелуй в грудь – вчера утром я его в грудь поцеловал – необыкновенно приятно пушистая мягкая у него на всем корпусе длинная курчавая шерсть, особенно впереди холки.
Мечтал я тебе, ненаглядная моя Ниночка, послать телеграмму, которую ты получила бы 8-го – вот она, на всякий случай, хоть и поздно, может быть, мне еще удастся отправить ее через штаб корпуса, а на почте не удалось и в интендантстве тоже. Сейчас мы приехали с командиром – тоже не приняли: дай Бог, чтобы в день твоего рождения[1] родился твой полный успех! Мудро отложить побывку недели на три. Хорошо здесь.

Ваня

А отложить почему – я писал тебе – мы стоим сейчас в резерве, ждем новых орудий, а то мы свои все исстреляли. Сейчас тут так хорошо и спокойно, что я за себя чувствую много силы еще подождать. А вот ты как, моя милая? Я сам не решился бы при всей откровенности признаться, что я предпочитаю ехать в побывку во время работы, а не во время отдыха, но это высказал командир относительно себя; он просился у дивизионного в отпуск теперь, когда он не нужен, его не пустили, он сказал: «Это, откровенно говоря, и лучше – поеду в свою очередь в феврале». Вот и я его, пожалуй, дождусь. Хотя сейчас могу уехать

в любую минуту, но, решив, нисколько сомнениями не мучаюсь. Видишь, правда, кажется во мне переменили часовой механизм, недаром Ваня Ефимов из ружейного с удовольствием режет кур и гусей, только ты не бойся – я совсем мало переменился – просто снял с души старый рваный халат, а режу с удовольствием оттого, что тебя давно не ласкал. Я не пускаю себя и мечтать, потому что это трудно выполнимо – если бы во время отдыха нашего ты сюда могла бы перенестись! Вот бы поездили – ты на Шомполе, а я на большом Вороном Чехе, на котором сегодня поехал, потому что не подковали Шомпола. Только неизвестно, сколько отдых продлится, и одной нельзя проехать, запрещено, и даже с офицером трудно это сделать.

Объяснительная записка к фотографии.

1) у Шомпола нет уха, потому что он им мотнул;

2) думая о Шомполе, я не поправил себе как следует сзади шинель – см. пунктир – я должен был быть заключен между двумя параллельными линиями;

3) пуза у меня теперь нет – не знаю, почему оно получилось, фотография врет;

4) В правой ру.../*недописано*/

[1] День рождения Н. Я. – 8 января (21 января по н. ст.).

---------------------------- *Е. № 48* ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
6 января 1917

Милая! Ниночка ты моя! Сказал командиру, что я не пускаю себя мечтать, чтобы ты сюда приехала. «А что же, говорит, это вполне возможно, надо только знать, когда она будет на пограничной станции (Унгени), а тогда туда ничего не стоит – 100 верст!» Хотя потом с ним обсуждали, что может, конечно, так выйти, что пока приедешь, а мы как раз получим гаубицы взамен изношенных; я тебе ведь писал, что мы теперь стоим в резерве без орудий – из них выпустили вдвое больше, чем полагается ударов – около 4000 выстрелов на каждое из 4-х орудий, и они отказались служить – стали слишком сильно откатываться, грозя сорваться с лафета; на вид они остались такими же аккуратными – не надо представлять, что изношенное орудие по виду так же ясно говорит о своей усталости, как старый напр/имер/ сапог, которые, кстати, здесь в горах бывают необыкновенно красноречивы. Хотя у 4-го орудия была явно погнута люлька, по которой откатывается тело орудия, у других была

сорвана нарезка, если посмотреть сквозь дуло. Нарезка эта такая же, как в револьвере, только более четкая, пропорционально говоря, более частая и отличается тем, что оборот ее пропорционально возрастает по направлению к выходу, что удивительно рассказывает о прекрасном осуществлении в материи тончайшего математического расчета. Ты помнишь, что на стреляной револьверной пуле остается чуть след того, как она вжалась, вращаясь под напором взрыва, в нарезку ствола. Ну, а тут не чуть-чуть, а гладкий до выстрела, красной меди ведущий поясок на снаряде, становится вот таким после выстрела. /*Рисунок*/
Ну, мне лень чертить лучше.
Сегодня, относительно приезда эскадрона жен, как я выразился (моей, Сашкиной Алтухова и *Сергея Ольшанского*), командир опять сказал, что можно, только если придется становиться вдруг на позицию, чтобы не бабиться.
Сейчас, пока мы в резерве, очень бы уж хорошо, чтобы ты тут оказалась – поездили бы на Шомполе и Чехе, посмотрела бы красивую архитектуру мужичью, обряд и обряды (я вчера еле уехал – слушал, как, выйдя на завалинку, баба и девушка дуэтом, восточным мотивом, голосили по покойнику, умершему штатской смертью). А потом вместе бы вернулись, потому что отпуск у меня теперь может быть в любой момент, так что я теперь испытываю приятное чувство, похожее, верно, на чувство заряженной мортиры. Вот только теперь у нас с тобой не только телесные сношения, но даже телеграфные очень затруднены, так что пока мы обменяемся, а тем временем или получим орудия (хотя никто не знает, сколько недель или месяцев может продолжаться их отсутствие), или мы с командиром вдруг встрепенемся на побывку. Верно, ты со мной, Ниночка моя, согласишься, что в отдых на побывку ехать надо взамен боевой жизни, а не от мирного и лёгкого passe temps[1], которое мы теперь ведем и которое, если бы ты приехала, не оправдало бы твоего уважения: достали отличную сливную водку, которую весело распиваем, распевая кавказские и другие песни, дуются в азартную игру (я раза два только играл).
Я езжу на почту, что взял на себя; рисую Н. Ив. /Васильева/ и Сашку Алтухова (пишу это, чтобы тебя умилостивить, а рисовал их минут по 11 каждого), хотя еще порисую. Здесь совсем не принято лезть coute que coute[2] на рожон, поэтому здраво и откровенно рассуждаем, что если кому можно уехать от войны, то глупо заменять это уезжанием от пития. [...]
Я люблю бывать в Velea Rea[3]. В жидкой грязи тянутся интендантские обозы, с трубачами пройдет уланский полк, и ты рядом едешь, рас-

спрашиваешь. Вчера в темноте ехал за огромным автобусом, который, качаясь, брызгаясь, пёр по грязи, и приятно месить эту грязь не ногами в длинных брюках и калошах, что было бы и невозможно, а ногами крепкой лошади, а самому сидеть крепко подпоясанному с револьвером у пояса.

Приписки на полях:

К/омандир/ говорит, что Нина – 14 января – давай попразднуем.
На негативе видно, а здесь не видно, что шерсть у него /Шомпола/ завитая.
На стене белой нашей светлой избы с 5 окнами висят над кроватью мои качели Jumeaux/-découpage/[4]

[1] *Passe temps* – времяпрепровождение (*франц.*).

[2] *Coute que coute* – во что бы то ни стало (*франц.*).

[3] *Velea Rea* – долина Валя Ре в Румынии.

[4] *Jumeaux-découpage (франц.).* – Имеется в виду один из сюжетов ефимовских вырезаний – «качели» (*см. ком. к Е. № 20*).

Е. № 49

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
6 января 1917

Ниночка, дорогая ты моя, все радостнее от тебя приходят письма, но тут-то и сощимливается душа тревогой, что какая-нибудь дрянь жизни насыплется и затемнит твой свет. Неужели и от Москвы ты оторвалась, не допив досыта этого кубка? Или соблазнилась с Наташей ехать[1].
Бог даст, в недалеком будущем мы сольемся в Москве. Я телеграфирую в Домотканово и авось удастся так, чтобы ты приехала, или разве в Домотканово прямо ехать? Впрочем, на этот вопрос, надеюсь, не успеть уже получить ответа. А как же это будет – связавшись с Петровым, ты тем самым порываешь с Балиевым[2]? Или на него нечего надеяться?
Если ты и рано из Москвы уехала, я надеюсь, что как только ты туда опять попадешь, то опять тебе будет хорошо, только езди – ведь это уже самый настоящий грех отказываться причаститься к источнику радости.
Вчера мы переехали на новоселье опять. Вчера же вечером получил твое письмо, но не было достойной обстановки, чтоб читать, и я лег с ним спать, а сегодня пошел по незнакомым красивым холмам с деревьями; знаешь, как иногда приедешь вечером в гости, а утром идешь осматривать, где очутился. Может быть, это даже не плохо будет выходить, что ты с Москвой будешь соприкасаться урывками, может, так

вкуснее окажется по контрасту. Только, пожалуй, больше истрепывает. Ну, да ведь правда иначе как же? Жить в Москве сплошь теперь тяжко. Я посидел, побыл с тобой хорошо, потом почувствовал, что надо пойти домой и правда пришел и – командир говорит: «Пойдемте опять бродить, знакомиться с местностью», и отлично походили. Были на наблюдательном пункте, пристреливались с нового места батареи, те же цели, из того же наблюдательного пункта, и очень приятно погуляли, а вечером он злющий приехал, сел на койку, спиной круглой отвернулся, как ребенок надутый, а сегодня говорит: «Как я сегодня со зла поспал хорошо!»
Я случайно в своем новом френче, и так в нем бодро, что положительно я уверен, что, когда хорошо одет, то и мужественность другая, чем когда совестишься и имеешь робкие движения в неладной сваливающейся и безобразящей одежде. Вот съезжу тебе покажусь и буду в нем ходить.
Получил Адрианово письмо. Мне его передал денщик Владимира Андреевича, очень интересовался от кого, и мы вместе читали, сравнивали, у кого грамотнее, он говорит: «Ваш лучше пишет, а мой, когда говорит, запинается – вот у него и буквы так выходят». Я говорю, что мой тоже запинается. «Ну, Бог даст, пройдет». – «А у вас сколько их?» И. С.: «Один». Оказывается, он про кроликов спрашивает.
Хорошо попели сегодня под звездами с разведчиками, я что-то расхрабрился и развеселился на полный голос. А недавно по случаю возвращения блудного офицера пили водок и ликеров и попели тоже, только не очень вдохновенно. Сейчас трезвому трепетнее пелось.

До свидания, милая.

И.

1 *...с Наташей ехать.* – Вероятно, в Отрадное.

2 О том, как развивалась дальше ситуация с Балиевым – в переписке сведений нет. Пьеса в это время не была сыграна. Позже Н. Я. пишет, что в 1918 г. они ставили пьесу, сделанную ею *...перед тем по заказу Балиева для «Летучей мыши» – «Приключение на улице Парижа»* – и оставшуюся *под спудом, ввиду отъезда Балиева в Америку* [Н. С. 1947].

Е. № 50

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
8 января 1917

С рождением твоим поздравляю себя, милая Ниночка моя: ходил сейчас (в солнечное утро) поздравлять Шомпола, впрочем, вчера ночью с яркими сверкающими бриллиантами звезд я тоже ходил его целовать в храп и в грудь, как ты меня научила. Хотелось бы мне знать,

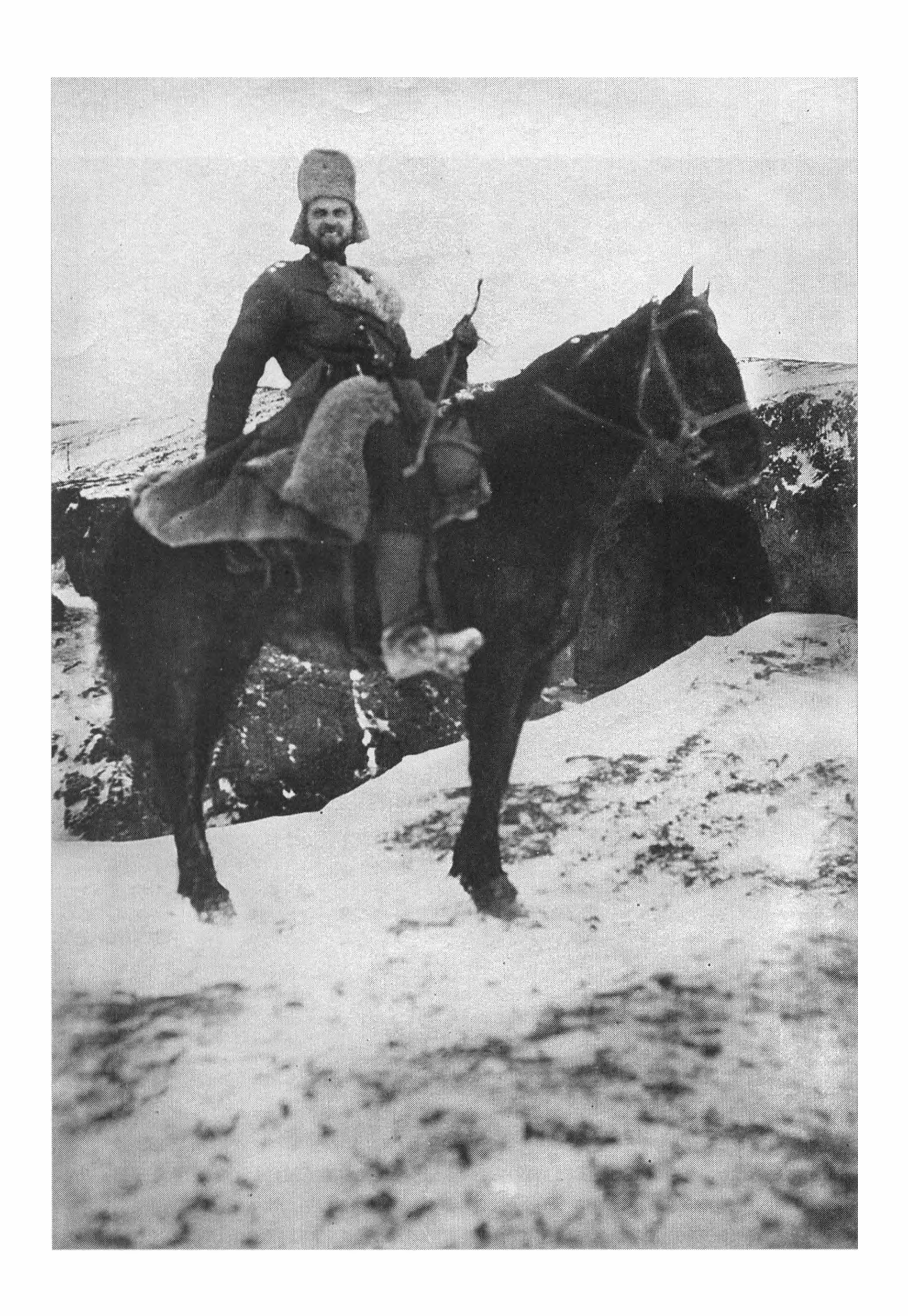
а то я только не знаю, а чувствую, что ты тоже бы сказала мне пока не ехать. Пока здесь легкая и спокойная жизнь, от которой нечего отдыхать. Я теперь выучился почти без терзаний принимать решения. Сегодня настриг волос шомполовых: с холки кудрявых чалых – в одном углу конверта, с храпа и с гривы белых – в другом углу[1]. Когда стриг, они напомнили мне твои своим розовым утренним отблеском. Решил остаться несколько, а теперь является соблазн, что ты можешь приехать, пока мы на отдыхе без орудий, а когда орудия приедут, никому не известно. Может быть, рискнешь приехать с Ольшанским, а назад бы вместе, только вот не разъехаться бы нам, ну да, до возвращения Ольшанского я вряд ли уеду отсюда, потому что мой отъезд сообразуется с приездом орудий и возобновлением работы.
Ты, Ниночка, меня не осуждаешь, боюсь. Командир сам это продиктовал, а он уж лучше знает по опыту, как надо быть смелым и что можно, чего нет.
Вчера он, правда развеселенный вином, говорит: «Я же говорил, когда будет пост – им будет там скучно, а здесь погода будет к лучшему – они и приедут». – «А как же бои?» – «Ну что, и это все равно, они же свободны» (Ефимов и Алтухов).
А французское письмо получила? А новогоднее? А неприличное? Говорю Ник. Ив-чу, на выставку ничего не пошлете? Командир гов/орит/ пошлите панорамный чертеж – посылаю, может быть, правда выставить эту злободневность.

[1] Письмо с волосами Шомпола сохранилось в архиве семьи.

---------------------------------- *Е. № 51* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
8 января 1917

Сегодня по случаю твоего рождения был парадно одет, только не достали раки – здешней сливной водки, но зато я привез верхом банку маринованных баклажан, полную кобуру черных редек и торбу тыквенных семечек, которые и поджарили с солью, и луку порей.
До свидания, милая, допишу, погуляю немножко под играющими звездами. Уже первый час. Вот бодро было по снегу, морозу и солнцу ехать в полушубке и в валенках на бодром Шомполе. Приеду, тогда и тебя, Бог даст, сюда привезу или весной приедешь.
Конечно, Ниночка, тебе сегодня собираться не стоит, потому что, пока что, а там и я уж в побывку поеду.



И.С. Ефимов верхом на Шомполе. 1917



А.С. Голубкина. Портрет Н.Я. Симонович- Ефимовой. 1907

Пойди к Анне Семеновне[1] и поклонись ей.
Целую.
Иван.
Прости в беспорядке клочки. Читай как попало.

[1] *Пойди к Анне Семеновне...* – Очевидно, И.С. напоминает Н.Я., чтобы она навестила А.С. Голубкину в день ее рождения 16 января (по ст. стилю).

Е. № 52

И.С к Н.Я. *в Домотканово*
10 января 1917

Сижу на завалинке избы; снег, птицы чирикают, солнце теплое, читаю le Ventre de Paris[1].
На желтой обложке напечатано, что у Золя есть Les trois villes: Londres, Rome, Paris[2]. Ты не читала? Ведь надо бы Paris прочитать, может быть, при случае достанешь.
Избы здешние ждут твоей руки, чтобы увековечиться, и им хочется, чтобы их рисовали так, как ты рисовала их родственников в Guetary[3]. Ведь здесь Bas-Carpates[4], которые что-то имеют общее с Пиренеями, может быть, как всякие горы. Необыкновенной живописности сейчас передо мной лачужка и над ней деревья, груши, что ли, очень хорошей структуры.
Пожалуй, я тут посижу, посижу на солнышке и раскалюсь до того, чтобы их нарисовать с целью показать тебе. Спокойно ли тебе, милая. Когда попадем с тобой, Бог даст, в Париж, пойдем, пожалуйста, в Halles Centrales[5].
Я взял на себя обязанность почтальона и казенные пакеты теперь вожу и в казначействе получаю тысячи (одну), недавно привез столько залежавшейся корреспонденции, что был в полушубке как беременная баба в нашей книге, а мне что-то ни одного, и давно не было – да с тех пор, как Алтухов привез. Вчера пришел большой пакет рыжий, в котором шуршал георгиевский крест – это Алтухову, ему очень идет к его круглой белоглазой морде. Неужели и ты редко получаешь?
Я надеюсь, что ты теперь будешь занята выставкой, и ничего, если я здесь еще немного побуду, потому что теперь, как не раз писал, хорошо и спокойно, и не разумно было бы это время менять на побывку. Кажется мне, что ты согласна с этим, Бог даст, не сердишься? И не осуждаешь мою политику? Когда я терзался сомнениями, чтобы ехать поспевать к 8-му (и мало уже оставалось времени), тогда я го-

ворю Влад. Андр., что ведь дорого яичко к Христову дню, может быть, ей хочется, чтобы именно теперь я приехал, но он меня успокоил, что ведь и потом наше желание останется не меньшим. А все говорят, что до первой побывки легче гораздо терпеть, чем потом, и мне легко сейчас. Влад. Андр. на время уехал от нас в другую батарею на замену офицера, уехавшего в отпуск.

Целую, моя милая, как целовал тебя, невесту, в Петровском-Разумовском на срубе и глубже еще. Целую.

[1] *Le Ventre de Paris* – «Чрево Парижа», роман Э. Золя (*франц.*).

[2] *Les trois villes: Londres, Rome, Paris* – «Три города: Лондон, Рим, Париж» (*франц.*).

[3] *Guetary* – Гетари, город во Франции, где были Ефимовы в 1909–1910 гг.

[4] *Bas-Carpates* – Нижние Карпаты.

[5] *Halles Centrales* – исторический квартал в Париже.

Е. № 53

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
11 января 1917

[...] Я вчера стал чистить ногти Bayonett[1], у него очень удобное тупое острие; командир говорит: «А хорошо бы, когда Ефимов поедет в отпуск, посмотреть на него в шапке-невидимке. Что он будет делать». – «Не нужно, В. В., шапки-невидимки, я всегда одинаков».

Езжу в Velea Rea по разнообразным поручениям, захожу в разные дома.

[...] Поклон Леле от Сашки Алтухова, который ее очень одобрил.

Приписки:

3 часа ночи, сидим жрем редьку.

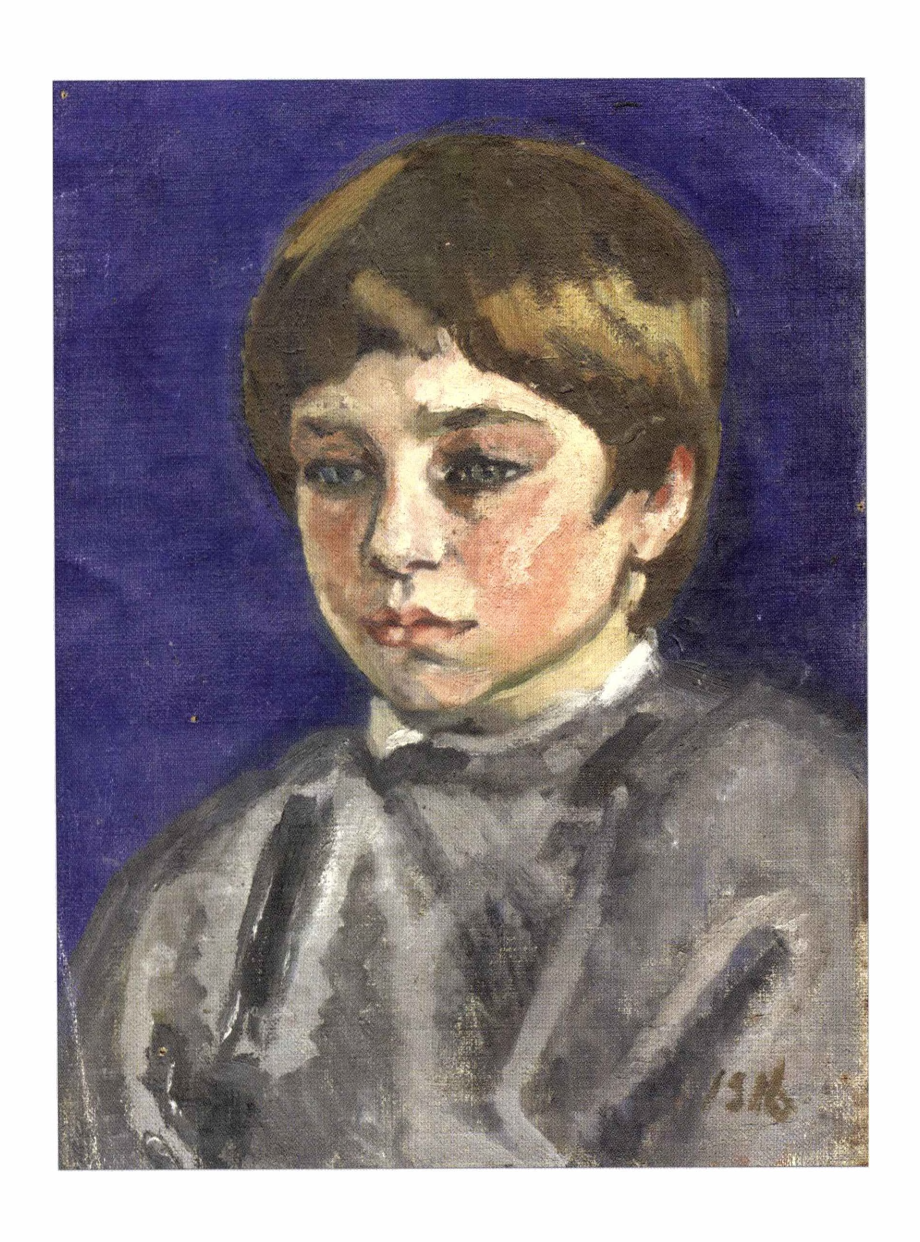
В другом письме послал тебе рисунок, мой портрет, который сделал Севка, который тоже подписался[2].

[1] *Байонет* – холодное колющее оружие, примыкаемое к стволу (штык).

[2] *Севка* Шульц – вольноопределяющийся. Письмо написано с двух сторон на бланке правления МТХ, извещающем об очередной выставке.

С конца января и весь февраль И. С. Ефимов находился в отпуске.

Февральскую революцию Ефимовы встретили в Москве.



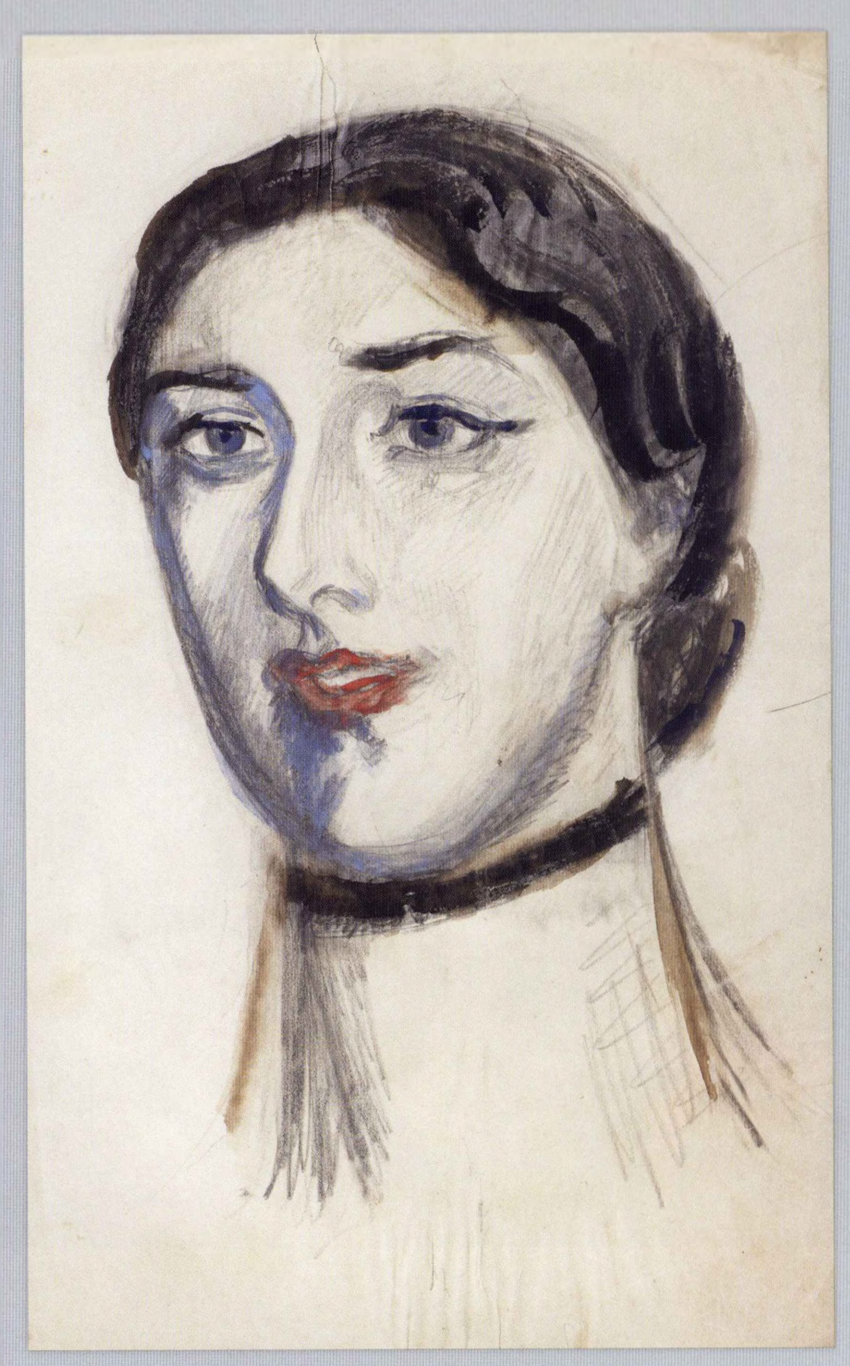
Н.Я. Симонович-Ефимова. Адриан.
Холст, масло. 1916



Н.Я. Симонович-Ефимова. На Монмартре.
Холст, масло. 1910. ГТГ (Е. № 3)



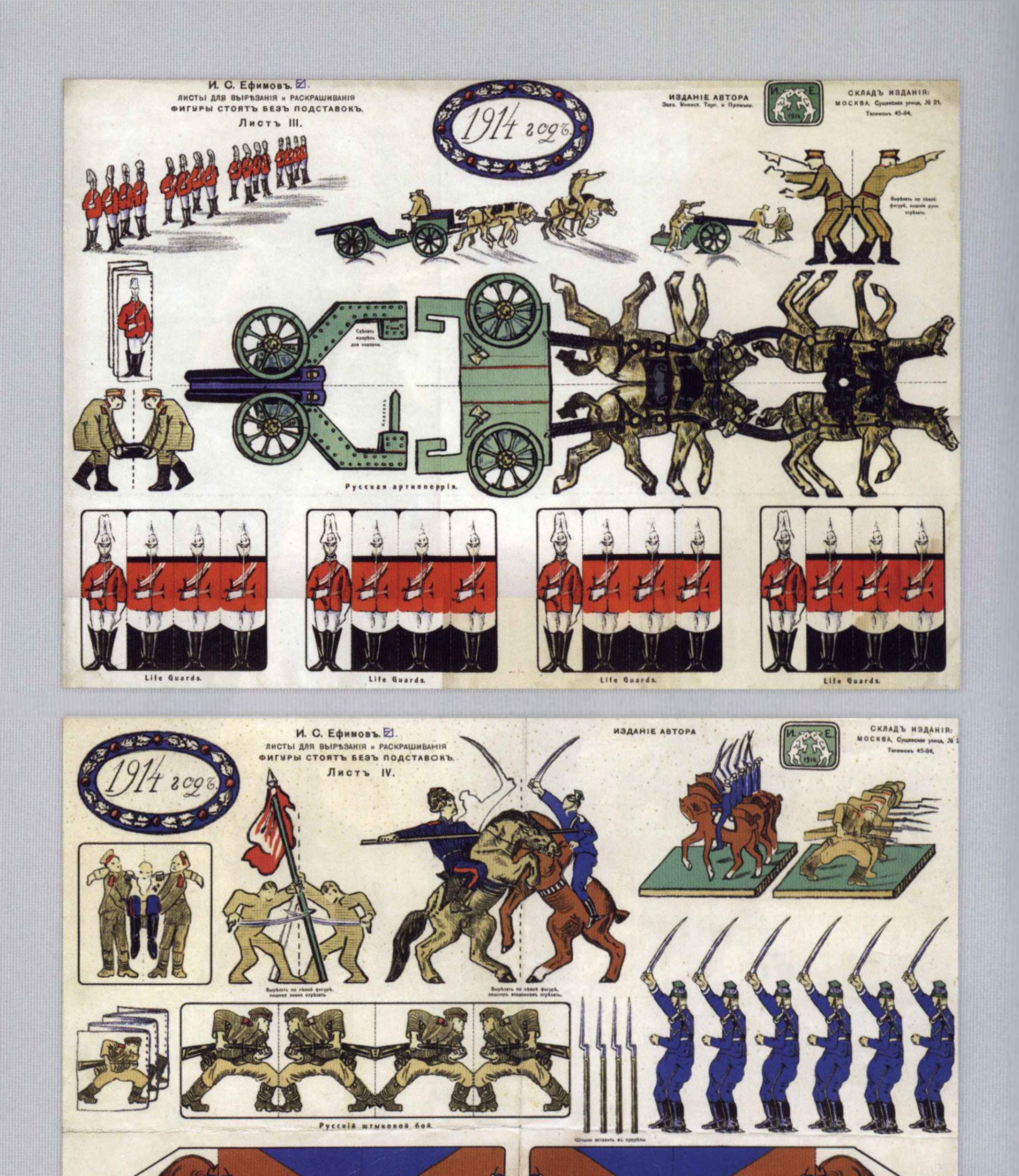
Н.Я. Симонович-Ефимова. Ожидание молебна (Богомольцы).
Картон, масло. 1916 (Е. № 3)



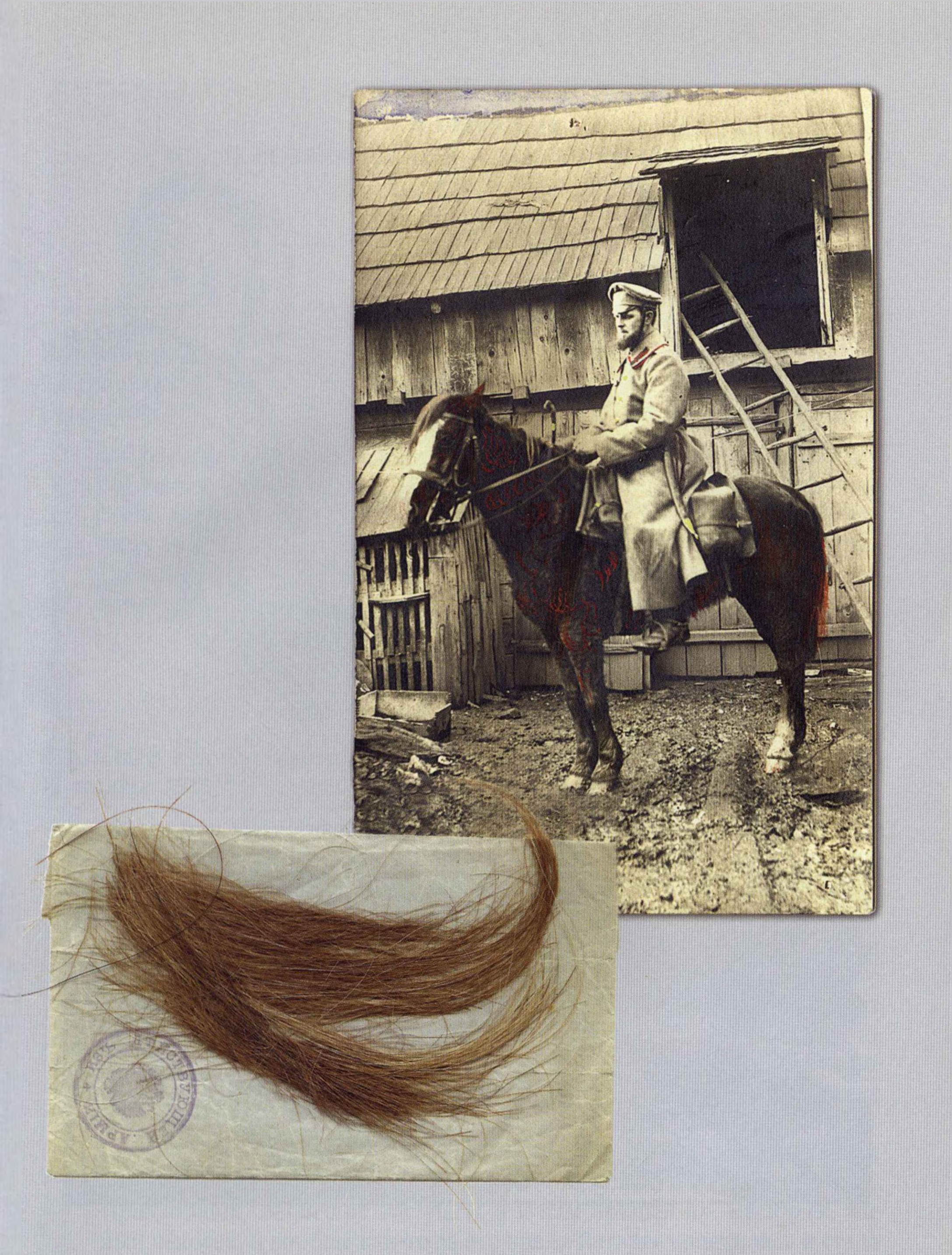
Н.Я. Симонович-Ефимова. Портрет М.С. Цетлин.
Бум., кар., акв. 1900-е (Е. № 145)



Н.Я. Симонович-Ефимова. Репетиция в «Летучей мыши».
Бум., вырезание. 1916



И.С. Ефимов. Солдаты сражающихся армий («1914 год»). Листы III и IV. Литография (Е. № 37)



И.С. Ефимов верхом на Шомполе. Фото с подкраской. 1917 (Е. № 47)
«Волоса Шомпола». 1917 (Е. № 50)



В.А. Фаворский. Офицеры за картами. Бум., кар. 1917 (ГМИИ)

В.А. Фаворский. Окопы. Гравюра. 1933

ПИСЬМА
ФАВОРСКИХ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В. А. ИЗ ОТПУСКА НА БАТАРЕЮ В ОКТЯБРЕ 1916

--- ***Ф.*** *№ 84* ---

В. А. к родителям
9 октября 1916
Открытка

Милые мамашка и папашка, доехал я благополучно, сейчас в той же батарее, и должно быть останусь, сейчас тут спокойно, Иван Сем. всем очень доволен, ждем Ник/олая/ Бор/исовича/. Мед получили но без меня не раскупоривали, теперь раскупорили и едим, всем нравится. Погода довольно дождливая, но мокнуть приходится мало. Целую вас, милые, ваш сын

Володя

--- ***Ф.*** *№ 85* ---

В. А. к М. В. *в Домотканово*
11 октября 1916

Милая моя Марусечка, целую тебя крепко, доехали мы до батареи благополучно, хотя не сразу нашли ее, Иван Сем. был все время в телячьем восторге и в поезде было немножко странновато так как он вел себя и задавал такие вопросы, что все офицеры косились но замечаний он избег конечно благодаря бороде, а все странности в конце концов отнесли к тому что он скульптор, словом было совершенно ясно, что он новичок. Сейчас у нас спокойно, боя пока еще не было, да может и не скоро будет. Ив. Сем. пока осматривается и все ему любопытно, прямо завидно на него, надеюсь что это у него скоро не пройдет и поэтому обучать всей нашей не сложной мудрости не торопимся, успеет еще. Я значит теперь офицер (рубашка твоя произвела эффект и командиру очень понравилась) и это хорошо тем, что положение и работа определеннее и поэтому когда ничего нет то можно и побездельничать. Прап/орщик/ Мовес от нас ушел, а к нам пришел пр. Васильев, милый человек, и вообще как-то за это время батарея сплотилась и стала

действительно семьей, да кроме того без хвастовства такое большое количество художников действует облагораживающе.
Сейчас я сижу на батарее и дежурю главным образом для того чтоб скомандовать «смирно» если какое-нибудь начальство придет, со мной в землянке Алтухов, он совсем переменился, стал человеком, наконец нашел свое место – сделался орудийным фейерверкером, стал спокойным и мужественным, давай ему Бог (заранее про человека ничего не скажешь).
Ну детка не думай глупостей, твой рыцарь любит тебя до Бог знает чего и благодарен тебе священной благодарностью, даст Бог все будет хорошо. Про Никитку тут все спрашивают, как он и что, и я хвастаюсь. Между прочим шашка моя оказалась очень хорошая, командир говорит что клинок дорогой. Так что твой рыцарь вооружен по чести. Как здоровье Никиты

целую тебя

твой муж Володька

Ф. № 86

В. А. к родителям
11 октября 1916

Здравствуйте милые мои целую вас, доехали мы благополучно, Иван Сем. по-видимому понравился командиру, а солдаты говорят – папаша дедушку привез. Ив/ану/ Сем. все конечно здесь любопытно и все его занимает пока здесь спокойно и боев нет. Командир встретил нас хорошо и я по-видимому останусь в батарее, никуда меня не возьмут. Правда немного много офицеров, но это и для батареи и для офицеров только лучше, и для дела конечно. Настроение у всех здесь хорошее хотя все приустали да главное надоело это место, на котором мы уж так давно толчемся.
Мама, мой туалет то есть рубахи всем очень понравились и командиру в особицу.
Да вообще все мои приобретения одобряют – шашка например оказалась очень хорошей, клинок говорят превосходный. Сейчас тут серая погода, но не очень холодная и мало дождливая так что неприятностей особенных не испытываем. Ко мне как офицеры так и солдаты относятся хорошо так что жить мне не плохо. Ну, почтальон уходит и нужно кончать. Целую вас крепко

ваш сын Володька

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
25 октября 1916

Наконец получила 2 твоих письма; первую открытку, в которой почти все стерлось и шла она 3 недели, и письмо, где ты пишешь, что у тебя новая лошадь. И Ниночка получила 2 письма от Ив. С. Так что мы теперь спокойны; какие у вас разные письма! У Ив. С. нагромождение всяких подробностей, сумбурно до того, что кажется, что это нарочно; но интересные подробности, живые; /а/ твое письмо прочтешь, и делается спокойно на душе; я люблю твои письма – как начал с одного слова, так до конца и идешь, без точек, без суматохи; чувствуешь, что писал настоящий мужчина, а не мотылек.

Ив. С. просит много чего прислать ему с Васильевым, а тебе прислать что-нибудь?

Сегодня очень неприятный день: Франц[1] поссорился с Григорием, Григорий ругал его, что бьет до крови лошадей, двух испортил; а этот рассердился, хочет уходить; одного его пустить не полагается; ну вообще /…/ все труднее; нам самим с провизией теперь все хуже становится, а они требуют и того и другого; прости, что пишу тебе об этом.

По-моему, Никита слишком быстро развивается умственно, а физически все такой же; ни новых зубов, ни ходить один не научился. А слов говорит массу, и совсем неожиданно их говорит. «Булька» – булка, и сам плутовски улыбается почему-то [...]

Сейчас Ниночка читает бабушке газету внизу, а я стерегу Никиту; в зале сижу; на улице светло от луны, но оч/ень/ сильный ветер.

У меня день проходит в разных мелочах с Никитой, кое-что и об своем здоровье приходится думать, и лежу хоть немного, и тогда читаю французский роман «Mensonges» Bourget[2].

Ну, немного почитаю об молодом поэте-писателе и важных дамах, в круг которых он попадает. Ах Володя, мне иногда хочется быть важной дамой, они так аппетитно описаны во франц/узских/ романах; они все высоки, стройны, красивы, нежны до утонченности, изысканны в туалетах и прическах, у них изящнейшие пальчики и всегда тонкие талии (они никогда не беременны), и всегда алые губки и голос как музыка. Ну о нравственности, конечно, нечего говорить – изменяют мужьям и т. д. Этого мне, конечно, не хочется, понятно – у меня муж лучше всякого их там любовника. Твоя жена.

[1] *Франц* – один из пленных.

[2] *«Mensonges» Bourget* – «Обманы» – роман французского романиста Поля Бурже (1852–1935) (*франц.*).

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 88* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
27 октября 1916

Милый Володя, сегодня я немного пописала! Правда, большое это удовольствие; поставила на 6-угольную табуретку кувшин с букетом тополевых палок с почками и начала писать[1]. Я знаю, что ничего не смыслю в живописи и задаюсь только самым примитивным: верно взять что темнее – что светлее, и что ближе – что дальше. Если у меня хоть это выйдет, я буду довольна. Удастся ли только писать?

Ниночка приехала из Твери, где заказывала Ив. С. рубаху, и привезла твое письмо, посланное из Москвы[2]; почему-то надо было доплатить? и оно лежало там бог знает с каких пор. Ты пишешь, что живешь с Алтуховым; разве вас только по двое в землянке? Тепло ли у вас? Эх, Ив. С., а, пожалуй, из него никогда не получится настоящий военный.

Никита, как меня увидит, просится ко мне; кричит: «Мамки, мамки!» У него страсть к карандашам. Сегодня проснулся в 6 утра, темно совсем. Взяла его к себе на кровать; он лежит, лежит и говорит: «канан, канан» и до тех пор будет просить, пока не дашь. И вот в темноте вижу, он на простыне рисует «пеня» – лошадь рисует. Уж я Андрею Евграфовичу не пишу[3]; целый день не выпускает из рук карандаша и спать ложится с карандашом; я боюсь, он себе глаза выколет.

Адриан с ним иногда заигрывает, но Никита к нему еще не очень привык. Он смешно зовет Катю: бежит в переднюю, отворяет дверь на кухню /и/ кричит: «Катьки!»

[...] Я сижу сейчас в Грыскине на сломанной елке (и навалило же их тем снегом!), устроилась поудобнее, на ветки прислонилась по-Иван-Семенычевски и пишу тебе.

Вообще по вечерам иной раз так светло от луны, и такая громадная планета из-за деревьев светит, что вспомнишь Ив. С., пошли бы погуляли с ним. Конечно, моего мужа первым делом вспомнишь, да мой муж не очень любит по вечерам выходить; он бы забрался на диван да и читал бы себе какую-нибудь чепуху. Потому что человек увлекающийся, что начал, то не бросит, настоящий мужчина.

Дай Бог, чтобы Никитка был бы тоже настоящий мужчина. Он очень хорошо смеется, наш поросюканец; иногда (и часто) страшно ночью станет, так вспоминаешь, как Ник. смеется, чтобы страх отогнать. И за что он меня любит? только за то, что я его люблю бесконечно, потому что бабушка и Катя с ним гораздо больше бывают и больше для него делают.

Целую тебя, мой прапорщик /... / с тобой, твоя жена.

По кромке вокруг всей страницы:

Сегодня одной молодой девушке поденщице[4] раздробило руку по локоть в молотильной машине. Ее повезли в больницу в Тверь[5]. Не на войне. Это оч/ень/ тяжелое впечатление произвело. Она подавала у нас сноп, и вот, неосторожно...

[1] «Натюрморт с тополевыми ветками» (картон, масло) до выявления этого письма ошибочно приписывался В. А. Фаворскому. Характерно для художественного метода, что М. В. при работе «не пересчитывала в голове» углов табуретки – на этюде (т. е. на самом деле) она 8-угольная (а не 6-угольная, как она пишет).

[2] *...посланное из Москвы.* – Очевидно, «с оказией», кем-то приехавшим с фронта.

[3] Примечание М. В. из «Записок»: *Андрей Евграфович хотел, чтобы Володя был юристом, а не художником. Его бы огорчило Никитино раннее тяготение к карандашу.*

[4] На конверте рукой М. В. обозначено имя девушки – *Нюра.*

[5] Примечание М. В. из «Записок»: *Позже папа заказал, и ей сделали протез-руку. Очень хорошая эта девушка: так кротко, незлобиво переносила свое несчастие. Папа купил ей ножную швейную машинку, и она стала портнихой, с одной рукой! Положил в банк на ее имя капитал, с процентов которого она жила безбедно. Во время революции капитал был реквизирован, и девушка шитьем зарабатывала себе на жизнь.*

Ф. № 89

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Конец октября 1916
Фрагмент
Подписано рукой М. В.: Из Молдавии идут в Румынию.
Рисунок химическим карандашом – батарея на походе

Милая Марусечка здравствуй милуха моя, целую тебя крепко крепко. Вот видишь это поход, /мы идем/ шагом верста за верстой /.../
Далее отрезано;
оборот:

/.../ милая, пришлось перервать письмо на несколько дней, теперь пишу тебе снова.

Я жив и здоров, мы покинули старые места так что ты в газеты не смотри, все чувствуют себя не дурно. Ив. Сем. все также доволен тем что попал сюда, я конечно этому рад /.../

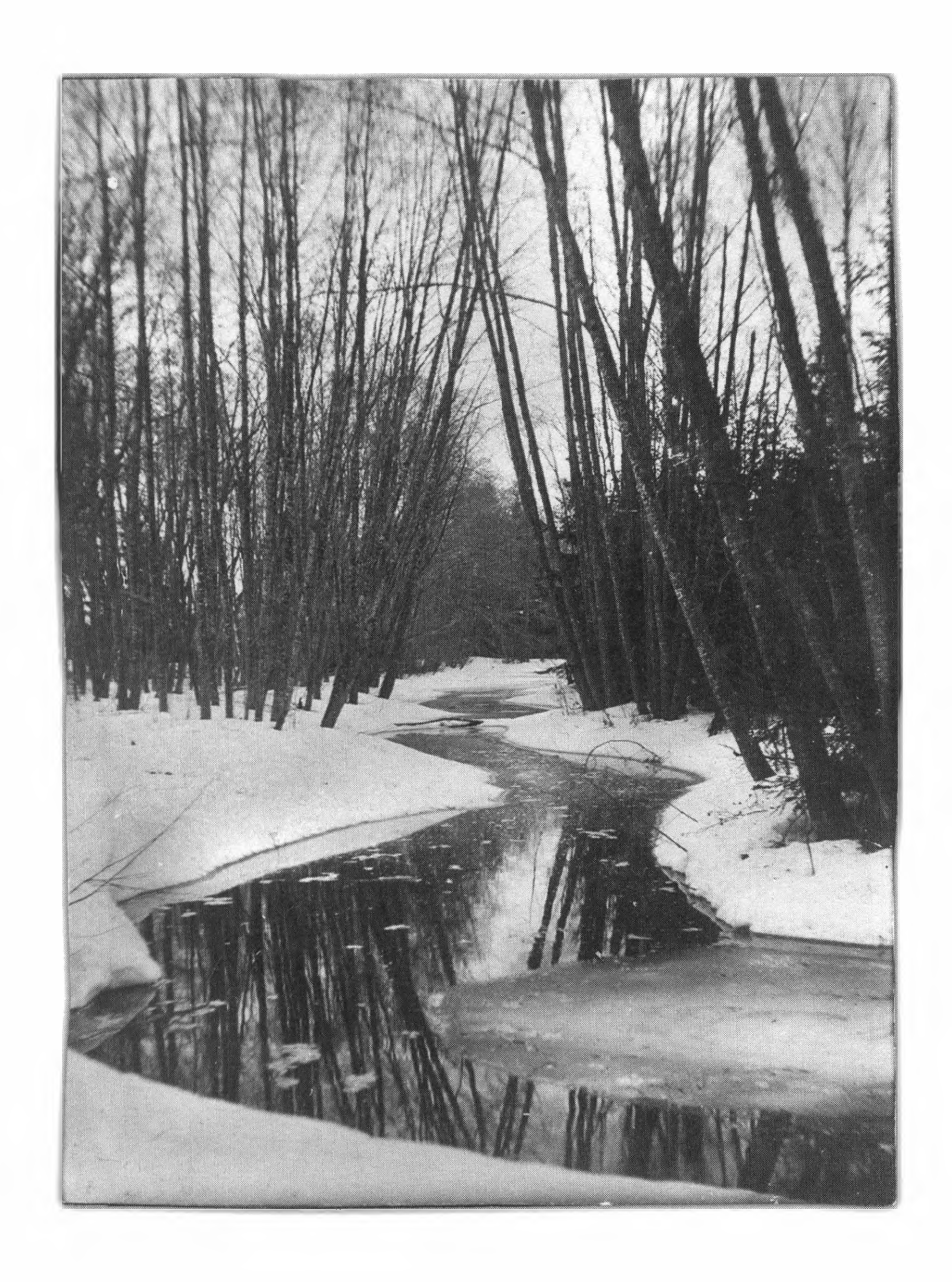
Ф. № 90

В. А. к М. В. *в Домотканово*
1 ноября 1916

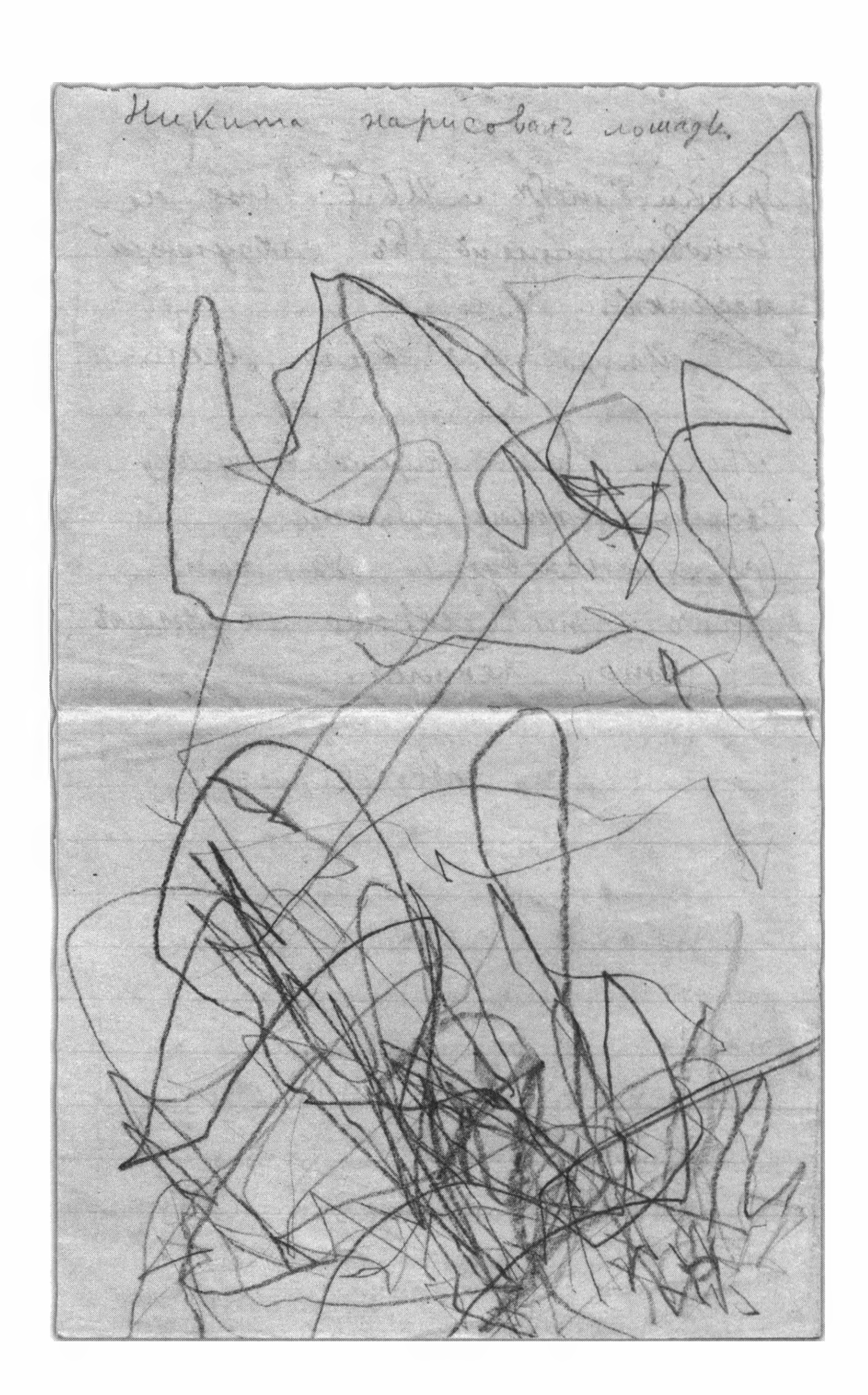
Милая девочка целую тебя крепко, весьма вероятно что ты не получаешь сейчас писем от меня, но я надеюсь что ты не беспокоишься, я тоже уже давно не имею от тебя известий с тех пор как мы двинулись но я терплю и надеюсь что у тебя все благополучно и Никитка здоров. Мы путешествуем изо дня в день на коне шагом, батарея идет дорогой, а ты рядом по пешеходным тропинкам, иногда останавливаемся в каком-нибудь местечке и там бродим такими варягами попавшими в Византию или в Венецию, все кажется новым и интересным, большинство стреляет за девицами и только этим и заняты, а я брожу по местечку, смотрю дома, жителей, церкви, конечно ничего особенного но на безрыбье и рак рыба. Но одно – если ты за меня это время беспокоишься то это обидно, так как я в полной безопасности и еще долго буду, знаешь даже был недавно в синематографе и видел какую-то скучную и глупую драму.
Местность которую видел на походе очень любопытная, громадные холмы, на скатах часто обнаруживаются каменные слои, кое-где курганы, погода все время была очень хорошая, серая правда но теплая и без дождя, скорей похоже на весну чем на осень, вот только сегодня подул ветер с севера и стало холодней. Только вот лесу здесь мало, всего только сады из акаций и никаких деревьев больше, да ты можешь себе немного представить если вспомнишь одесский лиман, места в этом роде, правда разнообразнее. Много рек, которые текут почти в ущельях. Все это занимает и не дает скучать во всяком случае время проходит понемногу. О тебе конечно мои мысли всегда, ты для меня такая опора сейчас что и представить не можешь, если бы тебя у меня не было я бы считал себя за последнего человека а сейчас ты фундамент моей жизни и за тебя душа моя держится, лучше тебя, восхитительнее ничего для меня не существует. Ну всего тебе хорошего целую тебя и Никитку /.../

твой Володька

Да Маруся попроси кого-нибудь в Москве достать маленький учебник румынского языка и пришли мне тогда



Речка Инюха в Домотканове. Фотография Д.В. Дервиза 1910-х годов


Никита нарисовал лошадь.

Ф. № 91

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
(Отправлено с Васильевым)
4 ноября 1916

Милый мой муж, поздравляю вас с днем вашей свадьбы. Вот уже 4 года, как вы женаты.

Сегодня я надела бусы жемчужные и причесалась повыше, как вы любите.

Сегодня, как и в тот день, подвалило снегу, и можно ездить на дровнях; на всех окнах узоры; мороз, и даже солнце проглядывает, и небо зимнее нежно-голубое с зеленым. Только Никита не празднует нашу свадьбу: проснулся в 5 часов, пищал, я его взяла в залу, он смотрел картинки; дала ему молока, заснул; но в 8 проснулся, и все утро я слышала сквозь сон, что он пищит. Взяла его немного погулять по саду; он смеется, когда трясешь ветки и сыплется снег.

/.../

Посылаю тебе подкладку для рукавов, подшей их, чтобы тебе не шерстило. Ниночка едет в Москву, чтобы передать посылку для Ив. С. – Васильеву. Папирос я прошу ее купить и на твою долю; а больше ничего не могу придумать тебе послать. Теплые брюки тебе и Ив. С. еще не готовы, пошлем в следующей посылке.

Целую тебя всего, всего.

Никита тебя целует в щечку своими нежными губками и свидетельствует об том, как ты хорошо сделал, что женился.

твоя Маруся

На обороте рисунок, подписано: Никита нарисовал лошадь.

Ф. № 92

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
5 ноября 1916

Милый мой муж, сегодня я спала с Никитой, он кашлял ночью (опять!). Я взяла его к себе на кровать, он сразу перестал кашлять, но не спал; я рассказывала ему, как мы ездили в Синцово с Ниночкой на санях, как там смотрели корову у мужика (мы хотели купить ее), корова от нас стала бегать, испугалась. Там же стоял теленочек и овцы; а у кузницы были лошади; одна громадная, толстая барская лошадь ржала, а другая маленькая черненькая, баба ее привела,

и еще рыжую кузнец ковал, тук, тук – вбивал гвозди в подкову. Потом мы сели и поехали домой на саночках. Дорога еще плохая, мы чуть не упали.

Конечно, Никита не все понимает, но очень прилежно слушает и вставляет свои слова: «тама» – там, и показывает рукой на улицу. Когда про лошадь говоришь, он гов/орит/ «иоо», корова – «му».

Сегодня я порисовала на улице, в Ельнике, маленькие елки. Рисовала с наслаждением, жаль, что редко бывает такой день когда не холодно; почти никогда нельзя рисовать наруже зимой. А тот натюрморт что-то все хуже и хуже, и ничего я не добилась в нем. Еще раз надо пописать его и потом бросить.

Читала сейчас бабушке и Адриану царя Салтана и вспомнила тебя, моего милушканца. Ты так любишь эту вещь.

Надо спать. Целую тебя милого любимого моего.

Маруся.

6<u>го</u> ноября

Володик, сегодня приезжал наконец папа; он не был тут 3 недели. Был огорченный всякими неприятностями: он все не выписался из присяжных поверенных, и ему всучили какое-то очень неинтересное дело, из-за которого ему сегодня же надо было ехать опять в Тверь. Он устал, ездил в Москву искать артистов для вечера благотворительного, устраивается в коммерч/еском/ училище, где Наташа[1]; артисты тоже все очень заняты; некоторые живут в казармах и днем солдаты, а вечером играют. Надежда Никол/аевна/[2] сказала, что можно набрать 2-х, 3-х; но этого для вечера мало. Вообще папа был не веселый и скоро опять уехал в Тверь.

Привезли Никите санки, его уже Катя возила; и помнишь, нам бывало неприятно смотреть в городе на бульварах, как толстые, укутанные дети понукают своих нянек; и вообще деспотами сидят на санках, а няньки – это какие-то лошади. Я боюсь, как бы Никита не был похож на такого ребенка-деспота. Ему оч/ень/ нравится, когда Катя бежит быстро, он хохочет, и палка у него в руках, Катя же вся красная. Нехорошо.

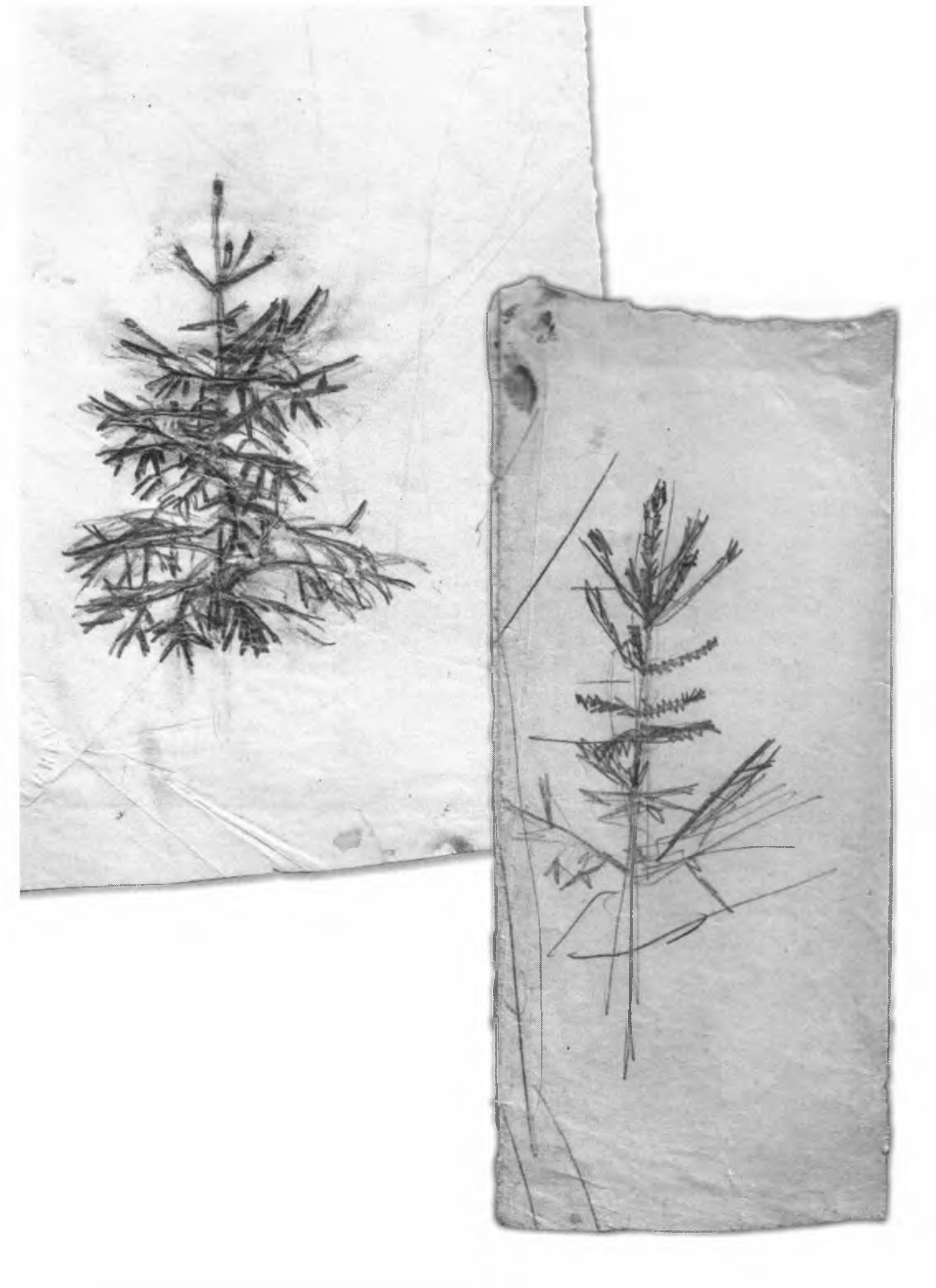
А теперь лег спать и вот кашляет! Как выйдет гулять, кашляет!

/…/ твоя жена М.

[1] *…где Наташа…* – где преподает математику Наташа Симонович (в Твери).

[2] Над. Н. Бромлей (1884–1966) – писательница, поэтесса, актриса, театральный режиссер; племянница О. В. Фаворской; автор первой (изданной) книги, оформленной гравюрами В. А. Фаворского – «Пафос» (1911).





М.В.Фаворская. Маленькие елки. 5 ноября 1916.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 93* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
Фрагмент (по «Запискам» М. В.)
10 ноября 1916

[...] Сегодня не пришлось порисовать на улице: вся бумага обсыпалась мелким ледяным дождем. Вот какая вещь рисование! чуть-чуть приложишь к нему руку, уже хочется еще и еще, затягивает.

А я не должна отдавать на это много времени, иначе будут упущения относительно Никиты.

[...]

---------------------------- ***Ф.*** *№ 94* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
16 ноября 1916

Милый мой муж, думаю я об тебе и все серьезней думаю. Попали вы (как мы предполагаем) в самые опасные и неудачные (по газетам) места. Поэтому я каждую минуту и секунду считаю счастьем, если вы живы и здоровы. Ниночка очень увлечена театром, постоянно уезжает то в Тверь, то в Москву. А я гуляю по лесу и думаю об тебе.

Я решила, что рисовать мне нельзя, и с болью в сердце /отрываюсь – *зачеркнуто*/ бросила все это. Если рисую, то запускаю Никиту, бабушка раздражается оттого, что ей никто не читает, и главное тогда я весь день тороплюсь, и от этого делаюсь сама раздраженная.

Вот видишь, ни часа, ни ½ часа нельзя уделить на ЭТО. Надо ждать и иметь в виду свою цель; а два дела зараз я, видно, делать не способна. Если бы еще дни были длинные, а то встанешь поздно, часов в 11, а в 3 уже темнеет.

Видно нельзя.

Разрушу сейчас натюрморт, в котором ничего не достигла.

/.../

Остальная часть письма утрачена.

Вложен рисунок – Никита со спины.



Никита. Рисунок М.В. Фаворской из письма (Ф. № 94)

Ф. № 95

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Середина ноября 1916

Милая моя женушка целую тебя крепко извини что долго не писал, все время мы путешествовали, теперь приближаемся к концу, целый месяц не получал от тебя писем, теперь скоро наверное получу много.
Очень интересные места в которых мы находимся – горы, горные реки, похоже на Крым или Италию, очень тепло на улице можно свободно ходить раздевшись, снег был несколько дней но сошел совсем, словом на зиму совсем не похоже, скорее весна, тихие солнечные дни с легким туманцем. Любопытен народ, есть очень красивые и мужики и бабы в очень красивых одеждах но разговаривать с ними довольно трудно, вспоминаешь и французский и итальянский, кое-что получается. Об тебе я думаю все время так как писать-то некогда (на лошади все) а думать-то думай сколько хочешь и конечно все мои мысли об тебе но я не беспокоюсь, надеюсь у тебя все благополучно, и вот качаясь в седле я сообразил что совершенная напраслина на рыцарей, что весь их культ дамы был ложью, это не верно – живя такой грубой жизнью какой и они жили, вспоминаешь о своей даме именно с благоговением – лучше ее ничего на свете нет. 4 ноября я весь день справлял про себя наш праздник, хотел написать тебе стихи но никак ничего не мог написать, не выходило.
Если ты Марусечка будешь посылать мне посылки то посылай главным образом табак и гильзы потому что тут ни того ни другого нет, табак получше и покрепче. Жду от тебя писем. Деньги не посылал потому что жалованья еще не получал. Целую тебя крепко крепко Никитку тоже Бабушке кланяюсь

твой муж
Володька

прости, я не в силах выразить всей любви к тебе.

Ф. № 96

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
18 ноября 1916

Милый Володя, Арсений принес тебе и Ив. С. великолепные теплые штаны (из той деревенской материи). Но вы, так нам кажется, теперь переехали куда-то очень и очень южнее, и, может быть, вам

такие теплые штаны и не нужны? Хотя ехать верхом, весь день шагом, это верно холодно, или спать придется на улице – мне кажется, что эти штаны вам бы очень пригодились; ведь тепло никогда не помешает. Сшиты они хорошо, верно придутся как раз; тебе Володя с кантами, а Ив. С. без.

Напиши поскорее, присылать ли? Во всяком случае ведь зима, предстоят холодные месяцы. Я бы даже прямо послала бы, но Ниночка сомневается, а вдруг это будет обуза.

/.../

У нас ничего особенного. Никита делается все умнее. [...] Вот чем он надоедает, это тем, что иногда заладит писклявым голосом: «китоон, китоон»... без конца. Бабушка называет его иногда Никитон, вот он и перенял; и просит нарисовать Китона. Я уж не позволяю его так называть.

[...]

У меня опять побаливает сегодня спина.

Читаю «Войну и мир», и все та война кажется такой маленькой, совсем другой масштаб, и так странно и неприятно читать: австрийцы – наши союзники, а французы – враги.

/.../

Окончание утрачено.

------------------------------ ***Ф.*** *№ 97* ------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
23–25 ноября 1916
Верхняя половина листа оторвана

/.../ Одно только хорошее, что люблю я тебя и уважаю, и если ты говоришь, что я фундамент твоей жизни, то ты уж для меня целая вселенная, без которой нет мне ни воздуха, ни света. /.../

Оторвано, оборот:

/.../ если с ним [с Никитой] играешь, он смеется, хохочет. Просто мы с ним редко играем.

А Адриана он почему-то боится; мож. б. потому, что он влетает быстро, кричит, прыгает – вообще шумит; когда же Адр/иан/ берет его и тихо строит домики или смотрит картинки – Ник/ита/ сидит с ним. Ну целую тебя, моего ненаглядного милушка.

твоя Маруся.

По кромке: сегодня (24 ноября) иней /.../

24 ноября

Милушканный мой, неоцененный мой, возлюбленный мой – Володичка! Жив ли ты? Здоров ли? Мне становится с каждым днем страшнее за тебя. Никаких, никаких вестей!

Я обманываю себя, нарочно отвлекаюсь, зачитываюсь «Войной и миром», а у самой темно и тяжело на душе. Как я могу переносить это – думать, что ты в самых опасных, должно быть, местах, в боях – ведь мы же читаем газеты!

Ах, хоть бы от вас кто-нибудь приехал и толком рассказал, что у вас делается.

С дороги доходили письма, а пришли вы на место – и вдруг 3 недели нет писем. Остается думать, что бои все время и Бог знает что с вами. Нет, если думать – так остается только плакать и молиться за вас.

М.

25 ноября

[...]

---------------------------- ***Ф.*** *№ 98* ----------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
19 ноября 1916

Милая моя Марусечка целую тебя крепко, наконец получил от тебя письмо, которое привез прапор Васильев, спасибо за поздравления, я тебя уж поздравил в прошлом письме, очень хорошо мы с тобой сделали что поженились, и Никитку сделали не плохого а очень хорошего, даст Бог и дальше все будет хорошо. Я жив и здоров и никаких лишений не испытываю. Мы сейчас в горах и лесах и здесь очень красиво все больше ели и буки, приходится лазить по горам и бываешь иногда выше облаков, война здесь пожалуй по существу легче и безопаснее чем в другом месте так что ты обо мне не беспокойся. Сейчас в Москву едет Алтухов, он во всяком случае заглянет к нам, может быть кто-нибудь и будет в Москве из вас. Оба рисунка которые ты мне прислала очень мне приятны и твой и Никиткин. Мальчишка ведь наверно бегает теперь вовсю – помогай ему Бог.

Вчера я получил часть денег следуемых мне и посылаю их тебе, в общем я получил тысячу рублей но из них я немного оставлю себе здесь и затем я решил и советовался с командиром, и он сказал что это можно, подарить солдатам нашей батареи 200 рублей, что-нибудь на них



На позициях 3-й батареи в Румынии. Фото из архива И.С. Ефимова

купить – уж это командир придумает. Ведь ты конечно одобряешь этот мой поступок, я конечно просил командира что/бы/ это было в секрете от солдат, правда мало, но все-таки по рублю на человека выйдет. Затем меня было перетащили в другую часть, в легкую артиллерию нашего же корпуса но теперь уже это кончилось и я остался на батарее и думаю основательно. Ну девочка спасибо тебе что ты нарядилась в день свадьбы, я тоже ради тебя иногда франчу, ну целую тебя крепко целую Никитку кланяюсь бабушке низко и Нине Яковлевне всего хорошего

твой муж

Володька.

***Ф.** № 99*

В. А. к М. В. *в Домотканово*
25 ноября 1916

Милая моя женушка прошу у тебя много много раз прощения за то что мало писал тебе – это отчасти потому что я ведь от тебя за это время ни одного письма не получил (конечно без твоей вины) и кроме того были перемены все время, а я как рисовать чего-нибудь нового и незнакомого не могу, так и писать об мелькающем мне трудно, но это конечно не извинения, но теперь я постараюсь писать аккуратнее, ведь тем более что мысли мои только об тебе и об тебе, больше ни о чем. Но правда перешибить Ив. Сем. трудно, он все время с карандашом и бумагой. Но третьего дня я будучи на горе получил от тебя сразу целую кипу писем и так зачитался что все забыл и когда вызвали к телефону то я вылез из землянки и думаю где я, совсем про все забыл. Ужасно было хорошо услыхать от тебя голос про Никиту, про все, рад что ты хоть немного пишешь и эти ветки твои я очень чувствую, ты взяла очень трудное, самое трудное что можно писать – стена и ветки, помогай тебе Бог, а вообще главное – определенность и это у тебя есть, ты хочешь близость и дальность и светлое и темное, и это хорошо, мало ли что другое есть для выражения, но это тоже могучее средство. Никиткины рисунки ужасно трогательны, но ты знаешь, как раз с его рисунками письмо было вскрыто цензурой но конечно пропустили, но ведь это у него только игра, хотя конечно если он будет рисовать я буду рад до чрезвычайности. Пиши мне об нем все решительно каждое его словечко меня ужасно радует и веселит.
Насчет его кашля ты должна только с кем-нибудь знающим посоветоваться, но во всяком случае об легких моих или его и речи быть не может, это просто нежное горлышко. Я шляясь тут все хотел написать

тебе стихи но все не выходило ничего и я тебе посылаю все мои пробы. Кроме того рисунок горы на которой я получил твои письма, видишь это туманный день

На следующем двойном листке:

Я сижу на горе
Надо мной небеса
Подо мною плато из тумана

и рисунок простым и синим карандашом;
дальше на 2 страницах пробы стихов:

Я получил их на горе
когда сидел в окопе темном
я в спячке был как зверь в норе
одетые конвертом скромным
пришли ко мне гонцы любви
–/ – –/ – –/ – –/ –
Я получаю письма от жены,
и радости мне нету больше этой
/они живым теплом полны – *зачеркнуто*/
и мне когда бывают вручены
/...*неразборчиво*.../
/ –/ – / –/ – / –
/ – / – / – / – / –
Я получил их на горе
когда сидел в окопе темном
охапку целую
разведчик парень скромный
мне их вручил
/в зелен – *зачеркнуто*/
пришедших издалека
я в этот день на горах был высоко
и вот дошли ко мне
вы вестники любви
/горевшей для – *зачеркнуто*/
Два месяца не получал
я вас
я выслушал двухмесячный
рассказ
целуя ваши серые
обертки

На последней странице:

Я получил охапку писем
два месяца любви за раз
я жадно слушал их рассказ
про дальний

Перевернуто:

ведь ты же меня любишь и конечно я полон всяких недостатков и со мной не весело, но ты ведь любишь меня, а для меня ты и самая роскошная дама и царица и девочка бархатная моя Маруська. Целую тебя, Никитку и кланяюсь низко бабушке и Вл. Дм. всего хорошего твой

муж Володька

Ф. *№ 100*

В. А. к М. В. *в Домотканово*
27 ноября 1916

Милая моя женушка целую тебя крепко, я жив и здоров. Как ты с Никитком поживаешь. У нас сейчас довольно спокойно, офицеров много и отсидев на горе несколько дней, потом сидим внизу в землянке на батарее довольно долго. Слава богу нас собралось много художников и Васильев очень энергичный – все время рисует а за ним и мы все. Позируем друг другу и рисуем. Рисовать очень приятно но смущает /то что/ начинаешь думать об серьезной работе, а этого конечно уж нельзя. Послал я тебе и рисунок и стихи – и то и другое конечно хуже чем я бы хотел, но уж ты меня извини. Все время хочется послать тебе что-либо хорошее. Места как я уж тебе писал тут исключительные. Рассказывают что есть кабаны, потом говорят что когда брали одну высоту и цепочка солдат тихо подкрадывалась к неприятелю встал им навстречу медведь и они расступились и пропустили его, другой раз на одну легкую батарею напал медведь, артиллеристы были как полагается без всякого оружия и им пришлось спасаться на деревьях, вот какие чудны́е места. Я все с удовольствием вспоминаю что ты хоть немного рисуешь, ты по возможности не бросай. Конечно и не утомляй себя, бери небольшое полотно и пиши сидя. Вспоминаю я тоже, что скоро откроется Моск. Товар. Устроила ли Женя[1] мои картины и приняли ли их да и можно ли их смотреть а то ведь они адски отсвечивают.

Я иногда поигрываю на дудке[2] и не слишком привожу всех в уныние, а у Николашки[3] так совсем хорошо выходит на флейте.

Да приехала ли к тебе мама или она еще в Москве, если у тебя, поцелуй ее крепко. Как нашла она Никитку милуха, понравился ли ей и как он ее встретил. Ну пока всего тебе хорошего твой муж

Володька

[1] *...скоро откроется...* – выставка МТХ; *Женя* – Евгения Ивановна Орнатская-Королькова – художница, соученица В. А. по Мюнхену; жена М. В. Королькова.

[2] *...на дудке...* – на кларнете.

[3] *Николашка* – Н. Розенфельд.

---------------------------- **Ф.** *№ 101* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
Конец ноября 1916
Написано на бересте

Щеки у меня разгорелись, от мороза с инеем, от жара лампы или от любви к тебе, мой возлюбленный.

Щеки алеют, а жемчужные бусы отсвечивают весело; я их всегда на ночь надеваю, думая об твоей любви. Коса заплетена туго, я знаю, ты так любишь. А надо лбом, недавно заметила, маленькие молодые волосики расфыркиваются; мне стало так смешно – как у нашего сынишки. Груди у меня стали тяжелые, как полные виноградные грозди. А живот, это главное во мне всей: там наша с тобой любовь творит чудеса.

И бархатная кожа стала, нежная, как эта береста.

Ты бы сказал, что я красивая. Это от того, что я тебя люблю: от любви бывает красота.

А ты, мой воин воинственный, ты какой стал?

---------------------------- **Ф.** *№ 102* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
1 декабря 1916

Вчера я гуляла по новому снегу, была в Ельнике; а около кочеровского ручья вдруг белочка ко мне навстречу бежит. Я смирно стала; она прямо ко мне; уже до ног дотронулась; я пошевелилась – она убежала, а то, видно, приняла за дерево и хотела на меня прыгнуть. Сама серая, а хвост рыжий.

Дома уж стала спать ложиться, хотела бусы надеть, а их нет, жемчужные. Поискала, поискала – нет. У Ольги Тихоновны спро-

Щеки у меня разгорѣлись, отъ мороза съ инеемъ отъ
~~жара~~ лампы или отъ любви къ тебѣ мой возлюбленный.
Щеки алѣютъ, а жемчужныя бусы отсвѣчиваютъ весело; я ихъ
всегда на ночь надѣваю, думая объ твоей любви. Коса заплетена туго,
Я знаю ты такъ любишь. А надо лбомъ недавно замѣтила
маленькія и молодыя волосики расфыркиваются; мнѣ стало
~~тоже~~ смѣшно какъ у нашего синишки. Груди у меня
стали ~~тяжелыя~~ какъ ~~полныя~~ виноградныя грозди. А живо[illegible]
Это главное во мнѣ всё; И бархатные тамъ наша ~~кожа~~ съ тобой ~~сказка~~
любовь творитъ чудеса.
нѣжная какъ эта берёзка.
Ты бы сказалъ что я красивая. Это отъ того что
я тебя люблю: отъ любви бываетъ красота.
А ты мой воинъ воинственный ты какой сталъ?

сила – нет; я когда гулять хожу, ей даю. Ну легла спать и всю-то ночь вертелась, думала – где я их потеряла; решила, что на улице. И вот, каждый шаг вспоминала, где я была в этот вечер, вспомнила все тропинки; да все равно, думаю, не найти: снег все время шел, а они белые в снегу лежат, холодно им – привыкли на теплой шее. И тут только в сегодняшнюю ночь я поняла, до чего можно привязаться к вещи! тут и твоя любовь, и поверье, что жемчуг разгоняет дурные мысли[1]. К утру, не выспавшаяся, я поплакала и встала. Вот, думаю, наказание – зачем тебе в последнем письме, на березовой коре, хвасталась. Еще, думаю, бабушка поругает, что такую вещь на тонкой нитке ношу... А ведь сама знаю, /но/ еще тяжелее, когда другие говорят.

Выхожу – а бабушка передо мной же извиняется: оказывается, Ольга Тихоновна нашла их в зале на ковре, бабушка взяла посмотреть – они рассыпались, нитка разорвалась. Ну, нашли все, кроме одной. И ту, надеюсь, еще найдем. Я так рада и удивлена – вот теперь иду по снегу и невольно смотрю, ищу.

Когда ночью думала, решила, кто найдет, 5 рублей дам. Ну, теперь уж буду надевать их только на ночь.

[...]

3 го декабря

Милый мой муж, наконец получила от тебя письмо! с маркой, видно, Алтухов опустил. А много-много твоих драгоценных писем пропало! ведь с тех пор, как ты уехал, только 6 писем получила. И мои верно, пропадают, я пишу тебе почти каждый день, все мелочи, все тебе пишу, и про Никиту много. А теперь, зная что ты эти письма не получишь – прямо мысли разбегаются и хочется все сказать, всю жизнь; да ведь не скажешь сразу; это можно только понемногу.

Сегодня получили от папы письмо, что Варя ему написала, что у них плохо: Влад/имир/ Мих/айлович/ плохо поправляется, оч/ень/ плохое настроение; у Ириши[2] было прошли припадки (дурнота), а теперь опять почти каждый день; а сама Варя тоже совсем больная, сердцебиения, и еле встает. И так это все далеко, никак не поможешь им. Бабушка, видно, думает, что ей надо ехать, но, по-моему, она сама заболеет, если поедет. Миша мог бы помочь – но его взяли в солдаты; он в военном училище[3] в Москве. [...]

[1] Примечание из «Записок» М. В.: *Эти бусы Владимир Андреевич подарил мне к свадьбе, будучи женихом. Но жемчуг, говорят, к слезам... Скорее, так.*

[2] *Ириша* – Ирина Владимировна Бяшкова (1906–1920) – дочь В. Я. (Вари); в 1920 г. погибла в результате несчастного случая в горах. Письмо написано с Дальнего Востока (*см. Ф. № 83*).

[3] *Миша* – Михаил Владимирович Бяшков (1890–1917), старший из детей В. Я.

---------------------------- ***Ф.** № 103* ----------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
2 декабря 1916
Написано на необычно большом формате, крупно – видимо, в темноте. Обведено по карандашу пером, рукой М. В.

Милая моя женушка здравствуй целую тебя крепко. Я жив и здоров, третьего дня получил от тебя письмо с портретом Никитки, большое спасибо тебе, и письмо получил от папы и от мамы. Мне принесли эти письма на гору где я дежурил и я очень насладился ими. Никитка меня очень порадовал: такой стройный красивый мальчишка, прямо прелесть. Очень жаль что ты не можешь рисовать, правда у тебя теперь две заботы – Никитка да девчонка. Ну я верю что когда я к тебе вернусь и мы заживем спокойно то ты будешь рисовать и для этого будет у тебя время, а сейчас ведь и я не рисую. Ну ничего когда-нибудь все будет хорошо.
Сейчас тут спокойно а на днях был маленький бой, но ничего особенного. Вообще ты кажется воображаешь что мы попали в самый ад но это совсем не так, тут ничего особенно опасного нет, наоборот даже безопаснее чем где либо, тяжелых орудий у противника тут нет и это очень приятно, одно только – что утомительно лазить по горам, так что ты об нас не беспокойся, мы сейчас в таком не важном месте что едва ли про нас и в газетах что пишут и все эти сильные перепетии к нам не относятся. Твой рыцарь малость устал и заболел самой не рыцарской болезнью – брюхо болит, но он этому очень рад так как можно немного побалбесничать. Мы все понемножку рисуем, Ник/олай/ Бор/исович/ и Ив. Сем. уже чертили панорамы и все завидуют нашей батарее что у нас так много художников, особенно здесь это пригождается, так как каждому влезть на все горы трудно и много времени уходит, словом я рад что они делают дело и видят что оно нужно (эти панорамки сильно помогают разбираться в вершинках). Словом живем мы неплохо и ей Богу с прибавлением такой большой дозы художников как-то все стали жить дружнее и веселее, иногда правда все расходятся по разным пунктам и долго не видятся, но иной раз соберемся все вместе и изображаем что-то вроде семейства, нет правда, с прибытием Ив. Сем. /*пропуск*/[1], Васильева у меня есть здесь родные люди, и хоть и не часто с ними говоришь но что они тут есть помнишь.

Видел сегодня какой-то длинный сон но не могу вспомнить – помню что хороший и что ты была там. Ну целую тебя крепко твой муж любящий тебя до чертиков целую Никитку и бабушку. Если мамка у вас то я очень рад и целую ее.
Ну всего хорошего твой муж

Володька.

/.../

[1] Стерта, несомненно, фамилия *Розенфельд*. Видимо, после ареста (в 1935) Н. Б., всей его семьи и многих друзей – М. В., опасаясь обысков, изъяла (отрезала, оторвала, стерла, выскребла) все очевидные упоминания его из семейного архива.

------------------------------ ***Ф.** № 104* ------------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
4 декабря 1916

Милый мой муж, ты думаешь, Никита один бегает; нет еще! Он так торопится, что нельзя его пускать одного, и кто-нибудь его на полотенце всегда держит. Иногда бегает и один, но тогда Катя с одной стороны комнаты, а я с другой, и вот он перебегает от Кати ко мне. Бывают дни, когда он охотно бегает, а то так сидит на диване или на высоком стульчике (старый Наташин стул) и смотрит картинки или рисует; рисует сам, а потом просит чтобы ему нарисовали «Голи» – Григория; пеню; «Китоон» – Никиту, апики – яблоки, типку – цыпку.

[...] На все он теперь говорит «нет», и так хорошо и решительно, что не хочется с ним спорить.

Если увидит на картинке лампу, гов/орит/ «коптит». Лампу называет вообще – «коптит».

Большая часть следующей страницы оторвана.

/.../ проектами... Но раз уж я взялась за другое дело, а двух дел зараз делать не могу – бросила рисование и теперь рада; день идет спокойно, я вижу Никиту, успеваю гулять и заниматься хозяйством; только бы главное мое дело удалось!

Оборот:
/.../
Ты хорошо сделал, мой милый муж, что дал солдатам 200 р. Ведь вот никто бы из нас не догадался, будь на твоем месте – я, Леля, Ниночка, Ив. С. Целую тебя за это еще раз.

Никита завистлив; что бы ни увидал в руках другого, все ему надо. А Адриан не дает; Ник/ита/ плачет отчаянно, закатывается долго-долго беззвучно. Сегодня Адриан дотронулся до его бутылочки с молоком, так это была такая обида. А ест Никита теперь мало; все не доедает, оставляет, особенно молока стал мало пить.

Когда ушибется, я спрашиваю: «где болит?», он показывает на голову; а то найдет царапину на руке, говорит: «болит»; а иногда ямочки на руках осматривает и считает, что это «болит» – /дурачок – *зачеркнуто*/.

***Ф.** № 105*

В. А. к М. В. *в Домотканово*
7 декабря 1916

Милая моя Марусечка целую тебя крепко я жив и здоров. У нас сейчас спокойно, а недавно был бой и очень удачный, забрали много пленных, их привели с гор ночью, пошел посмотреть, наши дают им хлеб – так прямо рвут из рук. Человек голодавший один день не будет так бросаться, а все говорят что они не терпят недостатка ни в чем. Ну да Бог с ними. А вот почта нас не балует, письма от вас получаем очень слабо, часто почтальон приезжает совсем ни с чем, а так хорошо было/бы/ получить от вас весточку, не знаешь тоже, как доходят мои письма. Ну а жить здесь не плохо если бы получать от тебя вести, конечно веселого ничего нет но и грустного мало, на горы смотришь и хотелось бы их писать и писать как следует да только конечно этого нельзя, вообще все кто пишет горы делают их такими легкими, подобными облакам а это не верно, они очень тяжелы, они тяжелая земля поднявшаяся на такую высоту и в этом именно вся их удивительность, вот и хотелось бы это выразить и еще хотелось бы на опыте попробовать вот что. Мне всегда кажется так: туманная даль с мелкими фигурами – она располагается на скатах на небольшом подъеме в лощинах, а самые вершины меряются уже другою мерой – большею и поэтому становятся уже близкими и большими. Это очень обворожительно и интересно, ну да это запомнится и когда-нибудь удастся написать что-либо подобное. Ну вот тебе девочка самые мои лучшие мысли, кроме тех которые об тебе и об Никитке, какие слова он еще сотворил своим язычком ты напиши мне. Все не могу никак отправить тебе денег, нет случая, а уж накопилось 800 р., тебе бы это пригодилось. Ну да это устрою как-нибудь. Ну а пока всего тебе хорошего

моя возлюбленная целую тебя, представляю тебя в красной пузатке[1]. Целую Никитку, он ведь веселый надеюсь.

твой муж
Володька

[1] *Пузатка* – очевидно, свободная одежда для беременной.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 106* ----------------------------

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
17 декабря 1916

Милый мой муж,
я лежу и думаю об тебе. Я тебя так люблю, всего, всего тебя, и так чувствую тебя. Нет, этого не выскажешь словами.

Я разлучена теперь и с Никитой (не пускаю его в мою комнату, чтобы не заразился от меня жабой) и чувствую тоже, что люблю его ужасно; когда он спал, я пошла в залу – на диване, вижу, его рукавичка – так мне хотелось целовать эту рукавичку. И вообще, как я могу от него уехать? – ведь с ним быть, смотреть на него, слышать его нежные слова, раздевать его, куснуть его пальчики и гладить его толстую спинку – ведь это же счастие.

И надо иметь громадную любовь к искусству, чтобы добровольно уехать от такого сокровища (как было у Ниночки). Вообще всякий ребенок – это роскошь, это, пожалуй, самое роскошное, что бывает на свете.

Володичка, но ведь ты для меня тоже роскошь не менее, чем Ник/ита/, а я для тебя?

Никитка засыпает эти дни оч/ень/ быстро, потому что столовая внизу, и наверху совсем тихо. Ах, Володик, ну что же делать? – он весь в меня!

Но непременно берет что-нибудь с собой спать: третьего дня «кананик», вчера свою калошу – «калотьки», сегодня половину резиновой куклы.

18 дек/абря/

Получила от тебя письмо!
про горы ты пишешь очень верно, и Леля оценила эту мысль, что вершины ближе и т. д., я горжусь тобой, мой возлюбленный. А ты меня назвал возлюбленной (мне это очень приятно), и я правда

в красной пузатке. Только из-за жабы и из-за почек я чувствую себя оч/ень/ слабой и не пышной, как должна быть твоя возлюбленная.

[...]

Сейчас великолепная лунная ночь, снег блестит, мороз и звезды. Приехали Аня и Митя. Я все лежала у себя и их еще как следует не повидала. Они как увидали Никиту, сказали, что он вырос, стал толстый и широкий; оч/ень/ напоминает Андр/ея/ Евг/рафовича/. О. В. мы ждали, ждали, а вот Аня говорит, что она сказ/ала/ по телеф/ону/, что опять захворала. Что с ней? Жду письма. В Москве поветрие жабы, мож.б. жаба? Жаль, что она не может приехать.

Целую тебя, мой ненаглядный. Я тебя так чувствую! И так представляю себе всего всего тебя и одетого и раздетого и твое прикосновение. Храни тебя Бог.

твоя Маруся

------------------------------ ***Ф.*** *№ 107* ------------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Середина декабря 1916
Начало и конец утрачены

/.../ и туман как море внизу а из него вылезают только некоторые вершинки какие-то суровые, обглоданные, а туман как перламутровое море. Вообще тут странные места. Мы сменяемся на наблюдательном и вот уходишь дня на три на вершины и сидишь там. Все горы в лесу, больше всего ели, но не похожи на наши а такие как у Васнецова[1] только конечно лучше. На этих горах играет туман, то ляжет слоем вверху, то внизу, то в два слоя, по-разному. На вершинах, где туман там иней каждый день с новым узором, то пушистый, то определенный, колючий. Ночью спишь у громадных костров которые кажутся наваленными циклопами и тепло а кругом лес, смотришь и не веришь в его существование, он и по тонам особенно с кострами ночью совсем похож на декорации вроде «Жизни за Царя» (Сусанин в лесу). Я сплю хорошо, у меня теплейший полушубок и сапоги тоже хороши, но все-таки сурово и вот чудно – видишь массу снов, и каких-то феерических, роскошных, ужасно красочных. Больше всего видишь конечно тебя. Один /.../

Отрезан край страницы.

/.../ раз мы с тобой по каким-то дворцам и садам как будто на дне морском, а ты была одета так /, как/ греческая богиня, в какие-то розовые прозрачные одежды. А иногда почему-то от сна остается обида, вспо-

минаешь, и кажется я видел тебя а ты не обратила на меня внимания, но наяву этому конечно не верю (ну глупости).
/…/

[1] *Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926) – русский художник.

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 108* ----------------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
18 декабря 1916

Милая Марусечка, второй день получаю от тебя письма. Один день 3 письма очень старых, еще октябрьских, а вчера три письма поновей от ноября, одно */неразб./* а другое на березе очень милое, все письма такие разные, прямо поражен, обо всем думаю. Еще Ив. Сем. получил твое тревожное письмо, очень это меня огорчило, уж не знаю насколько я виноват, действительно я пишу меньше чем прежде но все-таки пишу в неделю-то два письма наверное, может потерялись ну да я постараюсь писать почти каждый день. Ну так девочка, получил я от тебя и печали и радости, хорошо одно, что серьезно ты не болела и сейчас и ты и Никитка здоровы так что и остальное будет все благополучно. Еще удивила ты меня своими старыми мыслями насчет самостоятельной жизни, как все это будет не знаю я сейчас, да мне как-то и не думалось об этом, но конечно я тоже этого хочу, но думаю что добиться этого трудно и добьемся не сразу, ведь нужно зарабатывать и порядочно, а ведь сама знаешь что это сразу трудно, я думаю что когда все это кончится, я займу у кого-нибудь денег и мы поселимся может быть в деревне и будем работать вовсю и надеюсь что это удастся. Меня главное заботит чтоб добиться чтоб ты работала и не уставала, а вообще насчет этого если хочешь поговори с мамой, она может тебе посочувствовать и посоветовать, но вообще когда время придет я буду стараться, но и ты подумай как это лучше сделать для всех нас. Ну да ведь сейчас это не к спеху.
Читаю с удовольствием все насчет Никитки, его разговоры, поведение, все ужасно интересно и конечно он драгоценность, но значит баловник должно быть будет порядочный, а, ну ничего это ведь не беда. Лишь бы был веселым, добрым и честным, словом был во всем похож на маму, только бы повеселей. Вот моя детка.
Что же еще в твоих письмах? Да, насчет февраля, знаешь, может и удастся приехать мне как раз в это время, но только ты меня не жди, зря

не надейся. Получил я еще от тебя милое письмецо на березовой коре, и чувствую какая ты красавица (а ты спрашиваешь какой я, да кажется не больно красив, одичал и завалялся, загрязнился, ну да это не беда), а на твое письмо я расскажу тебе сон: я был на горе, на наблюдательном и там ночевал в маленькой землянке, она величиною – рост человека на рост человека, а встать, выпрямиться нельзя, нужно сгибаться, частью в скале, а частью сложена из камней, есть печка из камней тоже, а на полу еловые ветки. Со мной было три солдата, очень милых ребят. Печка горела, я в полушубке дремал, было тепло но дымно и видел должно быть массу снов но не все помню. Будто вечер у кого-то, я там не помню как одет, сутолока и как часто на таких вечерах хочется ухаживать, и конечно за тобой а ты как раз тут и декольте и руки голые и какая-то вся блещущая – волосы и шея, как будто на тебе шелк и масса складок и я все за тобой, а ты смотришь, но говоришь с другими, не помню с кем, но с мужчиной. Я ревную, мы маленькой комнатой переходим в комнатку с какими-то мягкими креслами и там загорается спор о любви и я спорю с пеной у рта, чтоб тебя завоевать. Ты сперва на их стороне но потом соглашаешься со мной, просишь меня замолчать, ты согласна говоришь ты, молчи, молчи. А спор чудной, они доказывают что есть и должна быть любовная драка, а я не согласен – я говорю что должна быть любовная борьба, вот как и не иначе! Словом, важно было победить их и завоевать тебя и это мне удалось. А потом какая-то кавалькада, прогулка не то по горам не то еще где-то, много мужчин и женщин и ты впереди на красивом большом осле. Едут по тропке и проезжают большой барак для пехоты, который мне знаком, там в одну дверь въезжают а в другую выезжают, и вот я смотрю на тебя, и смотрю, что осел хороший, который тебя несет, я ему благодарен, я его глажу по шее, шерсть пушистая, по щеке его глажу а смотрю на тебя. Он хватает руку губами, ищет хлеба, забирает руку глубже, глубже в рот, я боюсь, что он откусит и удивляюсь, что не больно. Просыпаюсь – я отлежал кисть руки. Вот тебе мои сны, почему-то на горах их часто видишь и самые роскошные. Ну целую тебя крепко если мама с тобой поцелуй ее и скажи ей что люблю я ее чрезвычайно и что ее письма доставляют мне громадное наслаждение, они такие интересные, прямо классические. Да, и тобой и мамой я очень горжусь
спокойной ночи

твой муж

Володька

тебе и маме низко кланяется Николай Борисович.

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
Середина декабря 1916
Начало утрачено

/…/ от жестоких слов, и так уже обиженный мальчик начинает хуже плакать. А ведь попробуй с бабушкой об этом говорить – так хуже будет; вообще у нее такие твердые правила, что их нет никакой возможности поколебать; и когда Ник/ита/ еще громче плачет от ее тона – она думает, что он не плачет!! Самые факты не имеют для нее значения! Странная вещь старость. Хотя про бабушку говорят, что в молодости она была еще в 1000 раз педантичнее.

И вот я уеду. Так хоть иногда я прихожу к нему и ласкаю его и говорю ему те слова, которые уничтожают педагогику; а ведь останься он без меня – сожмется, сделается не по летам взрослым и сдержанным. А ведь даже в лучшем случае мне придется отсутствовать 2 месяца. А ведь бабушка его любит! Но действует не чувством, а разумом; и зачем только женщине ум дается, право, лучше бы все женщины были глупы. Перевес ума у женщины над чувством – это оч/ень/ оч/ень/ не хорошо. Если дано много ума – надо, чтобы было отпущено еще вдвое больше чувства. А у мужчины, если дано много чувства, надо чтобы было отпущено по крайней мере столько же ума. Ах, Володичка, глупости я говорю? да, но ум я понимаю в строгом смысле слова: способность к наукам, к логической мысли, к рассуждению; память, точность, сообразительность.

Ума часто и совсем не бывает у женщин, и это нисколько не мешает им быть оч/ень/ хорошими, добрыми, чуткими и необходимыми в жизни людьми. А то, что такая женщ/ина/ может очень и очень многое понять – это она чувством, чутьем поняла; а говорят, она поняла женским умом. А по-моему, нет женского ума; зачем путать названия: у женщины чувство заменяет все. */Зачеркнуто 3 строки/*. Прости, Володя, за рассуждения, ведь я женщ/ина/ и не мне бы рассуждать, но не могу удержаться, чтобы не сказать, что ты идеальный мужчина, и умный и чуткий; а говоришь еще, что с тобой скучно!

Бабушка считает, что ребенок должен кого-ниб/удь/ бояться и слушаться: что надо переломить волю ребенка. По-моему, это не надо. Но ведь попробуй поговори с ней о педагогике; а ведь чего же ломать, сама жизнь сломает. Никита такой настойчивый, его нельзя ломать, у него оч/ень/ сильные и определенные желания, но вместе с тем он всегда понимает, чего действительно нельзя, и даже не заплачет: лампу трогать нельзя, я объясняю почему, и он второй раз и не пытается взять;

печку трогать нельзя, самовар нельзя. Ну а сахарницу с крышкой я ему даю (а бабушка не одобряет); и вообще бабушка может из педагогики взять и не дать ему даже то, что можно, и будет рада, если он плачет, а она выдержит до конца свою роль. Если мама шепнет здесь на ухо: «Ну, сделай уж так, как хочет бабушка, а я тебя потом на колени возьму», ну тогда делает все, что требует бабушка, и сделает с чувством геройским, вот я не плачу; а потом у мамы поплачет и ласки ее все горе унесут.

А ведь это преломление воли, это только озлобление характера. Ах Володя, родители, может быть, не имеют права создавать детей, раз они не могут их сами воспитывать.

Леля гов/орит/ у Ник/иты/ оч/ень/ хороший голос; это верно. Это от тебя, у тебя благородный голос. Сейчас Ник/ита/ в коридоре, мячик упустил за дрова и гов/орит/ «давами» – дровами: вообще оч/ень/ приятно слушать ,как он говорит. Он гов/орит/ много хороших слов: «танитки» – штанишки, «тававки» – слово, которое он, кажется, и сам не знает, что значит; «пупкит» – тоже неизвестное слово, смешное. «Шапка» – смешное слово, сам всегда смеется, когда говорит; [...] «Дадут тику» – чайку; пьет и после каждой ложки вздыхает, как ты, и гов/орит/ «папка». Это я ему, конечно, говорила, что папа так пьет чай.

Я, кажется, погорячилась насчет ума; все-таки ум необходим, даже и для женщины, и я бы не хотела поручить Никиту женщине, у которой нет ума, одинаково как и женщине, у которой нет чувства.

Ты получишь это письмо на Рождестве, поздравляю тебя с Рождеством Христовым; а к новому году вот мои пожелания: быть живым, быть здоровым, быть бодрым, а чтобы Россия и союзники заключили хороший мир, и ты бы вернулся домой; а дома – ну, это уж ты дальше пожелай.

вся твоя М.

Ф. *№ 110*

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
20 декабря 1916

Милый мой муж, милушок, целую тебя и поздравляю с праздником Рождества Христова. А к новому году желаю тебе быть живым, здоровым и бодрым; и чтобы союзники заключили хороший мир, и ты бы вернулся домой, мой красавец. Это я уж тебе писала.

Я рисую «поклонение пастухов и волхвов» для теней; будем показывать в колачевской школе. Вспоминаю твои прошлогодние фигурки, и у меня выходит похоже на твои; прочитала у апостола Луки, что волхвам явился ангел и воинство небесное и что на небе было ликование; так я нарисовала ангела большого, а потом веночек из маленьких херувимчиков (конечно все вроде Никиты, но ведь это не нарочно: все дети такие). Не знаю, как будет в тенях; а рисовать все это было интересно, тем более что я лежала; ну сегодня даже вышла на улицу на 5 минут; а Никита, несмотря на 11-градусный мороз, гуляет по 2 раза в день.

Теперь съехалось много народа, и Никита всех поочередно боится: Аню почему-то не боится, Митю чуть-чуть, Гришу довольно сильно, а Петю очень боится: как увидит, кричит «ко мне, ко мне!» – просится на руки. Раньше все в зале играл, а теперь там сидят, и он все уходит в переднюю или ко мне в комнату. Когда Никита ест одно кушанье, а хочет другое – он гов/орит/ «этого, этого» пискливым голосом, назойливо, пока не дашь.

[...]

Мы живем тихо и как-то не похоже на праздники. Леля много играет на рояле; Ниночка занята петрушками для школы; я – тенями; Митя и Аня больше лежат на громадном диване и спят; берут книгу, но говорят, что этот диван действует усыпительно. Ну, надо спать, поздно. Целую тебя; люблю тебя

вся твоя М.

21 го дек/абря/

Милый мой муж, посылаю тебе ангелов, которые будут у нас в тенях.

Сегодня приехали Ляля, бабушка и Наташа; Никита спутался и теперь уже ни на кого не обращает внимания. Юру почему-то совсем не боится. Никита бегал сегодня все с громадным мячиком:

/Рисунок/

22 го дек/абря/

Сейчас Никита купался; теперь у нас полон дом людей; время идет быстро; я не успела тебе побольше написать. Ниночка уезжает в Москву и в Отрадное на 3 дня.

Целую тебя, мой ненаглядный,

твоя жена

/Вложен рисунок с херувимами./

уже ни на кого не обращает внимания. Юру почему-то совсем не боится. Никита бегал сегодня все съ громаднымъ мячикомъ;

22^го дек.

Сейчасъ Ник. купался; теперь у насъ полонъ домъ людей; время идетъ быстро; я не успела тебе побольше написать. Ниночка уезжаетъ въ Москву и въ Отрадное на 3 дня. Целую тебя, мой ненаглядный.

твоя жена.

М. В. к В. А. *Домотканово – Армия*
24 декабря 1916

Милый мой муж, сегодня сочельник, все сидят внизу в столовой, нанизывают изюм с миндалем; а я стерегу Никиту; в зале на диване лежу, елка, уже наполовину украшенная, стоит посреди залы; а окна голубые, там чудная лунная ночь. Я все думаю об тебе, мой муж, мой милушок милушканный.

Как у вас, что вы сейчас делаете; об чем ты думаешь? Если жив и здоров – верно обо мне думаешь. /…/ А вчера вечером мне что-то было тревожно, долго лежала и слушала, не едет ли лошадь (Митя и Аня уехали в Москву), думала «а как бы хорошо, как бы нужно получить от Володика письмо»; а на улице светло от луны было. Слышу, Маня[1] идет, дошла до двери, видит, огня у меня нет, и ушла на кухню; я побежала за ней, взяла у нее письма, и вижу, от тебя открыточка! там, где ты пишешь, что у тебя есть для меня колечко. Ну, я буду представлять, что ты его мне на елку подарил или на рождение; ведь завтра 26-ое[2] и мне будет 30 лет! ведь это совсем почтенный возраст, а я себя совсем не чувствую такой.

Сегодня ходила в первый раз на лыжах; все ходили за елкой, но я скоро вернулась домой: уж очень сильный ветер был, такая метель, что след лыжный моментально заметало; и очень было тяжело идти: снегу напáдало масса, и ужасно рыхлый.

Пришла бабушка; пойду вниз.

Все беспокоюсь об Никите.

/…/

25 декабря 1916

Милый мой муж, сегодня у нас была елка; собралось много народа, и своих, и прислуг, и деревенских. Всем раздавали подарки, гостинцы; так что Ляля удивляется: «Это не подходит ко времени, так много всего». Показывали тени (вот которые я вырезала), но показывали плохо, не приспособились. (Посылаю тебе Христа[3], а еще, что мне досталось в конфекте, гадание; мы вчера долго сидели писали, и завернули в каждую конфекту гадание. Мне вышло мною же написанное.) Когда только что хотели показывать тени – вдруг приехал батюшка; пришлось идти вниз, была служба, а потом уже тени и елка.

Я зажигала елку и смотрела на Никиту; а он совсем не обратил внимания на елку, на свечи; сидит на диване и «читает» газету. Вчера,

когда елку принесли, Никита смотрел с интересом, трогал ветки, искал у елки «ноги», потом брал украшения и бегал с ними целый день; а свечи зажженные и люди, которые пришли, его как-то не занимали; он правда устал и хотел спать.

[...] Здесь Коля[4]; очень веселый, ему все выходило в гадании какая-то встреча и вообще счастие. Приехал папа и девочка Шнитникова[5], теперь высоченная девица. Были все из того дома[6]. Завтра приедет Мар/ия/ Дмитр/иевна/[7], потом Билибины[8], потом Митя и Аня (Митя, по-моему, сделался Чеховым – исполняет традиции семьи Чеховых: Мар/ия/ Алекс/андровна/, мать Ани, также как и О.В., любит, чтобы /в/ праздники были все вместе; и вот они поехали на 3 дня в Москву). Так что людей у нас много, не хватает уже подушек и одеял. А от О.В. получила письмо: оказывается, она оттого не приехала, что боли у нее все не прекращаются, но она надеется, что скоро пройдут и она сможет приехать после праздников.

Получила сегодня от тебя письмо, написанное, видно, месяц назад; уж где оно странствовало, не знаю; проверено цензурой и проткнуто проволочкой почему-то. Ты говоришь в письме об том, что рыцари искренне поклонялись своим дамам и что это естественно. С моей стороны я тоже чувствую, что ты действительно мой рыцарь, рыцарь Владикан и что ты там сражаешься и страдаешь и конечно это для России, но и меня это как-то касается, ты и мне служишь, как рыцарь. /.../ сегодня я плохо спала, было как-то страшно, беспокойно. Будь, главное, жив и здоров. И мне бы достигнуть, чего хочу; хорошее гадание попалось. И Леле хорошее: «тебя как-то счастие все обходило – теперь не обойдет».

А Ляле: «блаженны нищие духом».

Мы писали разные разности; священник совсем не кстати приехал поздно и остался на елку; ему чуть не попалась какая-то глупость в конфекте – Юра как-то у него взял.

Ну вот, устала я за сегодняшний день. Спать надо.

Целую тебя /.../

твоя жена и дама М.

26-го декабря 1916

Милый мой муж, сегодня бабушка таки поздравила меня, а папа было за обедом упомянул, что мое рождение – но я как-то замяла эту тему. Сегодня Катя ушла домой и я весь день была с Никитой; впрочем, когда он спал – я пошла в лес по тропинкам; такие есть роскошные замки, дворцы, переходы из снега на елках, я не удержалась и ста-

ла делать ступеньки и переходы и комнатки, как для мелких[9]. Леля, Юра, Гриша и др. ушли на лыжах, а мне хотелось быть одной, чтобы быть как бы с тобой.

[...]

Устала я опять сегодня. Целую тебя.

М.

29-го декабря 1916

Вчера у Никиты было 38,3; кашлял ночью, насморк; заразился от Адриана или Наташи. А тут приехали Билибины, какие-то ряженые соседи, Юра и Гриша и приехавшая барышня разрыли наряжальный сундук[10]; вообще шум, беготня по всему дому. Я как-то замучилась и нервно и физически, и мне так показалось несправедливо и не хорошо все – что я поплакала, когда легла.

[1] *Маня* – горничная.

[2] М. В. родилась 26 декабря 1886 г. (8 января 1887 г. по н. стилю).

[3] Вырезанная фигурка Младенца Христа для теневого театра – для сцены Рождества.

[4] *Коля* – Ник. Я. Симонович.

[5] *Девочка Шнитникова* – Татьяна, младшая дочь друга Вл. Дм. Дервиза по Училищу правоведения.

[6] *...из того дома...* – Имеется в виду дом Валериана Дмитриевича (в котором теперь расположен музей В.А. Серова).

[7] *Мария Дмитриевна* – жена Ник. Я. Симоновича.

[8] *Билибины* – Иван Яковлевич Билибин (1876–1944) – график, иллюстратор, театральный художник. Гостил в Домотканове со второй женой (гражданской, с 1912 по 1917), красавицей полуфранцуженкой-полубританкой, художницей (своей ученицей) Рене Рудольфовной О'Коннель (1891–1981). В 1920 г. И. Я. Билибин на пароходе «Саратов» уплыл из Новороссийска в Каир; с 1925 г. жил и работал в Париже. В 1936 г. вернулся в СССР. Умер от голода в блокадном Ленинграде.

[9] *Мелкие* – слово из детства М. В. – общее название персонажей игрушечного «маленького» мира.

[10] *Наряжальный сундук* – с маскарадными костюмами, аксессуарами и пр.

Ф. № 112

В. А. к М. В. *в Домотканово*
22 декабря 1916

Милая Марусечка здравствуй, как живешь, как Никита, я жив и здоров у нас пока спокойно. Пишу тебе сейчас с наблюдательного с горы, сейчас пойдет разведчик сменяться и снесет мое письмо вниз, здесь навер-



Новый год 1917. *Слева направо – на полу*: Ренэ О'Коннель, Вл. Дм. Дервиз; *сидят*: И.Я. Билибин, Адриан Ефимов, Наташа Симонович, Леля Дервиз, Аня Чехова-Дервиз, Н.Я. Симонович-Ефимова, Татьяна Шнитникова, М.В. Фаворская, А.С. Симонович; *стоят сзади*: Юра, Митя и Гриша Дервизы

ху очень красиво и тихо тихо, то застелет туманом то очистит и тогда видно очень далеко: все горы и горы, ели стоят покрытые снегом а внизу снега нет и долины темными пятнами рисуются. Ночую в землянке, здесь она большая и теплая так что ночевать удобно, да с моим полушубочком везде будет удобно, закутаешься в него и будет очень тепло. Я все думаю об тебе но ни сегодня ни вчера снов никаких не видел. Да, поздравляю тебя с праздником и потом, девочка, извини меня, когда твое рождение, я помню, что об это время, а когда именно не помню. Ты наверное устроила Никитке елку с огоньками, ну и он радовался, наверно тушил и баловался, хотел бы я на вас поглядеть моих милухов, а где мамка, с вами или в Москве и отец где [...].

Ну что же тебе еще сказать, мыслей определенных нет, так что-то мелькает, вижу елки, вспоминаю тебя и Никитку, думаю об девочке какая она будет. Надежда у меня есть что я попаду к тебе в это время, словом как будто можно будет приехать во вторую половину февраля. Но это все-таки мечты, а наверное – будет тогда когда буду в Москве. Так что ты уж не думай пока, а я буду стараться.

Собираемся и мы справлять праздник, как это будет я тебе напишу, должен приехать из Москвы Алтухов и привезти подарки но он должно быть опоздает к празднику. Ну пока всего тебе хорошего целую тебя крепко, поздравляю Бабушку, Влад. Дм., милую Лелю, Нину Яковлевну, Митю, Аню, всех, всех, всех. Никитка – со вторым его Рождеством.

целую тебя

твой муж Володька

Ф. *№ 113*

В. А. к М. В. *в Домотканово*
24 декабря 1916

Милая Марусечка целую тебя крепко, сегодня сочельник и я конечно в душе справляю его с своей дамой сердца и с Никиткой. А телом я сейчас тоже в довольно милой компании, достали вина и немножко подвыпили, поют песни. Николай Бор. немного заболел и командир отпустит его в отпуск, может быть он тебя увидит. Отправляю это письмо с ним. Я недавно спустился с наблюдательного пункта и сегодня для праздника и для тебя вымыл голову и обтерся одеколоном и почувствовал себя немного кавалером, и в общем чувствую себя ничего. На наблюдательном был долго, отшельничал на высокой горе, было очень приятно, облака проходят мимо, лунные ночи, и среди всего

этого вершина снежная и по ней бродишь совсем один и думаешь Бог знает о чем, об тебе, об мире всего мира, об Никитке, словом об чем может думать бедный маленький прапорщик на высокой горе среди синего неба когда внизу на горах и в лощинах кругом такой сумбур, какие-то паршивенькие австрийцы, глупые упорные немцы, великие философы русские мужики лазают со штыками и с винтовками и все кончается тем что я тебя люблю потому что ты для меня шедевр, самое лучшее выражение пространства которому я как выражению Божества поклоняюсь. Ну девочка я признаюсь тебе что немного я выпил, но ты ведь не любишь когда выпивают без тебя, а сейчас я делюсь с тобой своим настроением. Все остальные поют в другом конце, а я сижу у стола и пишу тебе письмо моей милушканной-канке.
Ну всего тебе хорошего, посылаю тебе стихи которые написал на наблюдательном пункте[1].

[1] Стихи приведены ниже – перед ответным письмом М. В. от 16 января (*Ф. № 122*).

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 114* ----------------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Конец декабря 1916
Начало утрачено

/…/ и я тогда тоскую об тебе, но что же сделаешь. Одно я тебе только скажу что надеюсь попасть в отпуск но когда именно не знаю. Хотелось бы попасть как раз к событию, но ведь я на таком расстоянии и так мало от меня зависит, что ты уж не жди меня в этот день, раньше чем следует я во всяком случае не приеду, в самый день могу и не попасть, а около этого времени обязательно постараюсь быть, спрашивал командира, он тоже обнадеживает хотя это от него совсем не зависит. Так что ты детка будь мужественна и надейся на лучшее, как и я тут, если не удастся удрать.
Вот тебе мои пожелания на новый год – чтоб у тебя моей возлюбленной благополучно и легко родилась девочка. Вот что я тебе желаю. Я знаю двух очень хороших женщин, тебя и мамку и мне хочется чтоб у нас в нашей семье была еще маленькая женщина, тогда нам больше не надо, мы будем жить-поживать любить друг друга а это прямо рай на земле. Что девочка твоя будет такая же шелковая и такая же роскошь как твой сынок, в этом я не сомневаюсь.
Тревожит меня мама, что это она все болеет, что это у ней, да главное, письма теперь так редки, я знаю что не ты виновата но сюда

все доходят с большим опозданием а может быть и не все доходят. /...зачеркнуто *7 строк...*/[1] Иван Сем. чувствует себя хорошо, тоски у него здесь не бывает, он всегда энергичен, поражает немного других но все его очень любят, словом все здесь живут хорошо, иногда поднимаются споры о живописи, командир спорит с нами, но в конце концов все уже спорят со мной и не согласны. Ивану Сем. не нравится, что я считаю личность Я не важной, что это дескать самоуничижение, а ей-Богу это не верно, я ценю себя и недешево, но радуюсь что на свете есть вещи более глубокие и несравненно ценнее чем мое Я. Ну девочка, всего тебе хорошего целую всех – Влад. Дм., милую Лелю, дорогую Бабушку, Митю, Аню, желаю им и Нине Як. всего хорошего на новый год, Никитке желаю быть добрым и храбрым, а тебе и мне не расставаться

целую мою возлюбленную

Володя

[1] Большая часть письма обведена М.В. по карандашу пером, тушью. Здесь, сверху сплошь закрашенного, она надписала (хотя затем и это перечеркнула): *разные интимности зачеркнуты.*

---------------------------- ***Ф.** № 115* ----------------------------

М.В. к В.А. *Домотканово – Армия*
1 января 1917

Милый мой муж, вот и Новый Год. Как вы встретили его? Верно, все-таки выпили или у вас был бой? У нас Ниночка, Леля и Юра показывали Петрушек и «маленького человечка»[1]; а потом сели за стол, налили рюмки хорошего вина, и, когда пробило 12, выпили за наступающий год, за отсутствующего хозяина (папа в Твери, простудился), за присутствующих и отсутствующих художников и художниц; за отсутствующих воинов. Пили чай, а потом лили олово[2] и танцевали; только я ушла спать и заснула как убитая, может быть, оттого, что выпила несколько капель вина. Я об тебе думала в этот вечер, все принарядились, а я не очень, потому что без тебя чувствую, что не могу быть красивой и не хочу быть красивой. Надела только бусы. Без тебя я не могу чувствовать того оживления и трепета, от которого вьются волосы и щеки делаются алыми. Я тебя ужасно люблю. Иван Яковлевич подпил, стал очень развязен и запевал какие-то песни. Я подумала, что, если и ты подпил, – я не люблю, когда ты без меня выпьешь.

У Никиты кашель стал лучше, но сегодня утром пустили его на пол и сейчас вот он спит и кашляет опять хуже.

Никиту я подстригла и он стал похож на меня, когда я была маленькой, помнишь мою карточку; какой-то напруженный, или приземистый, уж не знаю как сказать.

/Рисунки – зачеркнуты/

пробовала нарисовать Никиту, нет, надо с натуры. Он очень смешной. Надо спать, завтра рано едут в город. Ну, целую тебя крепко, мой ненаглядный.

Вспомнила и конверт разорвала, чтобы написать тебе: Ив. С. пишет Ниночке, что все вы (кроме него, Ив. С.) сидите в какой-то мрачной темной комнате, и сидите зря, когда можно было бы гулять и греться на солнышке, и любоваться горами. Я отчасти понимаю тебя: чужая природа может очень надоесть и раздражать; потому ты прячешься в дом. Если же не это, то правда это дурная привычка сидеть дома, когда на улице хорошо, и я была бы рада, если бы ты перенял у Ив. С. эту легкость выходить на улицу; ведь ты и сам будешь здоровее и для меня красивее, если будешь гулять. Впрочем, нет, на войне все по-другому; может б., и надо сидеть в темном сарае.

Целую тебя и люблю до бесконечности.

[1] «*Маленький человечек*» – домашнее представление; принимают участие два человека: один – «голова» (в шляпе, в гриме или в маске) и «ноги» (его же руки в башмаках), «стоящие» на табуретке, поставленной перед занавешенным дверным проемом; другой – «руки», из-за спины первого продетые в рукава одежды, задом наперед.

[2] *...лили олово...* – гадание; видимо, то же, что лить воск.

---------------------------- ***Ф. № 116*** ----------------------------

О. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
2 января 1917

Начало письма утрачено

/.../ папе даже праздники не удалось дома провести – сгорела фабрика Завьяловых[1], и пришлось ему туда ехать. Стараюсь себя занимать чтением, работой.

Тетя Катя устроила мои цветы в каком-то магазинчике, и оттуда я получила заказ написать белые розы в корзинке. Меня это занимает, но приходится составлять от себя[2], так как розы страшно дороги.

Новый год с папой встретили вдвоем, пили кофе, и он мне читал что-то веселое.

Вчера звонила Евгения Ивановна[3]; получила открытку: картины на выставку надо доставить к 20 января. Будет все исполнено. Здесь сейчас очень много выставок. На новый год желаю окончания войны, мудрого правления – а радости будет много, и так интересно будет жить и все примутся за работу. Будьте осторожны – гор боюсь – боюсь, чтобы вы не сверзлись с какой-нибудь высоты.

Ну всего хорошего

О. Фаворская

(*На конверте написано*: моему милому Володьке-ке-ке!)

[1] *Фабрика Завьяловых* – сталеслесарная, в Ворсме; Завьяловы – семья купцов-предпринимателей из Павлова на Оке. А. Е. Фаворский был управляющим директором их предприятий.

[2] *Тетя Катя* – Е. В. Шервуд (в замужестве Кифер), младшая из сестер О. В.; *мои цветы* – живопись; *составлять от себя* – т. е. не с натуры.

[3] *Евгения Ивановна* – Орнатская-Королькова (*см. ком. к Ф. № 100*).

Ф. *№ 117*

А. Е. к В. А.
4 января 1917
(Фрагмент)

...В Москве у нас ничего особенного – все страдают от дороговизны, от расстройства рынка, но никто не найдет истинного средства поправить дело. Слишком много начальства, а мало порядка. Мы с мамой много заняты Епифановкой, и кажется, и она начинает думать, что наше хозяйство сведет концы с концами. Приходится подтянуться, так как с 1 января введен подоходный налог на всех, и для оправдания минимальной суммы налога, близкой к истинному доходу, приходится вести счетоводство с учетом всех доходных и расходных статей. Приходится записывать, что сам съел, потому что по закону это доход. Приладили наших баб в качестве молочниц. Приноровились работать чисто, опрятно, коров кормить жмыхами и турнепсом. Получается масло весьма приятного вкуса. Чего тебе лучше похвалы: все находят масло превосходным, говорят, что такого и не едали, не шутка! Я все покуда треплюсь – езжу на хутор, в Павлово, в Ту́мботино[1]. Департамент земледелия помогает деньгами и земледельческими орудиями. Дело идет по-хорошему. Публика понемногу поддается; добьемся улучшения мужицкого хозяйства и коровьего быта [...]

[1] *Тумботино* – большое промысловое село, напротив Павлова (через Оку), по дороге к хутору Епифановка.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 118* ----------------------------

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Начало января 1917

Милая моя девочка целую тебя крепко. После большого перерыва получил от тебя твое милое письмо. Я живу не плохо тут сейчас совсем спокойно, немцы молчат и мы тоже. Наша батарея на новый год как раз ушла в резерв то есть на отдых, так что мы могли встретить его очень хорошо, погода была удивительно теплая, прямо нельзя поверить, ночью легкий морозец а днем мы обедали на крыльце избы – нечто вроде балкона. Перед новым годом приехал Алтухов и привез каждому всякой всячины, тут всему радуешься как мальчишка елочным подаркам. Я получил табак, чудесные Дашины пряники которые всех прямо в восторг привели, кроме того массу всяких мелочей и наконец штаны которые ты мне соорудила. Я их правда немного перешил в коленях поуже, но в общем они мне как раз и хотя за глаза над ними смеялись но теперь все завидуют и теплоте и красоте, я в них прямо обворожителен, словом они хорошая штука. Я тут, понимаешь, некоторое время занимался делом очень мне далеким, один офицер уехал в отпуск и я временно был заведующим хозяйством. Ужасно трудное дело, но я теперь немного в нем разбираюсь, совершенно не ожидал что на войне придется заниматься таким делом.
Новый год мы встретили не плохо, была выпивка – здешнее кислое вино и какая-то здешняя водка, затем чудесная елка горная, очень изящная, с синей хвоей и серым с голубым стволом, затем музыканты, двое скрипачей и один бандурист – цыгане очень интересные, прямо страшные, похожи на Гойевских ведьм, играли правда однообразно но приятно. Подвыпили конечно, были тосты, я произнес тост за дам нашего сердца каждый за свою. Хотя мне кажется что у большинства либо совсем их нет либо уж очень много. А командир когда подвыпьет обязательно пьет за здоровье Никитки, уж я не знаю почему так, а я конечно очень рад. Насчет тебя, девочка, и Никитки как быть, мне кажется, что ты не должна все-таки бояться покинуть его на некоторое время. Ведь это для дела необходимо, это уж жизнь так делает что все гладко идти не может и нельзя чтоб мальчишка наш совсем этого избег, а в Москве мне кажется ему будет плохо, я конечно /.../

В. А. к М. В. *в Домотканово*
Январь 1917

Начало письма утрачено

/…/ но когда идешь приходится всем откозыривать и гораздо больше чем раньше. Так как мы теперь в мирной обстановке и не приходится сидеть в земле в окопах /…/ конечно для меня потому что никто кроме тебя не может оценить моей красоты. Ах ты моя милая дама, милая и милостивая, очень я горд тем что ты меня любишь. Бродя мимо вагонов с коровами я подошел близко и их дыхание напомнило мне своим ароматом твое, которое правда гораздо нежнее но похоже, ах ты моя пушистая женушка. Да, я получил еще твое письмо где Никитка говорит кап, кап. Очень хороший у нас малец и дай нам Бог еще девочку такую же славную и будем мы вчетвером жить да поживать да добра наживать. Читал я тут для времяпрепровождения желтые книжечки и очень мне понравилась одна, Альфред де Виньи[1] «Величие и неволя солдата». Очень мне понравилась, и это совсем другой взгляд, чем я говорил, но он не противоречит а только с другой стороны рассматривает войну, очень интересно и хорошо, и я чувствую сейчас то что там сказано, а в коротких словах вот что. Самое драгоценное и святое – семья а затем большая семья – отечество и конечно служить ему солдатом и честно и важно и хорошо, но с другой стороны солдат исполняет чужую волю и поэтому он не может оценивать свои поступки с точки зрения нравственности и делать или не делать что-либо, поэтому совершая убийство он конечно лично виноват в этом, но в действительности-то все решительно виноваты а он только орудие и поэтому как орудие страдает и это искупает немного его вину. Вот в этом роде мысль очень хорошая, и умная и простая. Ну девочка целую тебя крепко пока отправлю тебе это письмо а то нужно писать маме, я ей давно не писал
всего хорошего

твой муж Володька

поцелуй милую бабушку

[1] *Альфред Виктор де Виньи* (1797–1863) – французский писатель, граф.

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
13 января 1917

Верх страницы оторван

/…/ Все-таки собираюсь к Шемякину[1]. На квартире тепло, хорошо, но вообще в городе конечно плохо, и мои сомнения относительно того, брать ли Никиту сюда, еще усилились. Я надеюсь, что доктора отпустят меня /…/

Оборот

/…/ Мы с ней [с О. В] ходили пешком к Вере Владимировне[2], и О. В. не устала. Мальчик у Анны Николаевны[3] живой, черноглазый, но некрасивый. Никита как-то гораздо стройнее сложен, весь какой-то цельный и ровный телом (стройность от тебя, конечно). Я думала, все дети такие, а вот присматриваешься и видишь, что нет. По Никите проведешь рукой, так это одно удовольствие. Но я не буду хвастаться. Каждый ребенок хорош в своем роде. Еще нам с Лелей почему-то кажется, что у Никиты голос замечательно музыкальный, и еще что он какой-то смешной, т. е. даже не смешной, а все – и слова, и движения у него полны такого выражения, что взрослый невольно улыбается. Это не у всех детей. /…/

Мне тут ужасно опять мешают верхние жильцы спать; как в прошлом году. Пойду перестилаться в гостиную.

Мне все кажется, что ты должен позвонить и придти; в Домотк/анове/ этого не кажется, а тут мы только с тобой жили.

Милый, говорят, оч/ень/ плохо вам сюда ездить; если уж так плохо, что на крышах вагонов ездят, то лучше не езди, не рискуй своею жизнью.

Целую тебя, мой ненаглядный, твоя Маруся

Приписано по кромке:

Здесь в городе я чувствую себя как-то хуже, чем в Домотканове

[1] *Шемякин* – врач (*см. ком. Ф. № 42*).
[2] *Вера Владимировна* Шервуд (в замужестве Бромлей) – сестра Ольги Владимировны.
[3] *Анна Николаевна* Бромлей (в замужестве Блаженнова) – дочь Веры Владимировны.

---------------------------- **Ф.** *№ 121* ----------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
14 января 1917

Верх листа оторван

/.../ Когда уходили, он[1] говорит: «Вообще женщины молодцы – ходят раненые и не жалуются»[2]. А это верно, Володичка, уж такая неприятная у меня рана – ведь я ее все почти время чувствую, и почки загрязняются.

Уж не знаю – неужели мне можно надеяться, что все пройдет благополучно? И неужели... Ну ты понимаешь. Не буду думать ни хорошее, ни дурное вперед. /.../

Оборот:

/.../ мытарствами по докторам, так хочется, придя домой, лечь бы около тебя, пригреться и рассказать тебе все, что приходится терпеть.

Так я тебя люблю!

Об Никите пока не беспокоюсь, но долго не протерплю и буду страдать без него; ведь видеть его, слышать его милые слова, трогать его ровное тельце – это наслаждение, и главное, это твой мальчик.

Целую тебя, твоя жена.

[1] *Когда уходили, он...* – М. В. с О. В. были у доктора Филиппа Александровича Доброва (1869–1941) – известного московского врача и знакомого Фаворских.

[2] Речь идет о послеродовой травме, полученной М. В. при неудачных родах в 1913 году.

(Из письма В. А. к М. В. от 24 декабря 1916. Ф. № 113)
Стихи В. А. Фаворского

Я дикарем живу средь синих гор
жилище для меня скалы верхушка
в норе моей горит костер
из елей мягких лап моя подушка

Папаха и тулуп как будто приросли
я стал шерстистый дикий зверь
палаткою завешиваю дверь
и засыпаю зимним сном земли

Но я должно быть сказочный медведь
а был когда-то скромный рыцарь
затем что сны мои полны царицей
зверь не достоин грез таких иметь

Как сказка сон мой чуден и тревожен
ты хороша царица красоты
а я в любви твоей как будто безнадежен
и вновь борюсь за то, чтоб полюбила ты

Ищу соперников среди видений
боюся их презреньем наградить
ищу в себе святынь чтоб подарить
тебе мой бархатный лучистый гений

Ты наяву мне близкая жена
не смотришь на меня и говоришь с другим
но храбро спорю я и доводам моим
ты оглянулася и вновь мне суждена

Проснулся я и в полудреме
почувствовал я твой, хотя далек
и сон не был грядущего пророк
а прошлого следы возникшие в истоме

Ф. *№ 122*

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
16 января 1917

Чем могу ответить тебе, таким же хорошим на твои замечательные стихи? Они и по форме и по содержанию мне очень нравятся, и я так люблю лохматого зверя, моего рыцаря. И с каким бы наслаждением пришла бы к тебе в нору, завернулась бы краем твоего полушубка и стала бы целовать медведя медведи́ного; а вокруг пустая гора и ночное небо, и было бы страшно знать, что /вокруг – *зачеркнуто*/ внизу неприятель; в темноте, может быть, ползет, ползет по горе. Но царица, увидав своего возлюбленного, даже страха не чувствует и только видит его высокую фигуру и его ласковый взгляд, устремленный на нее. Они ложатся на еловые ветки, укрываются полушубком; им тепло на ледяной вершине, и они забыли, что внизу неприятель.

О, тогда царевна бы доказала, что никаких соперников нет и что она любит одного своего рыцаря медведя; что для нее ничего нет на свете милее, как обнимать своего возлюбленного и слушать его ласковые речи.

Ф. № *123*

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
17 января 1917

Милушок мой нежный, не знаю, получил ли ты мои письма из Москвы; верно, еще нет; повторяю, что я уже неделю переехала в Москву; ходила по докторам, была у Шемякина и Побединского[1]; они ничего особенно страшного не сказали, Шемякин удивлялся моей храбрости, что решилась и т. д.

Ровно через месяц – помни – <u>17-го, 18-го февраля</u>. Но если не удастся приехать в это время – ну ничего, я и не жду.

Сейчас позвонила Леля, говорит как скучно, позови Эдинга; позвонила, и он придет сегодня. Я без тебя не хотела никого видеть, да ничего – ведь правда?

Были мы с О. В. сегодня на «Мире искусства»[2]; в общем, ничего <u>очень</u> хорошего нет; и ничего нового нет. Но есть вещи сносные; Машков[3] занимает всю стену; как и прежде, яркие красивые natures mortes; но грубо, без любви, без пространства (ты бы сказал). Кончаловский[4] мне понравился больше; у него не один только вкус к /краскам – *зачеркнуто*/ цвету. Пейзажи Шапшала[5] и особенно его этюдик нам с О. В. очень понравились. Хорошие акварели Остроумовой-Лебедевой[6]. Приятное впечатление оставляют, хотя туманные и тенденциозные, вещи Павла Кузнецова[7]: среди холмов или поля сидит женщина и вокруг овцы; в таком роде все. Я даже не отдаю себе отчет, что именно мне в них нравится, лень додумываться. Вообще я насчет мысли стала ленива. Читаю только самые легкие вещи.

/…/

Продолжение письма утрачено

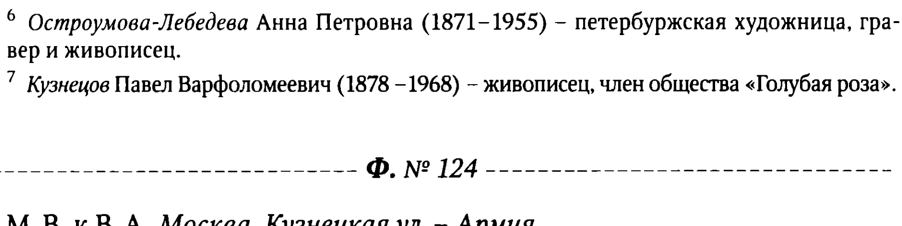
[1] *Побединский* Николай Иванович (1861–1923) – известный московский врач-акушер.

[2] *…на «Мире искусства»…* – на выставке этого объединения, с участием приглашенных художников.

[3] *Машков* Илья Иванович (1881–1944) – живописец, член общества «Бубновый валет».

[4] *Кончаловский* Петр Петрович (1878 –1956) – живописец, член общества «Бубновый валет».

[5] *Шапшал* Яков Федорович (1880–1947) – живописец, член МТХ; с 1920 г.– в эмиграции.



[6] *Остроумова-Лебедева* Анна Петровна (1871–1955) – петербуржская художница, гравер и живописец.

[7] *Кузнецов* Павел Варфоломеевич (1878 –1968) – живописец, член общества «Голубая роза».

Ф. *№ 124*

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
18 января 1917

Милый Володя, муж мой, очень я скучаю по тебе и по Никитке. Бабушка пишет часто, но все-таки я и беспокоюсь и думаю, что ей трудно. Морозы стоят больше 20° вот уже несколько дней и о перевозке сюда Никиты нечего и думать.

Неужели у вас тоже холода? Очень это плохо; а у тебя нет башлыка, отморозишь личико; и еще я боюсь, как бы ты не задохнулся от дыма, если спишь при костре; пиши мне теперь в Москву; нельзя мне уехать в Домотк/аново/, Шемякин не пускает; да я и сама знаю, что случись что-нибудь – без доктора я пропаду. Но как Никита без меня проживет – уж не знаю.

От тебя письма все-таки получаю, но идут страшно долго. Последнее письмо получила, писанное в сочельник и /…/ Мы с О. В. живем тихо и скучно. О. В. немного пишет, а я шью.

По кромке:
Целую тебя и мечтаю об тебе. Твоя жена.

На обороте:

Володя милый, вот Никиткина ручка; но вышло совсем не верно почему-то; пальцы у него очень тонкие наверху, а вышли толстые, плохо обрисовали. Пальчики у него как у тебя, тонкие, красивые.

/Абрис руки/

По краю:
Твои 2 картины на днях представляю на жюри в Товарищество.

Ф. *№ 125*

В. А. к М. В.
25 января 1917

Милая Марусечка, целую тебя крепко, я жив и здоров, у нас все пока тихо за немногими исключениями, так что живем смирно. Главное скуч-

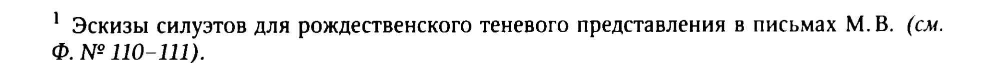
Володя милый вотъ Никиткина ручка, но вышло совсѣмъ не вѣрно почему-то; пальцы у него очень тонкіе наверху а внизу толстые, плохо обрисовали. Пальчики у него какъ у тебя, тонкіе, красивые.

твои 2 картины на дняхъ ~~от~~ представило на жюри
въ Товарищество.

но ужасно и тоска у меня временами смертная, хочется тебя видеть. Мы на позиции в горах, кругом очень красивые места, скалы, обрывы, ручьи, все поросло лесом, сейчас все покрыто снегом но морозов сильных нет, погода довольно мягкая. Я ничем особенно не занят, заведование хозяйством сдал приехавшему офицеру и только хожу дежурить на наблюдательный и на батарею, больше ничего. Конечно встречаешь много хорошего, например наши солдаты, посидишь с ними и словно ты увидал в лицо всю Россию; из разных губерний такие разные и говором и лицом и часто такие красивые, прямо заглядишься и очень милые, с хорошими убеждениями; много хохлов – они симпатичны, но может мне понятнее а кажется что и действительно лучше великороссы – они и разнообразнее и глубже как-то, разговор такой любопытный все время поговорки остроумные смешные, например «на чужой стороне и жук мясо», или «возьми Бог небо и землю, я и на кочке жить буду» и т.д. Вот это главное мое утешение. А так я все думаю об тебе все время, но приехать мне сейчас не придется, надеюсь что в марте удастся удрать, так что девочка ты меня зря не жди, в нужный срок мне попасть не придется, но ты ни в коем случае не падай духом, будь мужественна, добейся чего хочешь, а я уж как только можно приеду. Получил от тебя с Илюшиным письма и там ангелочков и Христа, я смотрю на него как на Никитку[1]. Тебе я послал письмо с Иваном Семеновичем и кольцо тебе чтоб он передал, то про которое я тебе писал, боюсь только что оно будет тебе велико, хотя я носил его на мизинце. Оно правда тоже грубоватое, но это самое настоящее солдатское кольцо и ты моя солдатка уж прими от меня этот подарок.
Да, я не знаю куда тебе писать и думаю что после этого письма буду писать тебе в Москву потому что ты уж наверное там будешь. Эх как бы мне хотелось быть там это время, ну да что же сделаешь, против рожна не попрешь.
Денег у меня масса теперь, около тысячи, я все не соберусь их тебе переслать так что ты деньгами не смущайся, трать сколько хочешь. Еще я пошлю тебе на днях бумажку по которой ты будешь получать квартирные деньги, кажется что-то 30 рублей. Так девочка моя, милая моя жена, помни что мы с тобой добиваемся девчонки, ведь это опять будет роскошь, так что мы будем богатейшие люди в мире – все роскоши и роскоши и это называется семья и мне в мою семью очень хочется.
Ну девочка пока всего тебе хорошего целую тебя крепко всем поклон Никитку мальчишку целую расцеловываю вовсю потому что не знаю почему словом у меня есть Маруська и я счастливый человек.
Ну детка до свиданья

твой муж

Володька


[1] Эскизы силуэтов для рождественского теневого представления в письмах М. В. *(см. Ф. № 110–111).*

В конце января приехал с фронта И. С. Ефимов, на побывку, в отпуск.

Ф. *№ 126*

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
26 января 1917

Милушканный мой, вот уже 2 дня как приехал Ив. С., но к нам все не идет, некогда. А я все жду рассказов про тебя и письма твоего. Ольге Влад. пришлось уехать в Домотк/аново/, так как получилось известие, что у бабушки инфлюэнца, а у Ник/иты/ было 39,4°; пишут от зубов, а я что-то не верю в эти зубы. Правда, самые страшные зубы – глазные.

Милый мой, вышла у меня глупая история: Леля вчера позвонила по телефону и как-то странно говорила; я решила, что от меня что-то скрывают и оч/ень/ беспокоилась целый день (а позвонить к Леле не могла, у нее нет телефона); ну сегодня Леля еще лаконичнее звонит и гов/орит/ что она ко мне придет ненадолго; а это днем, странно мне показалось; ну я решила, что это она хочет мне что-то страшное сказать; либо Ив. С. про тебя что-ниб/удь/ не доброе принес – либо Ниночка об Никите что-ниб/удь/ нехорошее. И потому они к нам не хотят идти, что тяжело говорить печальные вещи, да мне и боятся сказать правду... Ну, я ушла от обеда и плакала у себя в комнате и решила что это скорее всего у Ник/иты/ скарлатина. А Андр/ей/ Евг/рафович/один остался обедать и думал, что я на него обиделась, потому что он рассердился на Ефимовых, зачем они долго не идут к нам, и ругал их за обедом... Ну, наконец пришла Леля; я сказала, что от меня что-то скрывают. А она стала уверять, что нет, и наконец уверила, что ничего не случилось.

Вот, я теперь чувствую, точно ты воскрес, а Никитка выздоровел... наплакалась я и намучилась. Видишь, до чего мне скучно и нечего делать – целую историю сочинила.

А морозы все большие – Никиту везти невозможно.

Андрей Евг/рафович/ уехал ненадолго в Горбатов[1], и я осталась одна, с Дашей.

Жду с нетерпением писем из Домотк/анова/ от Ольги Влад.
Целую тебя, моего милого,
твоя жена.

27 янв/аря/ 1917

Милушкан мой, Ив. С. передал мне колечко; спасибо большое за него. Очень оно мне нравится и идет к моим рукам, только немного велико. Чтобы оно не съезжало – я надеваю сперва его, а потом обручальное, и обручальное не дает упасть тому.

Ах милушок, Ив. С. точно привез частицу тебя, столько об тебе говорит, даже пахнет от него и от его вещей так же, как от тебя. Они ночевали в нашей комнате, им очень понравилась мягкая постель; купались у нас, даже твое белье надел Ив. С. Спасибо, мой красавец, за стихи, они прямо чудесные, и я ужасно тебя люблю.

Карточка, где вы все стоите около избушки на снегу, тоже так перенесла меня к тебе. Ты чего же раздетый стоишь, другие все тепло одеты. Правда, так видно всю твою стройность, но все-таки не простудился бы ты. Иней у вас, красиво; и лес громадный сзади стоит, хорошо. А ты так похож и такой красивый – все вместе выходит, точно я тебя повидала; Ив. С. много про тебя говорил. Вчера они пришли – я уже легла спать (было 12 час. ночи), ну, они пришли ко мне, и стал И. С. рассказывать.

И я так завидовала ему, что он видит тебя, говорит с тобой, спит рядом.

И я вижу, до чего у меня хороший муж.

Между проч/им/ гов/орит/ что вы видали всяких веселых и красивых дам и простых хорошеньких румынок. И даже дамы приходили к вам (в городе должно быть), а ты на них и не смотришь. Я, конечно, в душе горжусь таким мужем.

По его рассказам выходит, что вам там гораздо лучше и спокойнее живется, чем мы себе представляли. Хотя в письмах твоих ты никогда ни на что не жалуешься.

Сегодня у меня голова кругом идет все утро. Ив. С. говорил, я точно тебя повидала; а тут ноль градусов, и Леля уехала за Никитой в Домотк/аново/. Уж не знаю, удастся ли ей привезти его или нет: погода очень изменчива. Завтра может быть опять 20°. Ах, хоть бы погода постояла хоть 2 дня!! Я очень волнуюсь, как-то ей удастся привезти его. И поезда все ночные; прямо беда. А там будет товарная неделя и поездов будет еще меньше.

Эти дни я совсем одна. Вчера очень перепугалась: полезла открывать форточку, а кресло наклонилось, и я ушибла живот об спинку

кресла. Стало болеть в боку и вообще весь вечер было как-то скверно; я думала, придется к Шемякину. Ну обошлось. От О. В. получила письмо: пишет, что Никита здоров, чуть покашливает (а Леля-то поехала!), бабушка поправляется от инфлюэнцы.

Посылаю тебе карточки рождественские[2].

Целую крепко-крепко!

твоя жена М.

[1] *Горбатов* – уездный город Нижегородской губернии; Павлово входило в Горбатовский уезд.

[2] Очевидно, две новогодние фотографии семьи с гостями (с Билибиным и пр.).

***Ф.** № 127*

Стихи В. А. Фаворского

Я люблю мою солдатку
и когда через палатку
светит яркая луна
не дает сомкнуть мне очи
думы гонит ото сна
наполняет грезы ночи
все тобою дорогая
образы бегут мелькая
мне навеяны тобой
все солдаткой дорогой

Иль сижу я у огня
долгу ночку коротая
лес стоит вокруг меня
снег лежит на нем, играя
ярким пламенем огней
тот кто может крепко спит
а в душе моей стоит
песня тихая о ней

Либо тихий яркий день
на блиндажик пала тень
от большой лохматой ели
немцы что-то присмирели
да и мы себе молчим
не зовем орудий к бою

рады все вкусить покою
тишиною дорожим.
Неподвижен праздный воин
дух мой думой успокоен
об тебе моя жена
жизнь моя тобой полна

Иль когда в поход идем
на случайном бивуаке
в дощаном пустом бараке
раздобывшися вином
мы пируем пир нежданный
и стакан налитый первый
измотавшиеся нервы
жадно пьют за мир желанный
мне вино язык развяжет
сердце тост священный скажет
пить за даму сердца каждый –
наклонив стакан не дважды
а единым духом вдруг
за тебя мой милый друг

Но когда нам скажут к бою
я иду спешу тропою
по окопам прохожу
утро, только чуть светает
я на месте. Наступает
нужный час: «огонь» скажу
наши громы раздадутся
по враждебным брустверам
бомбы наши разорвутся
вскинув землю к небесам
ждешь тогда от них ответа
ждешь свистящего полета
бомбы ихней, иль шрапнели
огневой стальной метели

Будет трудный день, но я
смело дню смотрю в лицо
на руке моей кольцо
с милым именем ея

---------------------------------- *Ф. № 128* ----------------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
31 января 1917

Сверху приписано:
Я все любуюсь карточкой, стихами и кольцом.

Милый мой муж, вчера вдруг привезли Никиту! Мороз был 12º, а Леля настояла, чтобы везти. Поезд у нас остался всего один утром, в 8 час. Ну, они его укутали и привезли; а в поезде оказалась такая жара, что они ужасно вспотели, а вышли из вагона – опять ветер и мороз. Я их не ждала, и вдруг приехали. Ник/ита/ совсем осовелый, бледный и такой маленький мне показался! прямо жалко смотреть. Правда, он хворал там, не гулял совсем и вид у него очень не хороший. Желудок тоже плохой; ну, я рада, что он тут, а то О. В. гов/орит/ что у бабушки плохое настроение, не бодрая, и она сама нездорова – инфлюэнца тоже и ее захватила. Ник/ита/ тут все смотрит; столько было впечатлений, что он вечером совсем изнервничался и плакал; ночью тоже плакал оч/ень/ сильно и я взяла его к себе. Он меня узнал верно, потому что все ко мне идет и не хочет, чтобы я уходила из комнаты. Много сразу хлопот с ним, усталости, но зато нет печальных мыслей и некогда ни об чем думать; а ведь по существу, ты понимаешь – так это все скоро... Ну, целую тебя крепко, моего любимого

твоя Маруся

---------------------------------- *Ф. № 129* ----------------------------------

В. А. к О. В. *Армия – Москва, Кузнецкая ул.*
Открытое письмо
28 января 1917

Милая мамашка я жив и здоров, с Илюшиным получил от тебя и папы письма, очень я им был рад. У нас тихо и мирно, радуемся что Америка тоже кажется за нас. Милая мамашка приехать мне сейчас едва ли придется, только разве в марте. Так что ты мне пиши все про Маруську и как только что-нибудь будет, так обязательно телеграфируйте.

В. А. к М. В. *Армия – Москва, Кузнецкая ул.*
31 января 1917

Милая моя Марусечка, здравствуй, получил твое письмо от 13 января и пишу тебе в Москву, я на днях отправил тебе письмо в Домотканово, но следующее и сам хотел уже писать в Москву. Почта у нас тут очень редка и письма твои прямо целый светлый праздник, хвастаешься ты своим сынишкой но ведь и я им горжусь, а насчет того что взрослый улыбается на него – это мне кажется грация ребенка и конечно приятно что в нашем мальчишке это есть, хотя стройность и цельность у него вовсе не от меня а наоборот от тебя именно. Ну детка, тут сейчас ничего особенного, становится немного теплее хотя все еще снег, но говорят что скоро будет уже таять, словом чувствуется перевал на весну. Места очень красивые, но горы, особенно зимою, меня да и многих таки утомляют. Ты наверное уже виделась с Ив. Сем. и получила от него и письмо и колечко и он тебе рассказал как мы здесь живем. В предпоследнем письме ты пишешь насчет того что я сижу в землянке и не гуляю, это сложный вопрос и особенно сейчас – ты ведь знаешь что я все делаю тяжело даже когда живешь настоящей полной жизнью, а здесь либо спячка либо горячка, а сверх всего назойливая мысль что все преходящее, а хорошее все впереди, когда это кончится. Да тут душа сама требует иногда такой неподвижности, Ив. Сем. все-таки меньше меня воевал. Интересно увидишь ли ты Ник/олая/ Бор/исовича/, зайдет ли он к тебе на обратном пути[1], тогда давай ему письмо, потому что почта доходит сюда плохо. Пишешь ты что мама выглядит хорошо, я этому очень рад, а папа значит в Епифановке. Что слышно про Максима, он должен, должно быть, скоро появиться, так как кончит училище, тут в одной из наших батарей есть вольноопределяющийся Савич, он младший брат Максимова товарища и если ты Максима увидишь, то передай от него поклон, малый симпатичный. Кроме того недавно, перед тем как встать на позицию мы шли походом, я ехал на коне с командиром батареи, обгоняет рысью офицер, отдает честь, я ему тоже, смотрю что-то знакомое, оказывается один из вольноопределяющихся из первой запасной, знает Женю, Колю, Митю[2], словом всех, вообще чудные встречи. Ну вот детка моя, женушка моя милая и не знаю что сказать тебе хорошего ничего нет, хороши только мысли об тебе. Все-таки так либо иначе я тебя скоро увижу, даже если через месяц, это не так уж долго. Любопытно еще выставили ли мои картины, и как они там сердешные висят и кто на них смотрит и что думает. Ну да это

Н.Я. Симонович-Ефимова. «Развеска картин в Товариществе». 1917.
(*Слева направо: вверху* – А.С. Глаголева, П.Д. Эттингер, Б.М. Каменский, кн. И. Гугунава;
внизу – П.Я. Павлинов, И.И. Нивинский, П.Д. Эттингер, Н.И. Нисс-Гольдман, Я.Я. Калиниченко)

не важно хотя наверно уж кто-нибудь да выведет что направление мое изменилось и к худшему или к лучшему. Большое спасибо за все Евгении Ивановне, за ее беспокойство.
Ну детка целую тебя крепко, ты наверно сильно устала милушканная моя, ведь ты для меня Бог знает что такое

Ты моя дама

Целую мамку, папку, Дашу

твой муж

Володька

[1] *...на обратном пути...* – Н. Б. Розенфельд в это время находился в Москве в отпуске (по болезни).

[2] Сейчас невозможно определить, о ком именно из родственников и знакомых В. А. идет речь.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 131* ----------------------------

М. В. к В. А. *Москва, Кузнецкая ул. – Армия*
1 февраля 1917

Милый Володичка, была сегодня на Товариществе[1]. Твой портрет[2] очень хорош, прямо выделяется из других вещей; всем оч/ень/ нравится, и слышно по шепоту вокруг, по полусловам, что всем нравится. Нин/очка/ гов/орит/ что ему было очень трудно найти место, отсвечивало отовсюду. Ну, повесили в небольшой комнате, в середине, свет спереди, и наклонили порядочно, и хорошо. А вечером, когда зажгли электричество, стало опять-таки не плохо, темнее, но не /так/ хорошо. Вообще серьезная вещь. Нин/очка/ гов/орит,/ Россцию[3] оч/ень/ понравилось. А пейзаж[4], по-моему, плохо там выглядит: Евг/ения/ Ив/ановна/ устроила малиновую рамку, и из-за рамки ли, или из-за зеленоватой стены, но как-то пропадает. Мне оч/ень/ жаль, я бы готова перекрасить рамку, но теперь уже наверное нельзя.

Ниночкины вещи хороши[5] на выставке. Маленький этюдик (молотьбу) купил тамбовский помещик за 75 р. И висят ее вещи в большой комнате, на середине, в почете. И сами они с Ив. С. веселые бегают по выставке. Я не очень все разглядела, потому что был вернисаж, а вообще приятное впечатление от выставки.

Сегодня утром был Серг/ей/ Ив/анович/ Веревкин.

Никиту стукал, слушал, Ник/ита/орал ужасно. Нашел у него все-таки крохотный рахит («такой у всех есть») и небольшое малокровие; велел давать рыбий жир. Вообще же сказал, что мальчик хороший и что видно, что в деревне был, «в городе он был бы у вас хуже».

Все-таки это приятно слышать.

[...]

Павлиновский Митя очень болен, что-то с сердцем. Так жаль Павла Яковлевича. Но он все-таки был на Товариществе, что-то там в канцелярии работает. Про Кс/ению/ Вас/ильевну/ я не решилась спросить[6].

Поздно, я устала. Надо спать.

Целую тебя. Никита все смотрит твои карточки – «папу глядеть».

твоя жена.

[1] XXII выставка МТХ.

[2] *Твой портрет.* – Имеется в виду «Портрет М. В. Королькова» (1915, масло, местонахождение не известно. Ранее собственность Королькова).

[3] *Россций* – псевдоним художественного критика, искусствоведа и переводчика Абрама Марковича Эфроса – впоследствии он неизменно высоко ценил творчество Фаворского, неоднократно сотрудничал с ним (как переводчик) в оформленных В. А. книгах («Книга Руфь», 1925; «Vita Nova» Данте, 1933); был автором одной из первых и наиболее принципиальной статьи о нем (1923).

[4] *Пейзаж* – возможно, «Ока» (картон, масло, 1912).

[5] На выставке экспонировалось пять картин Н. Я. – в том числе: «Портрет доктора Литвинова», «Девочка», «Тамбовская девка»; семь вырезанных силуэтов – в том числе: «Развеска картин в Товариществе», «Репетиция в «Летучей мыши», «Серов в Домотканове»; эскиз экрана для движущихся силуэтов (постановка в «Летучей мыши»).

[6] Ксении Васильевны Павлиновой в это время уже не было в живых.

Ф. № 132

В. А. к М. В. и О. В. *Армия – Москва, Кузнецкая ул.*
9 февраля 1917[1]
Начало и конец письма утрачены

/.../ греет сильно хотя снег еще лежит. Насчет отпуска, к сроку я не попаду[2] но думаю что скоро словчусь и приеду, только конечно лучше не ждите меня и главное посылайте телеграммы потому что письма стали правда скорей доходить, но все-таки долго. Получил я рисунок Никиткиной руки, очень славная ручонка, милый мальчишка, везти его конечно нельзя при таком морозе ну да ведь это не долго, по крайней мере здесь время идет удивительно быстро хотя и скучно, здесь

спокойно сейчас и безопасно вполне так что обо мне не беспокойтесь. Все встречаю разных людей, вот жил тут в халупе уже скоро месяц с офицерами чужой батареи (они стоят тут же рядом), ничего жили, болтали обо всякой всячине а сегодня один мне рассказывает какое-то приключение и начинает так: «были мы раз у одних знакомых, на террасе чай пили у профессора Тищенко» (словом у дяди Вечи). Ну конечно – откуда вы знаете, откуда я, и пошло – оказывается сосед по имению, поручик С. Н. Мигалов /.../

[1] Дальнейшей переписки 1917–1918 гг. между В. А. и М. В. не осталось. Скорее всего, письма пропали в Домотканове, при изгнании хозяев из имения в 1918 г. Переписка же их с родителями В. А. (с весны 17-го и до конца войны) частично сохранилась (в Москве) и приведена ниже.

[2] Из «Записок М. В.»: *К 17 февраля Володя не смог приехать с фронта. Мы жили с О. В. и Никитой в московской квартире. Ждали прибавления семейства. Я не боялась и о смерти не думала: ведь два года тому назад, несмотря на грозные предсказания Шемякина, Никита родился вполне благополучно. Правда, Шемякин и теперь пугает, но я его не слушаю.*

А на этот раз он оказался прав – и тут ему пригодился весь его многолетний опыт и его хирургические способности. Когда для него стало ясно, что мать и дитя погибнут через полчаса, он призвал на помощь свою жену, усыпил роженицу и стал делать операцию, решив сам или спросив Ольгу Владимировну, пожертвовал ребенком, чтобы спасти мать.

[...] Я не радовалась своему быстрому выздоровлению. Шемякин отпустил меня домой со строгим напутствием – больше не дерзать родить.

Мы с О. В. взяли извозчика, но проехали немного и остановились: площадь Красных ворот была залита солдатами; они шли громадным сплошным потоком; мы стояли долго и зябли; на душе было мрачно и тревожно. В Петербурге были восстания, перемена правительства. Этот поток казался страшным: солдаты не пели – шли молча, как лава обтекая Красные ворота; а над ними золотой ангел трубил в темное, низкое небо.

Только дома с Никитой стало опять тепло и хорошо.

Ольга Владимировна уехала в Епифановку к Андрею Евграфовичу, а мы с Никитой – в Домотканово...

---------------------------------- ***Ф.** № 133* ----------------------------------

Черновая запись В. А. на служебном бланке для сводок
(без даты)

Батарея открыла огонь одним орудием в 8 ½ часов утра по лысой горе (в/ысота/ 1295)
с 10 часов утра вела огонь двумя орудиями по той же цели. С 12 часов обстреливала двумя орудиями, одним южный скат, другим северный скат лысой горы.

У противника на фронте спокойно. Наша пехота в походном */неразб./* Неприятель обстреливает редким артиллерийским огнем район артиллерийской позиции.
8 часов утра – неприятель обстрелял артиллерийским огнем, причем ранило двух людей и 3 лошадей.

Только в начале марта Фаворскому удалось ненадолго выбраться к семье.

Ефимов в это же время возвращается на фронт.



Снимок, привезенный И.С. Ефимовым с фронта. 1917 (Ф. № 126)
Первый слева – командир 3-й батареи Д.М. Сааков, *второй* – И.С. Ефимов;
второй справа – В.А. Фаворский



М.В. Фаворская (Дервиз). Натюрморт с ветками тополя.
Картон, масло. 1916 (Ф. № 88)



М.В. Фаворская (Дервиз). Портрет Б.Н. Эдинга.
Картон, масло. 1914 (?)



В.А. Фаворский. На наблюдательном. Рисунок из письма к М.В. от 25 ноября 1916 (Ф. № 99)





В.А. Фаворский. Батарея в походе. Рисунок из письма к М.В. Конец октября 1916 (Ф. № 89)



М.В. Фаворская. Эскизы силуэтов для Рождественского представления. Из писем к В.А. (Ф. № 110, 111)



Нина Яковлевна и Адриан в Домотканове. Зима 1916/17 года

ПИСЬМА
ЕФИМОВЫХ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ И.С. ИЗ ОТПУСКА НА БАТАРЕЮ В НАЧАЛЕ МАРТА 1917

Е. № 54

Н.Я к И.С. *из Домотканова*
6 марта 1917

Милый мой, радость ты моя – как у меня перед глазами ты на ступеньке вагона и твой удаляющийся против ветра поезд. Ты так славно улыбался – я шла назад по опустевшей платформе и повторяла: милая морда. На другой день уехала в Домотканово. С Чуприяновки привез мужик, который не знал, что царь отрекся, а уже это был третий день. Он очень испугался, когда я ему сказала эту новость[1].

Так же он шепотом спросил, правда ли, что убили в Твери губернатора – а мы дорогой столько наслышались об этом от тверичан, что могли рассказывать, как очевидцы. В Домотканове сидит Валериан Дмитриевич. Он очень радостный, доволен Министерством!

Адриан очень увлечен политикой. Он с мамой съездил по скверной погоде в Тверь, чтобы узнать все, и потом он бежал в школу, чтобы рассказать, а там другая учительница, не его, встретила все очень равнодушно, о чем он мне рассказывал с огорчением. Сегодня он с Александром Яковлевичем[2] принесли из школы... царские портреты... куда их девать? Они мне показались очень красивыми, особенно она; должно быть, смотришь уже глазами будущих поколений как на редкость. Но все же – смотреть противно, мы их связали вместе и поставили пока за диван.

Адриан страшно радовался моему приезду, выскочил на черную лестницу, прыгал, плясал вокруг меня, ликовал – еще больше, чем ниспровержению старого строя. Он боялся, что я уехала в Румынию.

Как-то ты едешь? Хорошо, если тебе удастся отдохнуть по приезде – и от дороги – и главное – от Москвы и всех впечатлений. Пришей пуговицы толстой ниткой, пожалуйста. Целую крепко. Эх, кабы вправду.

Нина

[1] Февральскую революцию, как и бóльшая часть интеллигенции, Ефимовы приняли с энтузиазмом. Несколько лет спустя Н.Я. сделала в дневнике запись под заголовком

«Пифические мысли из воздуха»: *В 1917, в Революцию (еще кадетскую, только что свергнули царя), целый день я веселилась сердцем. Участвовала в уличных движениях, возила на каком-то грузовике еду в котлах рабочим, засевшим в казарме, вырезала себе и знакомым сердца из красного сукна – приколоть к верхней одежде с левой стороны – как вдруг в сумерках, проходивший полк солдат, на Мясницкой – угол Садовой, остановил меня на тротуаре, заставил переждать свое прохождение. И вдруг я совершенно отчетливо, как в физическом опыте, увидела слишком хорошо маршировавшие ноги солдат – почувствовала – и пусто и страшно стало от этой мысли – что нет теперь центра у всей этой вывалившейся, пока еще стройно, массы народа, у всей страны. Ничто не сплачивает. Теперь начнется, должно начаться – обрушиванье. Как если изъять замыкающий камень в арке. Все будет рушиться. Всё. Ничто не сплачивает, не держит. Не только толпу, не только армию, но трех людей между собой. Тоска и совершенно ясная уверенность в предстоящих неслыханных бедствиях властно уселась в душе.*

[2] *Александр Яковлевич* – учитель Калачевской школы.

---------------------------------- ***Е. № 55*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
11 марта 1917

Ниночка, милая, добрался я до дому; не совсем еще, впрочем – ночевал в резерве, а на батарею поеду по узкой ж/елезной/ д/ороге/. Предложили мне ехать туда с орудием, которое здесь чинилось, и я встал в 4 утра, но путешествие это в черноте ночи показалось мне столь титаническим, что я отказался. Фейерверкер дал мне свою лошадь и фонарик – и я поехал впереди орудия в черноте ночи по фантастически скверной дороге среди закоулков деревушки, и боюсь, не я ли их запятил на трудный буерак, хотя они и не осуждали меня, говоря, что ездовые знают дорогу; потом колесо врезалось в забор, сломали его. Я остался, начал тебе писать, по традиции над водой. Бежит желтым и шумным довольно широким потоком, но до того руки зазябли, что ушел в тихое место. Здесь еще лежит снег – туман и холодно; птичье наречие плохо понимаю – они, кажется, о весне чирикают.

Известие о перевороте тут, говорят, приняли с большим воодушевлением, но жизнь шла обычным порядком. Ну, до свидания. Какие-то мутные мысли бродят, но не стоит их вжимать в письмо.

Целую.
И.

Не надо ли пустить мысль о конкурсе на народный гимн, или нет – пускай сам родится.

Приписка рукой Н. Я.: Получено на Чуприян/овк/е 6 апреля.

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
14 марта 1917

Ниночка моя, на другой день по приезде пошел на наблюдательный пункт – высоко, превысоко, еле долезешь. Мы вернулись в ту же долинку, где раньше стояли, только пункт это новый.
Вечером ночевать спустились с гребня пониже, ночевать в баню В. З. С.[1] Над высокими деревьями среди склонов гор стоял в тумане молодой месяц. И с горы полились звуки сильного хора: «Спаси, Господи, люди твоя», когда я не поверил ушам своим – конец молитвы, то хор два раза пропел: «Боже, царя храни». Сюда на горы еще не докатился приказ. Хотя все знают об обновлении и радуются, но жизнь идет как прежде. Гимн так красиво здесь звучал, что жаль, если его больше не услышишь, хотя, может быть, с привычными звуками свяжут новые слова.
Когда шел в темноте с наблюдательного пункта, по дороге лежали огромные ели, выкорчеванные снарядами, один корень тлел и верхушка одной елки тлела и сыпала по ветру искрами. Из земли прут какие-то неведомые могучие цветы – вот так загнувшись крючком, лиловорозовые.
Наконец я сплю, т. е. не сплю, удобно. В последнее время приходилось спать то в вагоне, то на голых досках, то на нарах на анахоретском тюфячке. Теперь вписал в наш домик мою походную кровать, и приснилась отличная гостиница с ванной, чуть ли не с женщинами при луне, и рисую проект хорошего фарфорового барельефа.

Рисунок

Володя[2] приехал – хорошо.
Сейчас, читая чудесные газеты, оплодотворился мыслью делать нового свободного русского орла. Герб с солнцем над ним, а он поднял к солнцу голову и крылья

Рисунок

[1] *В. З. С.* – Всероссийский Земский Союз помощи больным и раненым воинам.

[2] *Володя* – Фаворский.

---------------------------- *Е. № 57* ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
11 марта 1917

Милый мой Ваня, я что-то сижу в Домотканове – и лень на меня напала, и скучно. Самая счастливая, когда иду спать.

Тут в деревне носятся какие-то глупые слухи, которыми население питается, никакого воодушевления. Владимир Дмитриевич приехал и ездит по селам, объясняя, что случилось. Это очень необходимо, – все приходят на собрание угрюмые, недоверчивые, а по мере лекции оживают хорошие стороны человека и лица проясняются. Сегодня соберутся Обуховские, Куркинские, Борисовские, Захеевские в Калачеве. Я пойду, интересно послушать и посмотреть.

Я как приехала – первый день ничего не делала, рассказывала маме. Второй и третий – рисовала акварелью вид площади Лубянской, и перед Думой. Вышло похоже, но не очень красиво как акварель. Я спешила, чтобы кончить, пока здешнее настроение не успеет смыть того.

Во всех деревнях, оказывается, теперь ездят объяснять; это очень хорошо.

У нас сильные морозы: –20, –19 градусов.

Напиши, какого числа ты приехал – неужели только сегодня, одиннадцатого, в субботу? Напиши.

До свиданья, пока. Пиши. Я еще не получила ни одного письма от тебя, и очень жду. Это единственное событие, которое может тут случиться...

Целую, Нина

---------------------------- *Е. № 58* ----------------------------

Н.Я к И. С. *из Домотканова*
2 марта 1917

Милый мой, получила вчера твою открытку с дороги – спасибо.

Сейчас мы едем в Щербинино – помогать при выборах в волостной комитет. Могу и я голосовать, оказывается.

Вчера было собрание в Калачевской школе – было очень интересно, Владимир Дмитриевич произнес громовую речь, объяснил все мужикам. Очень интересно было смотреть на мужиков, очень они хорошие, когда так соберутся и вставляют свои меткие замечания.

Пришел солдат с винтовкой – оказывается, не разгонять, а оберегать собрание. Мужики под конец признали, что «республика лучше». Очень странно это было слышать из стариковских уст. Батюшка, который раньше только пугал всех тут своими нелепыми сплетнями – тоже раскачался и стал уговаривать выписать газету.

Интересно, что будет сегодня на выборах. Уж очень это только скоро на них свалилось, изволь вдруг выбрать из волости 10 человек, а они знают только своих, около своей деревни, а волость большая, на 20 верст.

Что-то, я все думаю, у нас делается на Даренке[1], там нет такого Владимира Дмитриевича, который объяснил бы все беспристрастно.

Женщины тоже голосуют – равноправные гражданки.

Вчера на собрании вначале баба рассказывала, что ездит, говорит, антихрист, заставляет подписывать бумагу и тому дают муку, сахар и крупу, потом кричат ура...

Этот антихрист оказался Владимир Дмитриевич.

А потом эта же баба все усвоила, что говорилось, очень повеселела, и весело болтала, когда возвращались, с нами.

Мужики шли неохотно, кто-то сказал, что Владимир Дмитриевич будет делить лес – они и пошли. А тут разошлись так, что и уходить не хотели. После речи и о лесе поговорили, и о земле. Он сказал им, что до сих пор эти дела решали дворяне, сами обладатели земель. А теперь будет большинство голосов у крестьян, так что от них зависит решение этого вопроса. Они удовлетворились.

Целую тебя, милый мой. Нина

[1] *Даренка* – деревня в имении Ефимова.

---------------------------------- ***Е.*** *№ 59* ----------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
Март (15?) 1917

Милый мой, получила и вторую твою открытку. Я хотела тебе описать, как мы в Щербинине были на первых крестьянских выборах (на основе равной, тайной, прямой и еще что-то...).

Впрочем, сейчас еду в Бавыкино, так что некогда; я нарисовала кое-что из этих выборов – выходят эти вещи как-то неинтересно со стороны художественной – а так, как документ очевидца, протокол – ничего.

Мама просит тебе кланяться и передать, что она так взволнована всеми событиями, что боится попасть в Бурашево[1].

Что-то, говорят, с Колей неладно – он хочет писать воззвание «долой войну»[2].

Владимир Дмитриевич его отговаривает. Мама боится за его здоровье.

Лошадь подана, до свидания, еду в Бавыкино везти свои «тени». Мама говорит, что я решила довести их до «победного конца»... Именно.

Я немного, кажется, стряхиваю свой сплин. Досадно, что я не вижу тебя во сне. Всякая дрянь снится.

Ну, до свидания, милый мой, милый.

Будь здоров и весел. Нина

[1] *В Бурашево* – т. е. в бурашевскую лечебницу для душевнобольных.

[2] Как убежденный последователь идей Л. Толстого.

Е. № 60

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
15–16 марта 1917

Милый мой, здравствуй, сейчас приехала из Бавыкина. Когда я подъехала к одному домику там – из форточки выглянула девочка и звонким голосом мне закричала: «Вы, верно, к папе? А он давно уже умер! И его давно похоронили».

Умер на второй неделе поста, через несколько дней после того, как мы его видели с тобой. Хворал 5 дней каким-то пустяком и вдруг утром сердце перестало биться.

«Похороны»[1] мои он допилил и беспокоился, чтобы не испортили. Я их сегодня не получила, они были у директора. Я хотела сдать работу свою тому мальчику, который пилил мне все это – но он, оказывается, убежал от них!!

Так я и привезла все назад. Сейчас мне пришло в голову – не приспособить ли кого-нибудь из немцев. Они что-то стали очень угрюмые теперь – и в дом не показываются. Не знаю, что на них подействовало – революция или ухудшение пищи.

Завтра Адриашино рожденье, он спит, а я уже поставила у кровати ему табуретку и разложила подарки: 2 книги (от тебя???), кусок шоколаду, перевязанный голубой ленточкой, которую я пока сняла с твоих писем, новая серенькая рубашка, новая пара чулок, и бабушка

поставила цветущую цикламену. Вышло очень красиво. Он лег полный приятных ожиданий.

Я забыла тебе написать, что нарисовала на переплете книги, которую купила для Адриана, – картинку, на которой изобразила его в 10 видах (ему 10 лет) от первого года до 10. Все вереницей держатся один за другого, в разных позах. Вышло красиво.

Адриан проснулся рано, еще едва светало, и все разглядывал.

Он очень доволен. Он любит этот день, и мне нравится, что он бывает всегда такой торжественный и точно носитель чего-то великого.

Он понес в школу леденцов, угостить всех детей.

У нас делается теплее, кажется, морозы прошли и снег оседает.

Как интересно будет получить от тебя длинное письмо с места. Напиши подробнее, как тебя встретили, какое у вас теперь настроение. Обрел ли ты прежнее спокойствие духа? Все, все пиши.

До свидания. Кланяйся от меня третьей батарее.

[1] *«Похороны»* – сцена для теневого спектакля: *...последний силуэт (это немного странно) изображал русскую похоронную процессию, которую я давно собиралась сделать в тенях. (Сюжет городских похорон казался мне декоративным.) Но тут я невзлюбила это свое произведение (оно и сейчас у меня вон стоит, засунуто за шкаф) и брала последнюю работу бедного Ивана Васильевича из его комнаты с неизъяснимым чувством вины* [Н. С. 1980. С. 177].

---------------------------------- *Е. № 61* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Середина марта 1917
Приписка рукой Н. Я.: получено 10 апреля.

[...] Теперь каждое утро лошади вереницами вьюками подвозят по 4 снаряда. Да, так вот, когда мы стояли еще в долине у шоссе в избе, в которой жили, к удивлению, и румыны[1], и женщины и дети, немцы обстреливали шоссе и просматривали его, и невдалеке большие воронки, а дальше по направлению к неприятелю все избы и церковь сожжены и разбиты. Да, так вот, никак не доеду, стал немец крыть по шоссе, вечером, когда мы уже собирались спать, каждый разрыв был все ближе и ближе. Я уже было улегся, но Влад. Андр., осторожный, посоветовал одеться на случай, если придется уходить за гору, за поворот шоссе к передкам (орудийные лошади и передки для безопасности ставятся почти всегда отдельно), но он ударил еще несколько раз и замолк, верно последний выстрел был не в прицеле.

Не помню, в ту же ли ночь на хребте застучали пулеметы, как швейные машины заработали, бомбы и минометы, и хребет осветился зарницей ракет, не видных за хребтом.
Наша вторая батарея, тогда уже стоявшая у хребта, ответила очередями и 4-мя подряд вспышками. Долго раскатывались по всем склонам в сером ночном воздухе четыре связанных в одну фразу выстрела.
Этот первый маленький бой производил совершенно такое физически освежающее впечатление, как первая летняя гроза. Дождь всё льет; наш ключ загремел как поток. Мы шутим, что если будет потоп, то пока-то еще вся долина наполнится водой – а мы уже на Арарате; правда, более высокий Арарат в руках немцев. Лежим в палатках, хорошо сегодня попели. Потом пили за обедом вино.

[1] *Румыны* – т. е. солдаты союзной румынской армии.

--- ***Е.*** *№ 62* ---

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
17 марта 1917

Приписка: Сегодня прочитали нам новую присягу, перекрестились и подписали.
Ниночка моя, я сейчас в состоянии довольно неопределенном, хотя и не очень в плохом, и слова трудно рождаются, а когда и родятся, хочется сейчас же рядом писать опровержение, вообще получается какая-то *papier mache*[1]. Не люблю тогда писать, но ведь надо же тебе получать письма, хотя бы и дрянь, поэтому вот: я все-таки склоняюсь к мысли, что попробовать переменить судьбу не лишнее бы, все-таки я тут праздный гость на батарее, хотя и хожу на наблюдательный пункт, но по существу – дельно, по-мужски, никак не вникну, да и не хочу в самое существо дела /вникать/ и уж, конечно, «дельным» не переделаюсь – этому воспрепятствует тебе мое знакомое существо, а простое «пребывание» на батарее – все же довольно тревожный способ существования. Тут рубят здоровенные ели и строят убежища; когда я, наконец, решился после глупых сомнений принять участие, и попилил, и потаскал, то ум, конечно, прояснился. Утратилось как-то спокойствие безвыходности и встали сомнения выбора; здесь, конечно, всякий скажет – трудно, и слабость, конечно, толкает в сторону наименьшего сопротивления и приводит резон, что ты, мол, тут и не нужен. Конечно, здравое возражение – так сделайся нужным. Ну, ведь это только умные слова, а на деле останется все же – глупое гулянье под снарядами.

Когда я неточно настроен, я, прежде чем написать что-нибудь, все себя одергиваю, и потому выходит, кажется, довольно сумбурно, т. е. нет, а просто надо ли тебе писать и смущать глупостями. Фу ты черт! Что не напишу, все – не верно, верно одно только – тьфу ты черт! Ну, одним словом, Courage, mon vieux![2] Что-то солнышко пригрело на ручейке, пойду позавтракаю – вон желтые цветы расцвели, конечно, пожалуй, и немногим хуже, чем где-нибудь.
Целую бурно.
Иван

[1] *Papier maché* – папье-маше (*франц.*).
[2] *Courage, mon vieux!* – Держись, старина! (*франц.*).

Е. № 63

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
27 марта (4 ч. утра) 1917
Приписано рукой Н. Я.: получено 7 мая.

Только что я было собрался отчаяться войне, как пришлось двое суток подежурить на хребте, залитом солнцем, где я все время пролежал голым до полного сожжения своего живота, который я таким образом сначала положил на алтарь Отечества (похудел от войны фунтов на 60), а потом и сжег на этом возвышенном алтаре. Это дежурство, состоявшее из чудных дней и невероятно неудобных и холодных бессонных ночей, уже подготовило мое хорошее настроение (обыкновенно, когда я счастлив – то не сплю, а тут душа моя, очевидно, спутала и приняла самую бессонницу за счастливое настроение), потом, когда вернулся с дежурства вечером и обтерся из ручья холодной водой, то в 1 час 30 минут ночи телефон приказал нам сняться с позиции, и, слава тебе Господи, препоганая была позиция, известная неприятелю, очевидно, и по карте, и по летавшим над нами аэропланам, и он ее сильно обстреливал, так что нам пришлось сделать убежище с 4-мя накатами толстенных деревьев. И через несколько дней бросить все это хозяйство и отличную рубленую свою избу.
Это я писал ночью, а сейчас сижу под солнцем на береговом лужке, усеянном желтыми цветами.

Les beaux jours vont enfin renaître,
Le voici, l'Avril embaumé!

Un frisson d'amour me pénètre,
Viens! mon bien-aimé![1]

[1] И. С. перефразировал песню французского композитора и пианиста, Сесиль Шаминад, автора песен и романсов в духе романтизма. Примерный перевод с французского:

Идет весна благоуханная
На смену зимних хмурых дней,
И дрожь любовная: Желанная!
Приди скорей!

---------------------------------- ***Е. № 64*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
28 марта 1917

Ниночка! Хорошо мои и твои письма (а где они?) положить в coffre fort[1], и еще: известно/ли/, где все наши фотографии. Я вспомнил о фотографиях Chapelle[2], надо бы их попечатать. И еще возьми ты, пожалуйста, у *Смирнова* в школе [МУЖВЗ] негативы моих рисунков (только сейчас ты в Домотканове?) – ну, может быть, вспомнишь в Москве.
Негативы и красивы, и кроме того, он может соблазниться их напечатать – скажи, что я прошу отдать. А хороши некоторые рисунки – посмотрел их я сегодня на солнышке.
Хорошо у нас тут поют вечернюю молитву.
Хорошая газета «Русская воля».
Получил сегодня первый раз жалованье: за два месяца 1 р. 50 к.
Не достанешь ли ты Ключевского «Жития русских святых»? И еще, если цел список, купи желтеньких книжечек.
Верно, вы теперь красите яйца?
Целую тебя весело.
До свидания, моя милая.
Ваня

Приписано рукой Н. Я.: получено 16 апреля 1917 года.

[1] *Coffre fort* – сейф; здесь: вероятно, сундук *(франц.)*.

[2] *Chapelle.* – Когда Ефимовы в 1909–1911 гг. жили в Париже, они снимали (для житья и как мастерскую для работы) огромную пустующую церковь (Шапель) упраздненного монастыря Sacré Coeur, около бульвара Инвалидов.

--------------------------------- *Е. № 65* ---------------------------------

Н. Я. к И.С *из Домотканова*
Март 1917

Сейчас мы были с Наташей, Юрой и Адрианом в Борисове. Понесли книжки о современных событиях для чтения. Об Учредительном собрании и другие. (Да, надо и тебе послать) – было очень интересно. Да, в деревню когда попадешь, всегда очень интересно и приятно, и думаешь, почему не бываешь чаще, и даешь обещание ходить часто, а потом все же не случается.

Мужики о земле и всяких вопросах говорят очень умно, всегда свое собственное, взятое из опыта. Я не стараюсь говорить свое мнение, но рассказываю, что говорят по этому поводу те или другие партии.

Некоторые из крестьян за бесплатное отобрание земель, другие за отобрание с вознаграждением. Социал-демократов они не жалуют за 8-часовой рабочий день. Говорят, что солдаты и крестьяне обязаны работать много, так что не справедливо, и все потянутся из деревни в город.

Нас угощали пивом. Митя и Петя[1] ушли в Обухово, в чайной лавке собрали много народу и тоже говорили. Тоже довольны и тоже пили пиво. Наше «хождение в народ» не кончится ли пьянством?

В Москве на параде женщина несла бархатное знамя, на котором золотом вышито «Да здравствует свободный нарот» через «т». Это очень хорошо.

Нина

[1] *Петя* – Петр Владимирович Бяшков (1896–1963), младший из сыновей Варвары Яковлевны, племянник Н. Я.

--------------------------------- *Е. № 66* ---------------------------------

Н. Я. к И.С. *из Домотканова*
28 марта 1917

Милый мой – странно, что так долго нет от тебя ни одного известия. Я даже как-то отвыкла ждать. Завтра приедет Маруся, так что я переехала опять на новое место – в Митину комнату – угловая, бывшая мамина. Все перенесла, убрала, но так как не усвоила еще, что это мое помещение – то села писать тебе, чтобы осуществить право на столик, чернильницу и сосредоточение в этих стенах. Вчера мы с Наташей ездили в Бабыкино – очень долго, шаг за шагом. Сани проваливаются:

отчасти плыли по воде, отчасти скребли по земле. Не застряли благодаря уму лошади.

Я теперь читаю много популярных книжек на современные темы – надо просмотреть, раньше, чем распространять; а все, кому случается дать – набрасываются с жадностью. Тут пока раздавать приходится то, что осталось от 1905 года – годится, оказывается и теперь. А начинают появляться и новые книжки. Тут о выборах, об учредительном собрании, об евреях, о женщинах, о разных сортах управления (республика, монархия и пр.).

Сейчас у нас холодно, ветер.

Что-то, что-то у вас????

Мы прочли Морозова, теперь, когда Ляля только прочтет – пошлю тебе. Это интересно и легко читается. Он получается симпатичный, главное – наивный и откровенный. Но видно, что напрасно пошел на революционный путь – вся его натура была создана для науки, и он гораздо больше сделал бы наверное[1]. Все его друзья были мамины знакомые.

А у Владимира Дмитриевича друзья и знакомые – министры все теперешние. Зато, я говорю, – у меня было больше протекции при старом министерстве.

Теперь в синематографе показывают Распутина и «Крах дома Романовых и К°». И в Москве, и в Твери. Публика ломится и хвост на улице. Кажется, гадость порядочная – там представлены все великие князья. Но не с натуры, конечно. А может быть, это и хорошо, чтобы народ окончательно отвык от величия их имени.

Я не понимаю, почему ты мне больше не снишься? У меня сейчас перед глазами домоткановский сад, с липами, торчащими из снега. «Последний снег»[2].

Нина

[1] *Николай Александрович Морозов* (1854–1946) – революционер-народоволец; ученый; поэт. В 1882 г., по процессу «Народной воли», был осужден на пожизненное заключение; содержался в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. В 1905 г. освобожден по амнистии. В тюрьме выучил одиннадцать языков, написал множество научных работ по химии, физике, математике, астрономии, философии, авиации, политэкономии. Арестовывался еще два раза, последний – в 1912-м, освобожден в 1913-м по амнистии к 300-летию дома Романовых. В итоге отсидел почти 30 лет. В 1908 г. вступил в масонскую ложу. С 1909 г. был председателем Совета Русского общества любителей мироведения (РОЛМ) до его закрытия в 1932-м, когда все члены Совета были арестованы. Морозов же был лишь вынужден отбыть в родовое имение Борок, где создал научный центр и обсерваторию (работавшие до последнего времени, под эгидой РАН).

[2] Имеется в виду сходство с картиной К. А. Коровина «Последний снег» (1870-е гг.).

E. № 67

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
30 марта 1917
Почтовая карточка

Советовался с Влад. Андр., и уже сейчас спилил здоровенный бук и хочу сделать деревянные гравюры, чтобы напечатать несколько и разослать разным людям и в Русские Ведомости.

E. № 68

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
2 апреля[1] 1917

С светлым праздником, милые мои. У нас построили церковку, украсили огнями, и солдаты без священника пели пасхальные песни. Рядом шумел ручей. Потом пошли разговляться во вторую батарею, с которой мы теперь вместе. Там новый, очень приятный, хотя и абсолютно молчаливый, командир. Потом у себя еще раз разговлялись. Сегодня идем с Влад. Андр. на наблюдательный пункт на три дня. Я, кажется, очень мало писал о настроении здешних войск. Самое, какое надо, простое и сильное, по крайней мере у нас. Ну, до свиданья. Одно твое письмо у меня в запасе оставлено, буду читать на наблюдательном пункте. Целую вас по три раза.

Ваш Иван

Ты пишешь, что читала о неудачных боях – у нас не было ничего значительного, так что не надо беспокоиться. Когда пишут об Румынии, а она достаточно велика, то вовсе не значит, что это именно у нас.

[1] Пасха в 1917 г. пришлась на 2 апреля.

E. № 69

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Начало апреля 1917

Тут очень хороший пункт, под скалистой вершиной, кругом широко видно. Колыхались слоями облака; то обнажаются темно-синие враждебные вершины, то задернутся туманом. Теперь утро, с деревьев шуршит и падает гололедица, солнце пробилось, между обломками ка-

меньев маленькие цветочки земляники. С неприятелем давно уже тихо, на Пасху ходили друг к другу, и правильные почтовые сношения – вешали на проволоку прокламации, немецкие газеты на их и на русском языке. Много перебежчиков, они все уговаривают кончать войну, но им не очень верят. Недавно говорили даже, что к нам придет на манифестацию целая австрийская дивизия, но вместо того ночью была артиллерийская стрельба, левее нас, по их, кажется, инициативе.
Теперь, когда запасы у них приходят к концу и из Франции жмут, хорошо бы сразу давануть, пожалуй что, можно бы и конец так сделать.
Рассказывали сейчас про бывшего командира 2-й батареи, толстого, я его не застал, толще того, какого я знал, – что он ходил с еловой веткой, маскировался – если летит аэроплан, на голову ее поставит или ляжет среди поля и накроется, или когда устроится по надобности, спрашивает с тревогой, видно ли его.
Тут, говорят, слышно, как внизу на полугоре в буреломе кричат кабаны, и 3-го дня трое кабанов загнали телефониста на дерево.
Вчера я и сам их слышал – вроде собачьего лая с примесью хрюканья.

------------------------------ *Е. № 70* ------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
10 апреля 1917

Пришел к нам сейчас командир дивизиона прощаться – едет в отпуск. Веселый-превеселый, перецеловал нас: мы были втроем с Влад. Андр. и Алтуховым, и каждому из нас предложил, что зайдет к нашим в Москве; я сказал, что ты в деревне.
У нас пошел снег.
У меня вспенилась было мысль об обновленном гербе. Посылаю тебе. Я думал сделать дерев/янную/ грав/юру/ и отпилил уже бук, и хотел послать в Русск/ие/ Ведом/ости/, написал уже Игнатову[1], Мануйлову[2], Бенуа[3] и еще кому-то. Но выходит он какой-то сухой; если бы в Москве, можно бы посмотреть разных орлов и всякую геральдику, а то очень беден он выходит.
В 4 часа лунной ночи я написал было к нему и объясняющий текст: мне хотелось бы думать, что этот герб символизирует тот мощный, и радостный, и легкий размах крыльев Гения Русской Силы, который одним неудержимым взмахом, почти без усилия сбросил с себя цепи рабства и в свободном полете несется к солнцу Правды, взошедшему на Востоке, на которое он может отныне смело смотреть открытыми

глазами, на это солнце правды, как смотрят, по народному выражению, только орлы и те, у кого совесть совершенно чиста. А теперь, слава Богу, она чиста у Нашего Великого Народа.

До свидания.

И. Е.

[1] *Игнатов – см. ком. к Е. № 20.*

[2] *Мануйлов* Александр Аполлонович (1861–1929) – министр народного просвещения Временного правительства в 1917 г.

[3] *Бенуа* Александр Николаевич (1870 –1960) – русский живописец и историк искусства.

Е. № 71

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
14 апреля 1917
Почтовая карточка

Ну, опять пока коротенькое. Ник. Ив. Васильев и Вл. Андр. стали рисовать тут одного «номера» с лицом, какие у скульптора франц/узского/, рабочих делает, и я порисовал, только не очень-то хорошо. Живем безмятежно.

Е. № 72

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
4 апреля 1917

/Рисунок/

Сегодня чудный день. Первый настоящий весенний. Снег почти везде превратился в лужи или грязь. Воздух теплый, ласковый. За окном птичка все время очень хорошо напевает. Эта Пасха совпала с тем, как было, когда мы венчались. Тогда мы венчались в первое воскресенье после Пасхи, и это было девятое число, и теперь воскресенье первое придется на 9 апреля. И дни очень похожие. Сегодня четвертое апреля, скоро день нашей свадьбы. Тогда ты из еловых веток, которыми были покрыты зимой розы, сделал шалаш, и мы в нем ели апельсины. Теперь опять ветки лежат на розах, но еще не сняты, а полянка просыхает. Ты был в сапогах и с красным цветком от кулича в петле куртки. Тогда было весело, а теперь скучно. Но все-таки я не променяла бы того на теперешнее. Ты, конечно, тоже?

Мне сейчас пришло в голову, что, может быть, люди от того весной чувствуют какое-то необъяснимое стремление куда-то и тоску, что прежде они куда-нибудь в это время перебирались, как птицы летят инстинктивно.

Митя говорит, что птицы и сейчас во время перелета облетают места прежних ледников. Это в теплых краях, где ледников нету теперь.

И так если представить какую бы то ни было работу – все тоскливо, кроме как если куда-нибудь перебираться и строиться. Пожалуй, ваше занятие именно вроде этого – переходите, устраиваетесь.

Митя уехал вчера верхом на Чуприяновку, в Москву. Он много раздал книг и собирал народ в чайных – крестьяне довольны и просят приходить. Угощали его и Петю яйцами, пивом.

Я ходила утром к прудам, где мы с тобой тогда сидели у желоба – еще ты скамейку сделал. Лягушек там какая пропасть! Сплошь торчат головы, и они вылезают на лед и скачут по всему замерзшему пруду во всех направлениях. Все, конечно, в таких позах, как ты лепил.

До свидания, милый. Пиши.

Нина

Е. № 73

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
6 апреля 1917

Милый мой, вчера получила от тебя третье письмо, посланное с телефонистом, с оказией. Оно пришло скоро, на девятый день. Там гербы получились – очень красивые. Хорошо бы составить так русские города. Мы хотели было с Адрианом красить их, но жаль. Мне больше всего нравится с двумя священниками. В этом же письме твой рисунок проекта памятника. Мне нравится. Только на рисунке пока не кажется, что он ставит этот крест – а как будто молится на коленях. Не знаю, как показать, что он вставляет. Или связывать? Это, пожалуй, лучше всего испробовать на натуре, разные позы – и что понравится.

Сегодня у нас опять теплый день, как когда я тебе писала тот раз.

Напиши мне какие-нибудь факты о себе – кто у вас дома, кто в отпуску; как тебя встретили, довольны ли гвоздями и нитками, что сказал дивизионный командир. Так же у вас настроение, как и до отпуска, или теперь печальное. Поёте ли вы вместе песни? Ответь, мне очень интересно знать, как вы поживаете.

Из Калачева, верно, доносятся пение и гармоника деревенских. К нам приходит иногда из деревни кто-нибудь из молодых людей, и ото всех разные мнения. Придет фабричный – очень убежденно пропагандирует 8-часовой рабочий день. Потом придет солдат – недоволен рабочими. Мы и ему верим. Крестьянин – то же.

В зависимости от этого меняются и наши мнения. Особенно мама. Прошла все партии. Кроме того, мы читаем книжки разных партий. Мама была конституционалисткой и ненавидела большевиков, потом стала пропагандировать 8-часовой рабочий день, как большевики. Потом стала анархисткой; и Петя обещал, что завтра она будет террористом-бомбистом. Возможно, тут её так изводят работники, что не удивительно, если она взорвет Домотканово.

До свиданья. Целую тебя. Пиши. Нина

Е. № 74

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
9 апреля 1917

Сегодня день нашей свадьбы. Мы с Адриашей пошли утром в церковь к обедне. Пришли слишком рано даже.

Погода похожа на ту, которая была в нашу свадьбу. Тепло, воздух мутный – не то туман, не то пыль от цветущей ольхи.

Дорога просыхает, но ужасно размыта осенними и весенними ручьями. Вместо дорог – овраги, и по обе их стороны – по дороге, в озими или в грязи.

После обедни мы пили чай у батюшки.

Я за эти дни подклеила с помощью тут одного беженца, который пришел на праздники жить в Домотканово, подставки к теням. Стараюсь довести до «победного конца», и никакие козни не заставили меня еще изменить эту формулу.

Заказала в Бавыкине ящик для теней. 20 вершков на 16 и на 3. Не очень большой – а все должно влезть. Видела «Похороны», которые мне выпилил перед смертью Иван Васильевич – очень хорошо, аккуратно сделано, и осел шевелит ухом, и ноги двигаются. Я еще не взяла, потому что ездили верхом.

Да, я получила еще два твоих письма – сперва пришло от 11 числа, а на другой день от 10-го. Они пришли в обратном порядке.

Теперь еще жду, что придет с описанием твоего приезда и про отпуск командира. Верно, тоже где-нибудь заблудилось и придет.

Что у вас говорят о выборах в Учредительное собрание? Тут крестьяне некоторые хотят, чтобы это было после войны, когда вернутся в деревни солдаты. А то им выбирать некого. А те, кто достоин у них – а теперь на фронте – может там быть не отпущен и пропадет для собрания. У вас ведь тоже предполагаются выборы по частям войск.

Не послать ли тебе легкую еще блузу? Или тебе сошьют казенную? У тебя ведь одна летняя.

Напиши, так же ли вас кормят, как и раньше, и вообще, если есть перемены – то какие. Есть ли еще белый хлеб? У нас почти нет. В Москве дают только детям немного. В Твери совсем нет. Нам дали по фунту на человека, вероятно до осени.

Дошли ли твои гвозди и папиросы в вагоне Рабенек[1]?

До свиданья. Целую тебя и поздравляю с днем свадьбы, 11 лет. А ты вспоминал в этот день?

Нина

[1] *Рабенек* Элли Ивановна (Елена Ивановна Книппер-Рабенек, урожд. Бартельс, сценическое имя – Элен Тельс; 1875–1944) – танцовщица; Ефимов раньше рисовал ее, а также выполнял ее художественный заказ – ножки для ложа – в виде сатиров. Рабенек пыталась организовать предоставление вагона для отправки на фронт вещей, в том числе купленных для батареи Иваном Семеновичем в Москве (*см. ниже Е. № 83*).

Е. № 75

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
11 апреля 1917

Милый мой, сегодня мне снилось, что мы идем по Петербургу, и там разлилась Нева так, что улица в воде, и наконец мы поплыли, вплавь, мимо стоящих извозчиков, автомобилей. Приплыли на берег Невы, – а она огромная, разнообразная. Льются какие-то зеленые водопады, пенится у берегов пена – и она глубоко лежит и широко-широко, как море; сверху нам видна какая-то пристань в воде; и я боюсь, что ты пойдешь купаться. Так и есть – вижу, ушел, и виднеешься далеко, в пене. Я кричу, но не слышно, конечно, потом ты оглянулся, и я машу назад рукой, чтобы ты шел, и сердито махаю. Ты пришел на берег, и мы начали спорить, можно ли купаться. Тут подошел какой-то твой знакомый и, видно, критиковал в душе мои притеснения.

Потом он ушел. Тогда я стала сомневаться, должна ли я тебя удерживать – и вижу, что на воде стало тихо, солнце яркое, и вода какими-то отдельными лагунами, как во время отлива. Тогда мне ста-



И.С. Ефимов и Н.Я. Симонович-Ефимова – жених и невеста. 1906





Н.Я. Симонович-Ефимова. Зал в Домотканове. 1908 (ГТГ)
Н.Я. Симонович-Ефимова. Первые митинги. 1917 (ГМИИ)

ло очень стыдно, что я тебя держала, но ты не рассердился. Да я еще раньше обняла тебя сзади и положила подбородок на твое плечо, у самой шеи. Тогда-то и ушел этот человек, и мы улеглись очень приятно, и я держу рукой шар. Такое реальное ощущение было, что я проснулась, и впечатление от этого сна осталось такое легкое и свежее, несмотря на спор с тобой.

А вчера тоже вроде этого, то есть на эту же тему – ты как будто весел и в ударе – и начал что-то писать красками. Я пришла и сказала, что не стоило тебе писать. Ты сейчас же опечалился, а я пришла в отчаяние, ругала себя, досадовала, а тут ты еще прошел мимо вдалеке, с опущенной головой, и я вижу сзади твою шею – она стала такая худая, как у худого мальчика. Тогда я совсем в отчаянии и горе. А тут ты вернулся и опять довольно веселый, и мы улеглись в какую-то хорошую кровать и покрылись зеленым одеялом. Но пришла какая-то горничная, я сконфузилась, что мы в чужой комнате улеглись, а ты вскочил и начал голый очень весело прыгать перед нею. Она тоже развеселилась, вы выскочили в коридор, и там еще появились какие-то девицы и очень весело возились. Я выглянула, довольная, что ты забыл о моей суровости; и потом почему-то стали сниться массы чудесных конфет, печенья, мармеладу, шоколадных и всяких необыкновенно роскошных, целые груды, столы. Но вчера от того сна было впечатление тяжелое. А сегодня хорошее.

Но зато потом я писала Анюту (большое лицо) и испортила; и очень это неприятно. Сегодня приедет Маруся. И вечером Владимир Дмитриевич. Мужики ждут его с нетерпением, до нас доходят слухи, что собираются отнимать землю. Или даром, или за 5 р. аренды. Может быть, это слухи. Вот завтра увидим. Интересно. Кругом тут не спокойно – синцовские приказчику сделали скандал, из Бурашева выгнали директора, из Бавыкина тоже. Что же – может быть, это и есть справедливый суд, по высшей совести, не считающейся с существующими законами. У вас мирное царство... До свиданья, милый, будь здоров – это одно существенно, остальное не важно.

Нина

--- ***Е. № 76*** ---

Н. Я. к И. С. *из Домотканова и Твери*
13–15 апреля 1917

Вчера Маруся привезла твою открытку с дороги, писанную 10 марта. Получила я ее, значит, 12 апреля. Теперь я вижу, что все твои пись-

ма получены, только в обратном порядке. Так бывает обыкновенно. Письмам надо тоже какие-то невидимые простым глазом усилия, чтобы проторить себе дорожку. Первым дойти трудно, а следующие идут как-то скорее. Теперь я узнала, что командир в Тифлисе и Петрограде. А то я догадалась из письма, что его у вас нет, и справлялась через Марусю у *Вишневских*, но они не знали, где он. Значит, он к ним заедет под конец.

Мне сейчас не везет с живописью – все место в избе занято – то стоял станок, а теперь сидит сапожник, и все обещается скоро кончить. Застрял мой мальчишка. «Застряниль», как говорит Франц.

А наши тут немцы что-то стали мрачные, уж нет песен и веселья в кухне, как раньше. Это они после революции что-то изменились. Ходят сердитые, кричат на лошадей – только и слышно от них; и всё ломают, теряют и портят. Ты потерял папаху – это еще что – да и лето теперь – а вот мы с Наташей с помощью проклятых немцев – 2 пары хороших сапог Владимира Дмитриевича потеряли. Мы всю Пасху были снедаемы мрачными навязчивыми мыслями. Теперь забываем. Мы ездили с Наташей в Бавыкино, хотели заказать, но не берутся. Ну, авось уладится. Я завтра поеду в Тверь лечить зубы. Тут у Мити лежит в шкафу хороший череп – хочу с горя начать его рисовать, для пользы. А то что же я так болтаюсь? Пиши, пиши, пиши. Целую тебя. Сейчас в пруду лед оставшийся колется на стрелки, рассыпается, как когда мы с тобой ломали.

13 апреля

Буря от вас прилетела к нам – у вас, писали газеты, снег выпал в армии, а сейчас у нас – снег, ураган, все стало бело. А мне предстоит идти на Чуприяновку – не знаю, идти ли. Хочется все-таки пойти – ведь у вас не обращают же внимания на погоду.

Я тут истомилась от своей праздности и от ощущения, что я не там, где должна бы быть. Хотя, где это должна быть? По утрам мне хочется быть в Отрадном, – там так хорошо бывает на балконе утром пить чай – теплое утро, чистый воздух, сирень, круглый стол с круглым чайником белым с розой – кормилица в лаптях с серым пирогом... все это так светло и приятно. Но вечером – я очень рада, что я не там – там было бы вечером скучно, страшновато...

15 апреля

Пишу из Твери. Мы с Лялей отлично домчались до Чуприяновки – вихрь дул в спину. У нас были рюкзаки (у Ляли 3 сумки и корзина, фунтов 15–20). Пришли – не только не озябли, но все в поту. Я дума-

ла – будет целый ряд поездок в Тверь из-за зубов, а мне докторша уже все сразу сделала, так что я больше не приду, поэтому хочу пойти сегодня на какой-то спектакль – «Крах дома Романовых», – хочется видеть что-нибудь новое, в новом духе. Боюсь только, что, кажется, мой поезд идет в четыре часа ночи. Пойду с Чуприяновки на рассвете. Теперь поезда около нас только ночные. Я нахожусь под влиянием множества мыслей и желаний, но все несовместимые. У меня накопилось много сил, хотелось бы какую-нибудь работу большую, т.е. трудную, чтобы чувствовать себя занятой. Но для этого надо быть в городе. Но Адриану надо быть в деревне. Кроме того – хочется в Румынию – а там мне нечего делать, да и мешать всем – и Адриана не оставлю. Из этого всего, боюсь, получится то, что я засяду в Домотканове.

Вчера мы были на кадетском собрании, у них в программе много мест нерешенных, они все оставляют до Учредительного собрания. У них, так они говорят – партия «реальной политики», поэтому они действуют под давлением времени, и мало у них творчества. Это не симпатично, и другие левые партии, конечно, парят выше. Но в тех свои неприятные стороны – как, например, то, что кадет – все же человек во всяком случае порядочный, и как личность – определеннее: все же кадеты хоть малым – но добровольно поступаются, тогда как левые – оттого хотят, чтобы отдали – что у них ничего нет, и они требуют себе, а не дают ничего от себя. И как личности они величины совершенно неопределенные – и высокие идеи исходят, может быть, из одного захватного качества. Но на кадетском собрании все же кадеты мне показались какими-то ограниченными старческими силами людьми, так что голос какого-то постороннего протестующего солдата – раздался, как приятная свежая струя. А все же – по своей натуре – мне место было бы среди кадетов – именно отсутствие смелых перемен и практическое лавирование среди разных подводных камней...

Спроси все-таки у Давида Михайловича – не могу ли я взять у вас должности – например, ездить за письмами каждый день, или вообще на посылках быть. Я поступила бы на службу – ведь бывают женщины волонтеры. Только ты серьезно спрашивай, и чтобы он и ты не обманывались – а то скажет или скажешь, что можно – а окажется – нельзя. Я так не хочу. Могу чистить лошадей. Мыть посуду. Хотя – все равно буду чувствовать себя мешающей. Наташа тебе очень даже кланяется. Ей хочется в Отрадное, а я боюсь. А может быть, возьмем, да и поедем. До свидания. Жаль, что нельзя есть лес – мы были бы сыты до отвалу в Отрадном. Целую 1000 раз. Нина

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
17 апреля 1917

Милый мой! милый мой, сейчас ночью я опять виделась с тобой – и как-то прочистилось в голове. Какое счастье, что во сне можно ясно видеть и чувствовать, как действительность. Какое это чудо...

Мне снилось, что нас было несколько человек в комнате: Адриан, Наташа и, кажется, Валентина[1]. Потом я услыхала твои шаги и насторожилась – и вдруг ты вошел. Я почему-то упала и поползла к твоим сапогам и штанам защитного почему-то цвета. Потом поцеловались, и ты рассказал, как ты попал к нам.

Ты ухитрился проникнуть за германскую границу и положить бомбу под очень важный пункт. В награду за это командир отпустил тебя в отпуск; я еще тогда подумала, что это очень любезно с твоей стороны, не просить ничего другого, а отпуск; а теперь вижу, что это чересчур большое самоотвержение. Вид у тебя только был очень измученный, складки около рта и под глазами. Но когда ты рассказывал о своем подвиге, то совершенно изменился, и я стала видеть все сама. Ты поехал туда на автомобиле и разделся голый. (Должно быть, чтобы немцы не узнали по одежде?) Твое лицо было такое гордое и сосредоточенное, как в лучшие твои минуты, и очень решительное. Промчавшись по полю через границу, ты еще 20 минут ехал по немецкой земле (ночью) и остановился около множества вагонов. Быстро подложил бомбу под вагоны – повернул бесшумно и уехал.

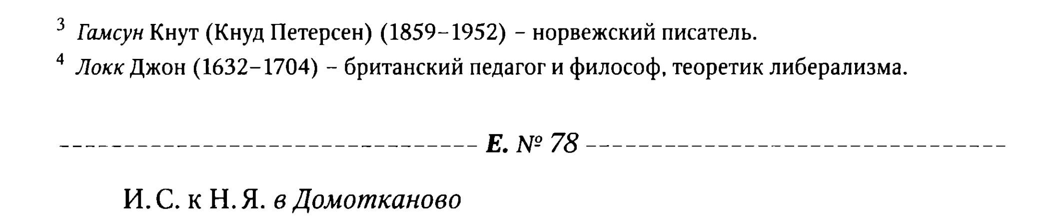
А потом я уже вижу какую-то желтенькую книжечку – и там написано про это, но на одной странице – что ты ехал на автомобиле, а на правой – что, может быть, и верхом. Но именно успех зависел от того, что ты был голый. (А на голове у тебя было что-то вроде шапочки Меркурия.)

[...] Я получила вчера твои письма мне[2] и письмо к Любови Сергеевне. Я уже ей написала тоже.

Еще я сделала бандероль на две желтые книжечки – Гамсуна[3] и Локка[4], кажется, ты их еще не читал, и пошлю тебе.

[1] *Валентина* – Валентина Семеновна Серова (урожд. Бергман; 1846–1924), композитор, пианистка и музыкальный критик; жена композитора А. Н. Серова, мать художника В. А. Серова, тетя Н. Я.

[2] В одном из них И. С. извиняется перед Н. Я., что посылает ей копию (под копирку), а оригинал хочет послать Любови Сергеевне (*см. Е. № 17*), которая находится на фронте, вернувшись в Санитарный летучий отряд. И. С. называл письма под копирку двум-трем адресатам «артиллерийским залпом»: только в начале и конце – что-либо личное.


3 *Гамсун* Кнут (Кнуд Петерсен) (1859–1952) – норвежский писатель.

4 *Локк* Джон (1632–1704) – британский педагог и философ, теоретик либерализма.

Е. № 78

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
19 апреля 1917

Недавно к наблюдательному пункту подошел олень, в горах попадаются следы коз и оленей. Недалеко от нас есть зажатое между горами озеро с мутной водой и довольно мусорного вида, как и горы здесь, где мы стоим. В озере форели, их стреляют, т. е. оглушают выстрелом. А внизу в широкой долине красиво цветет черемуха; мы вчера с Ник. Иван. скатились туда, ездили верхом.
Вчера было 18 апреля, ходили процессии с музыкой Марсельезы и с красными маленькими знаменами с надписями. Назад ехали на платформе, груженной тесом, ночью под густым роем искр от паровичка, так что пахло палеными шинелями, и одна мне залетела за воротник.
Пожалуйста, бывай в Москве, а то заскучаешь.
Сейчас Влад. Андр. привез из резерва (он ездил туда как выборный от офицеров) от тебя два письма с птичкой на конверте красивой, оно единственное из твоих писем, которое просмотрел цензор. Мы тут чисел большей частью не помним, и 9 апреля[1] я не заметил. Теперь хорошо бы было с помощью твоего письма окунуться в те времена.

Приписка: Ник. Ив. Васильев, Б. Сухаревский пер. 9, дом Дмитриева, тел. его трактира[2] 1.25.33, а своего он не помнит.

1 *9 апреля* – день свадьбы Н. Я. и И. С.

2 *...его трактира...* – По-видимому, родители Н. И. Васильева содержали трактир в Москве.

Е. № 79

И.С к Н. Я. *в Домотканово*
20 апреля 1917

Ниночка моя, сегодня пришел дежурить на другой наблюдательный пункт. Склон горы с хвойным и буковым лесом. Перед хижиной (хорошей, теплой) на колючей проволоке натянуты между двумя деревьями буквы из еловых веток ХВ.

Приписка: Ночью в звездном воздухе буквы эти покачивались очень величественно.

Из хвои большой поваленной пихты нарубили себе мягкое ложе. Избушку надо так себе представлять: из восьми венцов 4-вершковых бревен неошкуренных с маленьким в ½ аршина окошечком.
Рядом с избушкой сторожат два здоровенных, в полтора меня, кругловатых камня, которым, верно, давно очень хочется прокатиться под гору. Сейчас уже сумерки, завтра, пожалуй, все это нарисую. Шумит ветер и посвистывает какая-то птичка. Со мной почему-то пошла наша собака Цыганка, которая к нам пристала еще на Волыни во время похода. Теперь она очень весело играет со щенятами. Премилые шарики, легкие, куцые, с завитком на том месте, где полагался бы хвост. Один пегий, другая черненькая, с белыми кончиками. Когда они играют с Цыганкой и бросаются на нее угрожающе, то от собственной легкости падают и перекувыркиваются. Зовут их Узулуй и Пояна. От Пояны и Узулуя, где мы стояли.
Медвежата приехали (нарисованные), ходят со мной на наблюдательный пункт; тебе и Адриану кланяются.
А вот уж, как-нибудь, ты не скучай и не будь согласна каждую минуту заплатить. Как это ты меня так хорошо чувствуешь, что предвидела, что я буду редко писать. Ну теперь я уравновесился и постараюсь почаще. А ты езди, ради бога, в Москву почаще, добывай себе новые элементы энергии, как мы посылаем за элементами, когда старые в телефонах приходится выбрасывать.
Командир скоро должен приехать, это хорошо. Едет в Москву (и приедет уже, когда ты получишь) Ник. Ив. Васильев. Ты непременно поезжай под этим предлогом, так сказать, в Москву и его бодрого повидаешь.
Теперь мы, т. е. и офицеры, получаем солдатский паек (почти), но перемены никакой нет, едим поменьше мяса – раньше ели лишнее.

Е. № 80

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Апрель 1917

Жалко, что не встал я встретить Солнце; просыпался, когда в маленькое стеклышко хижины был виден оранжевый восток. Но воля еще не совсем проснулась и улеглась поэтому на другой бок мордой к бревенчатой неошкуренной стене, на которой потом играли лучи.

Сейчас недавно левее нашего участка настойчиво строчил пулемет. И слышны были и видны разрывы во вражеской лощине. В телефон ведь мы слышим и все чужие разговоры нашей сети: стрелки сначала говорили, что это по аэроплану, потому что слышны были выстрелы, а наш фронт их на себе не чувствовал; но никакого аэроплана не было, а это он, по-видимому, бил по своим тылам. Очень это вероятно. Может быть, мы присутствовали при начале австрийской революции, с которой боролись немецкие офицеры, вот бы когда нажать. Сейчас сижу на крыше, смотрю в долину, где наша другая батарея. Хребет, на котором лежу, разделяет всю ту долину, в которой мы стоим. Видно в утреннем солнце блеск потока, по берегу которого идет узкая колея. Эти долины в схеме, вот такие в разрезе /*рисунок*/, почти без плоской земли, только по берегу потока, а та долина, в которой мы раньше стояли, в которую впадают эти и в которую мы скатываемся на вагонетке – та широкая и приветливая, с прекрасными огромными цветущими грушами и яблонями. Теперь пришла мне смена, спускаюсь. На склоне уселся там, где поравнялся с вершинами распускающихся буков, и они плотными зелеными шариками рисуются на сизой дымке гор. Опять пулемет застучал влево, не по своим ли опять немцы стреляют. Прошел немного: провалился ногой между гнилыми деревьями так, что сапог снялся – слышу, журчит вода. Это место рождения ручейка. В это время полулежал я на конце хребта перед наблюдательным пунктом vis-à-vis с неприятельскими горами. Как раз с их стороны солнышко припекает – не сидеть же в тени, хотя и не следует, конечно, очень вылезать на этот склон, чтобы не выдать пункт, но это теория, а на практике не очень соблюдается.
Блаженствую. Другое утро пришло на наблюдательном пункте.
Я утром устроился на крыше хибарки плоской, густо укрытой плоскими лапками пихты. Рядом со мной крупные напухшие почки. Как на твоем портрете, моем рисунке.
Пролетел в синеве вражеский аэроплан не высоко, над нашей вершиной, цветов светлых перьев орла, кажущийся прозрачным по краям. Погнался быстрый блестящий алюминием истребитель. Я часто перечитываю письмо со сном, где мы лежим и рука твоя на шаре. Очень приятно, когда центральный орган делается горячим под лучами солнца. Греки называли зарю Ροδοδακγιλος Ἠώς – розоперстая Эос; так вот, прикосновение лучей действует так же и производит тот же внешний эффект, как ласка пальцев женщины. Вчера я даже с Солнцем согрешил, не ревнуешь? Впрочем, я думал о тебе, моя любимая, моя Ниночка.

Твой Ваня

Н.Я к И.С. *из Москвы*
22 апреля 1917

Я из Москвы тебе пишу!

Опять в голове какое-то веселье – откуда? Просто от вида улицы, людей. В Домотканове меня все время ест тоска. А тут – хоть в Москве мрачно, все какие-то нервные, волнующиеся из-за газет, митингов, демонстраций, Ленина (проклятого) – но мне все нравится. Вечером я пошла (пишу ночью) на собрание художников у Рерберга (видела лысину Эттингера и умилялась. Видела курносый движущийся кончик носика Нивинского – и восхищалась, сверкающие глаза и отставленный мизинец Шапшала и радовалась) – так вот – шла на это собрание и вижу кругом Пушкина митинг. Я там застряла на 2 часа. Интересно. Вчера тут был скандал с рабочими – пришли толпой к бывшему дому генерал-губернатора, где заседали члены Думы, и стали скандалить. Их удалось успокоить, а теперь совет рабочих депутатов уже признал их действия непорядочными. Это отозвались Петроградские события, где тоже приверженцы Ленина хотели прогнать Временное правительство, но все же в конце утихомирились.

Теперь все тут (крайние партии) говорят о немцах с какой-то нежностью в голосе, как об овечках. Уверяют, что немцы согласны на мир без аннексий, что они прогонят Вильгельма, что они не станут дальше воевать, что у них «совесть же есть». И откуда они это берут? Все зло они видят в каких-то таинственных буржуях, которым выгодна война. И вот у Пушкина много собралось народу, и кучками убеждали друг друга – удачно, и я видела нескольких солдат, отступившихся, под влиянием логики убеждавших, от своих партийных большевических «лозунгов». («Да здравствует Германия» и пр. чепуха.) Большинство было за доверие правительству и продолжение войны. Так что инцидент, кажется, уладится, но все же – это ведь расхолаживает армию наверное.

Я ведь приехала потому, что получилось письмо завалявшееся Ольге Владимировне, что Давид Михайлович тут, но скоро уезжает. Я не выдержала, и хотя был риск, что он уже уехал, но я поехала. И очень рада. Он еще пока в Петрограде, но вернется скоро. Я дождусь и повидаюсь. Хотя зачем? Что я буду говорить? Я совершенно не знаю и так волнуюсь, точно предстоит свидание с каким-то женихом. Поэтому, вероятно, ничего и не выйдет путного. Пока до свиданья, милый, милый мой.

Нина

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
23 апреля 1917

Милый мой – я все еще в Москве – жду командира, а он все еще в Петербурге. Подожду еще завтра, а послезавтра поедем с Лёлей. Я теперь и не буду жалеть, если не удастся увидеть его – все равно ехать в Румынию я раздумала: уж очень тут беспокойно и нельзя уезжать от Адриана. Неизвестно, может быть, придется все делать самим – тогда, кто же будет? Мама? Маруся? Нет, надо выкинуть из головы это, т. е. поездку на фронт.

Буду в Домотканове – займусь в огороде. Я купила и для Отрадного семян – может быть, съезжу, посажу, а кормилица приглядит. Сегодня я сбегала в банк Полякова[1] узнать, нельзя ли заложить нашу землю. Оказывается, к удивлению – еще можно. Но не лес. Но для этого надо страховое свидетельство и план. И то и другое в Отрадном. Ездить для этого не стоит. Уж будь что будет – ведь у меня, когда я стараюсь – всегда ничего не выходит. Лучше сидеть и ждать своей судьбы.

Я привезла показать сюда мои 5 акварелей, которые я сделала в Домотканове – удалось показать пока только Нивинскому и Эттингеру, и то на улице, при свете фонаря на Мясницкой. Им очень зато понравилось.

Я была тут на аграрном митинге – читал очень хорошо, ясно, талантливо – Мозжухин[2]. Но после социал-демократы там все переворачивали наизнанку, так извращали, что явно – это провокаторы, поставившие себе целью сорвать прения и призывать к анархии. Их тут развелось много, но, вероятно, меньше, чем кажется, потому что они крикуны. С ними надо бороться везде, где возможно и невозможно. Я пошлю книг. Постараюсь с командиром – для раздачи солдатам. Жаль, что лекции Мозжухина нет в печати. Это от партии народной свободы. Главный тезис – землю крестьянам надо дать. Не взять они должны, но дать им.

Взять без выкупа нельзя – земли заложены и пострадают мелкие держатели закладных, между прочим очень много французских крестьян, которые много берут земельных бумаг русских. Лопнут, кроме того, земельные банки и связанные с ними промышленные предприятия. Но земля должна придтись крестьянам даром – надо выкупить за счет богатых классов с помощью подоходного налога. Образцовые хозяйства не надо делить – они должны перейти к государству, земству, кооперации или чему-нибудь подобному.

Нина

[1] *...банк Полякова...* – Имеется в виду Соединенный банк – крупный российский банк, работавший в 1909–1917 гг. Образован в 1909 г. слиянием трех банков, входивших ранее в группу Л. С. Полякова.

[2] *Мозжухин* Иван Ильич (1889–1939) – актер немого кино.

---------------------------- ***Е. № 83*** ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
30 апреля 1917

... – К телефону прошу Ивана Семеновича.

Я получила твои записки тут, в Домотканове. Все три очень старые, 17, 25 марта! На одном было XX – самый скорый аллюр[1]. Почта уподобилась яковскому мерину. Не вспомнишь ли ты одной вещи: помнишь, когда мы жили в Левшинском, ты принес два блюда и две тарелки из серого сервиза от Тольских. Постарайся вспомнить точно, где ты их взял и откуда: из ящика или из сундука, и где находится этот предмет, на чердаке или в дровяном помещении. Я искала сундуки и не нашла, а ящик нашла с посудой.

Если ты брал из сундуков – напиши, где они стояли – я поищу еще или напишу швейцару. Я провела один день (даже полтора) у Тольских, и это был сущий кошмар, просто жизнь не мила стала. Ну, и люди!! Я думаю, не ушло ли их благородство в могилу вместе с Алексеем Николаевичем? Вот когда мне очень захотелось прислониться к тебе и плакать. Хотела излить свои жалобы на бумаге (но не посылать тебе), пришел Петя и стал чистить бобы гнилые на утро, и я разговорила свое отчаяние.

Но по этому поводу я думала: мне хотелось бы жаловаться тебе, но чтобы ты не трогался моими словами, не расстраивался, а только поверхностно сочувствовал бы и поцеловал в лоб и глаза. Поэтому ты не бойся и мне писать всякие вещи, которые ты считаешь, что не надо писать. Я не расстраиваюсь от этого, а читаю просто и потом преспокойно кладу в конверт, завязываю ленточкой и захлопываю в ящик. Ведь письмо написано давно, и я всегда уверена, что теперь все уже прошло и изменилось. А писать – все же облегчает – как будто сдано в архив. Пожалуйста, и мои письма, если будут печальные – читай поверхностно и обращай больше внимания на количество писем, а не на качество их.

Хорошо все-таки в Домотканове. Во-первых, наешься всегда вдоволь, и воздух замечательный.

Я получила очень милое письмо от кормилицы[2] и сторожа – никакой археолог будущего не найдет, что это письмо писано в революцион-

ное и анархистское время! Мне захотелось опять туда – но вот отсутствие почты невозможно! Зато горлинки!.. Напишу еще Кате. Если она хочет – поедем. Там пшено и хлеб есть, значит, ехать можно. Но тут хорошо.

Да, в Москве я зашла к Элли Ивановне – она была мила, любезна – хороша.

Я спросила про гвозди – они не пропали, но так как вагона им не дают, то решили просить Давида Михайловича прислать за ними солдат. Тут и папиросы. Этот ее черный приятель (сидел тут же на другом полосатом диване, в военной форме) обещал поговорить с командиром по телефону, когда тот приедет.

А может быть, тебя пошлют? Хотя не стоит тебе мучиться. Или теперь больше езды обратно с фронта, чем туда? И назад будет легко? Ах, как мне жаль, что я не видела командира!

Я в Москве послушала на митингах ораторов и совсем расстроилась – если слушать – с ума сойдешь. Мы читаем Русские Ведомости – и это тоже тяжело – они крайне правые теперь. Не знаю, правы ли они?? Может быть, тоже не правы... «Раннее Утро» – средняя газета, и хотя не серьезная – но от нее не щемит в голове. В политике она и нашим и вашим, и много об искусстве. Хотела послать тебе с командиром книжки, но все они мало дают – слишком кратко составлено.

Нина

[1] XX – «как можно скорее». И. С. использовал конверты для донесений (*см. Е. № 110*).

[2] Кормилица Агафья Яковлевна писала, а вернее, диктовала, трогательные письма для И. С. Вот пример такого послания от 10. 04. 1917:

Любвеобильному и дорогому моему барину и воспитаннику Ивану Семеновичу от кормилицы Вашей Агафьи Яковлевой, имею честь кланяться Вам и желаю Вам много лет здравствовать и желаю от Господа Бога доброго здоровья и душевного благополучия. Сохранит Вас Господь и Ангел Хранитель во всех путях Вашей военной службы и желаю успеха победить врага, затем заочно целую Вас и сердечно благодарю за Ваш портрет на который я смотрю и радуюсь как на Вас самих, еще кланяется Вам сын мой Алексей и все мое семейство заочно целуют Вас и желают всего хорошего [...] Любящая Вас кормилица, по получению сего пишите ответ какие новости. Буду ждать.

Е. № 84

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
22 апреля 1917

Адриан, тут сняли фотографии с наших милых щенков; если вышло, пришлем и Вам. Очень уж хорошо они играют с Цыганкой. Дело всегда происходит на косогоре, потому что у нас почти нет не косогора, и как

только щенок на нее бросится, сейчас сам и перекувыркнется кверху пестро-розовым брюхом, а то и два раза, и вскакивает облепленный старыми листьями. Пояна – черненькая, в белых перчатках, веселая, а Узулуй – посурьезнее. Надо его нарисовать, собираюсь.
Провожал Н. И. Васильева в отпуск и скатился с ним на вагонетке в резерв. Я уж не раз то же самое писал – но теперь еще яснее стало – как внизу расцвела пышная ярко-зеленая, с дряблыми нежными листочками весна, а у нас еще голые деревья. И когда стремительно несешься вниз, нажимая тормоз на поворотах, всю эту историю весны каждый раз заново видишь. Иногда на вагонетке треплется красный флаг. Когда едешь назад, на платформах набивается всегда пропасть народу пехотинцев, которые возвращаются тоже на позицию. Вчера везли подарки, класть некуда – я предложил одному, другому положить мне за спину, и мигом навалилось выше головы, а сверху еще сели; мне сначала нравилось, я люблю тяжесть, которая на спине, но потом, когда левая нога стала совсем чужая, то еле выбрался.
Все-таки очень хорошо было ехать, слегка лунный вечер был, и дождичек, и сноп искр из паровоза.
Еще мы снимались, группами и я еще с орудием. Буду теперь Вам их /снимки/ посылать. Поцелуйте друг друга за меня, мои милые.
Сейчас очень бодро прожил часа полтора – было у нас на батарее первое зародышевое собрание о библиотеке; начал я с того, что вытащил «Комитет» или не знаю, что я такое вытащил из барака на солнышко за стол, окруженный скамейками. Все очень живо и дружно обсуждали, как хранить и выдавать книги, все подписали по рублю, по два – так что будет своя, наша, батарейная библиотека, а я уверен, что мы под нее подведем фундамент из пожертвований – Фаворский уже написал Шаховскому[1], я могу обратиться к Сытину[2], Игнатову и т. д.
Во время разговора я нарисовал по всему столу орудие с тремя запряжками, потом впереди на рыжей лошади командира – похож вышел, все радовались: «Как же это так выходит?!» Потом я принес некоторые фотографии вещей и наши портреты. Теперь играем в городки. Кругом хорошо освещена гора, но скверно воняет – пошел к ручью. И когда говорили, когда является цементирующий общий интерес, то так хорошо, дружественно и плотно прилегает душа к их крепким душам, а то иногда проходишь мимо их групп и стыдливо чуждаешься, да и действительно незачем подходить, но когда начать вести подсчет чувствам, то сами чувства сейчас же искажаются, и начинаешь считать ложные величины. Вещь известная.

Это маленькое собрание решило, что надо послать с набранными средствами человека, и просили Алтухова или меня взять это на себя. Думаю, что я больше бы мог сделать, так что, возможно, что меня и командируют на короткое время – ну на неделю. Только ты погоди, не жди. Ну, все равно, если позднее я поеду, я и тогда могу сделать, что требуется, но это хорошо бы ведь теперь командироваться – это не в счет отпуска. У тебя уж есть некоторый выбор книг? А может, еще подготовишь почву: пойди к Игнатову, вели Тане Игнатовой подготовить списки, я ей, пожалуй, сам об этом напишу; Чеховым – Мите, Любовь Сергеевне – нет, лучше /сам/ зайду, к Зеленко тоже зайду. Вообще подумай.

Вчера к нашей Цыганке пришел из второй батареи черно-пегий пойнтер, и они слились в объятье, которое продолжалось больше 25 минут, она только тихо повизгивала и стала его вести в гору к нам, оба падали от усталости, должно быть, не могли уже развестись. Мне главное понравилось, что, когда она освободилась, то не пошла, как обыкновенно, к людям, а видно, ей надо было побыть одной, пережить, и она пошла и тихо легла на лужайке у ручья, куда и я люблю уединяться.

А здесь очень сейчас хорошо. Я еще пока не чувствую, что, может быть, поеду, и ты тоже совсем не думай, что я теперь приеду.

[1] *Шаховской* Дмитрий Иванович (1861–1939) – князь; земский деятель; ученый; организатор «Союза освобождения», член ЦК кадетской партии; министр (общественного призрения) Временного правительства; после революции – организатор кооперативного и краеведческого движений; 78-ми лет расстрелян на объекте НКВД «Коммунарка» под Москвой.

[2] *Сытин* Иван Дмитриевич (1851–1934) – русский издатель-просветитель. Издавал учебники, научно-популярные книги, дешевые издания собраний сочинений классиков русской литературы, энциклопедии, народные календари и др.

Е. № 85

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
23 апреля 1917

Пишу тебе в самой гуще солдатской обстановки – вокруг стола человек 40, кто дуется страстно в какие-то козлы (на густом жаргоне), рядом со мной, по моей просьбе, играет гармонист, принесли мне похлебку с 4 кусками (от симпатии). Тут же я читал одно из твоих писем. После разговора о библиотеке мне как-то очень уютно среди них. Ты просишь фактов (ну и галдят же!), я, правда, иногда о них пишу, но за-

давай вопросы, тогда я выучусь: вот факты – командир опаздывает, должен был 16-го приехать. Лошади ждут и им посылают фураж. (Опять навалились на мои плечи, все увидали фотографии – новая партия привалила – тепло среди них, а то уже сумерки и прохладно было и в ушах гудит.) Бог даст, скоро приедет. Васильев уехал в отпуск, его жалко отпускать, интересный густой человек, с трактирным прошлым. А один, Петька Илюшин, совсем, должно быть, от нас уедет, и Бог с ним.

/Рисунок/

Это командира я срисовал со стола, все принимали живое участие и сначала находили Того[1] лучше, потом и этого признали. Тогда его кобыла была жеребая и жирная, а теперь стала подбористая, как борзая собака, а жеребеночку сделали недоуздок и привесили колокольчик для удовольствия ожидаемого командира, только он на боевой части, кажется, не любит, как бы не перерезал всех четверых /жеребят/. Впрочем, они теперь уже подросли – продадим румынам, которые все хотят и просят, благо их лошади ростом с наших жеребят.

Приписка:
Ник. Бор. загулял в командировке, так что теперь мы живем с Влад. Андр., Сашкой Алтуховым и старшим офицером глупым, но не плохим.

[1] Речь идет о рисунке на столе, из предыдущего письма.

---------------------------- *Е. № 86* ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
24 апреля 1917

Вчера нас несколько человек съехали вниз, чтобы говорить о библиотеке с нашим резервом и обозом, но оказалось, никого, кроме дневальных, нет – все ушли на манифестацию; не спросил, по какому поводу – чуть ли не /про/ 1-е Мая, приказ о праздновании которого почему-то в нашем корпусе запоздал. Я сел верхом, чтобы ехать в дивизион (тоже о библиотеке), но потом свернул с дороги и догнал идущую манифестацию. Сначала ехал в стороне, чтобы видеть, а потом поехал в рядах донских казаков. Колонна красиво заворачивала под прямым углом, перешла мост (на котором зарезал было лошадь наш офицер), спустилась с насыпи и завернула, строясь на поляне...
Есть тут у нас, не в нашей только жаль батарее, офицер Вдоров, чрезвычайно милый, с толстыми губами, вечно полупьяный. Едем верхом

рядом, он на меня посмотрел и говорит: «Ну и синие же у тебя глаза, даже смотреть противно».
Сейчас лежу в сумраке огромной комнаты с золотыми зеркалами всех фасонов и какими-то необыкновенными креслами, для макао[1], оказывается, в каком-то игорном клубе.
Приходит Вдоров и заявляет, что чужое солнце взошло, но оно ему не нравится, ругал его, а солнце, между прочим, отличное, и вчера мы сделали прелестный переход при ярком солнце среди неожиданно выпавшего снега.

[1] *Макао* – карточная игра.

В мае 1917 года Ефимов был в Москве,
в хозяйственной командировке для нужд батареи и дивизионной библиотеки.

Е. *№ 87*

Н. Я. к И. С. из Домотканова
20 мая 1917

Пишу из Домотканова. Тут все зелено-зелено – лето почти. А ты все едешь... Воображаю, как жарко. Я и то в вагоне задыхалась. Интересно, как ты едешь.

Тут сейчас Наташа.

Когда ваш поезд прошел – сзади оказался в сложенной гармошке заднего вагона притулившийся очень удобно солдат. Все на платформе сказали в один голос: «Этот устроился лучше всех». Действительно – едет один на чистом воздухе, и все вещи рядом, и чайник.

С вокзала я пошла на бартрамово[1] заседание. Там художники объединялись. Я тоже объединилась, заплатила 5 р. Может, и выйдет толк из этого общества.

Да, ты не беспокойся, что забыл воск для Владимира Андреевича – я купила и отнесла Васильеву. Вспомнила на следующее утро в 10 часов. А мой поезд в 14 часов. Я в 11 была в магазине и купила девять палочек желтого воску (почему не больше – не знаю).

В 12 была опять у Ляли, взяла свои вещи, а в 13 часов в трактире Васильева. У них очень чудно – как в провинции, но длинная-длинная

анфилада комнат, все в ряд, штук 5, 6. Мать смиренная, на него лицом похожа, в платочке. А отец не похож.

В четырнадцатом часу ехала уже назад по Арбату на Николаевский вокзал и поспела на свой поезд.

Сегодня у нас была баня, и я смыла всю московскую грязь. А ты-то, бедняжка!

Пиши все подробности, и не только поэтические, а и домашние – низменные – где спал, что ел, мылся ли, как встретили товарищи, ругали ли за исполнение поручения, где командир.

Я посмотрела твой портрет[2] – хороший. Видишь, не напрасно ты приезжал.

Я сегодня весь день писала сведения по подоходному налогу, наконец, написала и переписала, и все сошлось. Семь раз пришлось писать мой длинный адрес. Ну, слава Богу, готово, остается только послать.

Наташа уговаривает ехать на пароходе по Волге, пожалуй, это хорошо; если и Ляля поедет – я поеду с Адриашей. Наташе очень хочется, а мне все равно. Адриану полезно, да и тут хлеб не есть. Я знаю, ты благословил бы это путешествие.

От Григория Ильича получила письмо с уведомлениями, так что теперь не думаю о нем ни по утрам, и никогда.

До свидания. Целую твою загоревшую шею. Нина

[1] *...бартрамово заседание...* – Николай Дмитриевич Бартрам (1873–1931) – художник, историк искусства; собиратель игрушек и детских портретов; основатель Музея игрушки; в 1906–1917 гг. заведовал художественной частью Кустарного музея в Москве. Вероятно, Н. Я. пишет об одном из заседаний в этом музее.

[2] Имеется в виду «Портрет И. Ефимова» (1917, х., м. 105x87), который Н. Я. писала во время майского приезда И. С. в Москву.

Е. № 88

И. С. к Н. Я. *Брянск – Домотканово*
18 мая 1917
Почтовая карточка

Брянск. Встретил Королькова. Он рассказал, что Николай Борисович издает новую большевистскую газету в Петербурге, выступает на митингах[1], ставит Лизистрату Аристофана, в которой женщины выступают против войны афинян, но, впрочем, кажется, большевики сомневаются ее ставить из-за ее игривости.

Еду хорошо. Спал в коридоре.

До свидания
Ив.

Помечено рукой Н. Я.: Получено 21 мая в Троицу.

[1] Н. Б. Розенфельд, в связи с политическими событиями и переменами в стране и, очевидно, под влиянием своего брата, Льва Каменева (Л. Б. Розенфельда), не вернулся к сроку из командировки в расположение дивизиона (*см. Е. № 85*).

Е. № 89

И. С. к Н. Я. *вагон поезда – Домотканово*
18 мая 1917
Помечено рукой Н. Я.: получено 28 мая.

Я решил заехать в Одессу. Мой вагон идет до Одессы, туда 60 верст и по закону 2 часа. А ведь море обидится, если к нему не заеду; и я сосчитал, что что-то неприлично мало опаздываю – отпуск мой помечен 27 /апр./, ну три дня апреля, 19-го я в Раздельной, ну еще два дня, четыре, – по Румынии, всего 24 дня, а я имею право ездить 21 день. Что ж я, – немец, чтобы быть таким аккуратным? Встречу какого-нибудь капитана посимпатичней и, как женщина, по-дурацки спрошу, нельзя ли перейти во флот (на всякий случай) и даже там дело: подпишусь на «Киевскую мысль», куплю Кобзаря[1] и какой-нибудь дряни[2]!!!!!

[1] *Кобзарь* – сборник поэтических произведений Тараса Шевченко (1814 –1861).

[2] Видимо, предполагал купить какое-то «легкое» чтение.

Е. № 90

И. С. к Н. Я. *из Одессы*
19 мая 1917

Вот так здорово я додумался заехать к морю. У меня как в Москве у окна переломилась моя дура душа к хорошему, так и доехал вот аж до Одессы. И сделавшись гибко-настойчивым, все время хорошо и удобно ехал. Сейчас умылся весь ниже середины и постригся по-энергичному, отчасти, чтобы внушить доверие существующему в мечте моей, как у девицы, морскому капитану, а кроме того, как развеселюсь, так непременно подстригусь (не в монахи). Жалко, я у тебя на портрете с какой-то жалкой бороденкой-мочалкой в форме хво-

ста двухвостки, а теперь у меня короткая черная с седой подбивкой. Приеду к тебе постричься на портрете, особенно к загорелому гораздо лучше, так я даже сам на себя взглянул с доверием.
Пожалуй, твой проект о животном преподавании[1] правда не плох, только как бы это поискуснее повести разведку почвы, ведь не попросту, по-дурацки, спросить Степанова[2], не думает ли и когда уходить. Говорят, упоминали о Бенуа и Дягилеве[3] как возможных министрах искусства?.. Огладить Остроухова или, нет, Грабаря[4]? Вот правда, сделайся на 1 ½ часа серединой и повидай при случае Грабаря или Ив.Ив. Трояновского[5]. Или еще я им напишу, вот, ей-Богу, напишу Грабарю из действующей армии, это даже и не неловко.
Целую вас всех.

[1] *...о животном преподавании...* – Имеется в виду возможность для И.С. преподавать анималистическую скульптуру в МУЖВЗ.

[2] *Степанов* Алексей Степанович (1858–1923) – живописец, пейзажист и анималист. Один из организаторов Союза русских художников. С 1899 г. преподаватель МУЖВЗ.

[3] *Дягилев* Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» балета в Париже.

[4] *Грабарь* Игорь Эммануилович (1871–1960) – живописец и искусствовед. В 1913–1925 гг. попечитель Третьяковской галереи, выбранный Московской городской думой; впоследствии народный художник СССР, член АН СССР.

[5] *Иван Иванович Трояновский* (1855–1928) – хирург, терапевт; общественный деятель; ботаник-любитель (крупнейший орхидофил); коллекционер русской живописи; лечащий врач и друг В.А. Серова; соорганизатор общества «Свободная эстетика».

Письма № 91, 92
И.С. к Н.Я. *Армия – Домотканово*
23–28 мая 1917
Приписка: Раньше почты (отправления) не было и письмо лежало.

-------------------------------***Е.** № 91*

23 мая

Дома. Приехал, потолкался среди групп солдат, никто ни слова в упрек мне не сказал и даже, кажется, и не думал, оказывается, не опоздал – приятно. Услыхал что-то о купании и сразу же пошел; очень хорошо было после вагонов очутиться в реке, мутной, правда, от дождя и бы-

строй до того, что трудно держаться; завтра пойду с веревкой, привяжу к ракитовому кусту и буду на ней мотаться как приманка. Хорошо тут, сейчас вечер, облака, шум воды. Мы меняем позицию, с прежней батарея спустилась, вот уже третий день, в деревню Дорманешт, куда я и приехал на поезде, и было очень хорошо ехать на крыше, иногда поезд шел в аллее высоких деревьев, то в аллее высоких цветущих белых акаций; долина, разнообразные невысокие кругом горы, красивая страна. Деревья темно-темно-зеленые (хотя я и озлим немножко, что не присутствовал при их юности).
Переходим опять на ту позицию, где стояли во время моей первой побывки и где я не был, в ущелье, где очень, говорят, хорошо – все три батареи вместе, это приятно, там есть хорошие люди, вот только бы командир еще приехал.
Сейчас один Суханов, обросший пухом и ставший похожим на молодого шестидесятника и более милый. Влад. Андр. уехал на недели две в маскировочный отдел[1], дня через три вернется – были вытребованы офицеры от каждой батареи.
Передний фасад тела моего стал совершенно оранжевый от черного моря. Когда я разделся купаться, то на меня /сел/, или не помню, я его посадил на грудь, светло-яркий, бирюзово-зеленый долгоносик, так что получилось любимое тобой сочетание цветов.
Пришли депутаты, я отдал им книги. Остались очень довольны и 2 раза меня благодарили. Мы тут сообразили, что книг очень достаточно – 200 – каждому по книге, а перечитать каждому все – 200 дней. При случае пришли по истории, и, конечно, ты была права о Распутине; а я на ж. д. в последний день положил свой «Туннель» (Келлермана)[2] за пазуху подпоясанной шинели, а потом снял пояс и потерял, жаль, одну треть осталось дочитать, купи, пожалуйста, сама прочти, Наташе вели и перешли мне бандеролью.

25 мая

Вот на какой стильной бумаге! Я получил несколько твоих писем, вернувшись с наблюдательного пункта, два старых и два новых; новые прочел вчера же, а старое – одно сегодня, а другое удержусь до завтра: это ожидание помогает бодро жить. Вчера в 12½ ночи телефон сказал нам [...], что в три часа ночи мы уходим с этой позиции на другую; это хорошо: во-первых, самое уже передвижение приятно (на лошадях), потом, тут мы стояли в какой-то щели в глубине лощины, единственная и скверная дорога туда шла ручьем с дном из камней, страшно

за лошадей. Лошадей здесь было самое ограниченное количество, и Шомпола не было, да и нельзя было днем ездить, потому что, если бы /противник/ прорвал, то и уходить оттуда трудновато. Да и батарею он, кажется, нащупал.
А теперь, на какую поедем, ни он, ни мы друг друга по батареям не достанем, а бьем взаимно по передовым линиям.
Я был как раз на наблюдательном пункте, когда один наш полк, не из хороших, отдал одну высоту лысую, было жутко слушать сбоку удары пулемета, и главное, мы сидели человек 6 в одиночестве и без верных сведений о пехоте, и настроен я был весьма не мужественно все эти дни.
Так как провода наши все, зрительно-слуховые нервы наши, были все перебиты снарядами, то я решил, может быть, не по букве военного закона, что сидеть и ждать, что тебя могут забрать – глупо, и спустился к батальонному командиру (впрочем, и по военному закону, кажется, наступает иногда момент, когда всякий может и должен заботиться о себе). Я пошел к батальонному, чтобы установить связь с пехотой, и если можно, по его проводу с нашей батареей; он сказал мне идти куда-то в пятую роту и оттуда наблюдать, но я знал, что там ни пункта нет, ни телефонной связи с батареей, и туда не пошел, а вернулся к нашим и другой батареи телефонистам, которые отсиживались под весьма живописной, но, увы, не конструктивной и могущей, кажется, завалиться от первой гранаты скалой, и там с ними и досидел до темноты, и тогда уже с полным правом пошли домой, а по дороге нам встретилась вся наша смена. Есть разговоры, что совсем отсюда уйдем на другой конец /долины/.
Что ты пишешь, что Владимир Дмитриевич собирается делить лес, это как будет? Не дурно было бы при случае взять моим именем у *Смирнова* красные негативы моих рисунков; а когда, Бог даст, буду в Москве, напомни взять у Рабенек станок[3], который мне предложили. Мы еще поработаем.
Да еще было трудно на оставленной позиции: набл/юдательный/ пункт за 7 верст, по крайней мере ушло провода телефонного 7 верстовых катушек, из них верст 4–5 в гору, иногда казалось, что каждый шаг из последних сил – круто, скользко.

Приписка:

А еще, когда будешь в Москве, зайди к Анне Семеновне /Голубкиной/, интересен ее дух, пока еще новое не стало старым.

[1] Маскировка – в т. ч. от авиации противника – важная составляющая профессии артразведчика. Здесь уместно упомянуть о неизвестной странице биографии Фаворского.

В первые дни Отечественной войны, во время массированных бомбардировок немцев, В. А. был затребован для срочной разработки проекта дезориентирующей маскировки Кремля и центра Москвы. Очевидно, он был выбран (несмотря на клеймо «идеолога формализма») по совокупности представленных госорганами сведений о нем. Вероятно, была учтена его квалификация артиллерийского разведчика; а также опыт проектной работы с архитекторами в Мастерской монументальной живописи и изобретательность театрального художника-декоратора. С борта маленького самолета он составил с воздуха визуальное («натурное») представление о возможностях решения задачи. Затем проект был разработан, утвержден и осуществлен – архитектурный ансамбль Кремля во время войны не пострадал... Понятно, что задание было сверхсекретным, и сам В. А. ничего не рассказывал. Остались лишь косвенные свидетельства. Но известно, что есть документы об этом в кремлевских архивах.

[2] Бернгард *Келлерман* – немецкий писатель и поэт, автор романа «Туннель» («Der Tunnel», 1913).

[3] *Станок* – офортный. И. С. планировал издать серию офортов из 10 листов с обложкой (в папке), а для этого *взять у Рабенек станок, взять в помощники строгановского ученика, готовить доски и печатать* (из записной книжки И. С.).

----------------------------------*Е. № 92*

28 мая

В тот же день как я приехал на батарею, было в сумерках собрание. Я доложил, собрание меня благодарило, и я отвечал. Утром на другой день купался, течение сильное-пресильное, почти невозможно устоять, а дно из круглых валунов, которые очень рады перекатиться, стоишь на них, заякоревшись всеми четырьмя руками, а кругом шумит вода. Потом поехали с поручиком в Дафтяны выбирать место для резерва, но там теперь нигде не станешь: румыны сгоняют, чтобы пахать. Уж 1-ая батарея в виде умилостивления вспахала своими живыми силами. Приглядели еще местечко над рекой и вечером на заходе выступили из Дор-Мэрунт, не решив еще определенно, где станем. Во время движения, на лафете, плотно увязанном палатками, на солдатских вещах лежал в важной позе щенок (вырос). Сашка /Алтухов/ верхом играл на балалайке Марсельезу.

Перед отъездом один солдат доложил, что по дороге в Дафтяны есть подходящее место. (Ты Адриану читаешь эти письма – вот это ему будет интересно.)

Мы (поручик, трубач, я, еще разведчик и солдат, который сказал) поехали вперед, оставив на повороте маяка, чтобы остановил батарею, и скоро приехали в чудесное место. В ровных, зеленых, низких, но обрывистых берегах быстрый и полный ручей, пожалуй, его можно произвести и в речки, только ему, я думаю, приятнее считать себя очень

большим ручьем, обросшим черными ольхами, и на другом берегу большая прямоугольная поляна вроде нашей place Vendôme[1] в Отрадном, такая огромная, т. е. десятины в две.
Батарею подтянули к берегу и построили, как всегда, квадратом, а мы мгновенно, если часа полтора можно считать мгновением, построили крепкий мост, и через него перегрохотала батарея. Сейчас же загорелись костры, через некоторое время пришло стадо наших серых украинских рогастых волов. Попили чаю на столе нашем, который умеет ловко подгибать ноги под себя. Я поставил свою кровать в самой «зале». Слышны были лошади, иногда пробежит оторвавшаяся, звеня цепью. Пахло чудесно душистыми мясистыми травами. Утром, смотрю, у противоположной стены на солнце, вдали кажущиеся приятно маленькими, несколько лошадей пасутся, одна рыжая, лысая, белоногая. Нам прислали 12 лошадей, вчера ехал на новой, кровненькая строухая и хорошо, говорят, скачет через барьер, и еще есть хорошие – серая одна, пегая и еще темно-рыжая рослая лысая кобыла, ее предназначили командиру («если захочет придти»), но только она совсем не выезжена и непокорна – ну в орудии выездится. Сейчас сижу в обществе пасущихся среди папоротников лошадей, пахнет ярмаркой – мятой травой и лошадьми. Сквозь одну из стен залы, более редкую, над ручьем видны скаты невысоких гор и недалеко очень редко пробегают поезда железной дороги к Ниночке.
У меня есть запас твоих писем, и я понемножку, выбрав момент, их читаю. Целую твои милые губы.

Ваня

В начале дня пришла гроза. Сильно било. Один недалекий белый вертикальный, мелко изломленный удар; конец его был красный на несколько сажен. Темные мокрые лошади, оранжевые обглоданные стволы.
Потом несколько дней было дождливых, ну ничего себе. Спим в палатке с Влад. Андр.

Ехал рядом с одним ездовым, он мне сказал, что тоже был в побывке (он знал, что я тамбовский), ехал через Липецк и рассказывал, что старухи наши (он козловский) в отчаянии: «как же теперь быть без земного Бога»[2].

[1] *Place Vendôme* – Вандомская площадь, одна из «пяти королевских площадей» Парижа. Ефимовы в шутку называли так большую поляну в Отрадном.

[2] Речь идет об отречении царя Николая II от престола 2 марта 1917 года.

Е. № 93

И. С. к Адриану *в Домотканово*
Конец мая 1917

Вот тебе, Адриан, работа номеров (людей) во время боя, только жалко недействительного, а притворяются; один поворачивает плечом головку шрапнели, ставит на определенную дистанцию, один собирается вложить бомбу в дуло орудия, за ним с гильзой (зарядом), гильзы впереди стоят на лотке, один (Деденко) записывает данные, один стоит у панорамы прицельного приспособления, которое смотрит в окошечко, проделанное в стальном щите. Это окошечко видно и на другом снимке – пришлю: я с орудием.
Адриан, это я срисовал в Одессе такого вот смешного старательного, хотя и ветреного человека.

/Рисунок/

Сегодня я рассматривал и научился как с ними обращаться, ручные гранаты, гадость порядочная. Наши гранаты и бомбы почему-то кажутся благородными, сравнительно, хотя как мы их бросаем – укрывшись, из нескольких верст, а те в рукопашном бою – просто внешность у наших, */рисунок/* стальных, из красной меди ведущим пояском – красивее, а те поганые – из жести, вот такие, */рисунок/* или фонарем, или яйцом медные, надпиленные кусочками как шоколад, надо эти /стрелка к рисунку/ зажечь, а эти /стрелка к рисунку/ разбить капсуль и бросать не зевая подальше от себя, через 7 секунд она разлетается в мелкие дребезги.

Приписка: Извини за мерзость!

Хороший чернобыстроглазый телефонист, вроде Бартрама, по поводу сала, которое мы ели, говорит: «Я больше дичью привык питаться, конечно, у нас там в Минской губ/ернии/ нет там особенной какой, львов там (я и не подумал, чтобы он питался львами исключительно), и перечислил он всю дичь, какая только существует.

Приписка: Походил поговорил по окопам. Хорошо один стрелок сказал про изменившегося начальника: «Ласковую шкуру надел, а...»

Е. № 94

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
31 мая 1917

Мы все еще не стали на позицию – стоим на зеленой площадке со стенами из черных ольх. В палатках живем, как только могут мечтать



Деденко записывает данные... 1917 (Е. № 93)

убегающие из дома гимназисты. Только вот дождь часто идет. Но особенного неудобства в этом нет; да и он идет короткими периодами. Пойдем, кажется, в долину с более низкими горами. Пожалуй, что и жалко с этими местами расставаться. Здесь хорошо.
Мы с Влад. Андр. перечерчивали карту нашего будущего расположения, чтобы размножить на шапирографе[1] и потом наносить схемы расположений на отпечатках. Карта вся испещрена горизонталями высот, и сначала в глазах и в уме рябит, и никак не уловишь безличное лицо каждой горизонтали, чтобы уследить ее на всем протяжении, и я никак не мог их все по совести распутать, главное, уж осторожно очень надо направлять свое внимание. Это вроде того проклятого педагогического прибора, где надо водить штифтиком между двумя рельсинками, не прикасаясь ни к одной, а то зазвенит, для испытания внимания и прилежания. Мое невышколенное внимание, конечно, нарисовало только приблизительно, а Влад. Андр., нисколько совсем не сердясь и спокойно напевая, поправил мои спутанные нитки. У него как-то хорошо и четко выходит.
Писал сейчас Адриану на машинке письмо. По-моему, хорошее средство и веселое для выработки внимания.
Цветет шиповник. Хорошо вечером, когда по стенам нашей залы – поляны зажигаются костры.
Целую тебя Ниночка, моя милая.

[1] *Шапирограф* – усовершенствованный гектограф – тип копировального аппарата. Гектографическая печать применялась для дешевого быстрого тиражирования материалов невысокого качества. Изобретен в России М. И. Алисовым в 1869 г.

---------------------------- ***Е. № 95*** ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Трубетчина*[1]
11 июня 1917

Я сейчас в волости в Трубетчине, тут такой гвалт – заседание земельной комиссии. Я хоть не трусиха, а и то душа ушла в пятки. Какой-то матрос явился и поднял настроение, так что собрались мужички «душить буржуазию». Но потом, накричавшись, утихомирились и стали людьми. Они сейчас решают еще судьбу графини, а потом за наш хутор возьмутся, но все это к лучшему, они сейчас утихли и решают разумно. Я после конца тебе еще напишу.

Я вчера в лесу видала чудную лису, бежала близко от дороги, к оврагу, а из оврага вылетела над ней цапля!

У сторожихи птенец дятла, черный с белым горошком, а на голове красная шапочка. Я уговорила отпустить.

Пока до свиданья. Пот с меня льет градом. И жарко, и накурено, и на улице пекло.

Я все же довольна новым порядком – думаю – за ним есть будущее. Особенно плохого тут нет.

Ну, отпустили душу на покаяние – и все было хорошо. Как они честили графиню, что вообще тут говорилось – какой-то матрос орал. А со мной говорили хорошо, тихо-тихо было, и мой голос звучал престранно. Все стали смиренные – или уже устали от своего бешенства? Только... прости... стыдно признаться – согласилась я на плату... 8 р. за десятину... Ну, это всего 4 с половиной десятины, не разоримся. Не сердишься? Я уж очень испугалась. Зато отстояла 3 с половиной десятины для Якова[2] в аренду.

Целую, милый. Нина

[1] *Трубетчино* – волостной центр Лебедянского (позже Липецкого) уезда.

[2] *Яков* – сторож, а скорее управляющий, остававшийся на зиму в Отрадном, крестьянин из деревни Хорошевки вблизи Отрадного.

Е. № 96

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
9 июня 1917

На наблюдательном пункте. Здесь невысокие горы, поросшие кустарником, должно быть, скот пасли.
Сейчас тихо, и нет надобности быть постоянно вблизи телефона.
Я пошел недалеко к хорошей старой дубовой роще, которая надета на одном из холмов. Над головой иногда вдруг раздается шелковистый шелест проносящейся бомбы и через некоторое время проносится обратно глухой звук разрыва. Наша батарея пристреливает цели. Ночью слышны были пулеметы, и выстрелы красиво звучали почему-то, точно что-то упругое лопается. Вчера я рисовал панораму, и так как из окопа передового не видно, расположился на бруствере и нарисовал цветными карандашами, благо у них красивая роща, а впереди на лужайке отдельные деревья и совсем близко их секреты, сажен двести, и окопы подальше. Но потом оказалось, что на виду все-таки располагаться не следует – «берут на мушку», так же, как и мы. А смотреть надо из бойницы. Мы смотреть устроились около пулеметного гнезда.

Раньше тут стоял совсем дурацкий полк, который водил к себе немцев, показывал, где кухня (и потом, когда стал другой полк и прекратилось братание, немцы эту кухню совсем с супом разбомбили), показывал батареи, даже, говорят, одевали в русское платье и водили в тыл. Теперь его убрали, и все расположение батарей и резервов изменено.

Но этот полк-дурак стоит на позиции, но продвинут влево, и его соседний полк, говорят, отгородился от него колючей проволокой, чтобы они не ходили на его территорию. Кажется, все-таки много зависит от офицеров – там, говорят, сами офицеры так настроены, и к артиллеристам приходили на наблюдательный пункт с требованием прекратить стрельбу – «а то вам отсюда не уйти», или придут на батарею и повернут орудия на тыл.

Но наши теперешние сотрудники – пехота, слава Богу, совсем другие, и дают стрелять и не откажутся от действий, да по сведениям фронтового съезда и многие части стали образумливаться.

Vый час утра. Встает красное солнце. Нарезал себе вчера молодых, тонких, гибких ветвей бука, с обильными, красиво расположенными листьями, с пеньков высоко срубленных буков и устроил пышное душистое ложе.

Увидал во сне, что на столе нашей отрадненской спальни лежит пол круглого белого кислого хлеба, с удовольствием отрезал кусочек, потому что эти два дня питаюсь на горе чаем, салом и черным хлебом, а Маня несла босиком самовар, потому что кто-то собирался к обедне, и, проснувшись, увидел что действительно стрелки уже «вскипятили» чай, я с ними попил, потом они низверглись с кручи за земляникой, которой, говорят, как красный платок настлан, и сейчас утречком пойду.

10 июня

Действительно есть ягода «по западному склону высоты 673». Только узор красный на платке не очень уж густ, но достаточно как раз: когда одну кладешь в зубы, глаза уже зрят с вожделением на другую, и удобно на крутом, крутом склоне, не надо нагибаться (почти), и ловко с палкой – она хорошо ищет издали и среди крапивы. И хороши ягодки среди росистой травы против поднимающегося солнца; высоко надо мной вылетели из горы и стали биться два аэроплана: один быстрый, сверкающий кружась, истребитель, а другой, медленно паря по прямой к дому. Стучали их пулеметы и вижжали (с двумя «ж»), падая, шрапнельные стаканы, разрывы которых целым курчавым стадом гнались; и постоянно лопались вокруг аэроплана все новые упруго курчавые разрывы и долго стояли десятками в воздухе.

Ягод стало попадаться больше, так что пришлось работать двумя руками и палку оставить [...], и такие хорошие, большие стали попадаться, что так и хотелось поднести их к милым, ласковым губам Ниночки моей.
Часа два не покладая рук лопал, потом полез наверх. По дороге сорвал огромные стебли, вот таких, шелковистых колокольчиков, они красивы были, прислоняя/сь/ к сильно загорелому плечу, а еще красивее на розовой стене из превращающегося в землю слоистого камня, треснувшего кубиками в землянке, в которой теперь лежу на ложе из листьев, вымывшись горной водой, и собираюсь опять чай пить и, может быть, подремать.

/Рисунок/

Пояснение к рисунку:

Непонятные предметы, слева направо: полотенце, телеф/онная/ трубка, противогазы, мои сапоги, телеф. катушка, телеф. ящик, ненужная печка.

---------------------------------- ***Е.*** *№ 97* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
12 июня 1917

Ехать на другой правый новый набл/юдательный/ пункт, дали мне вороного меринка из лошадей разведчьих. (Мой Шомпол теперь будет со мной жить, а то раньше разведчики были разлучены со своими лошадьми, потому что вся боевая часть стояла без лошадей.) Седла не было, на шинели. Дурак такой, всего боится: лежит на земле целая дранковая крыша с выбитой из-под нее избой – боится; пожарище, далекий разрыв, большой камень – боится. Когда подъем стал крутой, я хоть и держался за гриву, но съезжал на шинели по его мокрой вороной спине, и сам вспотел от такой езды, и решил, пусть лучше он на мне едет. Навьючил на него застегнутыми своими поясами шинель, плащ, рюкзак с провиантом (хлебом, салом), противогазом, *Révolte des anges*[1], синим альбомом,[2] потому что последние дни делаю иногда по несколько рисунков, воспевающих тебя, то наше слияние, увы, незримое ни для чьих кроме наших четырех глаз. И рубашку навьючил.
Холмы – вершины покрыты сочной росистой в цветах травой, стрекочут кузнечики, солнце задернуто легкими облаками, а они, телефони-

сты и разведчик другой, валяются в землянке под землей на дощатых нарах в зимних куртках, как идиоты или несчастные, мысль их никогда просто не направлялась по нити наслаждения, а инстинкт святой – слопала проклятая рабья человечья жизнь.

Приписки:

Ну, а Влад. Андр.? Тоже все время валяется на койке в избе, хотя солнце наверное выпекло бы все его болезни.

На их приглашение я им сказал, что, пока жив, не люблю под землю лазить.

Шел голый, с розой в губах. Мостик встретился развалившийся, которого мерин вправе был испугаться, я его разнуздал, привязал и мостик поправил. Потом выбрались на хребет, с сочной прекрасной травой, и клевер белый вот такой.

/Рисунок/

Неожиданно сделал хорошую панораму; пришел другой разведчик меня сменить, он сказал мне, что тот разведчик, которого я сменил, неверно передал мне одну цель на местности, и еще показал одну лощинку, которую я не заметил, и тогда все отдельные куски видимых окопов неприятельских замкнулись в одну линию, и стало ясно, где можно прятаться. Я красной чертой и пунктиром показал их на панораме, и она оказалась очень ясная и красивая.
Чтобы спускаться, я взял рогатую зеленую ветвь и привязал к ней свои вещи, и шинель, и плащ, и поволок их как на санях. Очень удобно и не жарко. А дорога круче и хуже, конечно, чем к Святому Колодцу[3], и вся из острых камней. А ветка, изгибаясь, переходит через любой порог; можно, я думаю, так возить на одной лошади раненых.
Внизу мне понравился мост, литой, из бетона, со скошенными арками; дорога и поток пересекаются Андреевским крестом. Посмотрел церковь всю разломанную.
Пришел к старой позиции – я знал, что 2 орудия и офицеры уже поднялись на новую позицию выше к хребту.
Сойдя, с большим удовольствием, шутя поборолся с потоком, поупирался в пене и стремлении его порога; он как раз такой силы, что можно выдержать, а теперь – прошел дождь – так и почти трудно /удержаться в потоке/.
Потом пришел на оставляемую позицию. Меня очень радостно встретили, напоили чаем с земляникой, и все накладывали побольше, не доверяя мне: «Вы ведь никогда у нас в 4ом орудии не были!»

Хоть ты и не любишь, кажется, про технику артиллерии, а я расскажу и Наташе, по черной бумаге[4]: интересный способ открыть позицию противника – ты знаешь, шрапнель рвется в воздухе на любом расстоянии от орудия, для этого у нее на головке ставят на тот или другой номер медное кольцо перед выстрелом. Иногда шрапнель по ошибке разрывается не в воздухе, а ударившись об землю – «дает клевок».
И вот тогда, как это было у нас вчера, найдя головку, читают на ней цифру, которая на артиллерийском языке сообщает расстояние до неприятельского орудия, а видя направление, по которому головка вошла в землю, и поставив вешки по ее ходу (и буссоль)[5], видят направление батареи – довольно данных, чтобы ответить око за око.
Смочил тебе конверт дождичком.

Целую и глажу твою шею и волосы.

Ив.

14 июня

На другую ночь я уж умней стал: надел плащ в рукава и под него набил полусухого сена и подпоясался, так оно согрелось, что, вспыхни во мне какое-нибудь желание, оно верно бы загорелось. Теперь солнце взошло, и с удовольствием сбросил этот свой вегетарианский мех и все остальное, и чуть дышит сквозь солнечные лучи ветерок, который колеблет эту страницу. И много часов могу лежать так, и мысль и внимание всегда полностью заняты: то ветер побежит по земле волной, пригибая траву, то затрепещут ветви осины.
И еще рисунок вчера (и еще) сделал. Хорошо, что напал опять на темы; в мозгу соответственные извилины прочистятся; а эти рисунки я так люблю делать, что единственно их делаю вполне отдаваясь изо всех сил, должно быть, Влад. Андр. так же любит рисовать пейзажи, а я терпеть не могу – рисовал вчера же панораму, черта там во всем этом разбираться и пригонять, хотя, конечно, видеть пейзаж сильная радость; вчера же весь день перед моими лежащими глазами лежала гора округлой формы, накрытая зеленым лугом, и расставлены, как в английском парке, группы темных буков. Как по ней хорошо продвигались дырки облаков![6]

[1] *La révolte des Anges* – «Восстание Ангелов», роман А. Франса, написанный в 1914 г. Анатоль Франс (Франсуа Анатоль Тибо; 1844–1924) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1921), деньги от которой он пожертвовал в пользу голодающих России.

[2] *...синим альбомом...* – Альбом для рисования размером 21,5x26,5 см с рисунками И. С., датированными июнем (6, 7, 12, 13, 17, 29) 1917 г. Собрание семьи.

[3] *...к Святому Колодцу...* – Высокий берег реки Воронеж и часовню у Святого колодца изображает картина Н. Я. «Ожидание молебна» («Богомольцы», см. *ком. к Е. № 3*).

[4] Имеется в виду копировальная бумага, которой пользовался И. С. для размножения текста своих писем сразу нескольким адресатам.

[5] *Буссоль* (от *франц.* bussaule – компас) – артиллерийский измерительный прибор, представляющий сочетание компаса с короткой зрительной трубой с небольшим увеличением в подвижной азимутальной монтировке на треножном станке.

В записной книжке И. С. приведена таблица наводки орудия:

	Буссоль	Прицел	Заряд	Уровень
№ 14 Молочная ферма	*50–701*	*35–138*	*№ 1*	*0–00*
№ 10 Овраг между 455–456	*52–00*	*110–120*	*№ 1*	*30–00*
№ 10а Правый край рощицы	*51–90*	*105–110*	*№ 1*	*30–00*
№ 9 Окопы на в/ысоте/ 455 у отдельного дерева	*52–00*	*97–98*	*№ 1*	*30–00*

[6] На листке с текстом письма – зачеркнутая сводка обстрелов (апрель-май 1917):

10 апреля	*позиция батареи подверглась обстрелу*	
11 апреля –	*1 шрапнель*	
14 апреля –	*4 бомбы*	
17 апреля –	*7 бомб*	
2 мая –	*2 бомбы*	} *Меня не было*
14 мая –	*3 шрапнели и 22 бомбы*	
17 мая –	*10 бомб*	

Из записной книжки И. С. – сводка военных действий с 4 июня по 18 сентября 1917.

Приводим для примера несколько страниц:

11 июня (22 часа). Одно орудие (2-ое) было втянуто с большим трудом к хребту Мунчелуй на высоту 700 метров восточнее высоты 730.
12 июня. Было втянуто еще орудие. Велась пристрелка по окопам противника, расположенным на высотах 672, 718 (безымянная) и 754 (без названия).
Наблюдение вели из 12 роты 3 батареи 8 стрелкового полка.
Выпущено 23 шрапнели.
13 июня. Велась пристрелка по целям № 3, 4, 5.
Вып/ущено/ 10 шрап/нелей/ и 24 бомбы.
15 июня. Противник открыл огонь по 8 полку. Мы ответили по целям 3, 2.
Вып/устили/ 6 бомб (противник замолчал).
В 4 часа утра был убит осколком в грудь телефонист канонир Алексей Алмазов на первом наблюдательном пункте.

[...]

16 сен/тября/. Бат/арея/ вела пристрелку по бат/арее/ противника и затем перешла /к стрельбе/ на поражение.
Выпущено 36 бомб; в 22 часа стреляла по просьбе командира 14 полка по полосе загр. огня LIV.
Выпущено 5 бомб.
17 с/ентября/. По бат/арее/ противника по приказанию начальника группы выпущена 1 бомба.
18 сент/ября/. Бат/арея/ вела пристрелку по цели № 11, № 17 а, № 15 и северной окраины деревни Глит. Выпущено 36 бомб.

Е. № *98*

И. С. и Н. Я. *в Домотканово*
Лето 1917
Отрывок письма

/…/ Нет, положительно человеку, любящему воздух, невозможно жить среди этих православных россиян с их тупой ненавистью и страхом тела; лежу на берегу реки быстрой и объятой ветерком, дремлю; слышу, надрывается: «Земляк!», «Земляк!», поднимаю голову: «Чего же ты не купаешься, чего же нагишом лежишь, это ты очень не хорошо выражаешься!» (т. е. спя!)
Он был прав, я в этом выразился. И потом, уходя, все не мог успокоиться: «Встань!»
Вот бы взять кол, «встань»!
Кретины. Или я их миросозерцание оскорбляю, если только они созерцают мир.
Он был м. б. немного прав, потом шло 5 сестер /милосердия/ –
но с ними очень благополучно обошлось, я им потом указал песчаное место и перекинулся несколькими словами /…/

Е. № *99*

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
21 июня 1917

Милый мой – пишу из Домотканова, я так рада, что вернулась из своего хозяйственного турне жива и здорова, что мне очень весело. К тому же нашла по приезде в Домотканово кучу твоих писем, веселых и приятных, и с карточкой, где ты читаешь почему-то газету, и все это очень живо и прелестно. Кроме того… одно письмо от Эттингера с разными приятными вещами: силуэты помещены в «Столицы и усадьбы»[1], и, может быть, появятся в Студио. Велит сделать гравюру к осени, обязательно. Я теперь ломаю голову – что бы.

Не бегущего ли мальчишку? Неподвижный голопуз – как-то натянуто – надо, чтобы двигался. Вот твой скульптурный, хоть стоит – а не неподвижный.

На твои именины я хочу, по обыкновению, представить что-нибудь. Представлю на этот раз Петрушек. Для деревенских детей.

Господин, который ехал со мной из Рязани до Москвы, сказал, между прочим, что революция не кончилась, что мы живем в револю-



В центре: **поручик Суханов (?), И.С. Ефимов и Н.И. Васильев.** 1917

ции и что поэтому никакими законами сейчас нельзя руководствоваться и опираться. Надо руководствоваться только целесообразностью для нации. Хотя я это читала 100 раз, но он говорил все это так убежденно и сильно, что я как-то иначе гляжу теперь на все, и гораздо легче переносить разные материальные ущербы, казавшиеся нелепыми. В сущности, это я еще в Отрадном заметила – теперь происходит суд надо всем плохим, и суд не формальный, по сухим законам, а так сказать, эстетический, по настроению или по необъяснимому, может быть, отвращению, которое в сущности правильно. Что мерзее привилегий «барыни» – теперь это сгинуло, хотя кому-нибудь и больно – но это отрезалось, гнилое что-то. Всему плохому суд. И легче дышится, право же.

Я злилась на мужиков, препиралась из-за леса – они не позволяли мне продать 3 десятины (годовой оборот) на нужды их же, крестьян. Но по правде сказать – это справедливо. Ведь мы леса не растили. Затраченное – вернется. (Да уже и вернулось в прошлом году.) Я спорила, ездила в комитет – получила разрешение, но они все же не доверяют, а чего-то ждут. И пожалуй – правы. Все же у крестьян какие-то весы в душе, врожденные, они никогда не запутываются, и, не зная истории, чуют исторически. (Это я от себя говорю, нигде не слыхала, ни на железной дороге, ни в газете.)

Я тебе писала про матроса в Трубетчине? Явился перед заседанием земельной комиссии, с ленточками, загорелый, молодой, очень симпатичного вида, и в полчаса эффектной речи вскипятил мужичков так, что они кричали: «Да чаво еще глядеть – помещиков зарезать, аль повесить, а землю даром поделить». Матрос даже сам смутился, он этого не говорил (его тема была, что «всё Божье») и стал уговаривать не резать. Я была одна в шляпке среди набитой мужиками волости, и чувствовала себя странно. Но прокричав 5 часов подряд, мужики так устали, что когда сели заседать (мы все стояли смиренно), то уже были смирные и благоразумные, и даже комитет встал на мою сторону после краткого моего объяснения (чтобы не давать им землю, прилегающую ко двору, между лозинами и ригой).

В Отрадном очень хорошо. Меня только мужики одолели с покупками. Они приходят покупать всё, что угодно, и с таким желанием купить, как дамы у Мерилиза. Я всякой рухляди продала на 900 р. (коляску отца Клавдия за 150 р.). Если что дешево – ты меня поколоти, пожалуйста, вожжами, когда вернешься, я только на это и надеюсь.

В теперешнее смутное время хорошо отделаться легальным путем от ненужного – но иногда мне делалось страшно, что я не знаю цен – так я наконец утешилась, что, может быть, ты меня первый раз в жиз-

ни отдерешь, как настоящий солдат настоящую солдатку. А то было тоска напала даже; хотя все это мусор, о котором не стоит думать, и который «мы не покупали», но так как-то, по привычке по старой.

Твоя карточка имела шумный успех на Даренке. Кормилица и Поля[2] ее целовали. Я подарила каждой по карточке. Про ту, где ты на Шомполе, Михайла[3] сказал: «Эдакую он прислал, у нас уже есть, он там при всей амуниции, и при лестнице». Он думал, что лестница у тебя на спине, и твоя принадлежность...

Ораторов он называет «Араратор» и не подозревает, что это смешно. Право, никак нельзя на них сердиться, уж очень они милы в своей примитивности.

Я привезла оттуда пуд чудесного пшена, замечательных семечек (с нашего огорода) и бездну черных пышек, всякого происхождения, меня там бабы задаривали по-прежнему. Я им написала миллион писем в плен, и посылки. Они говорили – без нас скучно им, и звали жить.

Я провела два почти целых дня на Даренке, вырезая кукол из цветной бумаги детям, которых насела полная телега. Я вырезала на стоящей телеге, а они как куры налетели – полная телега, пищали, плакали, толкались, валились, протискивались, и еще кругом был целый «содом», как они выражаются. Я научила их складывать петушков, коробки, кошельки, вырезали часовни, замки, ключи (симметрично, конечно) и пр. и пр.

Потом как-то читала «Первый винокур»[4]. Очень интересно, как они слушают. Пришлось мне много сочинить (не в ущерб все же Толстому), например – лица я не читала, а рассказывала, кто и как говорит. Вместо того, чтобы читать «на сцене то-то» – как это они должны понять? какая «сцена»? Я рассказывала: «Вот, мужик пахал, потом стал кончать, лошадь остановил, и пр. и пр., и вдруг вылез чертенок». Пропустила 2 сцены, где много повторений, и я боялась, что надоест, вдруг – сказала: «Ну, тут они так перепились, что разодрались». Ведь они первый раз слышали чтение беллетристики.

Замечания они вставляли удивительно правильно, например, когда черт украл краюшку, один мужик сказал: «Сейчас начнет ругаться». И Толстой тоже сказал словами черта, сейчас же: «Сейчас начнут ругаться». Мы даже рассмеялись все. Потом удивительно совпало, что там выпивши был Михайло. И у нас сидел рядом со мной Михайло Александрович выпимши. Они думали, что я нарочно вставляю имена. ...Замечательно.

Алексей, кормилицын сын, обиделся почему-то и ушел, верно пьян был, но остальные подсели еще ближе и под конец сказали: «Вот,

кабы нам всегда так читали, как вы – а то как у нас читают ребятишки?.. Ничего не поймешь».

В волости был один солдат, с которым у нас был очень типичный разговор. Он очень противного вида, маленького роста, закатывает страшно глаза, и они у него остаются несколько мгновений белыми. Он приехал на побывку и старается «пропагандировать». Ко мне в ожидании заседания он подсел и начал разговор, весь составленный из «лозунгов», а я, запасшись терпением и «любовью», старалась отвечать спокойно, просто, не спеша и от «простоты души». Вышло очень интересно. Он: «Вы где были во время революции?» Я говорю – в Москве. Он, вызывающе: «Наверное, прятались, боялись тоже». Я: «Почему? За мной авось не гонялись. Иван Семенович приезжал как раз в отпуск, и ездил на автомобиле с красным флагом, все кричали ему – Ура». Он: «Иван Семенович, чай, в больших чинах у вас? Много жалованья получает...» Я: «Он единственный сын, и потому попал в солдаты, получает 75 коп. в месяц». Тогда он вышел из своей роли инквизитора и сказал уже человеческим голосом: «Да вы бы похлопотали, ведь теперь жалованье солдата 7 р. в месяц, и вы должны за него получать на себя и на сына». – «Ну, – я говорю, – я как-то не привыкла обращаться за помощью к казне, авось не умру с голоду и так». – «А у нас, – говорит, – такцыя за землю 10 р. повсеместно». Я говорю: «Вот увижу». Он, глядя на мои башмаки: «У вас башмаки, чай, заплочены дорого!» (Он сказал это, осуждая, видно, буржуйство.) Я улыбнулась весело и говорю: «Ах, как раз у меня такие рваные эти туфли, еще до войны куплены, во Франции». И так он терпел поражение во всех своих наскакиваниях, и в конце концов, когда я стала рассказывать задумчиво, не глядя на него, и как бы не ему, на его замечание о дворянах и наследствах, что мой отец был доктор, очень бедный, лечил бедных бесплатно, несмотря на большую семью – он посмотрел на меня так удивленно, и с него свалилась большевическая шелуха, и стал себе человек.

Зато, когда мне комитет назначил «такцыю» за землю 8 р. (так всем, и Трубечинской конторе), он посмотрел на меня так торжествующе, что я даже улыбнулась этому уроду.

Нина

[1] Имеется в виду статья П. Д. Эттингера «Силуэты Н. Я. Симонович-Ефимовой» в журнале «Столицы и усадьбы» (1917. № 60). *Студио* – журнал по искусству.

[2] *Поля* – Пелагея Григорьевна Антипова, молочная сестра Ефимова, с середины 20-х годов жила в семье Ефимовых в качестве домработницы, а фактически как член семьи.

[3] *Михайла* – кто-то из семьи кормилицы.

[4] «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» – комедия Л. Н. Толстого.

Е. № 100

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
22 июня 1917

Ниночка, Бог даст, это правда, вчера пришла телефонограмма, что было наше удачное наступление под Тернополем с 8000 пленных. Дай Бог, чтобы только сдвинуться с мертвой точки. Вчера, может быть, рассердившись, он бросал снаряды в город вёрст за 12 от нас, и они шли через наши головы очередями по 4; с фурчащим шелестом, точно стаи перелётных птиц. Разрывов не слышно было, только далёкие выстрелы, один за одним. Мы спросили в тыл по телефону, там тоже не знали, где ложатся. Дни у меня и на дежурстве и без дежурства проходят одинаково хорошо, ложусь в солнечных лучах, а когда раскалюсь – в прохладной тени, читаю La révolte des Anges, мне нравится. И как раз подходящая, языческая, и рисую каждодневно по нескольку или по одной композиции, то похуже, а то и хороших. Может быть, правда, потом можно будет сделать eau fort'ом /офортом/ и выпустить на Божий свет, приделав курносые носы, а то все ты препохоже выходишь большей частью.
Адриан, здесь летают, пугая нас, здоровенные жуки-олени. Летит, жужжит вот такой в стоячем положении. Может быть, я тебе такого изловлю.

/Рисунок/

Шомпол опять со мной живет; накосил ему перед вечером травы с клевером два мешка. Шипела коса и снаряды.
Умылся в воронке, в которой держится вода.
Сидим с Ник. Ив. полуголые, так что чинов не разберешь.
Пьём чай на солнышке.
До свидания.

Целую тебя.
И.

Е. № 101

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
23 июня 1917

Ниночка! Едет командир, он уже в резерве, в нескольких верстах, за ним послали верховую лошадь. Вот как славно. Я как раз недавно думал, что мы уже не встретимся. Уже пошла бумага об отрешении его

от должности. Теперь, Бог даст, уладится. Я узнал это, сидя на наблюдательном пункте от телефониста, слышавшего, как передавали его телеграмму, а на другой день он уже приехал. С ним и Николай Борисыч.
На пункте я был на левом, скверный, скушный – сидеть среди пехоты, где всегда ароматно воняет и нельзя делать солнечных ванн.
А ведь, оказывается, сегодня ночь Ивана Купалы.
Посылаю тебе фотографию. А ту, около орудия, от меня получила? Только тут я каким-то странником, а до чего на маму похож? Я был, кажется, тогда невесело настроен, это еще до отпуска, оттого и такой вышел, должно быть, старый. А других знаешь – Сашка Алтухов, Ник/олай/ Ив/анович/ и поручик Суханов. Ну, вот приедет скоро командир, еще напишу, а сегодня едет хороший человек – Фаворского денщик, больше сорока лет – на работы.

Целую

---------------------------------- *Е. № 102* ----------------------------------

И. С. к Н. Я.
24 июня 1917

Командир приехал! Очень приятно его увидеть и хорошо делается на душе, когда в его словах ясно прощупывается его прямой, честный безбоязненный характер. Мы долго не разрывали рукопожатие с его теплой, маленькой, мягкой и крепкой рукой. «Мне, – говорит, – сказали в Москве, что Вы плохо выглядите, что Вы здесь замучились, а ничего подобного. Верно, просто Вы чем-нибудь озабочены».
Жалко, он постриг коротко зачем-то свои великолепные усы, хорошо еще что ничего не мог сделать со своими глазами.
Все твои письма из Отрадного я получил сразу вчера и прочел с большим удовольствием. Конечно, отлично всё, что ты делаешь, и что баньку продала, должно быть, ты за дальностью расстояния неясно рассмотрела выражение моего лица, когда я читал о твоем проекте отдать на школу деньги – я ничуточки не хмурился...
Прочти, пожалуйста, Джека Лондона «Зов предков», тебя касается – об собаках. Не совсем представляю, как отбирать у Ильича аренду – они снимут на один год, не сделай что-нибудь противоюридическое.
А сад? У нас останется? Очень хорошо, что там можно стало говорить и чувствовать себя по-другому. Бог даст, и умнется всё.
До свиданья, милая ты моя, целую и глажу твою умную голову.
И еще – Николай Борисович привез Лизистрату Аристофана, некото-



И.С. Ефимов, А.И. Алтухов, поручик Суханов, Н.И. Васильев. 1917

рые слова просят иллюстрации моей, что я и исполнил[1]. Жаль поздно, греки, может быть, порадовались бы.
Лежу на солнце. Пока надо мной кружился вражеский аэроплан, сделал хороший рисунок любовной игры.
Мы сейчас с Николаем Ивановичем договорились, что директором обновленной школы верно будет Юон. Хорошо бы предварительной артиллерийской подготовкой разбить проволочные заграждения, отделяющие нас от него, не возьмешь ли этот участок? /.../
Можно мне тут чуть бороду расчесать – очень хочется. Не попредводительски, а как у Диониса, кстати, я сейчас от солнца в березовом венке, в котором тебя солнечно целую.

/Рисунок/

[1] И.С. увлекся темами и воплощал их в форме «двухфигурных композиций», как скромно называла эти рисунки Н.Я. Античность всегда была ему сродни. *Себя как рисовальщика я чувствую или позднегреческим, или помпейским иногда, Рима времен упадка, не плотно верующим в своих богов, а с другой стороны – грековазным живописцем, хорошо компонующим что угодно в любую форму* [И.Е. 1977. С. 149]. И.С. любил играть сочетаниями человеческих и животных образов. Сохранилось несколько сотен рисунков, которые Ефимов называл «эротическими» и хранил в папках со знаком S – секретно. Первые сделаны еще во Франции в 1910–1911 гг. Сам автор ценил их как возможность смело компоновать для разгона руки, однако вкус и культура этих композиций, гармоничных и веселых, придают им самостоятельное значение.

Е. № 103

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
24 июня 1917

Сегодня ведь твои именины. Поздравляю!

24 июня, одного Ивана жена[1]... Да, теперь не до пирогов. Я всетаки в честь тебя, и по привычке представлять в этот день – представила Петрушек для деревенских детей. У меня еще вкус папиросы во рту, от «маленького человечка»[2]. Мне как раз попалась маленькая пахитоска, может быть, последняя в роде своем – я ее и покурила, только жаль было бросать не докуренной, я так и сказала.

Представляли на улице, под елками в Калачеве, устроилось красиво и удобно в зелени. Утро раннее было чудное, а потом стал моросить дождь, и я сомневалась, не перебраться ли в сарай. Но дождь перестал, и в 4 часа было хорошо. Только вдруг на самом конце человечка полил ливень. Все убежали очень кстати, а мы стали под дождем убирать занавески и одеяла. Петрушек покрыли одеялами, а сами промокли. Все

бросились в школу, где живут дачники, и набились полный коридор и передняя. Привилегированная публика была в комнате. Было бы весело, если бы не странная «привилегированная» публика – очень молчаливая, и это сбивает настроение. Деревенские дети смеялись и вообще реагировали как полагается. Это очень приятный звук смеха толпы детей.

Помогали мне калачевские дачники – славные девочки, особенно младшая, хорошенькая и живая.

Неожиданно сочинила две частушки. Вот одна:

У нас соль не солона,
Стала дюже сорна,
Мне слезинка солона,
Перина мне просторна.

Это я в Отрадном выдумала, там вместо соли был один мусор.

Я тебе не написала в том письме, но теперь, так как мне грустно и я с удовольствием к тебе прислонилась бы – признаюсь, что Павел Давыдович в том письме своем просил меня нарисовать ему акварель для его альбома (и размер прислал) – ему хочется в уменьшенном виде что-нибудь из тех акварелей, что я сделала после революции, весной. Я, один раз, когда мне хотелось до смерти «что-нибудь порисовать», но не знала только, что бы – я и взяла срисовывать в уменьшенном виде толпу перед Щербининым. И вот – вышла такая бездарность, что не приведи Бог. Похоже на гимназические сочинения на заданную тему и «непременно в 4 странички». Конечно, главная ошибка в самом задании. Размер фальшивый, видно, что уменьшено. Ты наверное рад, что вышла гадость?? Хотя не могу себе представить тебя – злорадствующего.

Тут я застряла на письме, долго, долго глазела на липы перед окнами, обводила буквы своего письма и как-то грустно мне.

О чем я думала? Оказывается, что думала, что тебе ужасно не шли бы мелкие чувства. Ты такой большой, и глаза у тебя такие, что всё мелкое очень подчеркивается, и масштаб будет фальшивый тоже. С глаз съехала на море – если бы море топило бы каких-нибудь щенят, – было бы нелепое зрелище. А в ручье – может быть даже и грандиозное. Оттого ты так и не любишь мелочей.

Отчего мне так печально? Сама даже не знаю. Может быть, не особенно удачное представление.

Теперь я себе тебя всегда представляю – ложащимся. Ты голый, но я вижу только твою грудь, плечи и свободные сильные руки. Ты кла-

дешь их за голову, и лицо спокойное и довольное. Таким ты бываешь после грозы, когда промокнешь, разденешься и с папиросой ложишься в чистую постель.

Теперь тебя кто-нибудь и видит таким, по-настоящему, но я тоже вижу.

Письма твои с новой позиции получила, спасибо, очень интересно, я Адриану читала. Поздравляю с новосельем.

До свиданья. Целую крепко.

Нина

[1] Н. Я. вспоминает строку из стихотворения, написанного в этот день в 1913 г:

Двадцать четвертого июня
Одного Ивана жена
В честь мужа стихи сочиняла
И пирог пекла она.
Но рифма для слова июня
Уползла от нея, как змея.
Древний Иван Купала
Был взят для сравненья с ея.
Но слава того – упала,
По сравненью с этим, с ея.
Однако пирог испекся,
А рифма все не шла,
За деньгами Яков приплелся,
Кормилица пришла.
Салат, редиску купала,
А рифма не шла,
Три раза било пробило,
Пора обеда пришла,
Стихи в честь Ивана Купала
Она впопыхах искупала
В стакане вина шасла.

[2] *«Маленького человечка» – см. ком. к Ф. № 116.*

Е. № 104

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
26 июня 1917

Сейчас раннее утро. Лежу на кровати под небом. Наша гора еще не осветилась; вижу только противоположный берег гор, до которых добралось уже Солнце.

Нарисовал хороший, со спокойными монументальными линиями рисунок.

Командир поедет в резерв, и я хочу поехать, я давно не ездил верхом (горы, на горе стоим), потом хочу заказать френч из добринской волосянки, мечтаю получить желтые сапоги.
И еще надо взять оттуда фотографии моих скульптур, предвкушаю показать их Давиду Михайловичу.
Вчера под звездами он очень хорошо, ясно и честно говорил с батареей и будет вести беседы, выясняющие программы. Жаль, что только с нашей боевой частью, а не с резервом, который в тылу версты за три, а он-то и зловреден.

Приписка:

Меня собрание выбрало в просветительную комиссию.

Потом сидели за чаем, перекликались с темнотой, где скрыта батарея, и задавали друг другу по очереди хорошие загадки (которые и будут приложением к нашему выпуску[1]). Когда доносился говор батареи между собой, обильно сдобренный ругательствами, командир говорил: «Вот досада! Они ругаются, а я нет». Ему теперь, конечно, самому гораздо легче будет жить, потому что бешенство его куда-то ушло, и такая приятная, легкая, облегающая всех вместе паутина приязни шелковисто переливается радугой радости. В отношении с нами, вольноопределяющимися, он сделал ту перемену, что называет по имени, и хотя на его мягком выговоре хорошо звучит «Иван Семенович», но мне, пожалуй, жаль, как он называл меня «Ефимов», может быть, от того, что он избегал так называть и только пьяный говорил «милай Ефимов!» или что-нибудь такое.
А что усы остриг, жалко и потому, что они были действительно красивой формы – блестящие вороные, и потому, что улыбка и вся жизнь губ происходила под их тайной, а сами губы четкие, но не столь приятные.
[...]
Весь вымылся в воронке, которая налилась чистейшей водой с горного ручья.
Теперь съехал вниз с командиром и сижу над пеной порога милого моего, сейчас сяду, упрусь в его бег. Шомпол щиплет траву по полугоре, привязанный к каменной тумбе шоссе.
Это раньше, еще когда кончилось братание, – немец приносил то вазу какую-то позолоченную (очень нужна), то гармошку, то часы, ему давали хлеба и наконец сказали, чтобы больше не приходил, а то застрелим, а он ответил: «Все равно буду ходить, пока застрелите, голодно».

[1] *...нашему выпуску.* – Вероятно, И. С. был поручен выпуск «боевого листка».

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Конец июня 1917

Сейчас лежим с командиром, выбрав веселый бугорок, читаем и говорим о правильном воспитании, таком, чтобы человек ничего не боялся; он говорил, что его мать (или тетка, не вслушался) говорила: пусть играют в карты, не сплетничают тогда – а я вспомнил, как Тольский дулся с сыном в азартные игры.
Давид Михайлович говорит: «Конечно, чтобы в 20 лет не прийти в отчаяние от игры. Вот теперь я весь проиграюсь, хоть пятки проиграю – знаю, что через 5 лет поднимусь». А к кольцу, сковавшему тебя со мной, я не ревную совсем – ведь это же вроде как мое же астральное тело в себя прижимать и, судя по лучам солнца, пробившимся в ставни, может быть, и я тебя в этот момент за тысячи верст ласкал, о чем писал. Очень крепко целую, милая, милая моя!

Иван.

Накосив в кустах отличной травы с горошком и крупным клевером, отнес Шомполу, освещенному среди просвечивающих заходящим солнцем кустов. Он тихонько заржал и даже пришел в любовное возбуждение.
Сегодня меня Сашка спрашивает: «А ты когда в отпуск?» – «Я не очень скоро еще». А командир говорит: «Ему уж на виноград». Я говорю: «А особенно в Тверскую губернию».

Приписка: А, пожалуй, через короткий или длинный, вроде как, месяц и обнимемся.

Нашли удобные инструменты для скульптуры: стальное тяжелое дно от нашей бомбы, преждевременно разорвавшейся при вылете, а стеки из тонкой красной медной проволоки, которыми подвязаны колпачки предохранительные на шрапнели – как на бутылках вина, которые тоже срываются перед тем, как привести в действие. А толстые стеки (которые, впрочем, мне не понадобились) из проволоки, которой связано прессованное сено.
Что, мой негативный голопузик[1] лежит благополучно в Отрадном? Хочу сделать еще b/as/-relief с быком и Европу.
А не получать ли тебе паек – ведь это вам с Адрианом рублей 22 в месяц.
А как же юридически ты разорвала контракт с Ильичом[2]? А страховка продолжена, какую бумагу крестьянского комитета ты подписывала,

ведь не об отречении от Престола Черной Земли? Жаль, пописать тебе не удалось.
Спасибо, что посидела на моем кресле; как оно радо было обнять тебя и подержать.
Почему тебе, говоришь, иногда кажется, что делаешь что-то не то, что надо: будь спокойна – твой инстинкт сделает всегда именно то.
Аделаиде Семеновне кланяюсь и желаю бодрости, верно она со свойственной ей отзывчивостью помолодела вместе с Россией.
Иду на наблюдательный пункт на четыре дня, буду тебе там письма писать и подумаю, какой бы еще b-r /bas-relief/ сделать, думаю – с быком. Съеду на Шомполе, покупаюсь в потоке и доеду до подъема, а там пойду. До свидания. Адриану жму руку.

[1] *Негативный голопузик* – обратная форма скульптуры «Мальчик» (*см. Е. № 41*).
[2] *С Ильичом* – управляющим в имении.

---------------------------- ***Е.*** *№ 106* ----------------------------

И. С. к Н. Я. и Наташе Симонович *в Домотканово*
Конец июня 1917

Рисую, остановившись подниматься на наблюдательный пункт с провизией на 4 дня: буханкой хлеба, 2 ф/унтами/ сала, крупы, русскими и французскими книгами, зеркалом, махоркой и с фотографиями тебя. Внизу ведет выездной Шомпола. /*Рисунок*/
Забрался неожиданно быстро; смотрю – землянка разрушенная, только около нее столик и лавочки; оказывается, ночью завалилась во время дождя. Пошел по проводу, хотя их тут много; смотрю – шалаш, пахнущий вялым листом, и висит полотенце с тканым узором. Значит, здесь наш телефонист, архангельский Боккаччо[1]. Попил чаю с нарезанными зелеными крадеными (или реквизированными) яблоками и теперь лежу в сильном постоянном потоке ветра, гнущем молодые хорошие одинокие березы, который треплет и этот листок. А когда сюда ехал, лежал, упирался в таком же потоке воды. Вечером покосил хорошую траву, а сейчас дай-кось почитаю Maupassant[2].
До свидания, пока, Ниночка и Наташа; вот как удобно синяя бумажка[3] вас соединяет. Будьте веселы и беспечны, как я сейчас.
Я читал сейчас отложенное до наилучшего момента письмо, привезенное командиром. Момент настал: зашло солнце, я сижу в ароматном ветре на траве, много накошенной посредством безносой, правда, втыкающейся косы. Карточка Брешковской[4] напомнила мне рассказ

Дав. Мих., что в Петербурге шутят, что теперь на погонах будут носить Б. Б. или БББ[5], – бабушка Брешковская. Один bas-relief[6] сделал, еще не отливал – сохнет, и хочу еще сделать Европу, в глине вырежу негатив тоже и налью металл от шрапнельных колпачков.
4 часа утра, небо над горой стало грязно-буро-рыжее, кверху зелено-желтое, и в нем тонкий золотой серп месяца, а вверху и вкось на большом расстоянии – крупная капля звезды. Стайка птиц бодро полетела через границу, им наплевать, что там Германия.
Попил чаю с телефонистами в плетеном с листьями шалаше. Переволок свое ложе из ветвей и травы пониже, от солнца под березку, около куртины вот таких цветов /*рисунок*/ на фоне темных в голубой дымке гор, и с ними вместе сухие, тоже розоватые, злаки – знаешь «петушок или курочка». А поверх всего этого с свистящим, волнистым, ввинчивающимся в воздух шелестом, надвигаясь и снова удаляясь, через голову идет тяжелый неприятельский снаряд, и на горе, в версте расстояния, поднимается большой черно-бурый столб, доносится треск разрываемой материи и, через неожиданно долгие промежутки, глухой стук высоко залетевших осколков или камней. Третья гора выше, он и думает, что там наблюдательный пункт, да там и есть чужой, но земля просторна и Бог милостив.
Вчера доканчивали оборудование наблюдательного пункта, пришли к вечеру рабочие, очень милые некоторые, напилили деревьев, нарезали дерну и устроили над трубой козырек. Они приучились к большой внимательности: убирают все до одной щепки и даже землю с травы стряхивают рукой. Изредка взлетали и медленно спускались яркие ракеты за версту.
Никак не решу практическую задачу: нас девять разведчиков: 2 наблюдательных пункта; когда дежурили – на обоих по 2 дня; два по два, и два сокращались взаимно, и оказывалось, что дежурство приходит через восемь дней. Теперь решили на правом, хорошем, с земляникой, травой и ветром, далеком пункте дежурить по 4 дня. Как распределятся дежурства? Надеюсь, что Адриан тоже не решит.
Сейчас был дождь и гроза не сильная, но громыхала и сливалась с выстрелами неприятеля по шоссе. Его рассердила наша легкая батарея, которая пустила несколько очередей, по 4 выстрела, один за другим. Сейчас сижу в шалаше с вялыми листьями и узнал, что около О/кны/[7] есть соляные копи, высокие, сизые как небо, из которых возят соль как лёд. Поеду.

/*Рисунок*/

Вниз так вожу вещи – не жарко и легче, я думаю, так можно было бы свозить и раненых, на одной вместо двух лошадей.
Хорошо передает звук: *...clapôtement... de l'eau contre la rive*[8].

[1] *Боккаччо* Джованни (1313 – 1375) – итальянский писатель, автор книги новелл «Декамерон».

[2] *Maupassant* – Ги де Мопассан (1850–1893) – французский писатель.

[3] Синяя копировальная бумага.

[4] *Брешковская* – Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934), деятель русского революционного движения, одна из создателей партии эсеров, а также ее боевой организации. Известна как «бабушка русской революции».

[5] *БББ* – бабушка Брешко-Брешковская.

[6] *Bas relief* – барельеф *(франц.)*.

[7] *Окны* – город в Румынии.

[8] *Clapôtement de l'eau contre la rive* – плеск воды о берег (*франц.)*.

Е. № 107

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
30 июня 1917

Льет дождь. Мы лежим в палатках, я, впрочем, и вчера лежал, наруже под солнцем, потому что проткнул себе ногу двумя гвоздями, теперь уж заживает. Но я теперь так хорошо себя ощущаю, что и боль не проняла и я рисовал хорошо, по-новому, то есть новые качества по поводу Лизистраты. Похоже на греческую вазу ремесленной умелостью рисунка и архангельской широтой движений. Ник. Бор. говорит, что особенно напоминает греческую роспись отношением к работе: хладнокровно, легко и умело разделано.
Вчера мне боль ноги даже помогла, мешая спать, – проснуться. В теплом ветре при свете луны и звезд, еле видя, взяв самый мягкий карандаш, нарисовал толстыми, не своими чертами (и тем лучше) греческую сцену из комедии.
Сегодня, проснувшись ночью, вижу – посредине нашей палатки течет ручей, в котором мокнет рулон бумаги Ник. Иван., его же табак, моя умывальная сумочка и наполняется водой сапог. А чтобы ты представила себе всю комфортабельность нашего житья – палатка сплошь наполнена тремя, бок о бок, нашими кроватями, на которых кишит всякое имущество.
Командир хочет сделать, чтобы на батарее процвел спорт, и хочет широко его организовать, чтобы взялись за устройство лихорадочно.

В обсуждении всяких игр предлагали ловить намыленного поросенка.
Сейчас полушутя он поручил мне написать ему письмо с предложением – он совсем не пишет писем.
Ему говорили знакомые о моем Ягненке у Балиева и жалели, что уж нельзя увидать, закрыто.
Фотография моя с орудиями ему очень понравилась – «вдохновенный снимок, всякий будет долго смотреть».

Е. № 108

И. С. к Н. Я.[1] *в Домотканово*
1 июля 1917

Сегодня я принялся вдруг за скульптуру: сделал негативную форму оленя, упавшего на колени, хочу отлить из шрапнельных колпачков и подарить командиру, нашлась хорошая желтая глина, когда рыли убежище.
Потом заговорили о литье, о моих мечтаниях об широкой постановке литейного дела, и Дав/ид/ Мих/айлович/ увлекся, говорит, что и он бы с удовольствием принял участие. Только надо широко поставить и иметь свой магазин. Вчера и сегодня он что-то разговорился о своих бывших боевых делах.
Сейчас сидим втроем в его палатке: он, я и Шульц – вольноопр/еделяющийся/ «Чу-Чу-прияновка!»[2], и читаем, он Лизистрату (сижу в стальной каске от света лампы), а я Maupassant, и курим.
Покойной ночи.
Сегодня /командир/ говорил, да надо ведь Ив. Сем. произвести (в офицеры), теперь по новому закону достаточно 4-х месяцев пребывания на фронте. Хотя я, он говорит, ему предлагаю остаться в первобытном состоянии (он как раз вчера мечтал: «А хорошо по нынешним временам быть канониром»), а производить меня в бомбардиры – он находит, что ко мне нейдет.

[1] Текст письма написан на листке, присланном Н. Я., с наброском фигуры мальчика (*см. Е. № 15*).

[2] Из не вошедшего в настоящую книгу письма: *Тут есть один вольнопр., типа «настоящего простецкого юнкера» – заикается, и мне все гов/орит/: «Да, ведь это тебе не то что на Чу-Чуприяновке!» или – «Привык у себя на Чу-Чуприяновке».*

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
2 июля 1917

Милый мой, я давно не писала, может быть с неделю.

...Я думаю, если даже война до октября не кончится – все-таки мне следует перебраться в Москву, – а то наши следы там зарастут и будет труднее. И теперь жизнь в городе будет интересная, а в деревне все же мало жизни, и все приходилось уезжать.

У нас сейчас живет Марья Александровна Чехова. Приехала на месяц передохнуть от своих многочисленных обязанностей. Она очень милая и бодрая, и с ней как-то уютно. Она сразу принялась вязать одеяльца для будущего Аниного (или Митиного) младенца. Рассказывает о выборах в Москве много интересного. Она дежурила в участке во время выборов, опускала конверты в «урну» (деревянный ящик). Все шло в порядке, и тихо было, а последнюю неделю перед выборами шла в Москве шумная агитация, летали автомобили с номерами партий, везде были митинги с пропагандой номеров партий. Кадеты истратили миллион с чем-то на свою агитацию, так что каждый выбранный гласный им обошелся в 30 000 р. Астров[1] прошел.

Есть партия народных социалистов – хорошая партия. Она похожа на эсеров, но без их несбыточных лозунгов о земле, о которых они твердят уже только на митингах, а в их комиссиях все разрабатывают выкуп за вознаграждение.

Партия народных социалистов (или трудовики) – там все наши знакомые порядочные люди, и Чеховы между прочим. Она называется Н-С, но в ней мало народу, так как она еще молодая партия. Если бы поступать в партию – то в эту; но лучше, конечно, никуда не поступать.

Я отобрала для тебя несколько книжечек эн-эс-ов, но пока их читает Мария Дмитриевна[2], а после она пошлет их тебе. Вчера я послала тебе 3, 4 книжечки, присланные мне из Москвы «Советом младших пропагандистов» (помнишь, я дала им адрес), и еще прибавила какую-то книжку Джека Лондона.

...Мечтаю, как хорошо, если тебя пригласят заведовать животным классом в Училище.

Пока до свиданья. До августа, ты пишешь? Это хорошо. Целую тебя много-много и твой загорелый живот.

Нина.

[1] *Астров* Николай Иванович (1868–1934) – кадет; в марте – июне 1917 г. московский городской голова.

[2] *Мария Дмитриевна* Симонович.

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
6 июля 1917

Милый, милый мой – получила письма с карточками, и я, и Адриан, две с пушками, и одна – ты со щенками.

Какие милашки щенята – ну, просто нельзя выразить словами. Похожи на медвежат, особенно Пояна. А ты, по-моему, плохо обстригся – надеюсь, когда приедешь – обрастешь уже. Это вроде как тогда, когда ты приехал из Москвы в Отрадное, и мы с Наташей месяц не могли успокоиться из-за твоей верхней губы.

Вчера я кончила мальчика – «вышла из положения» не плохо. Все не выходил он – уж я его дома мусолила на все лады. Наконец ударилась в настоящую хандру и часами беспомощно его созерцала с отвращением к своей живописи. Решила испробовать последнее средство – опять найти, поправить, если можно, по натуре. Трудно собраться в деревню – но я знаю, всегда следует себя в этом случае заставить. Всегда результаты отрадные. А кажется – что и сенокос-то, и стыдно, и все сбегутся... Пришла – и всё было отлично. Дети хотя и сбежались, но мне помогли, потому что они ко мне доброжелательны и очень мило со мной болтают и главное – всякие образцы детей налицо. У меня был все один всю зиму – стриженый, и уже успел вырасти. Я тут взяла с горя иного, с шевелюрой, в которой чувствуются вши; а изба уже стала совсем другая – светло-пресветлая. Я всё и переписала. И вышло хорошо. Главное, я рада, что исчезли те мазки и краски, которые мне до тошноты надоели и заменились свежими, а тех как не бывало. Я так рада, точно выздоровела от дурной болезни, право. Теперь ноги и живот Федины, а глаза и волоса Сережины. Но это не заметно, и все очень цельно и весело, и на стене повис календарь, и на потолке кривая лампа. Я страшно рада. Даже вчера заснуть не могла чуть не всю ночь. И мышь летала. Потом она появилась в виде черного украшения на черной спинке стула и грациозно добежала до края и перебралась на окно, где были семечки.

Сегодня я нарисовала Николая Владимировича Чехова[1] (он приехал на 2 дня). Похож. Еще я начала на обратной стороне царского портрета (благо, он в золотой уже раме) – вид из своего окна (в угловой комнате, бывшей «бабушкиной») на оба балкона – верхний и нижний: на нижний я смотрю, уже перевесившись вниз головой, чтобы видеть сидящую там публику. На верхнем – мокрые стулья, доски и перила черные. Но это только начато. А внизу всё с птичьего полета.



И.С. Ефимов и щенки Узулуй и Пояна. 1917

Хорошо, что ты написал мне про девочку, я и забыла даже, что собиралась, так меня угнетал мальчик. Теперь я его зато «поставила в угол», пусть сохнет, и забуду о нем, пока не придется заботиться о раме. Пожалуй, начну девочку, только надо найти подходящую. И как она будет стоять? Т. е., конечно, никак. Это будет сущее мученье, хуже мальчика.

Конечно, отрадненские сюжеты теперь, когда у меня есть какой-то к ним ключ – легче. Но ведь не уйдут они от меня? (ни я от них) – правда? С каким удовольствием делала бы я теперь складки на платье выглядовской бабы. Белый платок, и голова туго затянута с подкладкой, как на иконе.

Особенно меня мучает деревянная гравюра, которую Эттингер велел сделать заранее (чтобы «попала в каталог») – а я не знаю – что??!!! В Отрадном не трудно было бы найти сюжет. Может быть, я еще и попаду туда?

8 июля

Сейчас еще проглядывала твою группу со щенками – какие чудесные, особенно Пояна, вот привезти бы сюда. У него большие лапки или нет?

Я пишу так бледно (т. е. каракулями), потому что стерла три пальца граблями, и больно. Сегодня праздник[2]. И все немцы и русские единодушно празднуют [...] А моя душа не выдержала, и я одна перевернула все сено в яблочном саду. Не меньше двух десятин, а может быть, и больше. А сено густое, клевер. Сегодня второй день – солнце, а то каждый день дожди, целый месяц, ровно. Что-то завтра? Надо бы сложить в копны – но никто не хочет, а это уж одной никак нельзя. Завтра воскресенье, и за особую приплату немцы согласились работать завтра. Сволочи, пошли им, пожалуйста, за это лишние 3 пули, куда-нибудь в пузо. Когда они работают – все больше сидят и отдыхают. Сейчас прочли в какой-то маленькой (положим) газетке (может быть, врет), что Ленин и вся К° пропали, скрылись неизвестно куда! Самое лучшее. Значит, подписали сами себе приговор, что виноваты в измене, в которой их обвинили. Я думаю – теперь их царствию конец.

9 июля

Сегодня все утро вели переговоры с немцами – нашими и захеевскими насчет сена. Наконец уломали за 1,5 р. и кусок ветчины за 4 часа работы.

Было в конце концов 5 немцев, Григорий, Юра, Гриша, Маша, Катя, *Ольга, Саша*, Анна, Соня[3], Адриан и я. Все святцы. Женщины

наши и в том числе я и Адриан, Юра и Гриша были бесплатно. Да, еще Петя [Бяшков]. И как раз загремел гром, надвинулась туча, и мы как раз к первым каплям дождя доканчивали последние копны. Так что не зря все это было, а очень кстати. Вышли чудесные высокие копны.

Целую тебя. Твоя Нина

[1] *Чехов Николай Владимирович* (1865–1947) – известный педагог, отец Ани Чеховой-Дервиз.

[2] *Праздник* – празднование (обретения) Казанской иконы Божией Матери.

[3] *Григорий* – старший работник; *Юра* и *Гриша* – Дервизы; *Маша* и *Катя* – горничная и няня Никиты; *Анна* – скотница; *Соня* – С. Н. Чехова (?).

---------------------------------- ***Е. № 111*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
6 –7 июля 1917

Вчера к вечеру пошел дождь. Мы 5 чел/овек/ телефонисты и чужой разведчик залегли в шалаше. Завелось пение, не замечаешь, как одна песня мелькает за другой; хохляцкие, некоторые неизвестные хорошие, некоторые смешные. Между досок потолка капало, подвесили второй потолок из палаток, и из середины капало, и когда я палатку шевельнул, из нее вылилось мне на ноги с добрую миску воды.
Спать было мокро, холодно и жестко. Утро опять отличное; я лежал голый и по обыкновению рисовал свои композиции. Нарисовал одну, которая раньше не выходила.
Идут две румынки за ягодами или грибами, ужаснулись, должно быть, меня, я оделся – и за ними, натурально: они со свойственным женщинам и птицам неведением пошли в своих белых рубашках по склону, обращенному к неприятелю, где как раз сегодня утром ранило певца разведчика, легко, глупая пуля случайная. Это очень редко может случиться. Я за ними, догнать не удалось – ушли в кусты куда-то.

7 июля

Потом слышу, телефонисты здороваются с полковником; оделся; пришли ком/андир/ дивизиона, /командир/ нашей батареи и других двух бат/арей/, и ком. бригады. Походили по пунктам.
Наш остался пить чай у нас на пункте и рассказывал, как заблудился в своем лесу на Кавказе – 400 дес/ятин/ старых орехов грецких, никто не собирает. Я сегодня делал Леду, а ведь вы с Катей [Винберг] были похожи на Лед, когда за вами гнался гусь из Саяни. Когда Зевс явился

своей возлюбленной в виде тучи, уж не ударом ли молнии он ее оплодотворил?
Сегодня сменюсь, сказал по телефону чтобы привели лошадь.
Тебя не злят мои лоскуты[1]? Нету бумаги на набл/юдательном/.

[1] *...мои лоскуты.* – Письмо написано на двух небольших развернутых конвертах для депеш и донесений. Текст письма с обеих сторон поперек печатного текста конверта:

Кому............ *Куда*............ №......191.... г. «......» ...... «...» ч. «...» м.

П О Л У Ч Е Н О: ...... *Аллюръ* .... *Подпись*... ....

Конвертъ возвращается подателю.

Ч и т а л ъ: ....

Аллюръ обозначается: X – переменнымъ аллюромъ; XX – какъ можно скорее.

Издание Т-ва В. А. Березовскій, Петроградъ

--------------------------- ***Е.*** *№ 112* ---------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
9–12 июля 1917

9 июля

Купался – любимое сочетание. С командиром. Дождь. Загорелась береста. Спор. Отвлекся от ликования. Снимались. Шомпола кормил хлебом.

Это у меня старые темы записаны – третьего дня, а сейчас по-другому: дождь весь день идет, ну, и устаревшие темы напишу:
1) Купался, когда солнце зашло уже за горы в потоке, вода серо-зелено-соленого цвета, и когда выставишь оранжево-коричневое плечо, сделавшееся от темного цвета более плотной и сильной формы – получается твое любимое сочетание, а когда вытянешь из воды (там мелко) напряженную мокрую в скользких ясных бликах ногу – похоже на бронзу.
[...]
Потом уже в сумерках в зеленом небе с огоньками на земле и в небе взъехал на гору. Там, пока я был четыре дня на пункте, переменили квартиру [офицерскую] (как у нас в телефоне говорится: «квартира слушает!»). Так вот, эту квартиру, две палатки, перенесли на новое место на бугор (на который я всегда уходил) из серой лощины. Там гораздо веселее, вечером очень хорошо освещает заходящее солнце, палатки поставлены собственными, отчасти офицерскими силами, на толстые плетни на отрытой в косогоре площадке; к палатке ведут

царственные ступени, а другие ступени на курганчик к обеденному столу под кустом ореховым со многими орехами. Кругом на многохолмной местности много ореховых и ольховых кустов, а кое-где на зеленом газоне отдельные, потому красивой формы, березки и бучки.

Вот около этого стола мы поздно засиделись с командиром, который мне интересно рассказывал об изменившемся быте, который он увидел в жизни кокоток, крупных.

[...]

На другое утро я собирался делать рисунки и барельефы, но отвлекался: сначала командир критиковал очень хорошо, со стороны психологии женщин, ту, которую я полушутя сделал, оплодотворяемую молнией – за отсутствие ужаса в руках, а Леду – за отсутствие девственности, и очень за Леду обиделся; ты увидишь, Бог даст.

Потом с ним же долго и совершенно зря спорили, потому что он непременно хотел, чтобы я ему доказал, почему отвратительна серебряная ваза Антокольского из Зимнего дворца.

Потом столь же праздно стали сниматься, причем ставил наипребездарнейшим способом поручик Суханов. Иногда я ставлю, но он всегда в счастливой уверенности, что он автор. Делал фотографии, т. е. дергал затвор.

Я ругался с ним от того, что хотел сняться в каске, голый, с Шомполом, что и сделал. Потом кормил Ш/омпола/ хлебом, и он за мной ходил и ржал, когда, наконец, собрался переделать Леду на девственную, и она у меня, казалось, уже нарисовалась в голове, но когда стал рисовать, то руки непривычным образом не сумели сделать.

Потом стал лить из колпачков шрапнели 40 МР[1] оленя, не получилось, но форма была цела, потом на другой день с помощниками, специалистами по литью – почти получилось, зарыли форму в землю, но металл отодвинул своею силой землю, и не долилось и форма треснула, но это не жалко, не хорош был. [...]

Я было и заскучал. Очень рад, что опять на наблюдательном пункте, и бодро хлещут и гудят, Бог даст, удачно, наши легкие мортиры.

10 июля

Вчера не удалось мое литье из колпачков, был дождь, и стало было скучно, а сейчас приехал на наблюдательный пункт бравый, хороший.

[...]

Сейчас буду читать твое оранжевое письмо, вчера начал было опускаться, решил, что не заслужил, а сегодня поднялся на несколько сот

metrов телом и душою – прочту; на наблюдательном пункте всегда бодреешь, и главное, орудия всех наших батарей расстукались – это бодрит, ну до свидания сейчасошного с тобой через письмо. Шомпол прямо на меня полез в увлечении травой.
Сейчас, пока сижу, читаю La retraite sentimentale[2] и иногда поглядываю в биноколь на вражью гору, которую взрывают наши бурые разрывы, воздух настолько полон шумом полетов, раскатов эха по горам и взрывов, что когда настает минута тишины, то ее слушаешь с удивлением и замечаешь, ожидая, что она прорвется ставшим естественным шумом.
Но все это не сильнее и не так мощно, увы, наполняет воздух, как раскаты хорошей грозы, и суховато, только отдельные резкие удары легких /мортир/ и раскаты эха хороши.
Когда я пас на солнце в поводу лошадей – голый, я заметил, что мастью корпуса мы с Шомполом теперь похожи: во всех пахах и у него, и у меня посветлее.
Близко, резкими, подряд, как удары бича, бьет наша батарея. Чужой вороной голенастый мерин в испуге дергается и рвет повод, на котором их держу, а то убегут, а Шомпол совершенно спокойно слушает, щиплет траву.

11 июля

Теперь опять все затихло.

Приписка:

Сейчас читал батарее слово союзников и поговорили хорошо с батареей.

12 июля

Вот хорошо, что носил /твое/ письмо от 24 $\underline{го}$/июня/ до хорошего момента. Как хорошо было видеть свою душу в зеркале твоей души такой красивой, что сам не представил себе. Если так смотреться, пожалуй, может захотеться заняться собой.

[1] *40 MP.* – И.С. отливал из металла эмблему «40 МР» – 40-й мортирный, артиллерийский дивизион (*см. Е. № 108*).

[2] *La retraite sentimentale* – роман «Бегство от любви» Сидони-Габриэль Колетт (1873–1954) *(франц.)*.

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
13 июля 1917

Кажется, я тебе не писал, когда я сюда в воинском поезде длинном, из товарных вагонов, ехал, старик странник, которого мы обогнали, на тропинке остановился и все время, пока поезд шел мимо него, кланялся низко поезду. Было красиво. Только все ли заслужили его поклон.

На румынских кредитных деньгах, мерзко сделанных, увидал я вчера герб Румынии – щит, который держат два льва, разделенный на 4 поля:

1 – орел, смотрящий в сторону на солнце (?!). 2 – голова быка с солнцем, луной и широкой лентой. С одной стороны на одной бумажке так скверно сделано, что я думал и нарисовал сначала рогатого льва. На третьем поле лев машет лапами на звезду, сидя на острой короне. И еще два дельфина. Я вчера все и рисовал это в большом виде и потом разделывал, как рукоделие. Как раз к нам пришли гости – командир 2-й батареи, которого я люблю.

Ты скажешь – что же я про войну не пишу; я все собирался, да вроде как нельзя, как будто. Но это письмо поедет с оказией, напишу поэтому. Пожалуй, ты еще не получила письма, где пишу, что на наблюдательном и идет бодрая и веселая стрельба наших орудий; это была арт. подготовка к наступлению, и сама пехота признала, что артиллерия хорошо очень работала, и в бинокль было видно, как поредели и облетели деревья, скрывавшие окопы, и окопы были взрыты. Командир был у трубы и видел, как иногда проволочное заграждение поднималось на воздух и повисало на деревьях и колья покачивались. Видно было, как пошли вперед пехотные разведчики, окопы были пусты, но пехота почему-то не пошла, и разбитые окопы опять были заняты немцами. Досадно было очень, что возможность полная не была осуществлена. Доходят печальные сведения от Тарнополя[1]; но ведь россияне такие дети, что ли, или сумасшедшие, что никто не знает, чего ожидать. Может быть, Бог даст, поднимется другая волна и еще спасется.

Предполагалось, что теперь он будет наступать, и думали, что держать окопы будет некому. Несколько дней тому назад противник открыл огонь, крыл и по нашей батарее. Наши энергично отвечали огнем. Он наступал, но был отбит, и мы видели, как впереди по горе поднялись и пошли на подмогу резервы полка, который раньше отказывался

идти, и в то же время видели, как по хребту перед нами скакали маленькие силуэтики лошадей и люда и переваливали через хребет. Кончилось благополучно. Но, увы, ни в чью, по нонешнему времени и это слава Богу. С боков нас хорошие пехотные части, а артиллерия везде кажется одинаково хорошая. Странно, как зараза поражает роту, полк, часть, а другие целы. Люди колеблются, как колосья в поле, то тем, то другим ветром; те же самые стрелки, утром запрещавшие нам открыть огонь – вечером, видя хорошую стрельбу, говорили: «дураки мы были, что не пошли». Вот на эту неустойчивость и остается опирать надежды.
Бог даст, время приближается, что и увидимся, а куда ехать, в Москву? Ты приедешь? И еще – остричься мне или похвастаться своими сединами, которые все процветают?
Адриан, привезу тебе, Бог даст, головку вражеской шрапнели, которая упала на наши батареи.

Целую. Ив.

[1] *Тарнополь* (Тернополь). – Имеется в виду Тарнопольское отступление русских войск с 6 по 15 июля 1917 г.

Е. № 114

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
11 июля 1917

Какое счастье, что приехал командир!! Я так рада, точно мои именины. Это известие пришло в твоем письме вместе с отвратительной газетой о русском поражении (немецкий прорыв около Галича) и о разных историях с большевиками. Но все-таки тяжелое впечатление от этих газет пропало и осталось праздничное. Хотя мне-то что? Я и не знаю.
Неужели он приехал 24-го, на твои именины? Это подарок судьбы. Привез ли он мое к тебе письмо, или его отослали уже по почте. Мне жаль, если пропадет. Я не помню ясно письма, но у меня осталось представление, что это, несмотря на отсутствие содержания, – может быть, лучшее мое письмо. А может быть, именно потому, что отсутствие содержания (видишь, как я все на твой образец перестраиваю).

Я не поняла, почему ты знаешь, что Юон с Ватагиным[1]? И где они? Ты думаешь тут, около нас? Это возможно, но я не знаю этого. Но идти туда мне страшно – что я буду говорить? А потом они придут к нам – и придется показать свои произведения – и мне почему-то

не хочется показывать мальчика: у нас с Юоном один жанр – и он вдруг воодушевится этим сюжетом... Тогда прощай мои труды. А ведь Ватагин единственный твой конкурент...

По-настоящему – вам надо было бы преподавать в паре, как Серов с Коровиным. Вы дополняли бы друг друга. Он был бы – будни, а ты праздники. Ах, как это было бы хорошо.

Я хочу ехать в Москву искать комнату или квартиру. Мне уже снилось, что мы переезжаем, и я открываю комод, и гляжу, что в ящиках.

Спасибо тебе за выписку из Аристофана, эти 3 письма, которые пришли вчера вместе, доставили мне много удовольствия.

А все-таки жаль, что тебя не производят дальше. «Плох тот солдат, который не собирается быть генералом»... Конечно, не для того, чтобы быть бомбардиром, но все равно кем.

Теперь составляются женские полки... если бы не Адриан, я, конечно (мне кажется), – пошла бы с радостью. Хотя я и трусиха (т.е. боюсь смерти), но это интересно. По своей привычке лезть из кожи, я, вероятно, долезла бы до какого-нибудь поручика.

Как много война двинула вперед. Ну, когда бы, через сколько миллионов лет, женщины добились бы таких возможностей? Те, кто против войны – те против прогресса, и большевикам выгодно держать народ в темноте – отчасти потому они и против войны, я думаю. Только темный народ идет за ними.

Почему Давид Михайлович думает, что ты уйдешь, когда тебе будет 40 лет? Он, значит, смотрит на тебя как на любителя? Положим, в этом нет ничего дурного, но все-таки мне жаль, что он так думает.

Как хорошо, что он вернулся, а то вы были, мне представляется, как цыплята без наседки. Теперь опять у вас будет весело, песни и пр. содружество. Совсем другое дело, в особенности, если опять начнутся военные действия.

[1] *Ватагин* Василий Алексеевич (1884–1969) – художник; скульптор, рисовальщик, иллюстратор; более всего известен как анималист.

---------- ***Е. № 115*** ----------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
13 июля 1917

Милый мой, сейчас я вернулась из Твери. В газетах скверные вести о бегствах наших войск. Нет патриотизма в русских, не доросли еще

до него. Повторяется что-то вроде времен уделов, когда заботились каждый о своем куске и о захвате власти. Даже удивительно, почему при всем этом – русская интеллигенция так благородна и так идет вразрез с terre-à-terre[1] народа.

У вас теперь верно тоже бои – лишь бы не отрезали вас от России. Пока о Румынии хорошие известия, пишут, что румыны хорошо сражаются.

Не знаю, как-то не пишется о наших пустяках, когда у вас, может быть, теперь сражения, или бегство, или еще что. Так мелко кажется все наше. Ну, зашла я в лавку «братства Михаила» купить бумагу – там поп покупал икону, я и придумала купить испорченную какую-нибудь для гравюры. Но у них оказались и доски для икон незаписанные, дали мне две. Я обрадовалась, надеюсь, годятся для гравюры. Сюжета вот нет – вчера мне понравилось было на Чуприяновке – станция опять. Рельсовый путь, тут же какие-то фонари, столбы, семафоры – все это годится, а сзади зеленый пейзаж. Но, пожалуй, рисовать на станции не дадут. Еще думаю, не сделать ли Nature morte, может быть, цветы, корзину, смятую материю (для складок). Не знаю. Странно колебаться между цветами и станцией...

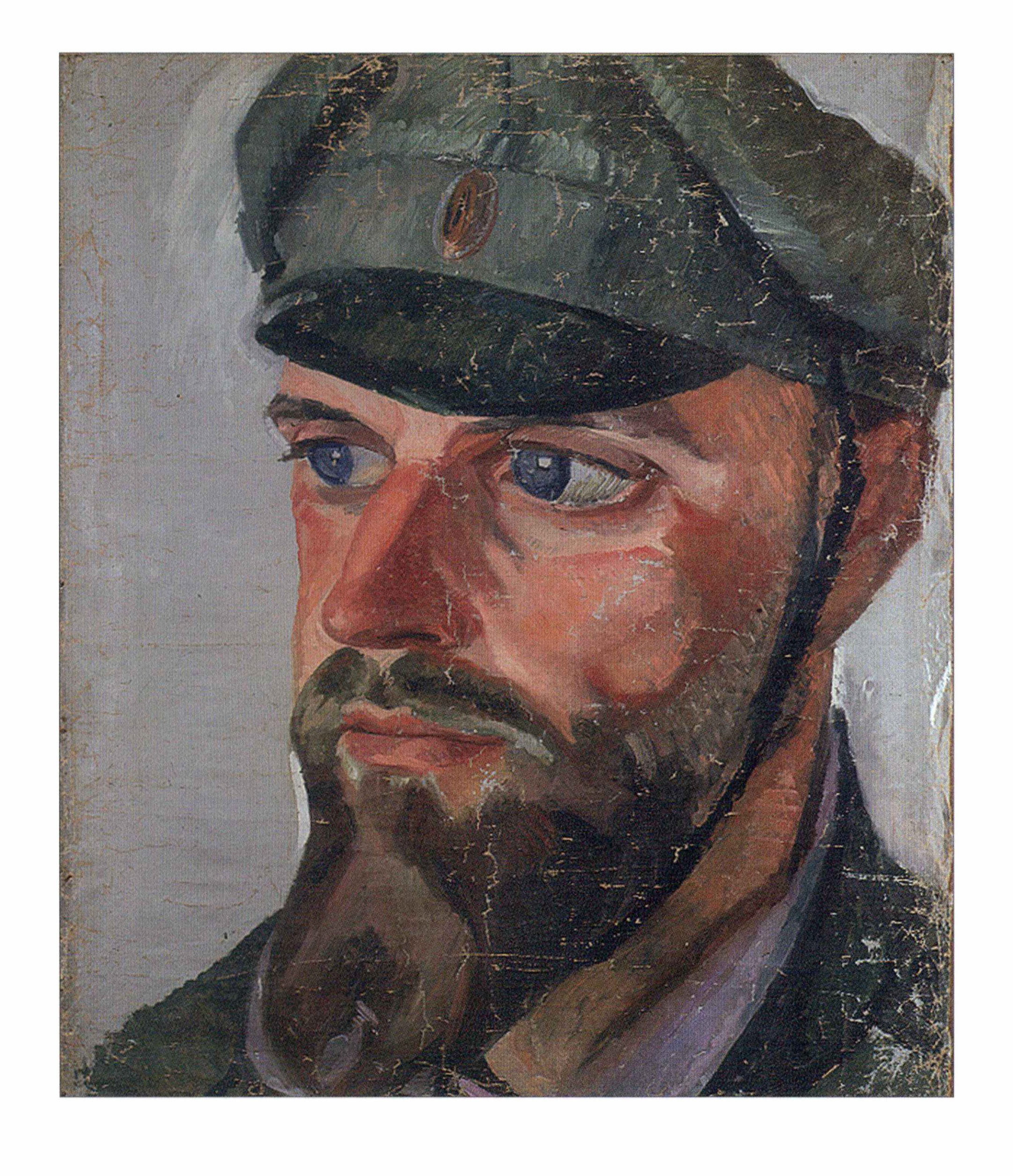
А хорошо бы увидеться... Но мне не хочется, чтобы ты и уезжал оттуда. Не хорошо так часто ездить, да и командир теперь там, жаль уезжать.

Самое лучшее – во сне увидеться. Буду надеяться. Я письма часто получаю, почти каждый раз, что бываем на Чуприяновке. Всего сколько? Два месяца только, как ты уехал. А кажется, что больше. Я заметила, через два месяца начинаешь с интересом рассматривать всех солдат в вагоне и все кажутся такие симпатичные, а уж про офицеров и говорить нечего: прямо какие-то неземные существа.

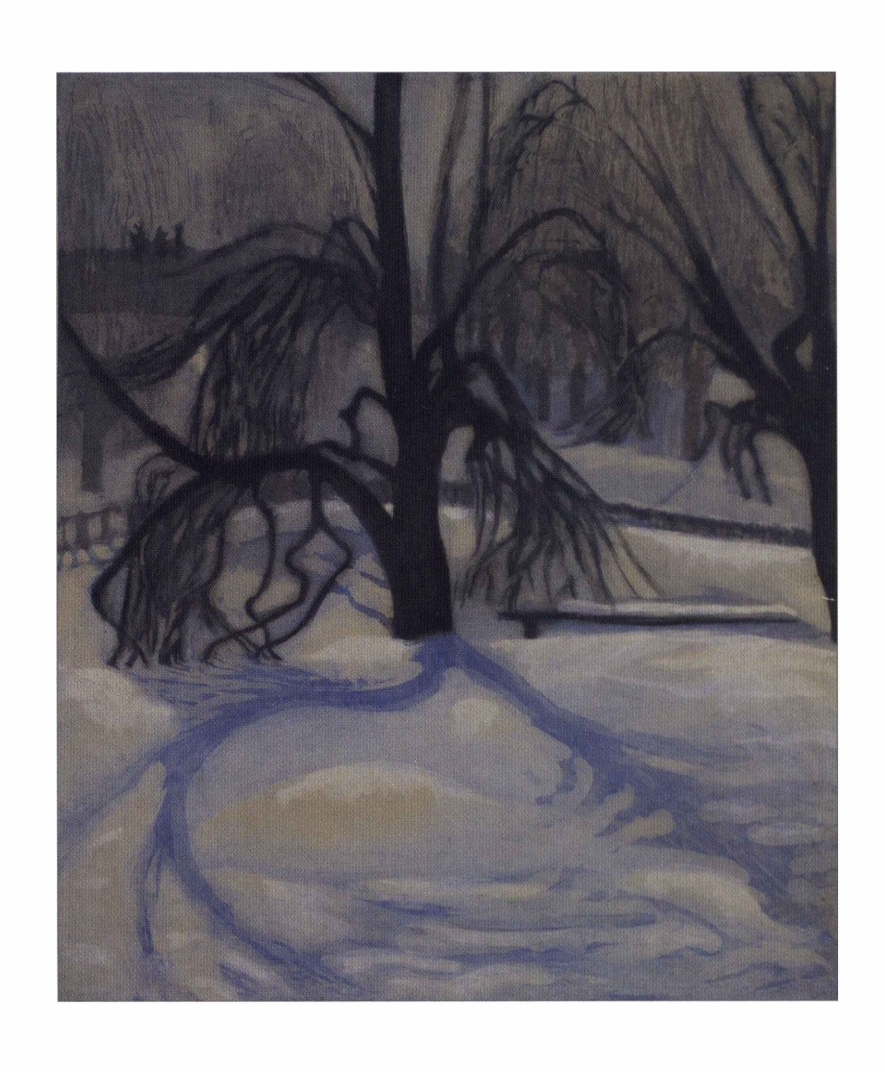
Сегодня на Чуприяновке получилось твое письмо от 23 июня, с карточкой твоей, где ты такой несчастный и старый почему-то, престарый. Почему это так выходит? Три последние твои письма о приезде командира пришли в обратном порядке. Ах, как, как интересно, что у вас будет теперь делаться.

Целую, целую тебя. Мне очень нравятся твои рисунки, хотя я их не видела. Нина

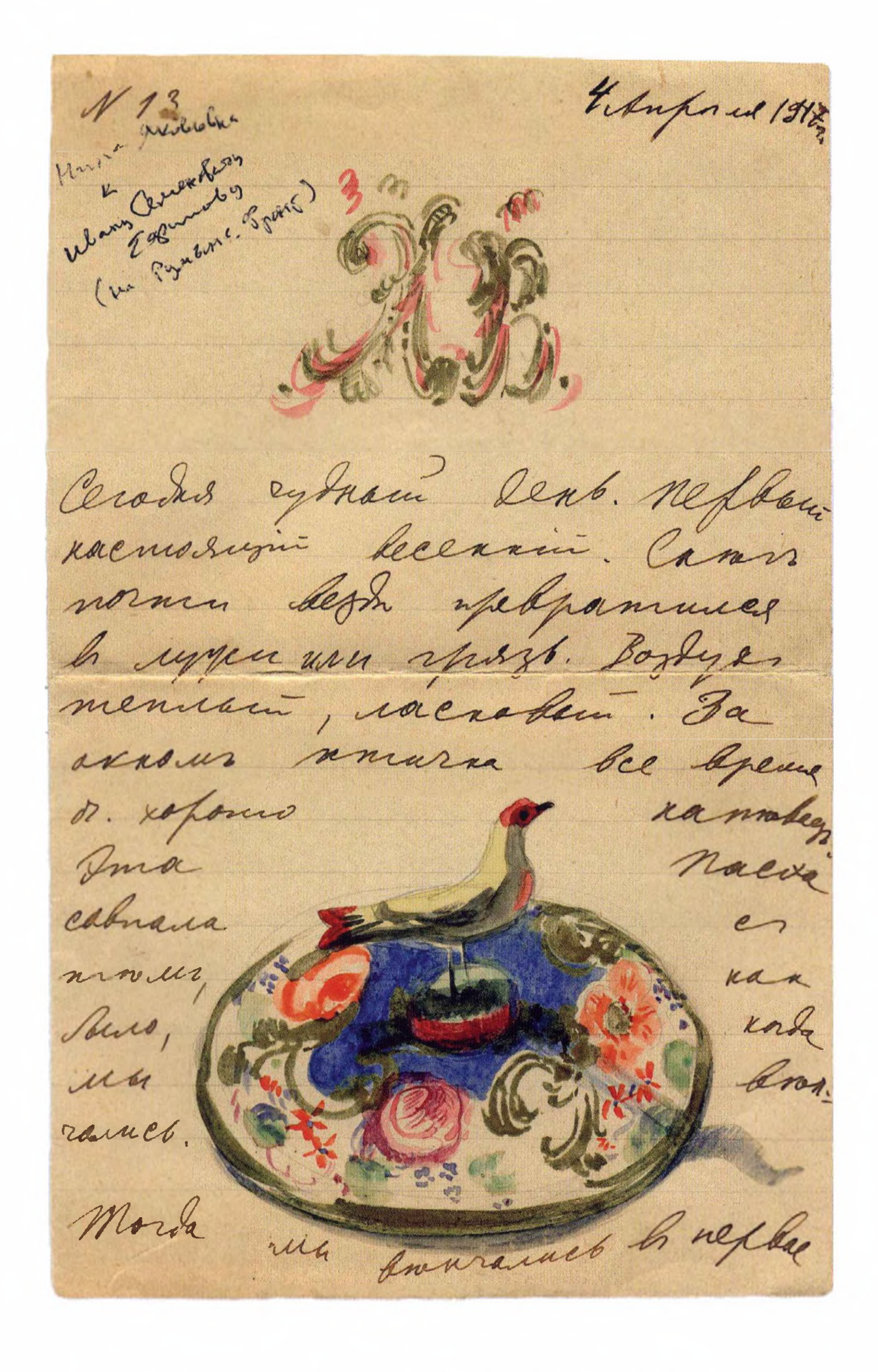
[1] *Terre-à-terre* – приземленность *(франц.)*.



Н.Я. Симонович-Ефимова. Портрет И.С. Ефимова.
Холст, масло. 1917 (Е. № 87)



Н.Я. Симонович-Ефимова. Две липы в Домотканове.
Акватинта. 1911



N 13

4 Апреля 1917 г.

Нина Яковлевна
к
Ивану Семеновичу
Ефимову
(на Румынс. фронт)

Н. Я.

Сегодня чудный день. Первый настоящий весенний. Снегъ почти везде превратился в лужи или грязь. Воздухъ теплый, ласковый. За окномъ птичка все время б. хорошо напевает.

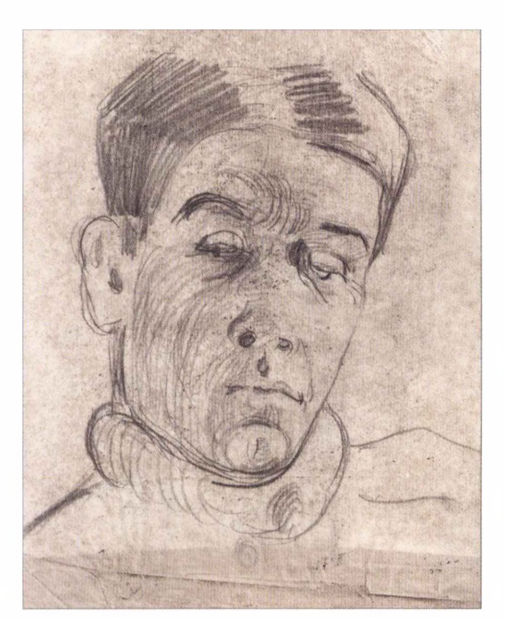
Эта Пасха совпала съ темъ, как было, когда мы венчались.

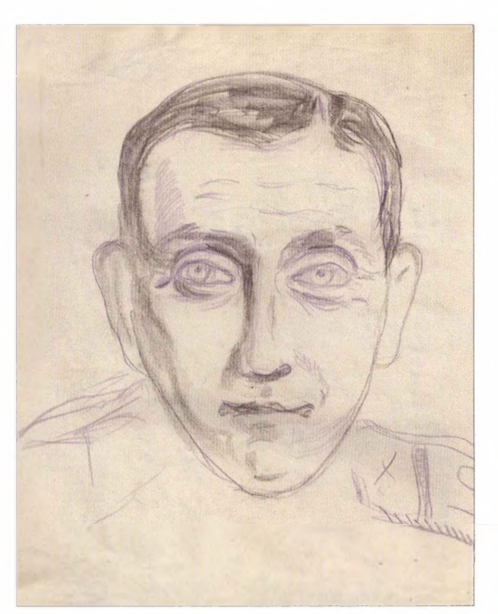
Тогда мы венчались в первые

Письмо Н.Я. Симонович-Ефимовой к И.С. Ефимову. 1917 (Е. № 72)



И.С. Ефимов. Портрет неизвестного.
«Синий альбом». Бум., цв. кар. 1917






Портрет Н.И. Васильева. Офицер с трубкой. Портрет А.И. Алтухова. Шарж.
«Синий альбом». Бум., цв. кар. 1917 (Е. № 48)



Открытка И.С. Ефимова к Н.Я. Симонович-Ефимовой (И.С. Ефимов верхом на Шомполе).
Апрель 1917

И.С. Ефимов. Командир М.М. Сааков. Рисунок из письма к Н.Я. Симонович-Ефимовой. 1917 (Е. № 85).

И.С. Ефимов. Чертеж-панорама (Долина Сланик). 1917 (Е. № 97)



Конверты и письмо И.С. Ефимова к Н.Я. Симонович-Ефимовой (Е. № 96)

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
16 июля 1917

Какое у нас с тобой совпадение мыслей: я тебе нарисовала на конверте на месте марки Домоткановский Дом – и через два дня (сегодня) получила от тебя письмо, с Домоткановским Домом на конверте. Я еще нарисовала голубя и цветы, и решила послать сперва голубя, а Дом у меня в столе еще, так что могу сравнить оба конверта. Потом ты рисовал меня, судя по числу на письме, 19 июня в описанной тобой позе, а в то же время очень возможно, что день в день, и я думала о том же, после чего описала тебе позу с кольцом. Я теперь развиваю свой инстинкт – делая что-нибудь, не заставляю себя думать, а делаю, – что и как делается, куда влечет. В Отрадном так жила, и тут вроде этого. Это, конечно, не всегда можно – сейчас нет забот у меня. То поделаю одно, то другое. Это приятно, и полезно, пожалуй.

В Отрадном никакой нет существенной перемены – просто тележенцы взяли в аренду пар, посеяли рожь... Сад надо сдать отдельно, можно найти арендатора на года. Да и они не будут препятствовать на земле, если мы будем обрабатывать сами, даже и не своими руками, а наемными, это тоже разрешается. Для себя мы тоже можем оставить участок поля, который в этом году я сдала лесному сторожу. Теперь только может быть на митингах говорят ес-еры об отнятии земли, а на своих комиссиях и даже идиот Чернов[1] (он ушел, слава Богу), признали, что надо землю брать за выкуп, так что нам нечего печалиться. Лишь плыть по течению. Я думаю поехать на днях в Москву найти комнату, потом ехать в Отрадное, осенью продать лесу; я получила сегодня письмо сторожа, что комитет еще раз разрешил пилить. Ну, вот и ты к тому времени, может быть, туда приедешь? Это было бы хорошо, там пожить с тобой мне очень улыбается, не знаю, как тебе, кажется тоже, но ты немного боишься теней прошлого?.. Но к черту их, они так скоро не явятся, а зато там дивные пуховики, тихо, свободно. А в Домотканове не у себя, и пленные надоели. Нина

Я хочу перейти в православие, а то неизвестно мое имя, да и если хоронить – неизвестно кого. Тогда я буду Нина настоящая[2]. Подожду тебя. Ты будешь моим крестным?

Письмо залежалось, не знаю, дойдет ли? Митя в 8 Армии[3], которая отступает и на которую вся надежда. Дай вам Бог.

А ты в какой Армии?

[1] *Чернов* Виктор Михайлович (1873–1952) – лидер партии эсеров.

[2] Н. Я. родилась в лютеранской семье: */.../ Он [папа] был еврей; для женитьбы перешел в христианство, приняв рефоматорство. /.../ Родилась в Петербурге, в 1877 г., в клинике Вилье. Пастор окрестил Антонией /.../* – пишет Н. Я. в работе «Девять частей неоконченной жизни» (1927, не опубликовано). С детства же она стала – Нина (от Антонина). Н. Я. предполагала в православии принять имя Нина, уже официально. По воспоминаниям А. И. Ефимова, в 1917 г. в церкви в Большом Левшинском переулке был совершен православный обряд крещения.

[3] Митя Дервиз пошел на фронт метеорологом. Он еще не кончил тогда университета, пошел добровольцем.

------------------------------ ***Е. № 117*** ------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
17–22 июля 1917

Пятнадцатого приехала Лёля на несколько дней. Я в нее прямо влюблена, как когда-то была только влюблена в Катю. Я не понимаю, как ей не делают предложения тысячи мужчин. Если бы и ты и она очень захотели, – я уступила бы ей и тебя – конечно, была бы несчастна, но это несчастье составило бы мне и счастье.

Она сейчас страшно похудела, прямо тень Лёли, но хочет ехать на фронт[1] немедленно.

Но пока что – не я ей делаю услугу, а она мне по обыкновению: она дает мне свою квартиру у Красных ворот. Не напрасно я предчувствовала, что буду иметь квартиру. Я возьму в комнату твоих Львицу и Бизона. Чтобы их видели, а то что за безобразие, что они ездят по чердакам.

Теперь у меня такой план: как только получу известие, что Тольские в Москве – поеду взять от них вещи, а потом с Адрианом поедем в Отрадное – продать лесу, а также взять оттуда чего-нибудь съестного в Москву, а то там есть, оказывается, нечего, может быть, и зимой ничего не будет. Если ты приедешь туда – хорошо, очень, но если не поедешь, а потом уже в Москву когда-нибудь приедешь – тоже хорошо. Адриана я думаю отдать все же к Кирпичниковой[2], там теперь, все говорят, хорошо. Чехова /М. А./ тоже говорит, что хорошо. Там столярничают. Это ему под силу. А в Комиссаржевской[3] пожалуй, не по нем. Верно, учителя там хуже, учиться ему, значит, будет скучно, и самое мастерство, быть может, не пригодится. А ведь мастерству не трудно выучиться с хорошим образованием. Вот только ходить далековато, от Красных ворот на Воздвиженку. Можно туда ездить, а назад пешком.

Прогулка. А ведь в деревне теперь, когда отменена буква ять – пожалуй, учительнице нечему будет учить, и время уйдет зря.

Да, я изобрела одну позу, для тебя хорошую. Дивные складки делаются на моем белом балахоне. Греция. Мне напомнило танцующую Менаду. Я сегодня рисовала в зеркало – но это лучше для скульптуры. И полет в позе. Случайно я ее попробовала – и удивилась – как раньше не видала? Дивно. Участвует стол. Угол стола и одна нога, согнутая в колене – на нем. Вот пришлю, еще порисую. Нина

Не знаю, дойдет ли письмо – вас хотят отрезать немцы, говорят. Если так – до свидания, ничего, все-таки ведь увидимся когда-нибудь... Будь жив и здоров, моя радость.

Нина

19 июля

Я попробовала перевести этот рисунок, но без стола, просто пропустив его. Вышло так много движения – прямо вихрь. И руки иначе, как угодно можно, но лучше вверх. Я пробовала сделать с быком – как будто она перепрыгивает через его бок. Но тогда она останавливается почему-то. Надо к ней мужчину – но натура me manque[4]. Придумай, сделай! У меня лицо было не так направлено на рисунке, и все не нравились его повороты, а вдруг сейчас, когда я хотела срисовать для тебя (в уменьшенном виде), лицо само собой как-то придумалось так – и ладонь его закрыла – почти помимо меня – и вышло преостроумно. Я не знала утром, куда девать руку. А тут – очень кстати, и красиво. Тебе ведь тоже нравится? Позировать было хотя и весело – но трудно, но для тебя буду с удовольствием, если захочешь. Если бы ты видел складки! У меня не выходят. И всегда ложатся одинаково. Сегодня Ильин день, погода чудесная, мы убираем сено вовсю.

20 июля

Завалялись мои письма. Посылаю оба сразу. Сегодня чудная погода, небо голубое кругом и жарко. Хорошая уборка, но сегодня лошади пропали и полдня их все ищут. У нас праздники, Ильин день, везде ходят толпы выпивших мужиков с барышнями, поют и бесчинствуют в саду, рвут яблоки у нас на глазах и никак их не выгонишь. Яблоки еще совсем кислые. Вчера мы убирали, несмотря на Ильин день. Я сперва была в сарае, потом подавала в поле, и сегодня руки дрожат. Но весело это, я люблю, и нисколько не жалею этого времени. Вчера пришла к нам вечером компания выпивших мужиков из Борисова, насчет покосу, потом разговорились, и они высказывали мысли, страшные по своей типич-

ности; они думают, не лучше ли было бы, если бы Вильгельм нас завоевал? «У них все такое хорошее, машины, порядок – вера одна, Бог один – и хорошо бы и царя одного, и было бы очень хорошо». (Идиоты!) Вот, говорят, Владимир Дмитриевич – ведь немец – а разве нам было от него худо? Он и травосеянью учил, и за просвещенье стоял. Можешь себе представить, какие у нас были жаркие споры, и затянулись до одиннадцати часов ночи. Уходя, они убедились, по крайней мере говорили уж то, что мы им внушили, но видно – это не надолго. Они ведь не знают фактов. Польская расправа немцев; в Лотарингии – все для них не существует и пустой звук. Они даже не понимают, что значит подчинение одного народа другому. Хорошо еще, что мы все были солидарны.

А все-таки Николай Борисовича я «повесила бы, аль там зарезала бы». Мужики говорят по необразованности – а он-то что? Это уж подлинный изменник[5]. Или мизерие, которое недостойно существования. Ну, до свиданья. Если удастся в Москве – я постараюсь учиться военному делу – может быть, если ты вернешься – я пойду. Целую тебя, милый мой.

[1] *...ехать на фронт...* – Е. В. Дервиз в мае окончила консерваторию и поступила на курсы сестер милосердия. В августе же уехала в Шепетовку в полевой передвижной военный госпиталь.

[2] *...у Кирпичниковой...* – Имеется в виду гимназия Елизаветы Александровны Кирпичниковой, открытая в 1908 г. одна из самых либеральных школ в Москве с совместным обучением мальчиков и девочек. В этом здании (Знаменка, 12) помещалась Гнесинская школа.

[3] *...в Комиссаржевской...* – Имеется в виду частная мужская гимназия в Петербурге.

[4] *Me manque* – меня подводит (*франц.).*

[5] *См. Е. № 88.*

---------------------------- ***Е. № 118*** ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
16 июля 1917
Приписано рукой Н. Я.: получено 29 июля.

Спустился ниже и очутился на почти отвесной стене, поросшей молодым лесом, и спускался как обезьяна, хватаясь, вися на руках и падая, скользя от одного дерева к другому. Потом «признали мы за благо» ниже не спускаться, а стал карабкаться параллельно по горизонтали, как у нас чертится и которых на картах я не люблю разбирать, оказалось и в натуре немногим лучше. Потом пришла поляна, то есть, вернее, я дополз до поляны с нежной высокой травой – и опять с земля-

никой; я, конечно, стал среди нее услаждаться стоя или, если хочешь, лежа на отвесной стене, уподобясь совершенно Человеку из побасенки Bossuet[1]: были и ягодки, и корешки, за которые человек держался, и пропасть, не было только фауны: мышей и верблюда. Потом продолжал свое замедленное падение дальше и услыхал шум ручья, ну думаю: rez-de-chaussée[2]; кой черт! Вот уж по ним, прямо по ручью, по огромным ступеням, которое вот уж десятиминутие иду, и успокоилась только теперь моя романтическая натура – пописать между слиянием журчащим двух горных ручьев, среди огромных, фунтиками или porte-bouquet-ами[3] сложенных листьев, просвечивающих ярко-зеленой материей, а уровень моего жилья все еще ниже, в большой долине; я все еще выше себя. Эта долина и ручей увели меня черт-те куда вдоль фронта, хорошо что не в немцев.
Сейчас в 22 часа была оживленная перестрелка, хребет горы осиялся зарницами ракет, и очень красиво разрывали воздух раскаты эха выстрелов в горах. Точно первая гроза освежает этот первый ночной бой.
Целую, милая.

[1] *Bossuet* – Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), французский писатель, проповедник и богослов, епископ, близкий к политическим кругам.

[2] *Rez-de-chaussée* – первый (нулевой) этаж (*франц.*).

[3] *porte-bouquet-ами* – вазонами (*искаж. франц.*).

---------------------------------- *Е. № 119* ----------------------------------

И.С. к Н.Я. и Наташе С. *в Домотканово*
18 июля 1917

Ниночка и Наташа! Пишу вам сразу и очень бы хотел сразу с вами говорить об этом; интересно, что вы будете говорить на эту полушутку, но только ½ /полу/:
Et, voilà![1]:
Сейчас пія /пия/ чай в утренней прохладе (и едя по три яйца), заговорил по поводу того, что брат Васильева был комиссар уч/илища/ (куда мы с тобой, Наташа, ходили и где с 3-го класса воспитанники приходят со своею водкой), спрашивал себя и других, где училище, которое дало бы бодрую душу; советовали в железнодорожное, Влад. Андр. и Ник. Ив. – в Ш.Ж.В. и З. [МУЖВЗ], особенно, если я там буду профессором – оно, училище, мол, станет лучше.
А командир говорит: наоборот!
Courage!![2]

«Отдайте его в конюшенные мальчики, пусть будет тренером и наездником, чего бодрее, никто интеллигенты не догадываются, я бы непременно отдал! Дело интересное, и нужно вдохновение, и будут деньги. А попутно пусть получает, конечно, и образование, а спит в конюшне». Не осуществит ли сын мечту матери наездницы? Ведь это наука и искусство.
Я говорю: там нравы плохие, жить на Башиловке[3], – «Ну, зачем на Башиловке, надо как следует узнать по-хорошему; может быть, в Лондон». На Наташу у меня плохая надежда, а ты, Ниночка, улыбнись, обрадуйся, пожалуйста, хоть на неделю, ну хоть на 35 секунд, а Адриана я уже вижу, и он говорит: «Ну уж они там с командиром выдумают глупости!» Да, собака! Ведь ты не знаешь, от какой смелой и интересной линии жизни отказываешься! Ну, пес, да увлекись же ты хоть раз в 10 лет глупостью! У, у! Умный внук!
Я описывал тревожные два вечера, какие мы провели. Перед нами стояла пехота, которая наступать не пожелала даже после такой нашей подготовки, что окопы противника были совершенно взрыты, и там не было ни одного человека, в чем убедились пехотные разведчики, но за ними не пошли. Когда узнали, что теперь, в свою очередь, наступают немцы, легко было ожидать, что наши не удержат, и видны были уже маленькие красивые силуэтики скачущих, убегая через хребет перед нами, лошадей наших (обозных) и людей. Мы на всякий случай связали вещи и даже заамуничили лошадей на передках. После того как мы вели сильный огонь, на нашей батарее стали ложиться неприятельские снаряды. Шрапнельные пули и осколки гранат и камни сыпались кругом и шумели (случайно безвредные) по палатке. В дерево, за которым я сидел, тоже ударил осколок небольшой или камень. Не очень далеко разорвался тяжелый снаряд черным фонтаном высоко в вечернем небе, и слышно было падение осколков и камней, точно топот табуна. На сон грядущий были спокойно жуткие разговоры о том, как в случае надобности вытянуть два орудия, а два другие – заложить перед снарядом кусок земли, длинный шнур и «Господи, благослови!».
Но атака немцев была артиллерийским огнем отбита, и хоть мы и спали крепко, но ложились ½ раздевшись /наполовину/, без уверенности. Теперь опять тихо.
Целую, моя милая.

[1] *Et, voilà!* – так вот (*франц.*).

[2] *Courage!!* – Мужайтесь!! (*франц.*).

[3] *Башиловка* – улица в Москве, возникшая в XIX веке из аллеи Петровского парка. По-видимому, там селились конюхи, наездники и прочий народ, связанный с расположенным неподалеку московским ипподромом.

---------------------------- ***Е. № 120*** ----------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
28 июля 1917

Милый, милый мой. Я уверена, что не дойдет это письмо – у вас, верно, отступление. Мне снился про тебя очень страшный сон – так, ни с того ни с сего, как всегда мои сны. Не буду описывать – может быть, ты хорошо настроен, а этот сон на меня так подействовал, что на другой день сделались с горя всякие неприятности и мрачные мысли.

Я получила письмо от редактора «Клигг» – он хочет посмотреть мои тени и Петрушек, он устраивает театр с хорошими силами художественными[1] и предлагает участие мне. Я на днях поеду и покажу. Один день я порадовалась, а потом ударилась в тоску.

Получила твои письма от 13 и 16 июля, три сразу. Карточки я получила, я писала.

Неужели ты скоро приедешь, какое счастье.

Да, мое предчувствие относительно квартиры сбылось, конечно. Лёля дала мне свою, так что скоро мой адрес будет: Дом Афремова, кв. 151.

На днях поеду в Москву, искать Адриану училище, и покажу Петрушек. Поехала бы хоть сейчас, но мама просит остаться, Григорий ведь ушел в самый разгар работы, и я немного как будто что-то распоряжаюсь за него – а на самом деле только мучаюсь, а толку от этого ни на грош.

В Отрадное, пожалуй, сейчас не поеду, хотя следовало бы, пока Адриан тут с бабушкой. Из Москвы, может быть, не выберешься.

До свидания, милый мой, конечно, все огорчения – вздор по сравнению с нашим счастьем, здоровьем..

Да, ты и Адриан – вот настоящие драгоценности, все остальное – дело наживное.

Газеты угрожают, что не будет топлива, что замерзнем этой зимой. Ну, в крайнем случае, приеду в Домотканово.

До свидания. Нина

[1] Как ясно из дальнейшего, речь идет об открывающемся роскошном художественном кафе Питтореск (café Pittoresque на Кузнецком мосту), которое украшал летом 1917 г. ху-

дожник Г.Б. Якулов. По его заказам здесь работали художники Л.А. Бруни, А.А. Осмеркин, Н.А. Удальцова, В.Е. Татлин. В кафе была устроена эстрада, на которой, в 1918-м, выступали В.В. Маяковский, Д.Д. Бурлюк, В.В. Каменский и др.); *редактор «Клигг»* – антрепренер проекта, Петров (*см. ниже Е. № 122 и далее*). Что за издательство «Клигг» – не установлено.

------------------------------ ***Е. № 121*** ------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
3–4 августа 1917

Милый мой – где вы теперь? Как-то удалось отступление? Пишу в уверенности, что письмо до тебя не дойдет, но на случай, если я ошибаюсь, и ты каким-нибудь чудом его получишь. Я давно не писала, может быть больше недели. От тебя получила после долгого промежутка залп из пяти писем и шестой открытки. Тогда же от Мити было четыре или 5 писем сразу, он отступил тоже от Черновиц, благополучно, ехал 5 суток на крыше, под тенью веток.

Третьего дня вечером вдруг появился Яша (Бяшков)[1], он блестящий офицер, добровольно перевелся из Восточной Сибири на Минский фронт; верит в силу русского оружия, горит ненавистью к немцам и первый вечер рассказывал необыкновенно кровожадные истории, а на другое утро рассказывал о буддизме, и вдруг стал кроток, как овечка, а днем ушел на Чуприяновку.

Мне эти дни каждую ночь подряд все ты снишься. Вчера приснилось, что *Юлия Михайловна* тоже твоя теперешняя жена, вместе со мной. На твоей кровати я вижу висит ее капот – белый, батистовый, с голубыми цветочками и тончайшим воротничком. Я отнеслась к этому очень спокойно, а ты сказал, что она оставляет у нас кроме капота, чтобы не носить каждый раз, еще свою длинную косу, которую она уже давно обрезала и которую ты просил ее надевать, когда она с тобой. Я прошу показать эту косу и сгораю нетерпением, пока ты идешь доставать коробку, но тут проснулась. Так я и не видела ни *Юлии Михайловны*, ни ее косы.

А сегодня снилось, что ты вернулся, и я никак не могу увидеться с тобой наедине, а ты относишься к этому равнодушно и даже избегаешь охотно меня. Плаваешь где-то далеко, а мы купаемся вместе с Лёлей.

Потом я тащу тебя в какую-то комнату, запираю 2 двери, подбегаю к тебе бегом, хватаю и сажаю на пол, и прижимаю к себе твою голову (а она совсем седая, белая, как у *Блинова*). Я сижу между твоими коленями. В это время входит Лёля, и ты отстраняешь меня.

Мне все кажется, что ты на днях появишься здесь в Домотканове.

Я тебе писала, что меня пригласил какой-то антрепренер какого-то нового театра в Москве показать ему мои тени и Петрушки. Я на днях поеду, на несколько дней.

Нина

4 августа

Я собралась было отдать Адриана к Кирпичниковой, навела справки, взяла квартиру у Лёли. Но теперь вдруг напал страх перед Москвой, да и Маня хворает, не сможет жить у нас. Я и подчинилась своему голосу инстинкта, который толкает от Москвы прочь. Еще год Адриан может учиться в Калачеве, он перейдет в средний класс. А я буду опять ездить взад и вперед, как эту зиму. Лёлину квартиру все-таки возьму и две комнаты сдам. Из Домотканова я смогу уезжать, а из Москвы нет. Ну, будь, что будет. Да и к Кирпичниковой не знаю, хорошо ли отдать. Ходить далеко, 4–5 верст от Красных ворот, и я не убеждена вполне в свойствах этой гимназии. На твой план я не улыбнулась, но расхохоталась, и не одобрила даже на 35 секунд. Какой же Адриан конюх или наездник, раз он не любит ездить верхом, и на лошадь его калачом не заманишь? Он человек кабинетный, вроде Мити. Он никогда не участвует ни в каких сельских работах, в конюшню не заглянул за все лето и даже не хотел возить навоз [2], что мы все делали всегда с восхищением целыми днями. Нет, он, конечно, должен получить общее образование, чтобы выбрать самому себе дорогу после. Коммерческое образование ему подходит, возможно, что ему пригодится и бухгалтерия, и коммерческая география.

Но зато у Кирпичниковой латынь – а это тоже ему хорошо. Он больше всего любит и понимает толк в литературе, и тогда латынь необходима. Ты ужаснешься, как это противуположно твоим планам и от того, что ты всегда проповедуешь. Но ведь надо исходить из характера человека. Ну, в конце концов я испугалась брать на себя и оставляю пока еще в Калачевской школе.

Потом решим как-нибудь вместе, или обстоятельства решат. Адриан доволен остаться здесь, больше всего потому, что у наших кроликов родились 5 крольчат, которых мы очень полюбили, и ему не хочется уезжать от них.

У нас тут сейчас жизнь хлопотливая: Григорий взял да и ушел в самую рабочую пору, и теперь я оказалась за него. Австрийцы плохо слушаются, ворчат, грубят, и надо с ними пускаться на разные манеры. Я то в сарае на закладке, черная и потная, с закупоренным сенной трухой носом, то, стиснув зубы, кидаю снопы на воз, где стоит Эмиль[3], с глазами, засоренными кострикой и с кострикой за рубахой, то собираю бобы, то деру за ухо пастуха за плохую пастьбу... Ну, одним словом, ты представляешь

себе. В свободное время я собираю на ржаном поле колосья, вроде Руфи, но Вооз не прельстился бы мной... ноги исцарапаны, как у черта.

Целую тебя. Нина[4].

[1] *Яша* – Яков Владимирович Бяшков (1892–1919); в начале войны уехал вместе с родителями на КВЖД; там же был мобилизован в армию; в августе 1917 г. добровольно перевелся на Минский фронт. Его настроения характеризует открытка от 7 августа к матери, Варваре Яковлевне Бяшковой: *Милая моя мамочка! Вчера приехал в Ельню и ждал отправки меня в ударный батальон. Сегодня еду. Настроение в этих частях хорошее и, значит, будет и мне хорошо; во всяком случае, уйду от гнусной, трусливой говорильни. Твой прапорщик.* С началом Гражданской ушел добровольцем в войска Колчака; участвовал в военных действиях в Сибири, от Омска до Дальнего Востока. Погиб в боях под Спасском и Волочаевском.

[2] *...возить навоз...* – из усадебных хлевов и конюшен на поля. Н. Я. вспоминает из своего детства т. н. «навозницу» – общинное действо в начале июня, когда приезжали крестьяне, парни и девки из окрестных деревень, с запряженными лошадьми, возницами были ребятишки, а конец работ завершался мытьем телег и самих работников в речке, угощением и традиционными играми.

[3] *Эмиль* – один из пленных, огородник.

[4] Явно тогда же Н. Я. написала стихотворение, обращенное к МТХ – как художественному содружеству, вхождение в которое (и в его выставочное жюри) укрепляет в ней «дух творчества»:

С тех пор, как в эту принята семью,
Я больше не боюсь падений
В какие-нибудь жизненные дрязги и волненья,
Как за замком (быть может, за семью)
От безнадежности и мук самопрезренья.

Бывает всякое: несу на голове
Заржавленную меру с огурцами для соленья.
Стараюсь их не растерять в траве
Но также не утратить вдохновенья.

Или в сенном сарае на закладке
В пыли, в поту, и нос забит трухой,
Но почерневшею рукой
Подторкиваю юбку в складки,
И мысль уж занята художественной чепухой.

Когда коров и пастуха искать бегу
И даже за ухо сего последнего деру –
Я все же голову могу держать высоко,
Так низко в прозу впав.
В кармане у меня лежит «Устав»,
И мысль несется к праздничному сроку,
Когда дам пищу рецензентскому перу.

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
9 августа 1917

Дорогой мой – я редко так пишу – все считаю, что ты почему-то скоро появишься, хотя убеждена, что это невозможно.

По газетам следим и по карте, ждем твоих писем, как никогда раньше. Вчера получили, что вы, слава Богу, ушли. От 20 числа письмо. На другой день отхода, кажется. Намекни где-нибудь хоть буквой – какой город проходите. Мы догадаемся. Мы боялись, что вы не успеете уйти. 27-го на ваших высотах уже были немцы. Как раз, когда я видела свой отвратительный сон. Интересно, где ты был в эту ночь.

Мне снилось, что[1] *[...] я узнала, что Иван Семенович вернулся и находится на квартире командира. Иду туда, веселая, ожидая, что сейчас он выбежит мне навстречу. Подхожу к широкой двери, как ворота. Она завешена темной занавесью бархатной. Я смотрю в щель – большая передняя, напротив стол, на котором расставлены безделушки, какие-то крупные, что-то вроде шлема на подушке. Мои двери как-то закрыты странно, закрыт черный барьер до колен, а выше открыто. В комнате желтоватые сумерки.*

[...]

Я стою, прислонившись коленями к барьеру в раме темных занавесов, и кто-то пошел за Иваном Семеновичем, который должен выйти из двери справа. Вот я слышу его шаги по коридору. Вдруг он входит в сопровождении каких-то двух, не помню. Он в черном сюртуке. Но идет ко мне спокойно и хотя протянул ко мне руки, но смотрит как-то в сторону. И подходит ко мне. Я бросаюсь к нему, он опускается у барьера на пол, я нагибаюсь, прижимаю его голову и спрашиваю: «Отчего же ты не глядишь на меня, я думала, ты прибежишь, и издали твои глаза будут сиять». Он поднял ко мне бледное лицо и говорит: «Ведь я ничего не вижу. Я ослеп на оба глаза от газов».

Я схватила его лицо и заглянула в глаза: действительно, не видит, глаза тусклые, хотя и синие; но маленькие какие-то, не его.

Такая тоска сразу на меня обрушилась, я замерла и слышала, как ужас вцепился сперва в мой мозг, и мозг съежился, как крошечный кролик, под кучкой седых волос, и потом спускался все ниже, по всему телу. Мне показалось, что я сразу съежилась, задеревенела навсегда, как сухой гриб, и начала плакать. Горько, сперва тихо, потом кричала в тоске, как баба. Потом и Иван Семенович стал плакать, а я прижалась к нему и почувствовала какое-то облегчение при мысли, что он пострадал за общее

дело. Я сказала шепотом: «Как хорошо». – «Что хорошо? Ты чувствуешь радость?» Я сказала: «Я сама не знаю, что я чувствую». И думала, что слишком несправедливо и слишком жестоко страдать так художнику.

Накануне я получила приглашение от редактора «Клигга» в его театр, так что была весела и не думала ни о чем печальном. Не знаю, как явился ко мне этот ужасный сон.

А потом все-таки я его забыла, и эти дни даже весело. Я опять принялась за мой этюд. (Я себя пишу, т. е. складки своего платья, нога на столе.) Складки чудные, но ничего не выходит.

Вчера я тоже ни с того ни с сего сочинила тебе стихи. То есть я почувствовала, что сочиню какие-нибудь стихи, это как какое-то желание, но в теле или скорее в душе. Не было ни темы определенной, ни слов. Я села за свой комод, взяла бумагу и карандаш, и написалось в честь тебя.

Вот:

Темная сила Бизона! Блестящий фаянс Ягненка!
Дивны, как аромат свежей муки
Выходят из-под его гибкой руки,
Тяжелой и могучей, как у Львенка,
Обворожительно-неожиданные позы,
Свежие, точно их обеспечалили грозы.
Формы масс,
Когда увидишь в первый раз –
Заставляют каждого вскрикнуть – «Ах!» –
И улыбка у всех на губах,
И глаза загораются от неведомого чувства.
В доме светлеет и веселится Искусство!

Хорошо? Ведь похоже?!

Милый мой, как жалко, что тот поток, где ты все купался – достался немцам. Я прочла, что ты с ним прощался.

Как интересно все-таки тебе теперь идти – если только не страшно? И трудно как ночью – спать хочется. А мы-то спим да спим на своих кроватях, и в луну, и без луны. Где-то вы теперь? Так как я не знаю, где ты, то мне все кажется, что ты на Чуприяновке и скоро придешь на Домоткановский балкон. До свиданья.

Укладываю Петрушек в корзиночку, пошлю сейчас с оказией на Чуприяновку, а сама иду завтра пешком на станцию, еду в Москву на 3–4 дня брать Лелину квартиру и показываться Петрову (издателю-антрепренеру).

Нина

[1] Выпущен пересказ сна, который приведен здесь по более полному варианту, записанному Н. Я. 28 июля для памяти, на отдельном листе.

Е. № 123

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
4 августа 1917

Ниночка, мы стоим в резерве. Недавно в количестве 23 человек затопотали по лугу, потом по шоссе на разведку – Инспектор артиллерии приказал выбрать позиции для нашего дивизиона и для других выбрать наблюдательные пункты, вообще исследовать около 15 верст фронта и выбрать запасную линию фронта. И отвели на это один день. Мы, что можно было, сделали, исходили по горам верст 30. Места необыкновенно красивые, опять горы, и довольно высокие и красивые очень, с темными еловыми лесами и полянками ярко-зелеными, привлекательными, как на шоколаде. Приятно опять попасть для войны в горы. Мы и командир очень жалели, расставаясь с горами. Ехали мы до места разведки верст 40. Когда туда ехали, шел дождь, мы промокли и было зябко. Приехали, пошли похищать сено. В горах видели, Влад. Андр. первый увидал, дикую козу, стоящую по брюхо в траве, неподвижно обратив к нам голову с ушами, потом сделала скачок. На обратном пути в парке чьем-то или государственном видели целое стадо таких коз. Приехали вечером. Поздно еще смотрели кинематограф, который возят по фронту англичане.
Целую, милая моя. Прости, почта разладилась было и не часто писал, теперь наладится.
Ив.

Е. № 124

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
5 августа 1917

После перерыва, из-за переезда, получил два от тебя письма, Ниночка; одно из Домотканова (а с голубем еще не получал), другое с рисунком вихревым, хороший. Не знаю, как он для скульптуры, со всех точек и без стола. Когда ты думаешь жить в Отрадном? Не телеграмму ли тебе прислать сюда мне. Хотя, что же плохого, если бы я приехал и в то время, как ты там будешь, мне тоже соблазнительным кажется с тобой там побыть.

Теперь мы в резерве. Я думаю, если поеду, не раньше, пожалуй, как к концу августа. Наш корпус теперь входит в состав той же армии, в которой Митя и на которую, как ты говоришь, вся надежда. Вряд ли нас немец отрежет, тем более, что мы теперь приблизились к Вам. Ну каков моряк у Кон /*неразб.*/ Лучше артиллериста? Сегодня у нас собираются делать праздник – обед с питанием. Пойти все-таки, пожалуй, хоть и 20 руб. с морды, тем более что сегодня будет готов мой френч. В этом походе нам что-то по части пития не повезло: только раз достали хорошего вина, но командир с восточной своей повадкой отдал на батарею, и вышло еще недоразумение. Ну, черт их! Сейчас сильный теплый ветер, а то дождь, и я перекочевываю из халупы наружу на ночь и обратно. Хотя наружно устроился я у самых лошадей и слишком остро ими пахнет. Отцом твоим крестным мне быть никак не придется, ибо родство это духовное считается в православии непреодолимым препятствием к браку и, следовательно, обратно. Так что ты смотри не урони попа в обморок этим проектом.

Целую тебя, милая.

Ив.

Командир просит привезти ему материи и коричневой и серой, если не затруднительно. Аршин по 18. На френч идет около 12, на штаны – 6.

Вот.

До свидания

---------------------------- *Е. № 125* ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
6 августа 1917

Сейчас получил твое письмо, где радуешься, что приехал командир; а вчера у нас был обед и я пил за его здоровье от твоего имени, после чего целовались. Это было не дома, а в дивизионе, где не все симпатичны, так что он посылал уже за револьвером, опьяненный, после того как отказался мириться с одним хитрым офицером и сказал, что откажется, даже если будет висеть над пропастью и тот протянет ему руку. Но очень скоро многие легли костьми, его приятель, молчаливый и милый командир второй батареи, гладил его, лежащего над столом, по круглой спине и затылку и говорил мне: «Ох, слаб Ваш командир», но и сам тут же свалился. Мы отнесли их на диваны. А потом в 3 часа ночи, чтобы предотвратить их пробуждение в ненавистном ему дивизионе среди «чужих», я сказал запрячь экипаж, разбудил

его верного соразбойника Афона, и их доставили домой. Когда все были в самом шумном градусе и еще не полегли, привезли одну сестру милосердия, на которой сейчас же осел целый рой. И я потом рядом с ней пристроился, раньше я как-то при конкуренции отходил, а теперь во мне развились социальные инстинкты.
Относительно того, что командир сказал как-то, что я в сорок лет уйду, ты не огорчайся, я, впрочем, спрошу его, как он смотрит, а просто тогда думали и так и поступали, что 40-летние уходили с фронта. Не ехал он сюда, по-видимому, просто так как застрял, и ему делали, он рассказывал, очень заманчивые предложения, и он несколько дней колебался, и наконец его все-таки потянуло сюда.
Посылаю тебе нас с Шомполом. Оба почти голые.

Е. № 126

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
8 августа 1917

Ниночка, сегодня будет в Москву оказия и, конечно, как всегда, тут-то и не знаешь, что писать. Повторю, что писал – вся наша часть стоит сейчас в резерве в северной Румынии около местечка Фельтичени: на верху Румынии слева есть приступочка, так вот на этой приступочке мы и сидим. Верстах в 40 от нас горы еще красивее прежних. Туда мы ездили на разведку. Живем в благости и изобилии. Едим гусей, поросят, индейку, картошку, перец, кукурузу на угольях печем, но почему-то на позиции веселее было, кажется, и всем. Про меня говорят: «Ну, Иван Семенович заскучал, надо ему в отпуск ехать», и командир говорит: «Это немножко верно», но никакого подобия мучительной тоски, а просто главное чувство – это только беспорядка и грязи бренных моих всех многочисленных вещей прозаических – это, в общем-то, немного. Это пустяки. Мирное ленивое житие, пока нет резона, пожалуй, ехать из отдыха на отдых. Я сейчас ленивой головой своей не могу почувствовать, куда я больше хотел к тебе приехать, в Москву или в Отрадное. Конечно, кажется очень соблазнительным пожить в Отрадном. Но ведь это, когда не положен предел времени помимо своей воли. Мне так кажется, что к концу августа я поеду. Старший офицер, которого теперь очередь, зовет с собой ехать, и приближение свидания я, конечно, постоянно чувствую, и это очень хорошо. Одним словом, живу хорошо, письма твои еще получил, и с голубем и еще.

Милая моя
Да, между прочим, все фотографии, кроме самой последней, где я голый с Шомполом, сняты до того моего приезда, и я со щенятами и с пушкой, и я старый, так что это я только на несколько дней так состарился.
Невдалеке у Адриана и Наташи именины – пусть друг друга поздравят от меня.

Е. *№ 127*

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
9 августа 1917

Вчера я написал тебе, Ниночка моя, что немножко заскучнел было и не по своей, а по наблюдательности товарищей, они раньше, чем я, заметили, да это и было далеко не настоящее, а просто не победил безделье. И как раз вчера же пришлось ехать на разведку верст за 70. Вчера мы прошли верст 30. Командир показал мне по карте, куда ехать, и мы отправились еще с тремя разведчиками и лошадью в попоне, для офицера, который выедет сегодня, найдет нас, переменит лошадь, и мы на отдохнувших лошадях поедем дальше. Чтобы он нас легче нашел и чтобы не дежурить на дороге, ожидая его, я поставил дежурить свой рисунок – на стене хаты нарисовал большую лошадь под артиллерийским седлом, привязанную цепью к притолоке окна, и написал номер своей части.
Сейчас сижу полуголый среди густого молодого, просвечивающего в утреннем солнце пырея, вижу привязанных на длинных поводах Шомпола и вороно-чалую с седым клоком в начале хвоста и лысиной Челябу, бывшую лошадь Влад. Андр. Поели уже картошки с салом и свежепросоленным огурцом. Сейчас будем чай пить.
Спал на балкончике, на перилах которого висели надо мною 3 седла и пахли, а мое под головой, из кобуры которого, проснувшись при звездах и увидев во сне удушливые газы, пожевал черного хлеба, после чего во рту было кисло. Ну, перенеслась ко мне спать на балкончик? И сидеть среди зеленого пырея. Вот только забыл мой французский роман, который ездит то у меня за голенищем, то в кобуре и весь пропитался дегтем, почитал на вражеском языке и готическим шрифтом, ибо мы переехали границу и теперь в Буковине. Сейчас прогромыхали на грузовом автомобиле по офицеру от всех наших батарей. Они проперли мимо моего коня нарисованного, потому

что этот плакат не был рассчитан на их скорость. Они взяли автомобиль у стоящей рядом с нами легкой мортирной батареи, которая двигается на автомобилях. Они забрали часть разведчиков и поедут пылить дальше, а я, конечно, предпочел остаться с одним из разведчиков (Шомпол по траве катается), вести 5 лошадей и выбрать ночлег. А пока с тобой здесь у ручейка полежим давай. Между прочим, у нас теперь родилась еще батарея, нас теперь четыре в дивизионе. Раньше она работала с австрийскими пленными гаубицами. Теперь все пленные снаряды расстреляла, и ей дали такие, как у нас, и присоединили к нашему дивизиону. [...]

В 14 часов 10 августа находит гроза, дождь сквозь солнце. Хорошо по непыльной дороге, иногда под дождичком, проехали верст 15, Шомпола, оседланного, вел в поводу, потому что он хорошо слушается, а я ехал на офицерской. Теперь сижу на бревнушке в последождевом вечере. Радуга. Вернулись из разведки. Перед моими глазами широкая долина с далекими горами кругом, а я на холме, на котором деревня и усадьба с кочнами капусты, посаженными на цветнике кольцами. Заходит Солнце, по долине ходят маленькие лошади и скоты, речка блестит, как в описаниях бывает, первая четверть луны, которую, верно, и вы сейчас смотрите; по шоссе быстро бежит в версте автомобиль и за ним верст на шесть, сколько видно, пыль.

Вчера, когда ехали домой, сделали один из привалов на цветущем клевере. Хорошо было смотреть, как лошади на нем бродят. Почему-то ни на одной фотографии не вышел взгляд Шомпола. У него очень живой, явно веселый, темный глаз. Почему про лошадь всегда говорят глаз в единственном числе, должно быть потому, что виден всегда только один.

Много вчера проехали, верст 40 должно быть, остановились вечером в буржуазном домике: там очень хорошо играл молодой человек на кимбалах вроде, /инструмент/ большой, почти как рояль по объему, а на весу еле держит на коленках, подставив стул и ударяя палочками обмотанными. Происхождение звука совсем как бы рояли, а звук звенящий совершенно другого характера и, извиняюсь перед Аполлоном, который, впрочем, очень вероятно, согласится со мной – лучше. Там, так уже совершенно, что и не чувствуешь, как звук родился, и мне почти всегда мешает жесткий стук, и как-то он далек от природы. Но он играл все русские вещи, хотя я и уговаривал национальные – говорит, не знает. Сыграл «венгерку». Хорошо было, «Стенька Разин». Он очень роскошно обращается со своими многочисленными струнами. Другой брат 13-ти лет высвистывал то же на флейте.

Утром пили чай, и оказалась полечка молодая почти интересная, нет даже и не почти, а меньше. А накануне мы только слышали через дверь ее голос и соблазнились, и наши певцы (был Севка «Чу-Чуприяновка», который теперь офицером в 1-й батарее, и еще один) надрывались, пели и получали из-за двери одобрение незнакомки. Попили чай, подали нам 9 лошадей и мы сели, двинулись, построились по 3 и исчезли из ее серых глаз, опять-таки как по-писаному.

Е. № 128

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
Август 1917

По крутющему склону проведен желоб для спуска леса, а теперь приладились спускать раненых.
Я все жду отправить письмо с оказией, поэтому залеживаются.
Лёжа в постели на балконе, получил твое письмо. В Отрадное, по-моему, правильно не ехать. Девочку подходящую, пожалуйста, сделай. Хотел бы изо всех сил оплодотворить тебя на нее, даже если бы ты и раздумала делать – силой. Это необходимо, и никто, как ты. Чтобы была к моей побывке! (Я не стану в позу картины Касаткина[1].) А теперь сижу под лаской солнца у порога реки и тебя рисую. Прости, похоже выходит. Я теперь в этой пене порога купаюсь. Хорошо в нем, стихийно. Чуть не сносит, камни большие, за которые держишься, некоторые пошатываются и двигаются, легкие в воде. А на водяную массу, стремящуюся на тебя, смотришь – она выше глаз. (Живот весь на солнце вспотел.) Хорошо! Все зло и болезни и чертей из тела этими лучами повыгоняю. А теперь на тот желобок ручейка, который приладил и радовался – смотреть противно, точно корова сс-т. Пахнет мокрыми камнями, разожженным телом, вода шумит, морю родня.
Я надевал сегодня румынский костюм – штаны белого сукна, длинные в обтяжку, рубаха белая, пояс толще подпруг парижских тяжеловозов, зуавка коричневая домотканого сукна с гарусом, шляпа Меркурия. Хотел сняться с лопатой на фоне избы, окруженный овцами. Влад. Андр. отговорил, правда – не мой, не выходит костюм[2].

[1] *Касаткин* Николай Алексеевич (1859–1930) – живописец, член Товарищества передвижников; впоследствии один из пионеров социалистического реализма. И. С. намекает на известную тогда картину Касаткина «Кто?».

[2] *И. С. любил участвовать в карнавалах и шарадах, был очень выразителен в роли Ивана Грозного [...] с пятнами крови на лице (прикрепленные лепестки красного пиона) [...] Или*

в роли статуи Перуна, которую язычники, принявшие христианство, волокут, опутанную цепями, к пруду, чтобы утопить своего бога. Шараду ставили у прудика (в Домотканове) и Ефимов едва не утонул (цепи были настоящие, тяжелые)... [И.Е. 1977. С. 253].

---------------------------- ***Е.** № 129* ----------------------------

Н.Я. к И.С. *из Москвы*
13 августа 1917

Милый, пишу из Москвы, приехала показать тени Петрову и заплатить за квартиру. Когда ехала, думала только о квартире, а тут вдруг как всегда, когда приезжаешь в город – опьянела и весело, не знаю даже почему. У театра только (Большого) очень страшный вид – там Совещание правительства, и жутко. Часовые, патрули, толпа – кажется, должно тут произойти шествие.

Вчера побежала к Сер/овым/ – (трамвай отменен по случаю Совещания) – а там Валентина[1]. Часа 4 поговорили (!). Оттуда – осенило меня на лестнице поговорить по телефону с Павлиновым. И вдруг действительно, голос Павла Яковлевича – да такой радостный – «Нина Яковлевна, идите сию минуту сюда, и тут оставайтесь». Я скорее бегом – вообразила, что у него какое-то счастливое событие, а с полдороги пришло в голову – не ты ли там сидишь. Бежала, как Герда. Пришла – никого, он один! Я говорю: «У Вас такой был радостный голос в телефоне, что я думала, что-то случилось хорошее». – «У меня, – говорит, – горло болело, и такой голос».

Потом мы дивно проговорили часов, верно, 5 подряд. В самом деле – ни я, ни он со мной так не говорил. О всяких предметах, и о воспитании, и о живописи, и о войне – прямо из сердца. Я даже не понимаю, почему такое. Так ты обыкновенно разговариваешь. А тут вдруг я, такая амёба, и с кем? С другой амёбой.

Ну, ладно. Оттуда пошла к Чеховым и поговорила с Петровым по телефону. Оказывается, он должен придти на другой день обязательно уже смотреть (т.е. это уже сегодня...)

И вот я тут вспомнила, что забыла кучу вещей необходимых – веничек и пр. и что не на что вешать кальку. Я тотчас опять по телефону сперва – к Павлинову – говорю – мало, что я у вас сидела 5 часов – сейчас опять приду. Он опять рад! Только, говорит, мне сейчас надо уходить – бегите скорее. Я бегу, пришла, вытираю пот с лица, а у него уже готов экран в передней, и сам в морской (новой форме) блестящей фуражке. Ему идти в Почтамт – значит по дороге. Еще пошли в садик, нарезали садовыми ножницами веник для Петрушек. Еще сунул

мне 3 чудные стамески для деревянной гравюры... Это уже верх внимания (я говорила, что хочу делать гравюру).

Торжественно беру все свои ругательные слова и остаюсь ему преданная до гроба – Н. Ефимова.

Ну вот, уже было 10 часов вечера. Темь в Москве, хоть глаз выколи (или сломай ногу). Шли мимо Театра – там уже Совещание кончилось – но толпа стояла. Жутко. Удержится ли Керенский? Мария Александровна Чехова в Совещании....

Ну, вот, а теперь 7 часов утра. Хорошее солнышко светит в грязную мою квартиру. Сейчас примусь за уборку, за устройство экрана для Теней, для Петрушек.

Мне снился Балиев, что-то будет вечером... (Придет Петров.)

Да, милый мой – ты не думай, что я свинья, но вот что: Павлинов сказал, что художники Союза, Мира Искусства и Товарищества[2] освобождены от войны и что ты сможешь вернуться в скором времени (хлопотал тут кто-то у Керенского и получил разрешение). Но, ради Бога, не соблазняйся. Да ты и без меня, я знаю, не соблазнишься. По-моему – это нельзя. И на что менять, во-первых? Еще если бы Училище – но, говорят, это невозможно. Павлинов встретил Ивана Ивановича[3] и тот не одобрил этого твоего (или моего?) плана. А так жить тут – привилегированным художником с обязанностью еще творить – ТЬФУ!

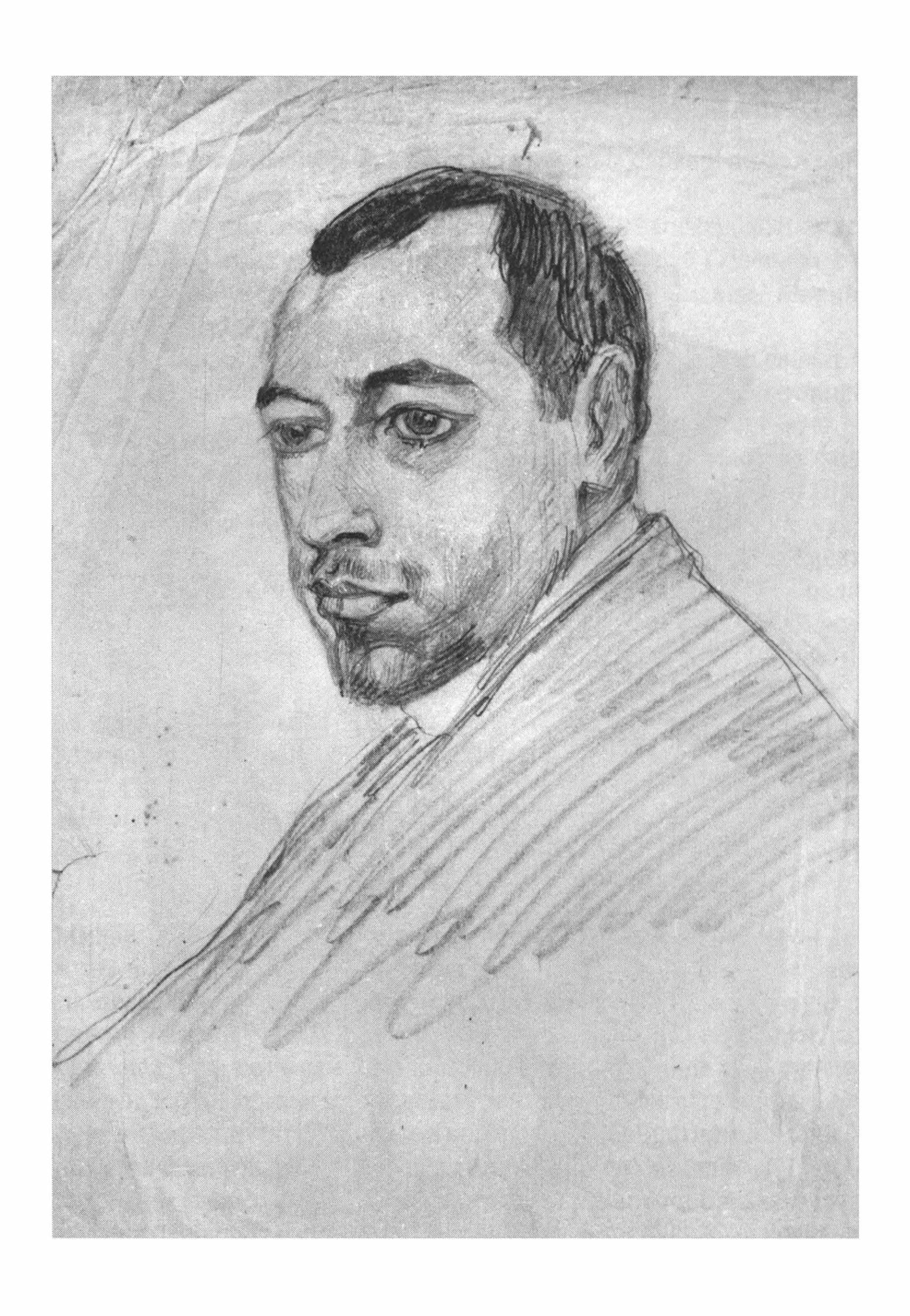
По виду, конечно, это соблазнительно, но нельзя, нельзя. Не думай, что я свинья. Я день и ночь мечтаю о твоем возвращении – но такое возвращение было бы не счастие. Прости.

Нина

Милый! Сейчас ушел Петров – ничего, все было хорошо, и он доволен, и мы поговорили толком. Жаль, тебя не было – это момент, который ты любишь во всяком деле – самое начало, а дальше уже муки воплощения в жизнь – а еще дальше – «надует или не надует» – этот, кажется, тоже надует – хотя сам заговорил о плате, и вообще практический господин. Хочет привести послезавтра того господина, который субсидирует это предприятие. Главное внимание мы обратили на тени, конечно, хотя кое-что и из Петрушек годится, по его мнению. (Но, конечно, не с моим голосом.) Он, знаешь, кто? Тот животнообразный господин, которого мы встречали на выставках и у Коненкова[4]. С круглыми, тяжелыми глазами. Он очень привержен, кажется, к пикантным сюжетам (в отличие от Балиева), так что тебе, я думаю, будет о чем с ним потолковать! С ним была прехорошенькая барышня, «секретарь» его. Я показала Париж, Товарищество, Мышей.



Н.Я. Симонович-Ефимова. Эскизы силуэтов к постановке «Развеска картин в Товариществе».
1916(?)



Н.Я. Симонович-Ефимова. Портрет П.Я. Павлинова. 1912

С 7 утра я начала убирать квартиру, в которой полный разгром. Я все-таки убрала, так что стало приятно в комнатах. Открыла все двери и устроила экран, задрапировала чем пришлось, но не плохо. А для Петрушек использовала ширмы. Хлопотала до 2-х часов, а после стала репетировать, до пяти, в шесть они пришли.

Ну, не буду особенно мечтать, чтобы не вышло повторения Летучей Мыши.

Знаешь, я у Павла Яковлевича видела вчера две очень хорошие вещи, он сделал. Я от него не ожидала подобного: деревянная гравюра – лежит на драпировке ребенок, и сзади на него смотрят в ужасе 4 фигуры. Все различные. Вещь за-ме-ча-тель-ная. Это ужас. Но воплощено красиво. У меня сперло в горле, и я думаю, может сделаться со слабым человеком дурно, а уж плакать – так и очень просто. Ребенок сделан замечательно, очень красиво и нежно. Это, конечно, Митя[5].

А другая – станция. Тоже великолепно. Но он как-то, оказывается, не знал, что это так хорошо, и когда я уходила, он сказал, что я его очень поддержала, и слезы были у него в глазах.

Вчерашний день был очень счастливый. Мне, когда выпадает на долю такой день – немного совестно, но в то же время мне так бесконечно весело на душе, что я только наслаждаюсь каждой минутой, и все мне нравится: музыка доносится из открытых окон, запах духов от прохожих, снующие прохожие. И чему я рада? Чем я счастлива? Ничего особенного, просто приедешь в Москву, и чувствуешь себя именинницей.

Я с таким радостным чувством жду выставки, точно должно случиться что-то особенное. И твоего возвращения, свидания с тобою! И вообще всей этой зимы, хотя она и страшная! Но все же я ее жду както с весельем. Нина.

[1] *Валентина* – Валентина Семеновна Серова.

[2] Художественные объединения – Союз русских художников, «Мир искусства» и МТХ.

[3] *Иван Иванович* – Трояновский (*см. ком. к письму Е. № 90*).

[4] *Коненков* Сергей Тимофеевич (1874–1971) – скульптор; состоял в объединении «Мир искусства» и Союзе русских художников.

[5] *Митя* – двухлетний сын П.Я. Павлинова.

Н. Я. к И. С. *из Москвы*
18 августа 1917

Милый! Что у вас? Тебя не будет раздражать моя неуместная болтовня? Каждый день, что я тут в Москве – несет много, много; всего и не перечтешь. Петров взял у меня окончательно мою постановку басни Крылова «Мыши» – (это Петрушки мышиные) – но дешево – всего 100 р. и «Simone»[1] сторговался за 150 р. Это дешево, но они у меня хотят брать много, полчаса хоть я могу представлять подряд. Это знаешь где? На Кузнецком мосту!!! не плохо?

Потом я встретила на Лубянской площади на извозчике едущего такого Епископа, такого, такого, что я остановилась и впилась в него глазами, а он в меня. Красивый – черный, и как икона, и величественный и живой. И меня осенило: дура я, и все идиоты художники!! Ведь в Москве церковный Собор!!! Я моментально полетела к какому-то священнику в каком-то переулке, того нет дома – к дьякону. Дьякон воодушевился послать к самому-то распорядителю – про-то-пре-свитер Любимов[2] (его и речь в газете). Не принял, а толстопузая Матушка в кухне препиралась, наконец, разрешила прийти через неделю. (Собор будет несколько месяцев.) Но я не пожелала ждать, а сообщила Павлинову, а он, мигом, к телефону, и мигом все устроил. Сегодня я в 9 ч 30 минут утра сидела в дивной прихожей из желтой яшмы и белого мрамора, в Palazzo Солдатенкова[3] (Мясницкая 33), а через несколько времени, осмотрев его галерею, поехала с Кузьмой Васильевичем Солдатенковым[4] на красивой гнедой лошади, с толстым кучером, в коляске на Собор. Он там член от «мирян». Начну писать через неделю, у них еще выборы и нельзя никак. Но попы, попы... 4 митрополита, 1 000 000 000 архи и епископов, и монахов...

Я так счастлива!! Знаешь, я хочу начать с того, что перейду в православие. Я уж давно хочу, а это самое время. Серьезно.

Потом что? Алексей Толстой хочет моих Петрушек и тени глядеть. Скоро придет опять осень, и опять начинается с какого-то многозвучного аккорда, сильного и веселого! Я ношусь по Москве, как будто у меня черт в подошвах, на трамваи и не гляжу, они ползают. Михаил Иванович[5] мне отольет мышей из papier mache; Павел Яковлевич прислал глины; доктор Белобородов[6] (помнишь) даст выпилить мои силуэты у себя в Лазарете и повезет меня туда на казенной лошади, 7 верст это от Москвы, санаторий. С ним поеду.





Н.Я. Симонович-Ефимова. Постановка «Мыши». 1917

Н.Я. Симонович-Ефимова. Иллюстрации к французской песенке «Симона». 1911. (ГМИИ)

Вчера поругалась на Московском Товариществе. Делали доклад об этом освобождении художников. Это такая мерзкая история, что нельзя слушать, мерзость на мерзости, произвол прямо распутинский. Из наших освободились почему-то Эрзя[7] и Кравченко[8], и исчезли. Я была в единственном числе, которая стояла на патриотической точке зрения и требовала прекратить это ходатайство и оставить привилегии на «чудо-дезертирство» (тут такая пьеса весенней выставки). Но на меня обиделись, и если бы не спас Павлинов – кончилось бы потасовкой – Павлинов серьезным тоном сказал: «Го-го-господа, Нина Яковлевна вот почему против освобождения художников: она боится, что вернется Иван Семенович», и засмеялся. Все расхохотались, я тоже, конечно – и все кончилось. Поедут, дьяволы, хлопотать об освобождении. Конечно, Домогацкий[9] и Захаров[10].

Конечно, в сущности, хорошо, что ты вернешься, но как-то все же не важно… (А я рада, рада в глубине души.)

Еще что? Да, сегодня прислали мне поденщицу убрать квартиру, и мы с ней – чистим, чистим Авгиевы конюшни.

Еще что? Да, была на даче у Шапшала и видела катающегося как сыр в масле у них Павла Давыдовича. Скучновато было, и Бог наказал меня – подумай, в этот день, оказывается, было начало Собора, и все попы шли на Красную площадь, черные, белые (митрополиты) и несли хоругви. А я не видала… Я не знала, Русские Ведомости не сочли нужным предупредить. Бесконечно досадно и глупо.

Да! Да! Иду по Мясницкой – на извозчике едет Михаил Осипович Цетлин, с отцом. Я закричала! Боже мой! Но за трамваем не слышно было, и они проехали. А я спешила домой к приходу поденщицы. Непременно пойду к ним.

Еще я знаю тему для силуэта: пленные немцы пьют чай с русскими барышнями (в России). Все это в Домотканове буду делать. Когда я успею? Я тут таки застряла. Да, Валентина тут была и уехала в Судосево[11].

Я прочла статью Эттингера[12] об моих силуэтах – здорово! Ничего, право, написано, «правдиво», хотя и расхвалил. И снимки не плохие.

Да, я была у Петрова – у него много собрано картин и, между прочим, рисунки Врубеля по твоей специальности[13]. Уже которые он делал сумасшедшим, красиво очень, очень. Я думаю, не украл ли Петров их – он, видно, свинья, этот Петров.

Нина

[1] «*Simone*» – «Симона» (*франц.*). Имеются в виду силуэты для теневого театра к постановке на сюжет известной бретонской песни из репертуара Иветт Гильбер (вариант – в собрании семьи).

[2] *Протопресвитер Любимов* Николай Александрович (1858–1924) – настоятель Большого Успенского собора Кремля; Товарищ Председателя Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг.

[3] *Palazzo Солдатенкова* – галерея Козьмы Терентьевича Солдатенкова (1818–1901) – московского купца-старообрядца – коллекционера, предпринимателя, мецената, благотворителя, издателя, библиофила и пр.

[4] *Солдатёнков* Козьма Васильевич – внучатый племянник и наследник К. Т. Солдатенкова, старший флаг-офицер Морского штаба Верховного Главнокомандующего; вероятно, учился вместе с П. Я. Павлиновым в Морском кадетском корпусе.

[5] *Михаил Иванович* Агафьин – формовщик в МУЖВЗ.

[6] *Доктор Белобородов* – вероятно, Л. Я. Белобородов; в 1922 г. В. А. Фаворский сделал для него гравированный экслибрис.

[7] *Эрзя* (Нефедов) Степан Дмитриевич (1876–1959) – скульптор.

[8] *Кравченко* Алексей Ильич (1889–1940) – художник, гравер.

[9] *Домогацкий* Владимир Николаевич (1867–1939) – скульптор, организовал скульптурный отдел в Третьяковской галерее, был членом ученого совета и правления галереи.

[10] *Захаров* Федор Иванович – художник, член МТХ.

[11] *Судосево* – село в Симбирской губернии. В 1891–1892 гг. во время голода в Поволжье Валентина Семеновна Серова поехала в самую отдаленную глухую часть Симбирской губернии открывать столовые для голодающих крестьян на собранные общественные средства. Впоследствии организовала и обучила там деревенский многоголосый хор из деревенской молодежи и подростков, создала деревенскую театральную труппу.

[12] *См. ком. Е. № 99.*

[13] *...по твоей специальности...* – Н. Я. имеет в виду эротическую тему.

---------------------------- ***Е.*** *№ 131* ----------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
19 августа 1917

Милая моя, мы опять стали двигаться, из резерва к позиции, опять несколько дней не было случая послать письмо. На позицию мы еще не стали; ее оборудуют, а батарея стоит в деревне, где потом останется наш резерв.

Я сегодня дежурю в управлении дивизиона. Вот и хорошо, благодаря этому могу письмо послать – командир дивизиона поедет в корпус и возьмет.

Я в этих местах давно уже был; мы ездили сюда выбирать позицию. Здесь горы не высокие, только еще начинается волнение, еще не раскачалось до высоких волн. Поля овса небольшими лоскутами. Стою в кукурузном огороде – все выбирал, где писать, пошел в одну сторо-

ну – музыканты учатся, играют каждый свое, ничего не сообразишь под такие звуки.
Демократизация у нас продолжается: отпустили повара-денщика в отпуск, и командир поручил Сашке Алтухову и брату Ник. Иван. Васильева готовить. И я им помогаю, дрова напилить или разобрать забор, картошку мыть (приятное занятие) в желобе с чистой проточной водой. Чистил кастрюлю, командир удивился, увидев меня за этим делом, и говорил: «Вот бы Ниночка увидела!» Я говорю, что ты бы порадовалась. Первые дни, когда их запрягли, я помучивался, что не принимаю участия, но потом стал немного делать, и ладно. Недавно командир спрашивает: «Что-то Ефимов загрустил, может, хотите домой? Я Вам устрою». Я поблагодарил, говорю, что когда придет мое время. От похода жалко уезжать, а вот станем, установимся, тогда, пожалуй что, Бог даст, и можно будет. А что заскучал, так это ничего подобного, не то, что бывало «в миру», здесь нет того мучительного беспокойства и тревоги, а только скучновато, даже не то, я писал, чувство. Беспорядка в одежде и вещах тут немного, и можно бы одолеть, а вот тебе-то там, в домоткановском беспорядке, нехорошо?
Пехота с нами будет стоять хорошая. До приближающегося свидания.

Целую и прислоняю тебя к себе, милая моя.

Иван

Приписка:

Скажи Адриану, я видел ваших кроликов во сне, и тебя видел, только не ясно осталось.

---------------------------------- *Е. № 132* ----------------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
22 августа 1917

Милый мой! Ваня! Радость моя! Какая чудесная твоя карточка! (С Шомполом, в каске, голый.) И красиво, и похоже, и такой это ты, и такая дивная карточка. Кто это снял?

Я вчера вечером пришла из Москвы (т. е. с Чуприяновки) – тут куча твоих писем. Слава Богу! А то про Румынию пишут какие-то ужасы, и все представлялось, т. е., именно, <u>не</u> представлялось. Я старалась не думать о плохом. Даже когда Сережа Орлов[1] стал рассказывать, что он читал, что в Румынии забрали 40-й тяжелый артиллерийский полк в плен – я ничуть не испугалась и сказала – нет, это не может быть!

Я не чувствую, чтобы это было. Мы с ним поспорили – я говорю, что если будет тебе свобода вернуться совсем вследствие указа Сов. К. и собачьих депутатов о роспуске художников – что ты не вернешься. Он уверяет, что вернешься. Варвара Семеновна со мной была заодно, а он с Колей[2] (Коля – бравый офицер, красивый и изящный). Я говорю: «Ну, хорошо! Мы держим пари, но, пожалуйста, не на плитку шоколада, а так: если я проиграю, это значит, что Иван Семенович вернется – тогда я пойду! а если вы проиграете – то после всего, что вы тут проповедовали (против войны), то вы не имеете права жить после войны в России, тогда вы уедете в Германию». Так и порешили. Он очень рад.

А на заседании Товарищества, где обсуждали этот вопрос, я одна была против, и меня чуть не побили за оскорбления. Да, я писала тебе. Мне интересно было знать мнение Маруси. Оказалось – она со мной согласна, но выходит так, что все же Владимира Андреевича надо освободить – одного! «Он, – она говорит, – такой талантливый, и давно не имеет возможности писать». Я с ней согласна. Ты тоже почти единственный, которого стоит освободить по таланту – но все же, все же не надо, не надо. Уж очень это сейчас скверно выходит. И какая каша заварилась из-за этого! Все хотят освободиться и подчищают в списке имена, заменяя своими (людишки, мураши). Я говорила так: «Художник, больше чем кто другой – зависит от своего народа и от своей природы. Все впечатления его связаны со своей страной. Неужели теперь, когда надо поддержать Россию – художники перекладывают на чужие плечи помощь? Именно я исхожу из того, что мы художники, и русские художники». А они кричат: «Как! Гибнет культура, гибнут таланты!» А освободили именно мразь. Это длинный список бездарностей. СССобачьи дети.

В Москве вдруг звонок, отворяю – Наташа + Николай Яковлевич – возвращаются с Кавказа. Все были рады необычайно, Наташа осталась, и мы с ней вчера вместе вернулись по Николаевской ж. дор. Она имеет лицо загорелое, вроде апельсина, и очень довольна.

Тут в Домотканове показалось печально. Печальные истории разные, так что и в мое радужное сердце закралось что-то. А в Москве была весела и радостна, как в раю. Хотя сидела на воде и заплесневелом хлебе, оставшемся от Лели. Я купила там себе вдруг неожиданно готовое платье, миленькое, «как прелесть», серенькое, легкое, с большим воротником. И так как не спала и не ела, то отощала, и все мне говорят, что я помолодела – и зеркало тоже.

Время, 10 дней, пролетело как на веселом балу, и я много успела сделать. Мышь сделала – снесла отлить. Большая довольно голова, но меньше человеческой – надеюсь, не слишком велика.

Квартиру убрала, и чисто, и дух в ней изменился, стало по-нашенски. Приезжай, конечно, в Москву! Черт с ним, с Отрадным. Теперь у нас своя квартира, и так в ней весело – электричество, газ, и чисто-чисто. Нет завалей мусору по углам, ни лишних вещей – я залезла по столу, табурету и двери наверх, на прислугину конуру, и туда все сволокла, все лишнее. Тольская не переезжает, так что этот вопрос отпал. Но Бизона я возьму к себе; извозчик теперь не меньше 15 р., не знаю цены, так я принесу как-нибудь, вот увидишь, придумаю, я чувствую. Или на санках Адриашиных.

Да, я видела Михаила Осиповича /Цетлина/ – да, я писала. Но у них не была, надо уж с тобой.

Писала это утром, проснувшись рано; я в Москве отвыкла спать и есть. А теперь 12 ч., я уже успела выморить ½ миллиарда клопов, у мамы в постели. Какой ужас развелся в ее комнате.

Вот еще моя специальность, забыла я ее тогда поместить на твой лист в именины[3].

Этот Петров, верно, жулик, каких мало, страшно торгуется. Но у них Алексей Толстой, и, кроме того, это на Кузнецком. Эти два довода меня покорили, и я согласилась на плату 100 р. за пару мышей, и 150 за 16 фигур Simone. У меня такое чувство, точно я попала в воровской притон. Но наплевать, забавно, чем кончится. Алексей Толстой не успел побывать, я уехала. Все равно, успеется. Сейчас я и так полна, как желудок «буржуя» в довоенное время. Того и гляди лопну от переполнения. Столько сейчас набрала работы!.. А еще клопов извести.

До свидания. Целую, целую тебя милый.

Нина

[1] *Сережа Орлов* – Сергей Иванович (1894–1936) – племянник И. С., сын его сестры.

[2] *Коля* – Николай Иванович Орлов (1896 –1968) – также племянник И. С.; воевал в империалистическую войну добровольцем; был фельдшером и наводчиком на артиллерийской батарее. В 30-е годы был репрессирован, сослан в район Воркуты; всю Отечественную войну был на фронте, участвовал во взятии Берлина, был контужен; после войны жил в Александрове, затем в Москве.

[3] *...твой лист в именины...* – Имеется в виду рисунок Н. Я., подаренный мужу в 1913 г. и представляющий группу из двенадцати дам, женщин, барышень – каждая из которых является изображением Н. Я. (автопортретом), но олицетворяет разные ее функции: художница Нина Симонович-Ефимова, репетиторша детей Нина Яковлевна, горничная Ниночка, кондитерша мадам Нинон, ходатай по делам Н. Симонович, кучер Нин, портниха Нина Яковлевна, кухарка Нина, жена Н. Ефимова, любовница Ни и пр. Все похожи на автора и все различного характера (собрание семьи).

E. № 133

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
25 августа 1917

Милая, у меня в руке два цветка, которые ты любишь, кажется, эти называются бархатцы, оранжевые до коричневости, Тициан бы насытился. Я вчера получил, после перерыва из-за движения нашего, от тебя письма, где сон страшный описываешь, зачем же это он на тебя такой наслался; когда читаю его, чувствую твою любовь.
Я половину письма на сегодня себе оставил, только чуть подглядел. Ходил вчера в передовые окопы. Среди холмов прорыты, по полям, иногда в стене /окопа/ – картошка, кое-где, редко понатыканы цветки и калина, и там их личность очень ярко звучит. Когда туда идти, по пути подряд нанизаны две радости. Падающая аршин с 5, почти сбивающая с ног вода на мельнице, которую я, приходя купаться, прошу пустить всю на свободу, заперев колесо. А недалеко церковь 400-летняя, все стены которой до самой драничной крыши исписаны фресками, которые меня с каждым разом все больше чаруют, одна часть стены разбита на квадраты, другая занята адом. Фон темный bleu céleste[1], на восточном пузе только он и остался, а фигуры – белые силуэты, надо будет фотографию снять.
Вчера Ник. Ив. рассказал, как на Волыни еще, во время одного ночного напряженного боя, сигнал к бою подавался всем батареям лучами прожекторов: сначала один встанет прямо – «внимание!», потом два луча накрест сойдутся, и начинается канонада.
Ну, сейчас буду письмо твое, милая ты моя, допивать.
Спасибо за стихи, милая моя ты Ниночка, они отомкнули источники моих глаз.

До свидания,
Ив.

[1] *Bleu céleste* – небесно-синий *(франц.)*.

E. № 134

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
27 августа 1917

Милая моя, сижу перед вечером около расписной церкви. Хорошо бы ходить вокруг нее и рассматривать вместе с тобой. Я достал у попова сына фотографию ее, только плохую, надо будет самим попробовать

снять, может, лучше получится. Шел сюда, не купался; ну и сильно же бьет вода на мельнице, аршин с четырех; сразу стоит в воздухе ведер 200, в 5 сорокаведерных бочек, пожалуй, не упрячешь: на спину так здорово давит, точно сели человека три, и, когда присядешь, подниматься трудно, а иногда не ловко повернешься как-нибудь – отшибает, и если бы, предположим, что ей удалось бы человека уронить и, главное, испугать, то, пожалуй, и захлестало бы совсем.
Передо мной церковь в тени, но звучно освещенная, двор травяной, и, взрослый, но не старый (моего возраста), каштан, просвеченный низким Солнцем. Эту ночь я дежурил на наблюдательном пункте, который в противоположность прежним, еле достигаемым, совсем рядом, на другом конце деревни.
Ночью в 24 часа стал смотреть, как саперы, 20 человек, роют и укрепляют нам наблюдательный пункт, и в это время вдруг глухо, но часто в тумане лунном зарокотали выстрелы и разрывы в окопах. Продолжалось ¾ часа, кончилось благополучно, отбили.
В кукурузе растут вот такие волосы, когда свежие, красноватые, похожи очень на твои (теперь, когда они до тебя доехали, они, пожалуй, сухие стали, они были гораздо красивее). Они всегда меня волнуют.
Верно, недели через 2, пожалуй, и отпущусь. Пока неудобно ехать, потому что комитет обещал сначала переотпускать всех, кто еще не ездил. А через две недели можно будет.
[...] Получил твое веселое из Москвы письмо. Рад очень, что «познакомилась» с Павлиновым. Хороший ведь, и мне будет удобнее его любить обеими своими половинами, а то одна иногда щетинилась, и молчит он неплохо, право, зато с ним можно и нужно быть прямым.
«Хоть глаз выколи» – мне представляется, так говорится «за ненадобностью» – все равно, мол, темнее не будет.
На мне теперь рытье картошки – приятное занятие, копнешь – и успех, и решительно не важна его абсолютная значительность.
А важно, чтоб он был велик по отношению к затрате сил. Определенный успех так драгоценен, что я испытываю высокие чувства, давя вшей (редкое только это удовлетворение), и радуюсь пропорциональной величине затраты сил.
Сегодня мне вспомнилось выражение «бой кипит», когда поднялась непрерывная ружейная стрельба по аэроплану; мягкие, лопающиеся переливами звуки похожи на кипение. Ночью мы вставали и слушали, и смотрели бой. Вчера, когда шел из передовых окопов, куда ходили выбирать наблюдательный пункт, по шоссе недалеко от меня поднялось несколько черных фонтанов разрывов. Но здесь

хорошо, не так, как там, где раньше были – там каменистая почва и камни летящие, пожалуй, вдвое усиливали эффект. А здесь летит черная земля. Это я все пишу, по-видимому, чтобы похвастаться, что у нас все-таки война. Когда прочел вчера нашим, что ты пишешь об освобождении художников, один офицер говорит: «Напишите, что мы восхищены». Верно, что и здешнее спокойствие на тревогу жалко менять, если слушаться своего желания, а не идеи. Это письмо я, оказывается, писал в день именин Адриана и Наталии, поздравляю их.

31 августа

Еще от тебя, из Москвы, и потому веселое письмо. Но как жаль, что ты, верно, считаешь нужным торопиться в Домотканово, а если начнешь «попа» или «попов», то необходимо ведь не прерывать же на половине. Утешительно разве только то, что ты говоришь, что когда время ограничено, то энергичнее работаешь, но только позволяй себе быть в Москве без мучения и окажется, что можно. А Петров пусть только имя твое прославляет, настаивай на том. Дай Бог тебе успеха в делах рук Ваших.
Вчера первый день запахло осенью. Хорошее время. Если половину сентября тут пробуду, это тоже ничего. Ожидание тоже хорошая вещь. Очень давно что-то не ездил верхом. Сейчас поеду в резерв, накопились какие-то маленькие дела. Забыл об верховой езде. Погода самая верховая, ясная осень.

До свидания, Бог даст, недалекого.

Ив.

/*Рисунок*/ Это окопы начерчены, наши и противника.

---------------------------------- ***Е.*** *№ 135* ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
1 сентября 1917

Милая моя Ниночка, есть оказия и, как всегда, тут-то голова и пустая. О событиях не стоит говорить. Они уже отойдут в историю, пока письмо до тебя доберется. К нам вернулся наш офицер после 5 месяцев отсутствия, он был слегка отравлен газами. Может быть, нам придется менять позицию, был приказ перейти в новую группу. Но м/ожет/ б/ыть/ и здесь останемся, лучше бы не перебираться – здесь хорошо. Лучше оставаться и потому, что ведь много работы – оборудовать артиллерийскую позицию, сколько вырыто убежищ.

Сейчас командир пришел, говорит, останемся на этой позиции. Ну и хорошо – и водопада и мельницы, значит, не лишимся.

Ну до свидания.

Ив.

--------------------------- *Е. № 136* ---------------------------

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
4 сентября 1917

Милый, милый Мой! Я редко, кажется, пишу – все думаю, что ты уже едешь. Пошлю тебе, нет, другой раз, оттиск гравюры[1], которую я сделала. Выберу на всякий случай похуже. У меня 7 хороших и 7 похуже. Один я отпечатала нарочно на газете, и этот, пожалуй, самый красивый, весь пересечен правильными строками шрифта. Я его повесила себе на стену.

Я думаю через неделю ехать в Москву, пробуду там, вероятно, 2 недели. Во всяком случае, каждое 15 число я должна быть там, так как это срок платить за квартиру. Так и знай. Мы тут с Марусей собрались было бежать в Отрадное, думая, что немцы скоро придут сюда. Но они больше не подвигаются, и мы забыли об них. Вероятно, бежать вообще не стоит, но Маруся боится за Никиту, а мне нельзя остаться оттого, что тогда мы с тобой до конца войны не увидались бы, а когда конец? Черт знает, может быть через год. Так что если немцы приблизятся до Бологого, например, то мы с Адрианом поедем, или пойдем, или в телеге поедем в Отрадное (или в санях).

Картины свои я беру в Москву теперь же – и рамы закажу (заблаговременно), и там целее, вероятно. Хотя там теперь грабежи и погромы, но я рассчитываю на свою счастливую судьбу. Плохо, что большевики подняли голову.

Я получила опять предложение от заказчика купить лес. Я ему ответила, что если он может мне гарантировать, что деньги получу я, а не волостной комитет (как это случается), то я тогда начну переговоры о цене. Во всяком случае, я думаю, надо продавать не весь участок, а не больше 10 десятин, считая с Варвары Семеновниными, так что десятин 5 наших.

Тех денег, что я наторговала в Отрадном – до январских процентов я думаю хватит – 1000 рублей. (Но что теперь тысяча? Прямо ничто.) Но после, на следующий год, опять надо какие-нибудь подспорья к бумагам, и это было бы самое лучшее.

Что-то я тебе все не то пишу, что хотела. Мне видится по письмам, что ты что-то печальный, и я хотела тебе не писать разной дряни. А вышло, что написала. Но это, впрочем, мне-то самой не кажется дрянью и ничуть меня не беспокоит. Я гораздо больше думаю о гравюре, о твоем приезде, о новых темах для живописи и гравюры.

Теперь, ты заметил, письма идут быстрее, я получила от 24 августа, всего по неделе, и из цензуры приходят тоже скоро. Спасибо им.

5 сентября

Я хотела писать благодарность в Цензурный Комитет, что так скоро и аккуратно присылают то, что просматривают. В самом деле – письмо шло всего неделю, и вложен был твой рисунок, с домиком. Что им мешало бросить все под стол?

Вот, значит не все у нас в России плохо. И почта хорошая – все твои письма доходят, и недавно даже пришло и то, которое ты послал дубликатом еще давно, с дороги, с рисунком лошади в шарабане и с тобой, спящим в шарабане. Настоящее пришло месяц тому назад, а это, переведенное, теперь. Ты писал, что послал его иным каким-то манером. Но вот, значит дошло-таки, не потерялось. Почему-то на твоих конвертах почти всегда стоит карандашом серым или синим, или красным цифра 2. И на Наташином. Если соберешься сюда совсем, т. е. если тебя отпустят, то привози все свое, тут теперь ничего не купишь. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Кажется от того, что увидала в саду работника в куртке вроде твоей и вспомнила твою куртку colonial.

Нина

[1] Имеется в виду работа «Аня Чехова», цв. гравюра на дереве. 22x26,5 (ГМИИ; упомянутый оттиск на газете – в собрании семьи).

Е. № 137

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
6 сентября 1917

Что же это я до сих пор не догадался послать тебе письмо на 4-й этаж[1].
Тут-то и хочется письму попасться к тебе в руки, когда ты веселая.
Здравствуй, милая ты моя, крепко тебя сжимаю и целую и раздавливаю тяжестью. Если это письмо попадет и не скоро к тебе, ничего, потому что теперь вряд ли будут большие перемены, уже к зимней войне поворачивается.

Мы тут собирались сделать наступление, и рядом с нами одна часть наступала, и удачно. А теперь перешли к оборонительной войне, по-видимому. У нас тут все /же/ можно услыхать слова веры в хороший конец (все наши офицеры, по крайней мере, спокойно верят).
До свидания, милая. Потому, что это письмо встретит тебя по приезде в Москву, мне как-то особенно показалось, что эти условные знаки действительно переносят часть меня к тебе, и точно ты стала рядом со мной. А ведь правда, мы как-то не очень разлучены? Потому что почти постоянно чувствуем трепет друг друговой души. До свидания, милая, прижимаю к себе твою драгоценную голову.

[1] Имеется в виду дервизовская квартира у Красных ворот (*см. Е. № 117*).

Е. *№ 138*

Н. Я. к И. С. из Домотканова
8 сентября 1917

На меня напало беспокойство – все кажется, надо ехать скорее в Москву, боюсь, что Петров меня изругает, или вообще просто меня ругает за то, что я не еду. У меня в голове странный винегрет из разных постановок, бобов, томатов, картин. Несколько тысяч томатов срезала я в огороде и развесила по окнам (на веревках, ветками целыми), на балке под потолком в столовой, на веревке через всю столовую, в зале, в своей комнате – разложила по всем подоконникам. Теперь они поспевают. Урожай в этом году огромный всего, но надо все убирать, и все беспокойство. Я уж не говорю о трудах... Когда есть – страшно, что украдут или реквизируют, а нет – тоже страшно, что нечего будет есть. Мы с Валерианом Дмитриевичем в поисках, и напрасных, за черной мукой. Нигде не купить. Я-то думала взять в Москву, но это не необходимо. А Валериану Дмитриевичу необходимо. Не знаю, как сделать. В Домотканове есть, но брать (т. е. даже купить у него /Вл. Дм. Дервиза/) – совестно, самим не хватит.

Мы насушили с Марусей пропасть бобов, яблок, всякой всячины. Но вот хлеба, хлеба не достать (черного).

Еще бобов много надо убрать. Я стараюсь тут пока отработать, что могу, а потом я ведь уеду в Москву – про все забуду, а Мама с Марусей все отдуваются... (Я и плачу́, конечно, и работаю, иначе свинство было бы с моей стороны, ведь деньги не нужны никому.) А вот Петя[1] и не платит, и не работает. Т. е. для себя-то, кажется, работает,

т. е. получает много за статистику, но для Домотканова – палец о палец не ударит. Приедет, пообедает и исчезнет до следующего обеда, когда все ему готово. [...] А вот Миша[2], кажется, пропал. Было письмо от его денщика, что он после боя 1 июля пропал. Писем от него действительно нет давно. Жаль бедного. А может быть, еще отыщется.

Скажи, разве правда, что Владимир Андреевич так утомился и изнервничался? Маруся очень скорбит об этом. Но правда ли это? Не ее ли это фантазия? Как тебе кажется? Скоро уже год, как ты на войне. А был всего 2 раза тут. Но так хорошо. Конечно, хорошо бы почаще видеться. Хорошо, если бы ты приехал. А то после что-то еще будет? Может быть, и поехать будет некуда, и Москва будет не похожа на Москву. Или не будет поездов, и придется идти или тебе из Москвы в Домотканово, или мне туда – пешком. Все это может статься. Так приедешь? Неужели приедешь? Но если не хочется – не поезжай, потому что тут скверно, голодно, тревожно. Да, ключ от Лелиной квартиры всегда у соседки – прямо бери его и ночуй.

Нина

[1] *Петя* – Петр Владимирович Бяшков; окончил 2 курса медицинского ф-та Московского университета; в 1917 г. уехал к родителям на Дальний Восток; вступил (вместе с братом Яковом) в войска Колчака (поручиком фельдшерской службы); под Спасском и Волочаевском был ранен и контужен, по выздоровлении ушел верхом в Маньчжурию (к родителям); долго жил в Харбине, женился (на русской); после Второй мировой эмигрировал в Австралию с женой и маленьким сыном (который в 1966 г. «возвратился» после смерти отца в Россию, тогда СССР).

[2] *Миша* – Михаил Владимирович Бяшков; во время Первой мировой кончил артиллерийское училище, на фронте командовал батареей, награжден Георгиевским крестом. Погиб в бою.

Е. № 139

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
12 сентября 1917

Последние трое суток дежурил на наблюдательном пункте. Со стороны жизни в природе очень хорошо: над головой трепещут осины, вечером выходит на дежурство молодая луна. Спал, конечно, не в блиндаже, а на нем; над головой садилась сова в овсе, на котором спал, и в кустах шевелился какой-то крупный зверь. Особенно хорошо, когда уйдешь за водой или варить обед в молодой буковый лес, ярко и весело просвечивающий на утреннем солнце и еще прелестней кажущийся оттого, что нельзя там быть, сколько хочешь, а должен быть

прикован к пункту; но со стороны военной совершенно ни к черту годный; слава Богу, что его сегодня уже упразднили, потому что он почти несомненно открыт противником, который не кроет по нем только потому, что оставляет это до боя, как это и должно всегда делаться, чтобы уничтожить его тогда. Он вот какой: спина невысокой горы, параллельной фронту, на склоне к противнику реденькая, в дерева в 3–10 /три десятка/, осиновая роща, местами прерывающаяся, и в ней несколько пунктов препаршиво устроены в 2 накатика, которые могут уберечь от дождя, шрапнели и плохонького слабосильного осколка; и вот немцы с истинным удовольствием, конечно, постоянно смотрят, как – то за рощицей скрываясь, то выходя на голое место, часто ходят одиночные люди и проваливаются в землю на краю рощицы, потому что ходить приходится и для смены, и за водой, и обед варить, и за всем, а еще рядом с нами какие-то глупые офицеры станут во весь рост и расхаживают, показывая не то свое мужество, не то глупость, а когда начался обстрел – поставили себя на быструю рысь и утекли, впрочем, им, кажется, можно было сменяться. Но стоять и открывать пункт все же глупо, хотя, когда там живешь, иногда и сам согрешишь – забудешь и вылезешь и подвигаешься больше, чем необходимо, не сидеть же под землей, и как-то всегда так еще выходит, что во вражескую сторону, на западе, освещение всегда красивее.
Да еще одна сосна, стоящая над блиндажом с подрубленными корнями, завяла, почему немцы, если сообразительны, тоже могут догадаться. Вот разве только, судя по себе, они не подумают, чтобы пункт был так легкомыслен, а подумают, что там, где мы проваливаемся, – начало длинного хода сообщения. Ну, теперь мы с ним попрощались. Третьего дня мы пристреляли, а потом, очень вероятно, что и разбили его батарею; первый раз стрельбу нашу корректировал аэроплан (радиотелеграфом).

[...]

Когда долго стреляют и неопределенно по нам, то первые выстрелы волнуют, а потом привыкаешь и не каждый слушаешь; я сидел на земляной ступеньке хода, ведущего вниз, шириною в мое тело, и читал, правда не очень гладко следила мысль, но понимал, и, довольно даже приятно, в спину толкала волна воздуха, не сильно. А вот говорят, если близкий и тяжелый разрыв, а в убежище подземном нет другого выхода, то может так давнуть воздухом, что выжмет и жизнь. Один раз особенно отчетливо в земле сильно дрогнуло, что сразу заметил и другой сидевший.

Вечером сменились и шли с Ник. Ив. в лунном смутном сумраке, дудя губами марш: когда подходили уже домой, он (немец) пустил несколько снарядов приблизительно по тому месту, где мы шли (не по нам, конечно, было темно, да и редко стреляют по одиночным пешим). Когда это описываешь, выходит как-то слишком великолепно, здесь это только изредка вкраплено в мирную жизнь, но ведь и хочется еще похвастаться, что вон, мол, все-таки воюем.
Я получил твое, Ниночка, письмо, что ты будешь в Москве вокруг 15-го, но, во-первых, сегодня 12-е, и потом я писал, мне и не хочется вообще проситься непременно, и уж очень хорошая осень – пусть сам приближается, а он приближается, отпуск; единственно только, мне тебя жалко неопределенным ожиданием /мучить/.

Ну поцелуй меня, Ниночка ты моя.

Твой – Иван

---------------------------------- ***Е. № 140*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Москву*
12 сентября 1917

Ниночка! Милая, сейчас написал тебе в Домотканово, а когда начинаю писать тебе в Москву, отчего-то воспламеняюсь желанием тебя, точно ты здесь ближе, и осуществление желаний возможнее, так, по крайней мере, думает мое тело. Ну, веселись и действуй в Москве, только ешь, пожалуйста, хоть ты и молодеешь от одного хлеба и неспанья.

[...]

Целую тебя всю.

Иван

---------------------------------- ***Е. № 141*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
15 сентября 1917

У нас ушел командир дивизиона, и Дав. Мих. пока временно, вероятно и совсем, становится на его место. А нашей батареей будет командовать Би /*неразб.*/ Не неприятный, но шалый мужчина. Для сожительства, это не так плохо, а как уж он порядок держать будет, Бог его знает. Вот разве только батарея – уже лицо с налаженной жизнью. Жалко, конечно, не видать круглых глаз командира, хотя он в новой истории

и бывал капризен, потому, верно, что ему нельзя было, как прежде, разряжать свои взрывы. Ну, allons voir[1].
Адриан, твое письмо получил, спасибо. А подпись[2] – думал, думал, так и не догадался, и товарищи не знают. Приеду, ты мне разъясни.

Жму твою руку.

Иван

Вчера ездили на разведку запасных тыловых позиций. Кукурузные листья прозрачные, сухие, коричневые, изредка жидко зеленые. Глянцево и паутинно блестящие в жидком белом ясном сентябрьском солнце.
Мы с Ник/олаем/ Иванов/ичем/ все еще спим на воздухе, хотя холодно-прехолодно ногам, трава и плащ на кровати покрывается морозом, а я купаюсь и надеюсь еще искупаться под водопадом.
Про отпуск все то же – пока его еще нет, но ведь это вдруг делается.

До свидания, милая моя.

Ив.

[1] *Allons voir* – увидим *(франц).*

[2] *Подпись* Адриан сделал перевертышем – Н А И Р Д А, а И. С., конечно, ему подыграл.

---------------------------------- ***Е. № 142*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
17 сентября 1917
Почтовая карточка

Живем хорошо, но что-то засомневался от неопределенного приближающегося отпуска. Собираюсь собираться прямо попроситься. Хорошо бы попасть, когда ты в Москве, чтобы тебя нарочно не вызывать, а, пожалуй, выйдет как раз так, что приеду, когда ты только что вернешься.

Ну, до свидания!

И.

---------------------------------- ***Е. № 143*** ----------------------------------

И. С. к Н. Я. *в Домотканово*
22 сентября 1917

Ну, Ниночка, я сегодня спросил командира: «Что мне думать об отпуске?» – «Пожалуйста, когда хотите». Вот приедет из командировки

Рахлин, который хочет в разведчики, и тогда совсем уже удобно; спрошусь тогда только у комитета.
У нас организуется учебная команда 12 чел/овек/ для подготовки на офицера. Я говорю командиру: «А как же я не буду». Он говорит: «Да что же, стукнет вам 40 лет, мы вас освободим». А Суханов говорит, что можно и догнать занятия.
Командир ушел командовать дивизионом, В. А. тоже, по-видимому, уходит ему в помощники, а мне, должно быть, действительно, придется служить до своего рождения. Меня теперь две инстанции отпустили: команда разведчиков и командир, теперь только у комитета спроситься.
Ну во мне все борются ты и осень ясная, золотые листья в ясном синем небе, жидко-зеленые прозрачные листья, когда обернешься против солнца; с чего-то выдумали цвести на лужайках крокусы.
Тебя ведь, я знаю, не может огорчить, что меня могут колебать такие «глупости», но очень уж большую власть имеют они над моей душой.
Но надо сказать, что эти прекрасные утра наполнены сплошь думой о том, как бы к тебе поехать. Так что, пожалуй, правильнее принимать действия к езде. Ты прости мой путаный характер. Я немножко поослаб, пожалуй, от этих самых сомнений (не настолько, слава Богу, далеко, как в штатском платье), и поэтому, не имея ярких и четких желаний (нет, одно-то, конечно, совершенно определенное – видеть тебя), легче жить здесь в деревне, ничего не предпринимая, и, кажется, так что вот когда здесь перестанет греть, ласкать солнце, тогда и укрыться к тебе. Вот только что теперь ни на что нельзя рассчитывать на далекое будущее, поезда и пр.?
Я представил себя на твоем месте – и кажется, совершенно закономерно можно рассердиться, я было не хотел посылать, но ведь противоположного не выдумаешь. Ты меня все-таки поцелуй, милая. Конечно наверно, как только будет можно, я здесь не усижу, нити солнечных лучей меня не удержат.

Е. № 144

Н. Я. к И. С. *из Домотканова*
1 октября 1917

Милый мой, какое счастье сесть опять тебе писать. Я все удерживалась, думала, ты едешь, получишь, значит, это письмо через 2 месяца, да еще после побывки в Москве – какой смысл его? Хотела писать на другой же день, как отправила свое письмо, конечно, страшно я раскаива-

лась, что сорвалось с языка... надеялась, что ты не получишь, но теперь вижу, что ты не едешь.

Да это и к лучшему! Да, теперь, когда прошла радость ожидания и горечь разочарования, и вижу, что незачем тебе сюда ехать, незачем мне тебя было звать. Тут очень плохо. Голод, мрачные вести, а то, что отрадно, то стремится прибиться, но чуть выглянет на свет Божий, как откладывается в долгий ящик. Все это не по тебе.

Но только тогда уж и не собирайся, и не пиши, что едешь. А то это действительно мучительно. Прислушиваться к шагам по лестнице, бежать на звонки сломя голову и встречать почтальона и жилицу так, что останавливаешься перед ней бледная и с дрожащими коленями. Уходя, оставлять на двери записки, вечером лететь домой – во что бы то ни стало, думая, что, может быть, ты ждешь – все это слишком трудно.

Пишу из Москвы, я еще не уехала. Назначила отъезд на сегодня, но сегодня же поговорила с Озаровской[1] по телефону и решила остаться, хотя за мной лошадь послали. У нее будет завтра заседание по поводу просьбы военного штаба издать лубки для просвещения солдат. Она просила меня быть. Будет и Павлинов. Она меня приглашает, чтобы рисовать. А издаст штаб. Вот увижу завтра, что это.

Тени я сдала Петрову, и он заплатил. Так что я, значит, ошиблась в отношении его порядочности. Он, верно, просто шалый человек, но не плут. Ему и им очень нравится. «Им» – это monsier Филиппов[2], толстый булочник. Его администрация на Тверской около булочной, роскошная гостиница, вернее апартаменты. Сам Филиппов просто денежный мешок, или мешок с булками. По внушению Петрова и ему понравилось. Это я сделала Simone в огромном размере. Материал – картон, приправленный фанерой и планками, которые мне сделали в магазинчике на Моховой. С помощью Павла Яковлевича нашла картон, очень хороший, сделала запас. Вроде английского. Теперь я обеспечена на увеличение теней.

Думается, материал подойдет. Но пока я напала на такую простую вещь, я пробовала разные ужасы. (Положим, картон этот тогда еще не нашелся.) Я наклеивала бумагу на материю и вырезала. Думала – высохнет и затвердеет. Вырезать очень приятно, но потом коробится, что я ни делала. Я мучилась много дней, изрезала простыню (теперь ведь нельзя купить ничего ситцевого, коленкорового и т.д.). Я, когда купила картон, сделала все заново в один день! С 9 утра до 3-х, в три напилась чаю без сахару с куском булки, а в три с половиной опять засела до шести. И было готово, в 6 пошла на заседание. На другой день

получила 250 р. Я думала, это мало, но ничего, и очень даже хорошо, потому что у меня осталось всего 3 р. 20 к. А теперь я отдала долги, заплатила за квартиру и газ, и еще осталось. А те мои изобретения из простыни и бумаги положила под пресс снова, может быть, и исправится, и что-нибудь еще выйдет, и пригодятся вообще дубликаты.

Мышей взяла у Михаила Ивановича, хорошие. Теперь надо изобрести, из чего сшить им платья. Аршин гадкой материи стоит 45 р., а самый мерзкий ситец – 3 р., на Сухаревке. Не попросить ли у Элли Ивановны /Рабенек/ лоскут кисеи? Погляжу, будет ли случай.

Я была у Цетлина – все думала с тобой, да не дождалась. Он хотя в отчаянии от житья тут, но не жалеет, что вернулся. Живет в роскоши. Особняк нанял в Кречетниковском переулке. Ужин был, и даже мальчика уговаривают есть, совершенно как в доброе старое время. Даже приятно было слышать. Не знаю, откуда они раздобыли молоко, сахар, курицу. Тут все-таки форменный голод. Весь день, всегда чувство голода и ложишься спать на голодное брюхо, мечтая завтра получить кусочек хлеба, которого на один глоток мало, а он на весь день. Ну, я-то в Домотканове наемся наконец, а постоянным жителям Москвы туго. За три недели тут у меня платье висит мешком, и на лице щек осталось совсем мало.

Да, так Мария Самойловна стала еще интереснее. А он еще милее.

Да, Павла Яковлевича единодушно выбрали председателем Московского Товарищества. Он очень рад, и Рерберг, кажется, не очень огорчен. Собрание было у Павла Яковлевича на квартире, и было очень хорошо все. Таня испекла 2 пирога, которые, конечно, съели без остатка.

Да, ведь освободили Московское Товарищество, так что вы с Владимиром Андреевичем свободны. Чтой-то и мне кажется – долой войну – уж очень все гадко. Впрочем, как хотите. Нина

[1] *Озаровская* Ольга Эрастовна (1872–1933) – актриса-декламатор, педагог; вела Студию художественного слова. Собирала и изучала русский северный фольклор. У нее Ефимовы познакомились (и впоследствии дружили всю жизнь) с Б. В. Шергиным. Озаровская открыла для публики знаменитую исполнительницу русских народных песен, былин и скоморошин М. Д. Кривополенову (1843–1924), предваряла ее выступления в Москве, Петрограде, в поездке по стране. Кривополенова часто бывала у Ефимовых. В 1916 г. Н. Я. исполнила два ее портрета (офорт и рисунок), которые экспонировались на XXII выставке МТХ. Над образом сказительницы тогда работали также П. Я. Павлинов, С. Т. Коненков, Е. В. Гольдингер.

[2] *Филиппов* Николай Дмитриевич (1874 –?) – один из сыновей и наследников Д. И. Филиппова, владельца знаменитого булочного производства; меценат и поэт-любитель; находился под влиянием футуристов. Субсидировал café Pittoresqe на Кузнецком мосту, а потом «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке.

В октябре 1917-го Иван Семенович Ефимов приехал в отпуск. В связи с последующими событиями в стране и на фронте в дивизион он уже не возвращался[1].

[1] Из письма И. С. 1951 г. к М. В. Фаворской (начинавшей тогда работу над своими «Записками»): *[...] С войны 1914 года я уехал в отпуск, и, кроме того, я вышел тогда из призывного возраста («снят с учета»). Но я думал вернуться на батарею, чему горестное доказательство, что я там оставил наш прекрасный венчальный плед и, что еще хуже, красной меди литой крест, который я взял с собой на войну и которого подобных я потом не мог увидеть ни в каких коллекциях исторических музеев. Он был мой любимый и вот, оказывается, и редкий: предстоящие подпирали головой крылья креста. Как я не догадался нарисовать его по памяти? Ваше письмо дало мне эту радостную мысль. Рисую его в натуральную величину. Нет, немножко больше.*
Наша третья батарея не разбрелась, наоборот, батарея с трудностями доставила орудия в г. Окны. Это знает офицер 3-й батареи Фаворский [...]
В собрании семьи Ефимовых сохранилось несколько предметов, бывших с И. С. на фронте: медный образок с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», старинный сердоликовый петушок восточной работы, молитвенник для православных воинов (издание 1916 г. с автографом Н. Я.), кисет с вышитой монограммой «ИЕ», альбом для рисования и записная книжка.

Е. № 145

Н. Я. к И. С. *из Москвы – в Домотканово*
23 ноября 1917

Ах, я, кажется, застряла: 28-го во вторник – Игорь Северянин[1]. Я давно жажду услышать. А 2-го декабря – Шурочкино рожденье (Цетлин), и Мария Самойловна просила (т. е. я предложила) показать тени и петрушек. Она очень рада этому «ресурсу». И у них будет множество народу, вся многочисленная родня ее и его. Это меня соблазняет. Надеюсь, доживем до 2-го декабря[2].

Да, портрет она согласилась писать. И большого не испугалась[3]. Послезавтра, 25-го, пойду.

Я шла к Павлиновым и, проходя мимо Кречетниковского, поглядела на их /Цетлиных/ дом, подумала – вот их дом, и он обстрелян, верно, думаю, уехали. Вдруг она /Мария Самойловна/ выходит из экипажа, разговаривая с кучером. Я крикнула, она обрадовалась, и он тоже (Михаил Осипович). Да, я так же хромаю, как и он.

Да! Я ведь два дня лежала, да как – не могла встать, хоть ты тут тресни. Боль адская, распухло колено, и не согнуть, не разогнуть.

Я клала ногу, охая и отдыхая, на стул, брала чайник и чашку, ставила на этот же стул и ехала по коридору на одной ноге в кухню и обратно. Старалась сделать этот рейс не больше 2–3 раз в день – так трудно было, и шум от меня как от грузовика.

Компресс делала две ночи и два дня из того, что увидела вокруг себя в первый вечер на кровати [...].

На второе утро стало улучшаться, и я обрадовалась, что, значит, не будет хуже и не останусь без ноги.

Первый день я читала «Михахля» (это из жизни художников), так что настраивает хорошо и полезно, и газету Петя принес.

На второй день – Игоря Северянина, а остаток дня – сама уже сочиняла – текст к теням Домотканова в стихах. Не хватает только самого начала, не удается.

Тут хорошо, тихо, и можно забыть все...

Но вообще в Москве очень мрачно, пусто, страшно. На пути с вокзала меня не ограбили, кажется, только потому, что я почти ползла на четвереньках, так болела нога. В тот же вечер одного прохожего раздели в Домниковском переулке, а другого в Орликовом[4].

Хорошо, что я пошла почему-то по Каланчевской. Пусто-то, пусто на улицах уже в девятом часу. Рабенек укатила, не говорят даже куда, до февраля.

На Никитской какой-то ужас вместо домов. Какие-то шаткие декорации высоких домов, через которые видно небо насквозь через две стены, а этажей, то есть полов и потолков, нету, так-таки одни стены с окнами и с брешами.

У Павла Яковлевича засел было штаб юнкеров, изгадили залу, но он уговорил их уйти. Он не поедет в Крым.

Твой Коля [Орлов] теперь помощник начальника Бутырской тюрьмы. «В контакте с временным революционным комитетом». Я все же рада за него. Если хочешь, он предлагает тебе протекцию в тюрьме.

Володя Голенко (который ездил в Отрадное со мной) – член Временного революционного комитета. Пете [Бяшкову] предлагали пост участкового комиссара, но он благоразумно удержался. По наведенным справкам – выгодно быть стражником при домовых комитетах – 250 р. в месяц, но опасно (дежурство 8 часов на улице). А еще лучше оплачивается работа в синематографе. Сережа [Орлов] твой там что-то делал. Играл, 15 р. в день, еще до войны. Он советует. И правда, пойти тебе к Ханжонкову[5]. Не знаю, как вы решили с Домоткановом, остаться? Ну, конечно, если бы не Адриан... но ему там как будто лучше. Не знаю. Или ездить пока по очереди? Я вернусь, значит, по-видимому, четвертого декабря.

Сегодня я выплыла первый раз на улицу. Тут вся Москва – каток, и все ходят крохотными шажками, так что я не очень отличаюсь со своей походкой a la Глаголева[6]. Сперва я дотащилась до Рабенек (телефон в Москве не звонит). Потом села на трамвай и приехала черепашьим шагом (трамвай сломанный) к Варваре Семеновне. Оттуда пошла к Павлу Яковлевичу, но очутилась сперва у Марии Самойловны! Оттуда пришла к Павлиновым и там увидала в передней всех членов выставочной комиссии, которые расходились: Нивинский, Гольдин[7], Эттингер и т. д. и т. д. Эттингер стал икать (!), и Павел Яковлевич моментально сбегал наверх, принес какую-то машинку, приставил к животу Эттингера и стал вертеть ручку. Это какой-то вид массажа. Все очень хохотали. (Эттингер икать перестал, если тебе интересно.)

У Павла Яковлевича живет Синезубов[8] и очень хорошо пишет библейские картины.

В общем, тут настроение паники, никто не уверен в завтрашнем дне. Весела одна Мария Самойловна, хотя к ней в комнату летали пули.

Да, Серовы в Павловске, а француженка умерла, и Мика Серов[9], который тут ее хоронил, поступил в Петровскую академию. Причем была забастовка могильщиков, и он сам рыл ей могилу и закапывал. Еще он же хоронил юриного ребенка[10]. Оказывается, такой был. Вчера была панихида по Серову, но я лежала еще. У меня была Ляля, она очень несчастная, я даже не представляла себе ее такой[11]. Она пришла на минуту, перед панихидой, она поехала на кладбище. Не раздевалась.

Да, в воскресенье состоится-таки Моцартовский вечер. Если в Домотканове настроение таково, что можно уехать, то, может быть, если тебе очень захочется – приедешь?? Хотя, если сказать сущую правду – приятнее, чтобы ты сидел там. (Для спокойствия Домотканова, конечно.)

Да, у меня голос оказался, но, увы, я была пришпилена к кровати – не со стулом же идти с лестницы на этот концерт. Но за меня дебютировала моя жилица, которая вообще поет то же, что и я, так что все вышло благополучно[12].

Когда я лежала, моя жилица стала стряпать очень вкусно пахнущие блины из картошки. Она даже дала мне один попробовать – замечательно. Вот как это делать, сделайте: начистить сырую картошку, потом протереть теркой. Она натерла в две глубокие тарелки. Слить слегка жижу. Потом туда всыпать немного муки (можно ржаной) и подлить немного молока с водой – это по глазомеру, чтобы вышло не очень жидко, как блинное тесто. Но в общем, картошки несравненно больше, чем муки. У нее было картошки в двух тарелках, а муки меньше чашки. Сковороду она мазала жиром гусиным, пекла как блины. Сделайте!

Увидите, что я не напрасно съездила и лежала два дня в постели. С пшеничной мукой, конечно, лучше. Мне она дала с пшеничной. Эти блины легче едятся, чем настоящие, и без сметаны, без всего.

Хочу снести это письмо на вокзал, к поезду, и умолять кондуктора передать его в Чуприяновке.

Если приедешь, привези мой ящик с красками, только обвяжи его веревкой, а то крючками (на зеркале в углу).

Сало и картошку никто не съел, так что я пока на себя ничего не истратила. Пью кофе без хлеба, молока и без сахару. Ничего, вкусно.

Завтра пойду в Училище купить красок и углей, холст есть.

К ней /Цетлин/ писать /портрет/ послезавтра, в пятницу. К сожалению, вечером, к восьми часам. Чтобы не ходить ночью домой, чего тут теперь никто не делает – я попросилась ночевать к Павлинову. Он разрешил. У него теперь уже живет Синезубов, так что будет приют какой-то.

Пока до свидания. Завтра зайду к Чеховым и к Ляле.

Нина

[1] *Игорь Северянин* (наст. имя Игорь Васильевич Лотарёв; 1887–1941) – поэт Серебряного века.

[2] Выступление в доме Цетлиных состоялось. Вот что Н.Я. пишет об этом:

Взамен кафе [Питтореск] судьба тотчас послала нечто гораздо лучшее в смысле моральной поддержки: случился раут по поводу именин дочки в одной знакомой семье, где собирались поэты и художники. Хозяйка дома попросила меня показать кукольный театр. К тому времени выработался «Больной Петрушка» (которого я придумала для деревенских детей). Я сыграла его и две новые басни [«Мыши» и «Пустынник и Медведь»]. Вот тут-то и стали оправдываться фантастические, заносчивые мечты о театре Петрушек, потому что, когда я кончила, ко мне подошел Алексей Николаевич Толстой, который, оказалось, был среди публики, и спросил: «Кто писал вам текст Петрушки? Вы знаете, что он очень, очень хорошо написан. […] Вам надо показать ваш театр Станиславскому, я устрою это». И устроил. Через два дня я сыграла эти две пьесы Станиславскому у него на дому, а еще через несколько дней в Художественном театре: для артистов театра и студий […] [Н.С. 1980].

[3] *...большого не испугалась.* – Н.Я. написала тогда «Портрет М.С. Цетлин» (масло, 107x88, 1917. Нукус), на котором изображено, так же как на портрете «Иван Семенович Ефимов» (*см. Е. № 87*), *только лицо, взятое в увеличенном масштабе […] Этого размера требовал характер и той и другой модели: Мария Самойловна – героическая фигура римской матроны, красавица, и Иван Семенович – тоже физически и духовно крупный человек, ни в каком смысле не укладывающийся в рамки обыкновенной «натуральной величины»* [Н.С. 1982. С. 68]. Это, пожалуй, последняя в эти годы чисто живописная работа Н.Я. Симонович-Ефимовой:

[…] С 1917 года мне стало психологически невозможно заниматься живописью. Всю жизнь, и кажется, при всех обстоятельствах, я себя чувствовала живописцем, а тут – ни живописных образов, ни мыслей о живописи, ни даже живописных впечатлений.

Революция сделала это. Объяснить себе более подробно, чем тремя этими словами, я никогда и не пробовала... [Н.С. 1980. С. 64].

[...] в боевое время первых пяти послереволюционных лет я не писала вовсе. А когда, с возникновением НЭПа и оправившись от голода, принялась – то оказалось, что пишу иначе... [Н.С. 1982. С. 74].

4 Домниковский пер. (как и Орликов) выходил на Садовое кольцо близ Красных ворот.

5 *Ханжонков* Александр Алексеевич (1877–1945) – российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров российского кинематографа. В 1915 (?) г. Ефимов делал по заказу Ханжонкова афиши к фильмам «Вот что снится нашим детям во дни кровавые войны» (Италия) и «Счастливый ребенок».

6 *Глаголева* Анна Семеновна (1872 –?) – художница, член МТХ.

7 *Гольдин* – Гольдингер Екатерина Васильевна (1881–1973) – художница, член МТХ.

8 *Синезубов* Николай Владимирович (1891–1956) – живописец, график, член объединений МТХ, «Мир искусства»; преподавал во ВХУТЕМАСе; с 1928 – в Париже.

9 *Мика Серов* – Михаил Валентинович (1896–1938) – сын В.А. Серова.

10 *...юриного ребенка.* – Юра – Георгий Валентинович Серов (1894–1933) – сын В.А. Серова; эмигрировал, был актером Comedie Francaise.

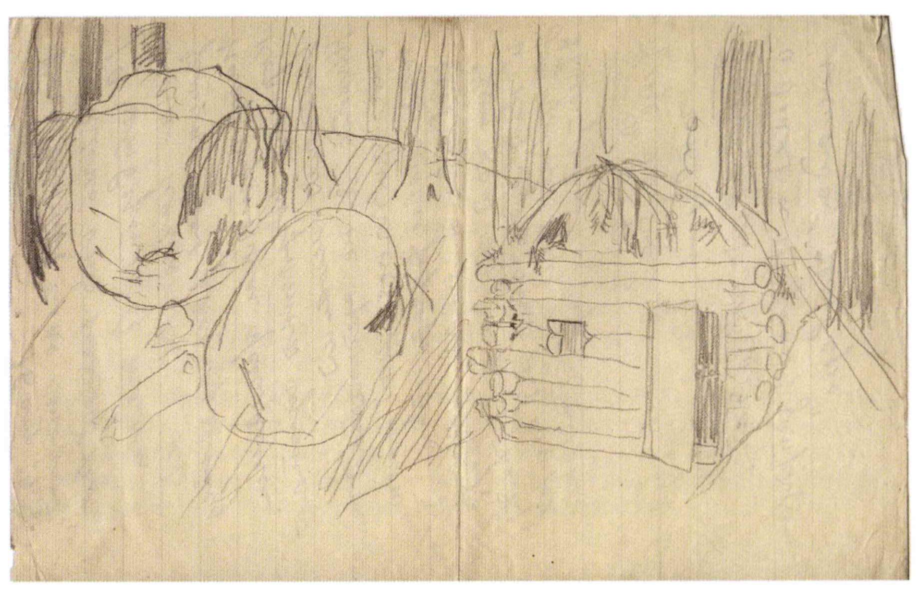
11 *...ее такой.* – 20 дней назад погиб ее муж. Из «Записок» М.В. Фаворской:

Когда в октябре 1917 года прошли слухи, что в Москве беспорядки и затруднения с продуктами, Валериан Дм. купил в деревне что было из еды и повез тете Ляле. Приехав в Москву /1 ноября/ он оставил продукты у Ефимовых (благо они жили недалеко от вокзала), а сам пошел пешком через весь город (трамваи не ходили в октябрьские дни), а он был хороший ходок. Добрался благополучно до своих. Вечером стрельбы не было. Встав утром, он сказал тете Ляле, что пойдет за продуктами к Ефимовым. Он не знал порядка, установившегося в Москве за эти тревожные дни: до 11 часов утра можно было безопасно пойти в лавку и купить продуктов, а в 11 начиналась стрельба и обыватели сидели по домам. Тетя Ляля по своей глухоте не знала, что началась стрельба [...] Как только Валериан Дмитриевич со своей прислугой (он взял ее с собой, чтобы помочь нести продукты) вышли из Обыденского переулка на Остоженку, – грянул залп ружейных выстрелов, и Валериан Дмитриевич упал убитый, а прислуга в ужасе прибежала домой и рассказала о случившемся. Весь день стрельба не прекращалась, и только вечером горестные сыновья смогли пойти на поиски отца. Они пошли туда, где лежали убитые, но его не нашли. Следующие дни стрельбы уже не было – большевики победили. Юра и Гриша три дня не могли отыскать тело отца: убитых было много, лица их были в крови и грязи, узнать было трудно. Наконец, в большом здании Военной школы на Пречистенском бульваре они узнали его по носкам (метки). Привезли домой, обмыли, и тогда это стал он, красивый, строгий и преображенный смертью.

12 Вероятно, в двух предыдущих абзацах речь идет о занятиях Н.Я. в театральной студии В.В. Лужского. Увлекшись театром петрушек и теней, для того *чтобы иметь на это нравственное право и соответствующие возможности* [Н.С. 1982. С. 288], она осваивала там пение и навыки актерской игры; а позже, в 1918–1920 гг., работала над постановкой голоса, дикцией и изучала теорию жеста – в студии Озаровской.



И.С. Ефимов. 1917 (Е. № 107)

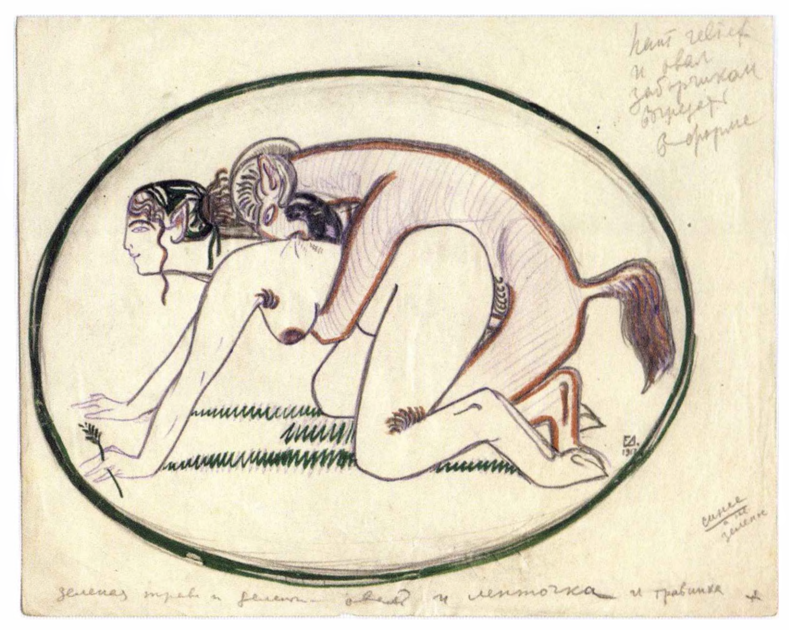


На наблюдательном пункте. В центре группы старший разведчик Свириденко (?). 1917.

И.С. Ефимов. Рисунок из письма к Н.Я. Симонович-Ефимовой. 1917 (Е. № 79)



И.С. Ефимов с Шомполом. 1917 (Е. № 132)

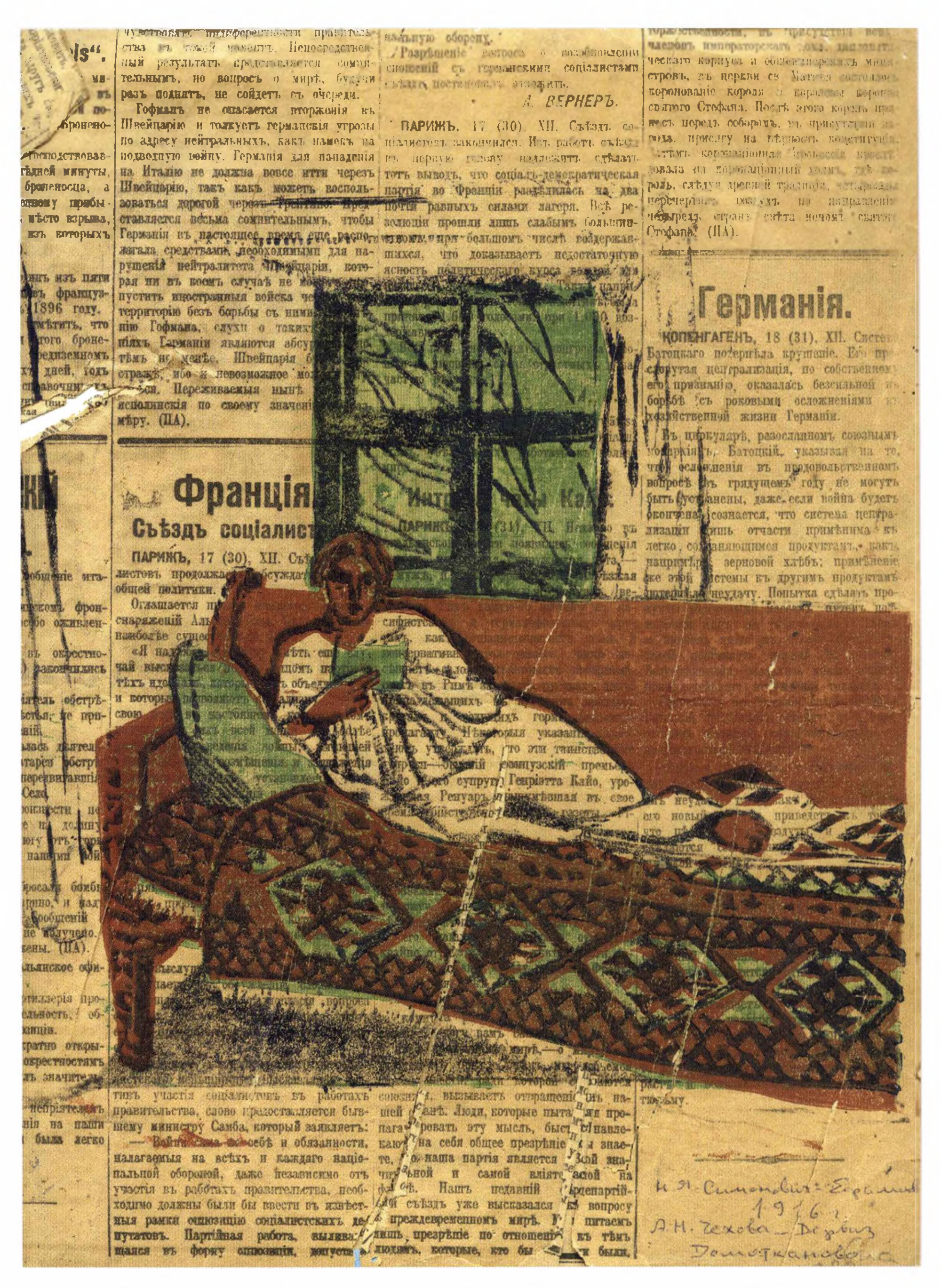


И.С. Ефимов. Композиции на тему Леды (Леда и лебедь). 1917 (Е. № 112)

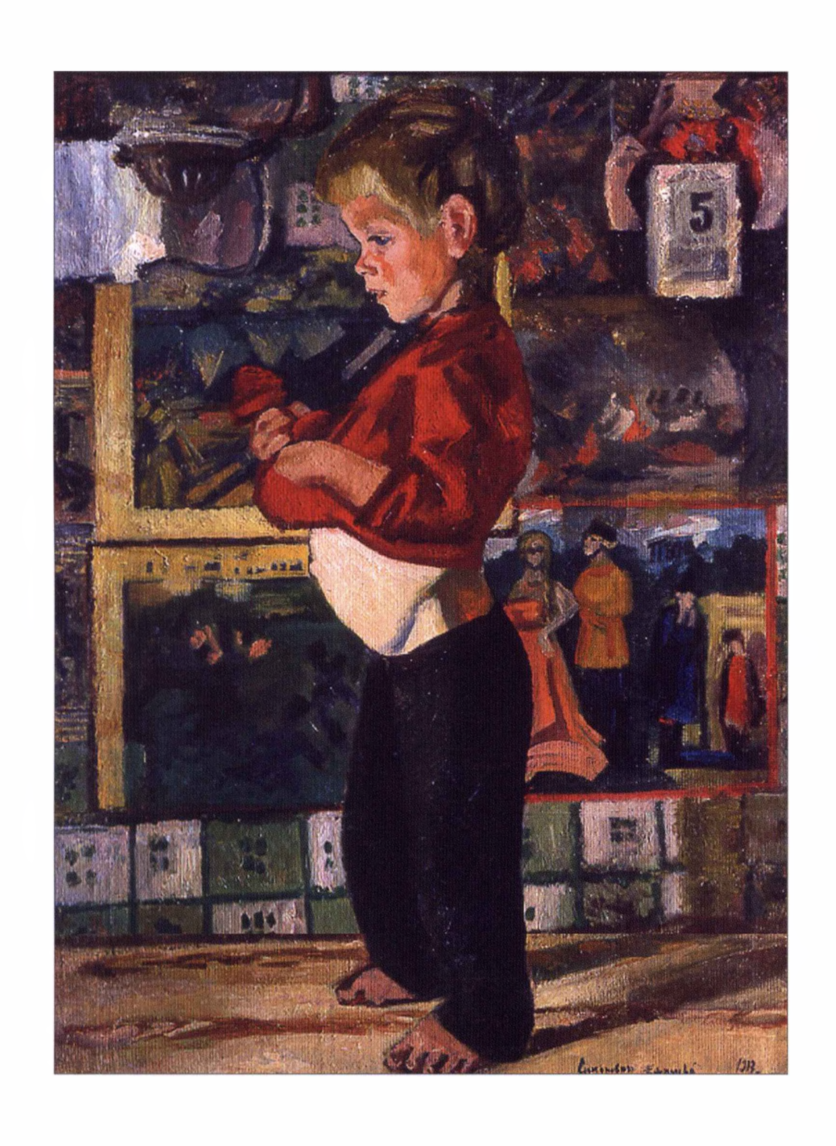
И.С. Ефимов. Композиция из «Синего альбома». 1917 (Е. № 97)



И.С. Ефимов. Европа и Бык. 1917 (Е. № 105)



Н.Я. Симонович-Ефимова. Портрет Ани Чеховой-Дервиз. Гравюра. 1917 (Е. № 136)



Н.Я. Симонович-Ефимова. Ванюша. Холст, масло. 1917 (Омск)



В.А. Фаворский. Артиллерийский разведчик Свириденко. Гравюра. 1916

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
ФАВОРСКИХ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В.А. НА БАТАРЕЮ В МАРТЕ 1917

Ф. № *134*

В. А. к родителям
14 апреля 1917

Милые папа и мама, здравствуйте, я жив и здоров, как живете вы, писем ни от вас ни от Маруси до сих пор не получал но надеюсь что у вас все благополучно. У нас в общем все идет хорошо на фронте совсем тихо и стрельбы никакой нет. На Пасху немцы приходили на нейтральную полосу, и наши ходили с ними разговаривать, раздавали прокламации и вывешивали на всем фронте, содержание большей частью о том что они хотят мира и об Англии, что она дескать нам враг и каким-то мудреным способом выводили что она грозит нашей свободе, словом провокация иногда уж очень грубая вроде того – отступите немножко и скоро будет мир, но ясное дело никто не отступает.

В батарее тоже некоторое переустройство, нам дана конституция и парламент с совещательным голосом – батарейный комитет, выбираются туда три солдата и один офицер – это батарейный комитет, затем выбирается дивизионный комитет из 7 солдат и 3 офицеров, затем корпусной. Я выбран на месяц в батарейный и дивизионный комитет и заседаю там, разбираем всякие недоразумения насчет продовольствия и других вещей; уж очень необычное для меня дело, хорошо что товарищи по комитету очень славные ребята. Выбрали почти всех самых лучших, Свириденко, старший разведчик, и телефонист Богданов, очень милые ребята. На комитете кроме всего лежит обязанность заботиться о литературе для солдат, будем выписывать газеты и доставать книги. Папа, может пришлешь что-нибудь по аграрной части, пускай читают сколько влезет, время свободное есть, конечно разобраться в чем-либо трудно но если даже поймут, что трудно, то и это очень хорошо. Ну всего вам хорошего целую вас крепко пишите мне

ваш сын
Володька

Ф. № 135

В. А. к родителям
28 мая 1917

Милые мои, получил от вас обоих письма, большое за них спасибо. От Маруси получил письмо повеселее и она пишет что чувствует себя гораздо лучше. Я конечно очень рад этому. У нас постепенно все налаживается, солдат наших можно только хвалить, очень разумно на все смотрят и даже все время разговоры что надо наступать, конечно мы артиллеристы подвергаемся меньшей опасности но многие готовы хотя бы и в пехоту перейти. Комитеты наши налаживаются, а армейский комитет нашей армии прямо приятно слушать, очень умно рассуждает. Я бы очень хотел вам для примера послать газету которую издает этот комитет, но к сожалению очень мало экземпляров. Ждали у нас Керенского[1] но он не приехал. Он действует смелее Гучкова[2] и это хорошо.
Я жив и здоров, боев у нас нет, только редкая стрельба. Всего вам хорошего, буду писать чаще

ваш сын Володька

[1] *Керенский* Александр Федорович (1881–1970) – российский политический деятель, министр-председатель Временного правительства в 1917 г.

[2] *Гучков* Александр Иванович (1862–1936) – глава партии октябристов; военный и морской министр Временного правительства в 1917 г.

Ф. № 136

В. А. к родителям
9 июня 1917

Милые мои, получил от вас несколько писем, спасибо за них. У нас не плохо но и хорошего нет. Пехота ведет себя умнее но все-таки кажется наступать не хочет, хотя никаких приказаний еще не получали, может тогда и пошли бы. Хотя правда у нас место такое, что здесь как будто и не нужно наступать, все горы и широкого прорыва все равно пожалуй не сделаешь, ну да это не наше дело. Но в общем порядок таки есть, а у нас на батарее так совсем важный, не хуже а пожалуй лучше старого, но ведь у нас все передовой народ, сознательный. Тут все были холода и теперь наступили жаркие дни, очень жарко а будет наверно еще теплее, погреемся малость, я против этого ничего не имею.
От Маруси получил успокоительное письмо, хотя жалуется и на недомогание и на Никитку. Тут все солдаты увлечены Керенским, и правда

молодец, кто может от него требовать большего, дай Бог чтоб ему удалось добиться толку. У него все-таки уж начинает появляться власть и это всех радует. Уж очень много у нас злых и глупых людей, слушают что их нога хочет, и между солдатами и офицерами одинаково, между последними ничуть не меньше, хотя это и может показаться невероятным, но с ними можно легче справиться, хотя напортить они могут гораздо больше. Ну всего хорошего целую вас

ваш сын Володька

Ф. № 137

М. В. к О. В. *из Домотканова – в Епифановку*
16 июня 1917

Ольга Владимировна,
у нас пока все здоровы; жара стоит все время; все сохнет; огород – я виновата, плохо смотрела, и нет ни свеклы, ни шпината; моркови мало. А семян купила уйму. Садовник верно плохо поливал; мне это ужасно досадно, столько у нас людей, 9 человек скоро будет, а кормить нечем... Семян теперь не достать. Прямо я в отчаянии: и зиму будет нечего есть. У нас живут Чеховы, и еще один мальчик будет знакомый.

Крупы оставили для Никиты немного; а сами едим творог, картофель и черный хлеб. Но это все до того надоедает, что прямо почти ничего не ешь.

Аня через полтора месяца ждет ребенка – ей бы не так надо питаться.

Садовник[1] посадил и ухаживал за тем, что им, рабочим надо – за капустой и огурцами, а все остальное засохло. И я себя виню до того, что прямо хоть топись. Купаемся мы, теперь вода теплая. Никита, верно от жары, капризничает. Мы его купаем в соленой воде. По вечерам часто он не может заснуть от жары и духоты. Неужели у вас также жарко?

С войны теперь писем не было. Т. е. от Ивана Семеновича есть письма, а от Володи очень редко. В последнем письме писал, что у них тихо, что он рисует. А письма Ив. С. лежат нераспечатанные, потому что Ниночки пока нет: она уехала ненадолго в Отрадное.

Аня делает мне впрыскивания, но улучшения не чувствую, верно потому, что плохо питаюсь и никогда не бываю в хорошем настроении. Да еще жарко; прямо такая слабость нападает; да еще ночи не сплю, пью валерьянку – не помогает. Иной раз дремлешь; а хорошо не спала уже целый месяц. А у вас как?

Был тут Андрей Евграфович[2], рассказывал про кур, что у вас хорошо идет пока. У нас и куры перестали класться. Австрийцы грубят и требуют еще и еще им всего.

Ну, будьте здоровы; нажаловалась я вам. А про Никиту нечего сказать; Леля устает, но очень довольна, что пошла в сестры.

Целую вас и Андрея Евграфовича.

Маруся.

[1] *Садовник* – Эмиль, один из пленных.

[2] А. Е. гостил в Домотканове два дня; вот его письмо к О. В. от 1 июня в Епифановку:

Милая Леля, я приехал в Домотканово. Сегодня вставши в 8 ч. начал писать тебе письмо. Меня прервали, позвали пить чай – теперь письма найти не могу. Впрочем, там секретов не было. Начал с революции – теперь пишу снова. Никита жив и здоров. При встрече сначала долго в меня всматривался, потом подал мне руку и стал заниматься привезенным мною медведем-игрушкой. Он, т/о есть/ Н/икита/, жив и здоров, обнаруживает большую память, рассказывает сказки, читает стихи, которые учит Адриан, ну, одним словом, прелесть. Мария Владимировна только вчера получила твое письмо от 15 мая. По внешности ничего в ней особенного не заметишь. Здорова и толста. Бабушка говорит, что она киснет от безделья, потому ровно ничего не делает. Бывши здесь, Влад/имир/ Дим/итриевич/ удивился, как это можно жить в полном безделии. Что будешь делать, человек считает себя художником и больше не видит никаких дел. От хозяйства ее освободили, все это везет бабушка. [...] М. В. говорит, что Володя писал ей неделю тому назад. Пишет он, что у них все благополучно, боев у них нет, что у Володи много дела: он выбран в комитет для разбора недоразумений между солдатами и офицерами. Ив. Сем. сказывал, что в случае выхода Саакова из батареи Вол/одя/ может по выбору попасть в командиры, а я думаю, что он попадет в учредительное собран/ие/. Владимира Димитриевича здесь нет. Он в Твери занимается приемкой кожевенного товара для армии. Валерьян Дим/итриевич/ видимо, безнадежно смотрит на революцию. Как и все, спрашивает, чем это и когда кончится. С бабушкой глубокомысленно разбирали психологию современного мужика – и удивлялись, куда что девалось, что прежде в нем находили и чему поклонялись. Для потехи деревенские парни бьют стекла в народной школе. Порядочный народ отстает от всяких крестьянских комитетов, потому говорят, что очень хлопот много, вот тебе и гражданские чувства.

Славный мальчишка Адриан. Должно быть, нервный, – в речи запинается, заикается, какой-то серьезный недостаток. Больше ничего нет. Еду в Москву завтра в 8 ч. утра, в пятницу и в субботу исправлю свои дела и в воскресенье выеду на хутор. Целую тебя крепко.

Твой Андрей Фаворский

---------------------------- ***Ф.*** *№ 138* ----------------------------

В. А. к родителям
19 июня 1917

Милые мои, получил от вас письма, большое спасибо за них, я жив и здоров, у нас тихо, боев нет. Получили мы сегодня известие что в Буковине наши наступают, взяли 10 тысяч в плен, помогай Бог, армия про-

сыпается. Может быть, завоюем скоро мир. Про Ник/олая/ Бор/исовича/ отовсюду идут известия[1], ну он пускай сам за это отвечает, я тут ничего не могу да и не хочу делать, я его не тащил сюда и никакой режим ему тут не мешал, а хотел удрать, мог бы делать старым манером – через командиров проситься в школу, а захотел по-новому, пусть ищет сам путей. Ну да Бог с ним.
Живем мы потихоньку идет время, правда рисовать не приходилось, было некогда, но это я не брошу. У меня новый денщик теперь, русский, москвич, хороший человек, пожилой и это немного неловко но я его конечно стараюсь не затруднять.
Получили мы недавно новых лошадей и мне тоже дали новенькую кобылку, очень милая, с породистой мордочкой и тоненькими ножками прямо красавица. От Маруси получаю довольно аккуратно письма и успокоился насчет нее [...]

ваш сын Володька

[1] *См. Е. № 88.*

Ф. *№ 139*

М. В. к О. В. *из Домотканова – в Епифановку*
26 августа 1917

Дорогая Ольга Владимировна

Раз уже Рига взята, то теперь немцы могут пойти на Петроград и на Москву; могут даже пойти на Тверь, чтобы отрезать Петр/оград/ от Москвы (так у нас говорят); ну куда они пойдут, будем следить по газетам. Если станут приближаться по направлению к Твери, то мы все-таки решили уехать отсюда и оставить дом и все хозяйство на разграбление; хотя и очень жаль; а самим тут остаться – неизвестно как будут немцы обращаться: скорее всего, что заберут все, что у нас есть – коров, лошадей, зерно, и останемся мы ни с чем, и в деревнях все заберут, купить будет негде. И еще мы будем совсем отрезаны от вас, от Влад. А. и Ив. С.

Мы с Ниночкой решили в случае чего – уехать. Но куда? Если уж немцы сюда пойдут, то и Москву возьмут; ехать нам можно или в Епифановку, или в Отрадное в Тамбовской губернии. Больше бы мне хотелось к вам, но не знаю, возможно ли жить зимой будет с Никитой в Епиф/ановке/. В теплушке, вы говорите, и негде и /то/ очень жарко, то очень холодно; неравномерно. А в большом доме, если отапливать вашу и две маленькие комнаты, – возможно ли тогда там жить? Мне почему-то кажется, что будет дуть отовсюду

и что будет все-таки очень холодно, пожалуй не натопить. В Отрадном же Ниночка никогда не жила зиму, но печи там, она говорит, хорошие и места очень много. Только вот не запасено ничего из провизии; впрочем, там все-таки купить можно кое-чего (пшенной крупы). Очень далеко только от цивилизованных мест; если заболеет кто, – то доктора не достанешь. Почти в 12 верстах.

Напишите, как вы думаете, куда нам с Ник/итой/ лучше ехать и возможно ли жить зиму в Епифановке? Что скажет Андрей Евграфович.

Как страшно пускаться в путь с Никитой! И такая будет давка на железных дорогах! А сейчас заранее выбираться не хочется: все-таки остается надежда, а может быть, немцы и не пойдут на Москву.

/У нас все ничего, – *зачеркнуто*/ очень стало холодно, дожди, темно и мрачно.

Целую вас крепко. Кланяюсь Андрею Евграфовичу. Маруся.

Сверху приписано: от Влад. Андр. было письмо от 11$^{\underline{\text{го}}}$ авг. Они в резерве; скучают.

---------------------------------- ***Ф.*** *№ 140* ----------------------------------

В. А. к родителям
5 сентября 1917

Здравствуйте, милые мои [...] я жив и здоров, у нас спокойствие и полный порядок, боев нет и кажется не предвидится, хотя про наш участок в газетах все время статьи что здесь должен быть следующий удар немцев, но я надеюсь что мы набьем им если они полезут. Пережили мы довольно спокойно пресловутый заговор Корнилова[1]. Солдаты, так те уж очень просто решили что его и из плена-то выпустили как Ленина[2], потому что дескать солдату трудно бежать, а генералу невозможно, но это конечно чепуха. Но все-таки он хорош гусь, и приятно что за ним никакой силы не оказалось, какой же он солдат – сам требует дисциплины и сам же ее нарушает, да еще в какой момент. Взять хотя бы Деникина – тот честно поступил, просто отказался[3] и больше ничего, а этот – дай, думает, устрою судьбу России. Слава Богу что он не добился власти, а то ведь мы тут связаны немцами по рукам и ногам, заняты ими по горло и оглядываться назад нам неловко да и нельзя. Ну да Бог с ними со всеми. Я все жду зимы, холодов, дождей, словом хмури и темноты, тогда будет спокойнее. Нам по-моему, во всяком случае сейчас, наступать не надо а нужно готовиться и уж армия готова бо-

лее ли менее, но когда начинается бой, то потери, и вот пополнение тогда все расстраивает. Ну всего вам хорошего целую вас крепко

ваш сын Володька.

[1] *Корнилов* Лавр Георгиевич (1870–1918) – боевой генерал (в дальнейшем – один из организаторов белогвардейской Добровольческой армии; погиб в бою под Екатеринодаром). Он действительно бежал из австрийского плена; сразу после Февраля был назначен Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа; в конце августа 1917 г. пытался установить военную диктатуру.

[2] *...выпустили как Ленина...* – Германское правительство, поддерживая и финансируя подрывную деятельность большевиков, организовало тайный выезд Ленина с соратниками из Швейцарии через Германию в Россию в начале апреля 1917 г. (знаменитый «пломбированный вагон»).

[3] *...отказался...* – Деникин Антон Иванович (1872–1947) – боевой генерал, впоследствии один из руководителей Белого движения; в 1916 г. был командующим 8-м корпусом на Румынском фронте; после Февраля стал начальником Штаба при Верховном Главнокомандующем генерале Алексееве, после смещения коего и назначения генерала Брусилова отказался от своего поста и был перемещен на командование армиями Западного фронта; 28 августа арестован – за то, что резкой телеграммой Временному правительству выразил солидарность с Корниловым.

Ф. № 141

В. А. к родителям
13 сентября 1917

Милые мои, у нас тихо и спокойно, боев никаких, так небольшая артиллерийская перестрелка. Погода хорошая, хотя уже холодным тянет и сегодня утром был мороз чуть-чуть. Наши аэропланы очень оживились последнее время и делают большую работу, прямо молодцы. Жаль только пренебрегают зенитными орудиями и до сих пор не отнесутся серьезно к противоаэроплановой артиллерии, но теперь можно надеяться что многое исправится. Конечно много недостатков и сейчас но раньше даже что можно было и то не делали, считалось стыдным зарываться в землю или вообще обезопасивать себя, теперь же комитеты все это требуют и настаивают на том чтобы это было приведено в исполнение.

Между прочим Маруся мне пишет что нужно ли ей бежать если придут немцы, принципиально я написал что конечно пусть обязательно удирает, но думаю что сейчас рано об этом думать. А если действительно нужно будет, то ведь вы поможете удрать Маруське к вам и как-нибудь в тесноте да не в обиде устроитесь. [...]

Мама спрашивает как я делаю Василия Великого, на следующей странице нарисовал, да он только у меня что-то плохо выходит. Я хотел его

сделать как бы стоящим в царских вратах и держащим свиток, но камень очень неудобный, какой-то твердый и ломкий[1]. Ну целую вас дорогие мои
ваш сын Володька.

[1] Описанная скульптура, изображение святителя Церкви Василия Великого, не сохранилась.

----------------------------- ***Ф.*** *№ 142* -----------------------------

В. А. к О. В.
24 сентября 1917

Милая мама и папа, здравствуйте, я жив и здоров, у нас спокойно и тихо. В дивизионе у нас перемены, ушел командир дивизиона, и наш командир сел управлять дивизионом, меня взял офицером по оперативной разведочной части, я пошел, так как на все новое теперь лезу, чтоб не было так тоскливо. Пока разбираюсь во всем этом деле, и голова у меня идет кругом – много каких-то бумажек, которые нужно разобрать, разные сводки и донесения и т. д. Надеюсь, по крайней мере через месяц, удрать в отпуск и повидать всех вас, Никитку – уж я не представляю какой он, и страшно хочется его видеть.

Мать, что-то твое последнее письмо очень грустное, ведь у вас там кругом не очень плохо, и разве ты не надеешься, что может быть и не потвоему, а будет устроено не плохо в конце концов. А генералы, разве они были правы, я их тут насмотрелся – в сущности они солдат не знают и так, как они хотели делать, можно было при удаче привести Россию к полному краху, к поголовному бегству с фронта, к войне друг с другом, ведь насколько соблазнительно воевать русским с русскими, револьверы и винтовки вместо 9–12-дюймовых орудий, это куда проще и многих может соблазнить. То, что были опять насилия над офицерами – виноваты опять-таки они. Младшие офицеры в своей части были всегда любимы, после революции были эксцессы против них, потом уладилось, а теперь они опять подняли весь этот старый сор, втянув многих людей в это дело, соблазнив одних деньгами, других демократическими соблазнами. Многое налаживается в нашей армии, многое еще плохо, но знаешь, в таких условиях в каких мы воевали до революции, ни англичане, ни французы не согласились бы драться, и не согласились бы драться с такой системой и с такими потерями: окопы ни к черту, артиллерии нет, и посылают с тем чтоб не вернуться, как негров или не знаю кого. Так что англичане и французы не имеют права жаловаться на нас, смотри как они воюют – если они берут окоп

и продвигаются на один километр, то ведь и мы сейчас это делаем. Конечно легче было командовать раньше, но теперь делается больше для оборудования войны, защиты людей и зря люди не гибнут, все работают добросовестно и больше, и это хорошо. Ну да Бог с ними, но они очень и очень не правы, нужна строгость в тылу, а тут устроится и может быть лучше чем прежде, хотя все и устали.

Ну целую вас крепко крепко хочу вас видеть

ваш сын Володька.

---------------------------- ***Ф.*** *№ 143* ----------------------------

В. А. к родителям
22 октября 1917

Милые мои, здравствуйте, извините что так долго не писал. Я жив и здоров, на новой работе немного отдохнул. Приходится все возиться со схемами и с бумагами, так что время занято и думать некогда и не так волнительно, хотя вообще теперь спокойно, немцы все собирались у нас наступать а теперь по-видимому плюнули и успокоились. Кроме моего присяжного дела занимаюсь еще в учебной команде и этим увлекаюсь, доставляет мне большое удовольствие, на чужой стороне и жук мясо. Пользуясь затишьем мы собрали с батарей желающих около 50 человек и обучаем их чтобы были у нас хорошие фейерверкеры, а может и офицеры. Обучаем их нашему артиллерийскому делу, а наряду с этим грамотности и арифметике. Приятно что народ сам так и лезет на знание, особенно на арифметику. А я преподаю топографию и разведку, добиваясь чтобы знали хорошо карту, и преподавать это интересно очень да и ученики заинтересованы тоже. Так что часто думаешь, да что это сегодня было хорошее (а хорошего здесь давно не случалось) и вспоминаешь что ведь это урок доставил мне такое удовольствие[1]. А в общем конечно скучно. Развлекает еще то что готовятся у нас к выборам и ей Богу нигде пожалуй в тылу не будет такого корректного отношения ко всем партиям, монархистов нет, а то и к ним бы совсем спокойно отнеслись бы. Выберут какого-нибудь воина на общественную должность в комиссию или в комитет, он уж такой важный станет и уж согрешить никак не сможет кто бы на него ни кричал. Это может быть не сплошь, но вот здесь я наблюдаю. Да еще ведь вот какая история, помните я писал про Московск/ое/ Товарищество, так ведь это осуществилось. Недавно приходит сюда телефонограмма от Инспектора Артиллерии что прап/орщик/ Фаворский освобожден от военной службы, оказывается просто это делается.

Ну вы конечно не рассердитесь на меня за то что я отказался от этой чести. Я не геройствую, просто совестно по такой причине освобождаться, на всю жизнь дать повод себе упрекнуть себя, да и глупая это какая-то мера, ну что ж вернутся сейчас художники и будут должны зарабатывать чем угодно, только не живописью. Уж если хотят помочь искусству пусть дадут мне отвоевать и потом ну по 100, по 50 р. в месяц определят, вот я бы и работал для искусства. Только злят, да и очень это несправедливо, например Васильев, он в Моск/овском/ салоне, их не освобождали, а Истомин, чем он хуже меня, его тоже не освободили. Ну Бог с ними, я хотел сделать аферу и сменять освобождение на хороший отпуск, но сейчас мне к сожалению нельзя, я сейчас один офицер у командира а должно быть их три, да еще учебная команда, но как она кончится так я смогу поехать, а это будет через полтора месяца. Ну целую вас милые мои любимые давно от вас ничего не получал. Да еще новость, пришел наконец мой крест солдатский[2] аккурат через год, когда в отпуск поеду так надену

всего хорошего

ваш сын Володька

[1] Это для В. А. первый опыт профессионального преподавания (пусть и не искусства), причем неподготовленным ученикам – впоследствии этот опыт пригодится во ВХУТЕМАСе.

[2] *Крест солдатский* – Георгиевский крест 4-й степени, за храбрость.

***Ф.** № 144*

В. А. к родителям
20 ноября 1917

Милые мамка и папка, завтра едет мой денщик в Москву, ему 40 лет и его отпускают со службы. Я пользуюсь случаем и посылаю с ним письма. У нас здесь сейчас не плохо, голода нет, беспорядка нет, но все жаждут мира и думают что скоро он будет. Порядком мы обязаны очевидно Украйне и за это ей большая благодарность. Есть разговоры про Румынию что будто она переходит на сторону Германии, все может быть, уж очень в глупом положении она оказалась в компании с нами[1]. Что тогда будет с нами одному Богу известно, ну может этого и не будет. Между прочим я скоро должно быть приеду в отпуск так что к этому времени вы меня ждите, приезжайте в Москву или известите. Едва ли я смогу тогда известить телеграммой[2], так вот – я наверно выеду отсюда 10 декабря и числа 17 буду в Москве, если конечно чего не случится[3] [...] будьте здоровы

ваш сын Володька



В.А.Фаворский. Иллюстрация к повести С. Спасского «Новогодняя ночь». 1932



В.А.Фаворский. Эскиз обложки. 1932

[1] 26 ноября Румыния заключила Фокшанское перемирие с Германией и Австро-Венгрией, а 2 декабря правительство большевиков – сепаратное перемирие с германской коалицией.

[2] Видимо, в дальнейшем военная почта практически не работала.

[3] К этому времени уже «случился» Октябрьский переворот, и дальнейшие события не позволяли В. А. оставить батарею до февраля. Фаворский вспоминал:

...когда-то мне казалось, что все, все назревшие вопросы сумеет разрешить Учредительное собрание, но ничего оно тогда не решило, и постепенно стал понимать, что, по-видимому, все и всегда в конечном счете решается силой. Вспоминаю, как радостно все восприняли Февральскую революцию... Во время же Октябрьской на фронте, в Румынии, служил в артиллерии, и как раз в артиллерии отношения между офицерами и солдатами были всегда проще, и тогда я в октябрьские дни был выбран от офицеров в солдатские депутаты... Не знали, как быть с оружием, с лошадьми, куда девать. Некоторые солдаты просили не бросать лошадей, и не бросали... но все мечтали скорее оттуда выбраться, добраться до России, до Москвы... (Из записи от 19.02.1962 ученика В. А. – В. Н. Вакидина). В. Ф. 1991.

В феврале 1918 года Владимир Андреевич уехал в отпуск в Москву[1].

[1] *[...] уже под самый конец Первой мировой войны... стало ясно, что уже надо возвращаться домой, но командованию хотелось проделать это в образцовом порядке, то есть так, чтобы обратно в Москву, где часть формировалась, вернулась и вся сохранившаяся ее материальная часть, а также и весь людской состав полностью; но такое стало уже невозможным, хотя бы из-за неполадок на транспорте. Когда в то же время пришлось поехать в отпуск, проезжал по дороге Киев и там уже при полной неразберихе (кажется, была власть какого-то временного правительства) нашел какое-то русское учреждение и к ним обратился, чтобы выяснить возможность перевода своей части в Москву. – «Если вы за большевиков, тогда мы вас туда не пустим, а если за нас, то тогда присоединим к нашему войску» [...]* (Из записи от 22.01.1957. В. Н. Вакидин. Страницы из дневника. М.: Советский художник, 1991).

Хотя на момент подписания мира В. А. был уже в Москве, а армия уже какое-то время находилась в неопределенном положении перемирия, но сам-то он определенно ощущал себя тогда связанным с дивизионом – через много лет он говорит (по поводу своих гравюр к повести С. Спасского «Новогодняя ночь»):
Когда Ленин заключил Брестский мир, мы из Румынии /уже/ ушли и стояли в Бельцах. Так там каждый вечер стреляли – не как на фронте, не в человека, а вообще стреляли. Ну вот и здесь я /это/ сделал. И заборы тамошние – мне провинцию надо было сделать. [...] чтобы предметнее было, я резал изображение [...] мне казалось, что так даже запах лошади передается. Тогда помнился и скрип седла, и запах шинели...
[В. Ф. 1991]. (Из /записи/ разговоров Фаворского о своих работах с искусствоведом Е. С. Левитиным в 1962 г.).

---

3 марта 1918 года был заключен Брестский мир.



Театральный фургон Ефимовых на улицах Москвы 1 мая 1919 г.
Внутри – Н.Я. Симонович-Ефимова, на крыше – Адриан Ефимов, справа – И.С. Ефимов с куклой «Крылов».

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вернувшись с войны,
И. С. Ефимов начинает преподавать скульптуру во ВХУТЕМАСе
(первоначально ГСХМ).
Возобновляет собственную творческую работу,
а также получает заказы[1].

[1] Делает большие графические листы; исполняет афиши, плакаты. По заказам для реализации «Плана монументальной пропаганды» в Москве Ефимов выполнил 5 цементных рельефов: «Самсон» и «Лев Революции» – на зданиях Румянцевского музея (в дальнейшем – библиотека им. В. И. Ленина); «Пробивающий туннель» – на здании Наркомата путей сообщения; «Кто не работает, пусть не ест» – на ограде бывшего артиллерийского училища на Гоголевском бульваре; «Геракл с быком» – на здании Малого театра.

Сокольничья районная Дума. 2 мая 1918 г. N 2264[1].

> Сокольничья Управа удостоверяет, что предъявитель сего И. С. Ефимов является уполномоченным Управы по устройству в Сокольниках народных гуляний и летних театров. Его ведению подлежат Старые гулянья, летний городок, театр бывший Тиволи. Председатель Управы И. Русаков[2].
>
> Секретарь М. Гуревич.

[1] Документ написан еще на «старорежимном» бланке.

[2] Русаков был раньше соседом Ефимовых по квартире в Сокольниках и дружил с ними (*см. Е. № 1*).
Весной 1918 года Иван Васильевич Русаков, первый председатель Сокольнического Совета, предложил Ефимову заведовать народными гуляньями Сокольников, Пресни и Чистых прудов, предполагая заменить старые народные увеселения чем-нибудь другим. Однако Ефимов крепко вступился за все эти вековечные тиры, качели, кегельбаны, чаепития и /народные/ кукольные театры, и ему удалось отстоять их перед Советом.
Вот момент объединения нашего с «народным Петрушкой» [Н. С. 1980].

Многие творческие идеи, зарождение которых прослеживается в переписке Ефимовых, счастливо воплотились в реальных делах в последующие годы. Увлечение Нины Яковлевны теневым и кукольным театром захватило и Ивана Семеновича и привело к созданию «Театра кукол Ефимовых» – частного театра движущейся скульптуры, активная деятельность которого продолжалась до 1944 г. В 1924 г. Нина Яковлевна написала книгу «Записки Петрушечника», являющуюся замечательным памятником того времени, книгу, выстраданную собственным опытом, пронизанную волнующей атмосферой тех лет – и в то же время высоко профессиональную, сочетающую историю, практику и теорию Кукольного Театра (книга с рисунками Н.Я. и И.С. Ефимовых и с обложкой В.А. Фаворского издана в 1925 г. в Москве; в 1935 г. вышла в Америке, в переводе Елены Миткофф; а в 1980 г. переиздана «Искусством»).

Не пытаясь передать суть, пафос и ткань этой книги, извлечем из нее краткие сведения о первых этапах становления ефимовского театра.

В апреле 1918 г. Ефимовых пригласили сыграть на вечере, дававшемся в пользу инвалидов (на Бронной, в т.н. «Романовском зале»). Там им предложили работать для театра «Эрмитаж», где устраивались «литературные утра», и дали *довольно крупный задаток* для *постройки новых кукол* и *разучивания новых вещей.*

Вещи эти – «Крестьянин и Работник», «Две Собаки», «Крестьянин и Смерть», «Обед у Медведя» (по басням Крылова); «Курочка-ряба» для музыки И.А. Саца; и сказка А.Н. Толстого «Мерин» (исполнявшаяся под чтение автора).

[...]

Чудные были первые выступления в «Эрмитаже».

Новое поприще: бесконечно весело, но и страшно [...] Убеждена, что в Москве только и есть действительно интересного, так эти петрушки, но в то же время испытываешь стыд, что залезла с такой, будто бы, «дрянью» в «барские хоромы».

(Петрушка чередовался тогда на эстраде с чтением К.Д. Бальмонта.)

[...]

Полны сомнений и волнений были еще и следующие за «Эрмитажем» публичные выступления в Сокольниках, на Кругу, в июне восемнадцатого года.

[...]

Счет спектаклей я начинаю с той даты, когда столяры Сокольничьего Круга исполнили остов нашего теперешнего балагана.

в 1918 г. было сыграно 70 спектаклей (с июня)
в 1919 г. – 124
в 1920 г. – 144
в 1921 г. – 114
в 1922 г. – 52
в 1923 г. – 56
в 1924 г. – 41
Итого 601 (до 1925 г.)



В.А.Фаворский. Гравюра для обложки книги. 1925

РАБОЧІЙ КЛУБЪ ГОРОДСКОГО РАЙОНА
Московскаго Центральнаго Рабочаго Кооператива

въ Воскресенье 20 октября
устраиваетъ

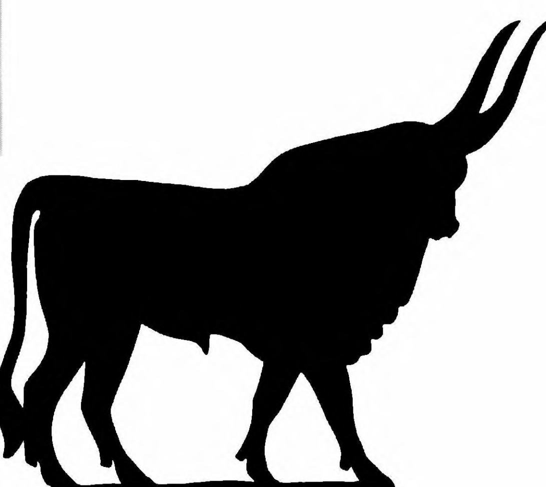
ДѢТСКОЕ УТРО

ПРОГРАММА:
I отдѣленіе.
СКАЗКИ.
II отдѣленіе.
БАСНИ КРЫЛОВА,
представленные „ПЕТРУШКАМИ" ЕФИМОВЫХЪ:
Крестьянинъ и работникъ. Лисица и виноградъ. Трудолюбивый медвѣдь. Волкъ и журавль.
III отдѣленіе.
ДВѢ СОБАКИ

Принцесса на горошинѣ (по Андерсену). Ссора. Ученый медвѣдь. Больной петрушка. Пляска звѣрей.
Послѣ концерта завтракъ и чай.
ДѢТИ допускаются въ возрастѣ отъ 6 до 18 лѣтъ.

1923
МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР
МИНИАТЮР
ХУДОЖНИКОВ ЕФИМОВЫХ
Программа:
И А КРЫЛОВ и его басни
НАРОДНЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ
Комедия Салтыкова Щедрина
„Как мужик генералов прокормил" в 3-х действиях.
Комедия Андерсена „Принцесса на горошине"
Веселый ПЕТРУШКА
Выход купца Обиралова
БАБА-ЯГА, НЕГРЫ,
ТАНЦЫ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ
НАЧАЛО____ *Цена билета*____
ИГРАЮТ ЖИВЫЕ ГОВОРЯЩИЕ КУКЛЫ

НЕ БРОСАЙТЕ!
Концертный павильонъ
СОКОЛЬНИЧЬЯГО КРУГА
8-го Іюня, СУББОТА
5 часовъ.
1918
Басни КРЫЛОВА
иллюстрированныя „Петрушками" Ефимовыхъ.
Русскія пѣсни и разсказы А. I. ТРЕТЬЯКОВА.
Разсказы Чехова арт. Худож. т. И. М. МОСКВИНЪ.
(домры) Г. П. ЛЮБИ
Арт. Госуд. театра В. И. ФИЛИП
Партію фортепіано В. А. ЗИР
Холодныя и горячія закуски по доступнымъ цѣнамъ.
Билеты при входѣ цѣна 4 рубля, для член. рабоч. организацій 2 руб.
Приходите!



Афиши театра Ефимовых. 1918–1927

Силуэты к постановке «Мена». 1918

Театр бывш. ЗОН

1923

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18-го МАРТА в 2 ЧАСА ДНЯ

ДЕТСКОЕ УТРО

ГНОМЫ

и др. СКАЗКИ в исполнении КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА ХУДОЖНИКОВ ЕФИМОВЫХ. 1923

18 ДЕКАБРЯ ГАБТ ВОСКРЕСЕНЬЕ

БЕТХОВЕНСКИЙ ЗАЛ

Начало в 12½ часов дня

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ЕФИМОВЫХ

И. А. Крылов и его басни:

Веселый Петрушка

Две Мыши

Две Собаки

Волк и Журавль

Шествие Народов

Принцесса на горошине

ТАНЦЫ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

II отделение

БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

в исполнении балетного техникума Габт

ЦЕНЫ МЕСТАМ от 35 коп. до 1 рубля

...до 4 лет проходят бесплатно

...в библиотеке ГАБТ



КЛУБ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВ.-ТЕХНИЧЕСК. ИНСТИТУТА (ВХУТЕИН)

Рождественка, № 11

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАЯ

ТЕАТР ТЕНЕЙ и КУКОЛ

художницы Н. СИМОНОВИЧ и скульптора И. ЕФИМОВА

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

1. Петрушка
2. Ив. Андр. Крылов и его басни: „Волк и Журавль", „Две Собаки", „Мыши"
3. Андерсен и его сказка
4. Кукла-пионерка

ТЕАТР ТЕНЕЙ

1. Сказка Пушкина „Как весенней теплой порою"
2. „Буря мглою небо кроет"
3. Приезд Пущина к Пушкину
4. Стихотворение Языкова на смерть няни Пушкина

В эти годы создано еще около 15 новых пьес, номеров и интермедий. Где-то сыграно по 1–2 спектакля, где-то помногу. Часто – бесплатно, иногда – лишь за еду (и это, в первые годы, – самая важная часть оплаты). Играли:

в школах, училищах, институтах, детских садах; в библиотеках, читальнях, Дворцах Рабочих; в клубах фабрик и заводов («Красный Октябрь», «Красный мак», «Красная звезда» и пр., «Богатырь», «Динамо», «Спартак», «Каучук»; ф-ка б. Листа, ф-ка Абрикосова, ф-ка Альшванг и пр.); в клубах жилтовариществ и в ж. д. клубах; в Центросоюзе, Наркомпросе, Губсоюзе, Гознаке; в Артельбанке; в «Славянском базаре»; в Театре Корша, театре «Мозаика» и др.; в Кремле; в детском еврейском клубе; для детей милиционеров; в «Кривом Джимми»; в парках, садиках, рощах, в летних театрах, на лужайках, бульварах; на гуляньях; в Зоологическом саду; во ВХУТЕМАСе; в Доме печати; на съездах педагогов; в «Летучей мыши» – для московских детей и членов Американской миссии; в военных лазаретах; на высших женских курсах; в ж. д. мастерских в Перове; в Колонном зале Дома Союзов; у Яра; в больницах, в том числе для дефективных детей, и в колониях для душевнобольных; в детских туберкулезных санаториях; в театре б. Тиволи; в «Обществе бывших политкаторжан»; на елке во Внешторге на Ильинке; в училищах глухонемых; в приютах и распределителях для беспризорных; в Нескучном саду; в Сокольниках – на Кругу и на Ширяевом поле; в вегетарианской столовой; в Реввоентрибунале; в частных домах, на маскарадах; в детдомах: им. Луначарского, им. Розы Люксембург, «Золотой петушок» и множестве других; в больнице для сифилитиков в Грузинах; в городах – Волоколамске, Можайске, Подольске, Серпухове, Кимрах, Сергиеве, Липецке... в 1921 г. – с июня по октябрь – на агитбарже – в плавании по Волге и Каме: в Казани, Перми, Богородске, Челнах, Сормове, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме... по затонам и деревням...

Вот отрывок из текста П.А. Флоренского, написанного им после спектакля, сыгранного Ефимовыми в Сергиеве: *Куклы из тряпок, кусков дерева и бумажной массы совершенно оживают и действуют самостоятельно: они уже не следуют движениям управляющей ими руки, а напротив, сами ее направляют, у них свои желания и вкусы, и становится совершенно очевидным, что в известной обстановке через них действуют особые силы. Это представление начинается игрою, но далее врастает в глубь жизни и граничит то с магией, то с мистерией.*

В феврале 1918, вернувшись из армии, В.А.Фаворский,
по рекомендации Р.Р. Фалька,
поступил ассистентом по живописи и рисунку
во Вторые Свободные Художественные Мастерские
на Мясницкой
(б. МУЖВЗ; в дальнейшем – ВХУТЕМАС).

В. А. к О. В. *из Москвы – в Епифановку*
13 августа 1918

Милая моя мама, со мною тут было приключение, но оно окончилось благополучно – меня было арестовали как офицера, но отпустили[1]. Я работаю вообще много и заказы есть и как будто что дальше то больше, давно уже сделал виды Москвы[2] и начал резать буквы[3], одну из них тебе посылаю. Недавно заказали мне декорации[4] и еще Виппер заказал обложку[5], столько заказов что боюсь что не справлюсь. Был в Домотканове, там живут очень хорошо[6]. Маруся устает с Никиткой но не очень. Как ты там живешь, очень жаль что приходится жить все врозь. Ну целую тебя крепко крепко

твой сын Володька

[1] В сборнике биографических очерков («...Под покров Преподобного» – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007), составленном Т. В. Смирновой, в тексте о Павлиновых читаем: *К событиям 1918 года относится рассказ* /сына П. Я./ *об аресте П. Я. Павлинова с группой других офицеров царской армии. Им грозил расстрел. Об этом узнал нарком просвещения А. В. Луначарский (он нередко бывал в доме Павлинова, где проходили заседания МТХ). Луначарский прислал своего представителя, чтобы освободить Павлинова. Тот сказал: «А ведь тут и Фаворский...» Обоих удалось спасти.*

[2] *Виды Москвы* – серия из пяти гравюр, выполненная В. А. в 1918 г. по заказу журнала «Понедельник» (в котором они не были опубликованы).

[3] *Буквы* – гравированные инициалы для романа А. Франса «Суждения господина Жерома Куаньяра». Печатать его собиралось сначала издательство «Венок», затем «Альциона», но издание не состоялось и работа В. А. не была закончена; им было сделано 17 буквиц – но эти «маленькие шедевры» вскоре стали известны художественному сообществу и сразу поставили В. Фаворского в первый ряд мастеров гравюры.

[4] *Декорации.* – Очевидно, речь идет о замысле Детского театра. В это время Фаворский включается в подготовку «театра марионеток», ставшего одним из отделений Кукольного театра, образованного при *Детском секторе ТеаМузСекции Московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов* в Мамоновском переулке.

(Из письма О. В. в Москву от 8 августа: *Володя получает жалованье от марионеточного театра, за что? Какую роль играет? Кто там заправилами?*)

Помимо «Марионеток», театр составился из отделений «Петрушек» и «Теней», которые вели, т. е. были режиссерами, авторами текстов, создателями кукол и актерами, – И. С. и Н. Я. Ефимовы. Заведующим всего Детского сектора была назна-







В.А.Фаворский. А.Франс «Суждения господина Жерома Куаньяра».
Гравированные инициалы к гл. XI и XII («Армия»). 1918

В.А.Фаворский. Театральная площадь. Гравюра из серии «Виды Москвы». 1918





В.А.Фаворский. А.Франс «Суждения господина Жерома Куаньяра».
Гравированные инициалы к гл. XIX и XXI («Правосудие»). 1918

В.А.Фаворский. Вид на Кремль с Крымского моста. Гравюра из серии «Виды Москвы». 1918

чена пятнадцатилетняя Наталья Сац, и Ефимовы убедили ее в необходимости для детей именно Кукольного театра, и притом «Театра Художников»; позвали В.А. с друзьями, и они стали работать над своим спектаклем «Д А В И Д » – *«детской героической пьесой для марионеток» (действующие лица: ДАВИД, ЛЕВ, ВОИН, СТАРИК, ГОЛИАФ, ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ, НАРОД и ВОЙСКА)*. Автором пьесы и режиссером был М. Корольков, одним из кукловодов (невропастов) – его жена Е. Орнатская. Самих кукол резал из дерева В. Фаворский, декорации писал К. Истомин. Механизмы для кукол взялся делать Павлинов. Зав. технической частью театра был приглашен Максим Фаворский (и, вероятно, тогда же, произведя своим артистизмом впечатление на Н.И. Сац, получал роли в игровых спектаклях театра). Премьера пьесы «Давид» состоялась 15 декабря 1918 г. Готовились и другие спектакли: «Липанюшка» – по русской сказке и «Баранья нога» – по «Тысяче и одной ночи». Но поставить их не успели – весь Кукольный театр ликвидировали.

По свидетельству Н.Я. Симонович-Ефимовой, *за восемь месяцев его существования было дано около ста теневых, ста петрушечьих и несколько меньше того спектаклей марионеток.* Сейчас кукла «Давид» и еще несколько уцелевших марионеток Фаворского находятся в собрании Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова. Там же хранятся многие из ефимовских петрушек, в том числе сам «Петрушка», кукла «Иван Андреевич Крылов», «Волк», «Журавль» и знаменитые тростевые куклы к «МАКБЕТУ» – эта система «кукол на тростях» изобретена, запатентована и введена в обиход мировых театров Н.Я. и И.С. Ефимовыми. Отметим, что Образцов учился как художник во ВХУТЕМАСе у В.А. Фаворского, а как кукольник многое почерпнул у Ефимовых.

[5] *...Виппер заказал обложку.* – Виппер Борис Робертович (1888–1967) – историк искусства, музейный деятель; впоследствии – профессор, член-корреспондент АХ СССР; учился в Московском университете вместе с В.А. Гравированная обложка для книги Виппера «Проблема и развитие натюрморта» не была осуществлена; карандашный эскиз В.А. Фаворского находится в собрании ГМИИ.

[6] *...очень хорошо...* – На самом деле жизнь там была достаточно трудна, хотя, до поры, относительно спокойна.

Но в ноябре в усадьбу пришли чужие люди, *не из соседних деревень*, реквизировали ценности и заняли сначала дом Вал. Дм. Дервиза («тот дом»). Ляля с Юрой уехали в Москву, а Гриша пытался выручить в тверском Комитете отобранные книги по математике, телескоп... В очередной раз ничего не добившись, он вернулся в Домотканово и в отчаянии – принял яд. Вскоре остальным убитым горем домочадцам был вручен мандат о выезде из имения в трехдневный срок. Только Аделаиде Семеновне, за ее заслуги как педагога, выдали «Охранную грамоту» и разрешали взять, что она захочет из своих вещей. Она уехала, ничего не взяв... Митя, по распоряжению отца (которому нельзя было появляться в Твери и Домотканове), жег дервизовский архив... В.А. приезжал забирать М.В., Никиту и Лелю.

До этого уже было национализировано хозяйство Андрея Евграфовича – Епифановка. Ольга Владимировна последней из Фаворских покинула хутор – вдвоем

ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ М. С. Р. К. Д.

1918

ОТДЕЛЪ РЕКЛАМЪ и ОБЪЯВЛЕНІЙ

ДЕТСКАЯ КОМИССИ

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ПЕТРУШКИ. МАРИОНЕТКИ. ТЕНИ.

Тверская, Мамоновский пер. д. 10.

Во Вторник 10-го, Четверг 12-го, Субботу 14-го Декабря,

ПЕТРУШКИ.

1. ВОЛЬНОЙ ПЕТРУШКА.
2. ЛИСИЦА и ВИНОГРАД.
3. КРЕСТЬЯНИН и РАБОТНИК.
4. ВОЛК и ЖУРАВЛЬ.
5. ТРУДОЛЮБИВЫЙ МЕДВЕДЬ.
6. ДВЕ МЫШИ.
7. ПУСТЫННИК и МЕДВЕДЬ.
8. ДВЕ СОБАКИ.
9. ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ (по Андерсену).

БАСНИ КРЫЛОВА.

ТЕНИ

1. МУЖИЧЕК С НОГОТОК.
2. МАСЛЕНИЦА В ДЕРЕВНЕ.
3. МЫШИ И КОТ.

Коллегия Кукольного театра

Авторы исполнители Петрушек и теней художники

Н.Я. и И.С. ЕФИМОВЫ.

1-й Спектакль Театра МАРИОНЕТОК ... -го ДЕКАБРЯ

Билеты продаются в кассе театра от 4-х до 8 час. веч. в будни и праздники от 12 до 6 веч.

Цены местам: ДЕТИ 2 р., ВЗРОСЛЫЕ 5 р., дети, принадлежащие к пролетарским организациям платят по 1 рублю по предварительной записи в Театрально-Музыкальн. Секции (Кузнецкий пер., д. 1, кв. 5,) у секретаря Детской Комиссии от 12 до 3 дня ежедневно, кроме праздников.

Администратор Н. ВОЛКОВ.



Афиша Кукольного театра в Мамоновском переулке. 1918

В.А. Фаворский. Давид (марионетка). 1918 (музей ГЦАТК)

со старой кухаркой Дашей, они, нагрузив корзину вещами, тихо ушли из дома и добрались до рыбаков, которые переправили их на проходящий по Оке пароход. В. А. получал корзину в Москве, на пристани. Больше ни в Домотканово, ни в Епифановку не возвращались. (Изложено по «Запискам» М. В.)

Еще раньше было экспроприировано имение Ефимова. Усадьба в Отрадном была разорена, земля национализирована, яблоневый сад (антоновка) вырублен. Вот письмо от кормилицы к И. С. и Н. Я. из деревни Даренка от 9 декабря 1917 г. (орфография и пунктуация оригинала – писал, по-видимому, внук кормилицы, сама она была неграмотной):

> *Дорогой мой Иван Семеныч и дорогая моя Нина Яковлевна, дорогой Андр/иан/ Иванович. Кланиется вам Кармилица Агафья Яковлевна, заочно вас целую. Спешу уведомить вас, пишу вам: Отрадном дом ваш згорел, и амбары 3 разгромили и увезли и из конюшни всё повыбрали, и где Яков жил – всё разгромили и жесть увезли, и верх свезли всё, и баню увезли. Нина Яковлевна приезжайте вы сами как ни можно. Яков ушол от тележенских. Первый раз выбрали белья и платья и лесопет и черный шарабанчик.*
>
> *Это всё хорошевские. За милицию Яков ездил, а милиция приезжала, нашли в Хорошевке немного вашего добра. Больше Яков не признал, с обыском не ходил. Столы, стулья унесли всё тележинские. И разгромили всё тележинские. Я к себе взяла, милиция приказала что взять, кое-что. Мне тележинские грозят, хотят жечь. Через это приезжайте сами как ни можно приезжайте пожалосто. А больше милиция не идет. Разов пять Яков приезжал. Пишите ответ как ни можно.*

Однако в дальнейшем связь с отдельными жителями деревень не прервалась – вплоть до конца 40-х годов в Москве, в доме на Садовой Спасской, у Ефимовых появлялись родственники кормилицы, гости из Даренки, из Тюшевки, приезжавшие в Москву по своим нуждам.

Летом 1920 г. Ефимовы проехали со своим кукольным театром по тем местам.
Н. Я. сравнивает эту поездку с предыдущим путешествием этого же года по Московской губернии, когда, не сумев сесть ни на один поезд после 20 представлений, сыгранных на Масленицу в селах под Волоколамском, ехали пять недель на санях (по белейшим снегам), давая спектакли во встречных глухих *в то безвременье* деревнях *(время заградительных отрядов в деревне, голода, отсутствия лошадей),* но где: *[...] нас не просто терпели, но благодарили за бодрое настроение, которое сообщалось спектаклем. [...] ...в Тамбовской губернии положение наше с театром было иное. Население здесь ни о каких спектаклях не слыхивало, да и ездить пришлось летом, когда крестьяне черноземных этих мест превращаются, конечно, в совсем особые существа, ни о чем не помышляющие, как только о земле, земле и работе.*

А тут еще голод и разгром после недавно схлынувшего (кажется) Мамонтова.

Совсем не место театру. Существование наше держалось все время на острие ножа, но мы все-таки ездили, так манила родная степь. Играли только по воскресеньям. Уезды были Липецкий и Лебедянский. Деревни – Студенки, Сокольское, Даренка, Те-

леженка, Тюшевка, Боринские сахарные заводы, Студенские хутора, Дикое, Вшивка, Вешеловка, Кистенева дубрава.

Есть угроза в самом звуке этих названий.

Спектаклей дали двадцать. Семь из них в Липецке. [Н. С. 1980. С. 90].

В конце июня 1919 года В. А. Фаворский
как кадровый офицер-артиллерист
был мобилизован штабом округа в РККА.

В. А. к семье *из-под Саратова – в Москву*
23 августа 1919

Милые мои папашка, мамашка и Маруся, целую вас крепко, не знаю как вам писать. Вы наверное ничего обо мне не знаете и письма мои едва ли получили. Я от вас ни одного не получил и ничего не знаю как вы живёте, здоровы ли и очень ли голодаете. Про меня можно сказать что было и хорошее и плохое, но в общем мне не плохо и вы можете обо мне не беспокоиться. Как вы наверное догадываетесь – до Астрахани я не доехал и в XI Армию не попал, а доехал только до Царицына и в то время, когда уже его взяли и мне пришлось возвращаться в Камышин на пароходе. Там я явился уже в Х-ю Армию. Меня как еще не опытного в новой войне отправили за реку Волгу в запасную батарею. Там было безопасно, но как-то уж очень беспорядочно. Я там просидел под деревцом один день, а на другой явился командир дивизиона артиллерийского и взял меня к себе на службу. Благодаря моему не воинственному виду и бороде он не предложил мне никаких воинственных должностей, а сделал делопроизводителем канцелярии, и я с тех пор сижу за бумагами и копаюсь в них с моими писарями, которые оказались ребята неплохие, и репутация моя как человека не воинственного всё усиливается; и в то же время я нужен просто как более или менее грамотный человек.

Так мы жили довольно спокойно. Да, я забыл сказать что дивизион, куда я попал, только еще формируется и поэтому стоит в тылу а не на позиции. Питают довольно скверно, но конечно лучше чем вас и кое-что можно достать на стороне, правда за очень большие деньги.

Да, но вы наверное слышали что Камышин был взят, так вот это я испытал на собственной шее и пожалуй никогда не забуду. Не знаю описывать ли вам или нет, только пожалуйста не пугайтесь, так как я остался жив и вообще по этому случаю нельзя судить чтобы всегда бывало на этот манер.
Мы стояли под Камышином вместе с массой обозов состоящих из верблюдов, быков, людей, женщин, ребят – всё это паслось и топтало поля. Противник окружил всё это и вся эта масса пошла прорываться к Саратову вдоль по Волге. Вперёд пошла пехота и кавалерия, за ними обозы – в том числе и мы, а сзади должны были нас защищать тоже пехота и кавалерия. Идти нам пришлось по самому берегу; спуск к берегу был очень обрывистый и тут обозы задержались, арьергард наш разбежался и неприятельская кавалерия (говорят, чеченцы) наскочили на обозы, началась отчаянная паника, всё это бросилось вниз к реке, давя друг друга, перевёртываясь через головы. Я счастливо был уже внизу. Часть нашего обоза выскочила и пошла наутёк по берегу под защитой обрыва и так утекали. Но через версты четыре опять на нас из бокового овражка выскочили чеченцы и захватили почти весь наш обоз и многих людей. Я же был впереди и опять ушёл счастливо. И так продолжалось бегство несколько дней по камням по берегу реки. Я первый день шёл, а потом меня посадили на оставшуюся двуколку. Бегство это, особенно первый день, было очень знаменательно: нас припирали к Волге, а мы старались панической толпой убежать и проскользнуть к Саратову, идя по самому берегу у воды, скрываясь за обрывом. Вся эта толпа, совершенно не могущая защищаться, бегущая как бараны.
Было ужасно жарко и Волга, которая нам мешала, в то же время и спасала: мы шли, пили и обливались всё время, но, несмотря на это, сплошь лежали люди упавшие от солнечных ударов; многие заходили в воду и ложились там в бессознательном состоянии и захлёбывались. Животные бросались в воду и тонули с телегами и грузом. По дороге бросали всё решительно.
Я не получил еще до этого времени ни обмундирования ни сапог и шёл поэтому в своих драных сапогах и поранил все ноги, так что на другой день идти не мог и меня посадили на двуколку. Этот первый день я никогда не забуду. Я шёл потому что лежать не мог думая о Маруське и о вас и ни за что не хотел оставаться. Идти было очень трудно и трудно было удержаться чтобы не лечь. Со мной шли несколько писарей и некоторые из них легли и потом не могли встать.
Но всё это кончилось. Мы выскочили, и теперь находимся под Саратовом в безопасном месте, и снова будем формироваться.

Все мои инструменты, книги и вещи – словом всё – захватили чеченцы, и от сапог остались одни голенища, которые я обменял в деревне на хлеб (одно время нам ничего не давали).
Теперь выдали нам кое-какую одёжу, но обуви еще не давали, и я хожу босиком; правда, мне трудно было бы надеть что-нибудь, так как ноги распухли и на них нарывы, но нет худа без добра: меня никуда не тревожат с моего места, хотя уже был приказ, что строевые не могут занимать таких мест.
Теперь мы стоим у самого Саратова в деревушке и когда входили сюда, то мне наш начальник связи сказал что здесь в деревне живут художники из Саратова и будто бы они меня знают. Я пошёл к ним с визитом во образе Христа, в одной нижней рубахе и в старых отцовских брюках, босиком. Оказался художник москвич Константинов[1] с семьёй и еще один саратовский художник. Приняли меня очень радушно и я к ним хожу; стараются меня одеть и приветить, большое им спасибо, я хожу и отдыхаю. В общем я живу не плохо, кругом люди неплохие, ко мне относятся хорошо. Главное что меня беспокоит – это посылки вам; как тут ни трудно достать что-нибудь, но всё-таки возможно – но главное, нет во что запаковать; но я постараюсь всеми силами присылать что ни попадётся.
Из Москвы тут довольно мрачные вести о ценах. Я посылаю это письмо со Степановым, моим сослуживцем по дивизиону – постарайтесь наградить его обратным письмом ко мне от себя и от Маруси и сообщите мне как можно больше известий обо всех, особенно меня интересует Мишка Ш.[2] Поклон всем, всем. Как Никита? Я верю что вы живы и здоровы. Я же все силы прилагаю чтобы увидаться с вами. Целую вас крепко крепко, жену мою Марусечку прошу не унывать и бороться за существование так же воодушевленно как я[3]. Максимке поклон и прошу его если можно помогать вам. Всего хорошего Даше поклон

ваш Володька.

[1] *Константинов* Федор Константинович (1882–1964) – художник; в 1919 и 1920 гг. жил в Саратове.

[2] *Мишка Ш.* – М.В. Шик; в 1918 г. он принял крещение (крестным отцом был В.А.) и обвенчался с Н.Д. Шаховской (1890–1942); по их совету, к ним в Сергиев Посад уехала из голодной Москвы М.В. с Никитой; с 1919 г. М. Шик работал в Комиссии по охране памятников истории и старины Троице-Сергиевой Лавры; в 1923 г. рукоположен в диаконы; в 1925-м арестован; в ссылке (в 1927-м) был рукоположен в священники; не признал «обновленческую» церковь и по возвращении из ссылки служил тайно; снова арестован в 1937 г. и расстрелян на полигоне НКВД Бутово под Москвой.

[3] Через полгода Владимир Андреевич благодаря запросу И.Э. Грабаря (к которому, среди прочих влиятельных лиц, уже безо всякой надежды обращалась М.В.) приказом был отозван из армии и в марте 1920 г. через разоренную и охваченную тифом страну, с мешком крупы и мешком сухарей, уже заболевающий тифом, добрался до своих. Его рассказ об этом путешествии записан М.В. и приведен в ее «Записках», также как и дальнейшие события – страшная болезнь и чудесное выздоровление, налаживание новой жизни и работы, соединение со старшими Фаворскими и Вл.Дм. Дервизом под сенью Троицкой Лавры, знакомство с о. Павлом Флоренским, создание ВХУТЕМАСа и избрание В.А. его ректором, кончина в 1924 г. Андрея Евграфовича и рождение второго сына Фаворских – Ивана.

В.А. ФАВОРСКИЙ

/О ВОЙНЕ/

Написано в начале Отечественной войны
для газеты «Советское искусство»
(тогда не опубликовано)

Мне пришлось быть на фронте в последнюю империалистическую войну, сын мой сейчас находится в действующей армии.

Насколько тогда, сравнительно с сегодняшними днями, еще неясны были цели войны, стремления воюющих государств и смысл твоего участия в сражении и насколько сейчас все это совершенно ясно и определенно.

Тогда казалось, что дело идет о каких-то отдельных кусках земли, о том, под кем будет Варшава, об Эльзас-Лотарингии и т.п. Конечно, агрессивность немецкого империализма уже чувствовалась, но разве можно это все сравнить с теперешним положением? Те тенденции, которые и тогда, конечно, были в Германии, развились на почве германского безвременья в уродливые, сумасшедшие доктрины. И вот Германия, немецкий государственный аппарат, утративший человека как мерило и благо, человека как цель и вооруженный до зубов современной военной техникой, порабощает целый ряд стран и, наконец, сейчас грозит уничтожить Советский Союз, Россию. Западные славяне уже испытывают на себе всю жестокость рабства, и вопрос встает о существовании целого ряда народов, об уничтожении их самобытных культур и замене этих культур беспросветным гнетом нацизма.

Конечно, и тогда, несмотря на то что борьба шла между империалистами и цели войны были скрыты и в них не признавались, складывалось сознание, что тем не менее ты борешься за национальную культуру, за русскую культуру, и в мыслях, коротко выражая главное, я считал, что я борюсь за Пушкина. Пушкин был наивысшим выражением художественной культуры России, и в нем она для меня персонифицировалась.

Сейчас, в борьбе, которая теперь идет, все совершенно ясно. Совершенно ясно и никаких не может быть сомнений, за кем правда и на голову кого падет та кровь, которая сейчас проливается. Империализм германский докатился до абсурдного предела, в нем нет ничего человеческого, это как бы обезумевшая машина, это полное бескультурье. Мы же сознаем себя имеющими что защищать и отстаивать, уничтожение чего обездолит не только нас, но и все человечество. Россия вложила в общечеловеческую культуру бесценный вклад, и в том числе чудесный цветок своего самобытного, всегда ищущего правды, сурового и изящного, лирического и строгого изобразительного искусства.

Такие имена, как Рублев, Суриков, Рябушкин, Серов, Федотов, Венецианов, Васильев и др. – все это этапы большого искусства. Мы стоим на грани Запада и Востока, и для нашего искусства характерны влияния и того, и другого. С одной стороны – барочный эпико-романтический Восток, с другой стороны – классицизм Запада.

И уже в византийском искусстве и, может, еще более в русском происходит синтез этих двух начал; а [...] те контрастные ступени развития искусств, как то: классицизм и романтизм в литературе, и классицизм и барокко в изобразительном искусстве – в нашем искусстве не столь крайни. Так, наш классицизм в архитектуре крайне лиричен и наше барокко очень строго и просто. Тенденции романтизма и классицизма сочетаются в своеобразный синтез, свойственный вершинам нашего искусства. Таков Пушкин, соединяющий бескрайнюю свободу со строгостью строя и художественным порядком. Таков Гоголь. Таков Александр Иванов, у которого романтизм иллюстраций к Библии сочетается со строгостью классики.

Для русского искусства характерно сочетание строгой архитектоничности с живописностью, часто нежной или бурной, так, даже у такого корифея живописи, как Врубель, мы видим стремление к кристаллу, к строю, к архитектуре; кстати, во врубелевском искусстве мы уже чувствуем плечо другого славянского искусства – польского, нам родственного, свойственный ему романтизм.

Для русского искусства в советский период благодаря нашей национальной политике открылась возможность восхищаться искусствами всех народов нашего государства, и внимательное и любовное отношение к искусству самых малых народов дало нам колоссальный материал, который несомненно окажет благотворное влияние на наше русское искусство, последнее никогда не отказывалось от влияний. Шекспир неотделим от нашей театральной и графической культуры, французская живопись дала многое и старшим и молодым поколениям художников, так же благотворно и взаимное влияние славянских искусств – русского, украинского, белорусского и других. Славянские искусства – это семья родственных, но своеобразных искусств.

Это неисчерпаемое богатство орнамента, песен, эпоса, архитектуры, скульптуры, живописи. Многое из этого мы знаем и очень любим, со многим сроднились, как напр/имер/с украинским орнаментом и песней, или сербским эпосом, с польской и чешской литературой, но многое еще нам нужно узнать, многому поучиться.

Но вот нацизм хочет уничтожить славян, уничтожить их культуру, их искусство, в ответ славяне протягивают друг другу руки и возникает братство славян; защищая славянскую культуру, мы защищаем культуру общечеловеческую, это так сейчас ясно, что кто не с нами, тот против культуры. И Советскому Союзу выпала на долю суровая честь встретить и остановить и уничтожить машинизированное варварство и освободить угнетенные народы. Мы уверены, в союзе с демократическими державами – Англией и Америкой, в союзе со славянскими народами и другими народами угнетенными фашизмом, фашизм будет уничтожен и немецкий народ, освобожденный, войдет в семью народов с вкладом своей национальной культуры.

/Москва, август 1941/



В.А.Фаворский. Ангел из «Троицы» Андрея Рублева.
Гравюра. 1945. (*Увеличение*)



М.В. Фаворская (Дервиз). Зимний свет.
Холст, масло. 1918



В.А. Фаворский. Натюрморт с тарелками.
Картон, масло. 1918



М.В. Фаворская (Дервиз). Шиповник.
Холст, темпера. Начало 1950-х

В.А. Фаворский. Пролетающие птицы.
Линогравюра. 1959


пролетающие птицы
март 59
ВФ



В.А. Фаворский. «Книга Руфь».
Фронтиспис издания. Гравюра. 1924



М.В. Фаворская (Дервиз). Березник.
Холст, масло. 1920-е





Ефимовы – Иван Семенович, Нина Яковлевна и Адриан. 1930-е

Фаворские – Владимир Андреевич, Маша, Мария Владимировна, Ольга Владимировна, Никита и Ваня. 1937



Н.Я. Симонович-Ефимова. Плакат кукольного театра Ефимовых. 1923



Н.Я. Симонович-Ефимова. Мама за письменным столом в Домотканове.
Холст, масло. 1912



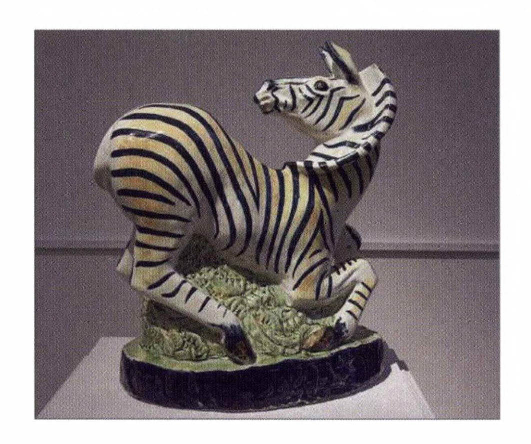
Н.Я. Симонович-Ефимова. Окно в Домотканове.
Холст, масло. 1915

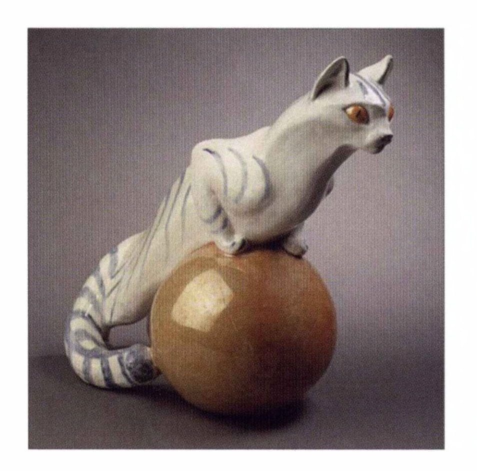


И.С. Ефимов. Тамбовская девка.
Фаянс. 1914 (ГРМ)

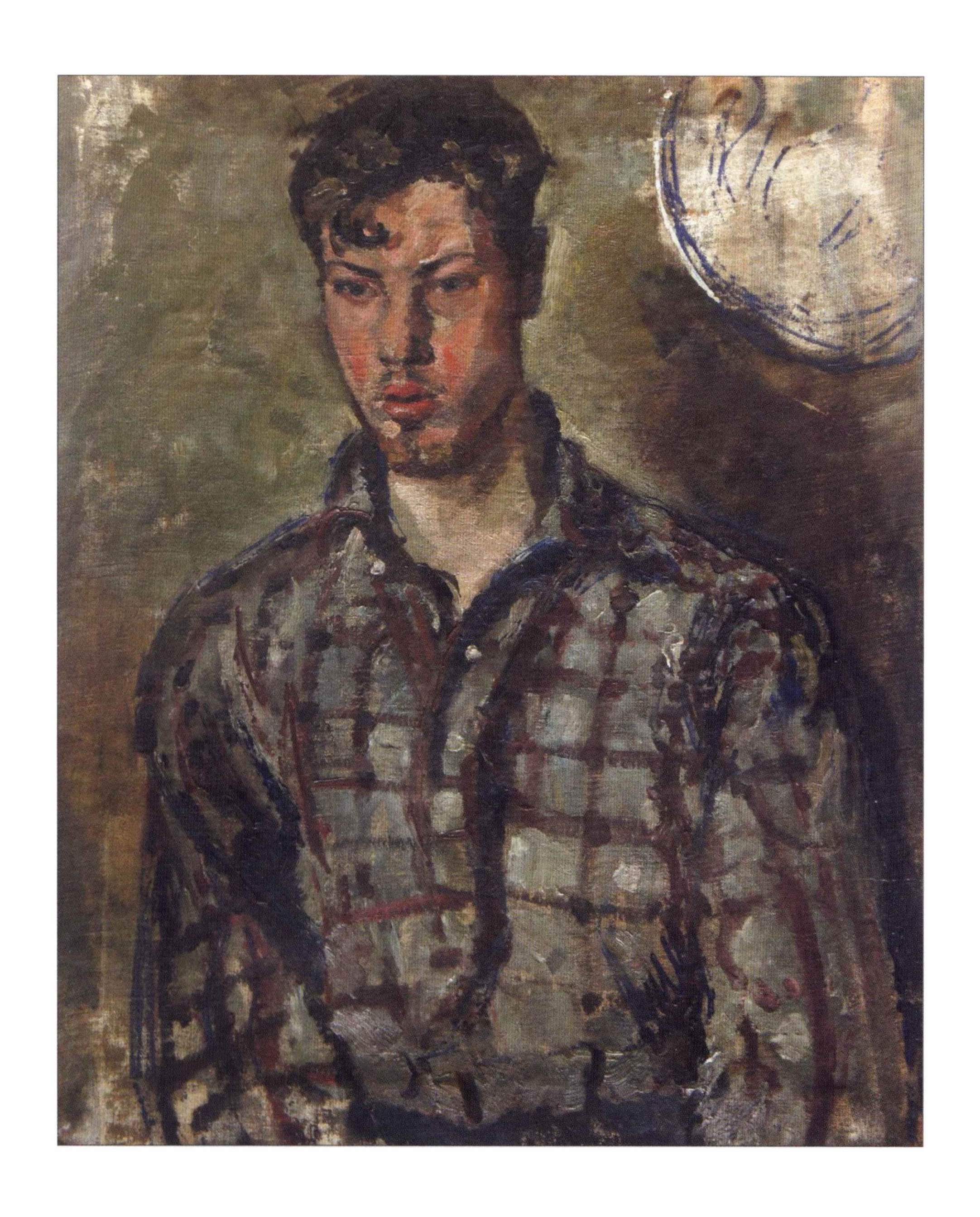


Н.Я. Симонович-Ефимова. Тамбовская девка.
Холст, масло. 1912






Скульптуры И.С. Ефимова. Зебра. Фаянс. 1927 (ГТГ); **Дельфин.** Кованая медь, стекло. 1935 (ГТГ); **Кошка с шаром.** фаянс. 1935; **Рыба**. Кованая медь, стекло. 1927 (ГТГ).



Н.Я. Симонович-Ефимова. Никита Фаворский.
Холст, масло. 1938



И.С. Ефимов и В.А. Фаворский в Измайлове (в волчьих шубах). 1940

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ХУДОЖНИКИ – ДРУГ О ДРУГЕ

И. С. ЕФИМОВ – О ВЛАДИМИРЕ АНДРЕЕВИЧЕ ФАВОРСКОМ

Из записных книжек разных лет

Фаворский – настоящий *муж* (*vir* по-латыни), а мы все – мальчишки, считая сюда и П. А. Флоренского, который, правда, волей перебарывает свою беспокойность, а Фаворскому спокойствие какой-то горы просто дано. Я веселый, но во мне пропасть легкомыслия, я треплю. Ведь черт знает, что делается – как ящик выдвинутый у меня в столе.

Фаворский до чего спокоен! А я, какую мораль ни имей, – меня бы все равно крутило.

«Фаворский! Ты гуляешь мало. Ты хороший художник, а гуляешь ты, как плохой художник».

У Фаворского ирисы хорошие: он за ними ухаживает. За всем надо ухаживать.

Из стенограммы выступления на юбилейном вечере В. А. в 1956 г.

Мне досталось от судьбы великое счастье жить рядом с Фаворским. Всегда можно было услышать исчерпывающий всепонимающий совет. Жажда работать сопутствует ему всю жизнь. Пахать до глубины плодоносную почву. Ему не приходится ждать вдохновения, оно всегда наполняет его до краев. И что драгоценно – его вдохновение тихое, глубокое, спокойное. Это не бурное кипение, наполовину растрачивающее свой пыл впустую. А уж когда Фаворский возьмется что-нибудь изучать, так проникнет в предмет насквозь. И как разнообразен!

Удивляешься гравюрам Фаворского к «Слову /о полку Игореве/». Не отвлекают, а помогают читать. Это создано в последние времена, какие возможны для такого верного понимания. Боюсь, дальнейшие века еще дальше будут отходить от возможности такого понимания и любви, все глуше им будут звучать глаголы «Слова».

Верю, что эти отражения «Слова» в душе Владимира Андреевича сомкнут порывающуюся связь и сделают большое дело, насыщая дух наших потомков.

Необыкновенно любовная, изощренного ума догадка украшения книги: как изобразить летящую стаю лебедей и соколов, влетающих в текст на примкнутом коричневом отрезе темнеющего черным орнаментом полукруга.

Как дать вселиться в свою душу душе древнего изографа, чтобы запутать такими натянутыми ремнями полоненного сокола. Слезы капают на такие рисунки. Живет русская душа.

В. А. ФАВОРСКИЙ – ОБ ИВАНЕ СЕМЕНОВИЧЕ ЕФИМОВЕ

Из письма Адриану Ефимову, по поводу искусствоведческой статьи для монографического альбома «Иван Ефимов» (вышедшему в 1965)

Иван Семенович – особенный художник, я бы сказал, сколько-то парадоксальный, и мне кажется, что о нем можно было бы и говорить парадоксально. Можно было бы начать так: Иван Семенович не скульптор, а изобретатель новых форм. Ведь правда: сколько скульпторов, которым в руки дана масса глины и которые традиционно лепят и не представляют себе ничего о силуэте и о пространстве, которые во всяком пластическом произведении должны быть, а у Ивана Семеновича так остро и остроумно выявляются. Мне кажется, что очень большое значение имеет то, что Иван Семенович в основе искал рисунок, имел дело с плоскостью и искал, каким образом сделать эту плоскость пространственной. В этом смысле показательны вырезания «Близнецы». Отсюда стремление к легкому материалу и отсюда сродство с крестьянским искусством и в то же время с современностью. И этим, мне кажется, объясняется любовь к шару, ничто не дополняет так профильную форму, как шар. Сказав, что Иван Семенович не скульптор, нужно сказать, что он и скульптор, но больше, чем скульптор. Он как бы работает над синтезом различных форм – он берет и одномерность, и двухмерность, и объем и все это соединяет, синтезирует. Конечно, Иван Семенович исходит из жизни, из живого чувства, но выражает чувства лаконично и выразительно. Есть живые произведения, ничем, кроме живого чувства, не кончающиеся, а есть произведения, которые в конце концов, будучи живыми и от жизни идущими, воплощаются как ритмические мысли, как кристаллы, я бы сказал, пластические идеи, которые выражают ритмически и му-

зыкально современность и создают то, что называется стилем эпохи. Все, что я тут сказал, по-моему, вплотную касается Ивана Семеновича и редко кого другого, какого-нибудь другого скульптора. В этом он подобен и древним художникам.

1959

Отрывок из подготовительной записи выступления для вечера, посвященного 50-летию творческой деятельности И.С. (1955 г.)

[...]

Его скульптура редко ограничивается объемным изображением предмета. Он, как никто, владеет в скульптуре и линией, и силуэтом, и различным использованием рельефа, то почти рисуночным, то en creux [углубленным, *франц.*], то барельефом, то горельефом, то объемом. И главное то, что у него одно переходит в другое и в одном произведении соединяются различные пластические средства, в развитии темы дополняющие друг друга.

[...]

Эти свойства его скульптуры дают ей возможность входить в другое пространство, в пейзаж, в какой-либо художественный ансамбль, сохраняя там свою самостоятельность и в то же время соединяясь с пейзажем, ансамблем и т.п. Пример – хотя бы его скульптурная графика, как она живет с пейзажем, или – когда графически, силуэтно обработанный пьедестал несет объемную скульптуру.

Эти качества, для скульптуры входящей в архитектуру, неоценимы. В обратном случае мы часто видим объемную фигуру, сиротливо пытающуюся войти в окружение архитектурное или парковое и все-таки ни с чем не соединяющуюся и едва защищаемую кубиком своего пьедестала. Вот этот диапазон средств Ивана Семеновича как скульптора роднит его с народным искусством и греческим античным и, особенно, русским. Иван Семенович и любит, и хорошо знает, и чувствует технику нашего русского народного искусства, и его искусство – и в графике, и в цветовых решениях, и в росписях, и в самом решении объема – носит глубоко национальные черты [...]

4. 06. 1955 [В.Ф. Лит. С. 471]

Н.Я. СИМОНОВИЧ-ЕФИМОВА – ОБ И.С. ЕФИМОВЕ

Отрывки из статьи «Скульптор Иван Ефимов»

[...]

За сорок один год совместной жизни есть о чем сказать. Даже слишком тут много всего, нелегко оперировать таким количеством эпизодов. Но оглянуться с пером в руке на пройденную жизнь всякому следует. Нехорошо оставить все в сумбуре, предоставив разбираться, быть может, вкривь и вкось, другим. Все равно, что алгебраическую задачу, написанную на классной доске, стереть, не исправив вкравшейся ошибки. Ведь звонок на перемену еще не прозвенел.

Отказаться от задачи даже не вязалось бы с моим обыкновением ликвидировать ералаш (правда, лишь квартирный), разводить который Иван Семенович такой мастер. Разбирать ежедневно завалы на столе, закрывать десятки раз в день ящики письменного стола и комода с рукописями. Иван Семенович выдвинет ящик, но никогда не задвинет, спеша к использованию той бумаги, того карандаша или акварельной краски, которые там берет. Когда вследствие этого ни к какой мебели уже нельзя подойти, а ему хочется работать, он перекроет выдвинутое чертежной доской и на ней уже нарастит рисунки, разные тяжеловесные пресс-папье, непременно красивые или, напротив, грубые, подобранные им на улице, куски чугуна, стальные болты и другие предметы в таком роде, а на полу тем временем он расположит рулоны ватмана, свою одежду, одно подле другого, портфель, книгу, которую он «откладывает» таким способом для чтения, и прочие вещи, необходимые ему в ближайшее время. Через несколько минут пребывания Ивана Семеновича в комнате в ней трудно двигаться, иногда трудно проникнуть в нее.

Я уже научилась безболезненно подходить ко всякому хаосу, имея опыт, что нет такового, который нельзя было бы «рассосать». Надо только раскладывать все на кучки однородных предметов. Неужели же отступить перед анализом жизни? Ведь это будет единожды и навсегда – завидная уборка!

Так сделать же первый жест: взять пыльную тряпку, то бишь перо, и, не раздумывая больше, положить перед собой стопку бумаги. Комната, которую оцениваю глазом, – это жизнь с 1906 года, со времени приближения к Ивану Семеновичу Ефимову.

...По узкому коридору, слышно, скачет кто-то – бочком, потому что нога бьет о ногу, – «Дритен-дритен, пупсиль-мупсиль, – я знаю, как сделать дельфина, я знаю, как сделать дельфина!» Из коридора

выскакивает не юноша: седобородый, высокий человек. Могучий торс – голый, трусики (хотя зима), прямые, стройные ноги в рваных штиблетах. Голубые глаза сияют, льют пучки лучей, как утренняя звезда перед восходом солнца на чистом небе. Ах, уж эти голубые глаза! Сколько за сорок один год они фигурировали в разговорах. Во-первых, дамы, всех возрастов, положений, характеров, до сих пор обсуждающие их, во-вторых, – мужчины – целыми группами – не без зависти. Это еще не делало бы глаза Ивана Семеновича шаблонным сюжетом для упоминания, если бы он и сам, со слишком наивным удовольствием не восхищался ими при всяких случаях, так же, как своей горбоносостью. Однако, говоря объективно, глаза действительно необыкновенны – большие, синие и красиво посажены – глубоко, но рельефно. Вбежав в комнату, Ефимов со сдерживаемой торопливостью устраивает лист плотной бумаги на небольшом столе. Определенной линией, широким размахом рисует дельфина с чрезвычайно симпатичной мордочкой, плывущего наискось вниз по шару, поддерживаемому рыбками. Легко, гармонично, свежо. Линии, кажется, со свистом проносятся через бумагу, рисунок без помарок, и очень определенна форма. «Дельфин будет из кованой меди. На стеклянном шаре. Шар ляжет свободно на тонкий поясок, держащийся на легких рыбках».

Разве шар не перевернется при таком скользящем положении дельфина?

«Ну, в крайнем случае проложу замшу в пояске для трения, а в шар налью для тяжести воды».

А ведь реальная вода проиграет перед той, что представляется. Ясно представляется. Маленькие рыбки шныряют по дну, ищут корм, дельфин играет по поверхности... Тут чувство рыбы в воде, плавучесть.

Иван Семенович не любит думать, вернее сказать – ленится думать, но решение дельфина, не только в смысле скульптуры, а и физико-математически готово, цельно.

Через нужное для работы в материале время скульптура выполнена по первоначальному его замыслу без изменений (только рыбок пришлось сделать не три, а четыре).

Вещь разбирается на три свободные, ничем не спаянные части (что и бывает при перевозках на выставки): кованный из листа желтой меди дельфин (110 см), стеклянный полый шар (40 см в диаметре) и легкий медный, на рыбках, поясок, на котором шар покоится. Вода из него выливается, а потом, при экспозиции вливается – ведра два. Удачное решение. Безошибочный эквилибр. Интуиция скульптора, по-

тому что автор далеко не мастер в математике. Откуда, какими путями приходят подобные, да еще без прецедента, замыслы? От сияния глаз?

[...]

Когда-то считалось разбрасыванием, несерьезным то разнообразие побочных ответвлений, которые культивирует Ефимов. Но разнообразие это указывает лишь на емкость, широту его художественного диапазона, потому что в иные периоды эти ветви сходятся, тот или другой из этих ручьев вливается в главное русло. Виды искусства у Ефимова переплетаются, входят одно в другое, взаимно прорастают и вырастают одно из другого, видоизменяясь при смене материала.

Размышляя, мы, конечно, найдем далее, что [...] офорт, иллюстрация, рисунок были только этапом в превращении мысли в скульптуру. Настоящим началом надо считать тот творческий момент, когда явился мотив данного офорта, литографии, рисунка. И тогда мы опять наталкиваемся не на «переработку», «искание», а на свободное выполнение ясно вдруг увиденного художником образа.

Однако (и это самое существенное) появление образа, вероятно, не так-то легко и просто. «Наитию» предшествует, может быть, неведомо для самого автора, внутреннее подготовительное напряжение. Из года в год я присутствую при том, что после нескольких месяцев светлых состояний Ивана Семеновича, рождений у него одной за другой новых форм, новых идей, «наитий»; после сверкания глаз, вдохновенной речи, твердой походки, легкого перехода от одного дела к другому, как правило, наступает упадок сил. Все перестраивается в минуту. Глаза тухнут, уменьшаются, выцветают, грудь из расправленной делается впалой, ноги перестают держать, голос начинает звучать глухо, лицо сереет, руки принимаются дрожать. И с утра – слезы, стремление убежать от своих мыслей, раскаяние «в грехах». Он повторяет: «Погоди, да погоди же, сейчас, сейчас!» Домработница уверена, что он «разговаривает с дьяволом». – «С кем ты говоришь?» – «Я сам себе это говорю». Психиатры находят: это не психоз. Это такой характер. Если весел, то весел бесконечно, если мрачен, то мрачен до конца. Тяжелое состояние Ивана Семеновича на его работе не отражается. Как только прикоснется он к глине, к начатой скульптуре, дрожь исчезает, форма рождается все такая же выпуклая, определенная и сильная, тушé все так же привлекательно. Только сам автор тогда недоволен настолько, что уничтожил бы вещь, если бы не повторять ему ежечасно и, конечно, правдиво, что она прекрасна. И действительно, глядя на нее, скажешь, что это сделал титан. Между тем скульптор в то время был внешне слаб, как

паутинка. [...] Как будто руки и то, что ими водит, делали эти вещи «за него».

[...]

Ефимову номер первый (веселому) нравится в жизни то, что второму внушает отвращение. Хорошую одежду, которую он любит надеть, если ему предложить во время его мрачного состояния – он вскрикнет с ужасом, как если бы к его рту поднесли бокал яда. Он наденет тогда рваные штиблеты, не поленится разыскать носки со страшными заплатами, а предпочтительнее – с дырами, брезентовый старый кожух. Напоминание о людях, которыми он увлекался в веселое свое время, когда он от всего в искреннем восхищении, заставит его наморщиться и замотать головой, как от постыдного воспоминания. [...] Почерк меняется: то был крупный, уверенный, а стал мелкий-мелкий, и если никакая работа, никакие действительные трудности не страшат Ивана Семеновича «веселого», то угнетенного все пугает, даже воображаемое. [...]

Не так различаются между собой огонь и вода, поле и лес, как Ефимов «веселый» и Ефимов «в тоске». Потому и трудно писать о нем. О котором пишешь? Эти два человека противоположны друг другу во всем.

[...]

Если первое свойство музы Ефимова – налетать сразу, то вторая отличительная черта, которая бросается в глаза, – это его новаторство на разных путях творчества. Многие формы современного искусства получили свое начало в нем, и без него их не было бы.

В первую очередь следует сказать о современном художественном фарфоре и фаянсе крупного размера. Надо отдать себе отчет в истоках и причинах его возникновения, и тогда не будут уже никого устраивать неопределенные выражения в статьях по искусству: «Ефимов один из первых стал делать...»

Во времена, когда начинал свою деятельность Иван Семенович, к материалу было отношение весьма неразборчивое. Появлявшаяся на выставках скульптура была в гипсе и иначе не мыслилась. Когда в первое десятилетие нашего века С. Т. Коненков начал выставлять дерево, это было настолько новостью, что даже не очень-то и осознавалось как новость, открывающая перспективу. О материале как о глубоко значащем факторе формы мало думали. Но Ефимов с первых своих шагов почувствовал цену материала. Это было врожденным его свойством.

[...]

Когда Иван Семенович окончательно перешел на скульптуру (1906), это не убило в нем живописца. Живописец уже крепко стоял на своих ногах, глаз, получивший так много при корректурах Серова, был изощрен, контакт глаза живописца с рукой скульптора был установлен и был неотъемлем от самой творческой природы Ефимова. Иван Семенович сразу стал мыслить скульптуру в связи с тем, из чего эта скульптура. Поэтому ввиду неисчислимого разнообразия сюжетов ему нужно и разнообразие материалов: бронза, дерево той или другой породы, фарфор (подглазурный и надглазурный), стекло, терракота, медные листы (красные и желтые), полосы кованого железа, даже папье-маше, даже просто плоскостный ватман, который загнется, сложится... Образ уже в голове, рождается вместе с фактурой. То, что хорошо в бронзе, было безвкусием в дереве или фарфоре. То, что хорошо в ватмане, совсем плохо в медном листе...

[...]

Круглый фигурный фарфор больших размеров делал Лука делла Роббиа и китайцы. А потом на столетия отказались и перестали помышлять о фарфоре монументальном. Почему? Неизвестно. Может быть, по той же причине, которая оторвала было искусство от ядра жизни. Но об этом и спрашивать можно лишь после того, как кто-нибудь возобновит традицию, сделает вопрос возможным и тем уже откроет горизонты, проложит новый путь. Итак – стечение обстоятельств: свойство дарования Ефимова, плюс интенсивность желания видеть своих двух скульптурных крестьянок в блистающем нарядном материале, выразить их красочность; убежденность в этом желании; небоязнь первых шагов; наконец – соседство фарфорового завода были причиной пионерства. У Ефимова потекли «фарфоровые мысли» [...]

«Ягненок» ошарашивает своей беззащитностью, он только что родился, впервые встал на ноги и не знает о жизни ничего. Он вызывает добродушную улыбку у всякого, кто его видит.

Однако это далось не без труда. Это была трепетная скульптура в фарфоре. Так что, конечно, когда Ефимов привез «Ягненка» в гипсе в Кузнецово, директор завода авторитетно сказал: «Фарфор такой не делается. Коряво. Придется доработать, и тогда мы его Вам сделаем». Ефимов спокойно ответил в таком духе, чтобы этому человеку было понятно: «Вы знаете покупателя на Ваши изделия, – я знаю покупателя на мои. Так уж сделайте, что мне нужно». Когда мы приехали на завод во второй раз, тот же директор уже высказал, по-своему, согласие

с трактовкой поверхности. Он сказал: «А знаете, хорошо получилось, ведь ягнята, я посмотрел, весной точь-в-точь такие». Он понял и убедился. И действительно, эта бугристость ягненка – счастливая. При свече или при луне он весь сверкает и переливается, как снежное поле, когда на него ветер надул кристаллы инея, и оно при луне кипит искрами – голубыми, желтыми, зелеными.

Когда Иван Семенович лепил ягненка (без натуры, в Москве, в мастерской Училища живописи в бытность там студентом по скульптуре), после общих занятий оставаясь в классах, вошла как-то раз студентка училища Мария Дервиз (будущая художница и жена В. А. Фаворского). Она, увидев ягненка, стала умолять Ефимова оставить его таким, каким он был в тот момент. Иван Семенович [...] согласился с ее доводами, состоящими в том, что бо́льшая плотность фактуры и твердость форм уничтожит в нем младенца и то особенное, необыкновенное, что в нем трепетало. Так его и отлили, даже часть железного штыря каркаса осталась у него на шее неприкрытой глиной. И никогда после Иван Семенович не пожалел о том, что Мария Владимировна Фаворская, чуткий и критически мыслящий человек, вырвала, так сказать, у него из-под рук эту работу и остановила на точке, которую он не считал финальной.

[...]

Ефимова характеризуют находки, от новизны и значительности которых, при всей их простоте, ошеломляющей простоте, дух захватывает. И всякий, увидя такую вещь впервые, почувствует, что светлее как-то стало кругом, и скажет: «Да ведь это так просто! Почему же раньше этого не было?» [...] Вероятно, нет такого нового изобретения, про которое нельзя было бы сказать, что оно не существовало когда-то раньше, когда-то давно. Многое «совершенно новое» – это вариант прежнего, но вариант, соответствующий духу времени. И это уже очень много, это составляет открытие, и возможность сделать это открытие дана не всякому, тут должна быть комбинация творческих сил и характера. [...]

В свой кругозор художник должен вобрать все – и достижения прошлого, и запросы времени. Конечно, он не думает о них и фактически на них не базируется, он творит заново, но они у него в плоти и крови. Прошлое служит после него проверкой: а-а-а, что-то подобное было, тем лучше, значит, это что-то нужное.

[...]

...неужели Ефимов только анималист? В среде товарищей по скульптуре его почитают как отважного бойца в той армии, где ценятся дости-

жения искусства, несущие свет и жизнь. Рубрика «анималиста» тесна для Ефимова. Она приблизительна, а в терминах надо быть точным. Зверей Ефимов любит изображать потому, что в них больше всего простора для осуществления его художественных идей. Мир животных обладает бо́льшим разнообразием форм, чем люди. [...]

На одной из страниц альбома Ефимов записал: «После мощной, великолепной лопатки жирафы яснее осознаешь свою слабую лопатку». На другой: «Рисую череп гориллы, увенчан огромным гребнем – служит для прикрепления жевательных мышц. Объясняет легкость и благородство черепа человека».

[...]

Если просмотреть каталог скульптурных работ Ефимова, там насчитывается столько же «тем человека», как и «тем зверя». В рисунках же неизмеримо больше людей, чем животных. В темах с людьми Ефимов не так ровен, как в произведениях о животных. Но у него бывают изображения человека настолько незаурядные, с чертами, настолько глубоко подмеченными и крепко выраженными, что их невольно выделишь из массы обычных портретов в выгодную сторону. Портретные наброски карандашом, рисунки с натурщиц; двухфигурные композиции на больших листах бумаги – все это рисунки мастера, имеющего лицо, имеющего власть над рисунком.

[...]

Манера рисовать Ефимова такова: он не водит по бумаге, ища, когда найдет то, что задумал; он проводит без сомнений и страхов одну линию; то она твердая, то нежная, и она создает форму – крепкую и содержательную. Если бы он выставлял только рисунки, он составил бы себе имя как график. [...] Из современников, по крайней мере по манере и легкости возникновения крепкой формы, рядом с ним кто?

[...]

Новаторством и удивительным на первый взгляд фактом в жизни Ефимова было то, что он как профессионал-актер «ходил с Петрушкой» по Москве и по Союзу, в течение двадцати пяти лет подряд с 1918 по 1944 год, в то время когда он уже был известным скульптором.

Иван Семенович занялся театром кукол потому, что был непосредственно увлечен этим видом народного зрелища. Театр «движущейся скульптуры», новая форма изваяния с фактическим движением (разве установлено кем-либо, когда-либо, что памятник должен быть неподвижным?). [...]

Новаторством была сама мысль играть литературный материал «верховыми куклами» – петрушками.

Новаторством в международном масштабе были те системы кукол, которые изобретены и пущены нами в обиход театров. Новые системы движений сделали доступным для петрушки иной, высший, не только пародийный репертуар. Театр, с куклами Ивана Семеновича, всегда четкими, острыми (никогда не карикатурными), начав с басен, дошел до шекспировского Макбета [...]

1948

И.С. ЕФИМОВ – О НИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ СИМОНОВИЧ-ЕФИМОВОЙ

Речь на обсуждении выставки Н.Я. 28.11.1945

Я буду говорить на тему «Жена-героиня». Она несет на себе бремя семьи и мужа-скульптора, который в быт ничего не вносит, кроме кавардака, мужа, который, к сожалению, или очень много шумит и громыхает, или лежит, как тряпка. У Нины Яковлевны, к сожалению, два мужа, один – вот этот, а другой – слякоть, и трудно их обоих выносить.

Нина Яковлевна очень помогла формированию моего вкуса. В первый период деятельности я был живописцем, и случилось написать мне такую картину: стоит романтический гнедой конь, на нем сидит нагой юноша, на земле стоит нагая девушка и тянется к нему. И надпись по латыни: «Ars longo vita brevis» («Искусство вечно, жизнь коротка»). Это отзвук моего классического образования. Теперь, благодаря ей, я таких картин не пишу. Меня поразила высота культуры семьи, в которую я попал. У ее двоюродного брата, моего учителя В. А. Серова, был безошибочно строгий взгляд, и у нее такой же.

Иногда, когда я смотрю на чужие безвкусные произведения, я про себя думаю: «У него нет Ниночки». Особенно в молодости, иногда и не в молодости, смотришь чужими глазами. Как я терялся! Передо мной тамбовский пейзаж, а я не знаю, что делать. У меня не было образцов, по которым я мог бы писать. Мне нужен был обомшелый пень, я ездил за семь верст на беговых дрожках за таким пнем.

То же самое я могу сказать относительно великолепных тамбовских баб, которых я постоянно видел то на рыхлении подсолнухов, то на молотьбе по сорок – шестьдесят человек. Я считал – ну бабы и бабы, и писать их не к чему. Она их мне открыла, и больше чем открыла.

Мы бывали на ярмарках (там совершенно потрясающие ярмарки), на них девки приезжали с меня ростом, мощные. Там такая мода была: они надевали по четыре рубашки, по семь юбок, и идут четверо в ряд. Это еще страшнее, когда идут, невольно думаешь: пронеси Господи, не раздавили бы. Раньше я их видел и не изобразил, пока Нина Яковлевна не приехала. На одной из ярмарок она сказала: «Нет таких красок ни в акварели, ни в масляной живописи, такие зеленые юбки, красные кофты, груди, завешанные янтарем, сзади парчовое солнце».

Они невероятные режиссеры. Мы были в Париже с Ниной Яковлевной. Серов поручил нам написать по его эскизу занавес к «Шехерезаде». Мы все время были среди балета и французских художников, парижских дам. После этого балета мы сразу попали в Тамбовскую губернию на Троицын и Духов день. Тамбовские девки на Троицын день были в красном, а на другой день все в белом. Когда я на этих баб взглянул, то подумал, что парижские женщины были бы в слякоть раздавлены этими тамбовскими бабами. Тут мы видим XI век, может быть, в них какие-то греческие традиции? А красок таких действительно не хватит. Нина Яковлевна мне и говорит: «Ты сделай в фарфоре». Я сделал, это был первый мой фарфор, и началась моя «фарфоровая» деятельность.

Театр кукольный оттого был успешен, что мы работали в четыре сильных руки, и эта бригада не разваливалась. И я глубоко верю, что ваше внимание к выставке Нины Яковлевны, внимание товарищей по искусству, чего ей так долго не хватало, сделает то, что бригада двуединого коллектива Ефимовых будет работать бодрее, несмотря на свои сто тридцать шесть лет.

Этой ночью у меня написалось о Нине Яковлевне. Глядел на потемневшие горы, хранящие в глубоком сумраке великолепие своих золото-коричневых одежд, а за спиной у ног шумело Море.

Со всей силой величия своей души Нина Яковлевна отобразила мощь и благородную красоту тамбовского народа, унаследованную от эпических времен половцев. Манера носить тяжелые складки своих простых одежд говорит об их родстве с Византией. Именно ее, с правдой и искренностью, ее, художницу, видевшую истинную красоту без малейшего налета красивости, ждала эта красота. Ее живопись так же строга, как мозаика, и отражает самую душу этого величественного племени. Про крестьянок Симонович-Ефимовой можно сказать, как ни про какое другое изображение русской крестьянки: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Это почувствовали все художники, бывшие на ее выставке, и прекрасно выразил Сергей Герасимов, сказавший, что «можно говорить о стиле Симонович-Ефимовой». Редко про кого так можно сказать.

Не насилуя и ничего не навязывая, она охраняла мою жизнь и творчество, и верно про нее слово скульптора Рахманова – «Поводырь».

И может быть, поддерживающий работу успех, заслуженный, недодан ей жизнью, она сама отвела его русло от себя на меня. Недаром она писала моей матери: «Я готова всем ему пожертвовать – даже искусством, если бы это потребовалось».

Я твердо знаю, что без нее моя жизнь пошла бы по совсем другой дуге, и жаль, что для познания истины нельзя узнать, на сколько градусов она была бы ниже.

На моих похоронах, которые мне ясно представились без всякой горечи, с любовью ко мне товарищей, надо, чтобы было сказано о той, благодаря которой я приобрел мою изобретательность, мой вкус отточил, поддержанный ее безошибочным словом, таким же, как у моего учителя, Валентина Александровича Серова.

В.А. ФАВОРСКИЙ О НИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ СИМОНОВИЧ-ЕФИМОВОЙ

Из стенограммы обсуждения выставки Н.Я. 28.11.1945

Нина Яковлевна очень творчески богатая личность, и за что бы она ни бралась, она все делает с большим подъемом, с очень большой творческой зарядкой, и что верно, у нее главной темой является характер. Это главная линия ее искусства, причем мне все казалось, что это серовская школа.

Представляется так, что русская живопись очень разнообразна, и мы можем говорить о том, что главная линия такая имеется, или этакая. Меня всегда поражало, что при очень большом уважении к Серову, к его творчеству, – его линия, которая четко проходит, мало заслужила внимания в нашем искусствоведении.

Если возьмете Ефимова Ивана Семеновича, если возьмете Нину Яковлевну, у них есть та подлинная художественная линия, которая была у Серова, и они ее продолжают, каждый по-своему.

Мне кажется, что характер живописи Нины Яковлевны можно сравнить с характером графическим, который очень подходит для изображения характера. Цвет, который берется – для характеристи-

ки, рисунок – все идет на это. И, конечно, Нина Яковлевна, особенно в силуэтах и в графических иллюстрациях, очень сильно это дает.

И вообще, когда пытаешься говорить о ней как о художнике, вдруг вспоминаешь, что она и то, и то – то есть такое богатство творческих сил, что с уважением кланяешься ей.

М.В. ФАВОРСКАЯ (ДЕРВИЗ) – ОБ ИВАНЕ СЕМЕНОВИЧЕ ЕФИМОВЕ

Набросок характеристики

Иван Семенович Ефимов. «Какой красивый, но вертопрах», – скажешь при первом знакомстве.

Он действительно красив. Об этом не может быть двух мнений. Говорят, в ранней молодости он был красив до кукольности. Чем он делается старше (теперь ему 56 лет), тем он становится красивее. Сейчас он таков: высокий рост, скрадывающийся сильно пологими плечами, здоровый цвет лица, яркие глаза цвета синей тучи, но не грозовой, а когда Иван Семенович возбужден и весел – глаза его делаются цвета моря, когда оно все зыблется солнечными бликами. Нос сильно торчит вперед, с горбинкой. Небольшая, теперь седая, а прежде русая борода и небольшие усы, которые иногда, когда он чувствует себя совсем молодым, – сбривает. Держит голову прямо, высоко. В осанке и во взгляде есть что-то ястребиное. Он сам недоволен только своими прямыми, неопределенного цвета, без отлива, волосами и безвольным подбородком. В остальном он очень доволен своей наружностью. Фигура, показывающая здоровье, а не тучность. Он может много ходить, но больше любит сидеть или, еще лучше, лежать где-нибудь в лесу на отлогом склоне, любит принять такое положение, чтобы телу было приятно. И в этом (пожалуй, только в этом) умеет почувствовать другого человека, где ему неудобно и сейчас же подсунет что-нибудь, сделает так, чтобы и другому было удобно.

Руки его очень характерны для скульптора: с большими округлыми, хорошо упитанными и сильно работающими мускулами; чуткая рука, очень подвижная.

На улице он всегда обращает на себя внимание, даже если просто идет. Если же он идет и красуется, сыпет искры из ясных глаз и полон своей красотой – никто не пройдет мимо – все заметят и полюбуются (чем он очень доволен, особенно, если это женщины). Иногда же эта способность притягивать к себе внимание бывает во вред. [...]

Иван Семенович из всего любит сделать для себя удовольствие. Как он ел раков! Проехали одну станцию, где другие пассажиры купили себе раков, вижу – Иван Семенович как в воду опущенный: раков пропустил! Несколько станций был несчастен. Наконец купил, устроился уютно, разложил бумагу и медленно ел раков, обсасывал, обкусывал. [...]

Река бежит бурливая, с гор несет холодную воду тающих ледников. Мальчишки садятся на дно реки, и их несет течением по обглаженным каменистым чашам. Вокруг – гуляющие кисловодские курортники; Ивану Семеновичу хочется проехаться. Рано утром, когда никого нет, он раздевается, прокатывается по дну реки и наслаждается не меньше мальчишек.

Голый, в лучах солнца; в стихии воды, далеко от берега, подчас в опасной для жизни борьбе с огромными волнами; на горной высоте, где человек один перед небом; на коне в полях без границ и цели, забывая время, наслаждается мерным движением лошади и ветром, несущим запах полыни.

К людям Иван Семенович относится, пожалуй, безразлично. Характерно, что письма он пишет через копировальную бумагу, сразу троим, четверым. Письмо – это дело очень личное, одному я напишу так, другому совсем иначе, даже выражения будут другие; я разговариваю с тем человеком, которому пишу. Иван Семенович, обращая слово (письмо) к другому человеку, думает только о себе, рассказывает только о себе, не чувствует того, с кем говорит: от этого возможны письма через копировальную бумагу троим, четверым сразу; подписывает отдельно только обращение. Когда человеку бывает грустно, или горе какое придавит душу тяжелыми облаками – иди к Ивану Семеновичу. Он так полон собой, так радуется своим, только что сотворенным рисункам, скульптурам. Его рисунки, его скульптуры, его куклы, его новые, еще не выполненные мысли – все это разом кипит вокруг пришедшего, и ему не остается ничего, как жить этот час-два Иваном Семеновичем. Тучи его отогнаны, хочет он или не хочет, и в центре Иван Семенович. Этот Иван Семенович и не думал о каких-то облаках какого-то Х., но он их разогнал лучами своего сияющего эгоизма. Правда, к людям, которые почти «я» – к жене и сыну, – отношение иное: их печали его огорчают, их радости его радуют. Для них он может пожертвовать чем-нибудь, что ему хочется (а желания его ярки и ограничивать их он не привык).

Если ест что-нибудь вкусное – угощает свою жену: «Съешь, Ниночка», сует ей булку, яблоко [...], уговаривает до тех пор, пока она не

возьмет. Тридцать лет он угощает ее по утрам, когда ей совсем не хочется есть, угощает от доброго сердца, потому что ему самому вкусно, и она берет и держит эту булочку, зная, что иначе он не угомонится...

В жизненаслажденности Ивана Семеновича есть что-то нервное, как если бы человека пустили в виноградник и сказали ему: «Ешь сколько хочешь, бери самые роскошные кисти, но мы тебя отсюда выгоним, может не скоро, а может через пять минут». И вот Иван Семенович хватает солнце, раков, женщин; создает массу рисунков – быстро, весело. Синие глаза его льют поток искр, он начинает большую скульптуру, и не одну – сразу две, а хочется сделать их четыре. Приводит публику в восторг своим «Макбетом», баснями, театром движущихся скульптур, делает все это, как будто слегка опьянев от винограда [...] Над ним висит: «Могут выгнать, скорей наслаждайся». Он это чувствует инстинктивно, он знает по своей всей жизни, что он то на вершине горы, то валяется, как чурбан, в глубине серого провала. Приходит это вдруг: свет солнца делается как бы покрытым кисеей, все кажется плохо в своей жизни, все не так, ему страшно, всякий предмет и всякий человек его мучает, но работать он может. Бывает, дойдет до того, что руку поднять трудно; стамеска или резец кажутся такими тяжелыми, рука тяжелая. Он валится, как мешок, на постель и – благо ему – может спать непомерно долго. Он «выгнан из виноградника». В молодости такие периоды тоски бывали у него часто и долго длились, чем он делается старше, тем они приходят реже. [...]

Санаторий в Кисловодске, 1934

М.В. ФАВОРСКАЯ (ДЕРВИЗ) О В.А. ФАВОРСКОМ

Из «Записок»

...Искусство его может нравиться или не нравиться, но работает он ото всей души, и всего себя и всю свою жизнь и все свои мысли он вкладывает в искусство. Не знаю, как другие, но если бы я никогда не слышала рассуждений Владимира Андреевича об искусстве и не видела его работ, то была бы в искусстве слепою.

[...]

Удивительно, что еще совсем юным он был уже добр и мудр. Недаром же у нас в шуточном гадании «Оракул» на вопрос «что мне делать?» был ответ: «Спроси у Владимира Андреевича». И помню уже тогда с ним советовались по самым насущным вопросам его сверстники и сверстницы.

Вот и Никита еще совсем молодой, а был уже добрый и мудрый. Лицом Никита был похож на меня, а душой на Владимира Андреевича.

Перед глазами памяти стоит ректор ВХУТЕМАСа – стройный, прямой человек 37 лет (он и теперь довольно прямой), высокого роста, с черной кудреватой бородой. В сущности борода была не чёрная, а темно-пурпуровый испод и золотые волоски посверх; издали казалась черной; борода «девственная», «первородная», ни разу, как выросла, не стриженная, и потому мягкая; он слегка подравнивал её, чтобы не очень распышнялась в стороны. Волосы подстрижены по-мужицки (стригла всегда я), одетый в коричневую, особого покроя, куртку, в виде русской рубахи (шили мы с Ольгой Владимировной).

Один новопоступивший во ВХУТЕМАС студент принял Владимира Андреевича за натурщика и был удивлён развязностью этого мужичка, который так смело обсуждал рисунки студентов.

Кроме того, что он русский, всякому, кто видит Владимира Андреевича в первый раз, ясно, что он /происходит/ из духовного звания. Это видно и по фамилии, и по лицу; но более всего в руках и ногах: руки и ноги не мужские – нет в них выступающих желваками мышц; но и не женские – «мясные», нежные или чутко-нервные; это ноги и руки православного ангела. И если не эти самые руки, то руки его предков держали крест и чашу Причастия. Те бесстрастные ладони дощечкой и ровные, прямые пальцы – такими пальцами благословлять или перелистывать прекрасную книгу.

Крепко слаженная голова с явно выступающими шишками искусств на затылке и прямая, как колонна, ровная, не тонкая и не слишком толстая, спокойная прекрасная шея. Редко встретишь такую шею; она привлекала внимание своею мужественной красотой.

Крутой, круглый лоб вперёд; основательный нос, как руль на большом, просторном лице, и крошечные уши; маленькие, добрые жёлтые глаза, близко посаженные к носу. Но пусть красный цвет носа не вводит Вас в заблуждение: Владимир Андреевич выпивает только в компании, и не много. Лицо его не бывает бледным; оно здорового, розового цвета, а все тело очень белое. И мать и отец Владимира Андреевича имели очень белый цвет кожи, так что Андрея Евграфовича, когда он был юношей, дразнили его товарищи: «лебастрина бабушка», проще говоря – «статуя».

Подбородок и рот Владимира Андреевича таинственны, так как всегда скрыты усами и русской бородой.

Вне искусства, в обывательских мелочах Владимир Андреевич не настойчив, равнодушен: придет к нему жулик-вымогатель, наплетёт чего-нибудь, просит денег, и Владимир Андреевич, не разбирая кто и что – даёт. Правда, он легко и с радостью даёт своим друзьям и знакомым; но это относится к достоинствам, а я сейчас выискиваю его недостатки.

Небрежное издательство теряет доски его гравюр, он хотя огорчается, не идет добиваться, чтобы нашли.

Со стен скалывают его фрески – он не встает на их защиту.

Вообще мирится со всякими несправедливостями относительно себя; как будто это вполне естественно.

[...]

Пассивность, медлительность и вместе с тем лёгкость – это у Владимира Андреевича от матери. Прибавив к этим качествам еще и невозмутимое спокойствие, он передал эти черты характера Никите [...]

Но относительно искусства и своих убеждений Владимир Андреевич стои́т твёрдо и ни в чем не поступится. Тут его никак не назовёшь слабовольным.

Но ведь я пишу о недостатках Владимира Андреевича, а сворачиваю опять на достоинства.

Жаль, что у Владимира Андреевича сочувствие к людям заставляет его брать заказы не самые для него интересные. (Как странно, что приходится осуждать как недостаток сочувствие к людям!)

Просят награвировать экслибрис, марку, заставки, концовки – Владимир Андреевич всё берет: как же отказать такому-то?

Всякую мелочь он умеет довести до серьеза... Но зато у него мало больших, фундаментальных работ в графике. Он не отдаёт себе отчёта в том, что эти маленькие шедевры идут в ущерб большим.

[...]

Придумать, тысячи раз переделать, но не остановиться на среднем, сносном, приемлемом, а сделать превосходно, просто и классично, хотя бы эта концовка была в булавочную головку – вот отношение Владимира Андреевича к работе. Он даже любит преодолевать трудности, любит строго поставленные границы в той или иной работе; как-будто в душе звучит: трудно, а я всё-таки сделаю, решу это, и решу неплохо...

Невольно навёртывается сравнение с Иваном Семеновичем Ефимовым. Этот не терпит никаких препятствий и ограничений; ему уже не интересно, если заказчик ставит рамки его творчеству; и не будет

переделывать, а просто бросит, если у него с мáху, с первых же прикосновений его талантливых пальцев к глине не выйдет сразу хорошо.

У Владимира же Андреевича как будто силы прибывает от препятствий и трудностей [...]

1956

М.В. ФАВОРСКАЯ (ДЕРВИЗ) – О СЕБЕ

Фрагмент домоткановской части «Записок»

...Приходится сказать еще об одной, самой домоткановской художнице – о себе, хотя эта тема бередит мою душу.

Любила я лес и деревья горячо, и невозможного для меня тогда не существовало: например, я пыталась, сидя в сенном сарае высоко на сеновале, изобразить темноту под крышей этого сарая и дырочку в крыше (конечно, ничего не получилось).

Или – в купальне, стоя на четвереньках над водой, писала свое силуэтное отражение в воде на фоне бездонного неба, по которому ползли облака.

Или – одинокие курганы в поле; на курганах золотые осенние деревья, сзади – заходящее солнце. Картина мрачная и необыкновенная. Меня волновало и восхищало необыкновенное.

Весной, ранним утром, еще до солнышка, я приходила в восторг от того, как розовая заря отражалась в тоненьком ледке пруда, застывшего от ночного заморозка: тут были стрелы, шпаги, веера, и все это блестело голубым, искрилось розовым! Я писала, а солнце вставало из-за дальних полей, и лучи его пронизывались через голый осиновый лесок за прудом. И лучи я тоже старалась запечатлеть на картине.

Раз, осенью, мы с Лелей и Наташей убрали одну из домоткановских комнат гирляндами и букетами ярко-желтых кленовых листьев, и стало в комнате точно солнечный свет. Я писала, обезумев от восторга, в первый раз обнаженное тело – мою сестру Лелю, прекрасную, как гречанка, всю в желтых рефлексах.

В марте по утреннему насту мы добирались до двух верб, растущих далеко в поле, и я писала портрет моей сестры на фоне сети красных веточек и белых барашков вербы, а снега блестели, точно намазанные маслом, так что глазам было больно, почти невозможно смотреть.

Зимой, когда, сверкающий золотом и синеющий бирюзой, вставал мороз над глубокими снегами во всем своем полуденном велико-

лепии, я не находила себе места и металась от окна к окну. Хороши ели в тяжелых белых шубах; хороши дубы, одетые скрипящими коралловыми рогами, и липы, раскудрявившиеся в кружевах инея; но нет лучше наряда, чем у старых берез: это фонтаны инея, громадные, сверкающие, белые. Их писала я из окна; пыталась писать наруже, но краски густели у меня на кистях и на холсте, и я со злостью бросала начатый пейзаж.

Или – позднею осенью, когда холодела вода и земля делалась жесткой, я уходила далеко и, забывая время, рисовала купу голых ольховых кустов по берегу речушки, онемевшими пальцами вцепившись в карандаш и сама превратившись в ледышку, восхищалась четким узором голых веток...

Ну будет, эти картины и рисунки пропали в бурное время 1917–1920 годов. А дальше я почти не занималась искусством, отдавая все мое время моим детям. Может быть, и для них, и для меня (я не могу сказать «и для искусства») было бы лучше немножко умерить мой пыл к детям и не так уж всецело ими заниматься?..

[...]

Зато... теперь, когда сыновья погибли, у меня почти нет упреков совести, что я чего-то для них не сделала, ни в материальном, ни в духовном смысле.

1951



М.В. Фаворская. Опушка. 1934

БИБЛИОГРАФИЯ
(ИЗБРАННЫЕ КНИГИ И ПУБЛИКАЦИИ)

1. *Хвойнuе Игнатий*. Скульптор И. С. Ефимов. М.: Гизлегпром, 1934.

2. *Нейман Марк*. Иван Семенович Ефимов. М.: Советский художник, 1951.

3. *Матвеева А. Б.* Иван Семенович Ефимов. М.: Советский художник, 1965.

4. Иван Ефимов. Об искусстве и художниках / сост. А. Б. Матвеева и А. И. Ефимов. М.: Советский художник, 1977.

5. Иван Ефимов «Эротические рисунки» (1914–1947). М.: Библиотека русской культуры Ольги Ковалик, 1996.

6. *Доронина Л. Н.* Мастера русской скульптуры. Скульптура XX века (Иван Семенович Ефимов. С. 54–65). М.: Белый город, 19...

7. И.С. Ефимов. Н.Я. Симонович-Ефимова. Выставка произведений народного художника РСФСР Ивана Семеновича Ефимова (80 лет со дня рождения) и художника Нины Яковлевны Симонович-Ефимовой. Каталог / вступ. статья Е.Е. Тагер. М., 1959.

8. *Симонович-Ефимова Н. Я.* Записки Петрушечника. М.: ГИЗ, 1925.

9. *Nina Efimova*. Adventures of a Russian Puppet theatre / Puppetry Imprint. Birmingham, Michigan, USA, 1935.

10. *Симонович-Ефимова Н. Я.* Воспоминания о Валентине Александровиче Серове. Л.: Художник РСФСР, 1964.

11. *Симонович-Ефимова Н.* Записки Петрушечника. Л.: Искусство, 1980.

12. *Симонович-Ефимова Н. Я.* Записки художника / сост. А. И. Ефимов и И. В. Голицын. М.: Советский художник, 1982.

---

13. *Халаминский Юрий*. Владимир Андреевич Фаворский. М.: Искусство, 1964.

14. *Фаворский В. А.* Рассказы художника-гравера. М.: Детская литература, 1965.

15–16. Книга о Владимире Фаворском / сост. Ю. А. Молок. М.: Прогресс, 1967; Vladimir Favorsky (на англ. яз.) / сост. Ю. А. Молок. М.: Прогресс, 1967.

17. Фаворский. Favorski /сост. Н. Розанова. Л.: Аврора, 1970.

18. В. А. Фаворский в Киргизии /сост. А. Н. Михалев. Фрунзе: издательство «Кыргызстан», 1977.

19. Владимир Андреевич Фаворский. Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. М.: Советский художник, 1986.

20. *Бархин Б.* Фаворский в архитектуре // Журнал «Архитектура СССР». № 2. Март – апрель. М., 1986..

21. «Слово о полку Игореве» в гравюрах В. А. Фаворского /сост. Ю. А. Молок. М.: Искусство, 1987.

22. *Фаворский В. А.* Об искусстве, о книге, о гравюре. / сост. Е. С. Левитин и Г. А. Загянская. М.: Книга, 1986.

23. В. А. Фаворский. Литературно-теоретическое наследие / сост. Е. Б. Мурина и Д. Д. Чебанова. М.: Советский художник, 1988.

24. Фаворский в театре / сост. Г. И. Морозова. М.: Союз театральных деятелей, 1988.

25–26. В. А. Фаворский. Воспоминания о художнике. / сост. Е. С. Левитин и Г. А. Загянская. М.: Книга, 1990 .

27. В. А. Фаворский. Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы выступлений / сост. Е. С. Левитин и Г. А. Загянская. М.: Книга, 1991.

28. Мир эпоса. О работе В. А. Фаворского над Джангром и его поездке в Калмыкию / сост. В.З. Церенов. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1992.

29. *Загянская Галина.* Владимир Фаворский. Обстоятельства места и времени. М.: ГИТИС, 2006.

30. Книжная графика В. А. Фаворского. Каталог / сост. Л. Чертков. М.: Контакт-культура, 2012.

31. *Коровай И.* Мария Владимировна Фаворская // Советская графика 10. Альманах. М.: Советский художник, 1986. С. 141–161.

32. *Коровай И.* О гравюре В. А. Фаворского «Семья за самоваром» [«Чудо пятое»] // Иллюстрация. Сборник. М.: Советский художник, 1988. С. 327–364.

---

33. *Герчук Ю.* Красный дом в Новогирееве // Наше наследие. Журнал. № 33–36. М.: 1995. С. 180–195.

34. М. Я. Львова (Симонович). Воспоминания, дневники, переписка. Хочу умереть в России / сост. А. И. Ефимов, Е. А. Ефимова. М.: Русский міръ, 2010.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

* Указания на цветные иллюстративные тетради (вне общей пагинации). Римскими цифрами дан номер вставной тетради, курсивом – страницы в ней. Тетради помещены после следующих текстовых страниц:
с. 64 – I; с. 128 – II; с. 208 – III; с. 272 – IV; с. 352 – V; с. 400 – VI; с. 432 – VII.



В Сергиеве. 1921
Слева направо – Н.Я. и И.С. Ефимовы, Вл. Дм. Дервиз, А.С. Симонович, В.А., М.В., А.Е. и О.В. Фаворские;
внизу: Адриан Ефимов и Никита Фаворский

НАУЧНО ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

ХУДОЖНИКИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В.А. Фаворский – М.В. Фаворская
И.С. Ефимов – Н.Я. Симонович Ефимова

ПИСЬМА

Составители
Елена Адриановна Ефимова,
Иван Илларионович Голицын,
Иван Дмитриевич Шаховской

Художественный редактор
Никита Георгиевич Ордынский

Верстка и допечатная подготовка –
Любовь Михайловна Ордынская

Корректор
Людмила Николаевна Федосеева

Формат 70 x 90/16. Бумага офсетная 100 г/кв. м.
Гарнитура набора PT ITC Octava. Печать офсетная.
Тираж 1600 экз. Заказ 3632

ISBN 978-5-905999-12-3



Отпечатано в ППП «Типография «Наука».
121099, Москва, Шубинский пер. д. 6


ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Въ Дѣйствующую Армію
(съ отвѣтомъ).
Наименованіе части или учрежденія, въ которомъ адресатъ
Цѣна ОДНА копѣйка.
(Чинъ адресата)
(Имя)
(Отчество)
(Фамилія)
Изданіе Московскаго Мѣстнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго
ПОСЫЛАЕТСЯ
Дѣйствующая армія
полевая почта № 49
40й мортирный артилле-
рийской дивизион 3 батарея
2 взвод
вольно определяющемуся
Ивану Симоновичу Ефим
1916
Полевая почта № 49
40й мортирный артиллерійскій
ПАВЛОВО НИЖ.
Москва
Первая запасная
артиллерийская бригада
Команда вольноопределяющихся
Владимиру Андреевичу
Фаворскому
Запасная
бригада команды
вольно-определяющихся
Полевая почтовая
контора № 49
40й мортирный артиллерій-
скій дивизіонъ
3я батарея
Взводному командиру
подпоручику Суханову
(для фейерверкера Владимира Владимировича
Фаворскаго
Дѣйствующая
Полевая почта
№ 49
40 Мортирный
3 батарея
Тверской губ.
Бурашево
Марiи Владимировне
Фаворской
Дѣйствующая
Полевая почта
40й мортирный
дивизіонъ
3я батарея
Union Postale Universelle
ROMANIA
BUCURESTI

Дѣйствующая армія
40ой мортирный артиллерій-
скій дивизіонъ
3я батарея
Прапорщику Владиміру Андреевичу
Фав…

№3
…ріяновке
…колаевск. у. д.
…мотканово
…нг Фивлвт
Ефимовой

Дѣйствующая армія
Полевая почта № 49
40ой мортирный артиллерій-
скій дивизіонъ
3я батарея
Владимір…

Швер…
Гуратеве…
…омотканово
…арія Владиміровна
Фаворская

ПРАВЛЕНІЕ
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ
Л. И А. ЗАВЬЯЛОВЫХЪ,
МОСКВА, Никольская ул., Третьяковскій проѣздъ.

Нижегородской губ.
С. Павлова
Лавки Максимовой
…

…ующая армія
…рный артиллерій-
скій дивизіонъ
…щику Владиміру
…вичу Фаворскому.

Дѣйствующая Армія.
VII 1917
Полевая почта № 49.
40 Мортирный артиллерійскій Дивизіонъ
3 Батарея.
…Семе… Ефимову

Кому Адріану Ефимову
Куда Чупріяновка
Николаевскаго у. д.
Аллюръ
№
ПОЛУЧЕНО:
Домотканово
1 г.
Подпись
Конвертъ возвращается подател…

… февраля 1917 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
Москва
Кузнецкаяу
д. № 83 л. № 38.
Вол. Г. Владиміро…
Фаворскому
На этой сторонѣ пишется только адресъ.

…ствующая армія
… почта № 49
…ортирный артиллерійск…
дивизіонъ
3я батарея
2ой взводъ
Фейерверкеру Владиміру
Андреевичу Фаворскому

…арточка.
ДЛЯ АДРЕСА.
Нижегородс…
с. Горбатовс…
село Павлово
…

Николаевской у.
Домотканово
Получ. 3 апрѣл. 1917
Нинѣ Яковлевнѣ
Ефимовой


р. 764
№6